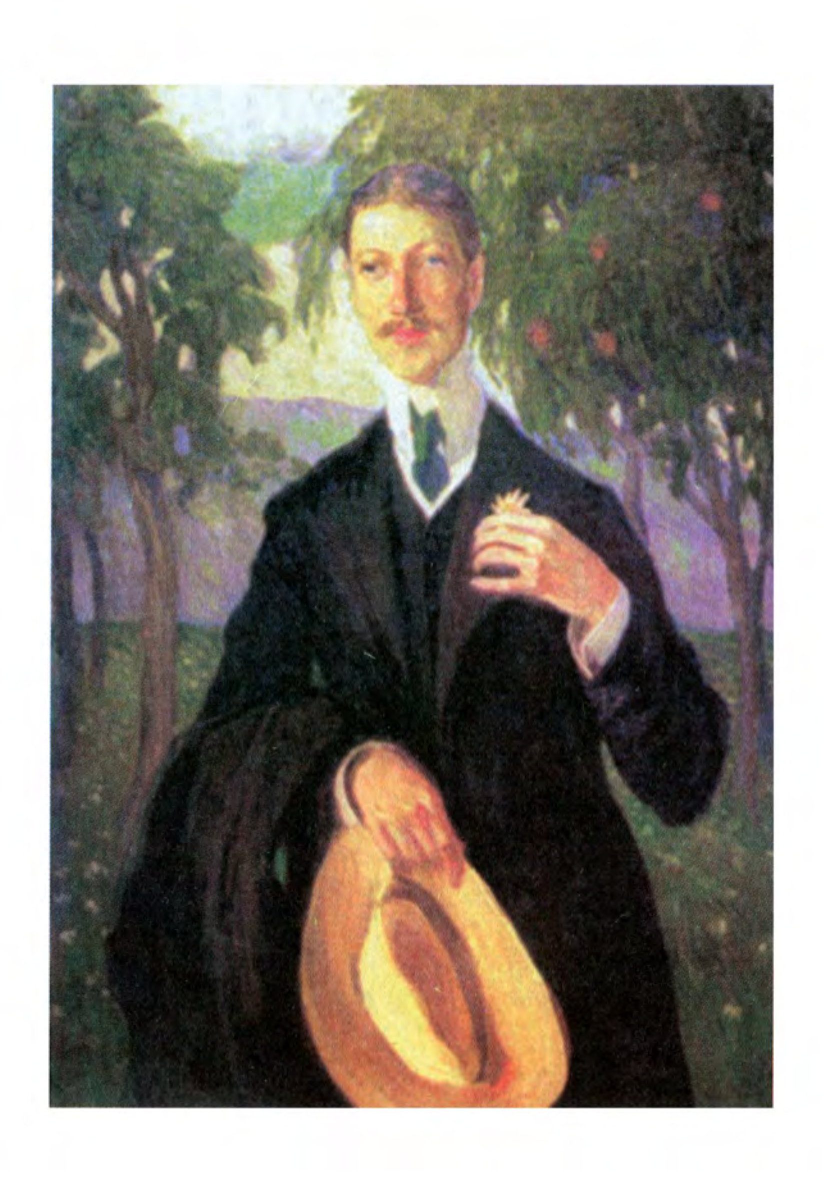
Н. С. ГУМИЛЕВ

СОЧИНЕНИЯ



ВОСКРЕСЕНЬЕ



РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ИНСТИТУТ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
(ПУШКИНСКИЙ ДОМ)

Н. С. ГУМИЛЕВ
Собрание сочинений

ТОМ ШЕСТОЙ
Художественная проза
(1907—1918)

Москва


2005

УДК 882-12
ББК 84(2Рос=Рус)1
Г94

Тексты подготовили и примечания составили:
М. Баскер (Великобритания), Т. М. Вахитова, Ю.В. Зобнин,
А.И. Михайлов, В.А. Прокофьев, Е.Е. Степанов

Подготовка текста и комменатрии к «Запискам кавалериста» — Е.Е. Степанов
Материалы архива Г.П. Струве предоставлены — Hoover Institution on War, Revolution and Peace (Stanford, California)
В подготовке тома принимали участие:
В.Н. Воронович (С.-Петербург), Д.С. Грачева (Воронеж),
В.П. Петрановский (С-Петербург), Е.Ю. Раскина (Москва),
Н.А. Хмельевская (С.-Петербург), Р. Читнис (Великобритания)
Том создан при участии Institut of Anvanced Studies (Бристоль, Великобритания)

Ответственный редактор тома
Ю. В. Зобнин
Редактор
Д. М. Климова

Г 94 **Гумилев Н.С.** Полное собрание сочинений. В 10 т. Т. 6. Художественная проза. — М.: Воскресенье, 2005. —544 с.; ил.

ISBN 5—88528—463—6 (Т. 6)
ISBN 5—93494—080—5

В шестом томе Собрания сочинений Николая Степановича Гумилева собрана его художественная проза, воскрешающая в русской словесности XX века пушкинские традиции «прозы поэта». Повесть «Веселые братья» впервые публикуется в авторской сюжетной версии. В томе помещены также новонайденные неизвестные стихотворения Н.С.Гумилева, не вошедшие в III и IV тома.

Г $\frac{4702010102—024}{К56(03)—98}$ ББК 84(2Рос=Рус)1

РАССКАЗЫ, ОЧЕРКИ, ПОВЕСТИ

1907—1918

1. ГИБЕЛИ ОБРЕЧЕННЫЕ

I

Было утро, а еще не все туманы покинули земные болота. Еще носились прохладные морские ветры. А круглое сверкающее солнце уже поднялось на горизонте и нежно целовало землю, чтобы измучить ее после горячей лаской полуденного зноя. Пели невиданные птицы, страшные чудовища боролись на поверхности взволнованного моря. Золотые мухи казались искрами, упавшими с уже мертвой луны.

И первый человек вышел из пещеры.

Он встал на высоком утесе, где роскошная трава сбилась в причудливые узоры. И перед ним расстилалось неведомое море. Жадным и любопытным взором смотрел он на новый доставшийся ему мир, а в голове его еще бродили смутные воспоминания, знакомые, но полузабытые слова. Он не знал, кто дал ему это прекрасное сильное тело, кто забросил его в темную пещеру, из которой он вышел к пределам зеленоватого моря и лоснящихся брызгами черных утесов. Но он уже чувствовал, как законы нового бытия заставляют трепетать каждый фибр его тела безумной жаждой движения и слова. И стоял задумчивый и опьяненный.

Запоздавшая дикая кошка кралась между кустов. Пятнистым животом припадала к мягкой траве. Ее зрачки, круглые и загадочные, остановились на человеке, чаруя его странною тайной злого. Но она была голодна. Миг — и длинное гибкое тело мелькнуло в воздухе, в грудь человека впились острые, стальные когти, и в его лицо заглянула круглая оскаленная морда с фосфорическим блеском глаз. Простая случайность грозила уничтожить любимейшее творение Бога. Но могучие инстинкты всколыхнулись в груди человека, и он, не знакомый ни с опасностью, ни со смертью, радостно бросился навстречу борьбе. Сильными руками оторвал он разъяренного врага, швырнул его на траву и обоими коленями придавил к земле это пушистое бьющееся тело. Случайно он ощупал тяжелый камень. И сам не зная зачем и как, он ударил им по оскаленной морде, еще и еще. Послышался зловещий хруст и предсмертный хрип, потом все стихло, и борьба и движение. Изумленно созерцал человек эту перемену. Изумленно смотрел он на

неподвижное тело кошки с раздробленной головой. И не в силах был связать всего прошедшего.

Острая боль заставила его очнуться. Он был ранен, и частые крупные капли текли по его изодранной груди. Ноги его подкашивались, и в ушах стоял странный звон. Внезапно он почувствовал, что уже сидит на мягкой траве, и что море, скалы и берег двигаются перед ним все быстрее и быстрее. И, опрокинувшись, он потерял сознание.

Солнце светило так же ярко, но в небе уже начиналось что-то страшное. Синеватые облака медленно и как-то нехотя проползали на горизонте. Но вот рванул ветер, и они заметались, словно испуганные птицы. Где-то загрохотало, и носорог, спокойно дремавший в болоте, приоткрыл свои маленькие глазки и глубже зарылся в холодный ил. Его беспокоило скопившееся электричество.

Сразу потемнело, и шумные, теплые потоки дождя туманным пологом скрыли окрестность. Гремело в небе, и глухо рокотало море, вздымая гигантские черные волны. И при огненных вспышках молний резким контуром вырисовывались фигуры встревоженных обитателей земли. Там пещерный медведь, бегущий в горы укрыться от грозы, там лани, прижавшиеся к утесу, а там еще какие-то неведомые существа, испуганные и трепещущие. Казалось, что весь новый, недавно родившийся мир был осужден к погибели. Но кто-то великий сказал свое запрещение. Он наложил руку на тучи, и они пролили вместо вихрей и мрака нежные слезы раскаяния. И теплая влага омыла воспаленные раны на груди лежащего человека. Девственно-здоровые силы тела довершили остальное. И мало-помалу его беспамятство перешло в легкий освежительный сон. И опять безумная жажда жизни огнем прошла в его жилах, и он открыл глаза, такой же могучий, такой же радостный и готовый на все.

Буря кончилась. Последние облака темной угрозой столпились на востоке, а на западе опускалось уже бессильное солнце и задумчиво улыбалось, как будто жалея, что ему не удалось вдоволь наиграться с землею.

Человек стремительно поднялся. Он чувствовал себя внезапно созревшим. Он знал борьбу, знал страдание и видел смерть. Но тем глубже, тем прекраснее показался ему мир.

Опьяненный самим собой, своей красотой и мощью, он начал пляску, первую Божественную пляску, естественное выражение чувства жизни. Закружился и запрыгал, и каждый новый прыжок новой радостью плескал в его широко раскрывшееся сердце.

Из-под ног его вырвался тяжелый камень и с грохотом покатился в пропасть; долго соскакивал с камня на камень, ломал кусты и, с силой ударившись, разбился на дне. «Тремограст», — повторило далекое эхо. Человек внимательно прислушался и, казалось, что-то соображал. Медленно прошептал он: «Тремограст». Потом весело засмеялся, ударил себя в грудь и уже громко и утвердительно крикнул: «Тремограст», и эхо ответило ему.

Он был в восторге, найдя себе имя, такое звучное и напоминающее паденье камня. Полный благодарности, он решил тотчас же идти искать того, кто первый за скалами громко произнес это слово. Но взошла луна, холодная и печальная, как женщина, послышались ночные шорохи, и человеку сделалось страшно. На него надвигалось что-то гибкое и неведомое, против чего не властны ни его могучие руки, ни красивое, гордое слово «Тремограст», и, как ящерица, забившись среди камней, он начал терпеливо ждать, когда удалится эта новая опасность.

II

Пришел день, а за ним еще многие другие. И не было конца ликованию и восторгу. Все удавалось счастливому первенцу Бога. Мысли, как звезды, рождались в его голове, руки были искусны, и природа с любовью подчинялась его желаниям.

Из мраморных глыб он сложил себе обширную пещеру и украсил ее царственными шкурами убитых им львов и пантер. Из гибкого тиса сделал лук и перетянул его сплетенными жилами гигантского буйвола. Перьями изумрудных птиц окрылил он легкие стрелы и смеялся от радости, когда они пели, вонзаясь в голубой воздух. С этим луком и стрелами он охотился в прохладных равнинах за быстрыми ланями, в угрюмых скалистых ущельях боролся со свирепыми медведями и в топких, заросших тростником болотах поражал гиппопотамов, которые только ночью выходят из липкой и глубокой тины.

И жемчужными вечерами, когда выплывали на берег гордые морские кони, и их ржанье, как божественный хохот, прокатывался по водной пустыне, он подкрадывался к ним, веселый и жестокий, проползая под низко-склоненными ветвями и вдыхая пряный запах окропленной росою травы. Золотой, звенящей осой пролетала стрела и вонзилась в круто-согнутую шею или в лоснящийся круп одного из красивых животных. Диким ужасом схваченные, мчались остальные, а товарищ их бился, с глазами полными муки, и под ним на вечернем песке расплывались алые пятна крови. И к нему гигантскими прыжками уже стремился беспощадный Тремограст, чтобы насладиться предсмертной дрожью поверженного врага, смехом встретить его последний стон и, содрав атласисто-белую шкуру, украсить ею свое мраморное жилище.

И после, ночью, так сладок бывал отдых победителя.

Дни проходили, и Тремограст забыл свои смутные воспоминания и странное чувство какой-то потери, которое томило его в первый день творения.

Он полюбил мир земли, его пьянящие запахи, смеющиеся гулы и изменчиво-влажные краски. Ему нравилось подолгу лежать ничком, прижимая к лицу благоухающие, сочные розы. Он думал, что тогда земля яснее и свободнее рассказывает свои светлые тайны. И он поднимался с сознанием, что он любим.

С одинаковым упоением он убивал животных и целовал нежные белые лилии. Он радовался и тому и другому. Потому что он не знал еще сладострастья сопоставлений.

Он любил уходить далеко от своей пещеры и встречать все новые, увлекательные неожиданности, от которых бьется сердце и блещут глаза.

Он проникал в пещеры, где в подземных озерах живут страшные, безглазые рыбы, и взбирался на вершины гор, с которых видно полмира.

Он всему дал имена, имена ароматные, звучные и красочные, как сами предметы.

Одного только боялся он — луны.

Когда всходила она, та, которой он не смел назвать имя, он чувствовал, как томление, доходящее до ужаса, мучительная грусть и еще что-то кольцом охватывает его сердце, и ему хотелось острым камнем разод-

рать себе грудь, броситься с утеса в море, сделать что-нибудь ужасное и непоправимое, только бы уйти от этого взгляда, печально вопрошающего о том, на что нет ответа.

Он пробовал бороться с этой тяжелой чарой. Кричал бранные слова, резким диссонансом звучавшие в задумчивой тишине, и пускал в светлый диск свои длинные меткие стрелы. Но напрасно! Стрелы падали обратно, равно как и слова, отраженные эхом. И эта неуязвимость и безгневность печального врага доводили его почти до безумья!

Вскоре он перестал бороться, хотя и сознавал, что еще не раз во времени встретятся их взоры, перекрестятся их пути и одному из них придется уступить.

По ночам он зажигал в своей пещере веселые костры, которые грели и манили своей легко постижимой тайной.

А утром поднималось солнце, ветры начинали петь в ущельях, и зеленое море, просыпаясь, шевелило свои мягкие бархатные волны.

Солнце, ветер и море он любил.

Так проходили дни за днями.

III

Далеко в море, у которого жил Тремограст, возвышался маленький остров, видный только в очень ясные солнечные дни.

Тогда тонкими линиями вырисовывалась его легкая масса, и над ней извивался, словно дымок, розоватый туман. И изредка оттуда прилетали особенно красивые птицы.

Этот остров давно дразнил воображение Тремограста. Ему казалось, что там зреют плоды, сочнее и ароматнее, чем в его лесах, и разбросаны камни, перед которыми ничто блеск тусклого мрамора и редко-встречаемого малахита.

И однажды утром он спрятал лук и стрелы, лианой привязал к руке свою тяжелую дубину, с которой он никогда не расставался, и бросился в воду, чтобы плыть к далекому острову — загадочному счастью. Долго боролся он с волнами, рассекал их стройными руками и захлебывался соленой пеной; и только к вечеру, обессиленный, он упал на давно желанный берег.

Перед ним косые лучи солнца освещали лесную прогалину, края которой густо заросли кипарисами. Наверху в полумраке листвы чувствовалось еще движенье, прыжки беспокойных обезьян и шорохи вечерних птиц, а внизу уже царила величавая тишина. Высокие разноцветные травы притаились, как и причудливые камни, разбросанные здесь и там. Казалось, ждали грозы или чего-то еще более могучего.

Из-за большого мшистого обломка скалы вышла невысокая гибкая девушка, и сразу заметил и навсегда запомнил изумленный Тремограст ее легкую поступь, большие глаза, из которых катились крупные слезы, и сказочно-богатую темно-синюю с золотыми узорами одежду.

Она плакала... Почему?! Может быть, ее испугал тигр, или злая птица унесла какое-нибудь из ее украшений! И Тремограст порывисто сжал в руке свою верную дубину, хотел спешить к ней защитить, но внезапно остановился.

Вслед за нею вышел юноша. Он был одет в блестящий панцирь, на котором вились страусовые перья, и все его тело светилось, как будто из него исходили серебряные лучи. Он подошел и взял девушку за руку.

— Лейла, — сказал он, и звук его голоса задрожал и умер безнадежным вопросом, — Лейла!

— О Габриель, — рыдая, ответила девушка, — ты слишком прекрасен, ты не знаешь последней страшной тайны, которую сказал старый филин на запретной горе, ты скоро умрешь, Габриель!

— Что из того? Миг смерти изумруден, смерть целует, как сонное виденье, а жизнь печальнее сломленной лилии. Недавно ко мне приходил тот Великий и сказал, что скоро конец; и я смеялся в первый раз с тех пор, как увидел тебя. Ты не любишь меня, Лейла, а смерть любит.

— О, не говори так, Габриель, твои слова слишком прозрачны, они мучат своей чистотой. Разве я виновата, что тот Великий, который одарил тебя осенне-золотой душой и пронизал своими лучами, дал мне это юное страстное тело со всеми вихрями, со всеми жаждами, со всей бесконечной тоской смеющейся земли. Ты бог, Габриель, а я, я — женщина.

— Лейла! Некогда и я искал сладострастия, и меня влекли боли и радости могучей земли. Но далекие звезды властно сказали, что за ними есть что-то иное. И с тех пор моя душа — это цветок, устремив-

шийся в бесконечность. Бесконечности нет, Лейла. Но она будет в тот миг, когда смерть скажет свое золотое тихое — нет. Почему ты не хочешь взять этот миг, Лейла?

— О Габриель! Не то сказал филин на запретной горе, полночью, когда светила луна. Да! Законы, которые он знает, не для тебя, Габриель. Ты умрешь, потому что невозможное требует жертв. Ты умрешь для меня, и мой первый поцелуй принадлежит тебе.

Девушка приблизила свое лицо к загоревшемуся лицу юноши, ее тонкие руки обвили его панцирь, и в воздухе раздался тихий звук, похожий на падение жемчужины, звук, которого никогда еще не слышал Тремограст. Он содрогнулся от внезапной ревности, вдруг нахлынувшего желания такого же счастья. И, выпрямившись во весь рост, он громко крикнул, чтобы обратить на себя внимание.

Незнакомцы вздрогнули от изумления. Девушка с испуганным взором бросилась в глубь просеки, и ее темно-синяя одежда быстро слилась с бархатным сумраком. Юноша направился к Тремограсту, вынимая на ходу волнистый меч, украшенный рубинами.

— Кто ты, — крикнул он голосом звонким, как жужжание стрелы, — кто ты, отвечай, или ты умрешь.

— Я не боюсь, — удивленно ответил Тремограст, — но если ты хочешь, друг, я тебе скажу: я — Тремограст, обитатель земли там, за морем; у меня есть мраморная пещера с красивыми камнями и теплыми шкурами животных; если хочешь, я отдам ее тебе за девушку.

— За девушку?!

— Да! Больше белоснежных коней, гордых павлинов и этого тихого моря понравилась она мне; ее губы краснее закатного неба; ее взгляды нежнее умирающей лани; и ее любовь должна быть слаще убийства.

Юноша слушал задумчиво, но вот выпрямился, и обидным презрением прозвучали его слова.

— Кто ты, — крикнул он, — что осмеливаешься мечтать о высших восторгах. Строй себе пещеры, охоться, грейся у костра, но не приближайся к вершинам, которые тебе недоступны; ты будешь сброшен, и горько будет твое падение.

Сказав это, он подошел к морю, но не погрузился в него, а заскользил по поверхности, и его бег напоминал быстрый полет ласточки над самой

землей, в час, когда на небе собираются грозовые тучи. Тремограст пробовал преследовать его, но волны зашевелились, как будто запрещая, и, пока он боролся с ними, уже скрылся сияющий контур загадочного юноши.

Тремограст поплыл домой.

Страшно было это возвращение по взволнованному ночному морю со зловеще-подвижными пятнами багровой луны. Черное безумье обуяло в эту ночь луну. Как змея, скользила она посреди чудовищных облаков, словно бешеный конь, металось ее отражение. Казалось, она угрожала смертью тому, кто не ответит на ее вечный вопрос.

Но Тремограст плыл, спокойный и строгий, и думал о том, что он скоро ответит луне.

IV

Вернувшись, Термограст нашел в своей пещере гостей. Возле большого весело-трещащего костра полу-сидели, полу-лежали две человеческие фигуры. Одна была прикрыта старой уже выцветшей шкурой небольшого рыжего медведя, да и то скорее случайно найденной, а не добытой на охоте. Костюм второй был еще беднее: там не было ничего, кроме нескольких виноградных ветвей, прикрепленных к поясу лианами. Когда они встали, чтобы приветствовать Тремограста, который приближался к ним, красивый, как лев, идущий на буйвола, усталый и рассерженный, с синими жилами на могучих руках, пламя костра осветило их лица. Одетый в медвежью шкуру оказался худощавым и гибким мужчиной, с высоким лбом и со спокойным знающим взглядом. Его товарищ — юношей, почти мальчиком с грустной линией рта и с робкими задумчивыми глазами. Они, казалось, не были смущены появлением Тремограста и ждали его спокойно и уверенно.

Старший протянул вперед раскрытую правую руку, чтобы показать, что в ней нет оружия, младший остановился поодаль, скрестив руки на груди. Тремограст подошел и гневно спросил пришельцев, кто они и что они тут делают. Ему ответил одетый в шкуру медведя:

— Меня зовут Эгаим, и горные птицы дали мне прозвище — Знающий тайны. Этот юноша, которого ты видишь, называется Элаи, и он владеет чудесным даром: тайны, которые я открываю, он переклады-

вает в песни, звучнее, чем ветер и море. Мы — твои братья, Тремограст, и мы пришли помочь твоему великому делу, о котором уже думают камни, шепчут травы и рыкают в пустынях львы.

Тремограст нахмурился.

— Какому делу? Охотиться и зажигать костры могу я сам, а высоты... что до них мне и тебе? Наши тела на светятся серебряными лучами, наши души не цветы.

— Не говори, чего не думаешь, Тремограст! Не затем так горят твои глаза, раздуваются ноздри и алеют губы, чтобы вечно жить на равнинах в забавах, которые ты делишь с пантерами. Уже не раз над тобой поднималась луна, призывая тебя к высшим победам. Вспомни девушку с грустными глазами, которую ты видел сегодня на острове. Мне рассказал об этом старый филин на горе, заросшей вереском и лопухами.

Тремограст вошел в пещеру и присел на глыбу мрамора, покрытую шкурой морского коня. Пламя костра осветило его зажженное безумной надеждой лицо.

— Если так, — сказал он, — то будьте гостями в моей пещере и расскажите мне тайны, которые нашептала вам земля. Я ничего не слышал от нее, кроме нежных вздохов и влюбленных слов. Может быть, вы знаете также, как победить луну? Древняя распря связывает меня с нею. Но сегодня я видел ее испуганною, хотя и гневною. И мне показалось, что я начинаю понимать многое.

Легкой грустью подернулось лицо Эгаима:

— Элаи знает эту тайну лучше, чем я; спой, Элаи, ту песню, которую ты пел в ночь нашего состязания: камни говорили под властью моих заклинаний, от твоей песни они заплакали.

Элаи запел:

В простор от тягостного плена земля бежит среди огней,
Но, как зловещая гиена, луна гоняется за ней.
Есть яд! Не тот, который травы в пустынях сумрачных таят,
Не огневой и не кровавый, но тем ужаснее тот яд.
Но грех, великий грех вселенной, позор и гибель — не понять,
Что на луне, всегда надменной, святая кроется печать.
Могучи грозные стихии, но все они минутный сон!
Не мы, но, может быть, другие поймут таинственный закон.

Голос Элаи оборвался, и он замолчал. Молчал и Тремограст, задумчивый и печальный. Эгаим выпрямился и протянул руку к луне, бледной и подозрительной, уже заглядывающей в отверстие пещеры. Худощавый и гибкий, с глазами, горящими в предутреннем сумраке, он напоминал мудрую, священную змею.

— Ты видишь, Тремограст, — зазвенел его голос, — что луна мучит землю. Ты призван быть ее освободителем. Ты можешь быть князем земли. Но для этого ты должен победить. На далеких горах живут могучие боги. Одного из них ты видел сегодня. Они прекрасны, они обольстительнее утренних звезд. Но они не дети нашей земли, они пришли из далека. Ее горести, ее надежды для них чужды, и за то я обрекаю их гибели. Хочешь быть князем земли, Тремограст?! Поднимись на вершины и победи богов!

В пещеру врывался волнующий пряный аромат. Слышно было, как тяжело вздыхает в беспокойном сне разметавшаяся земля. И зловещая падающая луна на легкое мгновенье преобразилась, обожгла неотразимой прелестью и шепнула стыдливо и быстро: «Спаси меня, Тремограст, я страдаю».

Тремограст медленно промолвил:

— Я решился. Завтра мы выступаем в путь.

И, наклонившись к костру, он зажал в руке раскаленный уголек, чтобы болью победить волнение, которое он не хотел показать пришельцам.

V

Два часа было довольно, чтобы оживить могучие тела первых обитателей земли. И последние звезды еще не потухли на изумрудно-утреннем небе, когда они покинули мраморную пещеру. Старые утесы приветливо улыбались, и сереберяно-белые колокольчики звенели что-то невнятное, но радостное о близкой победе и жалели, что не могут идти вместе с ними. И ветер, внезапно выскакивавший из глухих ущелий, кувыркался по равнинам и весело трепал одежды путников.

Впереди шел Эгаим и громко читал утренние молитвы. За ним следовал Тремограст, могучий и гордый, как царь, и на его лице, таком прекрасном, теперь лежала печать серьезного и вдумчивого торжества.

Юный и хрупкий Элаи не сводил с него мерцающих влюбленных глаз и своим певучим голосом рассказывал об Эгаиме.

Странный человек был Эгаим: он знал удивительные тайны. Из ароматных трав он добывал страшные яды и сладкие, преображающие душу напитки; он даже осмеливался вырывать мандрагору с ее корнями, которые имеют человеческое лицо и кричат зловеще и пронзительно. Он говорил с птицами на их языке и не раз уходил на далекую, пустынную гору совещаться о тайнах с филином. И когда он пел утренние молитвы, уродливые летучие мыши казались прекраснее больших разноцветных бабочек. Звездные знаки говорили ему о прошедшем и будущем.

Так рассказывал Элаи, а Тремограст, изредка взглядывая в его бледное лицо и восторженно горящие глаза, думал, что этот слабый юноша, может быть, умнее мудрого Эгаима и сильнее его, Тремограста. Потому что он походил и на высокие тонкие травы, и на легких голубых птиц, и на утренние звезды.

В полдень решено было сделать привал. Эгаим и Элаи начали устраивать костер, а Тремограст со своим луком и стрелами отправился на охоту. Местность была ему незнакома, и он долго бродил без успеха. Птицы пролетали слишком высоко, и пугливые рыжие суслики торопливо прятались в норы от шороха его шагов. Усталый и раздраженный, он уже хотел вернуться к стоянке, над которой вился приветливый дымок, как вдруг странно-красивая могучая масса, угрожающе фыркая, появилась перед ним из сухого и низкого кустарника. Это был буйвол.

Тремограст затрепетал от радости и, взмахнув дубиной, как тигр, прыгнул ему навстречу. Но буйвол, очевидно, раздумал принять бой и, повернувшись, обратился в дикое бегство, размахивая хвостом и бросая испуганные, свирепые взгляды по сторонам. Тремограст бежал за ним так близко, что чувствовал дрожь земли, ударяемой могучими копытами. Но он не мог уловить момента для удара.

Погоня приближалась к костру, у которого в беспечных позах лежали Эгаим и Элаи. Уже Тремограст кричал им, чтобы они спасались, потому что в своем неудержимом бегстве буйвол мчался прямо на них. Но Элаи, приподнявшись на локте, с любопытством следил

за охотой, а Эгаим, протянув руку к бешеному животному, крикнул какое-то странное слово. Крикнул... и Тремограст покатился через голову, наткнувшись с разбега на мертвую тушу внезапно пораженного буйвола. Он быстро вскочил и с недоуменьем огляделся вокруг себя. Небо было так же прозрачно, далеко кричала какая-то птица, и тяжело валялся мертвый буйвол, на теле которого не было ни одной раны.

Легкая улыбка змеилась на губах Эгаима.

— Охота была удачна, Тремограст, — сказал он, — помоги же мне снять шкуру с нашей добычи. Мясо свирепого буйвола — хорошая пища для воинов.

Тремограст задумчиво принялся за работу, ел лениво и рассеянно и, только когда надо было собираться в путь, промолвил с непривычной застенчивостью: «Теперь я понимаю то, о чем говорил Элаи».

2. КАРТЫ

Что селения наши убогие,
Все пространства и все времена!
У Отца есть обители многие.
Нам неведомы их имена.

Ф. Сологуб

Древние маги любили уходить из мира, погружаться в соседние сферы, говорить о тайнах с Люцифером и вступать в брак с ундинами и сильфидами. Современные старательно подбирают крохи старого знания и полночью, в хмурой комнате, посреди каменного города вещими словами заклинаний призывают к своему магическому кругу духов бесформенных, страшных, но любимых за свою непостижимость.

Волшебный и обольстительный огонь зажег Бодлер в своем искусственном раю, и, как ослепленные бабочки, полетели к нему жадные искатели мировых приключений. Правда, вслед за ними поспешили и ученые, чтобы, как назойливые мухи, испачкать все, к чему прикоснутся их липкие лапки. Восторги они называли галлюцинацией извращенного воображения.

Никто не слушал их перед светом Высшей правды существования иных вселенных и возможности для человека войти в новые нездешние сады.

Виденья магов принадлежат областям нашего подсознательного я, астрального существования, чей центр, по старым книгам, — грудь, материя — кровь и душа — нервная сила.

Искусственный рай рождается скрытыми законами нашего тела, более мистического, чем это думают физиологи. И нам хочется наслаждений боле тонких, более интеллектуальных, радующих своей насмешливой улыбкой небытия. Таким наслаждением являются карты, не игра в них, часто пошлая, часто страшная, нет, они сами, мир их уединенных взаимоотношений и их жизнь, прозрачная, как звон хрустальной пластинки.

Чтобы понять все, что я скажу сейчас, вспомните рисунки Обри Бердслея, его удивительную Саломею, сидящую в бальном платье перед изящным туалетным столиком, и аббата Фанфрелюша в замке Прекрасной Елены, перелистывающего партитуру Вагнера.

Этими певучими гротесками, очаровательными несообразностями художник хотел рассказать людям то, что не может быть рассказано.

И всякий, знающий сложное искусство приближений, угадываний и намеков, радостно улыбнется этим смеющимся тайнам и взглянет нежным взором на портрет Обри Бердслея, как странник, который на чужбине случайно услышал родной язык.

Тот же способ подсказывания и намека я возьму для моей causerie о картах.

Карты, их гармоничные линии и строго-обдуманные цвета, ничего не говорят нам о прошлом, не владеют чарой атавистических воспоминаний; к будущему человечества и нашего сознания они так же великолепно-равнодушны. Они живут теперь же, когда о них думают, особой жизнью, по своим, свойственным только им, законам. И для того, чтобы рассказать эти законы, мне придется перевести их на язык человеческих чувств и представлений. Они много потеряют от этого, но, если кто-нибудь не поленится и в ненастный осенний день раскроет ломберный стол и, разбросав по нему в беспорядке карты, начнет вдумываться в определенную физиономию каждой, я надеюсь, что он поймет их странное несложное бытие.

Тузы — это солнца карточного неба. Черной мудростью мудрый пиковый и надменный трефовый владеют ночью; день принадлежит царственно-веселому бубновому и пронизанному вещей любовью червонному.

Все четыре короля рождены под их влиянием и сохраняют отличительные черты своих повелителей; но они потеряли способность светиться собственным светом, для своего проявления они прибегают к сношениям с картами низшего порядка, они унижаются до эмоций: посмотрите, как пиковый бросает украдкой недовольные взоры на шаловливого юркого мальчишку, своего валета; трефовый упал еще ниже: он тяготеет к бессмысленно-добрым восьмеркам и неуклюжим девяткам. Короли бубновый и червонный стоят много выше, но все же и на них заметна печать оскудения.

Дамы, это вечная женственность, которая есть даже в нездешних мирах, влюблены в заносчивого, дерзкого бубнового валета; каждая сообразно своей индивидуальности. Пиковая обнимает его своими смуглыми худыми руками, и поцелуй змеиных губ жжет, как раскаленный уголек. Трефовая легким знакомым <жестом > приказывает ему приблизиться.

Бубновая, гордая chatelâine, раздувает свои выточенные нервные ноздри и ждет, скрывая любовь и ревность.

И стыдливая червонная счастлива от одной близости этого надменного мальчишки.

Юркий пиковый, положительный трефовый, избалованный бубновый и скверно-развратный червонный — таков мир валетов, мир попоек, драк и жестоких шалостей. Они любят издеваться и бросать нечистоты туда, в нижние ряды карт.

Там, внизу, уже нет жизни, есть только смутное растительное прозябание, бытие цифр, облеченных в одежду знаков. Но личность проглядывает и там. Один мой приятель обратил мое внимание, что пятерка имеет злое выражение. Я пригляделся к ним и заметил то же самое. Если когда-нибудь будет революция знаков против фигур, в этом наверно окажутся виновными пятерки.

Из двоек таинственна только пиковая, хорошо знакомая любителям покера.

3. ВВЕРХ ПО НИЛУ

Листы из дневника

9 мая

Я устал от Каира, от солнца, туземцев, европейцев, декоративных жирафов и злых обезьян. Каждой ночью мне снится иная страна, знакомая и прекрасная, каждой ночью я ясно помню, что мне надо делать, но, просыпаясь, забываю все. Проходят дни, недели, а я все еще в Каире.

11 мая

Завтра решится все. Сегодня на вечере у французского консула я встретил высокого англичанина с надменной линией губ и детски-веселыми голубыми глазами. Мне сказали, что он художник и едет к истокам Нила. И при первом взгляде я понял, что он знает многое. Если вообще тайна жива среди арийских народов, то англичане чаще других владеют ею. Я пригласил его на кофе и с тревогой ждал ответа. Он обещал прийти.

12 мая

— Сигару, мистер Тьери?

— Благодарю, мистер Грант.

— Говорят, в истоках Нила лихорадки и москиты.

— Да, но там есть также священные крокодилы особенной редкой породы, изумрудные.

— Арабы интереснее негров.

— Один нищий дервиш рассказал мне, что в тропических лесах еще могуче племя мудрых эфиопов под властью потомка короля-волхва Балтазара.

— Это вроде романов Райдера Хаггарда.

— Нисколько! Райдер Хаггард был доволен, встречая свирепых работорговцев, увертливых карликов и красивых девушек с белой кожей. Но мы люди тысяча девятьсот шестого года, мы ищем скрытого.

И мы находим тайны там, где Хаггард не увидал бы ничего, кроме высохшей пальмы и больной негритянки.

— Но где же золото, пурпур и роскошь черных царей?

— Вы видите эту золотую монету? Разве она радует Вас; а эти красные шелковые занавески, этот ковер из старой Персии, на котором, быть может, заклинали солнечных духов, все это слишком неискусно скрывает свою тяжелую скуку. И мне кажется, что вот-вот и наши великолепные зданья вдруг раскроются неудержимым, гигантским зевком. Я был бы огорчен, если бы в моем путешествии встретил что-нибудь подобное.

— Что же можно встретить?

— Новое познанье, которое укажет другую сторону всех вещей. Найдите его — и Вы будете изумлены, как Вы могли считать облако атмосферическим явлением, когда оно на самом деле звездокрылая бабочка из царства примитивов Джиото. И кокосовый орех расскажет Вам больше, чем книги всего мира.

— Если Вы позволите, мистер Тьери, я поеду с Вами.

— Тогда надо торопиться, мистер Грант, я выезжаю завтра на рассвете.

24 мая

Мы едем почти две недели и сегодня высадились на берег около маленькой пирамиды, неизвестной туристам. Поблизости не было ни души, и мы вошли в нее без проводника. Лестница вилась, поднималась и опускалась и внезапно окончилась пугающей заманчиво-черной ямой. Мистер Тьери лениво пожал плечами и пошел наверх, а я привязал веревку к выступу скалы и начал спускаться, держа в руке смоляной факел, ронявший огненные капли в темноту. Скоро я добрался до сырого, растреснутого дна и, присев на камень, огляделся. Мой факел освещал только часть пещеры, старую, старую и странно родную.

Где-то сочилась вода. Валялись остатки рассыпавшейся мумии. Мелькнула и скрылась большая черная змея. «Она никогда не видела солнца», — с тревогой подумал я. Задумчивая жаба выползла из-за камня и, видимо, хотела подойти ко мне. Но ее пугал свет факела.

Мне стало вдруг так грустно, как никогда еще не бывало. Чтобы рассеяться, я подошел к стене и начал разбирать полустертую гиероглифическую надпись. Она была написана на очень старом египетском, много старее луврских папирусов. Только в Британском музее я видел такие же письмена. Но, должно быть, благословение задумчивой жабы прояснило мой ум, я читал и понимал. Это не был рассказ о старых битвах или рецепт приготовления мумий. Это были слова, полные сладким пьяным огнем, которые ложились на душу и преображали ее, давая новые взоры, способные понять все.

Я плакал слезами благодарности и чувствовал, что теперь мир переменится, одно слово... и новое солнце запляшет в золотистой лазури и все ошибки превратятся в цветы.

Мой факел затрещал и начал гаснуть. Но я прочитал довольно. Я начал подниматься и при последней вспышке огня опять увидел черную змею, мелькнувшую неясным предостережением, и милые, милые святые буквы.

Я без труда отыскал мистера Тьери, который сидел неподалеку и рисовал мертвого крокодила. При моем приближении он поднял на меня свои детские, незнающие глаза. Я улыбнулся и сказал мое тайное слово, которое я принес из глубин пирамиды. Солнце закружилось, запрыгало и покатилось, как черный шар в бездонность, а на его месте загорелись слова — ты не дочитал, несчастный, и то, что ты сказал, — яд! В ужасе упал я на землю и, как сквозь сон, слышал встревоженный земной голос: «что с Вами, мистер Грант».

17 июня

Три недели пролежал я в сильной нильской лихорадке и только сегодня могу снова приняться за дневник. Мистер Тьери привез меня обратно в Каир и ухаживал за мной, как за ребенком. Но, кажется, он о чем-то догадывается, потому что, когда я сказал ему, что мы должны возвратиться к пирамиде, он начал распространяться о неоплатониках и их солнечных заклинаниях и, наконец, сказал, почти не скрываясь: «Бойтесь задумчивых жаб».

Откуда он знает?

4. РАДОСТИ ЗЕМНОЙ ЛЮБВИ

Три новеллы

Посвящается Анне Андреевне Горенко

Одновременно с благородной страстью, которая запылала в сердце Данте Алигъери к дочери знаменитого Фолько Портинари, называемой ее подругами нежной Беатриче, Флоренция видела другую любовь, радости и печали которой проходили не среди холодных небесных пространств, а здесь, на цветущей итальянской земле.

И для того, кому Господь Бог в бесконечной мудрости Своей не позволил быть свидетелем этого прекрасного зрелища, я расскажу то немногое, что мне известно о любви благородного Гвидо Кавальканти к стройной Примавере.

I

Долго страдая от тяжелого, хотя и сладкого, недуга скрытой любви, Кавальканти наконец решил открыться благородной даме своих мыслей, нежной Примавере, рассказав в ее присутствии вымышленную историю, где истина открывалась бы под сетью хитроумных выдумок, подобно матовой белизне женской руки, сплошь покрытой драгоценными кольцами венецианских мастеров.

Случай — увы! — слишком часто коварный союзник влюбленных — на этот раз захотел помочь ему и устроил так, что, когда Кавальканти посетил своего друга, близкого родственника прекрасной Примаверы, он нашел их обоих беседующих в одной из зал их дома, и, не возбуждая никаких подозрений, мог просить разрешения рассказать рыцарскую историю, будто бы недавно прочитанную им и сильно поразившую его воображение. Его друг высказал живейшее нетерпение выслушать ее, а Примавера, опустив глаза, улыбкой дала понять свое желание, обнаружив при этом еще раз ту совершенную учтивость, которая отличает лиц высокого происхождения и не менее высоких душевных качеств.

Кавальканти начал рассказывать о синьоре, который любил даму, не только не отвечавшую на его чувства, но даже выразившую желание не встречаться с ним совсем, ни на улицах их родного города, ни на собраниях благородных дам, где они показывают свою красоту, ни в церкви во время мессы; как этот рыцарь, с сердцем, где, казалось, все печали свили свои гнезда, скрылся в самый отдаленный из своих замков для странных забав, мучительных наслаждений неразделенной любви. Знаменитый художник из золота и слоновой кости сделал ему дивную статую дамы, любовь к которой стала властительницей его души. Потянулись одинокие дни, то печальные и задумчивые, как совы, живущие в бойницах замка, то ядовитые и черные, как змеи, гнездящиеся в его подвалах. С раннего утра до поздней ночи склонялся несчастный влюбленный перед бездушной статуей, наполняя рыданиями и вздохами гулко звучащие залы. И всегда только нежные и почтительные слова слетали с его уст, и всегда он говорил только о любимой даме. Никто не знает, сколько прошло тяжелых лет, и скоро погасло бы жгучее пламя жесткой жизни и полуослепшие от слез глаза взглянули бы в кроткое лицо вечной ночи, но великая любовь сотворила великое чудо: однажды, когда особенно черной тоской сжималось сердце влюбленного и уста его шептали особенно нежные слова, рука статуи дрогнула и протянулась к нему, как бы для поцелуя. И когда он припал к ней губами, лучезарная радость прозвенела в самых дальних коридорах его сердца, и он встал, сильный, смелый и готовый для новой жизни.

А статуя так и осталась с протянутой рукой.

Голос Кавальканти дрожал, когда он рассказывал эту историю, и он часто бросал красноречивые взгляды в сторону Примаверы, которая слушала, скромно опустив глаза, как и подобает девице столь благородного дома. Но — увы! — его хитрость не была понята, и, когда его друг принялся горько сетовать на жестокость прекрасных дам, Примавера заметила, что, несмотря на всю занимательность только что рассказанной истории, она всем рыцарским романам и любовным новеллам предпочитает книги благочестивого содержания, и в особенности «Цветочки» Франциска Ассизского. Сказав это, она поднялась и вышла с таким благородным достоинством, что к ней можно было приложить слова древних поэтов, воспевающих походку богинь.

Видя столь полную неудачу давно лелеянного плана, Кавальканти ощутил в сердце горькое отчаяние и, не надеясь, что сумеет овладеть собой, попрощался со своим другом, прося его не отягощать себя скукой проводов. Солнце уже село, и по залам плавали сумерки, когда вдруг у самых дверей Кавальканти заметил нежную Примаверу, одну, смущенно наклонившуюся к синеватому мрамору пола. «Я уронила кольцо, — сказала она немного тише обыкновенного, — не хотите ли помочь мне его найти?» И, когда он нагнулся, рука, тонкая, нежная, с бледно-голубыми жилками, будто случайно скользнула по его лицу, но на миг задержалась у губ. И быстрота, с которой он поднял голову, не могла сравниться с быстротой Примаверы, скрывшейся за тяжелой, из французского дуба, дверью. Тогда Кавальканти понял, что он все равно не найдет кольца, как если бы оно упало в пенные воды Адриатического моря, и пошел домой с душой, достигнувшей высшей степени блаженства.

II

Последнее время Кавальканти часто встречался с прекрасной Примаверой то на собраниях, где юноши благородных домов удостаиваются высокой чести быть служителями своих дам, то во время благочестивых процессий, то в доме ее родителей. И ни нежные взгляды, ни тяжелые вздохи или любовные сонеты не могли поколебать того особенно холодного невнимания, с каким Примавера относилась к внушенной ею любви. В то время вся Флоренция говорила о заезжем венецианском синьоре и о его скорее влюбленном, чем почтительном, преклонении перед красотой Примаверы. Этот венецианец одевался в костюмы, напоминающие цветом попугаев; ломаясь, пел песни, пригодные разве только для таверн или грубых солдатских попоек, и хвастливо рассказывал о путешествиях своего соотечественника Марко Поло, в которых сам и не думал участвовать. И как-то Кавальканти видел, что Примавера приняла предложенный ей сонет этого высокомерного глупца, где воспевалась ее красота в выражениях напыщенных и смешных: ее груди сравнивались со снеговыми вершинами Гималайских гор, взгляды с отравленными стрелами обитателей дикой Тартарии, а любовь, возбуждаемая ею, с чудовищным зверем Симлой, который живет во владениях Великого Могола, ежедневно

пожирая тысячи людей; вдобавок размер часто пропадал, и рифмы были расставлены неверно. Но все-таки в минуты уныныя сердце Кавальканти томилось безосновательной, но жгучей ревностью, подобно тому, как благородная сталь военного меча разъедается ржавчиной в холодной сырости старых подвалов.

Задумчивый, чувствуя себя первым в доме печалей, шел он однажды по площади, размышляя о том, чтобы уехать навсегда в далекие страны или просто ударом стилета оборвать печальную нить своей жизни. Был полдень, жаркий и душный. Тихие улицы старинной Флоренции, казалось, дремали в ожидании вечера, когда по ним грациозной вереницей пройдут прекрасные и нежные дамы, а влюбленные юноши, стоя в отдалении, будут опускать пылающие взоры. Кавальканти шел, весь отданный своим черным думам, и, только случайно подняв глаза, заметил Лоренцо, старого нищего, хитрость которого была хорошо известна среди молодежи. Он стерег влюбленных во время их встреч и условленно постукивал костылем, когда приближались нескромные или ревнивцы. Нежные дамы только ему доверяли относить письма, назначая тайные свидания. И сейчас старый Лоренцо с лукавой усмешкой запрятывал что-то в бездонные складки своего шерстяного плаща, а рядом с ним, тщетно стараясь скрыть смущение, стояла стройная Примавера в платье, сверкающем ослепительной белизною.

Столь же острая, сколь и внезапная, мука ревнивого подозрения огненным облаком окутала взоры Кавальканти, и, когда он снова получил возможность владеть своими чувствами, Лоренцо уже скрылся за соседним углом, а Примавера торопливыми шагами направлялась домой. Его присутствие осталось незамеченным обоими. С горьким отчаянием в сердце, чувствуя на лице смертельную бледность, Кавальканти быстро догнал Примаверу и голосом, дрожащим от страха быть прерванным, начал рассказывать, как давно он любит ее, как велики его страдания, и просил, как последней милости, сказать, какому счастливцу старый Лоренцо понес письмо; он выражал надежду, что ее сердце отдано действительно достойному, и клялся умереть сегодня же, никому не открыв доверенной ему тайны.

Примавера шла, не поднимая головы и смущенно перебирая тонкими пальцами ароматные четки, но по мере того, как Кавальканти говорил, ее

губы вздрогнули, щеки покрылись румянцем, и, не дослушав, она принялась отвечать горячо и быстро. Она удивлялась даже мысли, что ею может быть послано письмо. Никогда благородные дамы не решились бы на такой поступок. Так можно думать и говорить разве только о бродячих певицах из Неаполя или о женщинах предместья, с которыми Кавальканти, конечно, очень хорошо знаком. Она не понимала, как осмелился он подойти к ней на улице и даже говорить о своей любви. Разве он не знает, как тяжело и непристойно для благородной дамы выслушивать такие вещи? И, не закончив свою речь, с лицом, розовым от обиды и напоминающим индийский розоватый жемчуг, она скрылась за массивной дверью своего дома.

Полный стыда за свои подозрения и неосновательную ревность, Кавальканти медленно пошел обратно, утешая себя мыслью, что эта нежная дама равно недоступна для всех, и обещая себе в будущем не тревожить ее стыдливости ни вздохами, ни взглядами, чтобы хоть как-нибудь заслужить прощенье своей вины. Из этих размышлений его вывел старый Лоренцо, давно бродивший вокруг его дома, как большая летучая мышь. «От прекрасной Примаверы, — сказал он, осторожно протягивая письмо, — она дала мне за это целый дукат».

III

Немного времени спустя случилось так, что Кавальканти заболел и волею Всевышнего Господа Бога должен был перейти в число граждан вечной жизни. Заплакала стройная и нежная Примавера, роняя частые крупные слезы на положенное в мраморную гробницу тело ее возлюбленного, а благородные синьоры с грустными лицами вспоминали, какие прекрасные вещи сделал отошедший в своем неустанном служении великолепной музе итальянской поэзии; называли его сонеты, баллады и дивную канцону о природе любви. Задумчивая Флоренция одевалась в траур.

Светлый Ангел ввел Кавальканти в райские двери, на которых зеленоватым лучистым золотом были начертаны следующие слова: «Высшая радость, вечное счастье вам, входящие, отныне бессмертные». И сказал Ангел: «Хочешь, я поведу тебя туда, где в свите девушек,

окружающих Деву Марию, находится нежная, как шелковистое облачко, кроткая Беатриче, прелести которой дивятся даже ангелы». И Кавалькантии ответил: «Как мне благодарить тебя, о светоносный! Ты знаешь, чем усладить страдающее сердце. Веди меня к прекрасной Беатриче и дай мне смелости хоть изредка взглядывать на ее сверкающие одежды. Ведь она была подругой Примаверы».

И сказал Ангел: «Хочешь, я поведу тебя туда, где в серебряных рощах рая проходит яркий, как солнце, невинный, как восточная лилия, Иисус Христос; с нежной лаской целует Он всякого вновь приходящего к Нему». И Кавальканти ответил: «Светоносный, твоя благость превосходит все мои ожидания! Я попрошу у Иисуса Христа то золото, которое принесли Ему с востока три мудрых царя, и, сделав узорное кольцо, как жемчужину, возьму я слезу, ночью упавшую из кротких глаз в саду Гефсиманском. И у меня будет, что подарить Примавере, когда она придет».

И сказал Ангел: «Хочешь, я поведу тебя туда, где в Силе и Славе, окруженный легионами светлых духов, восседает на троне Бог Отец? Золотой венец над головой, на плечах золотая мантия, а в ногах лестница, сияющая золотом, по которой ангелы сходят на землю, а души праведников поднимаются к райским блаженствам». И Кавальканти ответил: «Если хочешь исполнить самое сокровенное желание мое, о светоносный, пойдем туда и ускорим наши шаги; и по той золотой лестнице, о которой ты говоришь, я спущусь на землю, где живет моя Примавера».

5. ЗОЛОТОЙ РЫЦАРЬ

Золотым блистательным полднем въехало семеро рыцарей-крестоносцев в узкую глухую долину восточного Ливана. Солнце метало свои лучи, разноцветные и страшные, как стрелы неверных, кони были утомлены долгим путем, и могучие всадники едва держались в седлах, изнемогая от зноя и жажды. Знаменитый граф Кентерберийский Оливер, самый старый во всем отряде, подал знак отдохнуть. И как нежные девушки, ошеломленные неистово-пряным и томящим индийским ветром, бессильные попадали рыцари на голые камни. Долго молчали они,

ясно чувствуя, что уже не подняться им больше и не сесть на коней и что скоро жажда, подобно огненному дракону, свирепыми лапами став им на грудь, перервет их пересохшие горла.

Наконец сэр Гуго Эльвистам, темплиер с душой сирийского льва, приподнявшись на локте, воскликнул: «Благородные сэры и дорогие братья во Христе, вот уже восемь дней, как мы блуждаем одни, отбившись от отряда, и два дня тому назад мы отдали последнюю воду нищему прокаженному у высохшего колодца Мертвой Гиены. Но если мы должны умереть, то умрем, как рыцари, стоя, — и споем в последний раз приветственный гимн нашему небесному Синьору, Господу Иисусу Христу». И он медленно поднялся, с невидящим взором, цепляясь за колючий кустарник, и один за другим начали подниматься его товарищи, шатаясь и с трудом выговаривая слова, как бы упившиеся кипрским вином в строгих и сумрачных залах на торжественном приеме византийского императора.

И странно и страшно было бы на душе одинокого пилигрима или купца из далекой Армении, если бы случайно, проходящие, увидели они семерых безвестно умирающих рыцарей и услышали бы их тихое созвучное пение.

Но внезапно слова их молитвы прервал приближающийся топот коня, звучный и легкий, как звон серебряного меча в ножнах архистратига Михаила. Нахмурились гордые брови молящихся, и их души, уже сдружившиеся с мягким сумраком смерти, омрачились ненужной помехой, а на повороте ущелья появился неизвестный рыцарь, тонкий и стройный, красиво-могучий в плечах, с опущенным забралом и в латах чистого золота, ярких, как блеск звезды Альдебаран. И конь золотистой масти дыбился и прыгал и еле касался копытами гулких утесов.

Голубой герольд на коне белоснежном, с лицом кротким и мудрым, тайно похожим на образ апостола Иоанна, спешил за своим господином. Чудные всадники быстро приближались к умирающим рыцарям, певшим гимн.

Одетый в золото осадил коня и наклонил копье, как перед началом сражения, а герольд, поднимая щит со странным гербом, где мешались лилии и звезды, столпы Соломонова храма и колючие терны, воскликнул слова, издавна принятые для турниров:

«Кто из благородных рыцарей, присутствующих здесь, хочет сразиться с моим господином, пеший или конный, на копьях или на мечах?» И отъехал в сторону, ожидая.

Неожиданно подул откуда-то ветер, принося освежительную прохладу, внезапно окрепли мускулы дотоле бессильных рыцарей, и огненный дракон жажды перестал терзать их горло и грудь, сделался совсем маленьким и с беспокойным свистом уполз в темную расщелину скал, где таились его братья скорпионы и мохнатые тарантулы.

Граф Кентерберийский Оливер первый ответил голубому герольду от имени всех. В речи, изысканно-вежливой, но полной достоинства, он сказал, что они нисколько не сомневаются в благородном происхождении неизвестного рыцаря, но тем не менее желали бы видеть его поднявшим забрало, ибо этого требует старинный рыцарский обычай. Едва он успел окончить свои слова, как тяжелое сияющее забрало поднялось, открывая лицо совершеннейшей красоты, которая когда-нибудь цвела на земле и на небе, глаза, полные светлой любовью, щеки нежные, немного бледные, алые губы, о которых столько мечтала святая Магдалина, и золотую бородку, расчесанную и надушенную самой Девой Марией.

Не посмели догадаться благочестивые рыцари, кто пришел облегчить их страдания и разделить забавы, хотя волна мистического восторга и захватила их души, как ураган в открытом море схватывает оробелых пловцов, чтобы повертев их среди изумрудных брызг и клокочущей пены, бросить на отлогий берег островов неведомого счастья. И, полные чувством благоговения и таинственной любви к своему противнику, они просили его принять дань их уважения перед началом турнира.

Первым выступил герцог Но<р>тумберлендский, но не помогли ему ни руки, бросавшие на землю сильнейших, ни очи, побеждавшие прекраснейших дам при дворе веселого короля Ричарда. Он был выбит из седла и покорно отошел в сторону, удивляясь, что его сердце, несмотря на поражение, поет и смеется. Его товарищей одного за другим постигла та же участь. И когда золотой незнакомец с заразительно-веселым, нежным смехом повалил на землю последнего вышедшего против него, барона Норвичского, огромного и могучего, как медведь Пиренеев, все рыцари согласно решили, что копье их противника не знает себе равного во всем английском войске, а следовательно, и во всем мире.

За турниром должен следовать пир. Так было принято в старой веселой Англии. И захваченные странными чарами рыцари не удивились, когда на месте их копий, воткнутых в трещины скал, поднялись цветущие пальмы с обольстительно спелыми плодами и прозрачный ручеек выбежал из голой скалы, звеня, как бронзовые запястья любимейшей дочери арабского шейха.

Весело пировали утомленные рыцари, говорили о битвах и любви и пели стройные песни, сложенные о них менестрелями.

Было сладко им, заглянувшим в лицо смерти, смотреть на солнце и зелень, каждый глоток плескался радостью в широко открытое сердце, и каждый проглоченный кусок приобщал их к новой жизни.

Золотой победитель сидел с другими и ел, и пил, и смеялся.

А вечером, когда зашептались далекие кедры и тени все чаще и чаще стали задевать своими мягкими крыльями лица сидящих, он сел на коня и углубился в ущелье. Остальные, точно завороженные, последовали, за ним. Там возвышалась широкая и отлогая лестница из белого мрамора с голубыми жилками, ведущая прямо на небо. Тяжко зазвучали на мраморе копыта земных коней, и, легкий, ласкался к ним конь золотистый. Неизвестный рыцарь показывал дорогу, и скоро уже ясно стали различаться купы немыслимо дивных деревьев, утопающих в синем сиянии. Среди них свирельными голосами пели ангелы. Навстречу едущим вышла нежная и благостная Дева Мария, больше похожая на старшую сестру, чем на мать золотого рыцаря, Властительного Синьора душ, Иисуса Христа.

* * *

Через несколько дней английское войско, скитаясь в горах, набрело на трупы своих заблудившихся товарищей. Отуманилось сердце веселого короля Ричарда, и, призвав арабского медика, он долго расспрашивал его о причине смерти столь знаменитых воинов.

— Их убило солнце, — ответил ученый, — но не грусти, король, перед смертью они должны были видеть чудные сны, каких не дано увидеть нам, живым.

6. ДОЧЕРИ КАИНА

Это было в золотые годы рыцарства, когда веселый король Ричард Львиное Сердце в сопровождении четырехсот баронов и бесчисленного количества ратных людей переправился в Святую землю, чтобы освободить гроб Господень и заслужить благосклонность прекрасных дам. Как истинный рыцарь, он прямо шел на врага, но, как мудрый полководец, высылал вперед разведчиков. И во время трудного перехода через горы Ливана для этого был выбран сэр Джемс Стоунгемптон, воин молодой, но уже знаменитый, красотой и веселостью уступавший разве только самому Ричарду. Когда ему сообщили королевский приказ, он проигрывал последний из своих замков длинному и алчному темплиеру и был рад под удобным предлогом отказаться от невыгодной игры. Быстро вскочил он на уже оседланного коня, выслушал последние указания и галопом помчался по узкой тропинке, оставляя за собой медленно двигающееся войско.

Прекрасна для смелого сердца дорога над пропастями. От мерного звона копыт срываются камни и летят в пустоту, а путнику кажется, что вот-вот оборвется и он, и сладко будет его паденье. На соседних вершинах хмурится густой кустарник: наверно, странные звери скрываются там. Охваченные головокружением, бешеные скатываются водопады. Все стремится вниз, как будто в глубинах земли изумрудные гроты и опаловые галереи, где живет неведомое счастье.

Сэр Джемс скакал, напевая, и веселая улыбка скользила по его юношеским красивым губам. Не всякому достается великая честь быть передовым, и не всех ожидают в старом замке над Северным морем стройные невесты с глазами чистыми и серыми, как сталь меча. Да и не у всякого могучее сердце и могучие руки. Сэр Джемс знал, что очень многие завидуют ему.

Вечерело, и сырые туманы выходили из пещер, чтобы побороться с неуклонно стремящимся к западу солнцем. От низких жирных папоротников поднимался тяжелый запах, как в подземелье, где потаенно творятся недобрые дела. Чудилось, что все первобытные и дикие чары ожили вновь и угрюмо выслеживают одинокого путника. Вспомнились страшные рассказы о чудовищах, еще населяющих эти загадочные горы.

Конь под сэром Джемсом храпел тяжело и быстро, каждый шаг его был ужас, и на его атласисто-белой шкуре темнели пятна холодного пота. Но вдруг он застыл на мгновенье, судорожная дрожь пробежала по стройному телу, и, заржав, закричав, почти как смертельно раненый человек, он бросился вперед, не разбирая дороги. А позади сэр Джемс услышал мягкие и грузные прыжки, тяжелое сопенье и, обернувшись, увидел точно громадный живой утес, обросший рыжей свалявшейся шерстью, который гнался за ним уверенно и зловеще. Это был пещерный медведь, может быть, последний потомок владык первобытного мира, заключивший в себе всю неистовую злобу погибшей расы. Сэр Джемс одной рукой вытащил меч, а другой попробовал осадить коня. Но тот мчался по-прежнему, хотя безжалостные удила и оттянули его голову так далеко, что всадник мог видеть налитые кровью глаза и оскаленную пасть, из которой клочьями летела сероватая пена. И, не отставая, не приближаясь, неуклонно преследовало свою добычу чудовище со зловонным дыханьем.

Никто не мог бы сказать, как проносились они по карнизам, где не пройти и дикой кошке, перебрасывались через грозящие пропасти и взлетали на отвесные вершины. Мало-помалу темный слепой ужас коня передался и сэру Джемсу. Никогда еще не видывал он подобных чудовищ, и мысль о смерти с таким отвратительным и страшным ликом острой болью вцепилась в его смелое сердце и гнала, и гнала.

Вот ворвались в узкое ущелье, вот вырвались.

И черная бездна раскрылась у них под ногами. Прыгнул усталый конь, но оборвался и покатился вниз, так что слышно было, как хрустели его ломаемые о камни кости. Ловкий всадник едва успел удержаться, схватясь за колючий кустарник.

Для чего? Не лучше ли было, если бы острый утес с размаха впился в его высокую грудь, если бы пенные воды горных потоков с криком и плачем помчали холодное тело в неоглядный простор Средиземного моря?! Но не так судил Таинственный, Сплетающий нити жизни.

Прямо перед собой сэр Джемс увидел тесную тропинку, пролегавшую в расщелине скал. И, сразу поняв, что сюда не пробраться его грузному преследователю, он бросился по ней, разрывая о камни одежду и пугая мрачных сов и зеленоватых юрких ящериц.

Его надежда оправдалась. И по мере того, как он удалялся от яростного рева завязшего в скалах зверя, его сердце билось ровнее, и щеки снова окрасились нежным румянцем. Он даже усмехнулся и вспомнив о гибели коня, подумал: не благороднее ли было бы вернуться назад и сразиться с ожидавшим его врагом.

Но от этой мысли прежний ужас оледенил его душу и странным безволием напоил мускулы рук. Сэр Джемс решил идти дальше и отыскать другой выход из западни, в которую он попал.

Тропинка вилась между каменных стен, то поднималась, то опускалась и внезапно привела его на небольшую поляну, освещенную полной луной. Тихо качались бледно-серебряные злаки, на них ложилась тень гигантских неведомых деревьев, и неглубокий грот чернел в глубине. Словно сталактиты, поднимались в нем семь одетых в белое неподвижных фигур.

Но это были не сталактиты. Семь высоких девушек, странно прекрасных и странно бледных, со строго опущенными глазами и сомкнутыми алыми устами, окружали открытую мраморную гробницу. В ней лежал старец с серебряной бородой, в роскошной одежде и с золотыми запястьями на мускулистых руках.

Был он не живой и не мертвый. И хотя благородный старческий румянец покрывал его щеки и царственный огонь мысли и чувства горел, неукротимый, в его черных очах, но его тело белело, как бы высеченное из слоновой кости, и чудилось, что уже много веков не знало оно счастья движенья.

Сэр Джемс приблизился к гроту и с изысканным поклоном обратился к девушкам, которые, казалось, не замечали его появления: «Благородные дамы, простите бедному заблудившемуся путнику неучтивость, с которой он вторгся в ваши владения, и не откажите назвать ему ваши имена, чтобы, вернувшись, он мог рассказать, как зовут дев, прекраснее которых не видел мир».

Сказал — и тотчас понял, что не с этими словами следовало приближаться к тем, у кого так строги складки одежд, так безнадежны тонкие опущенные руки, такая нездешняя скорбь таится в линиях губ, и склонил голову в замешательстве. Но старшая из дев, казалось, поняла его смущенье и, не улыбнувшись, не взглянувши, подняла свою

руку, нежную, как лилия, выросшая на берегах ядовитых индийских болот.

И тотчас таинственный сон окутал очи рыцаря.

На сотни и сотни веков назад отбросил он его дух, и, изумленный, восхищенный, увидел рыцарь утро мира.

Грузные, засыпали гиппопотамы под тенью громадных папоротников, и в солнечных долинах розы величиною с голову льва проливали ароматы и пьянили сильнее самосских вин. Вихри проносились от полета птеродактилей, и от поступи ихтиозавров дрожала земля. Были и люди, но немного их было.

Дряхлый, всегда печальный Адам и Ева с кроткими глазами и змеиным сердцем жили в убогих пещерах, окруженные потомством Сифа. А в земле Нод, на высоких горах, сложенное из мраморных глыб и сандалового дерева, возвышалось жилище надменного Каина, отца красоты и греха. Яркие и страстные, пробегают перед зачарованными взорами его дни.

В соседнем лесу слышен звон каменных топоров — это его дети строят ловушки для слонов и тигров, перебрасывают через пропасти цепкие мосты. А в ложбинах высохших рек семь стройных юных дев собирают для своего отца глухо поющие раковины и бдолах, и оникс, приятный на взгляд. Сам патриарх сидит у порога, сгибает гибкие сучья платана, острым камнем очищает с них кору и хитро перевязывает сухими жилами животных. Это он делает музыкальный инструмент, чтобы гордилась им его красивая жена, чтобы сыновья распалялись жаждой состязанья, чтобы дочери плясали под огненным узором Южного Креста. Только когда внезапный ветер откидывает на его лбу седую прядь, когда на мгновенье открывается роковой знак мстительного Бога, он сурово хмурится и, вспоминая незабываемое, с вожделеньем думает о смерти.

Мчатся дни, и все пьяней и бессоней алеют розы, и комета краснее крови, страшнее любви приближается к зеленой земле. И безумной страстью распалился старый мудрый Каин к своей младшей дочери Лии. В боренье с собой он уходил в непроходимые дебри, где только бродячие звери могли слышать дикий рев подавляемого любострастного желания. Он бросался в ледяные струи горных ключей, поднимался на неприступные вершины, но напрасно. При первом взгляде невинных

Лииных глаз его душа вновь повергалась в бездонные мечтания о грехе; бледнея, он глядел, как зверь, и отказывался от пищи.

Сыновья думали, что он укушен скорпионом.

Наконец он перестал бороться, сделался ясен и приветлив, как и в прежние дни, и окружил черноглазую Лию коварной сетью лукавых увещаний.

Но Бог не допустил великого греха. Был глас с неба, обращенный к семи девам: «Идите, возьмите вашего отца, сонного положите в мраморную гробницу и сами станьте на страже. Он не умрет, но и не сможет подняться, пока стоите вокруг него вы. И пусть будет так во веки веков, пока ангел не вострубит к последнему освобождению». И сказанное свершилось. Видел рыцарь, как в жаркий полдень задремал Каин, утомясь от страстных мечтаний.

И приблизились семь дев, и взяли его, и понесли далеко на запад в указанный им грот.

И положили в гробницу, и встали на страже, и молчали, только безнадежно вспоминали о навеки покинутом счастье земли. И когда у одной невольная пробегала по щеке слеза, другие строже опускали ресницы и делали вид, что ничего не заметили...

Пошевелился рыцарь и ударил себя в грудь, надеясь проснуться. Потому что он думал, что все еще грезит.

Но так же светила луна — опал в серебряной оправе, где-то очень далеко выли шакалы, и неподвижно белели в полумгле семь девичьих фигур.

Загорелось сердце рыцаря, заблистали его взоры, и, когда он заговорил, его речь была порывиста, как конь бедуинов, и изысканна, как он. Он говорил, что радость благороднее скорби, что Иисус Христос кровью искупил грехи мира. Он говорил, как прекрасны скитанья в океане на кораблях, окованных медью, и как сладка вода родины вернувшемуся. Он звал их обратно в мир. Любая пусть будет его женой, желанной хозяйкой в дедовском замке, для других тоже найдутся преданные мужья, знатнейшие вельможи короля Ричарда. А мудрый Каин, если он действительно так мудр, как рассказывают маги, наверно, примет закон Христа и удалится в монастырь для жизни новой и благочестивой.

Молчали девы, и казалось, не слыхали ничего, только средняя подняла свою маленькую руку, серебряную от луны. И снова таинственный сон подкрался к рыцарю и, как великан, схватил его в свои мягкие бесшумные объятья. И снова открылось его очам прошедшее.

Вот звенят золотые колокольчики на шее верблюдов, попоны из ценной парчи мерцают на спинах коней.

То едет сам великий Зороастр, узнавший все, что написано в старых книгах, и превративший свое сердце в слиток солнечных лучей. Сочетанье звездных знаков назначило ему покинуть прохладные долины Иранские и в угрюмых горах поклониться дочерям Каина. Как царь и жрец, стоит он перед ними, как песни рога в летний вечер, звучит его голос.

Он тоже зовет их в мир. Говорит о долге мира.

Рассказывает, что люди истомились и без их красоты, и без нечеловеческой мудрости их отца. И уходит угрюмо, как волк, от одного взгляда скорбных девичьих глаз. Три глубокие священные морщины ложатся на его доселе спокойном и светлом челе.

Вот вздрагивают камни, смолкают ручьи, бродячие львы покидают трепещущую добычу. Это звон кипарисовой лиры, песня сына богов. Это — Орфей. Именем красоты долго зовет он дев в веселые селенья Эллады, поет им свои лучшие поэмы. Но, уходя одиноко, он больше не играет и не смеется.

Проходят люди, еще и еще. Вот юноша, неведомый миру, но дивно могучий. Он мог бы переменить лицо земли, золотой цепью приковать солнце, чтобы оно светило день и ночь, и заставить луну танцевать в изукрашенных залах его дворца. Но и он уходит, отравленный скорбью, и в гнилых болотах, среди прокаженных, влачит остаток своих дней...

И возопил очнувшийся рыцарь, зарыдал, бросившись лицом в траву. Как о высшем счастье, молил он дев о позволении остаться с ними навсегда.

Он не хотел больше ни седых вспененных океанов, ни прохладных долин, ни рыцарской славы, ни женских улыбок. Только бы молчать и упиваться неиссякаемым мучительным вином чистой девичьей скорби.

В воздухе блеснула горсть жемчужин. Это младшая из дев подняла руку. И рыцарь понял, что ему не позволено остаться.

Как кабан, затравленный свирепыми гигантами, медленно поднялся он с земли и страшным проклятьем проклял чрево матери, носившее его,

и похоть отца, зачавшего его в светлую северную ночь. Он проклял и бури, не разбившие его корабль, и стрелы, миновавшие его грудь. Он проклял всю свою жизнь, которая привела его к этой встрече. И, исступленный, повернулся, чтобы уйти. Но тогда младшая из дев подняла ресницы, на которых дрожали хрустальные слезы, и улыбнулась ему с безнадежной любовью. Сразу умерли проклятья на устах рыцаря, погасли его глаза, и сердце, вздрогнув, окаменело, чтобы не разорваться от тоски. Вместе с сердцем окаменела и его душа. И был он не живой и не мертвый, когда пустился в обратный путь.

Иглы кустарника резали его тело — он их не замечал. Ядовитые змеи, шипя, выползали из темных расщелин — он не удостаивал их взглядом.

И пещерный медведь, который дожидался его возвращения, при звуке его шагов поднялся на задние лапы и заревел так, что спящие птицы встрепенулись в далеком лесу. Чуть-чуть усмехнулся рыцарь, пристально взглянул на чудовище и повелительно кинул ему: «Прочь». И в диком ужасе от странного взгляда отпрыгнул в сторону страшный зверь и умчался косыми прыжками, ломая деревья и опрокидывая в пропасть утесы.

Светало. Небо было похоже на рыцарский герб, где по бледно-голубому были протянуты красновато-золотые полосы. Розовые облачка отделялись от горных вершин, где они ночевали, чтобы, наигравшись, налетавшись, пролиться светлым дождем над пустынею Ездрелона.

Встречный сириец проводил рыцаря до войска короля Ричарда. Обрадовался веселый король возвращенью своего любимца, подарил ему нового коня из собственной конюшни и радостно сообщил достоверные вести о приближении большого отряда сарацин. Будет с кем переведаться мечами! Но удивился, видя, что сэр Джемс не улыбнулся ему в ответ, как прежде.

Были битвы, были и пиры. Храбро дрался сэр Джемс, ни разу не отступил перед врагом, но казалось, что воинская доблесть умерла в его сердце, потому что никогда не делал он больше порученного, словно был не рыцарь, а простой наймит. А на пирах сидел молчаливый, пил, не пьянея, и не поддерживал застольной песни, заводимой его друзьями.

Не мог потерпеть король Ричард, чтобы подрывался дух рыцарства в его отряде, и однажды зашумели паруса, унося к пределам Англии угрюмого сэра Джемса. Он меньше выделялся при дворе королевского брата, принца Иоанна. Тот сам был угрюмый.

Он больше ничем не оскорблялся, но, когда его вызывали на поединок, дрался и побеждал. Чистые девушки сторонились его, а порочные сами искали его объятий. Он же был равно чужд и тем и другим, и больше ни разу в жизни не затрепетало его где-то далеко в горах Ливана, в таинственном гроте окаменевшее сердце. И умер он, не захотев причаститься, зная, что ни в каких мирах не найдет он забвенья семи печальных дев.

7. ЧЕРНЫЙ ДИК

Был веселый малый Черный Дик,
Даже слишком, может быть, веселый...
Н.Г.

I

Бедная и маленькая наша деревушка, и вы, дети, не находите в ней ничего примечательного, но здесь в старину случилось страшное дело, от которого леденеют концы пальцев и волосы на голове становятся дыбом.

Тогда мы, старики, были совсем молодыми, влюблялись, веселились и пили, как никогда не пить вам, уже потому, что между вами нет Черного Дика.

Бог знает, что это был за человек! Высокий, красивый, сильный, как бык, он легко побивал всех парней в округе, а драться он любил. Наши девушки были от него без ума и ходили за ним, как побитые собаки, хотя и знали, что ни за какие деньги не женился бы он ни на одной. Ну, конечно, он и пользовался этим, а мы, другие, ничего не смели сказать, потому что за обиду он разбивал головы, как пустые тыквы, да и товарищ он был веселый. Божился лучше королевского солдата, пил, как шкипер, побывавший в Америке, и, когда плясал, дубовые половицы прыгали и посуда дребезжала по стенам. Не одну светлоглазую скромную невесту выгнали по его вине

брюхатой из дому, и много их, накрашенных, пьяных, погибло под говор разгульных матросов в корабельных доках старого Бервича. А Черный Дик только хохотал да скалил свои белые зубы. Он всегда смеялся.

Мы, другие, до света отправлялись на рыбную ловлю, мерзли, мокли и до крови обдирали руки, вытаскивая тяжелые сети. А он спал до полудня, возился с девушками и, когда мы возвращались, встречал нас на берегу, ожидая, чтобы кто-нибудь предложил угощенье. И если никто не вызывался, он сам требовал его, значительно поглядывая на свои волосатые кулаки и расправляя широкие плечи. Правда и то, что горька и уныла жизнь рыбака и что джин да богохульные, мерзкие песни были нашим единственным развлечением. Церковь даже по большим праздникам была пуста, и какой-то шутник выбил в ней все стекла. Но около того времени, о котором я хочу вам рассказать, старый пастор умер, и нам назначили другого. Этот повел дело иначе. Худой, бритый, с глазами, покрасневшими от занятий, он всюду носил за собой тяжелые книги и читал их, сурово шевеля тонкими губами. Говорят, он учился в Кембридже, и точно, он ничем не походил на обыкновенного деревенского пастора. Женщины боялись его, потому что он говорил только о конце света, Страшном Суде и адском мученье, ожидающем еретиков, развратников и пьяниц.

И когда он услышал о Черном Дике, он объявил, что до тех пор не станет есть ни мяса, ни рыбы, пока не обратит грешника на путь Господа или по крайней мере не избавит от него свой приход.

А Дик поклялся, что скорей отрубит свою правую руку и пойдет просить по дорогам, чем поверит в поповские бредни. Таким образом, между ними завязалась глухая вражда.

Помню, день был пасмурный и печальный. С утра шел дождь, и под ним наши низенькие серые лачужки еще глубже врастали в мокрую землю. Мы, по обыкновению, сидели в таверне и за стаканом дьявольского джина слушали, грубо и завистливо хохоча, как вчера Черный Дик соблазнил еще одну из наших девушек. Вдруг за дверью послышались легкие шаги, умоляющий шепот хозяина, и в комнату вошел пастор, строгий и нахмуренный больше, чем всегда. Мы смолкли, и наши глаза невольно обратились к Черному Дику, как бы ища у него спасенья и защиты.

Пастор быстро подошел к столу и ударом кулака опрокинул еще не начатую кружку джина. Только жалобно вздохнул хозяин, но и он не двинулся, ожидая, что будет дальше.

— Блудники и нечестивцы, — загремел пастор, — вы, которым Господь Бог в неизреченной милости Своей даровал труд, высшее благо Его, и отдых, чтобы прославлять Его совершенство, что делаете вы с вашими душами, за которые предал Себя на распятье Иисус Христос? Вы, купленные для истины такой дорогой ценою, вы снова идете в мрак, и не как язычники, для тех еще может быть прощенье, а как звери, некогда терзавшие тела святых мучеников. Опомнитесь, откажитесь от пьянства и идите домой, где ваши голодные, избитые вами жены плачут кровавыми слезами. А это чудовище, — тут он поднял руки почти к самому лицу Черного Дика, — это чудовище камнями и дубинами прогоните в леса к его братьям-разбойникам и бешеным волкам. Тогда только я смогу молиться о вашем спасенье.

— Ого-го, — ответил Черный Дик, весь бледный от злости, — так вот что ты затеваешь, могильный червяк, бесхвостая крыса, воскресный пискун и плакса, который мешает честным людям забавляться, как им нравится. Нет, товарищи не выдадут Черного Дика, не побьют его камнями, как заблудшего пса, и я сам тут же разобью твою безмозглую голову, где родятся такие сумасбродные мысли.

И он уже поднял тяжелый дубовый табурет, когда в комнату вбежала пасторша, за которой, чтобы избежать драки, потихоньку сбегала жена трактирщика. Она с воплем бросилась к мужу, который, слегка бледный, спокойно стоял перед разъяренным Диком, и, схватив его за руки, принялась тащить от нашей компании.

Пастор попробовал сопротивляться, но ее глаза были так испуганы и умоляющи, что он вздохнул и последовал за нею, провожаемый хохотом и насмешками своего врага.

Попойка возобновилась, и каждый из нас делал усилья, чтобы казаться веселым и буйным по-прежнему. Но огненно-строгие слова пастора еще звенели в ушах, и джин был отравлен томительным и неясным страхом. Черный Дик заметил это и нахмурился. Опустив голову, он, казалось, что-то соображал. Но вот на его губах заиграла улыбка, в глазах запылали загадочно-веселые огоньки, и он воскликнул: «Товарищи, а ведь

пастор-то говорил правду. Сколько времени мы пьянствуем и скандалим и до сих пор ничего не сделали для Бога».

Тут он с шутовским раскаянием поднял глаза в потолок и воскликнул так, что все кругом засмеялись: «Даром что редкий из нас не насчитывает в роду висельника или проститутки, мы должны быть рыцарями церкви и побеждать дьявольские козни. Меня вам нечего преследовать. Я рожден крещеными родителями, и, если бы не пропил мой серебряный крестик, он доныне болтался бы на моей груди. Лучше вспомните чертову девочку на Большом Острове. Вот где грех, за который нам уже наверняка не миновать когтей дьявола».

Мы все знали, о чем он говорил, и с недоумением поглядывали друг на друга.

II

В полумиле от нашей деревни был остров, угрюмый и пустынный, на котором совсем одна жила странная девочка. Она была дочерью бедной помешанной, давно бродившей по грязным задворкам, а отца ее никто не знал. Только старые бабы говорили, что это был сам морской дьявол. Но девочка была хорошенькая, с кроткими голубыми глазками, и иногда слышали, как она пела своим нежным голоском песни, в которых нельзя было разобрать слов. Хотя ей было уже двенадцать лет, но она не умела говорить, потому что жила на острове совершенно одна, как чайка, питаясь мелкими рыбками и моллюсками, да изредка хлебом, который ей привозила ее безумная мать вместе с кое-каким тряпьем, чтобы одеться. Мы так привыкли к ее существованию, что почти никогда не воспоминали о нем, и поэтому слова Черного Дика и удивили и заинтересовали нас. Он, видя общее внимание, подбоченился и, комически подражая пастору, продолжал: «Да, товарищи, прилично ли христианам жить в соседстве дьявольского дитяти? Недаром еще недавно, когда мы кончили бочку старого эля, всю ночь мне казалось, что меня мучат демоны и чугунными молотками выбивают на моем черепе такт для своей сатанинской пляски. И хотя думают, что это я разбил церковные стекла, но, клянусь вам дохлой собакой, это бил не я. Всему виной проклятая девчонка. Довольно ей жить, как крысе, на острове и

беседовать по ночам со своим мохнатым папашей. Привезем ее сюда и окрестим кружкой доброго вина. По крайней мере еще славная девка прибавится в нашем селе»

— Правда, правда, — дружно загалдели мы, радуясь новой, еще не виданной штуке.

И так как наши головы шумели и щеки пылали от джина, мы шумно и беспорядочно начали приготовленья к охоте. Хватали багры, сети, пустые ведра, чтобы бить в них во время облавы.

— Как перепелку, поймаем, — приговаривал Черный Дик, улыбаясь недоброй улыбкой.

Он распоряжался всем и был спокоен, как будто ничего не пил в тот день. Что-то странное и хищное уже тогда начало появляться в его движеньях, но мы в суматохе не обращали на это внимания.

— Пьяницы, — увещевала нас жена трактирщика, — мало вам гадостей, что вы делали до сих пор. Ребенка не можете оставить в покое. С дубьем и камнями, как на дикого зверя, идете на невинное дитя.

— Молчи, старая колдунья, — ответил ей Черный Дик, — и смотри, как бы тебя самое не искупали на морозе в святой воде.

И она, обозленная, ушла за перегородку.

Мы вышли на улицу и гурьбой направились к берегу, где стояли наши лодки. Дождь прекратился, было свежо и весело, и бледное солнце заставляло светиться большие серые лужи. Внезапно мы услышали крик и, обернувшись, увидели бегущую за нами сумасшедшую. Кто-нибудь сказал ей об опасности, угрожающей ее ребенку, или она догадалась сама, но только она цеплялась за нашу одежду и то целовала ее с униженными просьбами, то разражалась угрозами и проклятиями и потрясала в воздухе почерневшими костлявыми руками.

Ее увели, и мы отчалили.

Хотя ветер и соленые брызги волн и освежили наши разгоряченные головы, но темная бешеная жажда травли с каждым мигом росла в наших угрюмых сердцах и наконец совсем задушила смутные шепоты совести. Подплывая к острову, мы, значительно переглянувшись, понизили голос, гребли бесшумно, но уверенно и придвигали к себе багры и сети. Наконец пристали и осторожно, как волки, идущие на добычу, поднялись наверх и огляделись.

Было ясно, что остров действительно служил любимым местом нечистой силы. Глянцевитые черные камни, которые издали можно было счесть за спящих черепах, при нашем приближении принимали вид чудовищных распластанных жаб, и их трещины кривились в неистово хохочущие рожи. Кое-где они были поставлены стоймя и сложены в причудливые фигуры. Мы называли их дольменами и знали, что это постройки древних мохнатых жителей страны, которые никогда не слышали об Иисусе Христе, но зато ездили на белоснежных морских конях и дружили с демонами морскими, равнинными и горными. Эти древние серые мхи, наверно, видели их и в лунные ночи часто вспоминают багровое зарево их костров. И нам стало жутко и весело. Долго мы блуждали по острову, шевелили руками кустарник и заглядывали в неглубокие пещеры — глубоких мы все-таки боялись, — когда наконец легкий свист Черного Дика известил нас, что добыча открыта. Соблюдая всевозможную осторожность, мы приблизились к нему и увидели под большой скалой, у самого моря, уютно сидящую девочку. Закрытые глаза и ровное дыхание показывали, что она спала.

Но она быстро говорила что-то милое и невнятное, а перед ней в воде, пронизанной бледными лучами заходящего в тумане солнца, прыгали и плясали большие серебряные рыбы. В такт ее голоса они то крутились на одном месте, то выскакивали из воды, плескаясь и блестя, как подброшенные шиллинги. Толстый красновато-серый краб щипал пучок нежных белых цветов, который она уронила подле себя. И пена, подбегая к ее голым ножкам, слегка щекотала ее и заставляла задумчиво улыбаться во сне. Мы молчали, очарованные странной картиной.

Но вот Черный Дик прыгнул и крепко обхватил тело девочки, едва прикрытое жалкими лохмотьями. Она сразу проснулась и, молча, со сжатыми губами и широко раскрытыми глазами, как ласточка, принялась биться в его руках. А он, позабыв о нашем присутствии, уже начал дышать тяжело и хрипло и, бесстыдно глядя на нее, прижимал к себе, как любовницу. Но тут мы в один голос потребовали, чтобы девочку отвезли в селенье.

— Место нечистое, — говорили мы, — может быть, сейчас кто-нибудь мохнатый и свирепый уже крадется за этими утесами, чтобы защитить

свою любимицу и погубить наши христианские души. Лучше вернуться и за доброй кружкой джина или пенного эля окончить нашу затею.

Черному Дику пришлось уступить, и он сам отнес по-прежнему безмолвную и дрожащую девочку в свою лодку.

III

Наше возвращение было торжественно. Гребли уже не скрываясь и, нарочно вспенивая потемневшую вечернюю воду, стучали баграми и ведрами и дикими песнями пугали запоздалых чаек. Этим безумным весельем мы старались заглушить уже начинавшееся тяжелое беспокойство. Глаза Черного Дика были круглы и зловещи по-волчьи, и видно было, что он не отпустит девочки, пока не насытит с нею свои бешеные желанья. Мы боялись его глаз. На берегу нас ожидал пастор. За один вечер он осунулся и постарел на несколько лет. От его прежнего решительного вида не осталось и следа, и, когда он начал говорить, его голос зазвучал смиренно и жалобно.

— Я виноват перед тобою, Дик, — сказал он, — и виноват перед вами, мои друзья, когда отрывал вас от ваших забав и призывал к насилью. Всякому дана своя судьба, и не подобает нам, ничего не знающим людям, своевольно вмешиваться в дело Божьего Промысла. Своей гневной речью я совершил великий грех и заплачу за него долгим раскаяньем. Но мое сердце обливается кровью, когда я подумаю, что и вы готовы совершить тот же грех. Зачем вы поймали это несчастное созданье, что вы хотите делать с ребенком? Не может существо, созданное по образу Бога, родиться от дьявола. Да и дьявол живет только в озлобленном сердце. Отпустите же эту девочку обратно на остров, где она жила, никому не делая зла, или лучше отдайте ее пасторше, которая воспитает ее в христианской вере, как родную дочь.

— Шутки — возопил Черный Дик. — Не слушайте его, товарищи, он тоже хочет попробовать, нежна ли кожа у маленьких девчонок. Лучше мы окрестим ее по-своему, и пусть сегодня ночью она в первый раз поспит на людской постели, а я, как добрый христианин, не дам ей соскучиться. После и вы примете участие в этом богоугодном деле, если ваши жены не выцарапают вам глаза.

И, не обращая внимания на пастора, он перекинул девочку через плечо, как тюк, и бегом пустился к своему дому. Мы с хохотом последовали за ним. У дверей Дик остановился и стал отпирать. Но его ноша мешала ему, и он с проклятьем обеими руками схватился за замок. Девочка воспользовалась этим и, вывернувшись, как кошка, проскользнула мимо нас и помчалась к берегу, прижимая свою грудь, измятую объятиями Дика.

— Лови, лови! — завыли мы и бросились в погоню.

Черный Дик несся впереди всех, и видны были только его широкая спина и худощавые мускулистые ноги, делавшие огромные прыжки. Но девочка приняла неверное направление и, вместо того, чтобы бежать к отлогому пляжу, она приближалась к скалам, которые на много метров возвышались над морем. Только в последнюю минуту она поняла свою ошибку, но не смогла остановиться и, жалобно взмахнув руками, покатилась в пропасть. Только мелькнуло белое тело да затрещали внизу кусты. Дик протяжно завыл и прыгнул вслед за ней. Мы остановились в тревоге, потому что хотя и знали, как хорошо он прыгал, но нас смутил его странный, совсем нечеловеческий вой. Сразу опомнившись, мы стали поспешно спускаться, решая положить конец слишком затянувшейся шутке. Было уже темно, и над морем вставала бледная и некрасивая луна. Наши ноги скользили по мокрым камням, и колючий кустарник резал лица. Наконец на самом дне мы увидели белое пятно и узнали девочку с разбитой головой и грудью, из которых текла кровь; но Дика не было нигде.

Мы приблизились к разбившейся и вдруг отступили, похолоденев от неожиданного ужаса. Перед ней, вцепившись в нее когтистыми лапами, сидела какая-то тварь, большая и волосатая, с глазами, горевшими как угли. С довольным ворчанием она лизала теплую кровь, и, когда подняла голову, мы увидели испачканную пасть и острые белые зубы, в которых мы не посмели признать зубы Черного Дика. С безумной смелостью отчаяния мы бросились на него, подняв багры. Она прыгала, увертывалась обливаясь кровью, злобно ревела, но не хотела оставить тела девочки. Наконец, под градом ударов, изуродованная, она свалилась на бок и затихла, и тогда лишь, по обрывкам одежды, могли мы узнать в мертвом чудовище веселого товарища — Черного Дика.



И.Ф. Анненский. 1900-е гг.

8. ПОСЛЕДНИЙ ПРИДВОРНЫЙ ПОЭТ

Он был ленив, этот король нашего века, ленив и беспечен не меньше, чем его предки; и он никак не мог собраться подписать отставку и приличную пожизненную пенсию старому поэту, сочинявшему оды на торжественные случаи придворной жизни. А сам поэт упорно не хотел уходить.

Когда рождался или умирал кто-нибудь из королевской семьи, приезжал чужеземный посол или заключался союз с соседней державой, после всех обычных церемоний двор сходился в тронную залу, и хмурый, вечно чем-то недовольный поэт начинал свои стихи. Странно звучали обветшалые слова и вышедшие из моды выражения, и жалок был парик, пудреный, старинного фасона, посреди безукоризненных английских проборов и величаво сияющих лысин. Аплодисменты после чтения тоже были предусмотрены этикетом, и, хотя хлопали только концами затянутых в перчатки пальцев, все-таки получался шум, который считали достаточным для поощрения поэзии.

Поэт низко кланялся, но лицо его было хмуро и глаза унылы, даже когда он получал из королевских рук обычный перстень с драгоценным камнем или золотую табакерку.

Потом, когда начинался парадный обед, он снимал свой парик и, сидя посреди старых сановников, говорил, как и те, о концессиях на железные дороги, о последней краже в министерстве иностранных дел и очень интересовался проектом налога на соль.

И, отдав, как это было установлено, королевский подарок казначею взамен крупной суммы денег, он возвращался в свой большой и неуютный дом, доставшийся ему от отца, тоже придворного поэта; покойный король сделал эту должность наследственной, чтобы раз навсегда установить в ней порядок и отстранить от нее выскочек.

Дом был угрюм и темен, как душа его владельца. По вечерам освещался только кабинет, где на стенах вместо книг были расставлены витрины с редкими старинными табакерками. Старый поэт был страстным коллекционером.

Давно, давно он был женат, и тогда в этом доме шелестели шелковые платья, тонкие руки с любовью переворачивали страницы красиво пере-

плетенных книг и стенные гобелены удивлялись розовости кожи в легком вырезе пеньюара. Но и года не могла прожить здесь жена придворного поэта: убежала с каким-то молодым и неизвестным художником. Поэт начал поэму в мрачном байроновском стиле, где должно было говориться о счастье мести, но как раз в это время умер двоюродный дядя короля, потребовалось написать по этому поводу элегию, и после уже не было охоты возвращаться к начатой поэме.

Потянулись года, строгие и скучные, как затянутые в мундир камергеры, и единственными событиями, которых были приобретения все новых и новых табакерок.

И хотя всякий знает, что чем дольше затишье, тем сильнее гроза, все же, если бы придворному поэту предсказали, как кончится его служба, он нахмурился бы еще мрачнее, негодующим презрением отвечая на предсказание как на неуместную шутку.

Началом всего, конечно, надо считать парадный обед по случаю приезда испанского принца, когда в числе приглашенных, сидевших вблизи поэта, был сановник прошлого царствования — дряхлый, седой и беззубый. Он почему-то очень заинтересовался предыдущим чтением стихов, которых он, конечно, не мог слышать из-за своей глухоты, и долго говорил, что в них надо переделать предпоследнюю строчку, а потом, вдруг захихикав, повторил остроту, услышанную им, должно быть, от его правнука, что поэтов решено заменить граммофонами.

Поэт, слушавший его рассеянно и мечтавший присоединиться к соседнему разговору о функциях нового ордена, может быть и простил бы старику его дерзкую шутку, если бы не заметил, что король глядит в их сторону и смеется. Он ответил зло и резко и тотчас по окончании обеда возвратился домой, раздраженный более обыкновенного. А на следующее утро в его сердце созрело твердое решение. Его слуга целый день бегал по книжным магазинам, покупая для него стихи других поэтов, «городских», как прежде он их называл с презрительной усмешкой. И два месяца в кабинете с забытыми ныне табакерками шла напряженная и тайная работа. Придворный поэт учился у своих младших братьев и перебивал манеру письма.

А при дворе было все спокойно, и никто не подозревал, что готовится в хмуром доме на краю города. Влюблялись и ссорились, низ-

копоклонничали и совершали подвиги благородства, но искренне думали, что поэзия — это только пережиток старинных слишком торжественных обычаев. Наконец наступил знаменательный день. Принцесса крови выходила замуж, понадобились стихи, и об это дали знать придворному поэту.

Он явился угрюмый и нелюдимый, как всегда; только наблюдательный взгляд мог заметить что-то новое в легкой недоброй усмешке, трепетавшей в концах его губ, и в особенной нервности, с которой он сжимал приготовленные стихи. Но кому было дело до него и до перемены его настроения? Для молодежи он был слишком стар, а сановники высших степеней, несмотря на всю свою учтивость, не могли смотреть на него как на равного.

Приступили к церемонии. Величавый священник изящно и быстро совершил обряд венчания, иностранные послы приложились к руке новобрачной, и поэт, бледный, но решительный, начала чтение. Смутный шепот пробежал в толпе придворных. Даже самые молодые, вечно в кого-нибудь влюбленные фрейлины с удивлением подняли головы и прислушались.

Как? Где же обращения к богу ветров, к орлам, изумленному миру и прочие цветы старинного красноречия? Стихи были совсем новые, может быть прекрасные, но во всяком случае не предусмотренные этикетом. Похожие на стихи городских поэтов, столь нелюбимых при дворе, они были еще ярче, еще увлекательнее, словно долго сдерживаемый талант придворного поэта вдруг создал все, от чего он так долго и упорно отрекался. Стремительно выбегали строки, нагоняя одна другую, с медным звоном встречались рифмы, и прекрасные образы вставали, как былые призраки из глубины неведомых пропастей. Взоры старого поэта сверкали, как у парящего орла, и, как орлиный крик, звучал его голос.

Какой скандал! В присутствии всего двора, в присутствии самого короля осмелиться прочитать хорошие стихи! Ни у кого не хватило духа аплодировать. Сурово перешептывались камергеры, молодые камер-юнкеры принимали утрированно-солидный вид, и шокированный дамы с негодующим удивлением поднимали тонко вырисованные брови. А король недовольным жестом отложил в сторону уже приготовленный для награды перстень.



Анна Андреевна Горенко (Ахматова). 1900-е годы.

Одинокий, словно зачумленный, вышел придворный поэт, не дожидаясь окончания торжества, и слышал, как великий канцлер приказывал секретарю приготовить указ об его отставке.

Но зато как сладко было возвращаться домой и остаться совсем одному. С гордостью ходил он по анфиладе вечерних зал и то громко декламировал свои последние стихи, то с лукавой старческой усмешкой поглядывал на книги городских поэтов. Он знал, что он не только сравнялся с ними, но и превзошел их. Наконец, желая поделиться с кем-нибудь своей радостью, он написал письмо своей жене — первое со времени их разрыва. С выражениями полного торжества он говорил, что наконец-то ему не аплодировали; сообщал о своей отставке, приложил список стихов и в конце добавил с вполне понятной гордостью: «И такого человека — ты покинула!»

9. ПРИНЦЕССА ЗАРА

— Ты действительно из племени Зогар, что на озере Чад? — спросила старуха, когда ее спутник вступил в полосу лунного света.

Не отвечая, он откинул ткань, скрывавшую его лицо и грудь, и перед старухой открылись могучие мускулы под темной бронзовой кожей родившегося в Африке араба. Открылся и священный знак на лбу, даваемый только особенно важным посланцам. Он успокоил подозрительность старческих дум.

— Ну, хорошо, — бормотала старуха, — я знаю, что людям из племени Зогар можно верить. Это не то что наши занзибарские молодцы. Их бы уж я не повела в покои принцессы Зары. Что для них дочь великого бея? Товар, каким они нагружают свои суда для отправки в Константинополь. Но ты показал мне амулет, который заставил биться мое старческое сердце. Ведь я тоже с озера Чад. Да и червонцы твои звончей и полновеснее наших, сплошь опиленных иерусалимскими ростовщиками.

Ее спутник не отвечал ни слова, был бледен и, казалось, напряженно думал о чем-то. Они осторожно крались вдоль стены по мощенному белыми плитами двору занзибарского дворца.

Где-то совсем около них, невидимый, глухо клокотал океан, и неподвижный воздух тропической ночи был напоен его свежим дыханием Лунный свет серебряными полосами ложился на влаге черных бассейнов и отсвечивался в каплях, застывших на розовом мраморе ступеней. Звезды наклонялись близко-близко и были лживы и уверенны, как очи девушки, которая согрешила и хочет скрыть свой позор. Зачем в этот мир роскоши и греха пришел обитатель широких равнин и зеленых дебрей, воин стройный в ожерелье из львиных зубов?

Давно спутаны страницы в книге судеб, и никто не знает, какими удивительными путями придет он к своей гибели.

Вот перед путниками зачернела арка и маленькая дверь, ведущая в девичью половину гарема. Два условных удара бронзовым молотком, сверкающие зрачки молодой негритянки, и они вошли. Было тускло красноватое пламя светильника, но и оно позволяло разглядеть сказочное богатство персидских ковров, украсивших стены и пол, сиденья сандалового дерева с инкрустациями слоновой кости, небрежно брошенные музыкальные инструменты и фразы святого Корана, зеленой эмалью начертанные на золотых щитах.

Неподвижный и легкий, стоял аромат мускуса, индийских духов и юного девичьего тела. Принцесса Зара, вся закутанная в шелка, сидела на низкой и широкой тахте. Казалось, не для любви, а для чего-то высшего были созданы ее неподвижные, точно из коралла вырезанные губы, слишком тонкий стан и прекрасные глаза с их загадочно-печальным взглядом. На руках, обнаженных по локоть, позванивали золотые чеканенные браслеты, и узкий обруч поддерживал роскошную тяжесть темных кудрей. Статный пришелец понял, что он не ошибся, придя сюда.

Склонившись, срывающимся от волнения голосом он просил принцессу удалить женщин, потому что только наедине он мог открыть ей свою великую тайну, от дымных озер и опасных долин приведшую его в Занзибар. Ничего не ответила Зара, но старуха заторопилась, увлекая за собой невольницу.

— Не бойся ничего, дитя мое, — шептала она принцессе, — он не сделает тебе дурного. Людям из племени Зогар можно верить.

И скрылась, подобострастная, с успокоительными подмигиваниями и смешками, и, как покорная собака, последовала за ней негритянка.

Пришелец и Зара остались одни.

— Кто ты, — спросила Зара тихо, так тихо, что можно было только догадаться о красоте и звучности ее голоса, — кто ты и зачем ты пришел?

И, содрогнувшись, ответил ей высокий пришелец:

— Я из племени Зогар, с великого и священного озера Чад. Младший сын вождя, я считался сильным среди сильных, отважным среди отважных. В ночных битвах я не раз побеждал рыкающих золотогривых львов, и свирепые пантеры, заслыша мои шаги, прятались, боязливые, в глухих оврагах. Смуглые девы чужих племен не раз звонко рыдали над трупами павших от моей руки. Но однажды не военные барабаны загрохотали над равниной, люди племени Зогар сошлись на холм, и великий жрец, начертав на моем лбу священный знак посланника, указал мне путь к тебе. По течению реки Шари я прошел в область Ниам-Ниам, где низкорослые безобразные люди пожирают друг друга и молятся богу, живущему в черном камне. Ядовитые туманы Укереве напоили мое тело огнем лихорадки, около Нгези я выдержал бой с громадной змеею, люди Ньязи сорок дней гнались за мной по пятам, пока наконец слева от меня не засверкали серебряные снега Килима-Нджаро. И восемь раз полумесяц становился луной, прежде чем я пришел в Занзибар.

Высокий пришелец перевел дыхание, и Зара молчала, только взглядом простым и усталым спросила его:

— Зачем?

И он продолжал:

— Верно Пророку племя Зогар, и милостив к нему Пророк. Дивным счастьем одарил он его. В наших лесах живет Светлая Дева, любимейшее создание Аллаха, радость и слава людей. По природе единая и божественная, она не умирает, но иногда оставляет свою прежнюю оболочку, является в другой среди бедных человеческих селений, и тогда великий жрец указывает, где можно ее искать. За ней отправляется славнейший из племени, открывает ей ее высокое назначение и уводит в царство изумрудных степей и багряных закатов. Там живет она в счастливом уединении. Только случайно можно увидеть ее. Но мы молимся ей

невидимой, как залогу высшего достоинства, которое праведные получат в садах Аллаха. Потому что если мужчины сильны и благочестивы, жены прекрасны и верны, то только у непорочных девушек есть крылья широкие и белоснежные, хотя и не замечаемые земным взором. Их голос — как лютня старинных поэтов, их взоры прозрачны, как влага источника, в изгнанье утолившего жажду Пророка. Они выше гурий, выше ангелов, они как души в седьмом кругу райских блаженств.

Снова замолчал пришелец, и не отвечала Зара, только взгляд ее стал загадочен и непроницаем, как те звезды, что светили пришельцу в его пути. Но, захваченный своей великой мыслью, ничего не заметил красивый араб; он продолжал:

— Называющая себя принцессой Зарой, ныне великий жрец указал на тебя. Это ты — Светлая Дева лесов, и я зову тебя к твоим владениям. Легконогий верблюд царственной породы с шерстью шелковой и белой, как молоко, ждет нас, нетерпеливый, привязанный к пальме. Как птицы, будем мы мчаться по лесам и равнинам, в быстрых пирогах переплывать вспененные реки, пока перед нами не засинеют священные воды озера Чад. На берегу его есть долина, запрещенная для людей. Там рощи стройных пальм с широкими листами и спелыми оранжевыми плодам теснятся вкруг серебряных ручьев, где запах ирисов и пьяного алоэ. Там солнце, ласковое и нежное, не дышит зноем, и его сияние сливается с прохладой ветров. Там пчелы темного золота садятся на розы краснее, чем мантии древних царей. Там все — и солнце, и розы, и ветер — говорят и мечтают о тебе. Ты поселишься в красивом мраморном гроте, и резвые, как кони, водопады будут услаждать твои тихие взоры, золотой песок зацелует твои стройные ноги, и ты будешь улыбаться причудливым раковинам. И когда на закате к водопою придет стадо жирафов, ты погладишь шелка их царственно богатых шкур, и, ласкаясь, они заглянут в твои восхищенные глаза.

Так будешь ты жить, пока не наскучишь волшебствами счастия и не пожелаешь, подобно вечернему солнцу, уйти для новых воплощений. Тогда снова на стук барабанов сойдется могучее племя, и снова великий жрец укажет достойному, где найти тебя, скрывшуюся под новой личиной. Не раз это было и не раз повторится среди тысячелетий. Но теперь мы должны спешить. Уж опаловая луна в своем неуклонном падении

коснулась леса магнолий, скоро юное солнце встанет над розовым океаном. Торопись, пока не проснулись слуги великого бея. Звонкие червонцы крепко скуют уста старухи, а если нет, племя Зогар испытано в искусстве владеть кинжалом.

Кончил пришелец и с надеждой протянул руки к Заре. Тихо и сонно было в гареме, только за стеной рокотал океан и печально кричала какая-то неизвестная, но тревожная птица. Медленная, гибкая, как лилия, встала принцесса Зара и устремила на араба свой загадочный взор. Тихие и странные, зашелестели ее слова:

— Ты хорошо говорил, пришелец, но я не знаю того, о чем ты говорил. Если же я нравлюсь тебе и ты хочешь меня ласкать, я охотно подчинюсь твоим желаниям. Ты красивее того европейца, что недавно тоже ценой золота проник сюда в гарем. Но он не говорил мне ничего, он только улыбался и обнимал меня, как хотел. Купленной рабыней стояла я перед ним, но мне была сладка горечь его ласк, и я плакала, когда он уехал. Теперь передо мной ты; если хочешь, я буду твоей.

И, полуоткрыв на груди шелковую ткань и полузакрыв глаза, она ждала.

Безумным от муки взором смотрел на нее высокий пришелец. Так вот она, Светлая Дева лесов, которой он молился всю свою жизнь, которой молились его отцы и деды! Вот она, униженная и не сознающая своего позора, с грешной улыбкой на нежных устах! Красные молнии мысли сплетались в его мозгу, кто-то чудовищный и торжествующий уродливой ногой наступил ему прямо на сердце. Широкие равнины, дни веселых охот, радости славы, что все это перед нечеловеческой болью, обуявшей его душу?! Случайно нащупанный острый кинжал. Верный и твердый удар в грудь. И, пошатнувшись, упал сильный воин лицом вниз, вздрагивая и обагряя горячей кровью дорогие персидские ковры.

Неподвижно, еще не в силах сообразить происшедшее, стояла гибкая Зара, прислонясь к узорчатой стене. Гордая своею красотой, она хотела только испытать, останется ли ее прелесть необоримой и в унижении, она не поняла, к чему ее звали. И в ее душе уже шевелилось сожаление, зачем, подчиняясь опасному девичьему капризу, она солгала и обманула пришельца, звавшего ее к возможному и ослепительному счастью.

А на самом рассвете свирепая гиена растерзала привязанного к пальме белоснежного верблюда.

10. СКРИПКА СТРАДИВАРИУСА

Мэтр Паоло Белличини писал свое соло для скрипки. Его губы шевелились, напевая, нога нервно отбивала такт, и руки, длинные, тонкие и белые, как бы от проказы, рассеянно гнули гибкое дерево смычка. Многочисленные ученики мэтра боялись этих странных рук с пальцами, похожими на белых индийских змей.

Старый мэтр был знаменит, и точно, никто не превзошел его в дивном искусстве музыки. Владетельные герцоги, как чести, добивались знакомства с ним, поэты посвящали ему свои поэмы, и женщины, забывая его возраст, забрасывали его улыбками и цветами. Но все же за его спиной слышались перешептывания, и они умели отравить сладкое и пьяное вино славы. Говорили, что его талант не от Бога и что в безрассудной дерзости он кощунственно порывает со священными заветами прежних мастеров. И как ни возмущались любящие мэтра, сколько ни твердили о зависти оскорбленных самолюбий, эти толки имели свое основание. Потому что старый мэтр никогда не бывал на мессе, потому что его игра была только бешеным взлетом к невозможному, быть может, запретному, и, беспомощно-неловкий, при своем высоком росте и худощавости, он напоминал печальную болотную птицу южных стран.

И кабинет мэтра был похож скорее на обитель чернокнижника, чем простого музыканта. Наверху для лучшего распространения звуков были устроены каменные своды с хитро задуманными выгибами и арками. Громадные виолончели, лютни и железные пюпитры удивительной формы, как бредовые видения, как гротески Лоррена, Калло, теснились в темных углах.

А стены были исписаны сложными алгебраическими уравнениями, исчерчены ромбами, треугольниками и кругами. Старый мэтр, как математик, расчислял свои творения и называл музыку алгеброй души.

Единственным украшением этой комнаты был футляр, обитый малиновым бархатом,— хранилище его скрипки. Она была любимейшим созданием знаменитого Страдивариуса, над которым он работал целых десять лет своей жизни. Еще о не оконченной, слава о ней гремела по всему культурному миру. За обладание ею спорили властелины, и король

французский предлагал за нее столько золота, сколько может увезти сильный осел. А папа — пурпур кардинальской шляпы. Но не прельстился великий мастер ни заманчивыми предложениями, ни скрытыми угрозами и даром отдал ее Паоло Белличини, тогда еще молодому и неизвестному. Только потребовал от него торжественной клятвы никогда, ни при каких условиях не расставаться с этой скрипкой. И Паоло поклялся. Только ей он был обязан лучшими часами своей жизни, она заменяла ему мир, от которого он отрекся для искусства, была то стыдливой невестой, то дразняще-покорной любовницей. Трогательно замирала в его странных белых руках, плакала от прикосновения гибкого смычка. Даже самые влюбленные юноши сознавались, что ее голос мелодичнее голоса их подруг.

Было поздно. Ночь, словно сумрачное ораторио старинных мастеров, росла в саду, где звезды раскидались, как красные, синие и белые лепестки гиацинтов, — росла и, поколебавшись перед высоким венецианским окном, медленно входила и застывала там, под сводами. Вместе с ней росло в душе мэтра мучительное нетерпение и, как тонкая ледяная струйка воды, заливало спокойный огонь творчества. Начало его соло было прекрасно. Могучий подъем сразу схватывал легкую стаю звуков, и, перегоняя, перебивая друг друга, они стремительно мчались на какую-то неведомую вершину, чтобы распуститься там мировым цветком — величавой музыкальной фразой. Но этот последний решительный взлет никак не давался старому мэтру, хотя его чувства были напряжены и пронзительны чрезвычайно, хотя непогрешимый математический расчет неуклонно вел его к прекрасному заключению. Внезапно его мозг, словно бичом, хлестнула страшная мысль. Что, если уже вначале его гений дошел до своего предела и у него не хватит силы подняться выше? Ведь тогда неслыханное дотоле соло не будет окончено! Ждать, совершенствоваться? Но он слишком стар для этого, а молитва помогает только при создании вещей простых и благочестивых. Вот эти муки творчества, удел всякого истинного мужчины, перед которым жалки и ничтожны женские муки деторождения. И с безумной надеждой отчаяния старый мэтр схватился за скрипку, чтобы она закрепила ускользающее, овладела для него недоступным. Напрасно! Скрипка, покорная и нежная, как всегда, смеялась и пела, скользила по мыслям, но, доходя до рокового предела, останавливалась, как кровный арабский конь, сдержанный легким движением удил. И казалось,

что она ласкается к своему другу, моля простить ее за непослушание. Тяжелые томы гордых древних поэтов чернели по стенам, сочувствовали скрипке и как будто напоминали о священной преемственности во имя искусства. Но неистовый мэтр не понял ничего и грубо бросил в футляр не помогшую ему скрипку.

Лежа в постели, он еще долго ворочался, не будучи в силах заснуть. Словно грозящий багряный орел, носилась над ним мысль о неоконченном соло. Наконец милосердный сон закрыл его очи, смягчил острую боль в висках и с ласковой неудержимостью повлек по бесконечному коридору, который все расширялся и светлел, уходя куда-то далеко. Что-то милое и забытое сладко вздыхало вокруг, и в ушах звучал неотвязный мотив тарантеллы. Утешенный, неслышный, как летучая мышь, скользил по нему Паоло и вдруг почувствовал, что он не один. Рядом с ним, быть может, уже давно, шел невысокий гибкий незнакомец с бородкой черной и курчавой и острым взглядом, как в старину изображали немецких миннезингеров. Его обнаженные руки и ноги были перевиты нитями жемчуга серого, черного и розового, а сказочно дивная алого шелка туника свела бы с ума самую капризную и самую любимую наложницу константинопольского султана.

Доверчиво улыбнулся Паоло своему спутнику, и тот начал говорить голосом бархатным и приветливым:

«Не бойся ничего, почтенный мэтр, я умею уважать достойных служителей искусства. Мне льстят, когда меня называют темным владыкой и отцом греха: я только отец красоты и любитель всего прекрасного. Когда блистательный Каин покончил старые счеты с нездешним и захотел заняться строительством мира, я был его наставником в деле искусства. Это я научил его ритмом стиха преображать нищее слово, острым алмазом на слоновой кости вырезать фигуры людей и животных, создавать музыкальные инструменты и владеть ими. Дивные арии разыгрывали мы с ним в прохладные вечера под развесистыми кедрами гор Ливана. Приносился ветер от благовонных полей эздрелонских, крупные южные звезды смотрели не мигая, и тени слетали, как пыль с крыльев гигантской черной бабочки — ночного неба. Внизу к потоку приходили газели. Долго вслушивались, подняв свои грациозные головки, потом пили лунно-

вспененную влагу. Мы любовались на них, играя. После мир уже не слышал такой музыки. Хорошо играл Орфей, но он удовлетворялся ничтожными результатами. Когда от его песен заплакали камни и присмирели ленивые тигры, он перестал совершенствоваться, думая, что достиг вершины искусства, хотя едва лишь подошел к его подножию. Им могли восхищаться только греки, слишком красивые, чтобы не быть глупыми. Дальше наступили дни еще печальнее и беднее, когда люди забыли дивное искусство звуков. Я занимался логикой, принимал участие в философских диспутах и, беседуя с Горгием, иногда даже искренно увлекался. Вместе с безумными монахами придумывал я статуи чудовищ для башен парижского собора Богоматери и нарисовал самую соблазнительную Леду, которую потом сожгли дикие последователи Савонаролы. Я побывал даже в Австралии.

Там для длинноруких безобразных людей я изобрел бумеранг — великолепную игрушку, при мысли о которой мне и теперь хочется смеяться. Он оживает в злобной руке дикаря, летит, поворачивается и, разбив голову врагу, возвращается к ногам хозяина, такой гладкий и невинный. Право, он стоит ваших пищалей и мортир.

Но все же это были пустяки, и я серьезно тосковал по звукам. И когда Страдивариус сделал свою первую скрипку, я был в восторге и тотчас предложил ему свою помощь. Но упрямый старик и слушать не хотел ни о каких договорах и по целым часам молился Распятому, о котором я не люблю говорить. Я предвидел страшные возможности. Люди могли достичь высшей гармонии, доступной только моей любимой скрипке. Прообразу, но не во имя мое, а во имя Его. Особенно меня устрашало созданье скрипки, которая теперь у тебя.

Еще одно тысячелетие такой же напряженной работы, и я навеки погружусь в печальные сумерки небытия. Но, к счастью, она попала к тебе, а ты не захочешь ждать тысячелетий, ты не простишь ей ее несовершенства. Сегодня ты совершенно случайно напал на ту мелодию, которую я сочинил в ночь, когда гунны лишили невинности полторы тысячи девственниц, спрятанных в стенах франкского монастыря. Это — удачная вещь. Если хочешь, я сыграю тебе ее, оконченную».

Внезапно в руках незнакомца появилась скрипка, покрытая темно-красным лаком и с виду похожая на все другие. Но опытный взгляд

Паоло по легким выгибам и особенной постановке грифа сразу определил ее достоинство, и старый мэтр замер от восторга.

«Хорошенькая вещица! — сказал, засмеявшись, его спутник. — Но упряма и капризна, как византийская принцесса с опаловыми глазами и дорогими перстнями на руках. Она вечно что-нибудь затевает и рождает мелодии, о которых я и не подозревал. Даже мне нелегко справиться с нею». И он заиграл.

Словно зарыдала Афродита на белых утесах у пенного моря и звала Адониса. Сразу Паоло сделалось ясно все, о чем он томился еще так недавно, и другое, о чем он мог бы томиться, и то, что было недоступно ему в земной жизни. Все изменилось. Тучные нивы шелестели под ветром полудня, но колосья были голубовато-золотые и вместо зерен алели рубины. Роскошное солнце сверкало на небе, как спелый плод на дереве жизни, и странные птицы кричали призывно, и бабочки были порхающими цветами. А скрипка-Прообраз звенела и пела, охватывая небо, и землю, и воздух томительной негой счастья, которого не может вынести, не разбившись, сердце человека.

И сердце Паоло разбилось. Были унылы его глаза и сумрачны думы, когда встал он от рокового сна. Что из того, что он помнит услышанную мелодию? Разве есть на земле скрипка, которая повторит ее, не искажая? Коварный демон достиг своей цели и своей игрой, своими хитро сплетенными речами отравил слабое и жадное сердце человека.

Бедная любимая скрипка Страдивариуса! В недобрый час отдал тебя великий мастер в руки Паоло Белличини. Ты, которая так покорно передавала все оттенки благородной человеческой мысли, говорила с людьми на их языке, ты погибаешь ненужной жертвой неизбежному! И опять на много веков отдалится священный миг победы человека над материей.

Мэтр Паоло Белличини крался, как тигр, приближаясь к заветному футляру. Осторожно вынул он свою верную подругу и горестно поникнул, впервые заметив ее несовершенства. Но при мысли, что он может отдать ее другому, старый мэтр вздрогнул в остром порыве ревности. Нет, никто и никогда больше не коснется ее, такой любимой, такой бессильной. И глухо зазвучали неистовые удары каблука и легкие стоны разбиваемой скрипки.

Вбежавшие на шум ученики отвезли мэтра в убежище для потерявших рассудок. Было такое зданье, угрюмое и мрачное, на самом краю города. Визги и ревы слышались оттуда по ночам, и сторожа носили под платьем кольчугу, опасаясь неожиданного нападения. Там, в низком и темном подвале, поместили безумного Паоло. Ему казалось, что на его руках кровь. И он тер их о шероховатые каменные стены, выливал на них всю воду, которую получал для питья. Через пять дней сторож нашел его умершим от жажды и ночью закопал во рву как скончавшегося без церковного покаяния.

Так умерла лучшая скрипка Страдивариуса; так позорно погиб ее убийца.

11. ЛЕСНОЙ ДЬЯВОЛ

I

По густым зарослям реки Сенегал пробегал веселый утренний ветер, заставляя шумно волноваться еще не спаленную тропическим солнцем траву и пугливо вздрагивать пятнистых стройных жирафов, идущих на водопой. Жужжали большие золотистые жуки, разноцветные бабочки казались подброшенными в воздух цветами, и, довольные, мычали гиппопотамы, погружаясь в теплую тину прибрежных болот. Утреннее ликование было в полном разгаре, когда ядовитая черная змея, сама не зная зачем, так, в припадке минутной злобы, ужалила большого старого павиана, давно покинувшего свою стаю и скитавшегося в лесах одиноким свирепым бродягой. Бешено залаяв, он схватил тяжелый камень и погнался за оскорбительницей, но скоро остановился, решив лучше искать целебной травы, среди всех зверей известной только собакам и их дальним родственникам, павианам. Он давно знал уединенную лощину и не сомневался в своем спасении, если только не разлился лесной ручей и не отделил его от желанной цели.

Во всяком случае, надо было попробовать, и павиан, со злобным рычаньем припадая на больную лапу, отправился в путь. При звуке его шагов мелкие звери прятались в норы и огненные фламинго стаями

кружились над лесом, взлетая от синих молчаливых озер. Один раз даже запоздавшая пантера насторожилась и уже выгнула свою гибкую атласистую спину, но, увидев, с кем ей придется иметь дело, грациозно вспрыгнула на дерево и притворилась, что собирается спать. Никто не осмелился тревожить раздраженного лесного бродягу в его стремительном беге, и скоро перед ним сквозь густо сплетенные ветви, засинела полоса воды. Но это был не знакомый ему ручей, а клокочущий мутный поток, в пене и брызгах несущий к морю сломанные пальмы и трупы животных.

Опасения павиана оправдались: зимние дожди сделали свое дело. Правда, вниз по течению находился брод, который не размывали самые сильные грозы. Поняв, что это единственное спасение, встревоженный павиан снова пустился в путь. На зверей змеиный яд действует медленно, и пока он только смутно испытывал характерное желание биться и кататься по земле. Укушенная нога болела нестерпимо. Но уже близок был желанный брод, уже виден был утес, похожий на спящего буйвола, который лежал, указывая его место, и павиан ускорил шаги, как вдруг остановился, вздрогнув от яростного изумления. Брод был занят.

Искусно сложенные стволы деревьев составили широкий и довольно удобный мост, по которому двигалась нескончаемая толпа людей и животных. Вглядевшись, можно было заметить, что она разделяется на стройные отряды.

За четырьмя рядами слонов, сплошь закованных в бронзу и блестящую медь, следовал отряд копьеносцев, сильных и стройных, с позолоченными щитами и золотыми наконечниками копий.

Дальше медленно и грузно шел носорог, опутанный массивными серебряными цепями, которые черные рабы натягивали с обеих сторон, чтобы он мог двигаться только вперед. Дальше на кровном коне гарцевал начальник отряда, окруженный толпою помощников, большей частью юношей из богатых семейств, подкрашенных и надушенных. Под их защитой ехала группа девушек и женщин, сидящих вместо седел в затейливо-устроенных корзинах. Отряд замыкали повозки с палатками, съестными припасами и предметами роскоши. Около них суетились рабы. Потом все начиналось сначала. Отряд следовал за отрядом, и трудно было сказать, сколько прошло их и сколько скрывалось еще в глубине леса. Все люди, кроме рабов, имели кожу светло-желтого цвета,

того благородного оттенка, который отличает жителей Карфагена от прочих обитателей Африки. Роскошные одежды, масса золота и серебра, шелковые палатки и пленные носороги указывали на богатство и знатность вождя этих отрядов. И точно, прекрасный Ганнон, брат Аполлона, как называли его льстивые греки, был первым властителем первого по славе города — Карфагена. Теперь, в сопровождении всего двора, он ехал на таинственную реку Сенегал, с берегов которой ему и его предкам издавна привозили драгоценные камни, удивительных птиц и лучших боевых слонов.

II

Павиан понял, что он погиб, если будет дожидаться конца шествия, и им овладело яростное беспокойство. Мало-помалу оно перешло в то дикое бешенство, когда глаза заволакиваются черной пеленой, кулаки сжимаются со страшной силой и зубы сами находят врага. Почувствовав такой припадок, он попробовал удержаться, но было поздно.

Миг — и могучим прыжком он очутился на шее одного из проезжавших коней, который поднялся на дыбы, пронзительно заржал от внезапного ужаса и бешено помчался в лес. Сидевшая на нем девушка судорожно схватилась за его гриву, чтобы не упасть во время этой неистовой скачки. Она была одета в красную шелковую одежду, а ее обнаженная грудь, по обычаю богатых семейств, была стянута сеткой, сплетенной из золотых нитей. Ее юное надменное лицо было бы прекрасно, если бы неестественно-раскрытые глаза и бледные губы не делали его воплощением ужаса. И конь был стройный, дорогой, с голубыми жилами, проступающими сквозь его белую шкуру, и видно было, что он умчался бы от всякого врага, если бы этот враг не сидел на нем. Его бег становился все медленнее и медленнее, несколько раз он споткнулся и наконец, тяжело застонав, упал с горлом, перегрызенным страшным зверем. С ним вместе упали и его всадники. Девушка быстро вскочила, но от ужаса не будучи в силах бежать, прислонилась спиной к дереву, напоминая статую из слоновой кости, которые ставят в храме Истар. Павиан стал на четвереньки и хрипло залаял. Его гнев был удовлетворен смертью коня, и он уже хотел спешить за своей целебной травой, но, случайно

взглянув на девушку, остановился. Ему вспомнилась молодая негритянка, которую он поймал недавно одну в лесу, и те стоны и плач, что вылетали из ее губ в то время, как он бесстыдно тешился ее телом.

И по-звериному острое желание владеть этой девушкой в красной одежде и услышать ее мольбы внезапно загорелось в его мозгу и легкой дрожью сотрясло уродливое тело.

Забылся и змеиный яд, и необходимость немедленно искать траву. Не спеша, со зловонной пеной желанья вокруг безобразной пасти, начал он подходить к своей жертве, наслаждаясь ее ужасом. Ее губы вздрогнули, как у ребенка, видящего дурной сон, но изогнутые брови гордо нахмурились, и, протянув вперед с запрещающим жестом свои нагие красивые руки, она начала говорить быстро и повелительно. Она обещала подходящему к ней зверю беспощадную месть богини Истар, если только он посмеет коснуться ее одежд, и говорила о безжалостно метких стрелах слуг великого Ганнона.

Кругом шелестели деревья, беспечно кричали птицы, и спасенья не было ниоткуда. Но змеиный яд делал свое дело, и, едва павиан схватился за край шелковой одежды и разорвал ее наполовину, он вдруг почувствовал, что какая-то непреодолимая сила бросила его навзничь, и он судорожно забился, ударяясь головой о камни и цепляясь за стволы деревьев. Иногда неимоверным усилием воли ему удавалось на мгновение прекратить свои корчи, и тогда он приподнимался на передних лапах, с трудом поворачивая в сторону девушки свои невидящие глаза. Но тотчас же его тело вздрагивало, и, с силой перевертываясь через голову, он взмахивал в воздухе всеми четырьмя лапами.

Почти обнаженная девушка, дрожа, смотрела на это ужасное зрелище. «Истар, Истар, это она помогла мне»,— шептала она, озираясь, как будто страшась увидеть прекрасную, но грозную богиню.

И когда приблизились посланные на розыски карфагеняне, они нашли ее лежащей без чувств в трех шагах от издохшего чудовища.

III

Велик и прекрасен могучий Ганнон. Это к его шатру привели судить найденную девушку.

Двенадцать великих жрецов стояли на ступенях его переносного трона, и сорок начальников отрядов окружали его рядами. Спасенная девушка, связанная, но по-прежнему гордая, предстала перед судилищем. Женщины бросали на нее злые взгляды, девушки отворачивались, и только одни дети, улыбаясь, протягивали ей цветы. Да сам Ганнон был спокоен и ясен, как обыкновенно, и ласково гладил своей изнеженной тонкой рукой маленькую ручную обезьянку, приютившуюся на его коленях. Один из жрецов встал и, потрясая рукавами своей хламиды, на которой были вышиты звезды и тайные знаки, начал речь: «О прекрасный Ганнон, возлюбленный богами, вы, жрецы Амона и Истар, и ты, знаменитый народ карфагенский! Все вы знаете, что сегодня лесной дьявол в образе страшного зверя умчал далеко в лес эту девушку, дочь великого вождя. Найденная, она лежала без чувств на траве, и ее одежда была разорвана, обнажая тело. Нет сомненья, что ее девственность, которой домогались столько знатнейших юношей, досталась страшному зверю. Ни из древних папирусов, ни из рассказов старцев мы не знаем случая, чтобы дьявол владел девой карфагенской. Эта первая должна умереть, тело ее — быть брошено в огонь и память о ней — изгладиться. Иначе ее дыхание смертельно оскорбит достоинство богини Истар». Он кончил, и одобрительно наклонили головы другие жрецы, потупились начальники, недовольные, но не знающие, что возразить, и в дикой радости завыл народ. Всегда приятно посмотреть на прекрасное девичье тело, окруженное красными змейками пламени. Но не так думал Ганнон.

По выражению глаз и по углам губ связанной девушки он видел, что жрец был не прав и что лесной дьявол не успел исполнить своего намерения. Его опытный взгляд изысканного сластолюбца не мог ошибиться. Но открыто противоречить жрецам было опасно, следовало употребить хитрость. Мгновение он был в нерешительности, но вот его глаза засветились, на губах заиграла загадочная улыбка, и, слегка наклонясь вперед, он сложил руки на груди, как бы предвкушая какое-то удовольствие. «Великие жрецы, знающие самые сокровенные тайны, и вы, доблестные военачальники, в дальних странах прославившие имя Карфагена, я удивлен свыше меры вашей печалью. Почему вы думаете, что богиня оскорблена? Разве не

проявила она во всем блеске свою силу и власть? Разве она не явилась на помощь любимейшей из своих дочерей? Лесной дьявол был найден мертвым, но на его теле не было ни одной раны. Кто, кроме богини Истар, поражает без крови, одним дуновением своих уст? Мудрые предки учили нас, что только для достойнейших боги покидают свои небесные жилища и вмешиваются в земные дела». Он подумал и неожиданно для самого себя добавил с грациозной улыбкой и красивым движеньем руки: «И эту девушку, отмеченную милостью богини, я, Ганнон, властитель всех земель от Карфагена до Великих Вод, беру себе в жены». И он не раскаялся в своих словах, увидя, каким нежным румянцем внезапно покрылись щеки его избранницы, какой радостный и стыдливый огонь зажегся в ее прежде надменных, теперь смущенных и благодарных глазах. Народ снова завыл от радости, но на этот раз восторженней и громче, потому что, хотя прекрасное зрелище и ускользнуло от него, он знал, какими великолепными подарками, какими царскими милостями будет сопровождаться свадебное торжество. Хмурые жрецы не осмелились возражать. Если Ганнон опасался их влияния, то они чувствовали перед ним прямо панический ужас.

IV

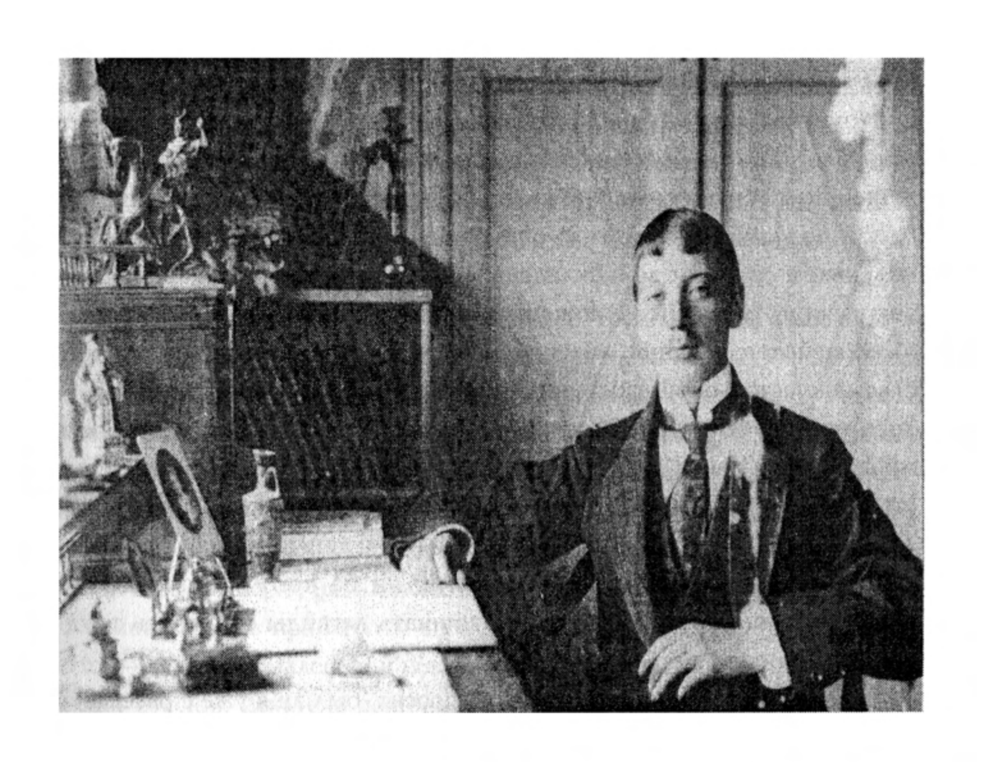
Быстро упала на землю темная, страшная африканская ночь, и дикие запахи бродячих зверей сменили запах цветов и трав. Словно грохот падающих утесов, неслось рыкание золотогривых голодных львов. Отравленные стрелы нубийских охотников держали их в стороне от лагеря. Иногда раздавался мгновенный пронзительный стон схваченной во сне лани, и ему вторил хохот гиен. Над лесом видно было большую желтую луну. Неслышно скользила она и казалась хищником неба, пожирающим звезды. Свадебный пир был окончен, факелы из ветвей алоэ потушены, и пьяные негры грузно валялись в кустах, возбуждая презрение воздержанных карфагенян.

В белом шелковом шатре ожидал Ганнон свою невесту, тело которой искусные рабыни умащали волнующими индийскими ароматами. Золотым стилем на восковых дощечках он описывал прой-

денный им путь и отмечал количество купленной и отнятой у туземцев слоновой кости. Мечтать и волноваться в ожиданье первой брачной ночи было не в его характере. Медленно, отпустив рабынь, шла юная невеста, направляясь к заветному шатру. Волнуясь и краснея, повторяла она про себя слова, которые должна была сказать, войдя к своему жениху: «Вот твоя рабыня, властитель, сделай с ней все, что захочешь». И мысль о том, что будет дальше, розовым туманом застилала ее глаза и, как пленную птицу, заставляла биться сердце. Внезапно перед ней зачернелся какой-то странный предмет. Подойдя ближе, она поняла, в чем дело. Озлобленные карфагеняне отрубили голову у мертвого павиана, и, воткнутая на кол, она была выставлена посреди лагеря, чтобы каждый проходящий мог ударить ее или плюнуть, или как-нибудь иначе выразить свое презрение. Тупо смотрели в пространство остекленевшие глаза, шерсть была испачкана запекшейся кровью, и зубы скалились по-прежнему неистово и грозно. Девушка вздрогнула и остановилась. В ее уме снова пронеслись все удивительные события этого дня. Она не сомневалась, что богиня Истар действительно пришла ей на помощь и поразила ее врага, чтобы сохранилась ее девичья честь, чтобы не запятнался древний род, чтобы сам прекрасный, как солнце, Ганнон взял ее в жены. Но в ней пробудилось странное сожаление к тому, кто ради нее осмелился спорить с Необорной и погиб такой ужасной смертью. Над какими мрачными безднами теперь витает его дух, какие леденящие кровь виденья окружают его? Страшно умереть в борьбе с богами, умереть, не достигнув цели, и навсегда унести в темноту неистовое бешенство желаний.

Порывистым движением девушка наклонила свои побледневшие губы к пасти чудовища, и мгновенный холод поцелуя остро пронзил все ее тело. Огненные круги завертелись перед глазами, уши наполнились шумом, подобным паденью многих вод, и, когда наконец она отшатнулась, она была совсем другая.

Не спеша, по-новому спокойная и задумчивая, она продолжала свой путь. Ее щеки больше не пылали и не вздрагивало сердце, когда она думала о Ганноне. Первый девственный порыв ее души достался умершему из-за нее лесному дьяволу.



Н.С. Гумилев. (до 1914 г.)

12. АФРИКАНСКИЙ ДНЕВНИК

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Однажды в декабре 1912 г. я находился в одном из тех прелестных, заставленных книгами уголков петербургского университета, где студенты, магистранты, а иногда и профессора пьют чай, слегка подтрунивая над специальностью друг друга. Я ждал известного египтолога, которому принес в подарок вывезенный мной из предыдущей поездки абиссинский складень: Деву Марию с младенцем на одной половине и святого с отрубленной ногой на другой. В этом маленьком собранье мой складень имел посредственный успех: классик говорил о его антихудожественности, исследователь Ренессанса о европейском влиянии, обесценивающем его, этнограф о преимуществе искусства сибирских инородцев. Гораздо больше интересовались моим путешествием, задавая обычные в таких случаях вопросы: много ли там львов, очень ли опасны гиены, как поступают путешественники в случае нападения абиссинцев. И как я ни уверял, что львов надо искать неделями, что гиены трусливее зайцев, что абиссинцы страшные законники и никогда ни на кого не нападают, я видел, что мне почти не верят. Разрушать легенды оказалось труднее, чем их создавать.

В конце разговора профессор Ж. спросил, был ли я уже с рассказом о моем путешествии в Академии наук. Я сразу представил себе это громадное белое здание с внутренними дворами, лестницами, переулками, целую крепость, охраняющую официальную науку от внешнего мира; служителей с галунами, допытывающихся, кого именно я хочу видеть; и, наконец, холодное лицо дежурного секретаря, объявляющего мне, что Академия не интересуется частными работами, что у Академии есть свои исследователи, и тому подобные обескураживающие фразы. Кроме того, как литератор я привык смотреть на Академиков, как на своих исконных врагов. Часть этих соображений, конечно, в смягченной форме я и высказал профессору Ж. Однако не прошло и получаса, как с рекомендательным письмом в руках я оказался на витой каменной лестнице перед дверью в приемную одного из вершителей академических судеб.

С тех пор прошло пять месяцев. За это время я много раз бывал и на внутренних лестницах, и в просторных, заставленных еще не разобранными коллекциями кабинетах, на чердаках и в подвалах музеев этого большого белого здания над Невой. Я встречал ученых, точно только что соскочивших со страниц романа Жюль Верна, и таких, что с восторженным блеском глаз говорят о тлях и кокцидах, и таких, чья мечта добыть шкуру красной дикой собаки, водящейся в Центральной Африке, и таких, что, подобно Бодлеру, готовы поверить в подлинную божественность маленьких идолов из дерева и слоновой кости. И почти везде прием, оказанный мне, поражал своей простотой и сердечностью. Принцы официальной науки оказались, как настоящие принцы, доброжелательными и благосклонными.

У меня есть мечта, живучая при всей трудности ее выполнения. Пройти с юга на север Данакильскую пустыню, лежащую между Абиссинией и Красным морем, исследовать нижнее течение реки Гаваша, узнать рассеянные там неизвестные загадочные племена. Номинально они находятся под властью абиссинского правительства, фактически свободны. И так как все они принадлежат к одному племени данакилей, довольно способному, хотя очень свирепому, их можно объединить и, найдя выход к морю, цивилизовать или, по крайней мере, арабизировать. В семье народов прибавится еще один сочлен. А выход к морю есть. Это — Рагейта, маленький независимый султанат, к северу от Обока. Один русский искатель приключений — в России их не меньше, чем где бы то ни было, — совсем было приобрел его для русского правительства. Но наше министерство иностранных дел ему отказало.

Этот мой маршрут не был принят Академией. Он стоил слишком дорого. Я примирился с отказом и представил другой маршрут, принятый после некоторых обсуждений Музеем антропологии и этнографии при императорской Академии наук.

Я должен был отправиться в порт Джибути в Баб-эль-Мандебском проливе, оттуда по железной дороге к Харрару, потом, составив караван, на юг, в область, лежащую между Сомалийским полуостровом и озерами Рудольфа, Маргариты, Звай; захватить возможно больший район исследования; делать снимки, собирать этнографические коллекции, записывать песни и легенды. Кроме того, мне предоставлялось право собирать зоо-

логические коллекции. Я просил о разрешении взять с собой помощника, и мой выбор остановился на моем родственнике Н.Л. Сверчкове, молодом человеке, любящем охоту и естественные науки. Он отличался настолько покладистым характером, что уже из-за одного желания сохранить мир пошел бы на всевозможные лишения и опасности.

Приготовления к путешествию заняли месяц упорного труда. Надо было достать палатку, ружья, седла, вьюки, удостоверения, рекомендательные письма и пр. и пр.

Я так измучился, что накануне отъезда весь день лежал в жару. Право, приготовления к путешествию труднее самого путешествия.

7 апреля мы выехали из Петербурга, 9-го утром были в Одессе.

10-го на пароходе Добровольного Флота «Тамбов» вышли в море. Какие-нибудь две недели тому назад бушующее и опасное ,Черное море было спокойно, как озеро. Волны мягко раздавались под напором парохода, где рылся, пульсируя, как сердце работающего человека, невидимый винт, не было видно пены, и только убегала бледно-зеленая малахитовая полоса потревоженной воды. Дельфины дружными стаями мчались за пароходом, то обгоняя его, то отставая, и по временам, как бы в безудержном припадке веселья, подскакивали, показывая лоснящиеся мокрые спины. Наступила ночь, первая на море, священная. Горели давно не виденные звезды, вода бурлила слышнее. Неужели есть люди, которые никогда не видели моря?

12-го утром — Константинополь. Опять эта никогда не приедающаяся, хотя откровенно-декоративная, красота Босфора, заливы, лодки с белыми латинскими парусами, с которых веселые турки скалят зубы, дома, лепящиеся по прибрежным склонам, окруженные кипарисами и цветущей сиренью, зубцы и башни старинных крепостей, и солнце, особенное солнце Константинополя, светлое и не жгучее.

Мы прошли мимо эскадры европейских держав, введенной в Босфор на случай беспорядков. Неподвижная и серая, она тупо угрожала шумному и красочному городу. Было восемь часов, время играть национальные гимны. Мы слышали, как спокойно-гордо прозвучал английский, набожно — русский, а испанский так празднично и блестяще, как будто вся эта нация состояла из двадцатилетних юношей и девушек, собравшихся потанцевать.

Как только бросили якорь, мы сели в турецкую лодчонку и отправились на берег, не пренебрегая обычным в Босфоре удовольствием попасть в волну, оставляемую проходящим пароходом, и бешено покачаться в течение нескольких секунд. В Галате, греческой части города, куда мы пристали, царило обычное оживление. Но как только мы перешли широкий деревянный мост, переброшенный через Золотой Рог, и очутились в Стамбуле, нас поразила необычная тишина и запустение. Многие магазины были заперты, кафе пусты, на улицах встречались почти исключительно старики и дети. Мужчины были на Четалдже. Только что пришло известие о падении Скутари. Турция приняла его с тем же спокойствием, с каким затравленный и израненный зверь принимает новый удар.

По узким и пыльным улицам среди молчаливых домов, в каждом из которых подозреваешь фонтаны, розы и красивых женщин, как в «Тысяче и одной ночи», мы прошли в Айя-Софию. На окружающем ее тенистом дворе играли полуголые дети, несколько дервишей, сидя у стены, были погружены в созерцание.

Против обыкновения не было видно ни одного европейца.

Мы откинули повешенную в дверях циновку и вошли в прохладный, полутемный коридор, окружающий храм. Мрачный сторож надел на нас кожаные туфли, чтобы наши ноги не осквернили святыни этого места. Еще одна дверь, и перед нами сердце Византии. Ни колонн, ни лестниц или ниш, этой легко доступной радости готических храмов, только пространство и его стройность. Чудится, что архитектор задался целью вылепить воздух. Сорок окон под куполом кажутся серебряными от проникающего через них света. Узкие простенки поддерживают купол, давая впечатление, что он легок необыкновенно. Мягкие ковры заглушают шаг. На стенах еще видны тени замазанных турками ангелов. Какой-то маленький седой турок в зеленой чалме долго и упорно бродил вокруг нас. Должно быть, он следил, чтобы с нас не соскочили туфли. Он показал нам зарубку на стене, сделанную мечом султана Магомета; след от его же руки омочен в крови; стену, куда, по преданию, вошел патриарх со Святыми Дарами при появлении турок. От его объяснений стало скучно, и мы вышли. Заплатили за туфли, заплатили непрошеному гиду, и я настоял, чтобы отправиться на пароход.

Я не турист. К чему мне после Айя-Софии гудящий базар с его шелковыми и бисерными искушениями, кокетливые пери, даже несравненные кипарисы кладбища Сулемания. Я еду в Африку и прочел «Отче наш» в священнейшем из храмов. Несколько лет тому назад, тоже на пути в Абиссинию, я бросил луидор в расщелину храма Афины Паллады в Акрополе и верил, что богиня незримо будет мне сопутствовать. Теперь я стал старше.

В Константинополе к нам присоединился еще пассажир, турецкий консул, только что назначенный в Харрар. Мы подолгу с ним беседовали о турецкой литературе, об абиссинских обычаях, но чаще всего о внешней политике. Он был очень неопытный дипломат и большой мечтатель. Мы с ним уговорились предложить турецкому правительству послать инструкторов на Сомалийский полуостров, чтобы устроить иррегулярное войско из тамошних мусульман. Оно могло бы служить для усмирения вечно бунтующих арабов Йемена, тем более что турки почти не переносят аравийской жары.

Два, три других плана в том же роде, и мы в Порт-Саиде. Там нас ждало разочарование. Оказалось, что в Константинополе была холера и нам запрещено было иметь сношение с городом. Арабы привезли нам провизии, которую передали, не поднимаясь на борт, и мы вошли в Суэцкий канал.

Не всякий может полюбить Суэцкий канал, но тот, кто полюбит его, полюбит надолго. Эта узкая полоска неподвижной воды имеет совсем особенную грустную прелесть.

На африканском берегу, где разбросаны домики европейцев, заросли искривленных мимоз с подозрительно темной, словно после пожара зеленью, низкорослые, толстые банановые пальмы; на азиатском берегу волны песка пепельно-рыжего раскаленного. Медленно проходит цепь верблюдов, позванивая колокольчиками. Изредка показывается какой-нибудь зверь, собака, может быть, гиена или шакал, смотрит с сомнением и убегает. Большие белые птицы кружат над водой или садятся отдыхать на камни. Кое-где полуголые арабы, дервиши или так бедняки, которым не нашлось места в городах, сидят у самой воды и смотрят в нее не отрываясь, будто колдуя. Впереди и позади нас движутся другие пароходы. Ночью, когда загораются прожекторы, это имеет вид похоронной

процессии. Часто приходится останавливаться, чтобы пропустить встречное судно, проходящее медленно и молчаливо, словно озабоченный человек. Эти тихие часы на Суэцком канале усмиряют и убаюкивают душу, чтобы потом ее застала врасплох буйная прелесть Красного моря.

Самое жаркое из всех морей, оно представляет картину грозную и прекрасную. Вода, как зеркало, отражает почти отвесные лучи солнца, точно сверху и снизу расплавленное серебро. Рябит в глазах, и кружится голова. Здесь часты миражи, и я видел у берега несколько обманутых ими и разбившихся кораблей. Острова, крутые голые утесы, разбросанные там и сям, похожи на еще неведомых африканских чудовищ. Особенно один — совсем лев, приготовившийся к прыжку, кажется, что видишь гриву и вытянутую морду. Эти острова необитаемы из-за отсутствия источников для питья. Подойдя к борту, можно видеть и воду, бледно-синюю, как глаза убийцы. Оттуда временами выскакивают, пугая неожиданностью, странные летучие рыбы. Ночь еще более чудесна и зловеща. Южный Крест как-то боком висит на небе, которое, словно пораженное дивной болезнью, покрыто золотистой сыпью других бесчисленных звезд. На западе вспыхивают зарницы: это далеко в Африке тропические грозы сжигают леса и уничтожают целые деревни. В пене, оставляемой пароходом, мелькают беловатые искры — это морское свеченье. Дневная жара спала, но в воздухе осталась неприятная сырая духота. Можно выйти на палубу и забыться беспокойным, полным причудливых кошмаров сном.

Мы бросили якорь перед Джеддой, куда нас не пустили, так как там была чума. Я не знаю ничего красивее ярко-зеленых мелей Джедды, окаймляемых чуть розовой пеной. Не в честь ли их и хаджи-мусульмане, бывавшие в Мекке, носят зеленые чалмы.

Пока агент компании приготовлял разные бумаги, старший помощник капитана решил заняться ловлей акулы. Громадный крюк с десятью фунтами гнилого мяса, привязанный к крепкому канату, служил удочкой, поплавок изображало бревно. Три с лишком часа длилось напряженное ожиданье.

То акул совсем не было видно, то они проплывали так далеко, что их лоцманы не могли заметить приманки.

Акула крайне близорука, и ее всегда сопровождают две хорошенькие небольшие рыбки, которые и наводят ее на добычу. Наконец в воде появилась темная тень сажени в полторы длиною, и поплавок, завертевшись несколько раз, нырнул в воду. Мы дернули за веревку, но вытащили лишь крючок. Акула только кусала приманку, но не проглотила ее. Теперь, видимо, огорченная исчезновеньем аппетитно пахнувшего мяса, она плавала кругами почти на поверхности и всплескивала хвостом по воде. Сконфуженные лоцманы носились туда и сюда. Мы поспешили забросить крючок обратно. Акула бросилась к нему, уже не стесняясь. Канат сразу натянулся, угрожая лопнуть, потом ослаб, и над водой показалась круглая лоснящаяся голова с маленькими злыми глазами. Десять матросов с усилиями тащили канат. Акула бешено вертелась, и слышно было, как она ударяла хвостом о борт корабля. Помощник капитана, перегнувшись через борт, разом выпустил в нее пять пуль из револьвера. Она вздрогнула и немного стихла. Пять черных дыр показались на ее голове и беловатых губах. Еще усилье, и ее подтянули к самому борту. Кто-то тронул ее за голову, и она щелкнула зубами. Видно было, что она еще совсем свежа и собирается с силами для решительной битвы. Тогда, привязав нож к длинной палке, помощник капитана сильным и ловким ударом вонзил его ей в грудь и, натужившись, довел разрез до хвоста. Полилась вода, смешанная с кровью, розовая селезенка аршина в два величиною, губчатая печень и кишки вывалились и закачались в воде, как странной формы медузы. Акула сразу сделалась легче, и ее без труда вытащили на палубу. Корабельный кок, вооружившись топором, стал рубить ей голову. Кто-то вытащил сердце и бросил его на пол. Оно пульсировало, двигаясь то туда, то сюда лягушечьими прыжками. В воздухе стоял запах крови.

А в воде у самого борта суетился осиротелый лоцман. Его товарищ исчез, очевидно, мечтая скрыть где-нибудь в отдаленных бухтах позор невольного предательства. А этот верный до конца подскакивал из воды, как бы желая взглянуть, что там делают с его госпожой, кружился вокруг плавающих внутренностей, к которым уже приближались другие акулы с весьма недвусмысленными намерениями, и всячески высказывал свое безутешное отчаянье.

«Африканский дневник». Страница рукописи.

Акуле отрубили челюсть, чтобы выварить зубы, остальное бросили в море. Закат в этот вечер над зелеными мелями Джедды был широкий и ярко-желтый с алым пятном солнца посредине. Потом он стал нежно-пепельным, потом зеленоватым, точно море отразилось в небе. Мы подняли якорь и пошли прямо на Южный Крест. Вечером мне принесли доставшиеся на мою долю три белые и зубчатые зуба акулы. Через четыре дня, миновав неприветливый Баб-эль-Мандеб, мы остановились у Джибути.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Джибути лежит на африканском берегу Аденского залива к югу от Обока, на краю Таджуракской бухты. На большинстве географических карт обозначен только Обок, но он потерял теперь всякое значенье, в нем живет лишь один упрямый европеец, и моряки не без основания говорят, что его «съела» Джибути. За Джибути — будущее. Ее торговля все возрастает, число живущих в ней европейцев тоже. Года четыре тому назад, когда я приехал в нее впервые, их было триста, теперь их четыреста. Но окончательно она созреет, когда будет достроена железная дорога, соединяющая ее со столицей Абиссинии Аддис-Абебой. Тогда она победит даже Массову, потому что на юге Абиссинии гораздо больше обычных здесь предметов вывоза: воловьих шкур, кофе, золота и слоновой кости. Жаль только, что ею владеют французы, которые обыкновенно очень небрежно относятся к своим колониям и думают, что исполнили свой долг, если послали туда нескольких чиновников, совершенно чуждых стране и не любящих ее. Железная дорога даже не субсидирована.

Мы съехали с парохода на берег в моторной лодке. Это нововведение. Прежде для этого служили весельные ялики, на которых гребли голые сомалийцы, ссорясь, дурачась и по временам прыгая в воду, как лягушки. На плоском берегу белели разбросанные там и сям дома. На скале возвышался губернаторский дворец посреди сада кокосовых и банановых пальм. Мы оставили вещи в таможне и пешком дошли до отеля. Там мы узнали, что поезд, с которым мы должны были отправиться в глубь страны, отходит по вторникам и субботам. Нам предстояло пробыть в Джибути три дня.

Я не очень огорчился подобной проволочке, так как люблю этот городок, его мирную и ясную жизнь. От двенадцати до четырех часов пополудни улицы кажутся вымершими; все двери закрыты, изредка, как сонная муха, проплетется какой-нибудь сомалиец. В эти часы принято спать так же, как у нас ночью. Но затем неведомо откуда появляются экипажи, даже автомобили, управляемые арабами в пестрых чалмах, белые шлемы европейцев, даже светлые костюмы спешащих с визитами дам. Террасы обоих кафе полны народом. Между столов ходит карлик, двадцатилетний араб, аршин ростом, с детским личиком и с громадной приплюснутой головой. Он ничего не просит, но если ему дают кусок сахару или мелкую монету, он благодарит серьезно и вежливо, с совсем особенной, выработанной тысячелетьями восточной грацией. Потом все идут на прогулку. Улицы полны мягким предвечерним сумраком, в котором четко вырисовываются дома, построенные в арабском стиле, с плоскими крышами и зубцами, с круглыми бойницами и дверьми в форме замочных скважин, с террасами, аркадами и прочими затеями — все в ослепительно-белой извести. В один из подобных вечеров мы совершили очаровательную поездку в загородный сад в обществе m-re Галеба, греческого коммерсанта и русского вице-консула, его жены и Мозар-бея, турецкого консула, о котором я говорил выше. Там узкие тропки между платанами и банановыми широколистными пальмами, жужжанье больших жуков и полный ароматами теплый, как в оранжерее, воздух. На дне глубоких каменных колодцев чуть блестит вода. То там, то сям виден привязанный мул или кроткий горбатый зебу. Когда мы выходили, старик араб принес нам букет цветов и гранат, увы, неспелых.

Быстро прошли эти три дня в Джибути. Вечером прогулки, днем валянье на берегу моря с тщетными попытками поймать хоть одного краба — они бегают удивительно быстро, боком, и при малейшей тревоге забиваются в норы — утром работа. По утрам ко мне в гостиницу приходили сомалийцы племени Исса, и я записывал их песни. От них же я узнал, что это племя имеет своего короля ога́са Гуссейна, который живет в деревне Хараува, в трехстах километрах к юго-западу от Джибути; что оно находится в постоянной вражде с живущими на север от них данакилями и, увы, всегда побеждаемо последними; что Джибути

(по-сомалийски Хамаду́) построено на месте ненаселенного прежде оазиса и что в нескольких днях пути от него есть еще люди, поклоняющиеся черным камням; большинство все же правоверные мусульмане. Европейцы, хорошо знающие страну, рассказывали мне еще, что это племя считается одним из самых свирепых и лукавых во всей Восточной Африке. Они нападают обыкновенно ночью и вырезают всех без исключения. Проводникам из этого племени довериться нельзя.

Сомалийцы обнаруживают известный вкус в выборе орнаментов для своих щитов и кувшинов, в выделке ожерелий и браслетов, они даже являются творцами моды среди окружающих племен, но в поэтическом вдохновении им отказано. Их песни, нескладные по замыслу, бедные образами, ничто по сравнению с величавой простотой абиссинских песен и нежным лиризмом галласских. Я приведу для примера одну, любовную, текст которой в русской транскрипции приведен в приложении.

ПЕСНЯ

«Беринга, где живет племя Исса, Гурти, где живет племя Гургура, Харар, который выше земли данакилей, люди Гальбет, которые не покидают своей родины, низкорослые люди, страна, где царит Исаак, страна по ту сторону реки Селлель, где царит Самаррон, страна, где вождю Дароту Галласы носят воду из колодцев с той стороны реки Уэба, — весь мир я обошел, но прекраснее всего этого, Мариан Магана, будь благословенна, Рераудаль, где ты скромнее, красивее и приятнее цветом кожи, чем все арабские женщины».

Правда, все первобытные народы любят в поэзии перечисленье знакомых названий, вспомним хотя бы гомеровский перечень кораблей, но у сомалийцев эти перечисления холодны и не разнообразны.

Три дня прошли. На четвертый, когда было еще темно, слуга-араб со свечой обошел комнаты отеля, будя уезжающих в Дире-Дауа. Еще сонные, но довольные утренним холодком, таким приятным после слепящей жары полудней, мы отправились на вокзал. Наши вещи заранее свезли туда в ручной тележке. Проезд во втором классе, где обыкновенно ездят все европейцы, третий класс предназначен исключительно для туземцев, а в первом, который вдвое дороже и нисколько не лучше

второго, ездят только члены дипломатических миссий и немногие немецкие снобы, стоил 62 франка с человека, несколько дорого за десять часов пути, но таковы все колониальные железные дроги. Паровозы носят громкие, но далеко не оправдываемые названия: Слон, Буйвол, Сильный и т.д. Уже в нескольких километрах от Джибути, когда начался подъем, мы двигались с быстротой одного метра в минуту, и два негра шли впереди, посыпая песком мокрые от дождя рельсы.

Вид из окна был унылый, но не лишенный величественности. Пустыня коричневая и грубая, выветрившиеся, все в трещинах и провалах горы и, так как был сезон дождей, мутные потоки и целые озера грязной воды. Из куста выбегает диг-диг, маленькая абиссинская газель, пара шакалов, они всегда ходят парами, смотрят с любопытством. Сомалийцы и данакили с громадной всклокоченной шевелюрой стоят, опираясь на копья. Европейцами исследована лишь небольшая часть страны, именно та, по которой проходит железная дорога, что справа и слева от нее — тайна. На маленьких станциях голые черные ребятишки протягивали к нам ручонки и заунывно, как какую-нибудь песню, тянули самое популярное на всем Востоке слово: бакшиш (подарок).

В два часа дня мы прибыли на станцию Айша в 160 километрах от Джибути, то есть на половине дороги. Там буфетчик-грек приготовляет очень недурные завтраки для проезжающих. Этот грек оказался патриотом и нас, как русских, принял с распростертыми объятьями, отвел нам лучшие места, сам прислуживал, но, увы, из того же патриотизма отнесся крайне неласково к нашему другу турецкому консулу. Мне пришлось отвести его в сторону и сделать надлежащее внушение, что было очень трудно, так как он, кроме греческого, говорил только немного по-абиссински.

После завтрака нам было объявлено, что поезд дальше не пойдет, так как дождями размыло путь и рельсы висят на воздухе. Кто-то вздумал сердиться, но разве это могло помочь. Остаток дня прошел в томительном ожидании, только грек не скрывал своей радости: у него не только завтракали, у него и обедали. Ночью всяк разместился как мог. Мой спутник остался спать в вагоне, я неосторожно принял предложение кондукторов-французов лечь в их помещении где была свободная кровать, и до полночи должен был выслушивать их казарменно-нелепую

болтовню. Утром выяснилось, что путь не только не исправлен, но что надо по меньшей мере 8 дней, чтобы иметь возможность двинуться дальше, и что желающие могут вернуться в Джибути. Пожелали все, за исключением турецкого консула и нас двух. Мы остались, потому что на станции Айша жизнь стоила много дешевле, чем в городе. Турецкий консул, я думаю, только из чувства товарищества; кроме того, у нас троих была смутная надежда каким-нибудь образом добраться до Дире-Дауа раньше, чем в 8 дней. Днем мы пошли на прогулку; перешли невысокий холм, покрытый мелкими острыми камнями, навсегда погубившими нашу обувь, погнались за большой колючей ящерицей, которую, наконец, поймали, и незаметно отдалились километра на 3 от станции. Солнце клонилось к закату; мы уже повернули назад, как вдруг увидели двух станционных солдат-абиссинцев, которые бежали к нам, размахивая оружием. «Мындерну» (в чем дело?), — спросил я, увидев их встревоженные лица. Они объяснили, что сомалийцы в этой местности очень опасны, бросают из засады копья в проходящих, частью из озорства, частью потому, что по их обычаю жениться может только убивший человека. Но на вооруженного они никогда не нападают. После мне подтвердили справедливость этих рассказов, и я сам видел в Дире-Дауа детей, которые подбрасывали на воздух браслет и пронзали его на лету ловко брошенным копьем. Мы вернулись на станцию, конвоируемые абиссинцами, подозрительно оглядывающими каждый куст, каждую кучу камней.

На другой день из Джибути прибыл поезд с инженерами и чернорабочими для починки пути. С ними же приехал и курьер, везущий почту для Абиссинии.

К этому времени уже выяснилось, что путь испорчен на протяжении восьмидесяти километров, но что можно попробовать проехать их на дрезине. После долгих препирательств с главным инженером мы достали две дрезины: одну для нас, другую для багажа. С нами поместились ашкеры (абиссинские солдаты), предназначенные нас охранять, и курьер. Пятнадцать рослых сомалийцев, ритмически выкрикивая «ейдехе, ейдехе» — род русской «дубинушки», не политической, а рабочей, — взялись за ручки дрезин, и мы отправились.

Дорога, действительно, была трудна. Над промоинами рельсы дрожали и гнулись, и кое-где приходилось идти пешком. Солнце палило так,

что наши руки и шеи через полчаса покрылись волдырями. По временам сильные порывы ветра обдавали нас пылью. Окрестности были очень богаты дичью. Мы опять видели шакалов, газелей и даже на берегу одного болота нескольких марабу, но они были слишком далеко. Одному из наших ашкеров удалось убить стрепета величиной почти с маленького страуса. Он был очень горд своей удачей.

Через несколько часов мы встретили паровоз и две платформы, подвозившие материалы для починки пути. Нас пригласили перейти на них, и еще час мы ехали таким примитивным способом. Наконец, мы встретили, вагон, который на следующее утро должен был отвезти нас в Дире-Дауа. Мы пообедали ананасным вареньем и печеньем, которые у нас случайно оказались, и переночевали на станции. Было холодно, слышался рев гиены. А в восемь часов утра перед нами в роще мимоз замелькали белые домики Дире-Дауа.

Как быть путешественнику, добросовестно заносящему в дневник свои впечатления? Как признаться ему при въезде в новый город, что первое привлекает его вниманье? Это чистые постели с белыми простынями, завтрак за столом, покрытым скатертью, книги и возможность сладкого отдыха?

Я далек от того, чтобы отрицать отчасти пресловутую прелесть «пригорков и ручейков». Закат солнца в пустыне, переправа через разлившиеся реки, сны ночью, проведенною под пальмами, — навсегда останутся одними из самых волнующих и прекрасных мгновений моей жизни. Но когда культурная повседневность, уже успевшая для путника стать сказкой, мгновенно превращается в реальность — пусть смеются надо мной городские любители природы, — это тоже прекрасно. И я с благодарностью вспоминаю ту гекко, маленькую, совершенно прозрачную ящерицу, бегающую по стенам комнат, которая, пока мы завтракали, ловила над нами комаров и временами поворачивала к нам свою безобразную, но уморительную мордочку.

Надо было составлять караван. Я решил взять слуг в Дире-Дауа, а мулов купить в Харраре, где они много дешевле. Слуги нашлись очень быстро: Хайле, негр из племени мангаля, скверно, но бойко говорящий по-французски, был взят как переводчик, харрарит Абдулайе, знающий лишь несколько французских слов, но зато имеющий своего мула, как

начальник каравана и пара быстроногих, черномазых бродяг как ашкеры. Потом наняли на завтра верховых мулов и со спокойным сердцем отправились бродить по городу.

Дире-Дауа очень выросла за те три года, пока я ее не видел, особенно ее европейская часть. Я помню время, когда в ней было всего две улицы, теперь их с десяток. Есть сады с цветниками, просторные кафе. Есть даже французский консул. Весь город разделяется на две части руслом высохшей реки, которая наполняется лишь во время дождя: европейскую, — ближе к вокзалу, и туземную, т.е. просто беспорядочное нагромождение хижин, загородок для скота и редких лавок. В европейской части живут французы и греки. Французы — господа положения: они или служат на железной дороге, где получают хорошее жалование, или содержат лучшие отели и ведут крупную торговлю; начальник почты — француз, доктор — тоже. Их уважают, но не любят за постоянно проявляемое ими высокомерие к цветным расам. В руках греков и изредка армян вся мелкая торговля Абиссинии. Абиссинцы называют их «грик» и отделяют от прочих европейцев, «френджей». В европейское, т.е. во французское общество, они за немногими исключеньями не приняты, хотя многие из них зажиточны. В одном маленьком греческом кафе, которое по вечерам превращается в настоящий игорный дом, я видел ставки по нескольку сот талеров, принадлежащие весьма подозрительным оборванцам.

В европейской части города нет ни экипажей, ни фонарей. Улицы освещаются луной и окнами кафе.

В туземной части города можно бродить целый день, не соскучась. В двух больших лавках, принадлежащих богатым индусам Джиоваджи и Мохамет-Али, шелковые шитые золотом одежды, кривые сабли в красных сафьяновых ножнах, кинжалы с серебряной чеканкой и всевозможные восточные украшения, так ласкающие глаза. Их продают важные толстые индусы в ослепительно-белых рубашках под халатами и в шелковых шапочках блином. Пробегают йеменские арабы, тоже торговцы, но, главным образом, комиссионеры. Сомалийцы, искусные в различного рода рукодельях, тут же на земле плетут циновки, приготовляют по мерке сандалии. Проходя перед хижинами галласов, слышишь запах ладана, их любимого куренья. Перед домом данакильского нагадраса

(собственно говоря, начальника купцов, но в действительности — просто важного начальника) висят хвосты слонов, убитых его ашкерами. Прежде висели и клыки, но с тех пор, как абиссинцы завоевали страну, бедным данакилям приходится довольствоваться одними хвостами. Абиссинцы с ружьями за плечами ходят без дела с независимым видом. Они завоеватели, им работать неприлично. И сейчас же за городом начинаются горы, где стада павианов обгрызают молочаи и летают птицы с громадными красными носами.

Чтобы быть уверенным в своих ашкерах, необходимо записать их и их поручителей у городского судьи. Я отправился к нему и имел случай видеть абиссинский суд. На террасе дома, выходящей на довольно обширный двор, сидел, поджав под себя ноги, статный абиссинец, главный судья, окруженный помощниками и просто друзьями. Шагах в пяти перед ним на земле лежало бревно, за которое не должны были переступать тяжущиеся даже в пылу защиты или обвинения. Двор был полон ашкерами, принадлежащими судье, и просто любопытными. Когда я вошел, судья вежливо приветствовал меня, велел подать стул и, заметив, что я интересуюсь тяжбой, сам дал несколько разъяснений. По ту сторону бревна стояли высокий абиссинец с красивым, но искаженным злобою лицом, и приземистый, одна нога на деревяшке, араб, весь полный торжеством в ожиданье близкой победы. Дело состояло в том, что абиссинец взял у араба мула, чтобы куда-то проехать, и мул издох. Араб требовал уплаты, абиссинец доказывал, что мул был больной. Говорили по очереди. Абиссинец перепрыгивал через бревно и в такт своим аргументам тыкал пальцем прямо в лицо судье. Араб принимал красивые позы, распахивал и запахивал свою шаму (белая мантия, общая для всех обитателей Абиссинии), и, говоря, выбирал выражения и, видимо, старался для галерки. Действительно, дружный сочувственный смех сопутствовал его выступленьям. Даже судья с улыбкой покачивал головой и бормотал: «Ойю гут» («это удивительно»). Наконец, когда оба тяжущиеся поклялись смертью Менелика (в Абиссинии всегда клянутся смертью императора или кого-нибудь из высших сановников), утверждая противное, восторг сделался общим. Я не дождался конца и, записав ашкеров, ушел, но видно было, что победит араб. Судиться в Абиссинии — очень трудная вещь. Обыкновенно выигрывает тот, кто

заранее сделает лучший подарок судье, а как узнать, сколько дал противник? Дать же слишком много тоже невыгодно. Тем не менее абиссинцы очень любят судиться, и почти каждая ссора кончается традиционным приглашением во имя Менелика (ба Менелик) явиться в суд.

Днем прошел ливень, настолько сильный, что ветром снесло крышу с одного греческого отеля, правда, не особенно прочной постройки. Под вечер мы вышли пройтись и, конечно, посмотреть, что сталось с рекой. Ее нельзя было узнать, она клокотала, как мельничный омут. Особенно перед нами один рукав, огибавший маленький островок, неистовствовал необычайно. Громадные валы совершенно черной воды, и даже не воды, а земли и песка, поднятого со дна, летели, перекатывались друг через друга, и, ударяясь о выступ берега, шли назад, поднимались столбом и ревели. В тот тихий матовый вечер это было зрелище страшное, но прекрасное. На островке прямо перед нами стояло большое дерево. Волны с каждым ударом обнажали его корни, обдавая его брызгами пены. Дерево вздрагивало всеми ветвями, но держалось крепко. Под ним уже почти не оставалось земли, и лишь два-три корня удерживали его на месте. Между зрителями даже составлялись пари: устоит оно или не устоит. Но вот другое дерево, вырванное где-то в горах потоком, налетело и, как тараном, ударило его. Образовалась мгновенная запруда, которой было достаточно, чтобы волны всей своей тяжестью обрушились на погибающего. Посреди рева воды слышно было, как лопнул главный корень, и, слегка качнувшись, дерево как-то сразу нырнуло в водоворот всей зеленой метелкой ветвей. Волны бешено подхватили его, и через мгновенье оно было уже далеко. А в то время, как мы следили за гибелью дерева, ниже нас по течению утонул ребенок, и весь вечер мы слышали, как голосила мать.

Наутро мы отправились в Харрар.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Дорога в Харрар пролегает первые километров двадцать по руслу той самой реки, о которой я говорил в предыдущей главе. Ее края довольно отвесны, и не дай Бог путнику оказаться на ней во время дождя. Мы, к счастью, были гарантированы от этой опасности, потому что промежуток между двумя дождями длится около сорока часов.

И не мы одни воспользовались удобным случаем. По дороге ехали десятки абиссинцев, проходили данакили, галласские женщины с отвислой голой грудью несли в город вязанки дров и травы. Длинные цепи верблюдов, связанных между собой за морды и хвосты, словно нанизанные на нитку забавные четки, проходя, пугали наших мулов. Ожидали приезда в Дире-Дауа харрарского губернатора дедьязмача Тафари, и мы часто встречали группы выехавших встретить его европейцев на хорошеньких резвых лошадках.

Дорога напоминала рай на хороших русских лубках: неестественно зеленая трава, слишком раскидистые ветви деревьев, большие разноцветные птицы и стада коз по откосам гор. Воздух мягкий, прозрачный и словно пронизанный крупинками золота. Сильный и сладкий запах цветов. И только странно дисгармонируют со всем окружающим черные люди, словно грешники, гуляющие в раю, по какой-нибудь еще не созданной легенде.

Мы ехали рысью, и наши ашкеры бежали впереди, еще находя время подурачиться и посмеяться с проходящими женщинами. Абиссинцы славятся своей быстроногостью, и здесь общее правило, что на большом расстоянии пешеход всегда обгонит конного. Через два часа пути начался подъем: узкая тропинка, иногда переходящая прямо в канавку, вилась почти отвесно на гору. Большие камни заваливали дорогу, и нам пришлось, слезши с мулов, идти пешком. Это было трудно, но хорошо. Надо взбегать, почти не останавливаясь, и балансировать на острых камнях: так меньше устаешь. Бьется сердце и захватывает дух: словно идешь на любовное свидание. И зато бываешь вознагражден неожиданным, как поцелуй, свежим запахом горного цветка, внезапно открывшимся видом на нежно затуманенную долину. И когда, наконец, полузадохшиеся и изнеможденные, мы взошли на последний кряж, нам сверкнула в глаза так давно невиданная спокойная вода, словно серебряный щит — горное озеро Адели. Я посмотрел на часы: подъем длился полтора часа. Мы были на Харрарском плоскогории. Местность резко изменилась. Вместо мимоз зеленели банановые пальмы и изгороди молочаев; вместо дикой травы — старательно возделанные поля дурро. В галласской деревушке мы купили нжиры (род толстых блинов из черного теста, заменяющие в Абиссинии хлеб) и съели ее, окруженные любопытными ребятишками, при

малейшем нашем движении бросающимися удирать. Отсюда в Харрар шла прямая дорога, и кое-где на ней были даже мосты, переброшенные через глубокие трещины в земле. Мы проехали второе озеро — Оромоло, вдвое больше первого, застрелили болотную птицу с двумя белыми наростами на голове, пощадили красивого ибиса и через пять часов очутились перед Харраром.

Уже с горы Харрар представлял величественный вид со своими домами из красного песчаника, высокими европейскими домами и острыми минаретами мечетей. Он окружен стеной, и через ворота не пропускают после заката солнца. Внутри же это совсем Багдад времен Гаруна аль-Рашида. Узкие улицы, которые то подымаются, то спускаются ступенями, тяжелые деревянные двери, площади, полные галдящим людом в белых одеждах, суд, тут же на площади — все это полно прелести старых сказок. Мелкие мошенничества, проделываемые в городе, тоже совсем в древнем духе. Навстречу нам по многолюдной улице шел с ружьем на плече мальчишка — негр лет десяти, по всем признакам раб, и за ним из-за угла следил абиссинец. Он не дал нам дороги, но так как мы ехали шагом, нам не трудно было объехать его. Вот показался красивый харрарит, очевидно, торопившийся, так как он скакал галопом. Он крикнул мальчишке посторониться, тот не послушался и, задетый мулом, упал на спину, как деревянный солдатик, сохраняя на лице все ту же спокойную серьезность. Следивший из-за угла абиссинец бросился за харраритом и, как кошка, вскочил позади седла: «Ба Менелик, ты убил человека». Харрарит уже приуныл, но в это время негритенок, которому, очевидно, недоело лежать, встал и стал отряхивать с себя пыль. Абиссинцу все-таки удалось сорвать талер за увечье, чуть-чуть не нанесенное его рабу.

Мы остановились в греческом отеле, единственном в городе, где за скверную комнату и еще более скверный стол с нас брали цену, достойную парижского Grand Hôtel'a. Но все-таки приятно было выпить освежительного пинцерменту и сыграть партию в засаленные и обгрызанные шахматы.

В Хараре я встретил знакомых. Подозрительный мальтиец Каравана, бывший банковский чиновник, с которым я смертельно рассорился в Аддис-Абебе, первый пришел приветствовать меня. Он навязывал мне чьего-то чужого скверного мула, намереваясь получить комиссионные.

Предложил сыграть в покер, но я уже знал его манеру игры. Наконец, с обезьяньими ужимками посоветовал послать дедьязмачу ящик с шампанским, чтобы потом забежать перед ним и похвастаться своей распорядительностью. Когда же ни одно из его стараний не увенчалось успехом, он потерял ко мне всякий интерес. Но я сам послал искать другого моего аддис-абебского знакомого — маленького чистенького пожилого копта, директора местной школы. Склонный к философствованию, как большинство его соотечественников, он высказывал подчас интересные мысли, рассказывал забавные истории, и все его миросозерцание производило впечатление хорошего и устойчивого равновесья. С ним мы играли в покер и посетили его школу, где маленькие абиссинцы лучших в городе фамилий упражнялись в арифметике на французском языке. В Харраре у нас оказался даже соотечественник, русский подданный армянин Артем Иоаханжан, живший в Париже, в Америке, в Египте и около двадцати лет живущий в Абиссинии. На визитных карточках он значился как доктор медицины, доктор наук, негоциант, комиссионер и бывший член Суда, но когда его спрашивают, как получил он столько званий, ответ — неопределенная улыбка и жалобы на дурные времена.

Кто думает, что в Абиссинии легко купить мулов, тот очень ошибается. Специальных купцов нет, мулиных ярмарок тоже. Ашкеры ходят по домам, справляясь, нет ли продажных мулов. У абиссинцев разгораются глаза: может быть, белый не знает цены и его можно надуть. К отелю тянется цепь мулов, иногда очень хороших, но зато безумно дорогих. Когда эта волна спадет, начинается другая: ведут мулов больных, израненных, разбитых на ноги в надежде, что белый не понимает толк в мулах, и только потом поодиночке начинают приводить хороших мулов и за настоящую цену. Таким образом, в три дня нам посчастливилось купить четырех. Много помог нам наш Абдулайе, который хотя и брал взятки с продавцов, но все же очень старался в нашу пользу. Зато низость переводчика Хайле выяснилась за эти дни вполне. Он не только не искал мулов, но даже, кажется, перемигнулся с хозяином отеля, чтобы как можно дольше задержать нас там. Я его отпустил тут же в Харраре.

Другого переводчика мне посоветовали искать в католической миссии. Я отправился туда с Иоаханжаном. Мы вошли в полуотворенную

дверь и очутились на большом безукоризненно чистом дворе. На фоне высоких белых стен с нами раскланивались тихие капуцины в коричневых рясах. Ничто не напоминало Абиссинии, казалось, что мы в Тулузе или в Арле. В просто убранной комнате к нам выбежал, именно выбежал, сам монсеньер, епископ Галласский француз, лет пятидесяти с широко раскрытыми, как будто удивленными глазами. Он был отменно любезен и приятен в обращении, но года, проведенные среди дикарей, в связи с общей монашеской наивностью, давали себя чувствовать. Как-то слишком легко, точно семнадцатилетняя институтка, он удивлялся, радовался и печалился всему, что мы говорили. Он знал одного переводчика, это — галлас Поль, бывший воспитанник миссии, очень хороший мальчик, он его ко мне пришлет. Мы попрощались и вернулись в отель, куда через два часа пришел и Поль. Рослый парень с грубоватым крестьянским лицом, он охотно курил, еще охотнее пил и в то же время смотрел сонно, двигался вяло, словно зимняя муха. С ним мы не сошлись в цене. После, в Дире-Дауа, я взял другого воспитанника миссии Феликса. По общему утверждению всех видевших его европейцев, он имел такой вид, точно его начинает тошнить; когда он поднимался по лестнице, хотелось почти поддержать его, и, однако, он был совершенно здоров и тоже un très brave garcon, как находили миссионеры. Мне сказали, что все воспитанники католических миссий таковы. Они отдают свою природную живость и понятливость взамен сомнительных моральных достоинств.

Вечером мы отправились в театр. Дедьязмач Тафари увидел однажды в Дире-Дауа спектакли заезжей индийской труппы и так восхитился, что решил во что бы то ни стало доставить то же зрелище и своей жене. Индийцы на его счет отправились в Харрар, получили бесплатно помещение и прекрасно обжились. Это был первый театр в Абиссинии, и он имел огромный успех. Мы с трудом нашли два места в первом ряду; для этого пришлось отсадить на приставные стулья двух почтенных арабов. Театр оказался просто-напросто балаганом: низкая железная крыша, некрашеные стены, земляной пол — все это было, быть может, даже слишком бедно. Пьеса была сложная, какой-то индийский царь в лубочно-пышном костюме увлекается красивой наложницей и пренебрегает не только своей законной супругой и моло-

дым прекрасным принцем сыном, но и делами правления. Наложница, индийская Федра, пытается обольстить принца и в отчаянии от неудачи клевещет на него царю. Принц изгнан, царь проводит все свое время в пьянстве и чувственных наслаждениях. Нападают враги, он не защищается, несмотря на уговоры верных воинов, и ищет спасения в бегстве. В город вступает новый царь. Случайно на охоте он спас от руки разбойников законную жену прежнего царя, последовавшую в изгнание за своим сыном. Он хочет жениться на ней, но когда та отказывается, говорит, что согласен относиться к ней, как к своей матери. У нового царя есть дочь, ей надо выбрать жениха, и для этого собираются во дворец все окружные принцы. Кто сможет выстрелить из заколдованного лука, тот будет избранником. Изгнанный принц в одежде нищего тоже приходит на состязание. Конечно, только он может натянуть лук, и все в восторге, узнав, что он королевской крови. Царь вместе с рукой своей дочери отдает ему и престол, прежний царь, раскаявшись в своих заблуждениях, возвращается и тоже отказывается от своих прав на царствование.

Единственный режиссерский трюк состоял в том, что, когда опускался занавес, изображавший улицу большого восточного города, перед ним актеры, переодетые горожанами, разыгрывали маленькие забавные сценки, лишь отдаленно относившиеся к общему действию пьесы.

Декорации, увы! были в очень дурном европейском стиле, с претензиями на красивость и реализм. Самое интересное было то, что все роли исполнялись мужчинами. Как ни странно, но это не только не вредило впечатлению, но даже усиливало его. Получалось приятное единообразие голосов и движений, которое так редко встречается в наших театрах. Особенно хорош был актер, игравший наложницу; набеленный, нарумяненный, с красивым цыганским профилем, он выказал столько страсти и кошачьей грации в сцене обольщения короля, что зрители были искренно взволнованы. Особенно разгорались глаза у переполнявших театр арабов.

Мы вернулись в Дире-Дауа, взяли весь наш багаж и новых ашкеров и через три дня были уже на обратной дороге. Ночевали на половине подъема, и это была наша первая ночь в палатке. Там уместились только две наши кровати и между них, как ночной столик, два поставленные один на другой чемоданы типа, выработанного Грумм-Гржимайло. Еще не

обгоревший фонарь распространял зловонье. Мы поужинали китой (мука, размешанная в воде и поджаренная на сковородке, обычная здесь еда в пути) и вареным рисом, который мы ели сперва с солью, потом с сахаром. Утром встали в шесть часов и двинулись дальше.

Нам сказали, что наш друг турецкий консул находится в отеле в двух часах езды от Харрара и ожидает, чтобы харрарские власти были официально извещены о его прибытье. Об этом хлопотал германский посланник в Аддис-Абебе. Мы решили заехать в этот отель, отправив караван вперед.

Несмотря на то, что консул еще не вступил в исполнение своих обязанностей он уже принимал многочисленных мусульман, видевших в нем наместника самого султана и желавших его приветствовать. По восточному обычаю, все приходили с подарками. Турки-садоводы приносили овощи и плоды, арабы — баранов и кур. Вожди полунезависимых сомалийских племен присылали спрашивать, что он хочет, льва, слона, табун лошадей или десяток страусовых кож, снятых вместе со всеми перьями. И только сирийцы, одетые в пиджаки и корчащие европейцев, приходили с развязным видом и пустыми руками.

Мы пробыли у консула около часа и, приехав в Харрар, узнали грустную новость, что наши ружья и патроны задержаны в городской таможне. На следующее утро наш знакомый армянин, коммерсант из окрестностей Харрара, заехал за нами, чтобы вместе ехать навстречу консулу, который, наконец, получил нужные бумаги и мог совершить торжественный въезд в Харрар. Мой спутник слишком устал накануне, и я поехал один. Дорога имела праздничный вид. Арабы в белых и цветных одеждах в почтительных позах сидели на скалах. Там и сям сновали абиссинские ашкеры, посланные губернатором для почетного конвоя и водворения порядка. Белые, т.е. греки, армяне, сирийцы и турки, — все знакомые между собой, скакали группами, болтая и одалживаясь папироской. Попадавшиеся навстречу крестьяне-галласы испуганно сторонились, видя такое торжество.

Консул, я, кажется, забыл написать, что это был генеральный консул, был достаточно величествен в своем богато расшитом золотом мундире, ярко-зеленой ленте через плечо и ярко-красной феске. Он сел на большую белую лошадь, выбранную из самых смирных (он не был

хорошим наездником), два ашкера взяли ее под уздцы, и мы тронулись обратно в Харрар. Мне досталось место по правую руку консула, по левую ехал Калиль Галеб, здешний представитель торгового дома Галебов. Впереди бежали губернаторские ашкеры, позади ехали европейцы, и сзади них бежали преданные мусульмане и разный праздношатающийся люд. В общем, было человек до шестисот. Греки и армяне, ехавшие сзади, напирали на нас нещадно, каждый стараясь показать свою близость к консулу. Один раз даже его лошадь вздумала бить задом, но и это не останавливало честолюбцев. Большое замешательство произвела какая-то собака, которая вздумала бегать и лаять в этой толпе. Ее гнали, били, но она все принималась за свое. Я отделился от шествия, потому что у моего седла оборвался подхвостник, и со своими двумя ашкерами вернулся в отель. На следующий день, согласно прежде полученному и теперь подтвержденному приглашению, мы перебрались из отеля в турецкое консульство.

Чтобы путешествовать по Абиссинии, необходимо иметь пропуск от правительства. Я телеграфировал об этом русскому поверенному в делах в Аддис-Абебу и получил ответ, что приказ выдать мне пропуск отправлен начальнику харрарской таможни нагадрасу Бистрати. Но нагадрас объявил, что он ничего не может сделать без разрешения своего начальника дедьязмача Тафари. К дедьязмачу следовало идти с подарком. Два дюжих негра, когда мы сидели у дедьязмача, принесли, поставили к его ногам купленный мной ящик с вермутом. Сделано это было по совету Калиль Галеба, который нас и представлял. Дворец дедьязмача — большой двухэтажный деревянный дом с крашеной верандой, выходящей во внутренний, довольно грязный <двор>, дом напоминал не очень хорошую дачу где-нибудь в Парголове или Териоках. На дворе толклось десятка два ашкеров, державшихся очень развязно. Мы поднялись по лестнице и после минутного ожиданья на веранде вошли в большую устланную коврами комнату, где вся мебель состояла из нескольких стульев и бархатного кресла для дедьязмача. Дедьязмач поднялся нам навстречу и пожал нам руки. Он был одет в шаму, как все абиссинцы, но по его точеному лицу, окаймленному черной вьющейся бородкой, по большим полным достоинства газельим глазам и по всей манере держаться в нем сразу можно было угадать принца. И неудивительно: он

был сын раса Маконнена, двоюродного брата и друга императора Менелика, и вел свой род прямо от царя Соломона и царицы Савской. Мы просили его о пропуске, но он, несмотря на подарок, ответил, что без приказания из Аддис-Абебы он ничего сделать не может. К несчастью, мы не могли даже достать удостоверения от нагадраса, что приказ получен, потому что нагадрас отправился искать мула, пропавшего с почтой из Европы по дороге из Дире-Дауа в Харрар. Тогда мы просили дедьязмача о разрешении сфотографировать его, и на это он тотчас же согласился. Через несколько дней мы пришли с фотографическим аппаратом. Ашкеры расстелили ковры прямо во дворе, и мы сняли дедьязмача в его парадной синей одежде. Затем была очередь за принцессой, его женой. Она сестра лидж<а> Иассу, наследника престола, и, следовательно, внучка Менелика. Ей двадцать два года, на три года больше, чем ее мужу, и черты ее лица очень приятны, несмотря на некоторую полноту, которая уже испортила ее фигуру. Впрочем, кажется, она находилась в интересном положении. Дедьязмач проявлял к ней самое трогательное вниманье. Сам усадил в нужную позу, оправил платье и просил нас снять ее несколько раз, чтобы наверняка иметь успех. При этом выяснилось, что он говорит по-французски, но только стесняется, не без основанья находя, что принцу неприлично делать ошибки. Принцессу мы сняли с ее двумя девочками-служанками.

Мы послали в Аддис-Абебу новую телеграмму и принялись за работу в Харраре. Мой спутник стал собирать насекомых в окрестностях города. Я его сопровождал раза два. Это удивительно умиротворяющее душу занятие: бродить по белым тропинкам между кофейных полей, взбираться на скалы, спускаться к речке и везде находить крошечных красавцев — красных, синих, зеленых и золотых. Мой спутник собирал их в день до полусотни, причем избегал брать одинаковых. Моя работа была совсем иного рода: я собирал этнографические коллекции, без стеснения останавливал прохожих, чтобы осмотреть надетые на них вещи, без спроса входил в дома и пересматривал утварь, терял голову, стараясь добиться сведений о назначении какого-нибудь предмета у не понимавших, к чему все это, харраритов. Надо мной насмехались, когда я покупал старую одежду, одна торговка прокляла, когда я вздумал ее сфотографировать, и некоторые отказывались

продать мне то, что я просил, думая, что это нужно мне для колдовства. Для того, чтобы достать священный здесь предмет — чалму, которую носят харрариты, бывавшие в Мекке, мне пришлось целый день кормить листьями ката (наркотического средства, употребляемого мусульманами) обладателя его, одного старого полоумного шейха. И в доме матери кавоса при турецком консульстве я сам копался в зловонной корзине для старья и нашел там много интересного. Эта охота за вещами увлекательна чрезвычайно: перед глазами мало-помалу встает картина жизни целого народа и все растет нетерпенье увидеть ее больше и больше. Купив прядильную машину, я увидел себя вынужденным узнать и ткацкий станок. После того, как была приобретена утварь, понадобились и образчики пищи. В общем, я приобрел штук семьдесят чисто харраритских вещей, избегая покупать арабские или абиссинские. Однако всему должен наступить конец. Мы решили, что Харрар изучен, насколько нам позволияли наши силы, и, так как пропуск мог быть получен только дней через восемь, налегке, т.е только с одним грузовым мулом и тремя ашкерами, отправились в Джиджига к сомалийскому племени Габараталь. Но об этом я позволю себе рассказать в одной из следующих глав.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Харрар основан лет девятьсот тому назад мусульманскими выходцами из Тигре́, бежавшими от религиозных преследований и смешавшимися с ними арабами. Он расположен на небольшом, но чрезвычайно плодородном плоскогорье, которое с севера и с запада граничит с данакильской пустыней, с востока — с землей Сомали, а с юга — с высокой и лесистой областью Мета́; в общем, занимаемое им пространство равняется восьмидесяти квадратным километрам. Собственно харрариты живут только в городе и выходят работать в сады, где растет кофе и чад (дерево с опьяняющими листьями), остальное пространство с пастбищами и полями дурро и маиса еще в XVI веке занято галласами, коту, т.е. земледельцами. Харрар был независимым государством до <...>. В этом году негус Менелик в битве при Челонко в Черчере наголову разбил харрарского негуса Абдуллаха и взял его самого в плен, где тот

вскоре и умер. Его сын живет под надзором правительства в Абиссинии, номинально называется харрарским негусом и получает солидную пенсию. Я его видел в Аддис-Абебе: это красивый полный араб с приятной важностью лица и движений, но с какой-то запуганностью во взгляде. Впрочем, он не высказывает никаких поползновений вернуть себе престол. После победы Менелик поручил управление Харраром своему двоюродному брату расу Маконенну, одному из величайших государственных людей Абиссинии. Тот удачными войнами распространил пределы своей провинции на всю землю данакилей и на большую часть сомалийского полуострова. После его смерти Харраром управлял его сын дедзач Ильма, но через год он умер. Потом <городом управлял> дедзач Бальча. Это был человек сильный и суровый. О нем до сих пор говорят в городе, кто с негодованием, кто с неподдельным уважением. Когда он прибыл в Харрар, там был целый квартал веселых женщин, и его солдаты принялись ссориться из-за них, и дело доходило даже до убийства. Бальча приказал вывести их всех на площадь и продал с публичного торга, поставив их покупателям условия, что они должны смотреть за поведением своих новых рабынь. Если хоть одна из них будет замечена, что она занимается прежним ремеслом, то она подвергается смертной казни, а соучастник ее преступления платит штраф в десять талеров. Теперь Харрар едва ли не самый целомудренный город в мире, так как харрариты, не поняв как следует принца, распространили его даже на простой адюльтер. Когда пропала европейская почта, Бальча приказал повесить всех обитателей того дома, где нашлась пустая сумка, и четырнадцать трупов долго качались на деревьях по дороге между Дире-Дауа и Харраром. Он отказывался платить подати негусу, утверждая, что по эту сторону Гаваша негус — он, и предлагал отрешить его от губернаторства; он знал, что им дорожили как единственным в Абиссинии искусным стратегом. Теперь он губернатор в отдаленной области Сидамо и ведет себя там так же, как в Харраре.

Дедьязмач Тафари, наоборот, мягок, нерешителен и непредприимчив. Порядок держится только вице-губернатором фитаурари Габре, старым сановником школы Бальчи. Этот охотно раздает по двадцать, тридцать жирафов, т.е. ударов бичом из жирафьей кожи, и даже вешает подчас, но очень редко.

И европейцы, и абиссинцы, и галласы, точно сговорившись, ненавидят харраритов. Европейцы за вероломство и продажность, абиссинцы за лень и слабость, ненависть галласов, результат многовековой борьбы, имеет даже мистический оттенок. «Сыну ангелов, не носящему рубашки (т.е. галласу), не следует входить в дома черных хараритов», — поется в их песенке, и обыкновенно они исполняют этот завет. Все это мне кажется не совсем справедливым. Харрариты действительно унаследовали наиболее отталкивающие качества семитической расы, но не больше, чем арабы Каира или Александрии, и это их несчастье, что им приходится жить среди рыцарей-абиссинцев, трудолюбивых галласов и благородных арабов Йемена. Они очень начитаны, отлично знают Коран и арабскую литературу, но особенной религиозностью не отличаются. Их главный святой шейх Абукир, пришедший лет двести тому назад из Аравии и похороненный в Харраре. Ему посвящены многочисленные платаны в городе и окрестностях, так называемые аулиа. Аулиа здешние мусульмане называют все, обладающее силой творить чудеса во славу Аллаха. Есть аулиа покойники и живые, деревья и предметы. Так, на базаре в Гинире мне долго отказывались продать зонтик туземной работы, говоря, что это аулиа. Впрочем, более образованные знают, что неодушевленный предмет не может быть священен сам по себе и что чудеса творит дух того или иного святого, поселившегося в этом предмете.

13. УМЕР ЛИ МЕНЕЛИК?

Умер ли Менелик — вот вопрос, от которого зависит судьба самой большой независимой страны в Африке, страны с пятнадцатью миллионами населения, древней православной Абиссинии. Если да — могучие феодалы поднимут спор за императорский трон, недавно покоренные народы возмутятся, и все это окажется предлогом для европейцев разделить между собой Абиссинию. Этот раздел уже решен, и по тайному соглашению французы получат восточные области, итальянцы — северные и часть южных, англичане — все остальное. Не знают только, как поступить с центральной частью, где озеро Тана. Из него берет свое начало Голубой Нил, главный ороситель Египта. Итальянцы, овладев этим озером, могут отвести воду в свою ныне бесплодную Эритрею, она

станет новым Египтом, а старый, лишенный воды, сольется с Сахарой. Англичане, конечно, не могут на это согласиться и требуют Тану себе, хотя они и так при разделе получат больше других.

Если же жив Менелик — все будет по-старому. Министры из столицы Абиссинии Аддис-Абебы будут повелевать феодалами, сильные гарнизоны — держать в повиновении покоренные племена; белые не посмеют напасть на сплоченный, безумно храбрый и удивительно выносливый народ. Европейские школы, которые уже есть в Абиссинии, выпустят ряд людей, способных к управлению и понимающих опасности, грозящие их стране, и она останется независимой еще много веков, чего, конечно, заслуживает вполне.

Постараемся же разобрать этот вопрос и для этого вернемся к событиям 1906 года. Уже давно Менелик хотел сломить власть феодалов. Эти надменные расы, засевшие в своих то горных, то лесистых областях, охотно признавали его своим владыкой, но они не хотели признать наследником его любимого внука лиджа Иассу, сына его дочери и покоренного крестившегося вождя Уолло. В значительной мере справедливо они утверждали, что если Менелик не хочет признать наследниками своих сыновей, то следует отдать престол чистокровному абиссинцу и потомку царя Соломона, как вся царская фамилия. Менелик решился на рискованный шаг: он сохранил за расами губернаторские права в их областях, но все управление поручил министрам, которых избрал из преданных ему лиц, по большей части незнатного происхождения. Тотчас же вслед за этим самый влиятельный вождь, рас Маконнен, направился со своими харрарскими отрядами на Аддис-Абебу. Его отравили по дороге. В Тигрэ вспыхнуло восстание и после кровавых битв было подавлено. Остальные расы глухо волновались, но вдруг пронесся слух, что Менелик умер.

В Аддис-Абебе мне рассказывали ужасные вещи. Императору дали яд, но страшным напряжением воли, целый день скача на лошади, он поборол его действие. Тогда его отравили вторично уже медленно действующим ядом и старались подорвать бодрость его духа зловещими предзнаменованиями. Для суеверных абиссинцев мертвая кошка указывает на гибель увидавшего ее. Каждый вечер, входя в спальню, император находил у постели труп черной кошки. И однажды ночью императрица Таиту объя-

вила, что после внезапной смерти Менелика правительницей становится она, и послала арестовать министров. Те, отбившись от нападавших, собрались на совет в доме митрополита Абуны Матеоса, наутро арестовали Таиту и объявили, что Менелик жив, но болен и видеть его нельзя.

С тех пор никто, кроме официальных лиц, не мог сказать, что видел императора. Даже европейские посланники не допускались к нему. Именем еще малолетнего наследника, лиджа Иассу, управлял его опекун рас Тасама, который во всем считался с мнениями министров. В судах и при официальных выступлениях, как прежде, все решалось именем Менелика. В церквах молились о его выздоровлении.

Так прошло шесть лет, и лидж Иассу вырос. Несколько охот на слонов, несколько походов на еще не покоренные племена — и у львенка загорелись глаза на императорский престол. Рас Тасама внезапно умер от обычной среди абиссинских сановников болезни: от яда, и однажды, тоже ночью, лидж Иассу со своими приближенными ворвался в императорский дворец, чтобы доказать, что Менелик умер, и он может быть коронован. Но правительство не дремало: министр финансов, Хайле Георгис, первый красавец и щеголь в Аддис-Абебе, собрав людей, выгнал лиджа Иассу из дворца, военный министр, Уольде Георгис, прямо с постели, голый, бросился на телеграфную станцию и саблей перерубил провода, чтобы белые не узнали о смутах в столице. Лиджу Иассу было сделано строжайшее внушение, после которого он должен был отправиться погостить к отцу, в Уолло. Европейским посланникам было категорически подтверждено, что Менелик жив.

Несколько недель тому назад я опять прочел в газетах, что Менелик умер, а на другой же день — опровержение этого слуха. Значит, повторилось что-нибудь подобное только что рассказанному.

Итак, жив ли Менелик или нет? По-моему — жив, потому что жива лучшая его часть — могучая и сплоченная Абиссиния, такою, какою он ее создал. Когда будет окончательно сказано, что он умер, он действительно умрет с независимостью Абиссинии, символом которой он являлся. Об его предке, царе Соломоне, рассказывают, что он заставил духов строить храм и, почувствовав приближение смерти, приказал привязать свое тело к трону, чтобы духи не заметили, что он мертв, и продолжали свою работу. То же самое повторилось и в наши дни.

И по всей Абиссинии звучит песня, сложенная не в золотые дни побед и правления любимого императора, а в туманные дни его второго, призрачного, бытия:

«Смерти не миновать; был император Аба-Данья[*], но у леопарда болят глаза, он не выходит из своего логовища!

Лошадь Аба-Даньи не стала бы трусливой: трусливая лошадь тени боится, начиная от слона и кончая жирафом.

Кому завещал он свой щит? Пока еще он продолжает грозить, но люди держат его лишь по привычке!»

14. АФРИКАНСКАЯ ОХОТА

Из путевого дневника

На старинных виньетках часто изображали Африку в виде молодой девушки, прекрасной, несмотря на грубую простоту ее форм, и всегда, всегда окруженной дикими зверями. Над ее головой раскачиваются обезьяны, за ее спиной слоны помахивают хоботами, лев лижет ее ноги, рядом на согретом солнцем утесе нежится пантера.

Художники не справлялись ни с ростом колонизации, ни с проведением железных дорог, ни с оросительными или осушительными земляными работами. И они были правы: это нам здесь, в Европе, кажется, что борьба человека с природой закончилась или, во всяком случае, перевес уже, очевидно, на нашей стороне. Для побывавших в Африке дело представляется иначе.

Узкие насыпи железных дорог каждое лето размываются тропическими ливнями, слоны любят почесывать свои бока о гладкую поверхность телеграфных столбов и, конечно, ломают их, гиппопотамы опрокидывают речные пароходы. Сколько лет англичане заняты покореньем Сомалийского полуострова — и до сих пор не сумели продвинуться даже на сто километров от берега. И в то же время нельзя сказать, что Африка не гостеприимна, — ее леса равно открыты для белых, как и для черных, к

---

[*] Аба-Данья — господин Даньи (имя лошади); абиссинцы в песнях определяют своих вождей, как хозяев принадлежащих им любимых лошадей (прим. Гумилева — *Ред.*)

ее водопоям по молчаливому соглашению человек подходит раньше зверя. Но она ждет именно гостей и никогда не признает их хозяевами.

Европеец, если он счастливо проскользнет сквозь цепь ноющих скептиков (по большей части из мелких торговцев) в приморских городах, если не послушается зловещих предостережений своего консула, если, наконец, сумеет собрать не слишком большой и громоздкий караван, может увидеть Африку такой, какой она была тысячи лет тому назад: безыменные реки с тяжелыми свинцовыми волнами, пустыни, где, кажется, смеет возвышать голос только Бог, скрытые в горных ущельях сплошь истлевшие леса, готовые упасть от одного толчка; он услышит, как лев, готовясь к бою, бьет хвостом бока и как коготь, скрытый в его хвосте, звенит, ударяясь о ребра; он подивится древнему племени шангалей, у которых женщина в присутствии мужчин не смеет ходить иначе чем на четвереньках; и если он охотник, то там он встретит дичь, достойную сказочных принцев. Но он должен одинаково закалить и свое тело, и свой дух: тело — чтобы не бояться жары пустынь и сырости болот, возможных ран, возможных голодовок; дух — чтобы не трепетать при виде крови своей и чужой и принять новый мир, столь непохожий на наш, огромным, ужасным и дивно-прекрасным.

II

Красное море — бесспорно, часть Африки, и ловля акулы в Красном море может быть прекрасным вступлением к африканским охотам.

Мы бросили якорь перед Джеддой, куда нас не пустили, так как там была чума. Я не знаю ничего красивее ярко-зеленых мелей Джедды, окаймляемых чуть розоватой пеной. Не в честь ли их и хаджи-мусульмане, бывавшие в Мекке, носят зеленые чалмы?

Пока грузили уголь, было решено заняться ловлей акулы. Громадный крюк с десятью фунтами гнилого мяса, привязанный к крепкому канату, служил удочкой, поплавок изображало бревно. Но акул совсем не было видно, или они проплыли так далеко, что их лоцманы не могли заметить приманки: акула очень близорука и ее всегда сопровождают две хорошенькие небольшие рыбки, которые наводят ее на добычу и получают за это свою долю — они-то и называются лоцманами.

Наконец в воде появилась темная тень, сажени в полторы длиною, и поплавок, завертевшись несколько раз, нырнул в воду. Мы дернули за веревку, но вытащили лишь крючок. Акула только дернула приманку, но не проглотила ее. Теперь, видимо огорченная исчезновением аппетитно пахнущего мяса, она плавала кругами почти на поверхности и всплескивала хвостом по воде. Сконфуженные лоцманы носились туда и сюда. Мы поспешили забросить крючок обратно. Акула бросилась к нему, уже не стесняясь. Канат сразу натянулся, угрожая лопнуть, потом ослабел, и над водой показалась круглая лоснящаяся голова с маленькими злыми глазами; такие глаза я видел только у старых, особенно свирепых кабанов. Десять матросов с усилием тащили канат. Акула бешено вертелась, и слышно было, как она ударяла хвостом о борт парохода и, словно винтом, бурлила им в воде. Помощник капитана, перегнувшись через перила, разом выпустил в нее пять пуль из револьвера. Она вздрогнула и затихла. Пять черных дыр показались на ее голове и беловатых губах. Еще усилье, и страшная туша уже у самого борта. Кто-то тронул ее за голову, и она лязгнула зубами. Видно было, что она совсем свежа и собирается с силами для решительного боя. Тогда, привязав нож к длинной палке, помощник капитана сильным и ловким прямым .ударом проткнул ей грудь и, натужившись, довел разрез до конца. Хлынула вода, смешанная с кровью, розовая селезенка аршина в два длиною, губчатая печенка и кишки вывалились и закачались в воде, как еще невиданной формы медузы.

Акула сразу сделалась легче, и ее без труда втащили на палубу. Корабельный кок, вооружившись топором, стал рубить ей голову. Кто-то вытащил сердце, и оно, пульсируя, двигалось то туда, то сюда лягушечьими прыжками. В воздухе стоял запах крови.

А в воде у самого борта суетился осиротелый лоцман. Его товарищ исчез, очевидно мечтая скрыть в каких-нибудь отдаленных бухтах позор невольного предательства. Но этот был безутешен: верный до конца, он подскакивал над водой, как бы желая посмотреть, что там делают с его госпожой, крутился вокруг плавающих внутренностей, к которым жадно спешили другие акулы, и всячески выказывал свое последнее отчаянье.

Акуле отрубили челюсти, чтобы вырвать зубы, все остальное бросили в море. Закат в этот вечер над зелеными мелями Джедды был широкий и ярко-желтый с алым пятном солнца посередине. Потом он стал нежно-пепельным, потом зеленоватым, точно море отразилось в небе. Мы подняли якорь и пошли прямо на Южный Крест.

III

Там, где Абиссинское плоскогорье переходит в низменность, и раскаленное солнце пустыни нагревает большие круглые камни, пещеры и низкий кустарник, можно часто встретить леопарда, по большей части разленившегося на хлебах у какой-нибудь одной деревни. Изящный, пестрый, с тысячью уловок и капризов, он играет в жизни поселян роль какого-то блистательного и враждебного домового. Он крадет их скот, иногда и ребят. Ни одна женщина, ходившая к источнику за водой, не упустит случая сказать, что видела его отдыхающим на скале, и что он посмотрел на нее, точно собираясь напасть. С ним сравнивают себя в песнях молодые воины и стремятся подражать ему в легкости прыжка. Время от времени какой-нибудь предприимчивый честолюбец идет на него с отравленным копьем и, если не бывает искалечен, что случается часто, тащит торжественно к соседнему торговцу атласистую с затейливым узором шкуру, чтобы выменять ее на бутылку скверного коньяку. На месте убитого зверя поселяется новый, и все начинается сначала.

Однажды к вечеру я пришел в маленькую сомалийскую деревушку, где-то на краю Харрарской возвышенности. Мой слуга, юркий харрарит, тотчас же сбегал к старшине рассказать, какой я важный господин, и тот явился, неся мне в подарок яиц, молока и славного полугодовалого козленка. По обыкновению, я стал расспрашивать его об охоте. Оказалось, что леопард бродил полчаса тому назад на склоне соседнего холма. Так как известие было принесено стариком, ему можно было верить. Я выпил молока и отправился в путь; мой слуга вел как приманку только что полученного козленка.

Вот и склон с выцветшей, выжженной травой, с мелким колючим кустарником, похожий на наши свалочные места. Мы привязали козленка посередине открытого места, я засел в куст шагах в пятнадцати, сзади меня улегся с копьем мой харрарит. Он таращил глаза, размахивал оружьем,

уверяя, что это восьмой леопард, которого он убьет; он был трус, и я велел ему замолчать. Ждать пришлось недолго; я удивляюсь, как отчаянное блеянье нашего козленка не собрало всех леопардов округа. Я вдруг заметил, как зашевелился дальний куст, покачнулся камень, и увидел приближающегося пестрого зверя величиною с охотничью собаку. Он бежал на подогнутых лапах, припадая брюхом к земле и слегка махая кончиком хвоста, а тупая кошачья морда была неподвижна и угрожающа. У него был такой знакомый по книгам и картинкам вид, что первое мгновение мне пришла в голову несообразная мысль, не бежал ли он из какого-нибудь странствующего цирка? Потом сразу забилось сердце, тело выпрямилось само собой, и, едва поймав мушку, я выстрелил.

Леопард подпрыгнул аршина на полтора и грузно упал на бок. Задние ноги его дергались, взрывая землю, передние подбирались, словно он готовился к прыжку. Но туловище было неподвижно, и голова все больше и больше клонилась на сторону: пуля перебила ему позвоночник сейчас же за шеей. Я понял, что мне нечего ждать его нападенья, опустил ружье и повернулся к моему ашкеру. Но его место было уже пусто, там валялось только брошенное копье, а далеко сзади я заметил фигуру в белой рубашке, отчаянно мчащуюся по направлению к деревне.

Я подошел к леопарду; он был уже мертв, и его остановившиеся глаза уже заволокла беловатая муть. Я хотел его унести, но от прикосновения к этому мягкому, точно бескостному телу меня передернуло. И вдруг я ощутил страх, нарастающий тягучим ознобом, очевидно, реакцию после сильного нервного подъема. Я огляделся: уже сильно темнело, только один край неба был сомнительно желтым от подымающейся луны; кустарники шелестели своими колючками, со всех сторон выгибались холмы. Козленок отбежал так далеко, как ему позволяла натянувшаяся веревка, и стоял, опустив голову и цепенея от ужаса. Мне казалось, что все звери Африки залегли вокруг меня и только ждут минуты, чтобы умертвить меня мучительно и постыдно.

Но вот я услышал частый топот ног, короткие, отрывистые крики, и, как стая воронов, на поляну вылетел десяток сомалей с копьями наперевес. Их глаза разгорелись от быстрого бега, а на шее и лбу, как бисер, поблескивали капли пота. Вслед за ними, задыхаясь, подбежал и мой проводник, харрарит. Это он всполошил всю деревню известием о моей смерти.

IV

То медлительная и широкая, то узкая и кипучая, как горный поток, река Гаваш окружена лесами. Не лесом мрачным, сырым, тянущимся на сотни миль, а лесами-оазисами, как те, о которых поется в народных песнях, полными звоном ручьев, солнечными просветами и птичьим пересвистываньем. Там на просторных лужайках пасутся буйволы, в топких местах и в глубине кустарников залегают кабаны. С востока и запада туда идут поохотиться люди, с севера, из Данакильской пустыни,— львы.

Встречаются они редко, так как одни любят день, другие — ночь. Днем львы дремлют на вершинах холмов, откуда, как со сторожевой вышки, обозревают окрестность; если приближается человек, они неслышно сползают на другую сторону холма и уже тогда убегают. А ночью люди окружают свой лагерь кольцом ярких костров. Таким образом, взаимные нападения крайне редки.

Как-то в полдень в одном из таких лесов, где я забавлялся, стреляя марабу, мой слуга, бывалый абиссинец, громадный, с рябым лицом, указал мне на след у самой воды. «Анбасса (лев), — сказал он, понизив голос, — он сюда ходит пить». Я усомнился: если лев пил здесь сегодня ночью, то кто поручится, что он и завтра придет сюда же. Но мой слуга поднял с земли беловатый твердый шарик, доказывающий, что лев приходил сюда и прежде; я был убежден. Убить льва — затаенная мечта всякого белого, приезжающего в Африку, будь то скупщик каучука, миссионер или поэт. По зрелом обсуждении вопроса мы решили устроить на дереве помост и засесть там на целую ночь. Так и лев может подойти ближе, и стрелять сверху вернее.

Удобное место нашлось неподалеку, на краю небольшой лужайки. Мы работали до вечера и соорудили неуклюжий косой помост, на котором можно было, свесив ноги, кое-как усесться вдвоем. Чтобы не стрелять лишний раз, мы поймали аршинную черепаху и поужинали ее печенкой, изжаренной на маленьком костре. Ночь застала нас на своих местах.

Ждали долго. Сперва было слышно, как запоздалые кабаны ворочались в кустарниках, потом беспокойно прокричала какая-то птица, и стало так тихо, будто весь мир разом опустел. Потом взошла луна, и мы увидели посреди лужайки дикобраза, который к чему-то принюхивался и

рыл землю. Но вот вдали раскатисто ухнула гиена, и он, семеня, побежал в чащу. У меня страшно затекали ноги. Мы просидели так часов пять.

Только путешественник может себе представить, что такое усталость и как может хотеться спать. Я уже раза два чуть не упал с моей вышки и наконец, озлобившись, решил слезть. Лучше отложить охоту на следующую ночь, а днем хорошенько выспаться. Я лег ничком в кустах, положив рядом с собой ружье, мой слуга остался на дереве. Как всегда бывает с очень усталым человеком, меня охватил не сон, а тяжелое оцепененье. Я не мог шевельнуться, но слышал все дальние шорохи, чувствовал, как склонялась и бледнела луна.

Вдруг я очнулся как будто от толчка, — я только потом сообразил, что это мой слуга зашептал мне с дерева: «Гета, гета (господин, господин)», и на дальнем конце лужайки увидел льва, черного на фоне темных кустов. Он выходил из чащи, и я заметил только громадную высоко поднятую голову над широкой, как щит, грудью. В следующий миг я выстрелил. Мой «маузер» рявкнул особенно громко в полной тишине, и, словно эхо, вслед за этим пронесся треск ломаемых кустарников и поспешный скок убегающего зверя. Мой слуга уже соскочил с дерева и стоял рядом со мной, держа наготове свою берданку.

Усталости как не бывало. Нас захлестнуло охотничье безумие. По кустам мы обежали лужайку, — идти напрямик мы все-таки не решились, — и стали разглядывать место, где был лев. Мы знали, что он убегает после выстрела, только если ранен очень тяжело или не ранен совершенно. Зажигая спичку за спичкой, мы ползком искали в траве капель крови. Но их не было. Лесное диво счастливо унесло свою рыжую шкуру, громоподобный голос и грозную негу бархатных и стальных движений.

V

Мой друг, молодой и богатый абиссинец лидж Адену, пригласил меня погостить в его имении. «О, только два дня пути от Аддис-Абебы, — уверял он, — только два дня по хорошей дороге». Я согласился и велел назавтра оседлать моего мула. Но лидж Адену настаивал, чтобы ехать на лошадях, и привел мне на выбор пять из своего табуна.

Я понял, почему он так хотел этого, сделав с ним в два дня по меньшей мере полтораста верст.

Чтобы рассеять мое недовольство, вызванное усталостью, лидж Адену придумал охоту, и не какую-нибудь, а облаву.

Облава в тропическом лесу — это совсем новое ощущенье: стоишь — и не знаешь, что покажется сейчас за этим круглым кустом, что мелькнет между этой кривой мимозой и толстым платаном; кто из вооруженных копытами, когтями, зубами выбежит с опущенной головой, чтобы пулей приобщить его к твоему сознанью; может быть, сказки не лгут, может быть, действительно есть драконы...

Мы стали по двум сторонам узкого ущелья, кончающегося тупиком; загонщики, человек тридцать быстроногих галласов, углубились в этот тупик. Мы прицепились к камням посреди почти отвесных склонов и слушали удаляющиеся голоса, которые раздавались то выше нас, то ниже и вдруг слились в один торжествующий рев. Зверь был открыт.

Это была большая полосатая гиена. Она бежала по противоположному скату в нескольких саженях над лидж Адену, а за ней с дубиной мчался начальник загонщиков, худой, но мускулистый, совсем голый негр. Временами она огрызалась, и тогда ее преследователь отставал на несколько шагов. Я и лидж Адену выстрелили одновременно. Задыхающийся негр остановился, решив, что его дело сделано, а гиена, перекувырнувшись, пролетела в аршине от лидж Адену, в воздухе щелкнула на него зубами, но, коснувшись ногами земли, как-то справилась и опять деловито затрусила вперед. Еще два выстрела прикончили ее.

Через несколько минут снова послышался крик, возвещающий зверя, но на этот раз загонщикам пришлось иметь дело с леопардом, и они не были так резвы. Два-три могучих прыжка, и леопард был наверху ущелья, откуда ему повсюду была вольная дорога. Мы его так и не видели.

Третий раз пронесся крик, но уже менее дружный, вперемежку со смехом. Из глубины ущелья повалило стадо павианов. Мы не стреляли. Слишком забавно было видеть этих полусобак-полулюдей, удирающих с той комической неуклюжестью, с какой из всех зверей удирают только обезьяны. Но позади бежало несколько старых самцов с седой гривой и оскаленными желтыми клыками. Это уже были звери в

полном смысле слова, и я выстрелил. Один остановился и хрипло залаял, а потом медленно закрыл глаза и опустился на бок, как человек, который собирается спать. Пуля затронула ему сердце, и, когда к нему подошли, он был уже мертв.

Облава кончилась. Ночью, лежа на соломенной циновке, я долго думал, почему я не чувствую никаких угрызений совести, убивая зверей для забавы, и почему моя кровная связь с миром только крепнет от этих убийств. А ночью мне приснилось, что за участие в каком-то абиссинском дворцовом перевороте мне отрубили голову и я, истекая кровью, аплодирую умению палача и радуюсь, как все это просто, хорошо и совсем не больно.

15. ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ ЭФИРА

I

Старый доктор говорил:

— Наркотики не на всех действуют одинаково; один умрет от грана кокаина, другой съест пять гран — и точно чашку черного кофе выпьет. Я знал даму, которая грезила во время хлороформирования и видела поистине удивительные вещи; другие попросту засыпают. Правда, бывают и постоянные эффекты, например, сияющие озера курильщиков опиума, но, в общем, тут, очевидно, таится целая наука, доныне лишь подозреваемая, палеонтология де Кювье, что ли. Вот вы, молодежь, могли бы послужить человечеству и стать отличным пушечным мясом в руках опытного исследователя. Главное — материалы, материалы, — и он поднял к лицу запачканный чем-то синим палец.

Странный это был доктор. Мы позвали его случайно, прекратить истерику Инны не потому, что не могли сделать это сами, а просто нам надоело обычное зрелище мокрых полотенец, смятых подушек и захотелось быть в стороне от всего этого. Он вошел степенно, помахивая очень приличной седой бородкой, и сразу вылечил Инну, дав ей понюхать какое-то кисловатое снадобье. Потом не отказался от чашки кофе, расселся и принялся болтать, задирая нос несколько больше, чем позволяла его старость. Мне это было безразлично, но Мезенцов, любивший хорошие манеры, бесился. С несколько утрированной любезностью он

осведомился, не результатом ли подобных опытов является та синяя краска, которой замазаны руки и костюм доктора.

— Да, — важно ответил тот, — я последнее время много работал над свойствами эфира.

— Но, — настаивал Мезенцов, — насколько мне известно, эфир — жидкость летучая и она давно успела бы испариться, так как, — тут он посмотрел на часы, — мы имеем счастье наслаждаться вашим обществом уже около двух часов.

— Но ведь я же все время твержу вам, — нетерпеливо воскликнул доктор, — что науке почти ничего не известно о действиях наркотиков на организм! Только я кое-что в этом смыслю, я! И могу заверить вас, мой добрый юноша, — Мезенцова, которому было уже тридцать, передернуло, — могу заверить вас, что, если вы купите в любом аптекарском магазине склянку эфира, вы увидите вещи гораздо удивительнее синего цвета моих рук, который, кстати сказать, вас совсем не касается. На гривенник эфира, господа, и эта чудесная турецкая шаль на барышне покажется вам грязной тряпкой по сравнению с тем, что вы узнаете.

Он сухо раскланялся, и я вышел его проводить. Возвращаясь, я услышал Инну, которая своим томным и, как всегда после истерики, слегка хриплым голосом выговаривала Мезенцову:

— Зачем вы его так, он в самом деле умен.

— Но я, честное слово, не согласен служить пушечным мясом в руках человека, который не умеет даже умыться как следует, — оправдывался Мезенцов.

— Я всецело на вашей стороне, Инна, — вступился я, — и думаю, что нам придется прибегнуть к чему-нибудь такому, если мы не хотим, чтобы наша милая тройка распалась. Бодлера мы выучили наизусть, от надушенных папирос нас тошнит, и даже самый легкий флирт никак не может наладиться.

— Не правда ли, милый Грант, не правда ли? — как-то сразу оживилась Инна. — Вы принесете ко мне эфиру, и мы все вместе будем его нюхать. И Мезенцов будет... конечно.

— Но это же вредно! — ворчал тот, — под глазами пойдут круги, будут дрожать руки...

— А у вас так не дрожат руки? — совсем озлилась Инна. — Попробуйте, поднимите стакан с водой! Ага, не смеете, так скажете, не дрожат?!

Мезенцов обиженно отошел к окну.

— Я завтра не могу, — сказал я.

— А я послезавтра,— отозвался Мезенцов.

— Господи, какие скучные! — воскликнула Инна.— Эта ваша вечная занятость совсем не изящна. Ведь не чиновники же вы, наконец! Слушайте, вот мое последнее слово: в субботу, ровно в восемь, не спорьте, я все равно не слушаю, вы будете у меня с тремя склянками эфира. Выйдет что-нибудь — хорошо, а не выйдет, мы пойдем куда-нибудь. Так помните, в субботу! А сейчас уходите, мне надо переодеваться.

II

В субботу Мезенцов зашел за мной, чтобы вместе обедать. Мы любили иногда такие тихие обеды одной бутылкой вина, с нравоучительными разговорами и чувствительными воспоминаниями. После них особенно приятно было приниматься за наше обычное не всегда пристойное ничегонеделание.

На этот раз, сидя в общем зале ресторана, заглушаемые громовым ревом оркестра, мы обменивались впечатлениями от Инны. Я был ей представлен месяца два тому назад и через несколько дней привел к ней Мезенцова. Ей было лет двадцать, жила она в одной, но очень большой комнате, снимая ее в совсем безличной и тихой семье. Она была довольно образованна, по-видимому, со средствами, жила одно время за границей, фамилия ее была нерусская. Вот все, что мы знали о ней с внешней стороны. Но зато мы оба были согласны, что нам не приходилось встречать более умной, красивой, свободной и капризной девушки, чем Инна. А что она была девушкой, в этом клялся Мезенцов, умевший восстанавливать прошлое женщины по ее походке, выражению глаз и уголкам губ. Здесь он считал себя знатоком, и не без основания, так что я ему верил.

В конце обеда мы решили, что вдыхать эфир слишком глупо, что гораздо лучше увести Инну на скетинг, и в половине девятого подъе-

хали к ее дому, везя с собою большого бумажного змея, которого Мезенцов купил у бродячего торговца. Мы надеялись, что этот подарок утешит Инну в отсутствие эфира.

Войдя, мы остановились в изумлении. Комната Инны преобразилась совершенно. Все безделушки, все эстампы, такие милые и привычные, были спрятаны, а кровать, стол и оттоманку покрывали пестрые восточные платки, перемешанные со старинной цветной парчой. Мезенцов потом мне признался, что на него это убранство произвело впечатление готовящейся выставки фарфора или эмалей. Впрочем, ткани были отличные, а цвета драпировки подобраны с большим вкусом.

Но удивительнее всего была сама Инна. Она стояла посреди комнаты в настоящем шелковом костюме баядеры с двумя круглыми вставками для груди, на голых от колена ногах были надеты широкие туфли без задников, между туникой и шароварами белела полоска живота, а тонкие, чуть-чуть смуглые руки обвивали широкие медные браслеты. Она сосала сахар, намоченный в одеколоне, чтобы зрачки были больше и ярче. Признаюсь, я немного смутился, хотя часто видел таких баядерок в храмах Бенареса и Дели. Мезенцов немного улыбался и старался куда-нибудь сунуть своего бумажного змея. Наши надежды поехать в скетинг рассеялись совершенно, когда мы заметили на столе три большие граненые флакона.

— Здравствуйте, господа, — сказала Инна, не протягивая нам руки,— светлый бог чудесных путешествий ждет нас давно. Берите флаконы, занимайте места — и начнем.

Мезенцов криво усмехнулся, но смолчал, я поднял глаза к потолку.

— Что же, господа? — повторила так же серьезно Инна и первая с флаконом в руках легла на оттоманке.

— Как же его надо вдыхать? — спросил Мезенцов, неохотно усаживаясь в кресло.

Но тут я, видя, что вдыхание неизбежно, и не желая терять даром времени, вспомнил наставления одного знакомого эфиромана.

— Приложите одну ноздрю к горлышку и вдыхайте ею, а другую зажмите. Кроме того, не дышите ртом, надо, чтобы в легкие попадал один эфир, — сказал я и подал пример, откупорив свой флакон.

Инна поглядела на меня долгим признательным взглядом, и мы замолчали.

Через несколько минут странного томления я услышал металлический голос Мезенцова:

— Я чувствую, что поднимаюсь.

Ему никто не ответил.

III

Закрыв глаза, испытывая невыразимое томленье, я пролетел уже миллионы миль, но странно пролетел их внутрь себя. Та бесконечность, которая прежде окружала меня, отошла, потемнела, а взамен ее открылась другая, сияющая во мне. Нарушено постылое равновесие центробежной и центростремительной силы духа, и как жаворонок, сложив крылья, падает на землю, так золотая точка сознания падает вглубь и вглубь, и нет падению конца, и конец невозможен. Открываются неведомые страны. Словно китайские тени, проплывают силуэты, на земле их назвали бы единорогами, храмами и травами. Порою, когда от сладкого удушья спирается дух, мягкий толчок опрокидывает меня на спину, и я мерно качаюсь на зеленых и красных волокнистых облаках. Дивные такие облака! Надо мной они, подо мной, и густые, и пространства видишь сквозь них, белые, белые пространства. Снова нарастает удушье, снова толчок, но теперь уже паришь безмерно ниже, ближе к сияющему центру. Облака меняют очертания, взвиваются, как одежда танцующих, это безумие красных и зеленых облаков.

Море вокруг, рыжее, плещущее яро. На гребнях волн синяя пена; не в ней ли доктор запачкал свои руки и пиджак?

Я поплыл на запад. Кругом плескались дельфины, чайки резали крыльями волну, а меня захлестывала горькая вода, и я был готов потерять сознание. Наконец, захлебнувшись, я почувствовал, что у меня идет носом кровь, и это меня освежило. Но кровь была синяя, как пена в этом море, и я опять вспомнил доктора.

Огромный вал выплеснул меня на серебряный песок, и я догадался, что это острова Совершенного Счастья. Их было пять. Как отдыхающие верблюды, лежали они посреди моря, и я угадывал длинные шеи,

маленькие головки и характерный изгиб задних ног. Я пробегал под пышновеерными пальмами, подбрасывал раковины, смеялся. Казалось, что так было всегда и всегда будет. Но я понял, что будет совсем другое, миновав один поворот.

Нагая Инна стояла передо мной на широком белом камне. Руки, ноги, плечи и волосы ее были покрыты тяжелыми драгоценностями, расположенными с такой строгой симметрией, что чудилось, они держатся только связанные дикой и страшной Инниной красотой. Ее щеки розовели, губы были полураскрыты, как у переводящего дыханье, расширенные, потемневшие зрачки сияли необычайно.

— Подойдите ко мне, Грант, — прозвучал ее прозрачный и желтый, как мед, голос. — Разве вы не видите, что я живая?

Я приблизился и, протянув руку, коснулся ее маленькой, крепкой удлиненной груди.

— Я живая, я живая, — повторяла она, и от этих слов веяло страшным и приятным запахом канувших в бездонность земных трав.

Вдруг ее руки легли вокруг моей шеи, и я почувствовал легкий жар ее груди и шумную прелесть близко склонившегося горячего лица.

— Унеси меня, — говорила она, — ведь ты тоже живой.

Я схватил ее и побежал. Она прижалась ко мне, торопя:

— Скорей! Скорей!

Я упал на поляне, покрытой белым песком, а кругом стеною вставала хвоя. Я поцеловал Инну в губы. Она молчала, только глаза ее смеялись. Тогда я поцеловал ее опять...

Сколько времени мы пробыли на этой поляне, — я не знаю. Знаю только, что ни в одном из сералей Востока, ни в одном из чайных домиков Японии не было столько дразнящих и восхитительных ласк. Временами мы теряли сознание, себя и друг друга, и тогда похожий на большого византийского ангела андрогин говорил о своем последнем блаженстве и жаждал разделения, как женщина жаждет печали. И тотчас же вновь начиналось сладкое любопытство друг к другу.

Какая-то большая планета заглянула на нашу поляну и прошла мимо. Мы приняли это за знак и, обнявшись, помчались ввысь. Снова красные и зеленые облака катали нас на своих дугообразных хребтах, снова звучали резкие, гнусные голоса всемирных гуляк. Бледный, с

закрытыми глазами, в стороне поднимался Мезенцов, и его пергаментный лоб оплетали карминно-красные розы. Я знал, что он бормочет заклинанья и творит волшебство, хотя он не поднимал рук и не разжимал губ. Но что это? Красные и зеленые облака кончились, и мы среди белого света, среди фигур бесформенных и туманных, которых не было раньше. Значит, мы потеряли направление и вместо того, чтобы лететь вверх, к внешнему миру, опустились вниз, в неизвестность. Я посмотрел на Инну, она была бледна, но молчала. Она еще ничего не заметила.

IV

Место это напоминало античный театр или большую аудиторию Сорбонны. В обширном амфитеатре, расположенном полукругом, толпились закутанные в белое безмолвные фигуры. Мы очутились среди них, и из всеобщей белизны ярко выделялись розы Мезенцова и драгоценности Инны.

Перед нами, там, где должны были бы находиться актеры или кафедры, я увидел старого доктора. В черном изящном сюртуке, он походил на лектора и двигался как человек, вполне владеющий своей аудиторией. Очевидно было, что он сейчас начнет говорить. Как перед большой опасностью, у меня сжалось сердце, захотелось крикнуть, но было поздно. Я услышал ровный, твердый голос, сразу наполнивший все пространство:

«Господа! Лучшее средство понять друг друга — это полная искренность. Я бы с удовольствием обманул вас, если бы мне это было нужно. Но это мне не нужно. Чем отчетливее вы будете сознавать свое положение, тем выгоднее для меня. Я даже буду пугать вас, искушать. Моя правдивость сделает то, что вы сумеете противостоять всякому искушению. Вы находитесь сейчас в моей стране, я предлагаю вам остаться в ней навсегда. Подумайте! Отказаться от любви и ненависти, смен дня и ночи. У кого есть дети, должен отказаться от детей. У кого есть слава, должен отказаться от славы. Под силу ли вам столько — отречений?

Я ничего не скрываю. Пока вы коснулись лишь кожицы плода и не знаете его вкуса. Может быть, он вам покажется терпким или кислым, слишком сладким или слишком ароматным. И когда вы раскусите

косточку, не услышите ли вы тихого, страшного запаха горького миндаля? Кто из вас любит неизвестность, хочет, чтобы завтрашний день был целомудрен, как невеста, не оскорбленная даже в мечтах?

Только тех, чей дух подобен электрической волне, только веселых пожирателей пространств зову я к себе. Они встретят здесь неизмеримость, достойную их. Здесь все, рожденное в первый раз, не походит на другое. Здесь нет смерти, прерывающей радость движенья, познанья и любованья. И здесь все вам родное, потому что все — это вы сами! Но время идет, срок близится; или разбейте склянки с эфиром, или вы навеки в моей стране!»

Доктор кончил и наклонился. Бурный восторг всколыхнул собрание, замахали белые рукава, и понесся оглушительный ропот: «Доктора, доктора!»

Я никогда не думал, чтобы лицо Инны могло засветиться таким безмолвным счастьем, таким трепетным обожанием. Мезенцова я не заметил, хотя и высматривал его в толпе. Между тем крики все разрастались, и я испытывал смутное беспокойство. У меня как-то отяжелели ноги, и я стал замечать мое затрудненное дыханье. Вдруг над самым ухом я услышал озабоченный голос Мезенцова, зовущего доктора, и открыл глаза.

V

Мой флакон эфира был почти пуст. Мне чудилось, точно меня откуда-то бросили в эту уже знакомую комнату с восточными тканями и парчой.

— Разве ты не видишь, что с Инной? Ведь она умирает! — кричал Мезенцов, склонившись над оттоманкой.

Я подбежал к нему. Инна лежала, не дыша, с полуоткрытыми побелевшими губами, а на лбу ее надулась тонкая синяя жила.

— Отними же у нее эфир, — пробормотал я и сам поспешил дернуть ее флакон. Она вздрогнула, лицо ее исказилось от муки, и, не открывая глаз, уткнувшись лицом в подушку, она зарыдала сразу, как ушибшийся ребенок.

— Истерика! Слава Богу,— сказал Мезенцов, опуская полотенце в кувшин с водою, — только теперь мы уже не позовем доктора, нет,

довольно! — Он стал смачивать Инне лоб и виски, я держал ее за руку. Через полчаса мы могли начать разговор.

Я обладаю особенно цепкой памятью чудесного, всегда помню все мои сны, и понятно, что мне хотелось рассказывать после всех. Инна была еще слаба, и первым начал Мезенцов.

— Я ничего не видел, но испытывал престранное чувство. Я качался, падал, поднимался и совершенно забыл различие между добром и злом. Это меня так забавляло, что я решил причинить кому-нибудь зло и только не знал, кому, потому что никого не видел. Когда мне это надоело, я без труда открыл глаза. Потом рассказывала Инна:

— Я не помню, я не помню, но, ах, если бы я могла вспомнить! Я была среди облаков, потом на каком-то песке, и мне было так хорошо. Мне кажется, я и теперь чувствую всю теплоту моего счастья. Зачем вы отняли у меня эфир? Надо было продолжать.

Я сказал, что я тоже видел облака, что они были красные и зеленые, что я слышал голоса и целые разговоры, но повторить их не могу. Бог знает почему, мне захотелось скрытничать. Инна на все радостно кивала головой и, когда я кончил, воскликнула:

— Завтра же мы начнем опять, только надо больше эфиру.

— Нет, Инна, — ответил я, — завтра мы ничего не увидим, у нас только разболится голова. Мне говорили, что эфир действует только на не подготовленный к нему организм и, лишь отвыкнув от него, мы можем вновь что-нибудь увидеть.

— Когда же мы отвыкнем?

— Года через три!

— Вы смеетесь надо мной, — рассердилась Инна, — я могу подождать неделю, ну, две, и то это будет пытка, но три года... нет, Грант, вы должны что-нибудь придумать.

— Тогда, — пошутил я, — поезжайте в Ирландию к настоящим эфироманам, их там целая секта. Они, конечно, знают более совершенные способы вдыхания, да и эфир у них, наверно, чище. Только умирают они очень быстро, а то были бы счастливейшими из людей.

Инна ничего не ответила и задумалась. Мезенцов поднялся, чтобы уйти, я пошел с ним. Мы молчали. Во рту неприятно пахло эфиром, папироса казалась горькой.

Когда мы опять зашли к Инне, нам сказали, что она уехала, и передали записку, оставленную на мое имя.

«Спасибо за совет, милый Грант! Я еду в Ирландию и, надеюсь, найду там то, чего искала всю жизнь. Кланяйтесь Мезенцову. Ваша *Инна.*

P.S. Зачем вы тогда отняли у меня эфир?»

Мезенцов тоже прочитал записку, помолчал и сказал тише обыкновенного:

— Ты заметил, как странно изменились после эфира глаза и губы у Инны?

Можно подумать, что у нее был любовник.

Я пожал плечами и понял, что самая капризная, самая красивая девушка навсегда вышла из моей жизни.

16. ЗАПИСКИ КАВАЛЕРИСТА

I

Мне, вольноопределяющемуся-охотнику одного из кавалерийских полков, работа нашей кавалерии представляется как ряд отдельных, вполне законченных задач, за которыми следует отдых, полный самых фантастических мечтаний о будущем. Если пехотинцы — поденщики войны, выносящие на своих плечах всю ее тяжесть, то кавалеристы — это веселая странствующая артель, с песнями в несколько дней кончающая прежде длительную и трудную работу. Нет ни зависти, ни соревнования. «Вы — наши отцы,— говорит кавалерист пехотинцу,— за вами, как за каменной стеной».

....

Помню, был свежий солнечный день, когда мы подходили к границе Восточной Пруссии. Я участвовал в разъезде, посланном, чтобы найти генерала М., к отряду которого мы должны были присоединиться. Он был на линии боя, но где протянулась эта линия, мы точно не знали. Так же легко, как на своих, мы могли выехать на германцев. Уже совсем близко, словно большие кузнечные молоты, гремели гер-

манские пушки, и наши залпами ревели им в ответ. Где-то убедительно быстро на своем ребячьем и странном языке пулемет лепетал непонятное.

Неприятельский аэроплан, как ястреб над спрятавшейся в траве перепелкой, постоял над нашим разъездом и стал медленно спускаться к югу. Я видел в бинокль его черный крест.

Этот день навсегда останется священным в моей памяти. Я был дозорным и первый раз на войне почувствовал, как напрягается воля, прямо до физического ощущения какого-то окаменения, когда надо одному въезжать в лес, где, может быть, залегла неприятельская цепь, скакать по полю, вспаханному и поэтому исключающему возможность быстрого отступления, к движущейся колонне, чтобы узнать, не обстреляет ли она тебя. И в вечер этого дня, ясный, нежный вечер, я впервые услышал за редким перелеском нарастающий гул «ура», с которым был взят В. Огнезарная птица победы в этот день слегка коснулась своим огромным крылом и меня.

На другой день мы вошли в разрушенный город, от которого медленно отходили немцы, преследуемые нашим артиллерийским огнем. Хлюпая в черной липкой грязи, мы подошли к реке, границе между государствами, где стояли орудия. Оказалось, что преследовать врага в конном строю не имело смысла: он отступал нерасстроенным, останавливаясь за каждым прикрытием и каждую минуту готовый поворотить — совсем матерый, привыкший к опасным дракам волк. Надо было только нащупывать его, чтобы давать указания, где он. Для этого было довольно разъездов.

По трясущемуся, наспех сделанному понтонному мосту наш взвод перешел реку.

....

Мы были в Германии

Я часто думал с тех пор о глубокой разнице между завоевательным и оборонительным периодами войны. Конечно, и тот и другой необходимы лишь для того, чтобы сокрушить врага и завоевать право на прочный мир, но ведь на настроение отдельного воина действуют не только общие соображения,— каждый пустяк, случай-

но добытый стакан молока, косой луч солнца, освещающий группу деревьев, и свой собственный удачный выстрел порой радуют больше, чем известие о сражении, выигранном на другом фронте. Эти шоссейные дороги, разбегающиеся в разные стороны, эти расчищенные, как парки, рощи, эти каменные домики с красными черепичными крышами наполнили мою душу сладкой жаждой стремления вперед, и так близки показались мне мечты Ермака, Перовского и других представителей России, завоевывающей и торжествующей. Не это ли и дорога в Берлин, пышный город солдатской культуры, в который надлежит входить не с ученическим посохом в руках, а на коне и с винтовкой за плечами?

Мы пошли лавой, и я опять был дозорным. Проезжал мимо брошенных неприятелем окопов, где валялись сломанная винтовка, изодранные патронташи и целые груды патронов. Кое-где виднелись красные пятна, но они не вызывали того чувства неловкости, которое нас охватывает при виде крови в мирное время.

....

Передо мной на невысоком холме была ферма. Там мог скрываться неприятель, и я, сняв с плеча винтовку, осторожно приблизился к ней.

Старик, давно перешедший возраст ландштурмиста, робко смотрел на меня из окна. Я спросил его, где солдаты. Быстро, словно повторяя заученный урок, он ответил, что они прошли полчаса тому назад, и указал направление. Был он красноглазый, с небритым подбородком и корявыми руками. Наверно, такие во время нашего похода в Восточную Пруссию стреляли в наших солдат из монтекристо. Я не поверил ему и проехал дальше. Шагах в пятистах за фермой начинался лес, в который мне надо было въехать, но мое внимание привлекла куча соломы, в которой я инстинктом охотника угадывал что-то для меня интересное. В ней могли прятаться германцы. Если они вылезут прежде, чем я их замечу, они застрелят меня. Если я замечу их вылезающими, то — я их застрелю. Я стал объезжать солому, чутко прислушиваясь и держа винтовку на весу. Лошадь фыркала, поводила ушами и слушалась неохотно. Я так был поглощен моим исследованием, что не сразу обратил внимание на редкую трескотню, раздавшуюся со стороны леса. Легкое

облачко белой пыли, взвившееся шагах в пяти от меня, привлекло мое внимание. Но только когда, жалостно ноя, пуля пролетела над моей головой, я понял, что меня обстреливают, и притом из лесу. Я обернулся на разъезд, чтобы узнать, что мне делать. Он карьером скакал обратно. Надо было уходить и мне. Моя лошадь сразу поднялась в галоп, и как последнее впечатление я запомнил крупную фигуру в черной шинели, с каской на голове, на четвереньках, с медвежьей ухваткой вылезавшую из соломы.

Пальба уже стихла, когда я присоединился к разъезду. Корнет был доволен. Он открыл неприятеля, не потеряв при этом ни одного человека. Через десять минут наша артиллерия примется за дело. А мне было только мучительно обидно, что какие-то люди стреляли по мне, бросили мне этим вызов, а я не принял его и повернул. Даже радость избавления от опасности нисколько не смягчала этой внезапно закипевшей жажды боя и мести. Теперь я понял, почему кавалеристы так мечтают об атаках. Налететь на людей, которые, запрятавшись в кустах и окопах, безопасно расстреливают издали видных всадников, заставить их бледнеть от все учащающегося топота копыт, от сверкания обнаженных шашек и грозного вида наклоненных пик, своей стремительностью легко опрокинуть, точно сдунуть, втрое сильнейшего противника — это единственное оправдание всей жизни кавалериста.

....

На другой день испытал я и шрапнельный огонь. Наш эскадрон занимал В., который ожесточенно обстреливали германцы. Мы стояли на случай их атаки, которой так и не было. Только вплоть до вечера, все время протяжно и не без приятности, пела шрапнель, со стен сыпалась штукатурка, да кое-где загорались дома. Мы входили в опустошенные квартиры и кипятили чай. Кто-то даже нашел в подвале насмерть перепуганного жителя, который с величайшей готовностью продал нам недавно зарезанного поросенка. Дом, в котором мы его съели, через полчаса после нашего ухода был продырявлен тяжелым снарядом. Так я научился не бояться артиллерийского огня.

II

1

Самое тяжелое для кавалериста на войне — это ожидание. Он знает, что ему ничего не стоит зайти во фланг движущемуся противнику, даже оказаться у него в тылу, и что никто его не окружит, не отрежет путей к отступлению, что всегда окажется спасительная тропинка, по которой целая кавалерийская дивизия легким галопом уйдет из-под самого носа одураченного врага.

....

Каждое утро, еще затемно, мы, путаясь среди канав и изгородей, выбирались на позицию и весь день проводили за каким-нибудь бугром, то прикрывая артиллерию, то просто поддерживая связь с неприятелем. Была глубокая осень, голубое холодное небо, на резко чернеющих ветках золотые обрывки парчи, но с моря дул пронзительный ветер, и мы с синими лицами, с покрасневшими веками плясали вокруг лошадей и засовывали под седла окоченелые пальцы. Странно, время тянулось совсем не так долго, как можно было предполагать. Иногда, чтобы согреться, шли взводом на взвод и, молча, целыми кучами барахтались на земле. Порой нас развлекали рвущиеся поблизости шрапнели, кое-кто робел, другие смеялись над ним и спорили, по нам или не по нам стреляют немцы. Настоящее томление наступало только тогда, когда уезжали квартирьеры на отведенный нам бивак, и мы ждали сумерек, чтобы последовать за ними.

О, низкие, душные халупы, где под кроватью кудахтают куры, а под столом поселился баран; о, чай! который можно пить только с сахаром вприкуску, но зато никак не меньше шести стаканов; о, свежая солома! расстеленная для спанья по всему полу,— никогда ни о каком комфорте не мечтается с такой жадностью, как о вас!!! И безумно-дерзкие мечты, что на вопрос о молоке и яйцах вместо традиционного ответа: «Вшистко германи забрали», — хозяйка поставит на стол крынку с густым налетом сливок и что на плите радостно зашипит большая яичница с салом! И горькие разочарования, когда приходится ночевать на сеновалах или на снопах немолоченого хлеба, с цепкими, колючими колосьями, дрожать от холода, вскакивать и сниматься с бивака по тревоге!

....

2

Предприняли мы однажды разведывательное наступление, перешли на другой берег реки Ш. и двинулись по равнине к далекому лесу. Наша цель была — заставить заговорить артиллерию, и та, действительно, заговорила. Глухой выстрел, протяжное завывание, и шагах в ста от нас белеющим облачком лопнула шрапнель. Вторая разорвалась уже в пятидесяти шагах, третья — в двадцати. Было ясно, что какой-нибудь обер-лейтенант, сидя на крыше или на дереве, чтобы корректировать стрельбу, надрывается в телефонную трубку: «Правее, правее!»

....

Мы повернули и галопом стали уходить.

....

Новый снаряд разорвался прямо над нами, ранил двух лошадей и прострелил шинель моему соседу. Где рвались следующие, мы уже не видели. Мы скакали по тропинкам холеной рощи вдоль реки под прикрытием ее крутого берега. Германцы не догадались обстрелять брод, и мы без потерь оказались в безопасности. Даже раненых лошадей не пришлось пристреливать, их отправили на излечение.

На следующий день противник несколько отошел, и мы снова оказались на другом берегу, на этот раз в роли сторожевого охранения.

Трехэтажное кирпичное строение, нелепая помесь средневекового замка и современного доходного дома, было почти разрушено снарядами.

....

Мы приютились в нижнем этаже на изломанных креслах и кушетках. Сперва было решено не высовываться, чтобы не выдать своего присутствия. Мы смирно рассматривали тут же найденные немецкие книжки, писали домой письма на открытках с изображением Вильгельма.

....

3

Через несколько дней в одно прекрасное, даже не холодное утро свершилось долгожданное. Эскадронный командир собрал унтер-офицеров и прочел приказ о нашем наступлении по всему фронту. Наступать — всегда радость, но наступать по неприятельской земле — это радость, удесятеренная гордостью, любопытством и каким-то непреложным ощущением победы. Люди молодцевато усаживаются в седлах. Лошади прибавляют шаг.

....

.... Время, когда от счастья спирается дыхание, время горящих глаз и безотчетных улыбок.

Справа по три, вытянувшись длинной змеею, мы пустились по белым, обсаженными столетними деревьями, дорогам Германии. Жители снимали шапки, женщины с торопливой угодливостью выносили молоко. Но их было мало, большинство бежало, боясь расплаты за преданные заставы, отравленных разведчиков.

....

.... Особенно мне запомнился важный старый господин, сидевший перед раскрытым окном большого помещичьего дома.

Он курил сигару, но его брови были нахмурены, пальцы нервно теребили седые усы, и в глазах читалось горестное изумление. Солдаты, проезжая мимо, робко на него взглядывали и шепотом обменивались впечатлениями: «Серьезный барин, наверно, генерал... ну, и вредный, надо быть, когда ругается...»

....

.... Вот за лесом послышалась ружейная пальба — партия отсталых немецких разведчиков. Туда помчался эскадрон, и все смолкло. Вот над нами раз за разом разорвалось несколько шрапнелей. Мы рассыпались, но продолжали подвигаться вперед. Огонь прекратился. Видно было, что германцы отступают решительно и бесповоротно. Нигде не было заметно сигнальных пожаров, и крылья мельниц висели в том положении, которое им придал ветер, а не германский штаб. Поэто-

му мы были крайне удивлены, когда услыхали невдалеке частую, частую перестрелку, точно два больших отряда вступили между собой в бой. Мы поднялись на пригорок и увидали забавное зрелище. На рельсах узкоколейной железной дороги стоял горящий вагон, и из него и неслись эти звуки. Оказалось, он был наполнен патронами для винтовок, немцы в своем отступлении бросили его, а наши подожгли. Мы расхохотались, узнав в чем дело, но отступающие враги, наверно, долго и напряженно ломали голову, кто это там храбро сражается с наступающими русскими.

Вскоре навстречу нам стали попадаться партии свежепойманных пленников.

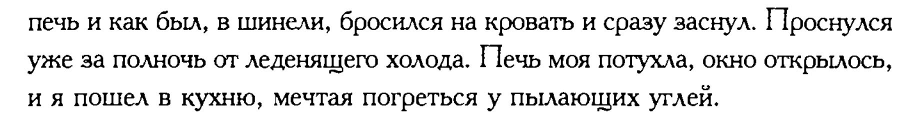
....

.... Очень был забавен один прусский улан, все время удивлявшийся, как хорошо ездят наши кавалеристы. Он скакал, объезжая каждый куст, каждую канаву, при спусках замедлял аллюр, наши скакали напрямик и, конечно, легко его поймали. Кстати, многие наши жители уверяют, что германские кавалеристы не могут сами сесть на лошадь. Например, если в разъезде десять человек, то один сперва подсаживает девятерых, а потом сам садится с забора или пня. Конечно, это легенда, но легенда очень характерная. Я сам видел однажды, как вылетевший из седла германец бросился бежать, вместо того чтобы опять вскочить на лошадь.

4

Вечерело. Звезды кое-где уже прокололи легкую мглу, и мы, выставив сторожевое охранение, отправились на ночлег. Биваком нам послужила обширная благоустроенная усадьба с сыроварнями, пасекой, образцовыми конюшнями, где стояли очень недурные кони. По двору ходили куры, гуси, в закрытых помещениях мычали коровы, не было только людей, совсем никого, даже скотниц, чтобы дать напиться привязанным животным. Но мы на это не сетовали. Офицеры заняли несколько парадных комнат в доме, нижним чинам досталось все остальное.

Я без труда отвоевал себе отдельную комнату, принадлежавшую, судя по брошенным женским платьям, бульварным романам и слащавым открыткам, какой-нибудь экономке или камеристке, наколол дров, растопил


печь и как был, в шинели, бросился на кровать и сразу заснул. Проснулся уже за полночь от леденящего холода. Печь моя потухла, окно открылось, и я пошел в кухню, мечтая погреться у пылающих углей.

....

.... И в довершение я получил очень ценный практический совет. Чтобы не зябнуть, никогда не ложиться в шинели, а только покрываться ею.

На другой день был дозорным. Отряд двигался по шоссе, я ехал полем, шагах в трехстах от него, причем мне вменялось в обязанность осматривать многочисленные фольварки и деревни: нет ли там немецких солдат или хоть ландштурмистов, то есть попросту мужчин от семнадцати до сорока трех лет. Это было довольно опасно, несколько сложно, но зато очень увлекательно. В первом же доме я встретил идиотического вида мальчишку, мать уверяла, что ему шестнадцать лет, но ему так же легко могло быть и восемнадцать, и даже двадцать. Все-таки я оставил его, а в следующем доме, когда я пил молоко, пуля впилась в дверной косяк вершка на два от моей головы.

В доме пастора я нашел лишь служанку-литвинку, говорящую по-польски; она объяснила мне, что хозяева бежали час тому назад, оставив на плите готовый завтрак, и очень уговаривала меня принять участие в его уничтожении. Вообще мне часто приходилось входить в совершенно безлюдные дома, где на плите кипел кофе, на столе лежало начатое вязанье, открытая книга; я вспомнил о девочке, зашедшей в дом медведей, и все ждал услышать громкое:

«Кто съел мой суп? Кто лежал на моей кровати?»

....

Дики были развалины города Ш. Ни одной живой души. Моя лошадь пугливо вздрагивала, пробираясь по заваленным кирпичами улицам мимо зданий с вывороченными внутренностями, мимо стен с зияющими дырами, мимо труб, каждую минуту готовых обвалиться. На бесформенной груде обломков виднелась единственная уцелевшая вывеска «Ресторан». Какое счастье было вырваться опять в простор полей, увидеть деревья, услышать милый запах земли.

....

Вечером мы узнали, что наступление будет продолжаться, но наш полк переводят на другой фронт. Новизна всегда пленяет солдат .... но, когда я посмотрел на звезды и вдохнул ночной ветер, мне вдруг стало очень грустно расставаться с небом, под которым я как-никак получил мое боевое крещенье.

III

Южная Польша — одно из красивейших мест России. Мы ехали верст восемьдесят от станции железной дороги до соприкосновения с неприятелем, и я успел вдоволь налюбоваться ею. Гор, утехи туристов, там нет, но на что равнинному жителю горы? Есть леса, есть воды, и этого довольно вполне.

Леса сосновые, саженые, и, проезжая по ним, вдруг видишь узкие, прямые, как стрелы, аллеи, полные зеленым сумраком с сияющим просветом вдали, — словно храмы ласковых и задумчивых богов древней, еще языческой Польши. Там водятся олени и косули, с куриной повадкой пробегают золотистые фазаны, в тихие ночи слышно, как чавкает и ломает кусты кабан.

Среди широких отмелей размытых берегов лениво извиваются реки; широкие, с узенькими между них перешейками, озера блестят и отражают небо, как зеркала из полированного металла; у старых мшистых мельниц тихие запруды с нежно журчащими струйками воды и каким-то розово-красным кустарником, странно напоминающим человеку его детство.

В таких местах, что бы ты ни делал,— любил или воевал,— все представляется значительным и чудесным.

Это были дни больших сражений. С утра до поздней ночи мы слышали грохотанье пушек, развалины еще дымились, и то там, то сям кучки жителей зарывали трупы людей и лошадей. Я был назначен в летучую почту на станции К. Мимо нее уже проходили поезда, хотя чаще всего под обстрелом. Из жителей там остались только железнодорожные служащие; они встретили нас с изумительным радушием. Четыре машиниста спорили за честь приютить наш маленький отряд. Когда наконец один одержал верх, остальные явились к нему в гости и принялись обмениваться впечатлениями. Надо было видеть, как горели

от восторга их глаза, когда они рассказывали, что вблизи их поезда рвалась шрапнель, в паровоз ударила пуля. Чувствовалось, что только недостаток инициативы помешал им записаться добровольцами. Мы расстались друзьями, обещали друг другу писать, но разве такие обещания когда-нибудь сдерживаются?

....

На другой день, среди милого безделья покойного бивака, когда читаешь желтые книжки Универсальной библиотеки, чистишь винтовку или попросту болтаешь с хорошенькими паненками, нам внезапно скомандовали седлать, и так же внезапно переменным аллюром мы сразу прошли верст пятьдесят. Мимо мелькали одно за другим сонные местечки, тихие и величественные усадьбы, на порогах домов старухи в наскоро наброшенных на голову платках вздыхали, бормоча: «Ой, Матка Бозка». И, выезжая временами на шоссе, мы слушали глухой, как морской прибой, стук бесчисленных копыт и догадывались, что впереди и позади нас идут другие кавалерийские части и что нам предстоит большое дело.

Ночь далеко перевалила за половину, когда мы стали на бивак. Утром нам пополнили запас патронов, и мы двинулись дальше. Местность была пустынная: какие-то буераки, низкорослые ели, холмы. Мы построились в боевую линию, назначили, кому спешиваться, кому быть коноводом, выслали вперед разъезды и стали ждать. Поднявшись на пригорок и скрытый деревьями, я видел перед собой пространство приблизительно с версту. По нему там и сям были рассеяны наши заставы. Они были так хорошо скрыты, что большинство я разглядел лишь тогда, когда, отстреливаясь, они стали уходить. Почти следом за ними показались германцы. В поле моего зрения попали три колонны, двигавшиеся шагах в пятистах друг от друга.

Они шли густыми толпами и пели. Это была не какая-нибудь определенная песня и даже не наше дружное «ура», а две или три ноты, чередующиеся со свирепой и угрюмой энергией. Я не сразу понял, что поющие — мертвецки пьяны. Так странно было слышать это пение, что я не замечал ни грохота наших орудий, ни ружейной пальбы, ни частого, дробного стука пулеметов. Дикое «а... а... а...» властно по-

корило мое сознание. Я видел только, как над самыми головами врагов взвиваются облачка шрапнелей, как падают передние ряды, как другие становятся на их место и продвигаются на несколько шагов, чтобы лечь и дать место следующим. Похоже было на разлив весенних вод — те же медленность и неуклонность.

Но вот наступила и моя очередь вступить в бой. Послышалась команда: «Ложись... прицел восемьсот... эскадрон, пли», — и я уже ни о чем не думал, а только стрелял и заряжал, стрелял и заряжал. Лишь где-то в глубине сознанья жила уверенность, что все будет, как нужно, что в должный момент нам скомандуют идти в атаку или садиться на коней, и тем или другим мы приблизим ослепительную радость последней победы.

....

Поздно ночью мы отошли на бивак .... в большое имение.

....

.... В комнатке садовника мне его жена вскипятила кварту молока, я поджарил в сале колбасу, и мой ужин разделили со мной мои гости: вольноопределяющийся, которому только что убитая под ним лошадь отдавила ногу, и вахмистр со свежей ссадиной на носу, его так поцарапала пуля. Мы уже закурили и мирно беседовали, когда случайно забредший к нам унтер сообщил, что от нашего эскадрона высылается разъезд. Я внимательно себя проэкзаменовал и увидел, что я выспался, или, вернее, выдремался в снегу, что я сыт, согрелся и что нет основания мне не ехать. Правда, первый миг неприятно было выйти из теплой, уютной комнаты на холодный и пустынный двор, но это чувство сменилось бодрым оживлением, едва мы нырнули по невидимой дороге во мрак, навстречу неизвестности и опасности.

Разъезд был дальний, и поэтому офицер дал нам вздремнуть часа три, на каком-то сеновале. Ничто так не освежает, как короткий сон, и наутро мы ехали уже совсем бодрые, освещаемые бледным, но все же милым солнцем. Нам было поручено наблюдать район версты в четыре и сообщать обо всем, что мы заметим. Местность была совершенно ровная, и перед нами, как на ладони, виднелись три деревни. Одна была занята нами, о двух других ничего не было известно.

Держа винтовки в руках, мы осторожно въехали в ближайшую деревню, проехали ее до конца и, не обнаружив неприятеля, с чувством полного удовлетворения напились парного молока, вынесенного нам красивой словоохотливой старухой. Потом офицер, отозвав меня в сторону, сообщил, что хочет дать мне самостоятельное поручение ехать старшим над двумя дозорными в следующую деревню. Поручение пустячное, но все-таки серьезное, если принять во внимание мою неопытность в искусстве войны, и главное — первое, в котором я мог проявить свою инициативу. Кто не знает, что во всяком деле начальные шаги приятнее всех остальных.

Я решил идти не лавой, то есть в ряд, на некотором расстоянии друг от друга, а цепочкой, то есть один за другим. Таким образом я подвергал меньшей опасности людей и получал возможность скорее сообщить разъезду что-нибудь новое. Разъезд следовал за нами. Мы въехали в деревню и оттуда заметили большую колонну германцев, двигавшуюся верстах в двух от нас. Офицер остановился, чтобы написать донесение, я для очистки совести поехал дальше. Круто загибавшаяся дорога вела к мельнице. Я увидел около нее кучу спокойно стоявших жителей и, зная, что они всегда удирают, предвидя столкновение, в котором может достаться и им шальная пуля, рысью подъехал, чтобы расспросить о немцах. Но едва мы обменялись приветствиями, как они с искаженными лицами бросились врассыпную, и передо мной взвилось облачко пыли, а сзади послышался характерный треск винтовки. Я оглянулся.

....

.... На той дороге, по которой я только что проехал, куча всадников и пеших в черных жутко чужого цвета шинелях изумленно смотрела на меня. Очевидно, меня только что заметили. Они были шагах в тридцати.

Я понял, что на этот раз опасность действительно велика. Дорога к разъезду мне была отрезана, с двух других сторон двигались неприятельские колонны. Оставалось скакать прямо на немцев, но там далеко раскинулось вспаханное поле, по которому нельзя идти галопом, и я десять раз был бы подстрелен, прежде чем вышел бы из сферы огня. Я выбрал среднее и, огибая врага, помчался перед его фронтом к дороге, по

которой ушел наш разъезд. Это была трудная минута моей жизни. Лошадь спотыкалась о мерзлые комья, пули свистели мимо ушей, взрывали землю передо мной и рядом со мной, одна оцарапала луку моего седла. Я не отрываясь смотрел на врагов. Мне были ясно видны их лица, растерянные в момент заряжания, сосредоточенные в момент выстрела. Невысокий пожилой офицер, странно вытянув руку, стрелял в меня из револьвера. Этот звук выделялся каким-то дискантом среди остальных. Два всадника выскочили, чтобы преградить мне дорогу. Я выхватил шашку, они замялись. Может быть, они просто побоялись, что их подстрелят их же товарищи.

Все это в ту минуту я запомнил лишь зрительной и слуховой памятью, осознал же это много позже. Тогда я только придерживал лошадь и бормотал молитву Богородице, тут же мною сочиненную и сразу забытую по миновании опасности.

Но вот и конец пахотному полю — и зачем только люди придумали земледелие?! — вот канава, которую я беру почти бессознательно, вот гладкая дорога, по которой я полным карьером догоняю свой разъезд. Позади него, не обращая внимания на пули, сдерживает свою лошадь офицер. Дождавшись меня, он тоже переходит в карьер и говорит со вздохом облегчения: «Ну, слава Богу! Было бы ужасно глупо, если б вас убили». Я вполне с ним согласился.

Остаток дня мы провели на крыше одиноко стоящей халупы, болтая и посматривая в бинокль. Германская колонна, которую мы заметили раньше, попала под шрапнель и повернула обратно. Зато разъезды шныряли по разным направлениям. Порой они сталкивались с нашими, и тогда до нас долетал звук выстрелов. Мы ели вареную картошку, по очереди курили одну и ту же трубку.

IV

1

Немецкое наступление было приостановлено. Надо было расследовать, какие пункты занял неприятель, где он окапывается, где попросту помещает заставы. Для этого высылается ряд разъездов, в состав одного из них вошел и я.

Сереньким утром мы затрусили по большой дороге. Навстречу нам тянулись целые обозы беженцев. Мужчины оглядывали нас с любопытством и надеждой, дети тянулись к нам, женщины, всхлипывая, причитали: «Ой, панычи, не езжайте туда, там вас забьют германи».

В одной деревне разъезд остановился. Мне с двумя солдатами предстояло проехать дальше и обнаружить неприятеля. Сейчас же за околицей окапывались наши пехотинцы, дальше тянулось поле, над которым рвались шрапнели, там на рассвете был бой и германцы отошли,— дальше чернел небольшой фольварк. Мы рысью направились к нему.

Вправо и влево, почти на каждой квадратной сажени, валялись трупы немцев. В одну минуту я насчитал их сорок, но их было много больше. Были и раненые. Они как-то внезапно начинали шевелиться, проползали несколько шагов и замирали опять. Один сидел у самого края дороги и, держась за голову, раскачивался и стонал. Мы хотели его подобрать, но решили сделать это на обратном пути.

До фольварка мы доскакали благополучно. Нас никто не обстрелял. Но сейчас же за фольварком услышали удары заступа о мерзлую землю и какой-то незнакомый говор. Мы спешились, и я, держа винтовку в руках, прокрался вперед, чтобы выглянуть из-за угла крайнего сарая. Передо мной возвышался небольшой пригорок, и на хребте его германцы рыли окопы. Видно было, как они останавливаются, чтобы потереть руки и закурить, слышен был сердитый голос унтера или офицера. Влево темнела роща, из-за которой неслась орудийная пальба. Это оттуда обстреливали поле, по которому я только что проехал. Я до сих пор не понимаю, почему германцы не выставили никакого пикета в самом фольварке. Впрочем, на войне бывают и не такие чудеса.

Я все выглядывал из-за угла сарая, сняв фуражку, чтобы меня приняли просто за любопытствующего «вольного», когда почувствовал сзади чье-то легкое прикосновение. Я быстро обернулся. Передо мной стояла неизвестно откуда появившаяся полька с изможденным, скорбным лицом. Она протягивала мне пригоршню мелких, сморщенных яблок: «Возьми, пан солдат, то есть добже, цукерно». Меня каждую минуту могли заметить, обстрелять; пули летели бы и в нее. Понятно, было невозможно отказаться от такого подарка.

Мы выбрались из фольварка. Шрапнель рвалась чаще и чаще и на самой дороге, так что мы решили скакать обратно поодиночке. Я надеялся подобрать раненого немца, но на моих глазах над ним низко, низко разорвался снаряд, и все было кончено.

2

На другой день уже смеркалось и все разбрелись по сеновалам и клетушкам большой усадьбы, когда внезапно было велено собраться нашему взводу. Вызвали охотников идти в ночную пешую разведку, очень опасную, как настаивал офицер.

Человек десять порасторопнее вышли сразу; остальные, потоптавшись, объявили, что они тоже хотят идти и только стыдились напрашиваться. Тогда решили, что взводный назначит охотников. И таким образом были выбраны восемь человек, опять-таки побойчее. В числе их оказался и я.

Мы на конях доехали до гусарского сторожевого охранения. За деревьями спешились, оставили троих коноводами и пошли расспросить гусар, как обстоят дела. Усатый вахмистр, запрятанный в воронке от тяжелого снаряда, рассказал, что из ближайшей деревни несколько раз выходили неприятельские разведчики, крались полем к нашим позициям и он уже два раза стрелял. Мы решили пробраться в эту деревню и, если возможно, забрать какого-нибудь разведчика живьем.

Светила полная луна, но, на наше счастье, она то и дело скрывалась за тучами. Выждав одно из таких затмений, мы, согнувшись, гуськом побежали к деревне, но не по дороге, а в канаве, идущей вдоль нее. У околицы остановились. Отряд должен был оставаться здесь и ждать, двум охотникам предлагалось пройти по деревне и посмотреть, что делается за нею. Пошли я и один запасной унтер-офицер, прежде вежливый служитель в каком-то казенном учреждении, теперь один из храбрейших солдат считающегося боевым эскадрона. Он по одной стороне улицы, я — по другой. По свистку мы должны были возвращаться назад.

Вот я совсем один, посреди молчаливой, словно притаившейся деревни, из-за угла одного дома перебегаю к углу следующего. Шагах в пятнадцати вбок мелькает крадущаяся фигура. Это мой товарищ. Из

самолюбия я стараюсь идти впереди него, но слишком торопиться все-таки страшно. Мне вспоминается игра в палочку-воровочку, в которую я всегда играю летом в деревне. Там то же затаенное дыхание, то же веселое сознание опасности, то же инстинктивное умение подкрадываться и прятаться. И почти забываешь, что здесь вместо смеющихся глаз хорошенькой девушки, товарища по игре, можешь встретить лишь острый и холодный, направленный на тебя штык. Вот и конец деревни. Становится чуть светлее, это луна пробивается сквозь неплотный край тучи; я вижу перед собой невысокие темные бугорки окопов и сразу запоминаю, словно фотографирую в памяти, их длину и направление. Ведь за этим я сюда и пришел. В ту же минуту передо мной вырисовывается человеческая фигура. Она вглядывается в меня и тихонько свистит каким-то особенным, очевидно условным, свистом. Это враг, столкновение неизбежно.

Во мне лишь одна мысль, живая и могучая, как страсть, как бешенство, как экстаз: я его или он меня! Он нерешительно поднимает винтовку, я знаю, что мне стрелять нельзя, врагов много поблизости, и бросаюсь вперед с опущенным штыком. Мгновение — и передо мной никого. Может быть, враг присел на землю, может быть, отскочил. Я останавливаюсь и начинаю всматриваться. Что-то чернеет. Я приближаюсь и трогаю штыком,— нет, это бревно. Что-то чернеет опять. Вдруг сбоку от меня раздается необычайно громкий выстрел, и пуля воет обидно близко перед моим лицом. Я оборачиваюсь, в моем распоряжении несколько секунд, пока враг будет менять патрон в магазине винтовки. Но уже из окопов слышится противное харканье выстрелов — тра, тра, тра,— и пули свистят, ноют, визжат.

Я побежал к своему отряду. Особенного страха я не испытывал, я знал, что ночная стрельба недействительна, и мне только хотелось проделать все как можно правильнее и лучше. Поэтому, когда луна осветила поле, я бросился ничком и так отполз в тень домов, там уже идти было почти безопасно. Мой товарищ, унтер-офицер, возвратился одновременно со мной. Он еще не дошел до края деревни, когда началась пальба. Мы вернулись к коням. В одинокой халупе обменялись впечатлениями, поужинали хлебом с салом, офицер написал и отправил донесение, и мы вышли опять посмотреть, нельзя ли что-нибудь устро-

ить. Но, увы! — ночной ветер в клочья изодрал тучи, круглая, красноватая луна опустилась над неприятельскими позициями и слепила нам глаза. Нас было видно как на ладони, мы не видели ничего. Мы готовы были плакать с досады и, назло судьбе, все-таки поползли в сторону неприятеля. Луна могла же опять скрыться или мог же нам встретиться какой-нибудь шальной разведчик! Однако ничего этого не случилось, нас только обстреляли, и мы уползли обратно, проклиная лунные эффекты и осторожность немцев. Все же добытые нами сведения пригодились, нас благодарили, и я получил за эту ночь Георгиевский крест.

3

Следующая неделя выдалась сравнительно тихая. Мы седлали еще в темноте, и по дороге к позиции я любовался каждый день одной и той же мудрой и яркой гибелью утренней звезды на фоне акварельно-нежного рассвета. Днем мы лежали на опушке большого соснового леса и слушали отдаленную пушечную стрельбу. Слегка пригревало бледное солнце, земля была густо устлана мягкими странно пахнущими иглами. Как всегда зимою, я томился по жизни летней природы, и так сладко было, совсем близко вглядываясь в кору деревьев, замечать в ее грубых складках каких-то проворных червячков и микроскопических мушек. Они куда-то спешили, что-то делали, несмотря на то что на дворе стоял декабрь. Жизнь теплилась в лесу, как внутри черной, почти холодной головешки теплится робкий, тлеющий огонек. Глядя на нее, я всем существом радостно чувствовал, что сюда опять вернутся большие диковинные птицы и птицы маленькие, но с хрустальными, серебряными и малиновыми голосами, распустятся душно пахнущие цветы, мир вдоволь нальется бурной красотой для торжественного празднования колдовской и священной Ивановой ночи,

Иногда мы оставались в лесу на всю ночь. Тогда, лежа на спине, я часами смотрел на бесчисленные ясные от мороза звезды и забавлялся, соединяя их в воображении золотыми нитями. Сперва это был ряд геометрических чертежей, похожий на развернутый свиток Каббалы. Потом я начинал различать, как на затканном золотом ковре, различные эмблемы, мечи, кресты, чаши в не понятных для меня, но полных нечеловеческого смысла сочетаниях. Наконец, явственно вырисовывались

небесные звери. Я видел, как Большая Медведица, опустив морду, принюхивается к чьему-то следу, как Скорпион шевелит хвостом, ища, кого ему ужалить. На мгновение меня охватывал невыразимый страх, что они посмотрят вниз и заметят там нашу землю. Ведь тогда она сразу обратится в безобразный кусок матово-белого льда и помчится вне всяких орбит, заражая своим ужасом другие миры. Тут я обыкновенно шепотом просил у соседа махорки, свертывал цигарку и с наслаждением выкуривал ее в руках — курить иначе значило выдать неприятелю наше расположение.

В конце недели нас ждала радость. Нас отвели в резерв армии, и полковой священник совершил богослужение. Идти на него не принуждали, но во всем полку не было ни одного человека, который бы не пошел. На открытом поле тысяча человек выстроилась стройным четырехугольником, в центре него священник в золотой ризе говорил вечные и сладкие слова, служа молебен. Было похоже на полевые молебны о дожде в глухих, далеких русских деревнях. То же необъятное небо вместо купола, те же простые и родные, сосредоточенные лица. Мы хорошо помолились в тот день.

V

1

Было решено выровнять фронт, отойдя верст на тридцать, и кавалерия должна была прикрывать этот отход. Поздно вечером мы приблизились к позиции, и тотчас же со стороны неприятеля на нас опустился и медленно застыл свет прожектора, как взгляд высокомерного человека. Мы отъехали; он, скользя по земле и по деревьям, последовал за нами. Тогда мы галопом описали петли и стали за деревню, а он еще долго тыкался туда и сюда, безнадежно отыскивая нас.

Мой взвод был отправлен к штабу казачьей дивизии, чтобы служить связью между ним и нашей дивизией. Лев Толстой в «Войне и мире» посмеивается над штабными и отдает предпочтение строевым офицерам. Но я не видел ни одного штаба, который уходил бы раньше, чем снаряды начинали рваться над его помещением. Казачий штаб расположился в большом местечке Р. Жители бежали еще накануне, обоз

ушел, пехота тоже, но мы сидели больше суток, слушая медленно надвигающуюся стрельбу: это казаки задерживали неприятельские цепи. Рослый и широкоплечий полковник каждую минуту подбегал к телефону и весело кричал в трубку: «Так... отлично... задержитесь еще немного... все идет хорошо...» И от этих слов по всем фольваркам, канавам и перелескам, занятым казаками, разливались уверенность и спокойствие, столь необходимые в бою. Молодой начальник дивизии, носитель одной из самых громких фамилий России, по временам выходил на крыльцо послушать пулеметы и улыбался тому, что все идет так как нужно.

Мы, уланы, беседовали со степенными бородатыми казаками, проявляя при этом ту изысканную любезность, с которой относятся друг к другу кавалеристы разных частей.

К обеду до нас дошел слух, что пять человек нашего эскадрона попали в плен. К вечеру я уже видел одного из этих пленных, остальные высыпались на сеновале. Вот что с ними случилось. Их было шестеро в сторожевом охранении. Двое стояли на часах, четверо сидели в халупе. Ночь была темная и ветреная, враги подкрались к часовому и опрокинули его. Подчасок дал выстрел и бросился к коням, его тоже опрокинули. Сразу человек пятьдесят ворвались во двор и принялись палить в окна дома, где находился наш пикет. Один из наших выскочил и, работая штыком, прорвался к лесу, остальные последовали за ним, но передний упал, запнувшись на пороге, на него попадали и его товарищи. Неприятели, это были австрийцы, обезоружили их и под конвоем тоже пяти человек отправили в штаб. Десять человек оказались одни, без карты, в полной темноте, среди путаницы дорог и тропинок.

По дороге австрийский унтер-офицер на ломаном русском языке все расспрашивал наших, где «кози», то есть казаки. Наши с досадой отмалчивались и, наконец, объявили, что «кози» именно там, куда их ведут, в стороне неприятельских позиций. Это произвело чрезвычайный эффект. Австрийцы остановились и принялись о чем-то оживленно спорить. Ясно было, что они не знали дороги. Тогда наш унтер-офицер потянул за рукав австрийского и ободрительно сказал: «Ничего, пойдем, я знаю, куда идти». Пошли, медленно загибая в сторону русских позиций.

В белесых сумерках утра среди деревьев мелькнули серые кони — гусарский разъезд. «Вот и кози!» — воскликнул наш унтер, выхватывая у австрийца винтовку. Его товарищи обезоружили остальных. Гусары немало смеялись, когда вооруженные австрийскими винтовками уланы подошли к ним, конвоируя своих только что захваченных пленных. Опять пошли в штаб, но теперь уже русский. По дороге встретился казак. «Ну-ка, дядя, покажи себя»,— попросили наши. Тот надвинул на глаза папаху, всклокочил пятерней бороду, взвизгнул и пустил коня вскачь. Долго после этого пришлось ободрять и успокаивать австрийцев.

2

На следующий день штаб казачьей дивизии и мы с ним отошли версты на четыре, так что нам были видны только фабричные трубы местечка Р. Меня послали с донесением в штаб нашей дивизии. Дорога лежала через Р., но к ней уже подходили германцы. Я все-таки сунулся, вдруг удастся проскочить. Едущие мне навстречу офицеры последних казачьих отрядов останавливали меня вопросом — вольноопределяющийся, куда? — и, узнав, с сомнением покачивали головой. За стеною крайнего дома стоял десяток спешенных казаков с винтовками наготове. «Не проедете,— сказали они,— вон уже где палят». Только я выдвинулся, как защелкали выстрелы, запрыгали пули. По главной улице двигались навстречу мне толпы германцев, в переулках слышался шум других. Я поворотил, за мной, сделав несколько залпов, последовали и казаки.

На дороге артиллерийский полковник, уже останавливавший меня, спросил: «Ну, что, не проехали?» — «Никак нет, там уже неприятель».— «Вы его сами видели?» — «Так точно, сам». Он повернулся к своим ординарцам: «Пальба из всех орудий по местечку». Я поехал дальше.

Однако мне все-таки надо было пробраться в штаб. Разглядывая старую карту этого уезда, случайно оказавшуюся у меня, советуясь с товарищем—с донесением всегда посылают двоих — и расспрашивая местных жителей, я кружным путем, через леса и топи, приближался к назначенной мне деревне. Двигаться приходилось по фронту наступающего противника, так что не было ничего удивительного в том, что при выезде из какой-то деревушки, где мы только что, не слезая с седел, напились молока, нам под прямым углом перерезал путь неприятельский

разъезд. Он, очевидно, принял нас за дозорных, потому что вместо того, чтобы атаковать нас в конном строю, начал спешиваться для стрельбы. Их было восемь человек, и мы, свернув за дома, стали уходить. Когда стрельба стихла, я обернулся и увидел за собой на вершине холма скачущих всадников — нас преследовали; они поняли, что нас только двое.

В это время сбоку опять послышались выстрелы, и прямо на нас карьером вылетели три казака — двое молодых скуластых парней и один бородач. Мы столкнулись и придержали коней. «Что там у вас?» — спросил я бородача. «Пешие разведчики, с полсотни. А у вас?» — «Восемь конных». Он посмотрел на меня, я на него, и мы поняли друг друга. Несколько секунд помолчали. «Ну, поедем, что ли!» — вдруг, словно нехотя, сказал он, а у самого так и зажглись глаза. Скуластые парни, глядевшие на него с тревогой, довольно тряхнули головой и сразу стали заворачивать коней. Едва мы поднялись на только что оставленный нами холм, как увидели врагов, спускавшихся с противоположного холма. Мой слух обжег не то визг, не то свист, одновременно напоминающий моторный гудок и шипенье большой змеи, передо мной мелькнули спины рванувшихся казаков, и я сам бросил поводья, бешено заработал шпорами, только высшим напряжением воли вспомнив, что надо обнажить шашку. Должно быть, у нас был очень решительный вид, потому что немцы без всякого колебания пустились наутек. Гнали они отчаянно, и расстояние между нами почти не уменьшалось. Тогда бородатый казак вложил в ножны шашку, поднял винтовку, выстрелил, промахнулся, выстрелил опять, и один из немцев поднял обе руки, закачался и, как подброшенный, вылетел из седла. Через минуту мы уже неслись мимо него.

Но всему бывает конец! Немцы свернули круто влево, и навстречу нам посыпались пули. Мы наскочили на неприятельскую цепь. Однако казаки повернули не раньше, чем поймали беспорядочно носившуюся лошадь убитого немца. Они гонялись за ней, не обращая внимания на пули, словно в своей родной степи. «Батурину пригодится,— говорили они,— у него вчера убили доброго коня». Мы расстались за бугром, дружески пожав друг другу руки.

Штаб свой я нашел лишь часов через пять и не в деревне, а посреди лесной поляны на низких пнях и сваленных стволах деревьев. Он тоже отошел уже под огнем неприятеля.

5

К штабу казачьей дивизии я вернулся в полночь. Поел холодной курицы и лег спать, как вдруг засуетились, послышался приказ седлать, и мы снялись с бивака по тревоге. Была беспросветная темь. Заборы и канавы вырисовывались лишь тогда, когда лошадь натыкалась на них или проваливалась. Спросонок я даже не разбирал направления. Когда ветви больно хлестали по лицу, знал, что едем по лесу, когда у самых ног плескалась вода, знал, что переходим вброд реки. Наконец остановились у какого-то большого дома. Коней поставили во дворе, сами вошли в сени, зажгли огарки... и отшатнулись, услыша громовой голос толстого старого ксендза, вышедшего нам навстречу в одном нижнем белье и с медным подсвечником в руке. «Что это такое,— кричал он,— мне и ночью не дают покою! Я не выспался, я еще хочу спать!»

Мы пробормотали робкие извинения, но он прыгнул вперед и схватил за рукав старшего из офицеров. «Сюда, сюда, вот столовая, вот гостиная, пусть ваши солдаты принесут соломы. Юзя, Зося, подушки панам, да достаньте чистые наволочки». Когда я проснулся, было уже светло. Штаб в соседней комнате занимался делом, принимал донесения и рассылал приказания, а передо мной бушевал хозяин. «Вставайте скорее, кофе простынет, все уже давно напились!» Я умылся и сел за кофе. Ксендз сидел против меня и сурово меня допрашивал. «Вы вольноопределяющийся?» — «Доброволец».— «Чем прежде занимались?» — «Был писателем».— «Настоящим?» — «Об этом я не могу судить. Все-таки печатался в газетах и журналах, издавал книги».— «Теперь пишете какие-нибудь записки?» — «Пишу». Его брови раздвинулись, голос сделался мягким и почти просительным: «Так уж, пожалуйста, напишите обо мне, как я здесь живу, как вы со мной познакомились». Я искренно обещал ему это. «Да нет, вы забудете. Юзя, Зося, карандаш и бумагу!» И он записал мне название уезда и деревни, свое имя и фамилию.

Но разве что-нибудь держится за обшлагом рукава, куда кавалеристы обыкновенно прячут разные записки, деловые, любовные и просто так? Через три дня я уже потерял все, и эту в том числе. И вот теперь я лишен возможности отблагодарить достопочтенного патера (не знаю

его фамилии) из деревни (забыл ее название) не за подушку в чистой наволочке, не за кофе с вкусными пышками, но за его глубокую ласковость под суровыми манерами и за то, что он так ярко напомнил мне тех удивительных стариков-отшельников, которые так же ссорятся и дружатся с ночными путниками в давно забытых, но некогда мною любимых романах Вальтера Скотта.

VI

1

Фронт был выровнен. Кое-где пехота отбивала противника, вообразившего, что он наступает по собственной инициативе, кавалерия занималась усиленной разведкой. Нашему разъезду было поручено наблюдать за одним из таких боев и сообщать об его развитии и случайностях в штаб. Мы нагнали пехоту в лесу. Маленькие серые солдатики со своими огромными сумками шли вразброд, теряясь на фоне кустарника и сосновых стволов. Одни на ходу закусывали, другие курили, молодой прапорщик весело помахивал тростью. Это был испытанный, славный полк, который в бой шел, как на обычную полевую работу; и чувствовалось, что в нужную минуту все окажутся на своих местах без путаницы, без суматохи и каждый отлично знает, где он должен быть и что делать.

Батальонный командир верхом на лохматой казачьей лошадке поздоровался с нашим офицером и попросил узнать, есть ли перед деревней, на которую он наступал, неприятельские окопы. Мы были очень рады помочь пехоте, и сейчас же был выслан унтер-офицерский разъезд, который повел я. Местность была удивительно удобная для кавалерии: холмы, из-за которых можно было неожиданно показываться, и овраги, по которым легко было уходить.

Едва я поднялся на первый пригорок, щелкнул выстрел - это был только неприятельский секрет. Я взял вправо и проехал дальше. В бинокль было видно все поле до деревни, оно было пусто. Я послал одного человека с донесением, а сам с остальными тремя соблазнился пугнуть обстрелявший нас секрет. Для того чтобы точнее узнать, где он залег, я снова высунулся из кустов, услышал еще выстрел и тогда,

наметив небольшой пригорок, помчался прямо на него, стараясь оставаться невидимым со стороны деревни. Мы доскакали до пригорка — никого. Неужели я ошибся? Нет, вот один из моих людей, спешившись, подобрал новенькую австрийскую винтовку, другой заметил свеженарубленные ветви, на которых только что лежал австрийский секрет. Мы поднялись на холм и увидели троих бегущих во всю прыть людей. Видимо, их смертельно перепугала неожиданная конная атака, потому что они не стреляли и даже не оборачивались. Преследовать их было невозможно, нас обстреляли бы из деревни, кроме того, наша пехота уже вышла из лесу и нам нельзя было торчать перед ее фронтом. Мы вернулись к разъезду и, рассевшись на крыше и развесистых вязах старой мельницы, стали наблюдать за боем.

2

Дивное зрелище — наступление нашей пехоты. Казалось, серое поле ожило, начало морщиться, выбрасывая из своих недр вооруженных людей на обреченную деревню. Куда ни обращался взгляд, он везде видел серые фигуры, бегущие, ползущие, лежащие. Сосчитать их было невозможно. Не верилось, что это были отдельные люди, скорее это был цельный организм, существо бесконечно сильнее и страшнее динотериумов и плезиозавров. И для этого существа возрождался величественный ужас космических переворотов и катастроф. Как гул землетрясений, грохотали орудийные залпы и несмолкаемый треск винтовок, как болиды, летали гранаты, и рвалась шрапнель. Действительно, по слову поэта, нас призвали всеблагие как собеседников на пир, и мы были зрителями их высоких зрелищ. И я, и изящный поручик с браслетом на руках, и вежливый унтер, и рябой запасной, бывший дворник, — мы оказались свидетелями сцены, больше всего напоминавшей третичный период земли. Я думал, что только в романах Уэллса бывают такие парадоксы.

Но мы не оказались на высоте положения и совсем не были похожи на олимпийцев. Когда бой разгорался, мы тревожились за фланг нашей пехоты, громко радовались ее ловким маневрам, в минуту затишья выпрашивали друг у друга папиросы, делились хлебом и салом, разыскивали сена для лошадей. Впрочем, может быть, такое поведение было единственным достойным при данных обстоятельствах.

Мы въехали в деревню, когда на другом конце ее еще кипел бой. Наша пехота двигалась от халупы до халупы все время стреляя, иногда идя в штыки. Стреляли и австрийцы, но от штыкового боя уклонялись, спасаясь под защиту пулеметов. Мы вошли в крайнюю хату, где собирались раненые. Их было человек десять. Они были заняты работой. Раненные в руку притаскивали жерди, доски и веревки, раненные в ногу быстро устраивали из всего этого носилки для своего товарища с насквозь простреленной грудью. Хмурый австриец, с горлом, проткнутым штыком, сидел в углу, кашлял и беспрерывно курил цигарки, которые ему вертели наши солдаты. Когда носилки были готовы, он встал, уцепился за одну из ручек и знаками — говорить он не мог — показал, что хочет помогать их нести. С ним не стали спорить и только скрутили ему сразу две цигарки. Мы возвращались обратно немного разочарованные. Наша надежда в конном строю преследовать бегущего неприятеля не оправдалась. Австрийцы засели в окопах за деревней, и бой на этом прикончился.

3

Эти дни нам много пришлось работать вместе с пехотой, и мы вполне оценили ее непоколебимую стойкость и способность к бешеному порыву. В продолжение двух дней я был свидетелем боя. .... Маленький отряд кавалерии, посланный для связи с пехотой, остановился в доме лесника, в двух верстах от места боя, а бой кипел по обе стороны реки. К ней приходилось спускаться с совершенно открытого отлогого бугра, и немецкая артиллерия была так богата снарядами, что обстреливала каждого одиночного всадника. Ночью было не лучше. Деревня пылала, и от зарева было светло, как в самые ясные, лунные ночи, когда так четко рисуются силуэты. Проскакав этот опасный бугор, мы сразу попадали в сферу ружейного огня, а для всадника, представляющего собой отличную цель, это очень неудобно. Приходилось жаться за халупами, которые уже начинали загораться.

Пехота переправилась через реку на понтонах, в другом месте то же делали немцы. Две наши роты были окружены на той стороне, они штыками пробились к воде и вплавь присоединились к своему полку. Немцы взгромоздили на костел пулеметы, которые приносили нам

много вреда. Небольшая партия наших разведчиков по крышам и сквозь окна домов подобралась к костелу, ворвалась в него, кинула вниз пулеметы и продержалась до прихода подкрепления. В центре кипел непрерывный штыковой бой, и немецкая артиллерия засыпала снарядами и наших и своих. На окраинах, где не было такой суматохи, происходили сцены прямо чудесного геройства. Немцы отбили два наших пулемета и торжественно повезли их к себе. Один наш унтер-офицер, пулеметчик, схватил две ручные бомбы и бросился им наперерез. Подбежал шагов на двадцать и крикнул: «Везите пулеметы обратно, или убью и вас и себя». Несколько немцев вскинули к плечу винтовки. Тогда он бросил бомбу, которая убила троих и поранила его самого. С окровавленным лицом он подскочил к врагам вплотную и, потрясая оставшейся бомбой, повторил свой приказ. На этот раз немцы послушались и повезли пулеметы в нашу сторону. А он шел за ними, выкрикивая бессвязные ругательства и колотя немцев бомбой по спинам. Я встретил это странное шествие уже в пределах нашего расположения. Герой не позволял никому прикоснуться ни к пулеметам, ни к пленным, он вел их к своему командиру. Как в бреду, не глядя ни на кого, рассказывал он о своем подвиге: «Вижу, пулеметы тащат. Ну, думаю, сам пропаду, пулеметы верну. Одну бомбу бросил, другая вот. Пригодится. Жалко же пулеметы, — и сейчас же опять принимался кричать на смертельно бледных немцев. — Ну, ну, иди, не задерживайся!»

VII

1

Всегда приятно переезжать на новый фронт. На больших станциях пополняешь свои запасы шоколада, папирос, книг, гадаешь, куда приедешь, — тайна следования сохраняется строго,— мечтаешь об особых преимуществах новой местности, о фруктах, о паненках, о просторных домах, отдыхаешь, валяясь на соломе просторных теплушек. Высадившись, удивляешься пейзажам, знакомишься с характером жителей,— главное, что надо узнать, есть ли у них сало и продают ли они молоко,— жадно запоминаешь слова еще неслыханного языка. Это целый спорт — скорее других научиться болтать по-польски, малороссийски или литовски.

Но возвращаться на старый фронт еще приятнее. Потому что неверно представляют себе солдат бездомными, они привыкают и к сараю, где несколько раз переночевали, и к ласковой хозяйке, и к могиле товарища. Мы только что возвратились на насиженные места и упивались воспоминаниями.

Нашему полку была дана задача найти врага. Мы, отступая, наносили германцам такие удары, что они местами отстали на целый переход, а местами даже сами отступили. Теперь фронт был выровнен, отступление кончилось, надо было, говоря технически, войти в связь с противником.

Наш разъезд, один из цепи разъездов, весело поскакал по размытой весенней дороге, под блестящим, словно только что вымытым, весенним солнцем. Три недели мы не слышали свиста пуль, музыки, к которой привыкаешь, как к вину,— кони отъелись, отдохнули, и так радостно было снова пытать судьбу между красных сосен и невысоких холмов. Справа и слева уже слышались выстрелы: это наши разъезды натыкались на немецкие заставы. Перед нами пока все было спокойно: порхали птицы, в деревне лаяла собака. Однако продвигаться вперед было слишком опасно. У нас оставались открытыми оба фланга. Разъезд остановился, и мне (только что произведенному в унтер-офицеры) с четырьмя солдатами было поручено осмотреть черневший вправо лесок. Это был мой первый самостоятельный разъезд,— жаль было бы его не использовать. Мы рассыпались лавой и шагом въехали в лес. Заряженные винтовки лежали поперек седел, шашки были на вершок выдвинуты из ножен, напряженный взгляд каждую минуту принимал за притаившихся людей большие коряги и пни, ветер в сучьях шумел совсем как человеческий разговор, и к тому же на немецком языке. Мы проехали один овраг, другой — никого. Вдруг на самой опушке, уже за пределами назначенного мне района, я заметил домик, не то очень бедный хутор, не то сторожку лесника. Если немцы вообще были поблизости, они засели там. У меня быстро появился план карьером обогнуть дом и в случае опасности уходить опять в лес. Я расставил людей по опушке, велев поддержать меня огнем. Мое возбуждение передалось лошади. Едва я тронул ее шпорами, как она помчалась, расстилаясь по земле и в то же время чутко слушаясь каждого движенья поводьев.

Первое, что я заметил, заскакав за домик, были три немца, сидевшие на земле в самых непринужденных позах; потом несколько оседланных

лошадей; потом еще одного немца, застывшего верхом на заборе, — он, очевидно, собрался его перелезть, когда заметил меня. Я выстрелил наудачу и помчался дальше. Мои люди, едва я к ним присоединился, тоже дали залп. Но в ответ по нам раздался другой, гораздо более внушительный, винтовок в двадцать по крайней мере. Пули засвистали над головой, защелкали о стволы деревьев. Нам больше нечего было делать в лесу, и мы ушли. Когда мы поднялись на холм уже за лесом, мы увидели наших немцев, поодиночке скачущих в противоположную сторону. Они выбили нас из лесу, мы выбили их из фольварка. Но так как их было вчетверо больше, чем нас, наша победа была блистательнее.

2

В два дня мы настолько осветили положение дела на фронте, что пехота могла начать наступление. Мы были у нее на фланге и поочередно занимали сторожевое охранение. Погода сильно испортилась. Дул сильный ветер и стояли морозы, а я не знаю ничего тяжелее соединения этих двух климатических явлений. Особенно плохо было в ту ночь, когда очередь дошла до нашего эскадрона. Еще не доехав до места, я весь посинел от холода и принялся интриговать, чтобы меня не посылали на пост, а оставили на главной заставе в распоряжении ротмистра. Мне это удалось. В просторной халупе с плотно занавешенными окнами и растопленной печью было светло, тепло и уютно. Но едва я получил стакан чаю и принялся сладострастно греть об него свои пальцы, ротмистр сказал: «Кажется, между вторым и третьим постом слишком большое расстояние. Гумилев, поезжайте, посмотрите, так ли это, и, если понадобится, выставьте промежуточный пост». Я оставил мой чай и вышел. Мне показалось, что я окунулся в ледяные чернила, так было темно и холодно. Ощупью я добрался до моего коня, взял проводника, солдата, уже бывавшего на постах, и выехал со двора. В поле было чуть-чуть светлее. По дороге мой спутник сообщил мне, что какой-то немецкий разъезд еще днем проскочил сквозь линию сторожевого охранения и теперь путается поблизости, стараясь прорваться назад. Только он кончил свой рассказ, как перед нами в темноте послышался стук копыт и обрисовалась фигура всадника. «Кто идет?» — крикнул я и прибавил рыси. Незнакомец молча повернул коня и помчался от нас.

Мы за ним, выхватив шашки и предвкушая удовольствие привести пленного. Гнаться легче, чем убегать. Не задумываешься о дороге, скачешь по следам. Я уже почти настиг беглеца, когда он вдруг сдержал лошадь, и я увидел на нем вместо каски обыкновенную фуражку. Это был наш улан, проезжавший от поста к посту; и он, так же, как мы его, принял нас за немцев. Я посетил пост, восемь полузамерзших людей на вершине поросшего лесом холма, и выставил промежуточный пост в лощине. Когда я снова вошел в халупу и принялся за новый стакан горячего чаю, я подумал, что это — счастливейший миг моей жизни. Но, увы, он длился недолго. Три раза в эту проклятую ночь я должен был объезжать посты, и вдобавок меня обстреляли,— заблудший ли немецкий разъезд или так, пешие разведчики, не знаю. И каждый раз так не хотелось выходить из светлой халупы, от горячего чая и разговоров о Петрограде и петроградских знакомых на холод, в темноту, под выстрелы. Ночь была беспокойная. У нас убили человека и двух лошадей. Поэтому все вздохнули свободнее, когда рассвело и можно было отвести посты назад.

3

Всей заставой с ротмистром во главе мы поехали навстречу возвращающимся постам. Я был впереди, показывая дорогу, и уже почти съехался с последним из них, когда ехавший мне навстречу поручик открыл рот, чтобы что-то сказать, как из лесу раздался залп, потом отдельные выстрелы, застучал пулемет — и все это по нам. Мы повернули под прямым углом и бросились за первый бугор. Раздалась команда: «К пешему строю... выходи...» — и мы залегли по гребню, зорко наблюдая за опушкой леса. Вот за кустами мелькнула кучка людей в синевато-серых шинелях. Мы дали залп. Несколько человек упало. Опять затрещал пулемет, загремели выстрелы, и германцы поползли на нас. Сторожевое охранение развертывалось в целый бой. То там, то сям из лесу выдвигалась согнутая фигура в каске, быстро скользила между кочками до первого прикрытия и оттуда, поджидая товарищей, открывала огонь. Может быть, уже целая рота придвинулась к нам шагов на триста. Нам грозила атака, и мы решили пойти в контратаку в конном строю. Но в это время галопом примчались из резерва два других наших эскадрона и, спешившись, вступили в бой. Немцы были

отброшены нашим огнем обратно в лес. Во фланг им поставили наш пулемет, и он, наверно, наделал им много беды. Но они тоже усиливались. Их стрельба увеличивалась, как разгорающийся огонь. Наши цепи пошли было в наступление, но их пришлось вернуть.

Тогда, словно богословы из «Вия», вступавшие в бой для решительного удара, заговорила наша батарея. Торопливо рявкали орудия, шрапнель с визгом и ревом неслась над нашими головами и разрывалась в лесу. Хорошо стреляют русские артиллеристы. Через двадцать минут, когда мы снова пошли в наступление, мы нашли только несколько десятков убитых и раненых, кучу брошенных винтовок и один совсем целый пулемет. Я часто замечал, что германцы, так стойко выносящие ружейный огонь, быстро теряются от огня орудийного.

Наша пехота где-то наступала, и немцы перед нами отходили, выравнивая фронт. Иногда и мы на них напирали, чтобы ускорить очищение какого-нибудь важного для нас фольварка или деревни, но чаще приходилось просто отмечать, куда они отошли. Время было нетрудное и веселое. Каждый день разъезды, каждый вечер спокойный бивак — отступавшие немцы не осмеливались тревожить нас по ночам. Однажды даже тот разъезд, в котором я участвовал, собрался на свой риск и страх выбить немцев из одного фольварка. В военном совете приняли участие все унтер-офицеры. Разведка открыла удобные подступы. Какой-то старик, у которого немцы увели корову и даже стащили сапоги с ног,— он был теперь обут в рваные галоши,— брался провести нас болотом во фланг. Мы все обдумали, рассчитали, и это было бы образцовое сражение, если бы немцы не ушли после первого же выстрела. Очевидно, у них была не застава, а просто наблюдательный пост. Другой раз, проезжая лесом, мы увидели пять невероятно грязных фигур с винтовками, выходящих из густой заросли. Это были наши пехотинцы, больше месяца тому назад отбившиеся от своей части и оказавшиеся в пределах неприятельского расположения. Они не потерялись: нашли чащу погуще, вырыли там яму, накрыли хворостом, с помощью последней спички развели чуть тлеющий огонек, чтобы нагревать свое жилище и растаивать в котелках снег, и стали жить Робинзонами, ожидая русского наступления. Ночью поодиночке ходили в ближайшую деревню, где в то время стоял какой-то германский штаб. Жители давали им

хлеба, печеной картошки, иногда сала. Однажды один не вернулся. Они целый день провели голодные, ожидая, что пропавший под пыткой выдаст их убежище и вот-вот придут враги. Однако ничего не случилось: германцы ли попались совестливые или наш солдатик оказался героем,— неизвестно. Мы были первыми русскими, которых они увидели. Прежде всего они попросили табаку. До сих пор они курили растертую кору и жаловались, что она слишком обжигает рот и горло.

Вообще такие случаи не редкость: один казак божился мне, что играл с немцами в двадцать одно. Он был один в деревне, когда туда зашел сильный неприятельский разъезд. Удирать было поздно. Он быстро расседлал свою лошадь, запрятал седло в солому, сам накинул на себя взятый у хозяина зипун, и вошедшие немцы застали его усердно молотящим в сарае хлеб. В его дворе был оставлен пост из трех человек. Казаку захотелось поближе посмотреть на германцев. Он вошел в халупу и нашел их играющими в карты. Он присоединился к играющим и за час выиграл около десяти рублей. Потом, когда пост сняли и разъезд ушел, он вернулся к своим. Я его спросил, как ему понравились германцы. «Да ничего,— сказал он,— только играют плохо, кричат, ругаются, все отжилить думают. Когда я выиграл, хотели меня бить, да я не дался». Как это он не дался — мне не пришлось узнать: мы оба торопились.

4

Последний разъезд был особенно богат приключениями. Мы долго ехали лесом, поворачивая с тропинки на тропинку, объехали большое озеро и совсем не были уверены, что у нас в тылу не осталось какой-нибудь неприятельской заставы. Лес кончался кустами, дальше была деревня. Мы выдвинули дозоры справа и слева, сами стали наблюдать за деревней. Есть там немцы или нет — вот вопрос. Понемногу мы стали выдвигаться из кустов — все спокойно. Деревня была уже не более чем в двухстах шагах, как оттуда без шапки выскочил житель и бросился к нам, крича: «Германи, германи, их много... бегите!» И сейчас же раздался залп. Житель упал и перевернулся несколько раз, мы вернулись в лес. Теперь все поле перед деревней закишело германцами. Их было не меньше сотни. Надо было уходить, но наши дозоры еще не вернулись. С левого фланга тоже слышалась стрельба, и вдруг в

тылу у нас раздалось несколько выстрелов. Это было хуже всего! Мы решили, что мы окружены, и обнажили шашки, чтобы, как только подъедут дозорные, пробиваться в конном строю. Но, к счастью, мы скоро догадались, что в тылу никого нет, — это просто рвутся разрывные пули, ударяясь в стволы деревьев. Дозорные справа уже вернулись. Они задержались, потому что хотели подобрать предупредившего нас жителя, но увидали, что он убит — прострелен тремя пулями в голову и в спину. Наконец, прискакал и левый дозорный. Он приложил руку к козырьку и молодцевато отрапортовал офицеру: «Ваше сиятельство, германец наступает слева... и я ранен». На его бедре виднелась кровь. «Можешь сидеть в седле?» — спросил офицер. «Так точно, пока могу!» — «А где же другой дозорный?» — «Не могу знать, кажется, он упал». Офицер повернулся ко мне: «Гумилев, поезжайте посмотрите, что с ним?» Я отдал честь и поехал прямо на выстрелы.

Собственно говоря, я подвергался не большей опасности, чем оставаясь на месте: лес был густой, немцы стреляли, не видя нас, и пули летели всюду: самое большое, я мог наскочить на их передовых. Все это я знал, но ехать все-таки было очень неприятно. Выстрелы становились все слышнее, до меня доносились даже крики врагов. Каждую минуту я ожидал увидеть изуродованный разрывной пулей труп несчастного дозорного и, может быть, таким же изуродованным остаться рядом с ним — частые разъезды уже расшатали мои нервы. Поэтому легко представить мою ярость, когда я увидел пропавшего улана на корточках, преспокойно копошащегося около убитой лошади.

«Что ты здесь делаешь?» — «Лошадь убили... седло снимаю».— «Скорей иди, такой-сякой, тебя весь разъезд под пулями дожидается».— «Сейчас, сейчас, я вот только белью достану, — он подошел ко мне, держа в руках небольшой сверток. — Вот, подержите, пока я вспрыгну на вашу лошадь, пешком не уйти, немец близко». Мы поскакали, провожаемые пулями, и он все время вздыхал у меня за спиной: «Эх, чай позабыл! Эх, жалость, хлеб остался!»

Обратно доехали без приключений. Раненый после перевязки вернулся в строй, надеясь получить Георгия. Но мы все часто вспоминали убитого за нас поляка и, когда заняли эту местность, поставили на месте его смерти большой деревянный крест.

VIII

1

Поздно ночью или рано утром — во всяком случае, было еще совсем темно — в окно халупы, где я спал, постучали: седлать по тревоге. Первым моим движением было натянуть сапоги, вторым — пристегнуть шашку и надеть фуражку. Мой арихмед — в кавалерии вестовых называли арихмедами, очевидно, испорченное ритекнехт,— уже седлал наших коней. Я вышел во двор и прислушался. Ни ружейной перестрелки, ни непременного спутника ночных тревог — стука пулемета, ничего не было слышно. Озабоченный вахмистр, пробегая, крикнул мне, что немцев только что выбили из местечка С. и они поспешно отступают по шоссе; мы их будем преследовать. От радости я проделал несколько пируэтов, что меня, кстати, и согрело.

Но, увы, преследование вышло не совсем таким, как я думал. Едва мы вышли на шоссе, нас остановили и заставили ждать час — еще не собрались полки, действовавшие совместно с нами. Затем продвинулись верст на пять и снова остановились. Начала действовать наша артиллерия. Как мы сердились, что она нам загораживает дорогу. Только позже мы узнали, что наш начальник дивизии придумал хитроумный план — вместо обычного преследования и захвата нескольких отсталых повозок врезываться клином в линию отходящего неприятеля и тем вынуждать его к более поспешному отступлению. Пленные потом говорили, что мы наделали немцам много вреда и заставили их откатиться верст на тридцать дальше, чем предполагалось, потому что в отступающей армии легко сбить с толку не только солдат, но даже высшее начальство. Но тогда мы этого не знали и продвигались медленно, негодуя на самих себя за эту медленность.

От передовых разъездов к нам приводили пленных. Были они хмурые, видимо, потрясенные своим отступлением. Кажется, они думали, что идут прямо на Петроград. Однако честь отдавали отчетливо не только офицерам, но и унтер-офицерам и, отвечая, вытягивались в струнку.

В одной халупе, около которой мы стояли, хозяин с наслаждением, хотя, очевидно, в двадцатый раз, рассказывал про немцев: один и тот же немецкий фельдфебель останавливался у него и при наступлении и при

отступлении. Первый раз он все время бахвалился победой и повторял: «Русс капут, русс капут!» Второй раз он явился в одном сапоге, стащил недостающий прямо с ноги хозяина и на его вопрос: «Ну, что же, русс капут?» — ответил с чисто немецкой добросовестностью: «Не, не, не! Не капут!»

Уже поздно вечером мы свернули с шоссе, чтобы ехать на бивак в назначенный нам район. Вперед, как всегда, отправлялись квартирьеры. Как мы мечтали о биваке! Еще днем мы узнали, что жители сумели попрятать масло и сало и на радостях охотно продавали русским солдатам. Вдруг впереди послышалась стрельба. Что такое? Это не по аэроплану,— аэропланы ночью не летают,— это, очевидно, неприятель. Мы осторожно въехали в назначенную нам деревню, а прежде въезжали с песнями, спешились, и вдруг из темноты к нам бросилась какая-то фигура в невероятно грязных лохмотьях. В ней мы узнали одного из наших квартирьеров. Ему дали хлебнуть мадеры, и он, немного успокоившись, сообщил нам следующее: с версту от деревни расположена большая барская усадьба. Квартирьеры спокойно въехали в нее и уже завели разговоры с управляющим об овсе и сараях, когда грянул залп. Немцы, стреляя, выскакивали из дома, высовывались в окна, подбегали к лошадям. Наши бросились к воротам, ворота были уже захлопнуты. Тогда оставшиеся в живых, кое-кто уже попадал, оставили лошадей и побежали в сад. Рассказчик наткнулся на каменную стену в сажень вышиной, с верхушкой, усыпанной битым стеклом. Когда он почти влез на нее, его за ногу ухватил немец. Свободной ногой, обутой в тяжелый сапог, да со шпорой вдобавок, он ударил врага прямо в лицо, тот упал, как сноп. Соскочив на ту сторону, ободранный, расшибшийся улан потерял направление и побежал прямо перед собой. Он был в самом центре неприятельского расположения. Мимо него проезжала кавалерия, пехота устраивалась на ночь. Его спасла только темнота и обычное во время отступления замешательство, следствие нашего ловкого маневра, о котором я писал выше. Он был, по его собственному признанию, как пьяный, и понял свое положение только тогда, когда, подойдя к костру, увидел около него человек двадцать немцев. Один из них даже обратился к нему с каким-то вопросом. Тогда он повернулся, пошел в обратном направлении и, таким образом, наткнулся на нас.

2

Выслушав этот рассказ, мы призадумались. О сне не могло быть и речи, да к тому же лучшая часть нашего бивака была занята немцами. Положение осложнялось еще тем, что в деревню вслед за нами тоже на бивак въехала наша артиллерия. Гнать ее назад, в поле, мы не могли, да и не имели права. Ни один рыцарь так не беспокоится о судьбе своей дамы, как кавалерист о безопасности артиллерии, находящейся под его прикрытием. То, что он может каждую минуту ускакать, заставляет его оставаться на своем посту до конца.

У нас оставалась слабая надежда, что в имении перед нами был только небольшой немецкий разъезд. Мы спешились и пошли на него цепью. Но нас встретил такой сильный ружейный и пулеметный огонь, какой могли развить по крайней мере несколько рот пехоты. Тогда мы залегли перед деревней, чтобы не пропускать хоть разведчиков, могущих обнаружить нашу артиллерию.

Лежать было скучно, холодно и страшно. Немцы, обозленные своим отступлением, поминутно стреляли в нашу сторону, а ведь известно, что шальные пули — самые опасные. Перед рассветом все стихло, а когда на рассвете наш разъезд вошел в усадьбу, там не было никого. За ночь почти все квартирьеры вернулись. Не хватало трех: двое, очевидно, попали в плен, а труп третьего был найден на дворе усадьбы. Бедняга, он только что прибыл на позиции из запасного полка и все говорил, что будет убит. Был он красивый, стройный, отличный наездник. Его револьвер валялся около него, а на теле, кроме огнестрельной, было несколько штыковых ран. Видно было, что он долго защищался, пока не был приколот. Мир праху твоему, милый товарищ! Все из нас, кто мог, пришли на твои похороны!

В этот день наш эскадрон был головным эскадроном колонны и наш взвод — передовым разъездом. Я всю ночь не спал, но так велик был подъем наступления, что я чувствовал себя совсем бодрым. Я думаю, что на заре человечества люди так же жили нервами, творили много и умирали рано. Мне с трудом верится, чтобы человек, который каждый день обедает и каждую ночь спит, мог вносить что-нибудь в сокровищницу культуры духа. Только пост и бдение, даже если они невольные, пробуждают в человеке особые, дремавшие прежде силы.

Наш путь лежал через именье, где накануне обстреляли наших квартирьеров. Там офицер, начальник другого разъезда, допрашивал о вчерашнем управляющего, рыжего, с бегающими глазами, неизвестной национальности. Управляющий складывал руки ладошками и клялся, что не знает, как и когда у него очутились немцы, офицер горячился и напирал на него своим конем. Наш командир разрешил вопрос, сказав допрашивающему: «Ну его к черту,— в штабе разберут. Поедем дальше!»

Дальше мы осмотрели лес, в нем никого не оказалось, поднялись на бугор, и дозорные донесли, что в фольварке напротив неприятель. Фольварков в конном строю атаковать не приходится: перестреляют; мы спешились и только что хотели начать перебежку, как услышали частую пальбу. Фольварк уже был атакован раньше нас подоспевшим гусарским разъездом. Наше вмешательство было бы нетактичным, нам оставалось лишь наблюдать за боем и жалеть, что мы опоздали.

IX

1

Бой длился недолго. Гусары бойко делали перебежку и уже вошли в фольварк. Часть немцев сдалась, часть бежала, их ловили в кустах. Гусар, детина огромного роста, конвоировавший человек десять робко жавшихся пленных, увидел нас и взмолился к нашему офицеру: «Ваше благородие, примите пленных, а я назад побегу, там еще немцы есть». Офицер согласился. «И винтовки сохраните, ваше благородие, чтобы никто не растащил»,— просил гусар. Ему обещали, и это потому, что в мелких кавалерийских стычках сохраняется средневековый обычай, что оружие побежденного принадлежит его победителю.

Вскоре нам привели еще пленных, потом еще и еще. Всего в этом фольварке забрали шестьдесят семь человек настоящих пруссаков, действительной службы вдобавок, а забирающих было не больше двадцати.

Когда путь был расчищен, мы двинулись дальше. В ближайшей деревне нас встретили старообрядцы, колонисты. Мы были первыми русскими, которых они увидели после полуторамесячного германского плена. Старики пытались целовать наши руки, женщины выносили крынки молока, яйца, хлеб и с негодованием отказывались от денег, белобрысые

ребятишки глазели на нас с таким интересом, с каким вряд ли глазели на немцев. И приятнее всего было то, что все говорили на чисто русском языке, какого мы давно не слышали.

Мы спросили, давно ли были немцы. Оказалось, что всего полчаса тому назад ушел немецкий обоз и его можно было бы догнать. Но едва мы решили сделать это, как к нам подскакал посланный от нашей колонны с приказанием остановиться. Мы стали упрашивать офицера притвориться, что он не слышал этого приказания, но в это время примчался второй посланный, чтобы подтвердить категорическое приказание ни в каком случае не двигаться дальше.

Пришлось покориться. Мы нарубили шашками еловых ветвей и, улегшись на них, принялись ждать, когда закипит чай в котелках. Скоро к нам подтянулась и вся колонна, а с нею пленные, которых было уже около девятисот человек. И вдруг над этим сборищем всей дивизии, когда все обменивались впечатлениями и делились хлебом и табаком, раздался характерный вой шрапнели и неразорвавшийся снаряд грохнулся прямо среди нас. Послышалась команда: «По коням! Садись!»,— и, как осенью стая дроздов вдруг срывается с густых ветвей рябины и летит, шумя и щебеча, так помчались и мы, больше всего боясь оторваться от своей части. А шрапнель все неслась и неслась. На наше счастье, почти ни один снаряд не разорвался (и немецкие заводы подчас работают скверно), но они летели так низко, что прямо-таки прорезывали наши ряды. Несколько минут мы скакали через довольно большое озеро, лед трещал и расходился звездами, и я думаю, у всех была лишь одна молитва, чтобы он не подломился.

2

Когда мы проскакали озеро, стрельба стихла. Мы построили взводы и вернулись обратно. Там нас ожидал эскадрон, которому было поручено стеречь пленных. Оказывается, он так и не двинулся с места, боясь, что пленные разбегутся, и справедливо рассчитав, что стрелять будут по большей массе скорее, чем по меньшей. Мы стали считать потери — их не оказалось. Был убит только один пленный и легко поранена лошадь.

Однако нам приходилось призадуматься. Ведь нас обстреливали с фланга. А если у нас с фланга оказалась неприятельская артиллерия, то,

значит, мешок, в который мы попали, был очень глубок. У нас был шанс, что немцы не сумеют использовать его, потому что им надо отступать под давлением пехоты. Во всяком случае, надо было узнать, есть ли для нас отход и если да, то закрепить его за собою. Для этого были посланы разъезды, с одним из них поехал и я.

Ночь была темная, и дорога лишь смутно белела в чаще леса. Кругом было неспокойно. Шарахались лошади без всадников, далеко была слышна перестрелка, в кустах кто-то стонал, но нам было не до того, чтобы его подбирать. Неприятная вещь — ночная разведка в лесу. Так и кажется, что из-за каждого дерева на тебя направлен и сейчас ударит широкий штык.

Совсем неожиданно и сразу разрушив тревожность ожидания, послышался окрик: «Wer ist da?» — и раздалось несколько выстрелов. Моя винтовка была у меня в руках, я выстрелил не целясь, все равно ничего не было видно, то же сделали мои товарищи. Потом мы повернули и отскакали сажен двадцать назад.

«Все ли тут?» — спросил я. Послышались голоса: «Я тут»; «Я тоже тут, остальные не знаю». Я сделал перекличку — оказались все. Тогда мы стали обдумывать, что нам делать. Правда, нас обстреляли, но это легко могла оказаться не застава, а просто партия отсталых пехотинцев, которые теперь уже бегут сломя голову, спасаясь от нас. В этом предположении меня укрепляло еще то, что я слышал треск сучьев по лесу: посты не стали бы так шуметь.

Мы повернули и поехали по старому направлению. На том месте, где у нас была перестрелка, моя лошадь начала храпеть и жаться в сторону от дороги. Я соскочил и, пройдя несколько шагов, наткнулся на лежащее тело. Блеснув электрическим фонариком, я заметил расщепленную пулей каску под залитым кровью лицом, а дальше — синевато-серую шинель. Все было тихо. Мы оказались правы в своем предположении.

Мы проехали еще верст пять, как нам было указано, и, вернувшись, доложили, что дорога свободна. Тогда нас поставили на бивак, но какой это был бивак! Лошадей не расседлывали, отпустили только подпруги, люди спали в шинелях и сапогах. А наутро разъезды донесли, что германцы отступили и у нас на флангах наша пехота.

X

Третий день наступления начался смутно. Впереди все время слышалась перестрелка, колонны то и дело останавливались, повсюду посылались разъезды. И поэтому особенно радостно нам было увидеть выходящую из лесу пехоту, которой мы не встречали уже несколько дней. Оказалось, что мы, идя с севера, соединились с войсками, наступавшими с юга. Бесчисленные новые роты появлялись одна за другой, чтобы через несколько минут расплыться среди перелесков и бугров. И их присутствие доказывало, что погоня кончилась, что враг останавливается и подходит бой.

Наш разъезд должен был разведать путь для одной из наступавших рот и потом охранять ее фланг. По дороге мы встретились с драгунским разъездом, которому была дана почти та же задача, что и нам. Драгунский офицер был в разодранном сапоге — след немецкой пики,— он накануне ходил в атаку. Впрочем, это было единственное повреждение, полученное нашими, а немцев порубили человек восемь. Мы быстро установили положение противника, то есть ткнулись туда и сюда и были обстреляны, а потом спокойно поехали на фланг, подумывая о вареной картошке и чае.

Но едва мы выехали из леска, едва наш дозорный поднялся на бугор, из-за противоположного бугра грянул выстрел. Мы вернулись в лес, все было тихо. Дозорный опять показался из-за бугра, опять раздался выстрел, на этот раз пуля оцарапала ухо лошади. Мы спешились, вышли на опушку и стали наблюдать. Понемногу из-за холма начала показываться германская каска, затем фигура всадника — в бинокль я разглядел большие светлые усы. «Вот он, вот он, черт с рогом»,— шептали солдаты. Но офицер ждал, чтобы германцев показалось больше, что пользы стрелять по одному. Мы брали его на прицел, разглядывали в бинокль, гадали об его общественном положении.

Между тем приехал улан, оставленный для связи с пехотой, доложил, что она отходит. Офицер сам поехал к ней, а нам предоставил поступать с немцем по собственному усмотрению. Оставшись одни, мы прицелились кто с колена, кто положив винтовку на сучья, и я скомандовал: «Взвод, пли!» В тот же миг немец скрылся, очевидно, упал за бугор.

Больше никто не показывался. Через пять минут я послал двух улан посмотреть, убит ли он, и вдруг мы увидели целый немецкий эскадрон, приближающийся к нам под прикрытием бугров. Тут же без всякой команды поднялась ружейная трескотня. Люди выскакивали на бугор, откуда было лучше видно, ложились и стреляли безостановочно. Странно, нам даже в голову не приходило, что немцы могут пойти в атаку.

И действительно, они повернули и врассыпную бросились назад. Мы провожали их огнем и, когда они поднимались на возвышенности, давали правильные залпы. Радостно было смотреть, как тогда падали люди, лошади, а оставшиеся переходили в карьер, чтобы скорее добраться до ближайшей лощины. Между тем два улана привезли каску и винтовку того немца, по которому мы дали наш первый залп. Он был убит наповал.

* * *

Позади нас бой разгорался. Трещали винтовки, гремели орудийные разрывы, видно было, что там горячее дело Поэтому мы не удивились, когда влево от нас лопнула граната, взметнув облако снега и грязи, как бык, с размаха ткнувшийся рогами в землю. Мы только подумали, что поблизости лежит наша пехотная цепь. Снаряды рвались все ближе и ближе, все чаще и чаще, мы нисколько не беспокоились, и только подъехавший, чтобы увести нас, офицер сказал, что пехота уже отошла и это обстреливают именно нас. У солдат сразу просветлели лица. Маленькому разъезду очень лестно, когда на него тратят тяжелые снаряды.

По дороге мы увидали наших пехотинцев, угрюмо выходящих из лесу и собирающихся кучками. «Что, земляки, отходите?» — спросил их я. «Приказывают, а нам что? Хоть бы и не отходить... что мы позади потеряли»,— недовольно заворчали они. Но бородатый унтер рассудительно заявил: «Нет, это начальство правильно рассудило. Много очень германца-то. Без окопов не сдержать. А вот отойдем к окопам, так там видно будет». В это время с нашей стороны показалась еще одна рота. «Братцы, к нам резерв подходит, продержимся еще немного»,— крикнул пехотный офицер. «И то», — по-прежнему рассудительно сказал унтер и, скинув с плеча винтовку, зашагал обратно в лес. Зашагали и остальные.

В донесениях о таких случаях говорится: под давлением превосходных сил противника наши войска должны были отойти. Дальний тыл, прочтя, пугается, но я знаю, видел своими глазами, как просто и спокойно совершаются такие отходы.

Немного дальше мы встретили окруженного своим штабом командира пехотной дивизии, красивого седовласого старика с бледным, утомленным лицом. Уланы развздыхались: «Седой какой, в дедушки нам годится. Нам, молодым, война так, заместо игры, а вот старым плохо».

Сборный пункт был назначен в местечке С. По нему так и сыпались снаряды, но германцы, как всегда, избрали мишенью костел, и стоило только собраться на другом конце, чтобы опасность была сведена к минимуму.

Со всех сторон съезжались разъезды, подходили с позиций эскадроны. Пришедшие раньше варили картошку, кипятили чай. Но воспользоваться этим не пришлось, потому что нас построили в колонну и вывели на дорогу. Спустилась ночь, тихая, синяя, морозная. Зыбко мерцали снега. Звезды словно просвечивали сквозь стекло. Нам пришел приказ остановиться и ждать дальнейших распоряжений. И пять часов мы стояли на дороге.

Да, эта ночь была одной из самых трудных в моей жизни. Я ел хлеб со снегом, сухой он не пошел бы в горло; десятки раз бегал вдоль своего эскадрона, но это больше утомляло, чем согревало; пробовал греться около лошади, но ее шерсть была покрыта ледяными сосульками, а дыханье застывало, не выходя из ноздрей. Наконец, я перестал бороться с холодом, остановился, засунул руки в карманы, поднял воротник и с тупой напряженностью начал смотреть на чернеющую изгородь и дохлую лошадь, ясно сознавая, что замерзаю. Уже сквозь сон я услышал долгожданную команду: «К коням... садись». Мы проехали версты две и вошли в маленькую деревушку. Здесь можно было наконец согреться. Едва я очутился в халупе, как лег, не сняв ни винтовки, ни даже фуражки, и заснул мгновенно, словно сброшенный на дно самого глубокого, самого черного сна.

Я проснулся со страшной болью в глазах и шумом в голове оттого, что мои товарищи, пристегивая шашки, толкали меня ногами: «Тревога! Сейчас выезжаем». Как лунатик, ничего не соображая, я поднялся и вышел на

улицу. Там трещали пулеметы, люди садились на коней. Мы опять выехали на дорогу и пошли рысью. Мой сон продолжался ровно полчаса.

Мы ехали всю ночь на рысях, потому что нам надо было сделать до рассвета пятьдесят верст, чтобы оборонять местечко К. на узле шоссейных дорог. Что это была за ночь! Люди засыпали в седлах, и никем не управляемые лошади выбегали вперед, так что сплошь и рядом приходилось просыпаться в чужом эскадроне.

* * *

Низко нависшие ветви хлестали по глазам и сбрасывали с головы фуражку. Порой возникали галлюцинации. Так, во время одной из остановок я, глядя на крутой, запорошенный снегом откос, целые десять минут был уверен, что мы въехали в какой-то большой город, что передо мной трехэтажный дом с окнами, с балконами, с магазинами внизу. Несколько часов подряд мы скакали лесом. В тишине, разбиваемой только стуком копыт да храпом коней, явственно слышался отдаленный волчий вой. Иногда, чуя волка, лошади начинали дрожать всем телом и становились на дыбы. Эта ночь, этот лес, эта нескончаемая белая дорога казались мне сном, от которого невозможно проснуться. И все же чувство странного торжества переполняло мое сознание. Вот мы, такие голодные, измученные, замерзающие, только что выйдя из боя, едем навстречу новому бою, потому что нас принуждает к этому дух, который так же реален, как наше тело, только бесконечно сильнее его. И в такт лошадиной рыси в моем уме плясали ритмические строки:

Расцветает дух, как роза мая,
Как огонь, он разрывает тьму,
Тело, ничего не понимая,
Слепо повинуется ему.

Мне чудилось, что я чувствую душный аромат этой розы, вижу красные языки огня.

Часов в десять утра мы приехали в местечко К. Сперва стали на позицию, но вскоре, оставив караулы и дозорных, разместились по халупам. Я выпил стакан чаю, поел картошки и, так как все не мог согреться, влез на печь, покрылся валявшимся там рваным армяком и, содрогнувшись от наслаждения, сразу заснул. Что мне снилось, я не помню,

должно быть, что-нибудь очень сумбурное, потому что я не слишком удивился, проснувшись от страшного грохота и кучи посыпавшейся на меня известки. Халупа была полна дымом, который выходил в большую дыру в потолке прямо над моей головой. В дыру было видно бледное небо. «Ага, артиллерийский обстрел»,— подумал я, и вдруг страшная мысль пронизала мой мозг и в одно мгновенье сбросила меня с печи. Халупа была пуста, уланы ушли.

Тут я действительно испугался. Я не знал, с каких пор я один, куда направились мои товарищи, очевидно не заметившие, как я влез на печь, и в чьих руках было местечко. Я схватил винтовку, убедился, что она заряжена, и выбежал из дверей. Местечко пылало, снаряды рвались там и сям. Каждую минуту я ждал увидеть направленные на меня широкие штыки и услышать грозный окрик: «Halt». Но вот я услышал топот и, прежде чем успел приготовиться, увидел рыжих лошадей, уланский разъезд. Я подбежал к нему и попросил подвезти меня до полка. Трудно было в полном вооружении вспрыгивать на круп лошади, она не стояла, напуганная артиллерийскими разрывами, но зато какая радость была сознавать, что я уже не несчастный заблудившийся, а снова часть уланского полка, а следовательно, и всей русской армии.

Через час я уже был в своем эскадроне, сидел на своей лошади, рассказывал соседям по строю мое приключение. Оказалось, что неожиданно пришло приказание очистить местечко и отходить верст за двадцать на бивак. Наша пехота зашла наступавшим немцам во фланг, и чем дальше они продвинулись бы, тем хуже было бы для них. Бивак был отличный, халупы просторные, и первый раз за много дней мы увидели свою кухню и поели горячего супа.

XI

Как-то утром вахмистр сказал мне.

.... «Поручик Ч. едет в дальний разъезд, проситесь с ним».

Я послушался, получил согласие и через полчаса уже скакал по дороге рядом с офицером.

Тот на мой вопрос сообщил мне, что разъезд действительно дальний, но что, по всей вероятности, мы скоро наткнемся на немецкую заставу и

принуждены будем остановиться. Так и случилось. Проехав верст пять, головные дозоры заметили немецкие каски и, подкравшись пешком, насчитали человек тридцать.

Сейчас же позади нас была деревня, довольно благоустроенная, даже с жителями. Мы вернулись в нее, оставив наблюдение, вошли в крайнюю халупу и, конечно, поставили вариться традиционную во всех разъездах курицу. Это обыкновенно берет часа два, а я был в боевом настроении. Поэтому я попросил у офицера пять человек, чтобы попробовать пробраться в тыл немецкой заставе, пугнуть ее, может быть, захватить пленных.

Предприятие было небезопасное, потому что если я оказывался в тылу у немцев, то другие немцы оказывались в тылу у меня. .... Но предприятием заинтересовались два молодые жителя, и они обещали кружной дорогой подвести нас к самым немцам.

Мы все обдумали и поехали сперва задворками, потом низиной по грязному талому снегу. Жители шагали рядом с нами. .... Мы проехали ряд пустых окопов, великолепных, глубоких, выложенных мешками с песком.

.... В одиноком фольварке старик все звал нас есть яичницу, он выселялся и ликвидировал свое хозяйство, и на вопрос о немцах отвечал, что за озером с версту расстояния стоит очень много, очевидно несколько эскадронов, кавалерии.

Дальше мы увидали проволочное заграждение, одним концом упершееся в озеро, а другим уходящее .... Я оставил человека у проезда через проволочное заграждение, приказал ему стрелять в случае тревоги, с остальными отправился дальше.

Тяжело было ехать, оставляя за собой такую преграду с одним только проездом, который так легко было загородить рогатками. Это мог сделать любой немецкий разъезд, а они крутились поблизости, это говорили и жители, видевшие их полчаса тому назад. Но нам слишком хотелось обстрелять немецкую заставу.

* * *

Вот мы въехали в лес, мы знали, что он неширок и что сейчас за ним немцы. Они нас не ждут с этой стороны, наше появление произведет панику. Мы уже сняли винтовки, и вдруг в полной тишине раздался

отдаленный звук выстрела. Громовой залп испугал бы нас менее. Мы .... переглянулись. «Это у проволоки»,— сказал кто-то, мы догадались и без него. «Ну, братцы, залп по лесу и айда назад... авось поспеем!» — сказал я. Мы дали залп и повернули коней.

Вот это была скачка. Деревья и кусты проносились перед нами, комья снега так и летели из-под копыт, баба с ведром в руке у речки глядела на нас с разинутым от удивления ртом. Если бы мы нашли проезд задвинутым, мы бы погибли. Немецкая кавалерия переловила бы нас в полдня. Вот и проволочное заграждение — мы увидели его с холма. Проезд открыт, но наш улан уже на той стороне и стреляет куда-то влево. Мы взглянули туда и сразу пришпорили коней. Наперерез нам скакало десятка два немцев. От проволоки они были на том же расстоянии, что и мы. Они поняли, в чем наше спасение, и решили преградить нам путь.

«Пики к бою, шашки вон!» — скомандовал я, и мы продолжали нестись. Немцы орали и вертели пики над головой. Улан, бывший на той стороне, подцепил рогатку, чтобы загородить проезд, едва мы проскачем. И мы действительно проскакали. Я слышал тяжелый храп и стук копыт передовой немецкой лошади, видел всклокоченную бороду и грозно поднятую пику ее всадника. Опоздай я на пять секунд, мы бы сшиблись. Но я проскочил за проволоку, а он с размаху промчался мимо.

Рогатка, брошенная нашим уланом, легла криво, но немцы все же не решились выскочить за проволочное заграждение и стали спешиваться, чтобы открыть по нам стрельбу. Мы, разумеется, не стали их ждать и низиной вернулись обратно. Курица уже сварилась и была очень вкусна.

К вечеру к нам подъехал ротмистр со всем эскадроном. Наш наблюдательный разъезд развертывался в сторожевое охранение, и мы, как проработавшие весь день, остались на главной заставе.

* * *

Ночь прошла спокойно. Наутро запел телефон, и нам сообщили из штаба, что с наблюдательного пункта замечен немецкий разъезд, направляющийся в нашу сторону. Стоило посмотреть на наши лица, когда телефонист сообщил нам об этом. На них не дрогнул ни один мускул.

Наконец ротмистр заметил: «Следовало бы еще чаю скипятить». И только тогда мы рассмеялись, поняв всю неестественность нашего равнодушия.

Однако немецкий разъезд давал себя знать. Мы услыхали частую перестрелку слева, и от одного из постов приехал улан с донесением, что им пришлось отойти. «Пусть попробуют вернуться на старое место,— приказал ротмистр,— если не удастся, я пришлю подкрепление». Стрельба усилилась, и через час-другой посланный сообщил, что немцы отбиты и пост вернулся. «Ну и слава Богу, не к чему было поднимать такую бучу!» — последовала резолюция.

Во многих разъездах я участвовал, но не припомню такого тяжелого, как разъезд корнета князя К., в один из самых холодных мартовских дней. Была метель, и ветер дул прямо на нас. Обмерзшие хлопья снега резали лицо, как стеклом, и не позволяли открыть глаз. Сослепу мы въехали в разрушенное проволочное заграждение, и лошади начали прыгать и метаться, чувствуя уколы. Дорог не было, всюду лежала сплошная белая пелена. Лошади шли чуть не по брюхо в снегу, проваливаясь в ямы, натыкаясь на изгороди. И вдобавок нас каждую минуту могли обстрелять немцы. Мы проехали таким образом верст двадцать.

Под конец остановились. Взвод остался в деревне; вперед, чтобы обследовать соседние фольварки, было выслано два унтер-офицерских разъезда. Один из них повел я. Жители определенно говорили, что в моем фольварке немцы, но надо было в этом удостовериться. Местность была совершенно открытая, подступов никаких, и поэтому мы широкой цепью медленно направились прямо на фольварк. Шагах в восьмистах остановились и дали залп, потом другой. Немцы крепились, не стреляли, видимо, надеялись, что мы подъедем ближе. Тогда я решился на последний опыт — симуляцию бегства. По моей команде мы сразу повернули и помчались назад, как будто заметив врага. Если бы нас не обстреляли, мы бы без опаски поехали в фольварк. К счастью, нас обстреляли.

Другому разъезду менее посчастливилось. Он наткнулся на засаду, и у него убили лошадь. Потеря небольшая, но не тогда, когда находишься за двадцать верст от полка. Обратно мы ехали шагом, чтобы за нами мог поспеть пеший.

Метель улеглась, и наступил жестокий мороз. Я не догадался слезть и идти пешком, задремал и стал мерзнуть, а потом и замерзать. Было такое ощущение, что я голый сижу в ледяной воде. Я уже не дрожал, не стучал зубами, а только тихо и беспрерывно стонал..........

А мы еще не сразу нашли свой бивак, и с час стояли, коченея, перед халупами, где другие уланы распивали горячий чай,— нам было видно это в окна.

* * *

С этой ночи начались мои злоключения. Мы наступали, выбивали немцев из деревень, я тоже проделывал все это, но как во сне, то дрожа в ознобе, то сгорая в жару. Наконец, после одной ночи, в течение которой я, не выходя из халупы, совершил, по крайней мере, двадцать обходов и пятнадцать побегов из плена, я решил смерить температуру. Градусник показал 38,7.

Я пошел к полковому доктору. Доктор велел каждые два часа мерить температуру и лечь, а полк выступал. Я лег в халупе, где оставались два телефониста, но они помещались с телефоном в соседней комнате, и я был один. Днем в халупу зашел штаб казачьего полка, и командир угостил меня мадерой с бисквитами. Он через полчаса ушел, и я опять задремал. Меня разбудил один из телефонистов: «Германцы наступают, мы сейчас уезжаем!» Я спросил, где наш полк, они не знали. Я вышел во двор. Немецкий пулемет, его всегда можно узнать по звуку, стучал уже совсем близко. Я сел на лошадь и поехал прямо от него.

Темнело. Вскоре я наехал на гусарский бивак и решил здесь переночевать. Гусары напоили меня чаем, принесли мне соломы для спанья, одолжили даже какое-то одеяло. Я заснул, но в полночь проснулся, померил температуру, обнаружил у себя 39,1 и почему-то решил, что мне непременно надо отыскать свой полк. Тихонько встал, вышел, никого не будя, нашел свою лошадь и поскакал по дороге, сам не зная куда.

Это была фантастическая ночь. Я пел, кричал, нелепо болтался в седле, для развлечения брал канавы и барьеры. Раз наскочил на наше сторожевое охранение и горячо убеждал солдат поста напасть на немцев. Встретил двух отбившихся от своей части конноартиллеристов. Они не сообразили, что я — в жару, заразились моим весельем и с

полчаса скакали рядом со мной, оглашая воздух криками. Потом отстали. Наутро я совершенно неожиданно вернулся к гусарам. Они приняли во мне большое участие и очень выговаривали мне мою ночную эскападу.

Весь следующий день я употребил на скитанья по штабам: сперва — дивизии, потом бригады и, наконец,— полка. И еще через день уже лежал на подводе, которая везла меня к ближайшей станции железной дороги. Я ехал на излечение в Петроград.

....

Целый месяц после этого мне пришлось пролежать в постели.

XII

Теперь я хочу рассказать о самом знаменательном дне моей жизни, о бое шестого июля 1915 г. Это случилось уже на другом, совсем новом для нас фронте. До того были у нас и перестрелки, и разъезды, но память о них тускнеет по сравнению с тем днем.

Накануне зарядил затяжной дождь. Каждый раз, как надо было выходить из домов, он усиливался. Так усилился он и тогда, когда поздно вечером нас повели сменять сидевшую в окопах армейскую кавалерию.

Дорога шла лесом, тропинка была узенькая, тьма полная, не видно вытянутой руки. Если хоть на минуту отстать, приходилось скакать и натыкаться на обвисшие ветви и стволы, пока наконец не наскочишь на круп передних коней. Не один глаз был подбит, и не одно лицо расцарапано в кровь.

На поляне — мы только ощупью определили, что это поляна,— мы спешились. Здесь должны были остаться коноводы, остальные — идти в окоп. Пошли, но как? Вытянувшись гуськом и крепко вцепившись друг другу в плечи. Иногда кто-нибудь, наткнувшись на пень или провалившись в канаву, отрывался, тогда задние ожесточенно толкали его вперед, и он бежал и окликал передних, беспомощно хватая руками мрак. Мы шли болотом и ругали за это проводника, но он был не виноват, наш путь действительно лежал через болото.

Наконец, пройдя версты три, мы уткнулись в бугор, из которого, к нашему удивлению, начали вылезать люди. Это и были те кавалеристы, которых мы пришли сменить.

Мы их спросили, каково им было сидеть. Озлобленные дождем, они молчали, и только один проворчал себе под нос: «А вот сами увидите, стреляет немец, должно быть, утром в атаку пойдет». «Типун тебе на язык,— подумали мы,— в такую погоду да еще атака!»

Собственно говоря, окопа не было. По фронту тянулся острый хребет невысокого холма, и в нем был пробит ряд ячеек на одного-двух человек с бойницами для стрельбы. Мы забрались в эти ячейки, дали несколько залпов в сторону неприятеля и, установив наблюденье, улеглись подремать до рассвета. Чуть стало светать, нас разбудили: неприятель делает перебежку и окапывается, открыть частый огонь.

Я взглянул в бойницу. Было серо, и дождь лил по-прежнему. Шагах в двух-трех <?> передо мной копошился австриец, словно крот, на глазах уходящий в землю. Я выстрелил. Он присел в уже выкопанную яму и взмахнул лопатой, чтобы показать, что я промахнулся. Через минуту он высунулся, я выстрелил снова и увидел новый взмах лопаты. Но после третьего выстрела уже ни он, ни его лопата больше не показались.

Другие австрийцы тем временем уже успели закопаться и ожесточенно обстреливали нас. Я переполз в ячейку, где сидел наш корнет. Мы стали обсуждать создавшееся положение. Нас было полтора эскадрона, то есть человек восемьдесят, австрийцев раз в пять больше. Неизвестно, могли бы мы удержаться в случае атаки.

Так мы болтали, тщетно пытаясь закурить подмоченные папиросы, когда наше внимание привлек какой-то странный звук, от которого вздрагивал наш холм, словно гигантским молотом ударяли прямо по земле. Я начал выглядывать в бойницу не слишком свободно, потому что в нее то и дело влетали пули, и наконец заметил на половине расстояния между нами и австрийцами разрывы тяжелых снарядов. «Ура! — крикнул я,— это наша артиллерия кроет по их окопам».

В тот же миг к нам просунулось нахмуренное лицо ротмистра. «Ничего подобного, — сказал он,— это их недолеты, они палят по нам. Сейчас бросятся в атаку. Нас обошли с левого фланга. Отходить к коням!»

Корнет и я, как от толчка пружины, вылетели из окопа. В нашем распоряжении была минута или две, а надо было предупредить об отходе всех людей и послать в соседний эскадрон. Я побежал вдоль окопов, крича: «К коням... живо! Нас обходят!» Люди выскакивали, расстегнутые, ошеломленные, таща под мышкой лопаты и шашки, которые они было сбросили в окопе. Когда все вышли, я выглянул в бойницу и до нелепости близко увидел перед собой озабоченную физиономию усатого австрийца, а за ним еще других. Я выстрелил, не целясь, и со всех ног бросился догонять моих товарищей.

* * *

Нам надо было пробежать с версту по совершенно открытому полю, превратившемуся в болото от непрерывного дождя. Дальше был бугор, какие-то сараи, начинался редкий лес. Там можно было бы и отстреливаться, и продолжать отход, судя по обстоятельствам. Теперь же, ввиду поминутно стреляющего врага, оставалось только бежать, и потом как можно скорее.

Я нагнал моих товарищей сейчас же за бугром. Они уже не могли бежать и под градом пуль и снарядов шли тихим шагом, словно прогуливаясь. Особенно страшно было видеть ротмистра, который каждую минуту привычным жестом снимал пенсне и аккуратно протирал сыреющие стекла совсем мокрым платком.

За сараем я заметил корчившегося на земле улана. «Ты ранен?» — спросил я его. «Болен... живот схватило!» — простонал он в ответ.

«Вот еще, нашел время болеть! — начальническим тоном закричал я.— Беги скорей, тебя австрийцы приколют!» Он сорвался с места и побежал: после очень благодарил меня, но через два дня его увезли в холере.

Вскоре на бугре показались и австрийцы. Они шли сзади шагах в двухстах и то стреляли, то махали нам руками, приглашая сдаться. Подходить ближе они боялись, потому что среди нас рвались снаряды их артиллерии. Мы отстреливались через плечо, не замедляя шага.

Слева от меня из кустов послышался плачущий крик: «Уланы, братцы, помогите!» Я обернулся и увидел завязший пулемет, при котором остался

только один человек из команды да офицер. «Возьмите кто-нибудь пулемет»,— приказал ротмистр. Конец его слов был заглушен громовым разрывом снаряда, упавшего среди нас. Все невольно прибавили шаг.

Однако в моих ушах все стояла жалоба пулеметного офицера, и я, топнув ногой и обругав себя за трусость, быстро вернулся и схватился за лямку. Мне не пришлось в этом раскаяться, потому что в минуту большой опасности нужнее всего какое-нибудь занятие. Солдат-пулеметчик оказался очень обстоятельным. Он болтал без перерыва, выбирая дорогу, вытаскивая свою машину из ям и отцепляя от корней деревьев. Не менее оживленно щебетал и я. Один раз снаряд грохнулся шагах в пяти от нас. Мы невольно остановились, ожидая разрыва. Я для чего-то стал считать — раз, два, три. Когда я дошел до пяти, я сообразил, что разрыва не будет. «Ничего на этот раз, везем дальше... что задерживаться?» — радостно объявил мне пулеметчик,— и мы продолжали свой путь.

Кругом было не так благополучно. Люди падали, одни ползли, другие замирали на месте. Я заметил шагах в ста группу солдат, тащивших кого-то, но не мог бросить пулемета, чтобы поспешить им на помощь. Уже потом мне сказали, что это был раненый офицер нашего эскадрона. У него были прострелены нога и голова. Когда его подхватили, австрийцы открыли особенно ожесточенный огонь и переранили нескольких несущих. Тогда офицер потребовал, чтобы его положили на землю, поцеловал и перекрестил бывших при нем солдат и решительно приказал им спасаться. Нам всем было его жаль до слез. Он последний со своим взводом прикрывал общий отход. К счастью, теперь мы знаем, что он в плену и поправляется.

XIII

Наконец мы достигли леса и увидели своих коней. Пули летали и здесь; один из коноводов даже был ранен, но мы все вздохнули свободно, минут десять пролежали в цепи, дожидаясь, пока уйдут другие эскадроны, и лишь тогда сели на коней.

Отходили мелкой рысью, грозя атакой наступавшему врагу. Наш тыльный дозорный ухитрился даже привезти пленного. Он ехал обо-

рачиваясь, как ему и полагалось, и, заметив между стволов австрийца с винтовкой наперевес, бросился на него с обнаженной шашкой. Австриец уронил оружие и поднял руки. Улан заставил его подобрать винтовку — не пропадать же, денег стоит — и, схватив за шиворот и пониже спины, перекинул поперек седла, как овцу. Встречным он с гордостью объявил: «Вот, георгиевского кавалера в плен взял, везу в штаб». Действительно, австриец был украшен каким-то крестом.

Только подойдя к деревне З., мы выпутались из австрийского леска и возобновили связь с соседями. Послали сообщить пехоте, что неприятель наступает превосходными силами, и решили держаться во что бы то ни стало до прибытия подкрепления. Цепь расположилась вдоль кладбища, перед ржаным полем, пулемет мы взгромоздили на дерево. Мы никого не видели и стреляли прямо перед собой в колеблющуюся рожь, поставив прицел на две тысячи шагов и постепенно опуская, но наши разъезды, видевшие австрийцев, выходящих из лесу, утверждали, что наш огонь нанес им большие потери. Пули все время ложились возле нас и за нами, выбрасывая столбики земли. Один из таких столбиков засорил мне глаз, который мне после долго пришлось протирать.

Вечерело. Мы весь день ничего не ели и с тоской ждали новой атаки впятеро сильнейшего врага. Особенно удручающе действовала время от времени повторяющаяся команда: «Опустить прицел на сто!» Это значило, что на столько же шагов приблизился к нам неприятель.

* * *

Оборачиваясь, я позади себя сквозь сетку мелкого дождя и наступающие сумерки заметил что-то странное, как будто низко по земле стелилась туча. Или это был кустарник, но тогда почему же он оказывался все ближе и ближе? Я поделился своим открытием с соседями. Они тоже недоумевали. Наконец один дальнозоркий крикнул: «Это наша пехота идет!» — и даже вскочил от радостного волнения. Вскочили и мы, то сомневаясь, то веря и совсем забыв про пули.

Вскоре сомненьям не было места. Нас захлестнула толпа невысоких, коренастых бородачей, и мы услыхали ободряющие слова: «Что, братики, или туго пришлось? Ничего, сейчас все устроим!» Они бежали мерным шагом (так пробежали десять верст) и нисколько не запыхались, на бегу

свертывали цигарки, делились хлебом, болтали. Чувствовалось, что ходьба для них естественное состояние. Как я их любил в тот миг, как восхищался их грозной мощью.

Вот уж они скрылись во ржи, и я услышал чей-то звонкий голос, кричавший: «Мирон, ты фланг-то загибай австрийцам!» — «Ладно, загнем»,— был ответ. И сейчас же грянула пальба пятисот винтовок. Они увидели врага.

Мы послали за коноводами и собрались уходить, но я был назначен быть для связи с пехотой. Когда я приближался к их цепи, я услышал громовое «ура». Но оно как-то сразу оборвалось, и раздались отдельные крики: «Лови, держи! Ай, уйдет!» — совсем как при уличном скандале. Неведомый мне Мирон оказался на высоте положения. Половина нашей пехоты под прикрытием огня остальных зашла австрийцам во фланг и отрезала полтора их батальона. Те сотнями бросали оружие и покорно шли в указанное им место, к группе старых дубов. Всего в этот вечер было захвачено восемьсот человек и, кроме того, возвращены утерянные вначале позиции.

Вечером, после уборки лошадей, мы сошлись с вернувшимися пехотинцами. «Спасибо, братцы, — говорили мы, — без вас бы нам была крышка!» — «Не на чем, — отвечали они, — как вы до нас-то держались? Ишь ведь, их сколько было! Счастье ваше, что не немцы, а австрийцы». Мы согласились, что это действительно было счастье.

XIV

В те дни заканчивался наш летний отход. Мы отступали уже не от невозможности держаться, а по приказам, получаемым из штабов. Иногда случалось, что после дня ожесточенного боя отступали обе стороны и кавалерии потом приходилось восстановлять связь с неприятелем.

Так случилось и в тот великолепный, немного пасмурный, но теплый и благоуханный вечер, когда мы поседлали по тревоге и крупной рысью, порой галопом, помчались неизвестно куда, мимо полей, засеянных клевером, мимо хмелевых беседок и затихающих ульев, сквозь редкий сосновый лес, сквозь дикое, кочковатое болото. Бог знает как разнесся слух, что мы должны идти в атаку. Впереди

слышался шум боя. Мы спрашивали встречных пехотинцев, кто наступает, немцы или мы, но их ответы заглушались стуком копыт и бряцаньем оружия.

Мы спешились в перелеске, где уже рвались немецкие снаряды. Теперь мы знали, что нас прислали прикрывать отход нашей пехоты. Целые роты в полном порядке выходили из лесу, чтобы построиться на поляне позади нас. Офицеры старательно выкликали: «В ногу, в ногу!» Ждали командира дивизии, и все подтянулись, лихо заломили фуражки набекрень и даже выровнялись, совсем как на плацу.

В это время наш разъезд привез известие, что мимо нас, верстах в трех, дефилирует немецкая пехота в составе одной бригады. Нами овладело радостное волнение. Пехота в походном порядке, не подозревающая о присутствии неприятельской кавалерии, — ее добыча. Мы видели, как наш командир подъехал к начальнику дивизии, офицеры говорили, что надо, чтобы пехота поддержала нас ружейным и пулеметным огнем. Однако из этих переговоров ничего не вышло. У начальника дивизии был категорический приказ отходить, и он не мог нас поддержать.

Пехота ушла, немцев не было. Темнело. Мы шагом поехали на бивак и по дороге поджигали скирды хлеба, чтобы не оставался врагу. Жалко было подносить огонь к этим золотым грудам, жалко было топтать конями хлеб на корню, он никак не хотел загораться, но так весело было скакать потом, когда по всему полю, докуда хватал взгляд, зашевелились, замахали красными рукавами высокие костры, словно ослепительные китайские драконы, и послышалось иератическое бормотанье раздуваемого ветром огня.

* * *

Весь конец этого лета для меня связан с воспоминанием об освобожденном и торжествующем пламени. Мы прикрывали общий отход и перед носом немцев поджигали все, что могло гореть: хлеб, сараи, пустые деревни, помещичьи усадьбы и дворцы. Да, и дворцы. Однажды нас перебросили верст за тридцать на берег Буга. Там совсем не было наших войск, но не было и немцев, а они могли появиться каждую минуту.

Мы с восхищением обозревали еще не затронутую войной местность. Те из нас, что были прожорливее других, отправились поужинать у беженцев гусей, поросят и вкусный домашний сыр; те, что были почистоплотнее, принялись купаться на отличной песчаной отмели. Последние прогадали. Им пришлось спасаться нагишом, таща в руках свою одежду, под выстрелами неожиданно показавшегося на той стороне немецкого разъезда.

На берег были высланы цепь стрелков и разъезд на случай, если понадобится переправляться. С лесистого пригорка нам отлично было видно деревню на том берегу реки. Перед ней уже кружили наши разъезды. Но вот оттуда послышалась частая стрельба, и всадники карьером понеслись назад через реку, так что вода поднялась белым клубом от напора лошадей. Тот край деревни был занят, нам следовало узнать, не свободен ли этот край.

Мы нашли брод, обозначенный вехами, и переехали реку, только чуть замочив подошвы сапог. Рассыпались цепью и медленно поехали вперед, осматривая каждую ложбину и сарай. Передо мной в тенистом парке возвышался великолепный помещичий дом с башнями, верандой, громадными венецианскими окнами. Я подъехал и из добросовестности, а еще больше из любопытства, решил осмотреть его внутри.

Хорошо было в этом доме! На блестящем паркете залы я сделал тур вальса со стулом — меня никто не мог видеть,— в маленькой гостиной посидел на мягком кресле и погладил шкуру белого медведя, в кабинете оторвал уголок кисеи, закрывавшей картину, какую-то Сусанну со старцами, старинной работы. На мгновенье у меня мелькнула мысль взять эту и другие картины с собой. Без подрамников они заняли бы немного места. Но я не мог угадать планов высшего начальства; может быть, эту местность решено ни за что не отдавать врагу.

Что бы тогда подумал об уланах вернувшийся хозяин? Я вышел, сорвал в саду яблоко и, жуя его, поехал дальше.

Нас не обстреляли, и мы вернулись назад. А через несколько часов я увидел большое розовое зарево и узнал, что это подожгли тот самый помещичий дом, потому что он заслонял обстрел из наших окопов. Вот когда я горько пожалел о своей щепетильности относительно картин.

XV

Ночь была тревожная, — все время выстрелы, порою треск пулемета. Часа в два меня вытащили из риги, где я спал, зарывшись в снопы, и сказали, что пора идти в окоп. В нашей смене было двенадцать человек под командой подпрапорщика. Окоп был расположен на нижнем склоне холма, спускавшегося к реке. Он был неплохо сделан, но зато никакого отхода, бежать приходилось в гору по открытой местности. Весь вопрос заключался в том, в эту или следующую ночь немцы пойдут в атаку. Встретившийся ротмистр посоветовал не принимать штыкового боя, но про себя мы решили обратное. Все равно уйти не представлялось возможности.

Когда рассвело, мы уже сидели в окопе. От нас было прекрасно видно, как на том берегу немцы делали перебежку, но не наступали, а только окапывались. Мы стреляли, но довольно вяло, потому что они были очень далеко. Вдруг позади нас рявкнула пушка,— мы даже вздрогнули от неожиданности,— и снаряд, перелетев через наши головы, разорвался в самом неприятельском окопе. Немцы держались стойко. Только после десятого снаряда, пущенного с тою же меткостью, мы увидели серые фигуры, со всех ног бежавшие к ближнему лесу, и белые дымки шрапнелей над ними. Их было около сотни, но спаслось едва ли человек двадцать.

За такими занятиями мы скоротали время до смены и уходили весело, рысью и по одному, потому что какой-то хитрый немец, очевидно отличный стрелок, забрался нам во фланг и, не видимый нами, стрелял, как только кто-нибудь выходил на открытое место. Одному прострелил накидку, другому поцарапал шею. «Ишь, ловкий!» — без всякой злобы говорили о нем солдаты. А пожилой почтенный подпрапорщик на бегу приговаривал: «Ну и веселые немцы! Старичка и того расшевелили, бегать заставили».

На ночь мы опять пошли в окопы. Немцы узнали, что здесь только кавалерия, и решили во что бы то ни стало форсировать переправу до прихода нашей пехоты. Мы заняли каждый свое место и, в ожидании утренней атаки, задремали, кто стоя, кто присев на корточки.

Песок со стены окопа сыпался нам за ворот, ноги затекали, залетавшие время от времени к нам пули жужжали, как большие, опасные

насекомые, а мы спали, спали слаще и крепче, чем на самых мягких постелях. И вещи вспоминались все такие милые — читанные в детстве книги, морские пляжи с гудящими раковинами, голубые гиацинты. Самые трогательные и счастливые часы — это часы перед битвой.

Караульный пробежал по окопу, нарочно по ногам спящих и, для верности толкая их прикладом, повторял: «Тревога, тревога». Через несколько мгновений, как бы для того, чтобы окончательно разбудить спящих, пронесся шепот: «Секреты бегут». Несколько минут трудно было что-нибудь понять. Стучали пулеметы, мы стреляли без перерыва по светлой полосе воды, и звук наших выстрелов сливался со страшно участившимся жужжаньем немецких пуль. Мало-помалу все стало стихать, послышалась команда: «Не стрелять»,— и мы поняли, что отбили первую атаку.

После первой минуты торжества мы призадумались, что будет дальше. Первая атака обыкновенно бывает пробная, по силе нашего огня немцы определили, сколько нас, и вторая атака, конечно, будет решительная, они могут выставить пять человек против одного. Отхода нет, нам приказано держаться, что-то останется от эскадрона?

Поглощенный этими мыслями, я вдруг заметил маленькую фигуру в серой шинели, наклонившуюся над окопом и затем легко спрыгнувшую вниз. В одну минуту окоп уже кишел людьми, как городская площадь в базарный день.

— Пехота? — спросил я.

— Пехота. Вас сменять,— ответило сразу два десятка голосов.

— А сколько вас?

— Дивизия.

Я не выдержал и начал хохотать по-настоящему, от души. Так вот что ожидает немцев, сейчас пойдущих в атаку, чтобы раздавить одинединственный несчастный эскадрон. Ведь их теперь переловят голыми руками. Я отдал бы год жизни, чтобы остаться и посмотреть на все, что произойдет. Но надо было уходить.

Мы уже садились на коней, когда услыхали частую немецкую пальбу, возвещавшую атаку. С нашей стороны было зловещее молчание, и мы только многозначительно переглянулись.

XVI

Корпус, к которому мы были прикомандированы, отходил. Наш полк отправили посмотреть, не хотят ли немцы перерезать дорогу, и если да, то помешать им в этом. Работа чисто кавалерийская.

Мы на рысях пришли в деревушку, расположенную на единственной проходимой в той местности дороге, и остановились, потому что головной разъезд обнаружил в лесу накапливающихся немцев. Наш эскадрон спешился и залег в канаве по обе стороны дороги.

Вот из черневшего вдали леса выехало несколько всадников в касках. Мы решили подпустить их совсем близко, но наш секрет, выдвинутый вперед, первый открыл по ним пальбу, свалил одного человека с конем, другие ускакали. Опять стало тихо и спокойно, как бывает только в теплые дни ранней осени.

Перед этим мы больше недели стояли в резерве, и неудивительно, что у нас играли косточки. Четыре унтер-офицера,— я в том числе,— выпросили у поручика разрешение зайти болотом, а потом опушкой леса во фланг германцам и, если удастся, немного их пугнуть. Получили предостережение не утонуть в болоте и отправились.

С кочки на кочку, от куста к кусту, из канавы в канаву мы наконец, не замеченные немцами, добрались до перелеска, шагах в пятидесяти от опушки. Дальше, как широкий светлый коридор, тянулась низко выкошенная поляна. По нашим соображениям, в перелеске непременно должны были стоять немецкие посты, но мы положились на воинское счастье и, согнувшись, по одному быстро перебежали поляну.

Забравшись в самую чащу, передохнули и прислушались. Лес был полон неясных шорохов. Шумели листья, щебетали птицы, где-то лилась вода. Понемногу стали выделяться и другие звуки, стук копыта, роющего землю, звон шашки, человеческие голоса. Мы крались, как мальчишки, играющие в героев Майн-Рида или Густава Эмара, друг за другом, на четвереньках, останавливались каждые десять шагов. Теперь мы были уже совсем в неприятельском расположении. Голоса слышались не только впереди, но и позади нас. Но мы еще никого не видели.

Не скрою, что мне было страшно тем страхом, который лишь с трудом побеждается волей. Хуже всего было то, что я никак не мог

представить себе германцев в их естественном виде. Мне казалось, что они то, как карлики, выглядывают из-под кустов злыми крысиными глазками, то огромные, как колокольни, и страшные, как полинезийские боги, неслышно раздвигают верхи деревьев и следят за нами с недоброй усмешкой. А в последний миг крикнут: «А, а, а!»— как взрослые, пугающие детей. Я с надеждой взглядывал на свой штык, как на талисман против колдовства, и думал, что сперва всажу его в карлика ли, в великана, а потом пусть будет что будет.

* * *

Вдруг ползший передо мной остановился, и я с размаху ткнулся в широкие и грязные подошвы его сапог. По его лихорадочным движениям я понял, что он высвобождает из ветвей свою винтовку. А за его плечом на небольшой темной поляне, шагах в пятнадцати, не дальше, я увидел немцев. Их было двое, очевидно случайно отошедших от своих: один — в мягкой шапочке, другой — в каске, покрытой суконным чехлом. Они рассматривали какую-то вещицу, монету или часы, держа ее в руках. Тот, что в каске, стоял ко мне лицом, и я запомнил его рыжую бороду и морщинистое лицо прусского крестьянина. Другой стоял ко мне спиной, показывал сутуловатые плечи. Оба держали у плеча винтовки с примкнутыми штыками.

Только на охоте за крупными зверьми, леопардами, буйволами, я испытал то же чувство, когда тревога за себя вдруг сменялась боязнью упустить великолепную добычу. Лежа, я подтянул свою винтовку, отвел предохранитель, прицелился в самую середину туловища того, кто был в каске, и нажал спуск. Выстрел оглушительно пронесся по лесу. Немец опрокинулся на спину, как от сильного толчка в грудь, не крикнув, не взмахнув руками, а его товарищ, как будто только того и дожидался, сразу согнулся и, как кошка, бросился в лес. Над моим ухом раздались еще два выстрела, и он упал в кусты, так что видны были только его ноги.

«А теперь айда!» — шепнул взводный с веселым и взволнованным лицом, и мы побежали. Лес вокруг нас ожил. Гремели выстрелы, скакали кони, слышалась команда на немецком языке. Мы добежали до опушки, но не в том месте, откуда пришли, а много ближе к врагу. Надо

было перебежать к перелеску, где, по всей вероятности, стояли неприятельские посты.

После короткого совещания было решено, что я пойду первым, и если буду ранен, то мои товарищи, которые бегали гораздо лучше меня, подхватят меня и унесут. Я наметил себе на полпути стог сена и добрался до него без помехи. Дальше приходилось идти прямо на предполагаемого врага. Я пошел, согнувшись и ожидая каждую минуту получить пулю вроде той, которую сам только что послал неудачливому немцу. И прямо перед собой в перелеске я увидел лисицу. Пушистый красновато-бурый зверь грациозно и неторопливо скользил между стволов. Не часто в жизни мне приходилось испытывать такую чистую, простую и сильную радость. Где есть лисица, там наверное нет людей. Путь к нашему отступлению свободен.

* * *

Когда мы вернулись к своим, оказалось, что мы были в отсутствии не более двух часов. Летние дни длинны, и мы, отдохнув и рассказав о своих приключениях, решили пойти снять седло с убитой немецкой лошади.

Она лежала на дороге перед самой опушкой. С нашей стороны к ней довольно близко подходили кусты. Таким образом, прикрытие было и у нас, и у неприятеля.

Едва высунувшись из кустов, мы увидели немца, нагнувшегося над трупом лошади. Он уже почти отцепил седло, за которым мы пришли. Мы дали по нему залп, и он, бросив все, поспешно скрылся в лесу. Оттуда тоже загремели выстрелы.

Мы залегли и принялись обстреливать опушку. Если бы немцы ушли оттуда, седло и все, что в кобурах при седле, дешевые сигареты и коньяк, все было бы наше. Но немцы не уходили. Наоборот, они, очевидно, решили, что мы перешли в общее наступление, и стреляли без передышки. Мы пробовали зайти им во фланг, чтобы отвлечь их внимание от дороги, они послали туда резервы и продолжали палить. Я думаю, что, если бы они знали, что мы пришли только за седлом, они с радостью отдали бы нам его, чтобы не затевать такой истории. Наконец, мы плюнули и ушли.

Однако наше мальчишество оказалось очень для нас выгодным. На рассвете следующего дня, когда можно было ждать атаки и когда весь полк ушел, оставив один наш взвод прикрывать общий отход, немцы не тронулись с места, может быть ожидая нашего нападения, и мы перед самым их носом беспрепятственно подожгли деревню, домов в восемьдесят, по крайней мере. А потом весело отступали, поджигая деревни, стога сена и мосты, изредка перестреливаясь с наседавшими на нас врагами и гоняя перед собою отбившийся от гуртов скот. В благословенной кавалерийской службе даже отступление может быть веселым.

XVII

На этот раз мы отступали недолго. Неожиданно пришел приказ остановиться, и мы растрепали ружейным огнем не один зарвавшийся немецкий разъезд. Тем временем наша пехота, неуклонно продвигаясь, отрезала передовые немецкие части. Они спохватились слишком поздно. Одни выскочили, побросав орудия и пулеметы, другие сдались, а две роты, никем не замеченные, блуждали в лесу, мечтая хоть ночью поодиночке выбраться из нашего кольца.

Вот как мы их обнаружили. Мы были разбросаны эскадронами в лесу в виде резерва пехоты. Наш эскадрон стоял на большой поляне у дома лесника. Офицеры сидели в доме, солдаты варили картошку, кипятили чай. Настроение у всех было самое идиллическое.

Я держал в руках стакан чаю и глядел, как откупоривают коробку консервов, как вдруг услышал оглушительный пушечный выстрел. «Совсем, как на войне»,— пошутил я, думая, что это выехала на позицию наша батарея. А хохол, эскадронный забавник,— в каждой части есть свои забавники — бросился на спину и заболтал руками и ногами, представляя крайнюю степень испуга. Однако вслед за выстрелом послышался дребезжащий визг, как от катящихся по снегу саней, и шагах в тридцати от нас, в лесу, разорвалась шрапнель. Еще выстрел, и снаряд пронесся над нашими головами.

И в то же время в лесу затрещали винтовки и вокруг нас засвистали пули. Офицер скомандовал: «К коням»,— но испуганные

лошади уже метались по поляне или мчались по дороге. Я с трудом поймал свою, но долго не мог на нее вскарабкаться, потому что она оказалась на пригорке, а я — в лощине. Она дрожала всем телом, но стояла смирно, зная, что я не отпущу ее прежде, чем не вспрыгну в седло. Эти минуты мне представляются дурным сном. Свистят пули, лопаются шрапнели, мои товарищи проносятся один за другим, скрываясь за поворотом, поляна уже почти пуста, а я все скачу на одной ноге, тщетно пытаясь сунуть в стремя другую. Наконец я решился, отпустил поводья и, когда лошадь рванулась, одним гигантским прыжком оказался у нее на спине.

Скача, я все высматривал командира эскадрона. Его не было. Вот уже передние ряды, вот поручик, кричащий: «В порядке, в порядке». Я подскакиваю и докладываю: «Штаб-ротмистра нет, ваше благородие!» Он останавливается и отвечает: «Поезжайте найдите его».

Едва я проехал несколько шагов назад, я увидел нашего огромного и грузного штаб-ротмистра верхом на маленькой гнеденькой лошаденке трубача, которая подгибалась под его тяжестью и трусила, как крыса. Трубач бежал рядом, держась за стремя. Оказывается, лошадь штаб-ротмистра умчалась при первых же выстрелах и он сел на первую ему предложенную.

Мы отъехали с версту, остановились и начали догадываться, в чем дело. Вряд ли бы нам удалось догадаться, если бы приехавший из штаба бригады офицер не рассказал следующего: они стояли в лесу без всякого прикрытия, когда перед ними неожиданно прошла рота германцев. И те, и другие отлично видели друг друга, но не открывали враждебных действий: наши — потому, что их было слишком мало, немцы же были совершенно подавлены своим тяжелым положением. Немедленно артиллерии был дан приказ стрелять по лесу. И так как немцы прятались всего шагах в ста от нас, то неудивительно, что снаряды летали и в нас.

Сейчас же были отправлены разъезды ловить разбредшихся в лесу немцев. Они сдавались без боя, и только самые смелые пытались бежать и вязли в болоте. К вечеру мы совсем очистили от них лес и легли спать со спокойной совестью, не опасаясь никаких неожиданностей.

* * *

Через несколько дней у нас была большая радость. Пришли два наши улана, полгода тому назад захваченные в плен. Они содержались в лагере внутри Германии. Задумав бежать, притворились больными, попали в госпиталь, а там доктор, германский подданный, но иностранного происхождения, достал для них карту и компас. Спустились по трубе, перелезли через стену и сорок дней шли с боем по Германии.

Да, с боем. Около границы какой-то доброжелательный житель указал им, где русские при отступлении зарыли большой запас винтовок и патронов. К этому времени их было уже человек двенадцать. Из глубоких рвов, заброшенных риг, лесных ям к ним присоединился еще десяток ночных обитателей современной Германии — бежавших пленных. Они выкопали оружие и опять почувствовали себя солдатами. Выбрали взводного, нашего улана, старшего унтер-офицера, и пошли в порядке, высылая дозорных и вступая в бой с немецкими обозными и патрулями.

У Немана на них наткнулся маршевый немецкий батальон и после ожесточенной перестрелки почти окружил их. Тогда они бросились в реку и переплыли ее, только потеряли восемь винтовок и очень этого стыдились. Все-таки, подходя к нашим позициям, опрокинули немецкую заставу, преграждавшую им путь, и пробились в полном составе.

Слушая, я все время внимательно смотрел на рассказчика. Он был высокий, стройный и сильный, с нежными и правильными чертами лица, с твердым взглядом и закрученными русыми усами. Говорил спокойно, без рисовки, пушкински ясным языком, с солдатской вежливостью отвечая на вопросы: «Так точно, никак нет». И я думал, как было бы дико видеть этого человека за плугом или у рычага заводской машины. Есть люди, рожденные только для войны, и в России таких людей не меньше, чем где бы то ни было. И если им нечего делать «в гражданстве северной державы», то они незаменимы «в ее воинственной судьбе», а поэт знал, что это — одно и то же.

17. ЧЕРНЫЙ ГЕНЕРАЛ

Наталье Сергеевне Гончаровой

Правду сказать, отец его был купцом. Но никто не осмелился вспомнить об этом, когда, по возвращении из Кембриджа, он был принят самим вице-королем.

На артистических вечерах он появлялся в таких ярких одеждах, так мелодично декламировал отрывки из «Махабхараты», так искренне ненавидел все европейское, что его успех в Англии был обеспечен, и не одно рекомендательное письмо от престарелых леди увез он, отправляясь во втором классе в Бомбей.

В родном княжестве, потрясенный его великолепными кожаными чемоданами, раджа предложил ему на выбор или место сборщика податей с проходивших караванов, или чин генерала. Все думали, что он выберет первое, потому что караванов было много, солдат мало. Он выбрал последнее. Никто не знал, что старый американец, которому он объяснял радж-йогу, умер, оставив ему в завещании столько же, сколько своему лакею, то есть довольно много.

В день своего назначения генерал явился во дворец. Хитрец, он предвидел все, и в его великолепных чемоданах оказалась совсем готовая великолепная генеральская одежда. Весь город собрался смотреть на него. Старуха-мать рыдала от гордости, когда он промчался мимо нее на специально привезенной мотоциклетке. А лучший художник города отдал целую рупию слугам раджи за право смотреть в замочную скважину. Он смотрел долго, терпеливо и умело, как губка воду, впитывая впечатленье от роскошного костюма генерала и от его непомерно чванного лица. А потом пошел раскачивающейся верблюжьей походкой, что означало у него творческую задумчивость.

Самые нежные, самые яркие краски горели в точеных, как лепестки лотоса, деревянных чашечках, самые тонкие кисточки летали по ним с такой же быстротой и легкостью, как пальцы девушки летают по клавишам фортепиано. Возникала лакированная красная стена, возникало томительно-синее небо, и на фоне всего этого возникал непомерно чванный генерал. Как были белы его штаны, как богато золотое шитье

мундира, как величественны перья на треугольной шляпе! Воистину, такого генерала можно было видеть, как цветение лотоса, только раз в столетье.

Умиленная толпа собиралась за спиной художника. Слышался гул восторга, раздавались дерзновенные предположения. Верно, генерал сделает его начальником над своими слугами; позволит все жизнь кормиться на кухне; даст мешок со ста рупиями. А захожий поэт, высокий и костлявый старик из Тибета, позавидовал чужой славе и сложил песню по строгим правилам тибетского стихосложения:

Раджа,
Генерал раджи,
Мундир генерала раджи,
Девушка, которая расстегнет мундир генерала раджи,
Любовь, которая овладеет девушкой, расстегнувшей мундир
генерала раджи,
Сын, который родится от любви, овладевшей девушкой,
расстегнувшей мундир генерала раджи,
Трон, который завоюет сын, родившийся от любви,
овладевшей девушкой, расстегнувшей мундир генерала раджи,
Слава, которая окружит трон, завоеванный сыном, родившимся
от любви, овладевшей девушкой, расстегнувшей мундир генерала раджи,
Индия, которая будет спасена славой, окружившей трон,
завоеванный сыном, родившимся от любви,
овладевшей девушкой, расстегнувшей мундир генерала раджи.

Песня тотчас была переписана тремя писцами на большом листе пергамента. Плату они должны были получить от генерала.

Вот опять по тихим улицам города, пугая обезьян и павлинов, зашумела, завоняла и промчалась мотоциклетка — генерал возвратился домой. «Ванну!» — и дрессированный, служивший прежде у европейцев, слуга из Бомбея с поклоном указал на большой резиновый таз с тепловатой водой, потому что генерал не был спортсменом и боялся холодной. Вот плавно опустился на спинку кресла мундир, расстегнутый на этот раз не девушкой, а самим генералом. Вот примеру мундира последовали белые штаны с золотым лампасом. Только одна треуголка медлила покинуть

свое место, когда артисты вошли. Художник впереди, поэт позади, и в руках у каждого его произведение. За ними толпа почитателей и любопытных, среди нее заинтересованные в деле писцы. Генерал ахнул, гаркнул и задрожал. Точь-в-точь так же ахнул, гаркнул и задрожал, по его воспоминаниям. русский генерал, которому в ресторане подали незамороженное шампанское. «Эти черные... какая наглость!»

Художник уронил картину. Генерал стал топтать ее ногами. Тибетское стихотворение было разорвано в клочки. Толпа замерла. Генерал бесновался. Он прыгал по комнате, как освирепелая обезьяна, голый, в одной треуголке, он визжал, как шакал, которому переломили лапу. О, это был действительно страшный генерал.

Слуга из Бомбея напер плечом на вошедших, точь-в-точь так же, по его воспоминаниям, европейские слуги напирали на гостей, неугодных их господам. Через минуту все было кончено. Слуга вытирал пол, оттого что ванна опрокинулась, а генерал успокаивался, разбирая свои чемоданы. Вот с торжественной медлительностью он навесил на стену свою увеличенную фотографию в генеральском мундире. Хитрец, он предвидел свое назначенье и снялся еще в Лондоне. Вот с счастливой улыбкой он приколол под портретом вырезку из газеты, где его имя упоминалось в числе приглашенных на какой-то светский вечер. А слуга прятал индийский портрет, чтобы продать его за грош старьевщику из Калькутты.

В дальнем квартале писцы, не получившие платы, били тибетского поэта, а слуги раджи били художника, требовавшего назад свою рупию.

* * *

У восточной сказки должен быть нравоучительный конец. Попытаюсь посрамить злого генерала. Вот он приехал в Париж. Посетил двух кафешантанных певиц, трех депутатов-социалистов и решил ознакомиться с артистической жизнью Франции. Выслушал несколько колкостей от Анатоля Франса; купил рисунок Матисса; был побит в одном кафе Аполлинером; и добился разрешения посмотреть работы Гончаровой. Там он увидел свой индийский портрет, попавший через Калькутту, Лондон и черного гусара в руки этой художницы.

О, если бы он сконфузился, если бы испытал позднее раскаянье! Тогда бы моя сказка была подлинно восточной. Но нет, негодяй, воскликнул: «Мадам, неужели вы интересуетесь такой дрянью? Тогда я пришлю вам из Индии их хоть тысячу».

И соврал, не пришлет. Потому что из-за таких, как он, не стало больше в Индии художников.

18. ВЕСЕЛЫЕ БРАТЬЯ

Повесть

ГЛАВА ПЕРВАЯ

В Восточной России вообще, а в Пермской губернии в особенности бывают такие ночи, когда полная луна заставляет пахнуть совсем особенно горькие травы, когда не то лягушки, не то ночные птицы кричат особенно настойчиво и тревожно, когда тени от деревьев шевелятся, как умирающие великаны. Если же еще шумит вода, сбегая по мельничному колесу, и под окном слышен внятный шепот двух влюбленных, то уснуть уж никак невозможно. Все это испытал на себе Н.П.Мезенцов, приехавший в этот глухой угол собирать народные сказки и песни, а еще более гонимый вечной тоской бродяжничества, столь свойственной русским интеллигентам.

Он проснулся, потому что большой рыжий таракан, противно шелестя, пробежал по его лицу, и уже не мог заснуть, охваченный ночной тревогой. В шептавшихся под окном он узнал по голосу Машу, хозяйскую дочку, и Ваню, ее суженого, работавшего как приемный сын у ее отца. Покровительствуя их любви, не одну цветную ленту подарил Мезенцов Маше и не одну книжку Ване и поэтому счел себя вправе послушать в час бессонницы их беседу. Да и какие секреты могла бы иметь эта милая пара, он сочинял старообрядческие гимны, розовый и кудрявый, как венециановский мальчик, она всегда спокойная и послушная, с сияющими глазами и со смуглой кожей, которая выдавала татарскую или даже половецкую кровь. Одна только тень повисла над их любовью — в

образе Мити, ловкого и щеголеватого парня с красным насмешливым ртом и с черными, жесткими волосами, не то цыгана, не то грека. Взялся он неизвестно откуда, попросился переночевать, целый вечер шушукался с Ваней, да так и застрял. И стал после этой беседы Ваня сам не свой. Щеки его еще порозовели, глаза заблестели, а работать стал ленивее и с Машей ласкаться как будто оставил, — с завалинки первый уходить начал. Спросили пришельца, какой он волости, да есть ли у него паспорт, а тот ответил, что человек он прохожий, а паспорт его — нож за голенищем. Урядник приезжал, он напоил урядника.

«Не человек а одно огорченье», — говорил старый мельник, хозяин Мезенцова, и Мезенцов соглашался с ним, потому что Митя решительно не хотел обращать на него внимания, а на его подходы отвечал часто обидным, но всегда остроумным зубоскальством. Но Мезенцов еще слишком мало знал Россию, чтобы придавать большое значение этому пришельцу. Однако первые же слова под окном заставили его прислушаться.

— Уходишь? — звучал тоскливо Машин голос. — Совсем уходишь? И не скажешь, куда?

— Вот чудачка! Да как же я тебе скажу, если это тайна?

— Знаю, Митька тебя сбил.

— Что же, что Митька, он не хуже людей.

— Разбойник он, вот что!

— Кабы все такие разбойники были, не ходил бы дьявол по всей земле, как нынче ходит.

— Так что, он с дьяволом, что ли, борется?

— Слушай, ты меня не выпытывай. Так и быть, что можно, сам скажу. Большое дело затеялось, настоящее. По деревням Бога забыли, а по городам есть такие, что и совсем в Него не верят и других сбивают! Это я доподлинно знаю. Книжки пишут, что земля не в шесть дней сотворена и что Адама с Евой вовсе не было. Прежде, когда добрых людей больше было, так таких на кострах жгли да в темницах гноили, а теперь к ним не подступишься, ученые все, в генеральских чинах. И решили тогда добрые люди хитростью действовать да злых с толку сбивать. Сатана ведь хоть лукавый, а ума настоящего в нем нет, на каждый обман поддается. И как запутают его приверженцев, так и

скажут — смотрите все, кого слушаетесь; ничего-то они не знают, как сосунцы. И посрамят Сатану, но уже навсегда.

— А ты-то с ними что будешь делать?

— И мне дело найдется. Песни вот я сочиняю, так эти песни Веселым Братьям пригодятся, Митя сказывал. Потом, я в отеческих писаниях толк знаю, это тоже им нужно.

— Недоброе дело все это.

— Поздно уж там разбирать. Я порешил. Хочешь, лучше песенку тебе скажу, что сегодня о полудне составил?

— Хорошо! Только тише, барин тут спит, — понизила голос Маша, и Мезенцов почувствовал легкий укол совести.

Ваня начал звучным шепотом и нараспев, словно читая псалом.

— Ангел ты мой, — и по звуку голоса можно было догадаться, что Маша прижимается к своему возлюбленному. — Иди куда хочешь, все, что ты ни задумаешь делать, все хорошо будет, а я тебя стану ждать, как царевна в сказках. И дождусь, непременно дождусь, потому что с такой любовью как не дождаться.

— Нет, не жди меня, Маша, не вернусь я к тебе, — прозвучал тихий ответ.— Да и на что я тебе, ты все равно с Митей гуляла.

— Что ты говоришь?

— Ну да, онамедни он сам мне сказывал, как с собой идти подбивал.

— Нет, нет, неправда это, — задыхалась Маша. — Сон мне приснился один, только неправда это, нет!!

— Соврал разве,— задумчиво произнес Ваня.— Так мне остаться, может?

— Слушай, я тебе правду скажу, я ни в чем не повинна. Долго ходил он около меня, улещивал, глазами своими яркими поглядывал. Но я пряталась от него, и никогда мне и в мысль не приходило недоброе. Только онамедни шью я <у>окошка, солнце уже за лесочком, никого нет. И только мне вдруг так стало, как <будто> увидала я, что другая Маша, совсем как я, идет по опушке в березняк. И та меня видит, как я у окошка сижу, и обе мы не знаем, какая же из нас настоящая. А из березняка Митя выглядывает и смеется: иди ко мне, красавица, все равно настоящая-то у окошка сидит. Как услышала я это, так и подошла. И ничего мне не страшно и не стыдно, потому что знаю, что я одна за работой,

вижу, как игла движется. А той, что у окна сидит, слышно, как в березняке целуются, какие слова там говорятся. Сколько времени прошло так, не знаю. Проснулась, как лучину надо было зажигать, отец вернулся.

— А много ты наработала? — с надеждой спросил Ваня.

В ответ послышался тихий плач.

— Ну вот, видишь, соврал Митька, да не мне, а тебе, как сказал, что ты у окна настоящая; тень там была твоя только. Как же тут к тебе возвратиться?

— Где уж, молчи, я с таким стыдом жива не останусь.

— Останешься! Кабы плакать не начала, может, и свершила бы что, а слезы горе растворяют. Ну, прощай, однако, светает, Митька, поди, дожидается. Да ты не думай, я на тебя не сержусь, я никогда не сержусь.

За окном послышалось движение, и Мезенцов скрылся в глубину комнаты.

Он был взволнован услышанным объяснением и чувствовал, что ему надо что-то предпринять, чтобы устроить судьбу влюбленных. Не может быть, чтобы он, человек с высшим образованием, занимавшийся психоанализом и прочитавший столько новых романов, не нашел средства разрешить благополучно эту деревенскую драму. Он лег, потому что, по привычке многих горожан, он лучше всего думал лежа.

Надо уговорить Ваню, чтобы он не придавал большого значения невольной измене своей невесты, потому что душою она осталась такой же чистой, как и прежде. Или Машу, чтобы она нашла в себе силы сохранить присутствие духа, притворилась бы равнодушной, умелой игрой вернула бы отказавшегося жениха. Или Митю, чтобы он перестал скалить свои белые зубы, как бульдог на одной английской гравюре, и спрятал бы трехаршинный нож, который лезет из-за его голенища, словно ствол какого-то нелепого дерева...

Когда Мезенцов проснулся, был уже полный день. В его дверь стучали.

— Вставай, барин, — звучал голос его хозяина.— Машу сейчас только вытащили холодную, может, ты поможешь.

Мезенцов наскоро набросил на себя платье и выбежал. На лужайке перед мельницей, окруженная толпой сердобольных соседей, лежала Маша.

Ее мокрая одежда прилипла к телу, как трико, руки были подвернуты под щеку, и она напоминала скорее чем женщину спящего отрока. Мезенцов наклонился над нею, думая пустить в ход все те средства, о которых он смутно слышал, — растиранья, искусственное дыхание, но вдруг в ужасе отшатнулся. На полуоткрытом глазу Маши ползла красная божия коровка, как готовая скатиться кровавая слеза. И эта подробность сразу убедила его, что делать больше нечего. Он встал и невольно перекрестился. Бабы точно ждали этого и враз заголосили.

— Ваня знает? — спросил Мезенцов у растерянно суетившегося мельника.

— Нет, сердечный, нигде найти его не можем.

— А Митя?

— Какой это? Ах да. Тоже запропастился куда-то.

Мезенцов невольно застонал. Он понял, что все произошло оттого, что он так позорно заснул и дал уйти мужчинам, оставив девушку одну в час ее смертельной муки. Но по свойственной человеку слабости оправдывать себя, обвиняя другого, он вдруг почувствовал безумную ненависть к Мите, соблазнившему невесту и увлекшему на сомнительный путь жениха и идущему теперь своей танцующей походкой среди мирных зеленых полей на поиски новых преступлений. Неожиданная жажда действия овладела им. Догнать, во что бы то ни стало догнать этого красногубого негодяя и перед Ваней, которым он очевидно дорожит, громко обвинить его в Машиной смерти. Только так он смоет с себя пятно невольного соучастия.

Из деревни шли всего две дороги. Одна в далекий губернский город, по ней и пришел Митя; другая в необозримые пространства полей и рощ, за которыми в особенно ясные дни, как легкое облачко, синел Уральский хребет. Сомнения не было, надо было идти по второй. Митя не походил на человека, которому можно было возвращаться туда, где он раз побывал.

Через полчаса, с небольшим свертком в руках (зубная щетка, сотня папирос и томик Ницше), Мезенцов вышел из деревни гимнастическим шагом, который, по теории, не должен был утомлять. Однако уже после трех верст *он остановился и, окликнув возницу проезжавшей телеги, попросил подвезти его. Три часа спустя он сошел на пе-*

рекрестке и продолжал путь пешком, спрашивая у редких прохожих, не видели ли они двух парней, одного розовощекого и пригожего, другого смуглого и злого.

Уже стемнело, и Мезенцов подумывал о ночлеге, когда в ответ на его обычный вопрос сидевший у обочины человек воскликнул: «Злого? Меня, может?» Это был Митя.

— Где Ваня? — спросил Мезенцов резко, не здороваясь со своим врагом.

— Это не ваше дело, — усмехнулся тот. — На что он вам?

— Я пришел сказать ему, что Маша умерла и что ты ее убийца. Голос Мезенцова звучал угрожающе, и угроза возымела свое действие.

— Тсс! Тсс! — прошептал Митя, поспешно вставая и подходя к Мезенцову. — Не кричите так громко! Значит, она покончила с собой? Повесилась?

— В реку бросилась.

— Это все равно. Вы ни за что не должны говорить Ване. Я знаю его. Он уйдет в монахи и просидит там всю жизнь, осел добродетельный.

— И правильно сделает, — сказал Мезенцов. — Он столько же повинен в смерти этой девушки, как и ты.

— А я его грех на себя возьму: я-то ада не боюсь.

— Но Ваня должен знать, — настаивал Мезенцов сердито, — хотя бы для того, чтобы сказать тебе, что он о тебе думает.

— Как бы не так! — закричал Митя, и нож блеснул у него в руке. — Убирайтесь сейчас же подобру-поздорову, а не то...

— Как, вы здесь, барин? — раздался Ванин тихий голос. — А хорошо странничать, правда? Погода такая чудесная. Митя присел покурить, а я землянику собирал, смотрите, какая она крупная и сладкая. Отведать не желаете?

— Послушайте, Ваня... — начал Мезенцов. — Мне надо сказать вам что-то очень серьезное...

— Эй, Ваня, — перебил его Митя, — ты знаешь, барин-то решил идти с нами, все интересное повидать, с нашими братьями познакомиться, в чудном городе нашем в горах побывать. Но

прежде нужно с ним кое о чем условиться. Оставь нас на минутку, не мешай. Погуляй еще маленько.

— Ладно, — отозвался ничего не подозревавший Ваня. — Скорее только, ужинать пора.

И он отошел в сторонку, поедая землянику.

— Послушайте, барин, — начал Митя вкрадчивым голосом, — я вас не трону. Я не такой дурной, как вы думаете. Но не говорите Ване пока про Машу. Можете сказать ему завтра... позже... а тем временем я обещаю показать вам что-то, о чем вы, городские, и не подозреваете. Мужики только с виду простые. Попробуйте увидать их такими, какие они есть, и вовек уж не забудете. Вы увидите город, какого на карте нет, да поважнее для мира будет, чем Москва. И хотя не люб я вам, а буду добрым другом.

Мезенцов слишком устал душевно, чтобы упорствовать дальше. К тому же ему припомнился Митин нож, который ему вовсе не хотелось увидеть снова. Да и этнографическое любопытство его было задето: как же было упустить возможность небывалого приключения, которое может навсегда создать ему славу в четвертом отделении Академии наук в Петрограде!

— Ладно, — сказал он резко, — я не буду говорить сегодня. Только не забывайте, Митя... — он замолчал, не зная, как ему выразить свою угрозу.

Митя, казалось, был удовлетворен.

— Давайте тогда ужинать! — крикнул он. — У нас есть хлеб и лук. Что еще нужно человеку?!

ГЛАВА ВТОРАЯ

Был душный, слишком красный вечер, порывы несвежего ветра завивали столбики пыли — в народе есть преданье, что, если разрезать такой столбик косой или серпом, на лезвии останется капля крови.

Мезенцов, Митя и Ваня, идя по обочине большой дороги, приближались к селу Огрызкову. За последние дни Митя стал что-то очень

любезен с Мезенцовым. Брал у него папиросы, на ночлегах учил, как устраиваться, чтобы было теплее, и раз доверчиво положил ему голову на колени, прежде взглядом спросив, можно ли. И Мезенцов с досадой сознавал, что чувствует себя польщенным.

Ваня срывал травинки и старательно разгрызал их в суставах, а в промежутках мурлыкал «Величит душа моя Господа». Митя озирался и козырьком прикладывал руку над глазами, хотя солнце было у же низко.

— Небо-то, небо какое! — вдруг выкрикнул он и потер ладони.

— А какое? — нехотя спросил уставший Мезенцов.

— Да насквозь промоленное, пожарами попаленное. Драконами все излетанное вдоль и поперек. Любили драконы в старину на Русь прилетать за девушками. Народец-то тогда был не ахти какой, только слава, что богатыри, а вот девушки, так те действительно. Теперь таких уж не бывает. Да и драконы были орлы: красная краска даже синим отливала, хвост лошадиный, а клюв стрижа. И такой им закон был положен: унесет девушку за Каспий и услаждается яблочными китайскими грудями ее сахарными. А умрет девушка, и он должен в тот же час умереть. Вот ты и рассуди: девушек много, драконов мало. Так и повывелись.

— Пустяки все это, — сказал Ваня.

— Пустяки-то пустяки, да болтали старики, а это тебе не Ваня, наукою науки всеведующий <?>, ученый, на манер Аристотеля, — огрызнулся Митя и тотчас радостно закричал: — А вот и Миша, выполз голубь, знать, придумывает что.

Навстречу путникам на окраине уже ясно видного села ковыляла какая-то фигура, похожая на медведя. «Калека», — с удивлением подумал Мезенцов. Однако когда они подошли ближе, он не заметил в ней никакого убожества. Миша волочил за собой то ту, то другую ногу, а иногда шел совсем плавно и ровно. Руки его то отвешивались, то подбирались. Веки его, казалось, прикрывали ужасные бельма, и странно было видеть вдруг открывающиеся хорошие серые глаза. Он шел как-то боком и, не дойдя нескольких шагов, остановился, застыдившись.

— Здравствуй, ясный, — сказал Митя, целуя его. — Ну, каковы дела?

— Дела ничего, что дела, — бормотал Миша, потирая щеку, которой коснулись Митины губы, и, наконец осмелев, низко поклонился Мезенцову и Ване.— Простите меня.

— Что ты, что ты, милый? — заторопился Митя. — Это свои.

И он продолжал, обратившись к товарищам:

— Он боится, что вы осудите его, зачем ноги не так, зачем руки не так, а что судить-то, еще неизвестно, сами мы лучше ли. Ну, пойдем, голубь, веди нас к себе.

И он обнял Мишины плечи с одной из самых своих очаровательных повадок.

Изба, в которую они вошли, была большая и светлая, потому что два окна ее выходили на запад. На окнах — ситцевые занавески, нежные по краскам и затейливые по рисунку. Несколько покрашенных киноварью и суриком лубков — «Взятие Плевны», «Страшный Суд» и «Бова-королевич» — озаряли тесовые стены. Но сразу бросалось в глаза нечто неестественное, как павлиний хвост у быка, как собака на верхушке дерева. Это были высокие липовые нары в углу, сплошь заставленные ретортами, колбами, змеевиками, банками с притертой пробкой. Горела спиртовка, такая, на каких англичане подогревают кофе, а над ней в стеклянном стаканчике клокотала какая-то бурая дрянь. Недоеденная селедка лежала посреди кристаллов купороса. «Так вот во что превратились алхимики, — со злорадной усмешкой подумал Мезенцов.— Ясно, этот Миша ищет философский камень». Митя с почтением приблизился к нарам.

— Кипит? — спросил он, потрогав пальцем спиртовку. — И не лопнет?

— Зачем лопнет? Не лопнет, — ворчал Миша.

— А когда будет готово?

— Да года через два.

— И который это раз?

— Третий.

— Значит, всего шесть лет.

— Чего шесть, и шестнадцать проработаем. Задача-то какая!

— Ну, ну, авось ничего! А как выйдет! Ведь всю махину с места сдвинем. Ну, ты работай, мы не мешаем. Вот переночуем только — и

утром айда. А где у вас тут по вечерам девки собираются? — неожиданно закончил Митя.

— Какие девки? Чего им собираться? Работать надо да спать. Вот! На мосту, знамо, а то где еще.

— В конце улицы мост-то?

— Во-во.

— Ну, идем, что ли, ребята, на часок, чтоб братану не мешать. Целый день шел, плясать захотелось.

Мезенцову очень хотелось остаться, чтобы на свободе поговорить с сермяжным алхимиком, но он чувствовал, что Митя этого не допустит, и решил пойти и после незаметно вернуться.

На мосту уже заливалась гармоника, похожая на голос охрипшего крикуна, и голоса, в свою очередь очень напоминающие гармонику. Посреди круга девок парень в прилипшей к телу потной рубашке танцевал вприсядку. Он по-рачьи выпячивал глаза и поводил усами, как человек, исполняющий трудное и ответственное дело. Зрители грызли семечки, и порою шелуха падала на танцора и прилипала к его спине и волосам. Он этого не замечал. Митя, подмигивая мужикам и щекоча девок, в одно мгновение, как он один умел это, протолкался сквозь толпу, толкнул плясавшего так, что тот покатился в толпу, и, пронзительно взвизгнув, пустился в пляс. Девушки захохотали, потом замолчали, очарованные. А опрокинутый только что парень уже подходил, вызывающе засунув руки в карманы и поглядывая недобрым взглядом. Видно было, что он решил драться. Митя последний раз подпрыгнул, щелкнул каблуком и остановился, как раз чтобы встретить врага. Быстро взглянул он на рачьи глаза и оттопыренные усы и усмехнулся <?>, сразу оценив положение.

— Покурим, что ли? — сказал он, деловито открывая коробку папирос.

Парень остановился, озадаченный.

— Спичек вот нет,— продолжал Митя, — да ладно, достанем.

— У меня есть спички, — начал Мезенцов, догадавшийся об его тактике.

— Давай! А ты папиросу-то поглубже в зубы возьми, это тебе не козья ножка! Повернись по ветру, вот тебе и огонь.

— Да ты постой, — бормотал сбитый с толку парень.

7 ПСС Гумилев Н С Т 6

— Чего стоять! Я плясать хочу. А папироса хорошая, ты не думай. Вижу, первый сорт.

— Простите меня, — услышал за своей спиной Мезенцов и, обернувшись, увидел Мишу.

Теперь он напоминал какого-то только что порабощенного лесного зверя: согнувшийся, нелепый и с клочками волос на совсем молодом лице. Мезенцов вспомнил, что ему хотелось разгадать тайну лаборатории. Он посмотрел. Митя плясал вдохновенно, закрыв глаза, как поющий соловей. Ваня с блаженной улыбкой ловил каждое его движение. С этой стороны опасности не было.

Огородами, обжигаясь в крапиве и пачкаясь в навозе, Миша провел к себе гостя, запер дверь на засов и стыдливо встал в сторонке. По его повадке Мезенцов понял, что перед ним нерешительность, может быть, даже измена, и решил идти напролом.

— Что это вы тут делаете? — спросил он, кивнув на лабораторию.

Миша молчал.

— Что это вы делаете? Философский камень?

— Чего-с?

— Философский камень. Золото делать из железа.

Миша задрожал.

— Спаси Бог. Разве я на такое пойду? Да я уже давно в Сибири гнил, если что. Разве мыслимо?

И он остановился от возмущения. Мезенцов понял, что ошибся.

— Слушайте, Миша, я вам не враг, будьте со мной откровенны. С Митей я только так, знаком, и дел его не касаюсь, да, по правде сказать, не нравятся мне эти дела.

— Бесу они нравятся, вот кому, — простонал Миша.

— Ну вот, видите, я знаю, что вам задали работу, но какую, не знаю. А может быть, я бы вам помог.

Миша в затруднении задергал бровями, губами, носом, даже ушами, как показалось Мезенцову.

— Будьте милостивы, — по-бабьи заскулил он, — не оставьте. Я ведь вижу, что вы из господского звания, не то что какой мужик или крестьянин. Эх, кабы мне образования, городского там или университет, я бы себя показал. Потому к счету я сызмальства охоту имею. Еще ходить

не научился, а считать начал. К примеру, в деревне нашей было семьдесят три души, так я и любопытствовал, сколько же народу в семидесяти трех деревнях. И находил, ей-Богу. Порола меня мать, а все отучить не могла. Дальше, как книжки читать стал, и того больше. Сколько народу на земле должно быть сосчитал, сколько его было во времена Господа нашего Иисуса Христа. Тогда уж я в церковноприходскую начал ходить, да не доходил. К другим наукам пристрастия не имел, и мамке одной было трудно. Женить уж меня думали, когда это началось. Зашел к нам переночевать некий как бы странник, только не странник он был, а шантрапа, подивовался моему счету и наутро увез меня — куда, сам не знаю. И откуда деньги взялись у мошенника, на паре в тарантасе. Я сроду так не езжал. Ехали мы, ехали, и на чугунке и водой, и вот приехали в село между гор, богатое село, избы новешенькие, бабы румяные, дородные. Повели меня к их старшине, старичок такой там, весь худенький да белый. Как увидел я его, так и обомлел. Потому каждый человек когда опечалится, когда разгневается. А этот, сразу видно, не печаловался и не гневался за всю евонную жизнь. Смотрю, как это он весело да как это он ласково, и мурашки по спине так и бегают. И чего боюсь, сам не знаю. Послушал он это мой счет, головенкой закачал, доволен, значит, и говорит: «Ты будешь у нас наибольшим, как разрешишь мою задачу, и будешь жить в тереме самом богатом, и жену возьмешь себе по нраву. А отдохнешь, другую задачу дадим, и тогда уж навсегда к нам, на покой». Только это он зря. Не желаю я жить у него, потому я серьезный и снести не могу, когда даром зубы скалят. А те три недели, что я у них прожил, все там ржали да пляс плясали, словно в маскарад сатанинский. Там я и с Митькой впервой увидался. Дела своего ему не дадено, и к ученью он не приспособлен, а так, значит, должен по матушке Рассее ходить, за тем, кто к какому делу приставлен, приглядывать да новых улещать. Берегитесь его, барин милый, баловной он, и нож у него что бритва.

— Какую же вам дали задачу? — сгорая от нетерпения, спросил Мезенцов.

Миша сокрушенно вздохнул.

— К химии меня приставили, в химии счет нужен. Про господина Лавуазье изволили слышать? Ученый такой, из французов. Так вот, он доказал, и основательно, что из естества ничего не пропадает, ни единая,

значит, пылиночка. Спичку сожжешь, так она дымком да пеплом становится, а если собрать этот дымок и пепел да сложить умеючи, то вся спичка, как прежде будет без всякого изъяна. Хитро, не правда ли? Я вот тут проверял, выходит в точку. А они говорят: ты счет знаешь, докажи, что не так. Потому, говорят, если естество пропадает, то его как бы и нет, а это значит, что Бог есть. Окаянные, говорю я, да разве Бога химией докажешь? Сердцем Его чувствовать надо. Это ты так, говорят, рассуждаешь, а другие иначе. А нам и о других подумать надо, чтобы Бога помнили. Разве с ними сговоришь?

— А другая задача? — спросил Мезенцов.

— Еще того мудренее. Земля вокруг солнца вертится, а ты, говорят, счет знаешь, докажи, что наоборот. Коперник и Галилей, говорят, нам не указка, они в Бога не верили. И что я за Ирод такой им дался! Хорошие господа, ученые, может, министры какие или князья, трудились, придумывали, а я, темный мужик, им яму должен рыть. Как я в глаза их светлые погляжу, ежели обнаружу что? Да я со стыда сгорю, как они скажут: «Ну, Михайло, спасибо тебе, удружил». А не работать нельзя. Заколют. Вот так и бьюсь шестой год.

— Ну и что же, нашли что-нибудь?

Миша помолчал, глядя в угол.

— Это как сказать, — нехотя промолвил он. — Найти-то можно. Да только я не стараюсь. Как начинает выходить, я либо скляночку опрокину, либо бумажку с цифрами в огонь уроню. Как будто и нечаянно, а дела, глядишь, нет. Тоже не без понятия. Одно только утешительно, что мучители мои не торопятся. Работай, Миша, хоть тридцать лет, а добейся своего. А мне цыганка нагадала, что умру до седого волоса.

В дверь постучали, но, когда оробевший Миша отодвинул засов, вошел один Ваня.

— Так и есть, вместе,— покровительственно произнес он.— Мне и то Митя наш сказывал, чтобы я не допустил вас до разговору. Да что я ему, шпион-соглядатай, что ли? Пусть сам смотрит, коли хочет, а то возится там с девками, как жеребец. Ты все-таки выйди, Николай Петрович, чтобы он не помыслил о чем. Ведь бедовый!

Мезенцов сознал справедливость предостережения и вышел. Закат уже отгорел, и только одна густо-багровая полоса висела над беловатым

морем тумана. Мезенцову вспомнилась Стрелка, и вдруг безумно захотелось сесть в автомобиль и крикнуть шоферу: «На Спасскую!» Чего ему еще бродить: все равно удивительнее мужика, щадящего господина Лавуазье и всю европейскую науку, он не встретит. Но вот он услышал голос Мити, и острая неприязнь к этому человеку придала ему силы. Нет, он проберется за ним в его осиное гнездо и там громко расскажет о Машиной смерти. Интересно, как отнесется к этому веселый белый старичок?

Митя остановился за углом. Он был не один. Свежий девичий голос звучал умоляюще:

— Князь мой яхонтовый, останься еще хоть на денек, как я буду без тебя?

— Да так и будешь, как была.

— Да зачем же тогда ты плясал так, слова такие говорил?

— Пляс — дело молодое, а слова что птицы — вылетят, и нет их...

— Слушай, я еще ни с кем не гуляла... первый раз.. Хочешь верь, хочешь нет. Пойдем сейчас на гумно, мать не хватится.

— На что ходить? И этого нам не надобно. Есть у меня на чужой стороне зазнобушка, да и не одна. Ищи, ворона, себе ворона и оставь меня, ясна сокола. Чего же ты расхныкалась? Разве мало парней на свете? Ну, иди, иди, тут мои товарищи.

Мезенцов кашлянул, и Митя показался из-за угла. Лицо его еще сияло оживлением пляски, и только изогнутые брови сдвинулись, образовав маленькую гневную морщинку, которая очень его красила. Увидев Мезенцова, он широко улыбнулся:

— А, Николай Петрович, что же ты с Мишей не пошушукался?

Мезенцов не ответил, и они вместе вошли в дом.

Спать ложились прямо на полу, подложив под голову попону, армяк и еще какое-то тряпье, — Миша оказался, как и подобает ученому, очень нераспорядительный хозяин. В одном углу горела лампадка, в другом спиртовка. Ваня уже начал дышать глубоко и ровно, когда Митя вдруг привстал и прислушался.

— Миша, а Миша, — зашептал он, — а урядник тебя не преследует?

— Не! Зачем так? Он сам химией занимается.

— Сам?

— Ну да. Настоит спирт на грибах или на березовых листьях и пьет. Это, говорит, грибовка или березовка. Я, говорит, химик первеющий и скоро получу награду от министерской академии. Хороший человек.

— Ну, с Богом, спи.

Наутро, когда путники уже были готовы, Миша застенчиво протянул Мезенцову книгу в старом кожаном переплете.

— Вот мне книжку дали химии научиться, только в ней многого нет, до чего я сам дошел.

Мезенцов посмотрел: на титульном листе стояло <...>

— И у вас не было никакой другой? — невольно воскликнул Мезенцов.

— Нет! Обещали прислать, да все не присылают.

— Ну, идем, идем! — вмешался Митя.

— А книжка ничего, она хорошая, старая, старее-то лучше.

— Прощай, Миша, работай, голубь!

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

— Куда мы, собственно, идем? — спросил однажды утром Мезенцов.

Митя подмигнул:

— Куда мы идем, мы знаем, а вот куда ваша милость идет —- сие есть тайна великая.

Мезенцов вспыхнул и закусил губу.

— Иду я туда же, куда и вы, а почему, это вы, Митя, отлично знаете, а не знаете, то я объясню еще раз.

— Не ссорьтесь, — вступился лениво Ваня без всякой тени подозрения, — право, не ссорьтесь, скучно.

Митя смирился:

— Ну, хорошо, расскажу на этот раз. Идем мы все трое в богатое и славное село Огуречное, вот что лежит промеж трех больших дорог и не одна-то в него не заходит. А ждут нас там два француза.

— Как два француза? — опешил Мезенцов.

— Они, правда, не французы, а дьячковы дети, Филострат и Евменид, сыновья Сладкопевцевы, но это все одно, потому что они по-французски мастаки и идут сейчас из самого большого французского города По.

— Париж самый большой у них, — заметил Мезенцов.

— Нет, не Париж, что Париж, а По. Это я знаю доподлинно, мне старые люди сказывали.

— А далеко ли до Огуречного?

— Да версты три.

Он остановился и прислушался. В воздухе сквозь пронзительный звон пичуг и шорох ветра послышался легкий свист.

— Что это? — спросил Мезенцов.

— Идем, идем, — заторопился Ваня. — Да говорите поменьше, а то такое станется!

— Да что станется?

— Время-то какое, к полудню.

— Ну и что?

— А про беса полуденного не знаешь, что ли? Эх ты... ученый.

— Нет, братцы, — сказал вдруг Митя, — я знаю, что это такое. Это наши французы. — И он зашагал в чащу орешника, видневшуюся над обмелевшей речонкой.

Мезенцов и Ваня последовали за ним и, пройдя десяток шагов, замерли в изумлении перед вытоптанной небольшой площадкой, полной объедками и тряпьем, как воронье гнездо. И посреди этой площадки, тоже напоминая чету ворон, сидели два долговязых человека в дырявых ботинках и лоснящихся от жира длиннополых сюртуках. Их прыщавые, угреватые и безбородые лица казались совсем молодыми, и лишь скорбные, кроткие глаза выдавали, что им обоим уже за тридцать. Большая недоеденная кость, подозрительно похожая на лошадиную, лежала между ними. Это и были Филострат и Евменид, братья Сладкопевцевы.

— Что это вы так запрятались? — весело закричал им Митя.— В Огуречном надо было ждать.

— В Огуречном и ждали, — дружно ответили братья, — только там притеснять нас стали, вот мы сюда и ушли.

— Да кто притеснял-то?

— Староста. Как мы, значит, работали с усердием, в нас и влюбилась дочка старосты, ну и мы в нее, конечно. Отец и пристает — женись. А как мы женимся оба сразу на одной? Так и ушли.

— Так что, она в вас обоих влюбилась, что ли?

— А как же иначе? Говорит, что ей Евменид нравится, только мы на это не согласны, мы двойня, у нас с детства все общее.

— Так как же вы любите? Как устраиваетесь?

Братья сокрушенно вздохнули.

— Да никак! Всякая наша любовь бывала несчастная, по этому самому. Оно конечно, какая-нибудь и согласилась бы, только мы так не можем, мы только в законном браке. А иной раз, особенно после сна, так хоть в петлю.

— Вам бы в Тибет поехать, — вмешался Мезенцов, — там полиандрия, одна женщина за многих выходит сразу.

— Ну? — обрадовались братья. — Нам бы хоть какую-нибудь, хоть черную, только чтоб вдвоем. А как туда проехать?

— Через Индию можно или через Китай.

— И сколько стоит дорога?

Мезенцов прикинул в уме цену второго класса на пароходе— он не представлял себе, чтобы можно было ехать в третьем.

— Тысячи по две на каждого.

— А пешком нельзя?

— Куда же? Через пустыню придется идти, сквозь разбойничьи народы.

— Это ничего! За своим счастьем и через ад пройдешь.

— Нечего вам зря языки трепать, — нетерпеливо оборвал их Митя, — вот еще тибетцы какие выискались. Подставляй лучше карманы, я вам деньги принес, триста рублей, рады небось, теперь месяц не протрезвитесь.

— Это так, на радостях кто не выпьет, нечистый один,— довольные, ответили братья.

— И бумаги вот, с ними отправитесь в Казань, к профессору Филимонову, а что ему скажете, это сами прочтете, я разбирал, да что-то мудрено для меня.

— Дай, дай.— И Филострат торопливо принялся разворачивать объемистый сверток, который Митя достал из своей котомки.

Евменид склонился над его плечом, полный самого живого интереса.

— Ну да, как мы и думали, чукотская грамматика с фонетикой и примерами — ну и забавники же.— И оба покатились со смеху, не выпуская, однако, из рук свертка.

— Вы лучше о Франции расскажите, а то нам идти надо будет,— не вытерпев, попросил Ваня.

— Да, да, расскажите, — поддержал его Митя. — После начитаетесь, эка невидаль — писаная бумага.

Братья неохотно оторвались от работы.

— Да что Франция, — начал Филострат.— Стоит себе на месте, никто ее не унес. Народ там только очень дурашливый, своего языка не знают. Мы говорим им правильно, как в книжке написано, а они не понимают и такое лопочут, что не разберешь. Намаялись мы с ними.

— А вы хорошо говорите по-французски? — поинтересовался Мезенцов.

— Сертенемент ноус парлонс трес биен, — с обидой ответил Евменид.

Митя посмотрел на Мезенцова, видимо гордясь своими приятелями.

— Как же вы ехали? Ведь больших денег стоит дорога? — спросил Ваня.

— Деньги были нам дадены, только мы на билеты их не гораздо тратили, вино уж там очень хорошо, а ехали больше зайцами. Подойдешь к кондуктору, скажешь ему, что, мол, русский, союзник, да бутылку из-под полы покажешь, он и устроит либо в товарном, либо в служебном отделении, а потом и сам придет вина попить да о России потолковать, почему, дескать, у нас царь да как лошадь по-русски называется. Любят они это.

— Ну, а в Тарбе дело устроили? — перебил Митя.

— А зачем же мы и ехали? Прибыли мы это в Тарб, у французского мужика остановились, богатый мужик, ему велено было нас принять. А потом и братья подъехали, они в Пиренейских горах живут, на манер как наши на Урале.

— О французах ты рассказывай, а о наших ни-ни, — предупредил Митя, покосившись на Мезенцова.

— Я что? Я ничего, — оробел Филострат, — я и совсем говорить не стану!

— Ну, ну! — крикнул Митя, и Филострат покорно открыл рот, ожидая вопросов.

— Какую же работу вы с ними делали? — спросил Мезенцов.

— Можно, — позволил Митя.

— Работу хорошую, — начал Филострат, — совсем хорошую работу. В давние времена за ихнего короля русская княгиня замуж вышла, Анна Ярославна. Так вот и понадобилось документики новые об ее царствовании составить, и что по-французски, так это они сами, а что по-русски — это мы.

— Вы что же, так хорошо историю знаете?

Филострат вздохнул.

— Где там. На медные деньги учены. Из головы больше. Язык тогдашний знаем да и письмо. Старой бумаги сколько угодно. Да только мало кто ее знает, историю-то. Все ученые больше по таким документикам работают, как наши.

— Неужто все? — усомнился Мезенцов.

— Все! Был в Париже один переплетчик, с веселыми братьями переписывался, так он один сто с лишком документов академии передал, деньги взял огромные, да попался потом. Или Чаттертон в Англии? Замечательный мальчик был. Да тоже не повезло ему, напутал-напутал, с нашими поссорился и отравился. А иные нарочно попадаются. Ганка-чех, что Краледворскую рукопись сочинил, сам приписал в конце по-латински «Ганка fecit», или Псалманазар.

— А это кто? — спросил с жадным интересом Митя.

— А это мне во Франции рассказали. Появился в Лондоне человек, немолодой уже, и говорит, что двадцать лет прожил посреди океана на острове Формозе среди тамошних диких племен. Говорит, что народ добрый и честный, только людоеды, потому что некрещеные. Миссионеров им надо. А это англичане любят. Сейчас деньги собрали, и начал этот самый, назвавшийся Псалманазаром, миссионеров формозскому языку учить. Учит-учит, все успехами их недоволен. Грамматику составил, словарь, трудный язык, ох трудный. Долго он это так забавлялся, а как умер, нашли у него завещание, что он и из Англии никуда не выезжал, а язык сам выдумал.

— Ловко, — захохотал Митя, — вот удружил.

— Сознаваться не надо, — сентенциозно заметил Евменид, — а то пользы для дела не будет.

— А есть такие, что не сознаются? — спросил Мезенцов.

— А как же. Я вам расскажу, потому что вы все равно не поверите. Возьмем, к примеру, «Слово о полку Игореве»: кто его сочинил, певец древний? Оно-то и правда что певец, да только не древний, а Семен Салазкин, сын купеческий, что всего полтораста лет тому назад жил. Мальчиком он убежал из дому, да так и жил, под крышу не заходя, то на Волге бурлачил, то на Дону траву косил, а зимой в Сибири бил куницу да соболя. И все песни пел, такие все забавные да унылые <?> сам придумывал. Один барин хотел его даже в столицу везти, в Академию представить, едва он убежать мог. Встретили его братья. Зря, говорят, болтаешься, к делу тебя приставить надо. Приставили к нему человека, чтобы ходил за ним, летописи старые ему читал да, что он сочиняет, записывал. Через год «Слово» и готово. Длиннее оно должно было быть, да только Сеню медведь задавил <?> — на спор с одним топором пошел против зверя. Переписали наши-то уставом да и всучили через разных людей господину Бобрищеву-Пушкину, а там история известная.

Мезенцов задумался. Он сопоставил рассказ Филострата с разговором, который он слышал под окном, и вдруг ему стало ясно, что действительно существует тайное международное общество, поставившее себе целью скомпрометировать всю европейскую науку, последовательно вводя в нее неверные данные. Но для чего, он не решился спросить в присутствии Мити, очевидно игравшего в этом обществе особую роль. Между тем Филострат подтолкнул локтем Евменида.

— Откройся им, они ведь братья, что скрывать.

Евменид закраснелся и потупился.

— Что такое? — настороженно спросил Митя — он всегда все замечал.

— Так, ничего... — начал Евменид.

Но Филострат решился.

— Не надо больше нашего общества, — торжественно объявил он, — и братьев можно распустить.

— Да вы что, ополоумели? — озирая то того, то другого, воскликнул Митя.

— Евменид Сладкопевцев доказал существование Бога, он величайший философ, — продолжал Филострат и остановился, наблюдая произведенное впечатление.

— Только-то, — с облегчением вздохнул Митя, — вот напугали! Ну, что там у тебя? — обратился он к Евмениду, комкавшему в руках какую-то бумажку.— Выкладывай, может быть, и пригодится.

— Прочти, прочти, Евменид, — ободрил брата Филострат. — Митя, он всегда зря зубы скалит, а другие поймут наверно. Да как и не понять, правда такая, что глаза режет.

— Это я уже тут на полянке составил, — извиняясь, произнес Евменид. — Брат птицу ловит на обед, а я картошку чищу да сочиняю. Как будто что и вышло: вот посудите сами.

И он начал:

— «Не с того дня человек пошел, как говорить научился, а с того, как Бога в себе открыл. Потому что язык что? И птица по-своему щебечет, и муравей усиками все, что хочет, может объяснить товарищу. А вот как Бога познала тварь, так и родилась заново и стала уже твореньем. Зверю открыты три измерения пространства. Возьмите, к примеру, лошадь на узком мостике через канаву. Видит она, что канава глубокая, и боится, видит, что мостик узенький, ступает осторожно, а когда берег близко, идет скорее. Значит, длину, глубину и ширину чувствует. А человеку открыта еще внутрина. Внутрь себя духовными очами проникать он может и тоже без конца, как по земным измерениям. Это и есть четвертое измерение, или, лучше, первое нового порядка, которое и есть Бог. И узнал тогда человек о новых существах, что одно другого диковиннее. Львы крылатые, сфинксы, колеса из глаз светящихся, всего и не перечесть. Где он их открыл, как не в себе самом, во внутрине своей божественной? И рисовал их, и лепил, и описывал, да так хорошо, как с живыми зверьми, что вокруг него ходят, не вышло бы. Только мало одного измерения, призраки от него родятся, да и то маловероятные. Затосковал человек по истине непреложной, и явил ему Господь наш Иисус Христос второе измерение иного мира, которое есть любовь. То-то радость пошла по всей земле. С двумя-то измерениями куда способнее. И цветочки иначе запахли, и птицы запели по-новому, а человек стал на земле как добрый хозяин. Чудеса совершаться начали заместо появленья призраков. Только что чудеса, когда

хочет душа незыблемого. Опять затосковал человек, и начал ему открываться Дух Святой, третье измерение, слово которого еще не сказано и неведомо, какое оно будет. А как откроется, так и станет человек жить в новых трех измерениях, а о старых забудет, как о сне полуночном. И ничто из того, что его прежде томило и заботило, уже не затомит и не озаботит. Потому что это и есть истина». Вот как бы вступление, а дальше я подробно обо всем рассказываю.

И Евменид остановился, ожидая одобрения. Ванино лицо раскраснелось от волнения, как лицо отрока в огненной пещи. Мезенцов тщетно ломал голову, стараясь вспомнить источники, из которых выросла эта странная теория. Филострат захлебывался от благоговейного обожания перед братом.

— Много, поди, картошки перепортил, такую ерунду сочиняя? — воскликнул Митя и зевнул.

— Почему ерунду? — в один голос спросили оба брата и Ваня.

— А что, дело разве? Ну, пойдемте, товарищи, не век же нам с длиннополыми сидеть.

— Нет, ты погоди, ты объясни сначала, а то облаял, да ушел.

— Да чего объяснять-то? Вот вы на счете здесь все основываете, а не чуете, что счет—грех великий, сатанинские разделения. Как посмотришь на травку, на облачко, на девушку да на самого себя, так и увидишь, что это все единое всегда было и всегда будет, потому что Бог засмеялся. А с вашим счетом до такого дойдешь, что лучше не говорить.

— А до чего, к примеру?

— Фу-ты, ироды! И какой же дурак вас в общество взял, вам бы сапоги шить да в колокола звонить. Бога из цифр вывели, так за Богом еще что-нибудь выводить начнете. Цифрам-то конца нет. Вот вы все три да три. Так пожалуйте и три мира подавайте, земной, Божеский и еще какой. Когда люди умнее были, так жгли за такие штуки. Ересь это, и злейшая.

— Выходит, что так,— убитым голосом простонал Евменид. — Что же теперь делать?

— Да вот в Казань пойдете, выпьете по дороге, может, влюбитесь опять. Много человеку дела и без выдумок разных. Потому голова зря наверху, она самое что ни на есть глупое в человеке.

— А сочинение порвать?

— Зачем рвать, может пригодиться. Перепиши его, как надо, да и выдай за чье-нибудь.

— И то, — обрадовался Евменид, — может, как паскалевскую рукопись, вновь найденную, пустить? Он же и математик. Другим слогом изложить, и пойдет.

— Нет, брат, — оживленно ответил Филострат, — это скорее Лактанцием пахнет, он такие размышления любил. Скажем, на Афоне нашли список.

— Ну, уж я там не знаю, кому, да и некогда мне, — объявил Митя. — Разбирайтесь сами. Идем, идем, товарищи, путь немалый. А вам спасибо, что повеселили.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

В Мамаево пришли поздно ночью. Этот тяжелый, словно налившийся нездоровым светом день совсем обессилил Мезенцова. С полдороги у него разболелась голова, одеревенели ноги, и сам он както опьянел от проглоченной пыли и горького запаха сохнущих трав. Митя тоже что-то присмирел и больше не привязывался и не ласкался. Только Ваня был по-прежнему розов и ясен, как венециановский юноша. Казалось, ни солнце его не обжигает, ни пыль на него не садится.

Светила полная луна, но село было тихо, точно вымерло. Ни одного огонька в окнах, ни одного запоздалого прохожего. Даже собаки не лаяли почему-то. Только на крыльце одной избы тихонько плакал шелудивый ребенок, словно не решаясь войти в дверь. Он заплакал сильнее, когда Митя спросил, где его мамка. Однако, пройдя половину улицы, путники услышали странный шум, доносившийся с противоположного конца села. Казалось, работала какая-то паровая машина, мельница или молотилка, работала с перебоями, визгом, ревом. Мало-помалу уже можно было различить топот ног и пронзительное бабье пенье. Навстречу пробежал мужичонка в рваном армяке. Шапку он держал в руках, и на лице его было написано отчаянье, смешанное с безграничным восторгом. «Гуляет... не дай Бог как гуляет», —

пробормотал он и скрылся. Наконец в поле за деревней Мезенцов увидел огромный молотильный сарай, из которого и доносился весь шум. Перед дверью были в беспорядке навалены, очевидно поспешно выкинутые, земледельческие орудия и несколько снопов, а в щели лился яркий свет. Этот свет почти ослепил путников, когда они вошли. Внутри было по крайней мере человек триста. Мужики с раскрасневшимися от вина и духоты лицами жались по углам, принарядившиеся парни собирались кучками, а перед ними пели осипшими уже голосами и плясали бабы и девки в огненно-ярких кумачных платках. Пеньем управлял низенький лысый человечек с лицом подрядчика и в поддевке из тонкого сукна.

А посредине комнаты, совершенно один перед накрытым столом, сидел мужчина лет тридцати пяти, бывший центром общего внимания. Мезенцову сразу бросились в глаза его бледное, слегка опухшее мускулистое лицо, иссиня-черные волосы и усы и самоуверенный, почти дерзкий взгляд. Позднее он разглядел черную тужурку с форменными петлицами, выдававшую в их владельце инженера путей сообщения. На столе стояла наполовину пустая бутылка шампанского и большой золотой кубок из тех, которые назначаются призами или дарятся на товарищеских проводах.

— Кто это? — шепотом спросил Мезенцов у соседнего мужика, но не получил ответа, потому что все вдруг замолчали — это сидевший поднял руку и устремил взор на вошедших.

— Привет вам, гранды Испании! — загремел его голос. — Откуда и куда направляете вы стопы?

— Мы люди прохожие, — хмурясь, отвечал Митя: видно было, что приветствие ему не понравилось.

— Прохожие, иначе проходимцы. Ну а знаете ли вы, кто я?

— Откуда нам знать?

— Павла Александровича Шемяку не знаете? — и сидевший оглянулся вокруг, как бы ища сочувствия своему негодованию. — Инженера путей сообщения? А Сольвычегодско-Мамаевскую железную дорогу кто вам построит? Кто изыскания третьего дня закончил — птица? Нет, извините, не птичка, а я. Все теперь у вас будет: и книги, чтоб девкам папильотки закручивать, и калоши, чтобы падеспань танцевать, граммофо-

ны, вино, сардинки и сифилис. Приобщитесь к культуре, а мне уж позвольте погулять. Позволяете, да? Правда? Ну, благодарю вас!

Он вежливо поклонился и вдруг крикнул, обращаясь к подрядчику:

— Афанасий Семенович, а ну, мою любимую!

Афанасий Семенович неистово взмахнул коротенькими ручками. Бабы и девки грянули хором, невыразимое презрение слышалось в каждой их интонации:

Если барин без сапог,
Значит, барин педагог.

«И... ах!» — рявкнули мужики.

Если барин брехать рад,
Значит, барин адвокат, —

продолжали женщины уже с тайным сочувствием. «И-ах!» — громче орали мужики.

Если барин всем пример,
Значит, барин инженер, —

тянули женщины, и благоговейный восторг перед воспеваемым сделал на мгновение их осипшие голоса почти приятными. «И... и... и...» — залились мужики, приседая от напряжения, с выпученными, как на хлыстовских раденьях, глазами. Шемяка слушал, прищурясь и наклонив голову.

— Хорошо, — с чувством сказал он и залпом опорожнил кубок, который сейчас же снова был наполнен услужливым Афанасием Семеновичем из бутылки, стоявшей под столом.

Но Шемяка больше не стал пить. Он поймал движение путников, повернувшихся было к дверям, и остановил их вопросом:

— Куда это? Ты, розовый, иди сюда, выпей.

Сразу десятком услужливых рук Ваня был выпихнут на середину сарая.

— Выпей, выпей, — повторял Шемяка настойчиво, заглядывая ему в глаза.

Ваня слегка побледнел и сжал губы.

— Не хочу вашего вина,— сказал он вдруг негромко, но твердо.

— Нет? Гнушаешься? — ласково продолжал Шемяка. — Ну, все равно! Видишь девок? Выбирай какую хочешь себе на ночь! Я скажу, любая пойдет.

Девки хихикнули, а некоторые и оробели.

— Не надо мне и девок ваших, — как бы на что-то решившись, громче ответил Ваня.

— Да ты что, обалдел? — зашептал ему Афанасий Семенович, но притих от гневного жеста Шемяки.

— И девок не хочешь? Так, так! — задумчиво повторял инженер. — Чем же мне тебя подарить? Деньгами разве.

Он засунул пальцы в жилетный карман, нетерпеливо выбросил на пол несколько десятирублевых бумажек и наконец достал совсем новенькую, похрустывающую пятисотенную.

— Вот, возьми. Избу новую поставишь, лошадь купишь. Не все в грязи-то жить, с хлеба на квас перебиваться. Или — ты человек молодой — в Москву поезжай, учиться, в люди выйдешь.

Среди мужиков пронесся завистливый ропот. Девки придвинулись ближе.

— И денег ваших не хочу! — просто крикнул уже совсем бледный Иван.— Ничего, ничего, потому что вы — диавол!

Толпа замерла.

— Что? — удивился Шемяка, как-то странно подмигнув.

Ваня в отчаянии оглянулся. Сзади стоял, слегка согнувшись, Митя и держал руку за голенищем. Это его ободрило.

— Потому что вы диавол,— повторил он медленно, словно не своим голосом.

И только в этот миг Мезенцов заметил, отчего так светло в сарае. Во все стропила, балки, притолоки были воткнуты церковные свечи — копеечные, пятикопеечные и толстые рублевые. Нагретый воск душистыми белыми слезами капал на грязный пол и спины крестьян. Видно было, что Афанасий Семенович не останавливался ни перед чем, чтобы угодить своему господину.

— А ведь верно! — вдруг крикнул Шемяка с просветлевшим лицом и ударил ладонью по столу. — Как это никто не догадался, ты один? Эй, вы, паршивцы, отвечайте, — обратился он к толпе, — дьявол я или нет?

— Точно так, батюшка Павел Александрович, дьявол, — низко кланяясь, загудели мужики.

— А вы, бабы, как думаете?

— Дьявол, батюшка, как есть дьявол!

— Ну, а Афанасий Семенович, значит, Вельзевул?

— Он самый, родимый, сразу видать.

Афанасий Семенович озирался сконфуженно и отирал пот с лысины. Шемяка засунул руку в карман и вытащил горсть полтинников и рублей, среди которых темнели и золотые.

— Подбирай уголечки. — И он швырнул деньги в метнувшуюся толпу.

Митя воспользовался общим смятением, подхватил под руку Ваню, дернул за полу Мезенцова, и все трое оказались на воздухе. Луна уже зашла за тучу, и звезды казались особенно крупными и неподвижными.

— Переночуем в поле, — предложил Митя, — теперь тепло.

— Где мы были? — словно спросонья спросил Ваня, проведя ладонью по лицу.

— Где? — передразнил Митя. — Знать, в аду. Ты, растяпа, думал, что ад с печами да с котлом на манер бани, а он вот какой.

И Мезенцов почувствовал, что ни за что в жизни не вернулся бы он сейчас в этот сарай.

— Странники, странники, подьте сюда, — послышался за ними задыхающийся шепот, и, обернувшись, они увидели чистенькую, но странно чем-то взволнованную старушку, похожую на просвирню.

— Куда еще, тетка? — сурово спросил Митя. — Некогда нам.

— Ахти, Господи, — всплеснула руками старушка. — Человек погибает, можно сказать, а они кобенятся. Подьте, подьте.

И так убедителен был ее испуганный голос, что уже через минуту путники оказались в низенькой, душной, полной народа избе, куда еще доносились крики и топот Шемякина торжества. Здесь были только старики и старухи, седые, благообразные. Вздыхая и охая, они наклонялись к широкой лавке, стоявшей у дальней стены под образами. А на лавке, страшно выпятив волосатую грудь и закатив глаза, извивался худой чернобородый почти нагой мужчина. Во рту его

была пена, зубы скрежетали, ногти впивались в ладони, так что шла кровь. Шесть человек с трудом удерживали его в лежачем положении.

— Что это с ним? — разом спросили Митя и Мезенцов. Ваня все еще не мог отойти после разговора с Шемякой.

— Третий день этак мается, — зашептали вокруг.

— Да из-за чего?

— Кто ж его знает, сердешного. Кто говорит, Имя Господне похулил, кто что.

— Да вы расскажите по порядку.

— Расскажи им, дядя Анисим, они в святых местах бывали, может знают, — раздались голоса.

— Третий день эдак, — начал дядя Анисим, красивый, похожий на Серафима Саровского старик. — Спервоначалу огнем его прохватывало, инда дымился весь. На вторые сутки стал как лед, холодно трогать было, тряпками обворачивали. Полчаса руку над свечой держали, закоптела вся, а как стерли сажу-то, такая, как была. А теперь червь неуемный гееннский точит его, боимся, как бы не отошел. Да вот, глядите сами, — воскликнул он, указывая на лежащего.

То, что увидел Мезенцов, и тогда и после казалось ему сном, так это было необычно и в то же время потрясающе реально. Толпа отхлынула от лавки, старухи — охая и причитая, старики — крестясь. Больной приподнялся и схватился обеими руками за сердце, лицо его стало зеленоватого цвета, как у мертвеца. Казалось, что его поддерживает только неизмеримость его муки. А изо рту его, зажимая стиснутые зубы, ползло что-то отвратительное стального цвета, в большой палец толщиной. На конце, как две бисеринки, светились маленькие глазки. На мгновение оно заколебалось, словно осматриваясь, потом медленно изогнулось, и конец скрылся в ухе несчастного.

— Рви, рви! — взвизгнул Митя и, схватив одной рукой червя, другой уперся в висок больного. Его мускулы натянулись под тонкой рубашкой, губы сжались от натуги, но червь волнообразными движениями продолжал двигаться в его руке, как будто она была из воздуха. Больной ревел нечеловеческим ревом, зубы его хрустели, но вдруг он со страшным усилием ударил Митю прямо под ложечку. Митя отскочил, ахнув. А червь высвободил хвост, причем он оказался слегка

раздвоенным, и скрылся в ухе. Как заметил Мезенцов, он был немногим больше аршина.

— Видели, видели? — зашептали кругом старики.

Митя с искаженным от боли и злобы лицом держался за живот.

— А вы причащать пробовали? — спросил бледный Ваня.

— Можно ли? — усомнился дядя Анисим. — Ведь его не отысповедуешь, кричит.

— А вы глухую! — предложил Ваня.

— Разве что так, — зашептали кругом. — Тетка Лукерья, ну-ка, сигани за попом.

— А вы до сих пор и попа не позвали? — с оттенком презрения над их темнотой <?> |спросил Ваня.

— Был поп-то, в первый день был! Говорит, лихоманка у него, оттого и жар. Молебен, говорит, за здравье отслужить можно бы, да придется подождать — все свечи, какие были, Павел Александрович, инженер наш, забрали. С тем и ушел.

— А шут с ними, — озлился Митя. — Свечи поотдавали, червя в человека впустили, а мы расхлебывай. Айда, ребята, в поле спать, а то и рассветет скоро.

Они вышли среди недовольного ропота толпы, по дороге своротили, чтобы не встретиться с попом, шедшим к больному, — дурная примета — и, дойдя до канавы, растянулись вповалку. Уже потянуло холодком, восток светлел, издали послышалось густое мычанье, и засыпающий Мезенцов представил себе землю огромной ласковой коровой, а себя теленком, припадающим к ее плотным, теплым сосцам.

ГЛАВА ПЯТАЯ

С каждым днем все ясней и ясней синели горы, покрывались темными пятнами лесов, перерезывались серебряными нитями потоков, и по утрам восточный ветер приносил чужие и веселые запахи Азии. Давно Мезенцов докурил все свои папиросы, потерял вконец истрепавшегося Ницше и сломал зубную щетку, но ему радостно было, подобно странствующему рыцарю, идти от чуда к чуду. Раскрыть секрет беленького

старика — ведь это же задача достойная сэра Галаада и самого неистового Роланда. И вдруг пошел дождь.

Дождь в этой стране безмерностей, где бураны засыпают целые деревни, где грозы вытаптывают леса, как табун лужайку, подлинное стихийное бедствие. Стало холодно и душно, как в погребе. Трава, словно сделавшись ядовитой, приобрела нездоровый, яркий блеск. И вода зажурчала по колеям, унося жуков и бабочек, которых, нагибаясь, старался вылавливать Ваня, любивший всякую тварь. Митя поглядывал на тучи с видом Ноя, предчувствующего всемирный потоп.

— Надо прятаться, — объявил он, — через два часа будет ни пройти ни проехать.

Невдалеке виднелась деревня.

— В нее не пойдем, — решил Митя. — Что нам в избе делать, клопов кормить, что ли? Тут есть чайная, там по крайней мере сладенького выпьем да граммофон послушаем.

Чайная стояла за деревней, на краю большой дороги. Была она низенькая и закопченная, но внутри чистая и пахнущая особым приветливым и свежим запахом, так свойственным хорошо вымытым деревянным домам. Хозяин, степенный бородатый мужик, заметив на Мезенцове остатки городского костюма, указал путникам на господскую половину, отделенную от черной только разорванной ситцевой занавеской. Но Ваня, увидав там диван и пару кресел, оробел и замялся у входа. Митя, заслыша в задней комнате женские голоса, конечно, направился туда, и Мезенцов один, с наслаждением растянувшись на диване, погрузился в ставшее для него теперь обычным занятие, которое с каждым днем он ценил все выше, — лежать и ни о чем не думать. Ему нравилось открывать в этой области новые, как ему казалось, приемы и возможности. Смотреть на какую-нибудь вещь, случайно оказавшуюся перед глазами, и уверять себя, что она и есть самая драгоценная в мирозданье и что ради нее и только благодаря ей и существует все остальное. Воображать, что он уже умер, распался на атомы и теперь цветет какой-нибудь араукарией в Мексике, стоит розовым облаком над Пекином, бродит белым медведем в Ледовитом Океане — и все это одновременно. На этот раз он принялся повторять Бог знает почему припомнившееся ему слово «мяч» и уже через

несколько минут почувствовал, что этот мяч, сперва только отвлеченный, стал воплощаться с неистовой стремительностью. Вот он заслонил Митю и Ваню, чайную, всю Россию и на мгновение заколебался на земле, как зловещая ее опухоль. Но мгновение прошло, и уже земля стала его опухолью, а потом пригорком, песчинкой, пылинкой на его буйно растущей поверхности. Уже нет ни времени, ни пространства, ни вечности, ни бесконечности, а только один мяч и один закон его головокружительного возрастания. Когда Мезенцов очнулся от этого кошмара, уже смерклось, и хозяин, зажигая висячую керосиновую лампу, бормотал под нос, как бы не обращаясь к Мезенцову: «Бог знает, что там на дороге, лошадь не лошадь, медведь не медведь. Ваши товарищи глядят, пошли бы и вы».

Мезенцов вышел на крытое крыльцо. Шел тот же свинцово-серый дождь, и дорога блестела, как широкая река. Все попряталось: собаки, куры, коровы, и в этом унылом запустении по дороге со стороны Урала медленно и неуклонно двигалась какая-то темная туша, действительно похожая на вставшего на дыбы медведя.

— Мужик, — сказал долгозоркий Митя. — Это Ваня тут невесть что придумывал, а я сначала говорил, что мужик.

— Да, но какой, — оправдывался Ваня, — пожалуй, хуже иного прочего. Ты погляди, как он идет.

Мезенцов осознал справедливость этого замечания, когда путник поравнялся с чайной. Действительно, он с каждым шагом уходил выше колена в топкую грязь и с каждым шагом вырывал ногу, словно молодое деревцо, и, несмотря на это, пел задорно, громко и невнятно — Мезенцов разобрал только фразу: «Ой, други, ой, милые, кистеньком помахивая». Огромный рост и черная курчавая борода, закрывавшая до половины его грудь, делали его похожим на крылатых полулюдей-полубыков Ассирии. Он не удостоил взглядом ни чайную, ни стоящую перед ней группу и уже прошел, когда Митя крикнул ему:

— Зайди, дядя, что тебе по грязи шлепать, посушись.

— А для ча? — повернулся тот, и Мезенцов увидел грозные светлые глаза, как у полководца в решительный час генерального сражения. — Что я, баба, чтобы дождя бояться?

— На бабу ты действительно не похож, — критически оглядывая его, сказал Митя, — а так, зайдешь расскажешь что.

— Некогда мне со всякой шушерой язык трепать,— последовал грубый ответ, и прохожий, увязнувший благодаря остановке почти по пояс, рванулся, словно лошадь от каленого железа, и действительно вырвался.

— Водки выпьешь,— крикнул ему вдогонку Митя, который не любил отказываться от своих прихотей.

— Ставишь?

— Ставлю.

— Четверть?

— Куда тебе, облопаешься.

— Не твоя печаль.

И прохожий, не обтерев ног, похожих от налипшей грязи на слоновьи, вошел в чайную.

19. ДЕВКАЛИОН

Прикованный к скале Прометей имел сына, царствовавшего в Фессалии. Его звали Девкалион.

В это время люди с помощью Прометеева огня принялись за дела, которые не могли нравиться Зевсу: осушали моря и когда небо покрывалось густыми солеными облаками строили такие огромные башни, что они мешали земле крутиться вокруг солнца, заставляли слушать себя всех зверей, не только ручных, но и диких. Набожный Девкалион много раз пытался останавливать их, но они в ответ только грозили ему и даже хотели прогнать. Наконец, совсем огорченный, он пошел посоветоваться с отцом. Прометей со своей скалы видел много из того, что делается на небе, да и орел не только клевал его печень, а нет-нет, и рассказывал о чем подумывает Зевс. Карабкаясь по отвесным скалам, Девкалион услышал пенье, которым узник коротал свое время. На этот раз он пел:

Гибель близка человечьей породы,
Зевс поднимается ныне на них.
Рухнут с устоев шумящие воды,
Выступят воды из трещин земных.

Смерти средь воя и свиста и стона
Не избежит ни один человек,
Кроме того, кто из крепкого клена
Во-время выстроит верный ковчег.

В этот миг мелькнула широкая тень, это орел яростно бросился на поющего, он не любил мелодии человеческого голоса. Девкалион не стал дожидаться и, поспешно спустившись, направился к себе. Но когда он собрал своих подданных и приказал им выстроить кленовый ковчег, они подняли его насмех. «Строить надо из камня и железа, — говорили они, — а деревья годны лишь для того, чтобы гулять между ними весной, а зимой топить ими печи». А в рассказ о приближающемся потопе и вовсе не поверили.

Н. Гумилев

ДРУГИЕ РЕДАКЦИИ И ВАРИАНТЫ

В данном разделе помещаются все варианты стихотворных произвдений Гумилева зафксированные по его прижизненным публикациям и сохранившимся автографам.

Варианты приводятся согласно порядку строк в основном тексте произведения. Под номерами строк в левой колонке указывается источник варианта, оговоренный в комментариях. Если он не указан, это означает, что источник тот же, что и для предыдущего фрагмента.

Если текст ранней редакции коренным образом отличается от окончательного, он воспроизводится целиком.

5.

вместо 1—5 автограф	Золотым ослепительным полднем въехало семеро рыцарей крестоносцев в узкую пустынную долину восточного Ливана. Солнце метало разноцветные лучи, страшные как стрелы неверных, кони были измучены долгим путем над обрывами и могучие всадники еле держались в седлах, изнемогая от жажды и зноя. Знаменитый граф Кентерберийский Оли-
7	девушки ошеломленные неистово пряным и томящим индийским вет-
9—11	сознавая, что уже не подняться им больше и не сесть на коней, и что жажда подобно огненному дракону, свирепыми лапами став им на грудь, разорвет им пересохшее горло. И лежали, покорные.
14—16	братья во Христе, восемь дней как, отстав от нашего войска, мы блуждаем одни и два дня тому назад мы отдали последнюю воду нищему прокаженному близ высохшего колодца Мертвой Гиены. Но если мы
20	чий кустарник, и один за другим стали подниматься его товарищи,
вместо 22—23	вином в голубых изукрашенных залах византийского императора.

между 23—24	*абзац отсутствует*
24—35	И странно, и страшно было бы на душе одиноких пилигримов или купцов из далекой Армении, если бы случайно проходящие, увидели они семерых безвестно умирающих рыцарей и услышали бы их покорное тихое пенье. Но внезапно слова их гимна прервал приближающийся топот коня, звучный и легкий, как звон серебряного меча у пояса архистратига Михаила. Нахмурились строгие брови молящихся и их души, уже склонившиеся в мягкие сумерки смерти, омрачились при мысли о ненужной встрече. Перед ними на повороте ущелья появился неизвестный рыцарь, высокий и стройный, красиво-могучий в плечах, с опущенным забралом, над которым свивались страусовые перья, и в латах чистого золота, ярких, как блеск звезды Альдебаран. И конь золотистой мастн дыбился и прыгал и еле касался копытами мертвых утесов.
между 35—36	*абзац отсутствует*
между 39—40	*абзац отсутствует*
40	Одетый в золото осадил коня и наклонил копье как бы перед началом
43	нул слова, издавна принятые на турнирах:
47—49	Неожиданный подул откуда-то ветер, принеся освежительную прохладу, внезапно окрепли мускулы доселъ бессильных рыцарей, и огненный дракон жажды перестал терзать их горло, сделался совсем
вместо 51	таились мохнатые тарантулы и смертельно-жалящие скорпионы.
вместо 58—60	молодое лицо красоты совершенной, глаза, полные светлой любовью, щеки нежные, немного бледные, алые губы, о которых столько мечтала Святая Магдалина, и золотистую бородку,

между 61—62 — *абзац отсутствует*

вместо 63—67

чить их страдания и разделить забавы, хотя мистический восторг и захватил их души, повлек их к доныне неизвестным путям.

Так ураган в открытом море схватывает беспечных искателей жемчуга, чтобы повертев их, оробелых, среди изумрудных брызг и клокочущей пены, бросить потом на отлогий берег Островов Неведомого Счастья.

Полные чувством благоговения и таинственной любви к своему против-

вместо 69—96

Первым вышел для борьбы герцог Нотумберлендский, но не помогли ему ни руки, бросавшие на землю первых силачей, ни очи, для которых надменные дамы при дворе веселого короля Ричарда одевали свое юное тело в дорогие шелка. Он был выбит из своего узорного седла и покорно отошел в сторону, удивляясь, что его сердце, несмотря на пораженье, сияет лучами. Его товарищей, одного за другим, постигла та же участь. И когда золотой незнакомец, со смехом, веселым и [чарующим как лютня менестреля] нежным повалил барона Норвичевского, последнего вышедшего против него, огромного и могучего, как пиринейский медведь, все рыцари согласно решили, что еще не поднималось сильнее копье ни в далекой Европе, ни на мертвых равнинах песчаной Сирии, ни на зеленых полях Эздрелонских.

За турниром должен следовать пир; таков был обычай в железной Нормандии и старой веселой Ангии. Захваченные странными чарами рыцари не удивились, когда на место их копий, воткнутых в трещины скал, поднялись цветущие пальмы с обольстительными спелыми плодами, подобными тем, что манили на загадочном Древе Жизни, посреди прохладной равнины [между] омываемой Эфратом и Тигром.

И прозрачный ручеек выбежал из голой скалы, звеня [как бронзовые запястья любимейшей дочери арабского шейха] и блестя серебром. Было весело пировать, отдыхая, петь военные песни, говорить о любви и о славе.

Золотой победитель сидел со всеми, и ел, и пил, а вечером, когда зашептались далекие кедры и теплые тени

[похожие на огромных синих бабочек] все чаще и чаще стали ласкать лица сидящих, он сел на коня и поворотил за угол ущелья. Остальные, как завороженные последовали за ним туда, где уже возвышалась широкая и отлогая лестница из мрамора белого с голубыми прожилками, ведущая прямо на небо. Тяжко зазву-

98—103 золотистый. Неизвестный рыцарь показывал путь и скоро уже совсем ясно стали различаться группы немыслимо-дивных деревьев, утопающие в ровном синем сиянии. Где-то свирельными голосами пели ангелы. Навстречу едущим вышла нежная и благостная Дева, больше похожая на старшую сестру, чем на мать Золотого Рыцаря Иисуса Христа.

104—110 *отсутствуют*

16.

вместо 1—186 автограф

II

С неделю мы пробыли около В. Ночи оставались в обширных, но грязных фольварках, где угрюмые литовцы на все вопросы отвечали неизменное «не сопранту»[1] (не понимаю). Спали по большей части в сараях, причем я узнал, что спать в соломе хотя и хорошо, но холодно, если же спать в сене, то наутро измучаешься, доставая из-за ворота колючие стебельки. Дни проводили за такими же фольварками, то прикрывая работающую артиллерию, то выжидая моменты для небольшого набега. Дул пронизывающий западный ветер. И, наверно, странно было видеть от понурых лошадей сотни молчаливых плясунов с посиневшими лицами.

Наконец пришло отрадное известие, что наша тяжелая артиллерия пристрелялась по сильным неприятельским окопам в Ш. и, по словам вернувшихся разведчиков, они буквально завалены трупами. Было решено предпринять общее наступление.

Невозможно лучше передать картины наступленья, чем это сделал Тютчев в четырех строках:

---

[1] nesuprantu (лит.) [ня супранту]

...Победно шли его полки,
Знамена весело шумели,
На солнце искрились штыки,
Мосты под пушками гремели...

Я сомневаюсь, чтобы утро наступленья могло быть не солнечным, столько бодрости, столько оживления разлито вокруг. Команда звучит особенно отчетливо, солдаты заламывают фуражки набекрень и молодцеватее устраиваются в седлах. Штандарт, простреленный и французами и турками, вдруг приобретает особое значение, и каждому эскадрону хочется нести его навстречу победе. В первое наступление мы закладывали розы за уши лошадей, но осенью, увы, приходится обходиться без этого. Длинной цепью по три в ряд въехали мы в Германию. Вот где-то сбоку затрещали винтовки, туда помчался эскадрон, и все стихло. По великолепному шоссе, обсаженному столетними деревьями, мы продвинулись еще верст на десять. Повсюду встречались фермы, именья, но жителей почти не было видно. Они бежали, боясь возмездия за все гнусности, наделанные нам во время нашего отступленья,— за подстреленных дозорных, добитых раненых, за разграбленье наших пограничных сел. Немногие оставшиеся стояли у ворот, робко теребя в руках свои шапки. Понятно, их никто не трогал. Особенно мне запомнилась в окне одного большого помещичьего дома фигура сановитого помещика с длинными седыми бакенбардами. Он сидел в кресле, с сигарой в руке, но [в глазах] густые брови были нахмурены, и в глазах светилось горестное изумление, готовое каждую минуту перейти в гнев. «Серьезный барин,— говорили солдаты,— такой выскочит да заругается — так беда. Должно быть, из генералов!»

Глухой удар и затем легкое протяжное завывание напомнили мне, что я не турист и это не простая прогулка. То заговорила царица боя, легкая артиллерия, и белый дымок шагах в двадцати перед нами доказал, что она заговорила на этот раз серьезно. Но кавалерию не так легко уничтожить. Не успел прогреметь второй выстрел, как полк раздробился на эскадроны, и эти последние скрылись за фольварками и буграми. Немцы продолжали осыпать шрапнелью опустевшее шоссе до тех пор, пока их не прогнала зашедшая им во фланг другая наступательная ко-

лонна. После этого маленького приключения мы около часа ехали спокойно, как вдруг услышали вдали нескончаемую пальбу, словно два сильные отряда вступили между собой в ожесточенную перестрелку. Мы свернули и рысью направились туда. За пригорком перед нами открылось забавное зрелище. На взорванной узкоколейке совершенно одиноко стоял горящий вагон, и оттуда и неслись все эти выстрелы. Оказалось, что он полон винтовочными патронами и немцы в своем поспешном отступленье бросили его, а наши подожгли. Иллюзия боя получилась полная.

Стало свежей, и в наплывающем [воздухе] сумраке стали кое-где выступать острые лучики звезд. Мы выставили на занятой позиции сторожевое охраненье и поехали ночевать. Биваком нам служило в эту ночь обширное покинутое имение. Поставив коня в дивной каменной конюшне, я вошел в дом. Передние комнаты заняли офицеры, нам, нижним чинам, достались службы и отличная кухня. Я занял комнату какой-нибудь горничной или экономки, судя по брошенным юбкам и слащавым открыткам на стенах.

18.

1—8 автограф 2 В Восточной России вообще, а в Пермской губе
рнии в частности бывают летние ночи, когда полная луна
заставляет совсем особенно пахнуть горькие травы, когда
не то лягушки, не то ночные птицы кричат слишком на-
стойчиво и тревожно, а тени от деревьев шевелятся, как
умирающие великаны. Если же вдобавок шумит вода, сбе
гая по мельничному колесу, и за окном слышен внятный
шепот двух возлюбленных, то уснуть уж никак невозмож
но. Так по крайней мере решил Николай Петрович Ме
зенцов, приехавший в этот глухой угол собирать народыне
сказки и песни, а еще

11 Он проснулся, затонав от отвращения, когда большой
рыжий таракан, противно шелестя

16—25 Маше и не одну книжку Ване поэтому нашел, что он вправе
послушать в час бессонницы их беседу. Да и какие тайны
могла бы иметь эта милая пара, — он запевала старообряд
ческим <...>, розовый и кудрявый, как веницановский

мальчик, она — спокойная и послушная с вечно сияющими, как в праздник, глазами.

Одна только тень нависла над их любовью — в образе Мити, ловкого парня с красным насмешливым ртом и черными, жескими, как у грека или цыгана, волосами. Взялся он неизвестно откуда, попросился переночевать, це лый вечер шушукался с Ваней, а потом и застрял. И стал Ваня после этой беседы сам не свой. Щеки его еще порозовели, глаза

автограф 3

THE JOYFUL BROTHERHOOD

In eastern Russia are nights when the full moon distils strange perfume from the rank grasses; when the — God knows what — toads and perhaps night birds cry in weird, wailing tones; when the shadows of the trees stir like dying giants. If at the same time a millstream rumbles noisily past and lovers whisper beneath your window, is not sleep impossible?

Mesentzeff found it so.

Ostensibly he had come to this far off village to collect peasant lores and songs; but in reality drawn by that desire to wander common to all town bred Russians. He had been awakened by a cockroach rustling horribly across his face and could not get to sleep again: so lay, held in the grasp of the unquiet night.

In the window whisperings he recognized the voices of Masha, his landlord's daughter and of Vania, her betrothed, who worked at the mill as the miller's adopted son. Mesentzeff had been encouraging the young couple's courtship. He had given bright coloured ribbons to the girl and books to her lover. Accordingly he considered himself entitled to while away a few moments of sleeplessness by listening to their talk. Besides, what secrets could these children have?... Vania the composer of hymns and sacred songs, curly and rosy cheeked as a Venezianovsky painting; and Masha, the gentle and obedient, with bright eyes and dark skin revealing her Tartar or Indian blood.

One shadow there was on their romance; a shadow thrown by the presence of another lad. Mitia was smart looking,sharp red-lipped and black haired like a Greek or gipsy. No one knew where he came from when, on his first appearance he had asked to be allowed to pass the night at the mill. All the evening he and Vania had whispered together in a corner. Eventually he stayed.

From that hour Vania became a different person. His cheek grew redder. His eyes shone more brilliantly. But he no longe worked so well. He became lazy and heedless and almost ceased making love to Masha.

When the newcomer was asked what province he came from and whether he had passports, he replied that he was a traveller and that for passport he carried a sharp blade in his hip pocket.

The police came to see him, but he made them drunk and sent them away unanswered.

«He's not a man. He's a disaster» said the old miller and Mesentzeff agreed. Mitia ignored the townsman quite openly, parrying his questions with jokes which were sometimes offensive, but always witty. Mesentzeff knew too little of rural Russia as yet to be afraid of him; but the first words he caught from the window awoke his suspicions and made him listen more attentively.

«You are going away, won't» sighed Masha. «You are going away and you won't say where?»

«You're a funny lass. How can I tell you if it is a secret?».

«I know. I know. Mitia has led you astray»

«Mitia is no worse than other people.»

«He is a vagabond, a highway robber.»

«If everyone was a highway robber like him, the devil wouldn't dare go about the roads so freely as he does now»

«So he fights the devil?»

«Now look ye, lass, you mustn't cross examine me. All that I may, I'll tell you of my own accord. The real fight has begun. God has been forgotten in the villages and in the towns are people who do not even believe in him. I know it is so; for I have read in their books that the world was not made in six days and that Adam and Eve never existed. Long ago when good men were more plentiful, folk who thought such things were burnt or put in prison. Only

nowadays you can't reach them. They are too high up. They are leaders, teachers of science; great generals. The good men have to take other ways. They have determined to act cleverly so as to bring the wicked to confusion. After all Satan is only cunning. He is not really clever. He falls into any trap set for him; and when his followers are beaten, we shall be able to say, «Look at your great men. They know nothing. They are as ignorant as new born babes.» And the devil will be forever ashamed.»

«What are you going to do then?»

«I shall have my place. I write songs and Mitia told me songs might be useful to the Joyful Brotherhood. Besides I know the works of the Holy Fathers thoroughly, which is also very necessary.»

«This is not a good undertaking.»

«It is too late to discuss that now. I have made up my mind. If you like, I'll read you the poem I wrote today.»

«Do Vania! But speak gently. The gentleman is asleep overhead.»

Masha had lowered her voice and Mesentzeff felt rather ashamed of his eavesdropping. Vania began in a low, crooning voice:

«You are my angel» by the tone of her voice Masha was close to her beloved. «Go where you wish. Everything you do will be well done. I will wait for you like the princess in the fairy tale and you will surely come back. Such a love as mine must draw you home to me.»

«No, don't wait for me, Masha. I will never come back to you» was the quiet answer.» «What is the use of my coming back? Mitia is your lover.»

«What did you say?»

«He told me so himself the day before yesterday. It was how he persuaded me to go with him.» «It isn't true!» panted Masha. «I had a vision, but it's not true. It's not true.»

«Perhaps he lied.» Vania's voice was hopefully doubtful. «In that case I can stay here.» «Listen and I will tell you the truth. I have not inned. He has been making love to me, flattering me; staring at me with his bright eyes. I used to hide from him and never thought of evil. The day before yesterday I was sewing by the window. The sun was already behind the forest. There was no one near. Suddenly I felt a strange faintness come over me and I saw a woman exactly

like myself, another Masha, walking in the brushwood at the window and neither of us knew which was the real woman. At that moment Mitia appeared in the ndergrowth and laughed. «Come here, my beauty» he said. «Don't be frightened. The real Masha is up there in the room.» When I heard that I went to him. I felt no fear and no shame.

I knew I was alone with my work and could even see the needle moving, But I could hear sounds of kissing and the words spoken in the wood made me shy. I don't know how long it lasted. I woke up when father came in and it was time to light the lamp.»

«How much sewing did you do?» asked Vania, but only the sound of sobbing answered him. «You see. You see. Mitia lied not to me but to you when he said your real self was in the room. Only your shadow was there. How can I come back to you?»

There was a long pause and then the voice of Masha saying hopelessly,

«No, you cannot come back. With such a shame I cannot live.»

«Yes, you will. If you hadn't begun to cry, you might have done something desperate, but tears dissolve sorrow. Good bye! It is beginning to get light and Mitia is waiting for me. And don't think I am angry, dear, because I am never that.»

Mesentzeff heard movements below the window and went to the back of his room. He was agitated and upset by what he had overheard. He felt he should do something to help the lovers. Was it possible that a cultivated man, a student of Psychoanalysis, a persistent reader of fiction, should be incapable of putting to rights this rustic tragedy? He laid down, following the Russian townsman's habit of thinking better in that position.

Vania must be persuaded not to attach too much importance to the involuntary infidelity of his fiancée. Her soul was as pure as ever. Or Masha must be made to find in herself the strength to appear indifferent and by some woman's wile bring her lover back to her. Or again Mitia must be stopped showing his white teeth like a bulldog in an old engraving; and forced to hide the three foot knife that stuck out from his pocket like the fantastic branch of a tree...

When Mesentzeff awoke, it was day. Someone knocked at the door. «Get up, Sir,» said the voice of his landlord.

«Masha has just been taken out of the water. She is all cold. Perhaps you can help us.»

Mesentzeff struggled hastily into his clothes and came out. On the turf near the house, surrounded by a group of compassionate peasants, Masha lay stretched. Her wet dress clung closely to her body. Her head lay upon her clasped hands and she looked more like a sleeping boy than a woman. Mesentzeff bent over her, meaning to apply the various means he had vaguely heard of for restoring the drowned to life. But he sprung back shocked. On one of Masha's half-opened eyes, a lady bird was walking. It crawled very slowly, slipping like a tear of blood.

The tiny detail sheowed Mesentzeff there was nothing more to do. He unconscicusly made the sing of the cross and as though waiting for the signal, the women began to weep.

«Does Vania know of this?» asked Mesentzeff of the stunned and horrified miller.

«No. We can't find him anywhere.»

«And Mitia?»

«Who? What? Oh! Mitia — he has gone off too.»

Mesentzeff gave a half groan. He realized that all this had happened because of his sleeping so shamefully; because he had let the lads leave and neglected the girl in the hour of her mortal distress. With the usual weakness of man, always seeking to justify himself by accusing others, he felt a sudden hatred for Mitia. It was Mitia who had seduced Masha, had dragged Vania away on a more than doubtful path; and was even now dancing through the green pastures seeking further crimes to commit.

Mesentzeff was inspired with a strange desire for action. At least the red-lipped brigand could be overtaken and convicted of Masha's death; convicted too in the presence of Vania who apparently was a friend of his. Only in this way Mesentzeff thought he could free himself from the stain of circumstantial if unintentional complicity.

Two roads led out of the village: one went to the far off town where Mitia had come from and the other to the immense wilderness of prairie and forest beyond which on clear days floated the blue summits of Ural, like pale clouds on the horizon. The latter was of course the way to go,

Mitia being unlikely to return so soon to a place he had once left. He certainly did not give that impression.

Half an hour later with a small bundle under his arm containing a toothbrush, a hundred cigarettes and a volume of Nietzsche, Mesentzeff set off at the double quick pace which according to the drill-book is not tiring. However, after threehours of this he stopped and hailing a passing cart begged the driver to take him up. Three hours later he was set down at a cross-roads and continued his journey on foot, inquiring of every rare passer-by whether he had not seen two young men, the first pink and charming looking, the other sunburnt and evil faced?

It was already dark and Mesentzeff thinking of finding a village to rest in, when in answer to his stereotyped inquiry, a man sitting on the side of the road exclaimed familiarly, «An evil faced man? Perhaps you mean me?» It was Mitia.

«Where is Vania?» asked Mesentzeff curtly, not deigning to greet his enemy.

«That's no affair of yours,» sneered the other. «What do you want with him?»

«I am going to tell him that Masha is dead and that you are her murderer.» Mesentzeff's voice was menacing and had its effect.

«Hush! Hush!» whispered Mitia rising hastily to his feet and approaching Mesentzeff. «Don't shout so loud! So she committed suicide? Did she hang herself?»

«She threw herself in the river.»

«It's the same thing. You mustn't tell Vania on any account. I know him. He'll go off to the monks. And stay there all his life, the conscientious donkey!»

«He would be perfectly right» said Mesentzeff. «It is his fault almost as much as yours, if the poor girl is dead.»

«I'll take his share of the sin. I'm not afraid of Hell!»

«But Vania must know about it» insisted Mesentzeff angrily, «if only that he may tell you what he thinks of you.»

«None of that» cried Mitia and a knife gleamed in his hand. «You will go back where you came from, now, immediately, or...»

«What, you here my good Sir?» interrupted Vania's gentle tones. «It is pleasant travelling, isn't it? The weather is so beautiful. Mitia had sat down to smoke a cigarette and I was hunting for wild strawberries. Look how big and sweet they are. Will you taste one?»

«Listen, Vania —» began Mesentzeff, «I have something very serious to tell you...»

«I say Vania,» interrupted Mitia in his turn,» do you know that this gentleman has decided to come along withus and see all the interesting things; visit to make the acquaintance of our brotherhood and visit our wonderful city in the mountains? But to allow it, we must impose a few conditions. Leave us a moment. You are in the way. Trot off for another little walk...»

«All right» answered the unsuspecting Vania, «but hurry up, for it's time for supper.»

And he strolled away eating his strawberries. «Look here, Sir,» began Mitia in persuasive accents, «I won't touch you. I'm not as bad as you think. But don't tell Vania yet about Masha. You may tell him tomorrow ...later... meanwhile I promise to show you in return things that you dwellers in towns don't even suspect the existence of. The peasants have the appearance only of being simple. Once try and see them as they really are; and all your life long you'll not forget the experience. You will see a town too that is on no map and which is of more importance to the world than Moscow. And though you don't like me, I will be a good friend to you.»

Mesentzeff was too mentally tired to pursue the drama...besides at the back of his mind was the recollection of Mitia's knife, which he had no wish to see again. His ethnographical curiosity was aroused, moreover, and he could not let slip the opportunity of a unique adventure that might establish his fame for ever in the 4th department of the Academy of Science at Petrograd.

«Very good» he answered sharply. «I will not speak tonight: only don't forget, Mitia...» he stopped, not knowing how to frame his threat and Mitia seemed satisfied...
«Then let's have supper,» he cried. «There is bread and onions. What more can a man want?».

II

By following the high road, Mesentzeff, Mitia and Vania came in sight of the village of O... In the course of the last few days, Mitia had become wonderfully sweet in his manner to Mesentzeff, much to the latter's surprise. He smoked Mesentzeff's cigarettes, showed him how to keep warm when they slept at night in the open fields and once a in sudden

burst of confidence, after first begging permission with an appealing glance, rested his head on the other's knee. Mesentzeff felt flattered, though ashamed to admit it even to himself.

The red twilight was too red, the heat overpowering. A fetid wind covered the road with little columns of dust, spinning slowly. The peasants say that if these columns are cut with a sickle or scythe, a drop of blood remains upon the steel.

Vania picked blades of grass and chewed them, murmuring, «My soul glorifies the Lord» while Mitia scanned the horizon, his hand raised to protect his eyes, for the sun was quite low.

«What a sky! what a sky!» he exclaimed at last, rubbing his palms together in glee.

«Why, what a sky?» asked Mesentzeff who was getting tired.

«Arrayed by prayer, burnt by fire, and scarred by the flight of dragons! In the olden times the dragons flew freely about Russia. trying to catch the Russian maids. The men were not worth much. It's only the legends that make them out to be heroes; but the girls!... Nowadays there are none like them. The dragons were eagles; red, red eagles, flecked with blue... They had tails like horses and beaks like martins and this was their fate. When a dragon carried away a maid beyond the Caspian and fed on the sweet-tasting crab-apples of her breasts, the girl died. And when the girl died, the dragon died also. That is why the race has disappeared. Maids are common, but dragons are rare.»

«That's all nonsense» said Vania.

«It may be nonsense; but old people will tell you so; and Vania is not a universal genius or an Aristotle!» replied Mitia sharply and almost immediately burst out again in a jo oyful tone: «There's Misha. The dove is out of his cote! He must have discovered something.»

On the outskirts of the village a figure rather resembling a bear was limping at a slow pace towards the travellers.

«A cripple!» thought Mesentzeff surprised; though when the figure came nearer he saw it had no infirmity whatsoever. Sometimes Misha walked dragging his feet one after the other behind him, sometimes quite normally. At one moment his arms would hang forward limply and at another be hunched up, his shoulders touching his ears. His swollen eyelids seemed to conceal a fell disease. It was

almost alarming when he opened them and disclosed a pair of clear, grey eyes. He was advancing now in strange fashion, sideways, like a crab. Having reached the travellers, he hesitated and stopped shyly.

«Good day, my beauty,» said Mitia, embracing him. «How's the work getting on?»

«The work is all right. There is nothing the matter with the work» said Misha, rubbing his cheek where Mitia's lips had touched it. Presently, seeming to gain courage, he bowed low before Mesentzeff and Vania.

«Forgive me» he murmured.

«What's the matter with you?» cried Mitia. «These are friends» and turning to his companions, he went on: «He's afraid lest you should think ill of him because of his feet and arms. But why should you? What's the use? Who knows if we are better than he? Well, my pigeon, take us home!» And he put his arm round Misha's neck in his most caressing manner.

The hut they were taken to was large and well lit. The window curtains were of cheap stuff but of pleasant colour and gracefully complicated design. On the walls were rough, highly tinted reproductions of the Battle of Plevna, the last Judgment and the Princes of Bova. All was neat and simple until a visitor came in sight of en object as out of place and unexpected in such surroundings as a peacock's tail on an ox, or a dog sitting on a. tree top. On a large table in a corner stood a complete chemical laboratory!...

On the table was also a spirit lamp such as is used to heat coffee and over it a number of tiny phials in which an evil looking mixture was being concocted. Among a number of crystals, lay aimlessly, half a herring.

«This must be the last survivor of the Ancient Order of Alchemists,» thought Mesentzeff, «searching I presume for the philosopher's stone.»

Very respectfully, Mitia went to the table.

«Is it boiling?» he inquired, touching a crucible. «Doesn't it burst sometimes?»

«Why should it burst?» growled Misha.

«When will it be finished?»

«In another two years perhaps.»

«But you tried before? How often does this make?»

«The third time.»

«So it will have taken, six years altogether.»
«Why only six? Why not sixteen? The task is very difficult.»
«Well, well no doubt it'll succeed some day and then the whole machine begins working. Go on! We won't stop you. We're only staying the night and tomorrow morningc will bid you 'good bye!' Where do the girls meet hereabouts at night?» he concluded unexpectedly.
«What girls? Why should they meet? They must work and sleep: that's all... But they meet on the bridge, suppose: where else?»
«And which way is the bridge?»
«To the left.»
«Well, let's be off, children, or we shall be interfering with our brother here. We've walked all day and I must dance.»
Mesentzeff would have liked to remain and talk quietly to the alchemist. But realizing that Mitia would never allow it, he followed the others, determined to escape later unnoticed.

«Forgive me!...»

The words came in low tones and Mesentzeff turned to find Misha close behind him. The peasant looked like a wild beast that had been only recently trapped; awkward, half-cowering and hunch backed, with tufts of rough hair on a still youthful face. Mesentzeff thought of the laboratory and of his own strong desire to fathom the mystery. He glanced about him.

Mitia was dancing ecstatically, his eyes closed like those of a nightingale entranced by its own song. From him there was nothing to fear at present. As to Vania, he was watching the dancer, on his face a smile of perfect beatitude.

Mesentzeff and Misha slipped away. Through back gardens where nettles stung them and their feet splashed in filth, they reached Misha's hut. Inside, Misha, having barred the door, stood humbly beside his guest, awaiting his pleasure.

From the peasant's manner, Mesentzeff judged him to be by no means whole hearted in the cause (whatever it was); and that if not a traitor to the brotherhood, was at least

an uncertain member of it. He determined to carry the situation by assault.

«What are you concocting over there?» he asked, pointing to the laboratory.

Misha did not reply.

«The philosopher's stone?»

«Eh?»

«The philosopher's stone that turns iron to gold.»

Misha shuddered. «Heaven help me! How could I? If I tried a thing like that, I should be rotting in Siberia ... Are such things possible?» He stopped indignantly and Mesentzeff realized his mistake.

«Listen, Misha», he said more gently. «I am not an enemy. Be frank with me. I hardly know Mitia. His affairs are no business of mine and to tell you the truth they don't please me.»

«They please only the devil,» wailed Misha

«I know some work, some task has been set you, but I don't know what it is. Tell me. I might be of use to you.»

Misha looked pained and embarrassed. He was trembling all over.

His lips and eyebrows, even his ears twitched; or so it appeared to Mesentzeff... «Be kind to me!» he implored in an almost feminine tone of appeal. «I see you are a gentleman, neither a peasant nor a Christian. If I had been only educated at the elementary school or university, I should be someone. Ever since I was a child, I have known how to count. Before I could walk, I could do figures. We had seventy-three men in our village and I wanted to know how many there would be in seventy-three villages. God is witness that I succeeded in finding out! My mother beat me, but never cured me of the habit. When I learned to read, it got worse. I used to calculate the number of people now on the earth and the number there were in the time of Jesus Christ. I began the elementary school, but never finished it. I wasn't able to do other work, and my mother needed me at home. She was just getting me a wife when the terrible thing happened. A man game to our house to spend the night. He looked like a pilgrim, but he was not a pilgrim. He was a scoundrel! He admired my gift for figures and one morning persuaded me to go away with him, God knows where. He had lots of money! We went in a two horse carriage ... I have never

travelled that waybefore or since. We took trains and boats and came at last to a village in the mountains, a very rich village, full of new houses and big pink faced women. I was taken to the chief, a little white old man. I nearly fainted with fear when I saw him. Every man is sometimes sad and every man is sometimes angry, but one could see that this man was never angry, never sad. Looking at his joyful, quiet face gave me the shivers down my back and yet I don't know why I was frightened. He heard me make some calculations and nodded his head to show he was satisfied. «You will be the greatest of us all», he said, «when you have accomplished the task.You will live in the richest house and have a wife of your own choice. Then you will rest till the time comes for the second task and after that live happily amongst us for ever.» But he was wrong. I could never live with him, I am a serious minded man and during all the three weeks I was in that place, the people danced and sang as if it were the devil's masquerade! It was there I first met Mitia. He isn't clever enough to be given a special task, but he goes from place to place through Mother Russia watching the workers and engaging new ones. Be careful of him my good Sir! He is a dangerous man and his knife is sharp as a razor...»

«But what work did they give you?» asked Mesentzeff impatiently.

Misha was almost in tears. «They put me to chemistry.It requires a head for figures. Have you heard of a certain Lavoisier? He is a science man from France and has proved that nothing is lost in nature, not a single grain of dust. If you burn a match, it becomes ash and smoke, but if you collect the ash and smoke and know how to put them together again scientifically, you can remake thematch all complete as it was before. That's ingenious, isn't it? I have tried the experiment here and it came out quite correct. «Well» they said, «you know the formula. You know how to remake the match. Prove it cannot be done. Disprove Lavoisier. He says nothing is lost. Prove theopposite. Because if matter can be done away with, matter does not truly exist, and that proves the existence of God». The damned devils! Can one prove the existence of God by chemistry? It is in the heart that one finds God. «You think that way» said they, «but some men

think otherwise. We are working to prevent those men from forgetting God». How can one get on with such people?»

«What is the second task?» inquired Mesentzeff.
«It is still more complicated. The world spins round the sun,» they said. «You know how to prove it; so prove the contrary. Copernicus and Galileo are not authorities on the subject, for they did not believe in God.» Who am I, to contradict great men? Great lords and professors and government ministers have toiled to invent things, and I, an ignorant peasant, am to lay traps for them! If I were to succeed, how should I dare look in their honest, reproachful faces? I would die of shame if they said to me, «Thank you Misha, for the good turn you have done us.» But I must work or the Brotherhood will murder me. This is the sixth year I have been working.»

«Have you found a solution?»

Misha looked away for a moment in silence.

«Well not exactly» he said at last unwillingly. One can find out, but I don't try very hard. When things begin to grow clear, I upset a glass or let the papers fall into the fire. It looks like an accident and meanwhile the work makes no progress. I'm not altogether without a conscience. I've one consolation. My enemies are in no hurry. «Work away, Misha,» they say, «ten years, thirty years, no matter so long as you succeed! And a gipsy told me I should die before my hair turned grey!»

There came a knock at the door. Misha grew shy again at the sound and timidly unbarred it. Vania appeared.

«That's how it is, is it?» he exclaimed with a sudden assumption of superiority. «You're together and Mitia told me not to let you talk to each other! However I'm not his spy. He can look after you himself if he wants to instead of playing about with the girls like a billy goat. All the same you had better come away, Nicolas Petrovitch, or he'll suspect you and he can be very nasty.»

Mesentzeff realized the excellence of the advice and left the cabin. The flames of sunset were by now burnt out: only one red bar hanging smouldering over the blue sea of mist. Mesentzeff thought of Petrograd. An uncontrollable desire swept over him to be in the city, to jump into a taxi

and give the comforting order «To the Hotel d'Europe». What more was he to wait for? What more surprising anyway than the peasant chemist extending mercy to Lavoisier and all science?

But just at that moment he heard Mitia's voice; and his detestation of the man gave him courage and the determination to persevere in getting through the hornets' nest, and to declare the death of Masha to the world. It would be interesting to see what the «white and joyful» old man thought of it!

Mitia was standing at the further corner of the house. He was not alone, for Mesentzeff heard the fresh voice of a girl raised in supplication.

«My diamond prince! Stay one day more! How can I live without you?»

«As you did before.»

«Then why did you dance with me like that? Why did you speak as you did?»«Dancing is good for the young ... and words... what are words? ... birds that fly away and are never seen again.»

«Listen, I have never loved before. Come with me. My mother does not expect me home.»

«No, no I don't want you. I have a sweetheart already, a long way from here ... Several! I am a hawk and you are a crow. Find a mate of your own kind. Leave the hawk alone. Hullo! Tears? What's that for? Aren't there plenty of men in this world? Let me go. Here are my friends.»

Mesentzeff had coughed to attract attention and Mitia immediately appeared. His face was still bright with the pleasure of dancing and only his eyebrows showed him to be annoyed, a slight frown adding to his beauty. On catching sight of Mesentzeff he smiled. «Why aren't you in there whispering with Misha, Nicolas Petrovitch?»

Mesentzeff did not reply. They went into the hut together and started making arrangements for the night. Covering the plank floor with rags and coats they rolled saddle cloths into pillows. Like all men of genius Misha was a poor host. His guests threw themselves on to their own improvised couches and the cabin was in silence. In one corner burned the tiny flame of the sacred icon, in another the laboratory lamp.

Vania was already asleep when Mitia raised himself on one elbow and whispered. «Misha,Misha,doesn't the policeman worry you?»

«No!» came the gruff answer.

«How's that?»«He's a chemist himself.»

«The policeman?» «Yes,he puts mushrooms or willow leaves into spirits and calls it mushroom or willow wine. He thinks himself a great chemist and believes he is to get the Academy prize. He's a very good fellow.»

«Well, well, sleep in peace.»

As the travellers prepared to start next morning, Misha came up to Mesentzeff and showed him an old book bound in sagreen. «They gave me that to learn chemistry from» he said shyly. «But there's not much in it. I found out more for myself.»

Mesentzeff glanced at the headings. «Have you no others?» he asked, very much surprised.

«No, they promised me some, but so far haven't sent them.»

«Come on, come on» shouted Mitia from without.

«It is an old book, but perhaps that is as well ...»

«Farewell, Misha, work hard!» came from outside.

КОММЕНТАРИИ

Художественная проза Гумилева занимает более скромное место в его наследии, нежели поэзия и драматургия. Тем не менее, это весьма важный аспект в деятельности великого художника слова, и относительная скудость в настоящий момент исследовательских материалов, обращенных к этому кругу произведений, нельзя объяснить иначе как досадным историческим недоразумением, обусловленным во многом, конечно, труднодоступностью их для читателей и исследователей в годы тоталитаризма.

При жизни Гумилева его прозаические вещи появлялись только в периодике и были собраны воедино лишь в посмертном сборнике «Тень от пальмы» (Пг.: Мысль, 1922), где не было обозначено ни имени составителя — Г.В. Иванова, — ни источников публикации, ни дат.

Состав ТП (в скобках указываются номера рассказов в настоящем издании):

Радости земной любви. *Три новеллы* (23)
Принцесса Зара (52)
Золотой рыцарь (28)
Последний придворный поэт (48)
Черный Дик (39)
Дочери Каина (32)
Лесной дьявол (62)
Скрипка Страдивариуса (57)
Африканская охота. *Из путевого дневника* (100)
Путешествие в страну эфира (108)

О реакции современников на появление ТП судить сложно: ни о каком широком публичном обсуждении произведений поэта, казненного «за участие в заговоре против Советской власти», конечно, речи быть не могло. В настоящее время известно лишь два кратких отзыва — В.А.Рождественского и В.А.Итина (оба подписаны инициалами) Уместно отметить, что коммунисту Вивиану Азарьевичу Итину эта заметка в 25 строчек стоила жизни: через пять лет (!) после ее выхода в «Сибирских огнях» (1922. № 4. С. 197), он был вызван на пленум Сибирского краевого комитета партии и «разоблачен» там как «неблагонадежный в политическом отношении» — за сочувствие «контрреволюционеру»; позже Итин был арестован и умерщвлен в лагере (см.: Зобнин. С. 20-21). В заметке Итина о ТП говорится буквально следующее: «Рассказы Гумилева слабее [чем его поэзия], в них мы находим слишком явное подражаение Эдгару По. <...> Но все же ясный и бесстрастный эстетизм поэта, радостно принимающий всякую жизнь, чувствуется и в этих произведениях. «Мне отрубили голову, — снится ему в одном из этих рассказов, — и я, истекая кровью, аплодирую уменью палача и радуюсь, как это просто, хорошо и совсем не больно».К несчастью, сон оказался вещим.

Значение Гумилева и его влияние на современников огромно. Его смерть и для революционной России остается глубокой трагедией. И никто, надеюсь, не повторит вслед за поэтом: «Как все это просто, хорошо и совсем не больно» (Русский путь. С. 484—485).

Более пространная заметка В.А.Рождественского (см.: Книга и революция. 1923. № 11—12. С. 63), к счастью, не имела таких страшных последствий, быть может еще и потому, что ее автор не касался обстоятельств публикации ТП и не делал каких-либо обобщений, связанных с реальным воздействием творчества Гумилева на современников, хотя и он оценил прозу поэта достаточно высоко: «С первой же страницы рассказов Гумилева кружит голову мальчишески веселая радость произносить звонкие имена, стучать рыцарскими латами, соперничать со Стэнли на пути к еще не найденным рекам. Все мы знаем Гумилева поэта, блестящего визионера и выдумщика.., и только немногие помнят его живой голос, те пленительно-невероятные истории, которые этот суховато-сдержанный человек умел рассказывать с истинно гимназической пылкостью». Рождественский полагал собранные в книге произведения «записью устных рассказов», «потускневших в печати», ибо «автор спрятал свой живой голос за стилистическим приемом и каждому сюжету постарался найти каноническую параллель. «Радости земной любви» — это новеллы итальянского Возрождения, «Последний придворный поэт» — Андерсен и Уайльд, «Черный Дик» — Р.Л.Стивенсон (кстати, один из любимых авторов Гумилева). Вполне самостоятельны «Лесной дьявол» и «Африканская охота». <...> Некоторые новеллы явно относятся к эпохе «Жемчугов» (1910 г.) и отражают ту юношескую экзотику и эротику Гумилева, которые он в «Костре» и «Огненном столпе» преодолевал лирикой простоты».

Как видно, в ТП не были включены ни самые ранние, «символические» произведения Гумилева, появившиеся в 1907 г. в журнале «Сириус», ни «Записки кавалериста» (которые, хотя и были доступны на момент публикации, но являлись с таковым «политически несовместимыми»), ни неопубликованные «Африканский дневник», «Черный генерал» и «Веселые братья» (последние два вообще находились в зарубежных частных архивах). Что касается самого сборника, то он был издан крохотным тиражом и мгновенно разошелся, осев в собраниях библиофилов и библиотечных хранилищах, ставших через какое-то время наглухо закрытыми для «непосвященных». В тех же хранилищах находились и периодические издания, содержавшие первые публикации гумилевских рассказов. В результате уже для следующего читательского поколения Гумилев-прозаик как бы не существовал, ибо, говоря современным языком, в читательском обиходе просто не было «физических носителей» подобной информации. Такое положение вполне устраивало официальную советскую историю литературы, одной из приоритетных задач которой уже с конца 20-х гг. была бескомпромиссная борьба с «огромным влиянием» Гумилева на его читателей. Методика тотального «замалчивания» была бы здесь, конечно, самым эффективным средством подобной борьбы (многие из читающих эти строки, вероятно, помнят не столь далекие времена, когда Гумилев являлся главной «священной

тайной» истории отечественной словесности XX в., времена, когда все — от любопытствующих школьников и студентов до обычных интеллигентных обывателей — как бы чувствовали, что в ней «что-то есть», но толком не знали — «что» именно, ибо даже произнесение вслух самого имени «Николай Гумилев» каралось вплоть до заключения в тюрьму). «Замолчать» Гумилева-поэта не удавалось — единственно из-за того, что невозможно было изъять из свободного хождения (хотя такая задача была официально поставлена перед органами государственной безопасности — см.: Азадовский К.М. Как сжигали «серебряный век» // Невское время (СПб). 2 июля 1993), прижизненные издания, широко разошедшиеся по всей территории СССР и ежегодно генерирующие тысячи «самиздатовских» рукописных копий. Поэтому поэзия Гумилева еще упоминалась — разумеется в крайне негативной оценочности — в вузовских учебниках и специальных научных изданиях (см.: Воронович В.Н. Отечественная литература о Н.С.Гумилеве (1905-1988 гг.): Материалы к библиографии // Исследования и материалы. С. 641-650). Гумилев же прозаик массовыми прижизненными тиражами издан не был, — и «фигура умолчания» соблюдалась в отношении этой части его наследия неукоснительно.

Западное литературоведение молчало о прозе поэта по той же причине —этих текстов в *нормальном* научном обиходе просто *физически не было* вплоть до выхода в 1968 г. IV тома СС: обыкновенное *прочтение* любого из них требовало отдельной специальной подготовки — либо визита в крупнейшие национальные книгохранилища Франции, Англии, Америки, либо — поездки в СССР с полученным допуском работы в закрытых фондах крупнейших же библиотек.

Г.П.Струве и Б.А.Филиппов совершили подвиг, издав в 1962-1968 гг. четырехтомное Собрание сочинений Гумилева. Для Гумилева-прозаика это было в прямом смысле слова «вторым рождением»: только с 1968 г. его проза получила читателя (в том числе и в СССР, поскольку даже за «железный занавес» единичные экземпляры СС все-таки проникали — и тут же становились источниками массового «самиздата»; до того даже «проникать» было нечему).

Г.П.Струве не ограничился переизданием ТП: в СС IV были впервые изданы единым текстом «Записки кавалериста» (правда с большим количеством ошибок), переиздан фрагмент ранней повести «Гибели обреченные» (первая часть) и очерк «Умер ли Менелик?». Ранее Г.П. Струве издал переданный ему Б.В.Анрепом в составе «лондонского архива» Гумилева текст неоконченной повести «Веселые братья» (в сб.: Неизданный Гумилев. «Отравленная туника» и другие неизданные произведения. Нью-Йорк: Изд-во имени Чехова, 1952); в СС IV это крупнейшее прозаическое произведение позднего Гумилева стало достоянием массового читателя. В 1984 г. в материалах подпольных «Гумилевских чтений», переданных из СССР на Запад их организаторами В.Порешем и В.Мартыновым и опубликованных в № 15 «Wiener Slawistischer Almanach» были переизданы (под рубрикой «Юношеские рассказы») очерк «Карты» и рассказ «Вверх по Нилу», а уже после «реабилитации» Гумилева в СССР, в 1987 г., в журнале «Огонек» (№ 14 и 15) состоялась публикация «Африканского дневника». В Соч II вся, известная на дан-

ный момент художественная проза поэта была собрана воедино, причем текст повести «Гибели обреченные» публиковался полностью, а тексты «Африканского дневника» и «Записок кавалериста» были заново сверены с первоисточниками и существенно скорректированы. В настоящем томе впервые полностью публикуется текст последнего по времени написания из известных на настоящий момент прозаических произведений поэта — рассказа «Девкалион». Не исключено, что со временем могут быть найдены и новые неопубликованные художественно-прозаические произведения Гумилева, в частности, находившийся в архиве Ахматовой и украденный у нее «Египетский дневник» Гумилева (см.: Бронгулеев. С. 112).

Обобщая сказанное, можно заключить: Гумилев-прозаик стал в полной мере известен лишь читателям 80-х годов XX века. Эти произведения не просто «выдержали испытание временем». Прозе Гумилева выпала уникальная судьба: созданная в первые десятилетия XX в. и адресованная по замыслу автора к читателям той поры, она нашла свою реальную массовую читательскую аудиторию лишь полвека спустя, буквально с кровью прорвавшись к ней через глухой государственный запрет агрессивного тоталитарного режима, — и завоевала эту аудиторию, разошедшись в десятках изданий конца XX — начала XXI вв. Это надо учитывать тем современным исследователям, которые до сих пор, с настойчивостью, достойной лучшего применения, проводят в своих работах мысль, что Гумилев «не успел» состояться как прозаик. К глубокому сожалению, от этого странного заблуждения оказался несвободен и автор комментариев к Соч II, утверждая во вступительной заметке, что «Гумилев не дожил до своей лучшей прозы» (Соч II. С. 424). Действительно, печальная особенность русской литературы состоит в том, что ни Пушкин, ни Лермонтов, ни Гумилев «не успели состояться как прозаики», — если сопоставлять количество написанного ими в этом роде с наследием плодовитых отечественных беллетристов, — и нет никаких сомнений, что, проживи они дольше, мы располагали бы сейчас прозой лучшей, чем «Капитанская дочка», «Герой нашего времени» и «Записки кавалериста». Однако то немногое, что они успели сделать за отпущенный им невеликий жизненный срок, все-таки составляет эпохи в развитии национального художественного мировосприятия, и в таковом качестве требует известного исследовательского пиетета.

Самые ранние опыты Гумилева-прозаика относятся, по свидетельству А.И.Гумилевой, еще к «петербургскому» гимназическому периоду (1894 -1899): в школьном рукописном журнале он «поместил свой рассказ: нечто, похожее на «Путешествия Гаттераса». Там фигурировали северные сияния, затертый льдами корабль, белые медведи» (Жизнь поэта. С. 22). Мать поэта сообщила его первому биографу, П.Н.Лукницкому и круг чтения, формировавший вкусы юного Гумилева: помимо традиционных для подростков Жюля Верна, Фенимора Купера и Густава Эмара (прочитанных, впрочем, как это можно понять сейчас, под несколько иным нежели традиционный для его сверстников углом зрения) — Андерсен, книга которого стала первым по времени и любимым на всю жизнь чтением (Там же. С. 18), а позднее (в четырнадцать лет, по свидетельству самого Гумилева) — О.Уайльд (Там же. С. 25). Из

русских авторов в этот же период абсолютным и безусловным приоритетом пользовались Пушкин и Лермонтов (последний, впрочем, в меньшей степени; первого же в двенадцатилетнем возрасте Гумилев не только читал сам, но и буквально заставлял читать всех своих товарищей-гимназистов — см.: Указ. соч. С. 21).

Если мы посмотрим на дальнейшее развитие Гумилева, имея в виду поэтику первых из известных нам его прозаических произведений — «парижских рассказов» 1907-1908 гг., — то нельзя не отметить, что в материалах, повествующих о его духовном становлении в подростковые и юношеские годы, отсутствуют данные о сколь-нибудь значительном влиянии на него прозы «классического» русского критического реализма XIX века. От Пушкина, увлечение которым осталось на всю жизнь («Он благоговел перед Пушкиным и... прекрасно его знал» (Жизнь Николая Гумилева. С. 31)), Гумилев, взрослея, как бы делает в своих вкусах «временной скачок» к поэтам-модернистам (зарубежным и русским) 70-х — 90-х гг. — Бодлеру, Рембо, Верлену, В.С.Соловьеву, Брюсову, Бальмонту, чуть позже — Блоку и Белому. Ни Гоголь, ни Тургенев, ни Достоевский, ни Толстой, ни даже Чехов (не говоря уж о менее значимых прозаиках этой эпохи) в активном читательском обиходе Гумилева — ученика средних классов 1-ой Тифлисской гимназии и старших — царскосельской Николаевской мужской гимназии, — не фигурируют. Конечно, он их читал. «Он поражал своей исключительной памятью и прекрасным знанием русской классической литературы, — свидетельствует О.Л.Делла-Вос-Кардовская. — Вспоминается, как он однажды спорил с Анненским о каких-то словах в произведении Гоголя и цитировал на память всю вызывавшую разногласие фразу. Для проверки мы взяли том Гоголя и оказалось, что Николай Степанович был прав» (Жизнь Николая Гумилева. С. 31.) Однако на уровне сознательных пристрастий юного Гумилева это мало отразилось. Зато проза «фаворитов» детских лет на «модернистском» фоне была переосмыслена: вместо «занимательной содержательности» на первый план теперь выходит «стилистика как таковая». Это касается и Андерсена, и Уайльда; в 1900-е гг. к ним безусловно прибавляются Эдгар По и Стивенсон, вероятно — Проспер Мериме. Все это — мастера совершенно иного типа художественной повествовательности, нежели тот, на котором воспитывались старшие современники Гумилева. Можно сказать, что освоение «заветов мастерства» этих европейских писателей и стало тем горнилом, в котором выплавлялся собственный гумилевский прозаический стиль, самыми яркими чертами которого станут, во-первых, отсутствие ярко выраженной авторской рефлексии непосредственно манифестированной в тексте (в виде лирического отступления, «внутреннего монолога» героя и т.п.), во-вторых, характеристика объекта художественного созерцания исключительно через объективную детализацию повествования, посредством действия (или вербального императива), поступка, жеста, — и в силу этого постоянная «новеллистическая» сюжетность текста, доходящая до «анекдотичности», и, в-третьих, предельная поэтическая точность и «словесная скупость», демонстрация факта, а не объяснение его, решительный отказ от «автокомментариев» в повествовании. «Изящество языка в полной мере соответствует идеальному типу героев и неординарности запечатленных

событий, — писала Е.Подшивалова, — Поэтому новеллы звучат как предание. Когда читаешь рассказы, включенные в книгу «Тень от пальмы», не покидает ощущение гармонии. И хотя наш сегодняшний опыт сформирован в большей степени другой прозой, эта восхищает мастерством, этой наслаждаешься как состоявшимся произведением искусства» (ОС 1991. С. 23).

Действительно, «другая» — т.е. классическая русская проза второй половины XIX в. является стилистическим антагонистом раннего Гумилева-прозаика. Но это не означало, что Гумилев порывал с национальными традициями, просто его преемственность здесь восходила, так сказать, «поверх барьеров» критического реализма — *непосредственно к Пушкину*. Именно Пушкин-прозаик ближе всего в истории русской словесности стоит к европейской «новеллистической» повествовательности, причем эту уникальную особенность пушкинского творчества Гумилев сознавал с предельной отчетливостью. Скажем более: эта «отчужденность» Пушкина-прозаика от той «магистральной» стилистической тенденции, которая и ассоциируется с «великой русской прозой», была для Гумилева проблемой, тесно связанной с проблемой *личного* самоопределения. В этой связи крайне любопытен монолог Гумилева о Лермонтове и Пушкине, сохраненный в мемуарах И.В.Одоевцевой: «Мы привыкли повторять фразы вроде «Пушкин — наше все!», «Русская проза пошла от «Пиковой дамы»». Но это, как большинство прописных истин, неверно.

Русская проза пошла не с «Пиковой дамы», а «Героя нашего времени». Проза Пушкина — настоящая проза поэта, сухая, точная, сжатая. Прозу Пушкина можно сравнить с Мериме, а Мериме ведь отнюдь не гений. Проза Лермонтова — чудо. Еще большее чудо, чем его стихи. Прав был Гоголь, говоря, что так по-русски еще никто не писал...

Перечтите «Княжну Мери». Она совсем не устарела. Она могла быть написана в этом году и через пятьдесят лет. Пока существует русский язык она никогда не устареет» (Одоевцева И.В. Избранное: Стихотворения. На берегах Невы. На берегах Сены. М., 1998. С. 317-318).

На выстроенную Гумилевым историко-литературную антитезу «Пушкин-прозаик — Лермонтов-прозаик» с легкостью накладывается другая антитеза, актуальная непосредственно для самого Гумилева. «Живым Лермонтовым» он, как известно, публично называл Блока (см.: Николай Гумилев в воспоминаниях современников. С. 223-224), а приведенная им характеристика пушкинской прозы — «проза поэта», сухая, точная, сжатая, близкая к европейской новеллистической традиции (Мериме; см. в этом контексте: Чичерин А.В. Пушкин, Мериме, Стендаль (о стилистических соответствиях) // Пушкин: Исследования и материалы. Пушкин и мировая литература. Л., 1974. Т. VII. С. 142-150) — ни что иное, как буквальное изложение собственного прозаического credo. В словах Гумилева, переданных Одоевцевой (а буквальная точность ее воспоминаний — по крайней мере их «гумилевской» части — подтверждается всеми текстологическими и биографическими открытиями последнего времени), — глубокий автобиографический подтекст: Блок «наследует» Лермонтову — и, тем самым, оказывается «преемни-

ком» всей русской литературной традиции (или, по крайней мере, того, что по общему мнению ею является); Гумилев «наследует» Пушкину — и оказывается «внеположным» по отношению к традиции, «русским европейцем», «не-гением», завидуя при этом Блоку-Лермонтову (но оставаясь с «отщепенцем»-Пушкиным).

Проза Гумилева органично вписывается в национальный литературный процесс и постольку, поскольку сам этот процесс в период, синхронный становлению и развитию таланта Гумилева-прозаика, оказывался (по крайней мере в своей «модернистской» части), «революционным» по отношению к русской классике XIX в. «В отношении стилистики и, отчасти, принципов композиции, гумилевская проза, так же как и его стихи, безусловно должна быть рассмотрена в контексте современного ей русского модернизма. Так например, если вопользоваться терминологией Брюсова, то можно сказать, что Гумилев, кажется, следовал по стопам своего «учителя», создавая не «рассказы характеров» — в которых (как у Чехова) назначение сюжета состоит в том, чтобы «дать возможность действующим лицам полнее раскрыть свою душу перед читателями», — а неизменно только «рассказы положений», в которых главное внимание уделяется «исключительности событий», и «действующие лица важны не сами по себе, но лишь в той мере, поскольку они захвачены основным действием» И хотя о «стильной прозе» Брюсова (по его собственному признанию, отображавшей то влияние Эдгара По, то «стилистические подделки Анатоля Франса» под итальянские новеллы, то «манеру Ст. Пшибышевского и т.п.») Гумилев, к сожалению, не написал обещанную статью, в своих собственных произведениях он безусловно стремился к той «продуманности, гармоничной четкости и краткости линий», которые он особенно ценил у Брюсова-прозаика. Другими «мастерами стиля», оказавшими существенное влияние на гумилевскую прозу, несомненно являлись Ф.Сологуб и М.А.Кузмин; а местами улавливаются стилистические переклички (вплоть до приемов «ритмичности») даже с ранней прозой Андрея Белого: пожалуй, не только с «Северной симфонией», но и с «Лирическими отрывками в прозе' из «Золота в лазури»» (Баскер II. С. 138).

Если теперь перейти собственно к истории создания конкретных произведений, то можно сказать, что упомянутая в приведенной цитате прямая зависимость юного «ученика символистов» от их прозаических новаций в полной мере сказалась в самых ранних из дошедших до нас образчиках прозы Гумилева, опубликованных в 1-3 номерах журнала «Сириус».

«Сириус», издаваемый Гумилевым вместе с группой молодых энтузиастов-художников в Париже в январе-марте 1907 г., мыслился как «журнал литературы и искусства» нового направления, «парижский аналог журналов «Золотое Руно» и «Весы»» (см. об этом: Николаев Н.И. Журнал «Сириус» // Исследования и материалы. С. 310-314). Затея успеха не имела — после выхода трех номеров журнал свое существование прекратил. Гумилев выступал на страницах «Сириуса» «в трех лицах»: как автор неоконченной повести «Гибели обреченные» — *Н.Гумилев*, как автор ст-ний «Франции» (см. № 57 (I)) и «Неоромантическая сказка» (см. № 56 (I)) — *поэт К-о*, как автор эссе «Карты» и очерка «Вверх по Нилу» *Анатолий Грант* («Что же

делать, если у нас совсем нет подходящих сотрудников», — объяснял эту невольную мистификацию сам Гумилев в письме к Брюсову (ЛН. С. 432)).

Менее всего самостоятельна из этих трех вещей повесть «Гибели обреченные»; зато навеянные чтением судьбоносного для поэта 11-го номера «Весов» за 1905 г. «Карты» (см. комментарии к № 2 наст. тома) и, особенно, — рассказ «Вверх по Нилу» уже в полной мере обещают грядущего Гумилева-прозаика. Можно сказать, что на страницах «Сириуса» печатались действительно два разных автора — «ученик символистов» Н.Гумилев и оригинальный прозаик-модернист Анатолий Грант. Первый публиковал из номера в номер повесть, навеянную оккультными, историософскими и антропологическими мотивами, перегруженную всевозможными словесными украшениями настолько, что эти формально-поэтические «изыски» приобретают некую самодостаточную ценность («текст без сюжета», если говорить современным расхожим критико-литературоведческим штампом). Второй — помещал в «Сириусе» словесные миниатюры, уже вполне напоминающие по форме «настоящую прозу поэта, сухую, точную, сжатую». Не исключено, что и псевдоним возник не только по «технической необходимости»: вдруг обнаруженная резкая оригинальность, как известно, пугает новичка, боящегося вызвать порицание со стороны «учителя» (Брюсова). По письмам к последнему мы знаем, кстати, и еще об одном эссе Гумилева, написанном тогда же и для «Весов» — «Культуре любви»: «Я написал мою «Культуру любви», но когда я вспомнил статьи, раньше напечатанные в «Весах», Ваши, Бальмонта, Андрея Белого и Вячеслава Иванова, столь выразительные по языку и богатые по мысли, то я решил не посылать ее на верный отказ» (ЛН. С. 432).

Именно во время подготовки и издания «Сириуса» Гумилев, насколько можно судить по его письмам к Брюсову, впервые всерьез стал размышлять над теорией современной прозы. «Только за последние полгода, когда я серьезно занялся писанием и изучением прозы, я увидел, какое это трудное искусство, — писал Гумилев в письме от 25 ноября 1906 г. — И мои теперешние опыты в этом направлении не заслуживают даже быть прочитанными Вами» (ЛН. С. 423). «Я с радостью увидел, что после этих месяцев усиленной работы над стилем прозы, у меня начинает выходить что-то почти удовлетворительное, — заявляет он месяцем позже (8 января 1907 г.), — У меня в голове начинают рождаться интересные сюжеты и обстановки для рассказов и повестей. Надеюсь, что недели через три я пошлю что-нибудь «прозаическое» для «Весов»» (ЛН. С. 428). Однако, по истечении указанных «трех недель» вместо обещанной прозы Брюсов получает самокритичную исповедь: «...Мне только двадцать лет, и у меня отсутствует чисто техническое умение писать прозаические вещи. Идей и сюжетов у меня много. С горячей любовью я обдумываю какой-нибудь из них, все идет стройно и красиво, но когда я подхожу к столу, чтобы записать все те чудные вещи, которые только что были в моей голове, на бумаге получаются только бессвязные отрывочные фразы, поражающие своей какофонией. И я опять спешу в библиотеки, стараясь выведать у мастеров стиля, как можно победить роковую интерность пера. <...> Вообще, мне кажется, что я уже

накануне просветления, что вот-вот рухнет стена, и я пойму, именно пойму, а не научусь, как надо писать. И тогда я забросаю Вас рукописями» (ЛН. С. 429-430).

Обещание «забросать» Брюсова прозаическими вещами Гумилев выполнил, но — полгода спустя (весна-лето 1907 г. оказались для него крайне тяжелыми в личном плане: это — время драматичной истории его первого, неудачного сватовства к Ахматовой). За декабрь 1907 — июль 1908 гг. им были созданы «Радости земной любви», «Золотой рыцарь», «Дочери Каина», «Черный Дик», «Последний придворный поэт», «Принцесса Зара», «Скрипка Страдивариуса», «Лесной дьявол». В рассказах 1907-1908 гг. Гумилев предстает вполне сложившимся прозаиком — его упорная работа над стилем, удачно соединясь с «громадной эрудицией», уже тогда изумлявшей знакомых (см.: Русский путь. С. 251), принесла блестящие плоды. В этих рассказах (ставших основой для ТП) мы находим все главные мотивы, характерные для творчества раннего Гумилева в целом: пристальное внимание к духовной жизни, которая для современников поэта проходила под знаком острого столкновения «традиционного» христианства со всевозможными «модернистскими версиями» религиозности и оккультными доктринами; тесно связанный с этим интерес к истории (и к истории религии, в частности); проблема философии искуства, в общем, восходящая, в контексте эпохи, к столкновению «консервативной» и «ревизионистской» его метафизики; в качестве совершенно оригинального мотива — тяга к ориенталистской экзотике (и конкретно к Африке в «Лесном дьяволе» и — особенно — в «Принцессе Заре»), правда, в этот период еще не получившей достаточно сознательной философской разработки. В некоторых из этих рассказов запечатлены и отголоски трагической любовной интриги, ставшей с того времени неисчерпаемым источником для самых неожиданных произведений в стихах и прозе, вошедших ныне в сокровищницу мирового искусства XX в., — «схватки, глухой и упорной» Гумилева и Ахматовой.

«Прозаическая лихорадка» 1908 г. завершается летом. В письме к Брюсову от 14 июля 1908 г. мы находим чрезвычайно любопытное признание: «...Успехи, действительно, есть: до сих пор ни один из моих рассказов не был отвергнут для напечатанья. <...> Но я чувствую, что теоретически я уже перерос свою прозу, и, чтобы отделаться от этого цикла мыслей, я хочу до отъезда (в первое африканское путешествие — *Ред.*) <...> издать книгу рассказов и затем до возвращения не печатать ничего» (ЛН. С. 481). Упомянутая Гумилевым «книга рассказов» действительно была анонсирована в газете «Новая Русь» (19 августа 1908 г.), как выходящая «в начале зимы», но уже на следующий день после этого объявления Гумилев сообщает Брюсову, что «книгу <...> решил не издавать»: «В одном стихотвореньи Вы говорите «есть для избранных годы молчанья...». Я думаю, что теперь они пришли и ко мне. Я еще пишу, но это не более как желание оставить после себя след, если мне суждено «одичать в зеленых тайнах»» (ЛН. С. 483).

Не исключено, что в последнем предложении Гумилев, цитируя брюсовское ст-ние «Искатель» («Быть может, на тропах звериных / В зеленых тайнах одичав, / Навек останусь я в лощинах / Впивать дыханье жгучих трав.// Быть может,

заблудясь, устану, / Умру в траве, под шелест змей, / И долго через ту поляну / Не перевьется след ничей») намекает на возможный трагический исход планируемого путешествия. Исследователь африканских странствий Гумилева А.Давидсон особо обращает внимание на записи П.Н.Лукницкого, недвусмысленно поясняющие специфику первой поездки: «1908. Осень. Все время в подавленном состоянии. Преследуем мыслью о самоубийстве. Поездка в Египет связана с ней. По-видимому, в Египте была сделана попытка самоубийства (последняя в его жизни). <...> Хотел покончить с собой вдали от родины» (см. Давидсон. С. 47). Как известно, после знаменитой «эпифании» в каирском саду Эзбекие произошло «преображение» поэта, его «возвращение к жизни» (см. ст-ние № 96 (III) и комментарии к нему), однако это послужило и толчком к радикальному переосмыслению и переоценке всего предшествующего личного и творческого опыта: юный Гумилев — декадент и символист, — действительно, умер в «зеленых тайнах» Эзбекие. В частности, от прозы Гумилев после поездки в Египет надолго отошел, — за пять последующих лет никаких произведений в этом роде создано не было. Э.Д.Сампсон высказал предположение, что поэт, разочаровавшись в символизме, утратил веру и в свои стилистические таланты прозаика (см.: Sampson E.D. The Prose Fiction of Nikolaj Gumilev // Berkeley. P. 269). Насколько это предположение верно — судить сложно: действительно, после длительного перерыва Гумилев обратился к иным прозаическим жанрам, однако основные стилистические черты «прозы поэта», присущие новеллам 1908 г., сохранились в его творчестве и тогда.

«Первые читатели <...> новелл Николая Гумилева, — пишет И.Ерыкалова, современный издатель прозы поэта, — <...> находили множество самых разных образцов для его произических произведений: новеллы Возрождения, творчество Уайльда, Андерсена, Стивенсона... Однако свойства Протея, — бога, умевшего принимать любые формы, — говорят не столько о любви к подражанию, сколько о литературном мастерстве. Проза Гумилева с ее рыцарскими и «звериными» мотивами глубоко своеобразна и является неповторимой частью его творческого наследия. <...> Очищенная от реалистических деталей и бытовых диалогов проза Гумилева проникнута мистическим ощущением незримого. Но своим лаконизмом, стройностью сюжета, тонким воссозданием деталей времени и литературного стиля избранной эпохи Гумилев отходит от произведений <...> пытавшихся в потоке образов и слов <...> запечатлеть непознанное. <...> Лик неведомого в прозе Гумилева всегда скрыт и дан [лишь] в ощущениях персонажей <...> Проза Гумилева — отпечаток его духовной жизни, образчик литературного мастерства, запечатлевший ироничный и бесстрашный взгляд на мир одного из самых ярких русских поэтов начала XX века. Уникальность прозы Гумилева заключается в том, что это, несомненно, проза поэта. В них развиваются и раскрываются поэтические мотивы Гумилева. Порой, чтобы постичь их до конца, необходимо прочитать и поэтическое и прозаическое произведения, связанные едиными образами и сюжетами.» (Ерыкалова И. Проза поэта // АО. С. 279-280). О родстве ранней прозы Гумилева и его поэзии писала и О.Обухова: «Глубинная связь трех первых сборников стихотворений с ранней прозой очевидна, благодаря использо-

ванию одних и тех же сквозных образов, как например: жемчуг — слезы, рубины — слова, золото — духовное (рай, смерть), мрамор (грот, горы, лестница в раю, пещера первочеловека), луна — сон (соблазн, наваждение, колдовство). Сквозные мотивы — любовь, тоска по раю, путь испытаний, преодоление препятствий, обретение рая, отказ от рая (любви) или обретение знания и (или) слова в общей <...> образной системе предполагает прочтение всей ранней литературной продукции Гумилева как едного текста» (Обухова О. Ранняя проза Гумилева в свете поэтнки акмеизма // Гумилевские чтения 1996. С. 124). О.Обухова видит основным сюжетом этого «текста» некое подобие инициационному переходному мифу (выделение индивидуума из общества («избранничество», одиночество, отчуждение и т.п.), испытание (его любви, веры, смирения) и «новое рождение», инкорпорация). «Главные темы ранней прозы Гумилева — религия и любовь», — гораздо проще писал об этом же Э.Д.Сампсон, причем подчеркивал, что ощущение трагедийной парадоксальности этой проблематики, доминирующей вообще в гумилевском творчестве этой поры, именно в прозе доводится до крайнего «заострения», до «декадентской» болезненности (см.: Sampson E.D. The Prose Fiction of Nikolaj Gumilev // Berkeley. Pp. 269-270).

Новый этап в развитии Гумилева-прозаика связан, как уже говорилось, с освоением нового прозаического жанра — жанра «путевого дневника», «записок путешественника», генетически восходящего в его творчестве снова к пушкинскому опыту в этом роде — «Путешествию в Арзрум во время похода 1829 года». Дневниковые записи Гумилев вел, вероятно, еще в египетскую поездку (см. выше), однако в нашем нынешнем распоряжении имеются только произведения 1913-1914 г. — «Африканский дневник» и примыкающие к нему рассказ «Африканская охота» и очерк «Умер ли Менелик?» (сохранился также и фрагмент статьи «Африканское искусство», включенный в настоящем собрании в том литературно-эстетической критики поэта).

Литературный жанр «путешествия» определяется в теории искусства двояко: и как описание очевидцем географического, этнографического и социального облика увиденных им стран, земель, народов (собственно, как дневник путешественника), и как художественный, преимущественно эпический, жанр, сюжет и композиция которого восходит к построению и способам изложения документального путешествия. В некоторых случаях происходнт внутрижанровый синтез, — если «дневниковые записи» *эстетизируются* автором-путешественником в целях, выходящих за содержательные пределы информативно-документального повествования. Таковы «Сентиментальное путешествие по Франиции и Италии» Л.Стерна, «Американское путешествие» Шатобриана, «Письма русского путешественника» Н.М.Карамзина и «Путешествие из Петербурга в Москву» А.Н.Радищева. «В 19 в. путевой очерк превратился в емкую литературную форму, в которой находят отражение разнообразные грани материального и духовного бытия — лирическое «я» автора (А. Ламартин «Путешествие на Восток»), красочность южной природы и мистика восточных религий (путевые заметки Т.Готье и Жерара де Нерваля), размышления о национальном облике, об истории и культуре страны, о духе эпохи и зарисовки нравов, и типичные бытовые сценки (записки о путешествиях П. Мериме, очерки Стендаля

«Рим, Неаполь и Флоренция», «Прогулки по Риму»). Образцы путевого жанра в русской литературе [XIX века] — «Путешествие в Арзрум» А.С.Пушкина, «Фрегат «Паллада»» И.А.Гончарова, «Из кругосветного плаванья» К.М.Станюковича» (Краткая литературная энциклопедия. М., 1971. Т. 6. Стб. 88).

В творчестве Гумилева осмысление и освоение жанра «путешествия» шло, прежде всего, через оригинальную интерпретацию образа *активной экзотической среды, которая, наряду с героем-путешественником становится равноправным героем повествования*. Эта «активная среда», конкретным воплощением которой стала «гумилевская Абисснния», определила главную интригу жанра «путешествия» в его творчестве, превратившей «путевые заметки» в художественное произведение с глубокой философско-эстетической содержательностью.

Изначально связывавший свои поездки не столько с «познавательной», сколько с «лирической» идеей личного самосовершенствования, Гумилев понимал под «путешествием» перемещение в среду, пробуждающую и активизирующую в человеческом существе «путешественника» черты, развитие которых оказывалось затрудненным или даже невозможным в среде его постоянного пребывания. С этой точки зрения, например, поездки во Францию или Англию не воспринимались им в качестве «путешествия», ибо европейская «среда» оказывалась качественно тождественной по воздействию на петербуржца и царскосела его «домашнему укладу». Она, таким образом, была «пассивной», предсказуемой, давая пищу лишь для внешних, «культурно-познавательных» впечатлений, но не инициировала «экзистенциальных» метаморфоз личности. Среда «африканская» оказывалась «экзотической» не только «количественно» как вместилище незнакомой природы и культуры, но и «качественно», порождая неожиданные ситуации, адекватная реакция на которые требовала «открытие» (активное или, по крайней мере, в плане потенциально-возможного) путешественником в себе таких свойств натуры, о которых он не подозревал, пребывая в лоне европейской или петербургской цивилизации (именно «петербургской», ибо о «русской цивилизации» в этом контексте говорить неуместно: перемещение из Петербурга в глубь России оказывалось в творчестве Гумилева самым настоящим «путешествием», которое и стало важным сюжетоорганизующим началом повести «Веселые братья»). «Африканское путешествие» трактуется Гумилевым именно как «путешествие в самого себя»; «путешественник»-рассказчик прислушивается к пробуждению в себе «африканства», активная, непредсказуемая для него среда провоцирует в нем действие «экзотических» для европейца черт личности, «Африка внешняя» становится символом «Африки внутренней»: «Европеец <...> может увидеть Африку такой, какой она была тысячи лет тому назад: безыменные реки с тяжелыми свинцовыми волнами, пустыни, где, кажется, смеет возвышать голос только Бог, скрытые в горных ущельях сплошь истлевшие леса, готовые упасть от одного толчка; он услышит, как лев, готовясь к бою, бьет хвостом бока и как коготь, скрытый в его хвосте, звенит, ударяясь о ребра; он подивится древнему племени шангалей, у которых женщина в присутствии мужчин не смеет ходить иначе, чем на четвереньках; и если он охотник, то там он встретит дичь, достойную сказочных принцев. Но он должен

одинаково закалить свое тело и свой дух: тело — чтобы не бояться жары пустынь и сырости болот, возможных ран, возможных голодовок; дух — чтобы не трепетать при виде крови своей и чужой и принять новый мир, столь непохожий на наш, огромным, ужасным и дивно-прекрасным» («Африканская охота»). «Авторы биографических очерков, — писал о вышеприведенных строках Ю.В.Зобнин, — с радостью принимают «огромную» и «дивно-прекрасную» гумилевскую Африку, но никак не могут понять ее «ужаса». Между тем, целый ряд гумилевских произведений недвусмысленно свидетельствует о том, что <...> в его творчестве <...> присутствуют и мотивы, обозначающие опасность, исходящую от «черного материка»... <...> ...Эта «опасность» для Гумилева заключается не столько во внешних трудностях быта, сколько во внутреннем, душевном... соблазне «зверства», соблазне существования в атмосфере исступленной чувственности во всех мыслимых, «девственных» ее проявлениях...» (Зобнин. С. 241-244). Впрочем, активное воздействие африканской среды на «путешественника» может трактоваться и вполне «позитивно»: «Как дитя, впервые увидевшее мир и полное неудержимого восторга, он как бы наново открывал Африку, «грозовые военные забавы», женскую любовь. Жажда все узнать, все испытать у декадентов ограничивалась кабинетными путешествиями в историю и географию народов, а также эротическими вдохновениями сомнительного свойства. Гумилев прошел и через это, но как случайный гость, не без отвращения <...> к самому себе. Его тянет на простор в первобытное, неиспорченное» (Оцуп Н.А. Николай Гумилев // Оцуп Н.А. Океан времени. СПб.; Дюссельдорф, 1993. С. 561). Так или иначе, но «путешествие» у Гумилева оказывается процессом преображения личности — именно с учетом этого конечного, «ценностного» результата и выбирается художиком необходимый «образный материал» из общего многообразия внешних путевых впечатлений, происходит «эстетизация» «путевых заметок».

В ранней прозе самого Гумилева мини-конспектом такой трактовки жанра «путешествия» явился рассказ «Вверх по Нилу», а в плане общелитературной преемственности, как уже говорилось, — «Путешествие в Арзрум» (хотя необходимо отметить, что схожую — но не подобную! — проблематику предполагал и жанр просветительского «романа-путешествия» в английской литературе XVIII в. (Д.Дефо и др.), ставивший целью раскрытие возможностей индивида в его взаимодействии с природой). Любопытно, что, по иронии судьбы, даже *история* создания «Африканского дневника» точно повторяет историю создания пушкинского «Путешествия...» (ср. комментарии к № 12; Пушкин А.С. Полн. собр. соч.: В 10 т. М., 1957. Т.6. С. 807) — с той лишь разницей, что Гумилев, точно так же как Пушкин, создав в ходе путешествия «художественное» начало и «конспективное» продолжение, не успел из-за начала войны «переработать» имеющиеся материалы в единое целое. А вот история с предваряющей основную книгу публикацией повторилась точно — у Пушкина «Военно-Грузинская дорога» в «Литературной газете», у Гумилева — «Африканская охота» — в «Ниве» (впрочем, возможно здесь имело место отчасти и сознательное «жизиестворчество» Гумилева «по пушкинскому образцу»). Что же касается собственно интертекстуальной коллизии, то тут достаточно, к примеру, указать на эпизод с грузинской песней

(глава вторая) и описание Арзрума (глава пятая) у Пушкина и эпизод с песней сомалийцев (глава вторая, стр. 55-84) и описание Харэра (глава четвертая, стр. 69) у Гумилева, являющие собой классический образчик параллелизма повествовательных структур (см. также с. 437 комментариев к № 5 (V)).

«Африканский дневник» не получил художественное завершение и при жизни Гумилева не издавался, однако с ним в непосредственной связи находятся «Записки кавалериста» — вершинное гумилевское достижение в области прозы.

Формально «Записки кавалериста» являются фронтовой корреспонденцией. Как фронтовая корреспонденция они и публиковались в «Биржевых ведомостях» (публикация главы IX в № 15189 от 4 ноября 1915 г., например, была снабжена пометкой «От нашего специального военного корреспондента»), иногда с большими перерывами, приходившимися на то время, когда с «корреспондентом», вовлеченным в самую гущу драматических событий 1914—1915 гг., попросту отсутствовала связь. Однако, собранные воедино, они поражают своей целостностью и идейно-художественной завершенностью. Поэтому следует весьма осторожно относиться к распространенной версии о том, что прекращение гумилевских публикаций связано лишь с неодобрительным отношением к «литераторству» в полку «черных гусар», куда поэт был переведен из ставшего благодаря «военной прозе» Гумилева легендарным Лейб-гвардии уланского Ее Величества полка. Если даже какой-либо «нажим» со стороны начальства или сослуживцев и был (что вполне возможно, хотя никаких прямых свидетельств тому на настоящий момент не имеется), то, по всей вероятности, и сам Гумилев не проявлял никакой настойчивости для продолжения «корреспонденций», очевидно, полагая (не без оснований), что в уже опубликованном он высказался вполне. «Пушкинский финал» главы XVII с его цитатой из «Полтавы» идеально замыкает повествование в целом, подытоживая все основные тематические линии «Записок», центральной из которых оказывается уже знакомое нам по «Африканскому дневнику» «преображение личности» в силу воздействия на нее активной «экзотической среды». В данном случае таковой «средой» является война, способствовавшая тому, что «...все лучшее, что в нас / Таилось скупо и сурово, / Вся сила духа, доблесть рас, / Свои разрушило оковы» («Ода д'Аннунцио»). Впрочем, как и в случае с африканской экзотикой, «военная среда» может инспирировать в личности и такие черты, которые ведут к ее деградации: «...зори будущие ясные / Увидят мир таким, как встарь: / Огромные гвоздики красные / И на гвоздиках спит дикарь» («Год второй»). «Кавалерист» Гумилева такой же «странник духа», как и его «путешественник».

«Аполитичность» батальной прозы Гумилева многие исследователи склонны интерпретировать как ее идейный (а иногда даже и эстетический) порок (см., напр.: Ульянов Н. Скрипты. Ann Arbor, 1981. С. 51-52; Давидсон. С. 191-196). Однако, во-первых, отсутствие в «Записоках кавалериста» ярко выраженной социально-политической проблематики отнюдь не свидетельствует об «аполитизме» их автора, о том, что «какие это войны, во имя кого и кем они ведутся — ему было непонятно» ([Ермилов В.В.] О поэзии войны // Русский путь. С. 552). Это

неправда: Гумилев в 1914-1915 гг. (равно как и подавляющее большинство его читателей-современников) прекрасно понимал, что Россия, вместе с двумя другими великими европейскими державами — Францией и Англией — ведет справедливую, оборонительную войну, защищая малые европейские государства против агрессора — Германии, Австро-Венгрии и их союзников. Гумилевский «кавалерист» в буквальном смысле этого слова *защитник Отечества*: это было на момент выхода «Записок...» настолько очевидно, что какие-либо «особые» комментарии в тексте оказались бы просто неуместными. Все упреки в «милитаризме» по адресу автора «Записок...» имеют основание не в каком-то интеллектуальном или нравственном пороке Гумилева, а в печальном дефекте исторического мировосприятия его современных российских интеллигентных читателей, до сих пор, к сожалению, не преодолевших странного «пораженческого комплекса», доставшегося им в наследство от советской школьной историографии, — тогда как ни англичане, ни французы нисколько не «стыдятся», что, вступив в 1914 г. в войну, их прадеды воспрепятствовали несправедливому и насильственному германскому переделу Европы, и чтят героев Первой мировой войны, воздвигая памятники маршалу Фошу и его соратникам на главных улицах Парижа и Лондона. (Если и нужно русским испытывать «исторический стыд» в связи с войной 1914-1918 гг. — так это за предательский, сепаратный мир большевиков с Германией, затянувший войну в Европе и отдаливший справедливую и заслуженную победу Антанты; кстати, именно Гумилев, чуть ли ни единственный из крупнейших русских писателей той поры, нашел в себе мужество извиниться перед Францией за это — «подневольное» — предательство России: см. ст-ние «Франции» (№ 114 (III)) и комментарии к нему). «Гумилев прошел все тяготы войны, голода, наступления и отступлений в самые тяжелые годы — с 1914 до начала 1916 г., и никогда не жаловался. По трудной воинской стезе от солдата-добровольца до двух Георгиевских крестов и офицерского чина шел, мужаясь. <...> В «Записках кавалериста» Гумилева, т.е. в его корреспонденциях в газету с фронта, при всем грозном, грязном и страшном на войне, он горит неугасимым пламенем героики, чести и доблестного мужества» (Плетнев Р. Н.С. Гумилев: С открытым забралом // Русский путь. С. 58-587).

Во-вторых, игнорирование в «Записках кавалериста» каких-нибудь широких социально-политических обобщений связано *с авторской установкой на точную реконструкцию специфики взгляда рассказчика — непосредственного очевидца и участника события*. Это является существенным гарантом психологической и эстетической достоверности *реалистического* повествования, ибо даже самому наивному гражданскому читателю сложно было бы поверить, что во время неожиданного обстрела кавалерийского разъезда с германских позиций его участники могут быть заняты еще и размышлениями об онтологической несправедливости военной политики в истории человечества в целом. Взгляд очевидца и участника событий, принятый Гумилевым за исходную художественную точку зрения, организующую тип повествования в его «военных корреспонденциях», не может не «локализовать» как объект описания в пространстве, так и субъективные переживания рассказчика во

времени. «Все, что ты читал о боях под Владиславовом и о последующем наступлении, я видел своими глазами и во всем принимал посильное участие», — писал Гумилев М.Л.Лозинскому 1 ноября 1914 г. (Изв. АН СССР. Сер. литературы и языка. 1987. № 1. С. 72-73), и, естественно, учитывал подобную рецептивную дифференциацию в поэтике «Записок». В этом Гумилев — автор «Записок кавалериста» — опять-таки наследует «Путешествию в Арзрум», стилистическому решению в изображении батальных сцен, предельно четко сформулированному Пушкиным — участником сражения при Каинлы: «Вот все, что в то время успел я увидеть» (глава третья). «Это было новое ощущение войны, первое представление о ней, — подытоживает биограф значение «Путешествия в Арзрум во время похода 1829 года» для последующей русской батальной прозы. — Не парадная героика, а действительная битва, беспорядочная и нестройная, тяжелая и оскорбительная — «война в настоящем ее виде» (так через двадцать пять лет сформулирует Лев Толстой). Главы «Путешествия в Арзрум», где дана глубоко правдивая картина боя во всей его неприкрашенной трагической сущности — первый опыт новейшей батальной живописи, утвержденный в мировой литературе «Войной и миром»» (Гроссман Л. Пушкин. М., 1958. С. 331). Наследуя опыту Пушкина (отметим, опять-таки в качестве наглядного примера интертекстуального параллелизма сцену курения «трубок мира» с пленными турками (глава четвертая) и сцену в полевом лазарете в «Записках...» (глава шестая, стр. 66-71)) Гумилев учитывал, естественно, и опыт Толстого-баталиста, причем с последним вел несомненную полемику, латентно присутствующую во всем повествовании, а в стр. 10-11 главы V зафиксированную непосредственно в тексте прямой аллюзией на «Войну и мир».

Позднее творчество Гумилева-прозаика связано с его работой над большой вещью — повестью или романом, которая началась, по всей вероятности, еще в 1908 г.. Сведения об истории создания этого произведения крайне фрагментарны. А.А. Ахматова рассказывала об этом замысле Гумилева П.Н.Лукницкому: «...Когда он придумывал что-нибудь — сразу начинал писать. Я думаю. Иногда ему не удавалось — как этот роман, с которым он носился всю жизнь, сначала он назывался «Девушка с единорогом», потом — «Ира»» (Лукницкая В.К. Перед тобой Земля. Л., 1988. С. 336). Известно, что некая «фантастическая повесть в стиле «Дориана Грея» и Уэллса» «Белый единорог» была написана (завершена?) Гумилевым в декабре 1908 г., однако рукопись ее на настоящий момент считается утраченной (см.: Жизнь поэта. С. 72; Соч III. С. 359). Еще один «всплеск» активности Гумилева в работе над этим текстом приходится на временной промежуток между возвращением из экспедиции 1913 г. и началом войны, причем воспоминание Ахматовой, очевидно, и относится к этому времени; по крайней мере, в «предвоенном письме» из Териок среди разных новостей Гумилев сообщает: «Иру бросил. Жду, что запишу стихи. Меланхолия моя, кажется, проходит» (Соч III. С. 238). Известно, что в июле 1914 г. Гумилев работал над тем текстом, который двумя годами спустя появится в «Биржевых ведомостях» под названием «Путешествие в страну эфира» (см. комментарии к № 15 настоящего тома). Героиню там зовут,

правда, не Ира, а Инна, и, помимо того, героями являются Грант (персонаж раннего рассказа «Вверх по Нилу») и Мезенцов. Последний является затем в повести «Подделыватели», работа над которой началась в 1916 г. и продолжалась в первые месяцы 1917 г. (см.: Соч III. С. 399). Следует помнить также, что «девушка и единорог» фигурируют в пьесе «Дитя Аллаха», вышедшей в 1917 г. (см. № 5 (V) и комментарии к ней). В 1917 г. за границей «Подделыватели» трансформировались в повесть «Веселые братья», фрагменты которой Гумилев, уезжая в 1918 г. в Россию, оставил Б.В. Анрепу. На настоящий момент это — единственный дошедший до нас источник, по которому мы можем судить о замысле поэта. Однако, если учесть, что Гумилев оставил Анрепу и все подготовительные материалы и черновики трагедии «Отравленная туника», *взяв с собой в Россию один лишь беловой вариант* (см. комментарии к № 7 (V)), не исключено, что *так же он поступил и с повестью* и последующие розыски исследователей творчества Гумилева еще дадут сенсационные результаты (как это уже не раз случалось). Пока же мы можем только солидаризоваться с мнением первого публикатора «Веселых братьев» Г.П. Струве: «Можно пожалеть, что повесть, замысла которой до конца угадать нельзя, дошла до нас в таком обрывочном и неполном виде. <...> В творчестве Гумилева эта незаконченная и неотделанная, но тем не менее любопытная повесть стоит особняком» (СС IV. С. 593).

«Особняком» в творчестве Гумилева стоят и экспромт «Черный генерал», еще ждущий своих исследователей, и крохотный набросок «Девкалион», относящийся ко времени работы поэта в просветительских проектах «Всемирной литературы». Как и в поэзии, и в драматургии Гумилева, поздние прозаические фрагменты заставляют вспомнить надпись, начертанную на могиле Ф.Шуберта: «Смерть похоронила здесь богатое сокровище, но еще более богатые надежды».

В настоящий том включены и расположены в хронологическом порядке все известные к настоящему времени прозаические произведения Гумилева независимо от их завершенности. Комментарии к каждому произведению, обозначенные соответствующим номером, начинаются с библиографической справки, в которой перечислены в хронологическом порядке прижизненные публикации с указанием на наличие вариантов и других редакций. Шрифтовое выделение обозначает источник, по которому текст печатается в настоящем издании. Как правило, это последняя авторская публикация (отступления от этого принципа оговариваются в каждом отдельном случае). Затем дается свод посмертных публикаций в следующем порядке: отдельные издания; альманахи и сборники; журналы; газеты (с 1922 по 2000). Далее указывается наличие автографа (с приведением вариантов первоначального слоя), обосновывается датировка и сообщаются сведенья о переводах текста на иностранные языки. Далее освещается творческая история произведения, дается историко-литературный комментарий, а также пояснение (применительно к тексту) основных реалий. При ссылке на произведения, помещенные в настоящем собрании сочинений, арабской цифрой указывается номер произведения, римской (в скобках) — номер тома.

1. Сириус (Париж). 1907. №№ 1-3 (подп. А. Грант). В № 1 «Сириуса» была напечатана I часть текста повести; II и III части — в № 2, а IV и V — в № 3. Текст, изобилующий пунктуационными ошибками и грамматическими двусмысленностями, приведен к современной языковой норме; исключениями являются те фрагменты, которые могут быть интерпретированы как особенности авторского стиля (в стр. 101 «прокатывался» вместо «прокатывалось»; в стр. 105 — «вонзилась» вместо «вонзалась»; в стр. 314 «из далека» — раздельно).

СС IV (фрагмент) -- ЗС (фрагмент) -- СС IV (Р-т) (фрагмент) -- Соч II -- СС 2000 -- АО -- Проза поэта; Мистика серебряного века.

Дат.: вторая половина 1906 г. — март 1907 — по времени публикации и письмам к Брюсову с упоминанием «оккультных штудий» и «занятий прозой».

Как уже говорилось во вступительной заметке к комментариям, дебют Гумилева-прозаика в печати связан с краткой историей журнала «Сириус». Впервые об этом издательском проекте поэт упоминает в письме к Брюсову от 8 января 1907 г., сообщая, что среди инициаторов издания «пишет он один» и, потому, его «уговорили взять заведование литературной частью» (см.: ЛН. С. 427). Поскольку в материалах «Сириуса» гумилевская проза многократно превышает по своим объемам его поэзию (подписанную к тому же псевдонимом) и является единственным образчиком художественной прозы во всех трех номерах, то резонно предположить, что ипостась «пишущего» во время работы над изданием журнала ассоциировалась у Гумилева именно в смысле «пишушего прозу». Вполне возможно, что работа над «Гибелью обреченными» была начата Гумилевым еще летом 1906 г. (в письме к Брюсову от 25 ноября 1906 г. Гумилев упоминает, что «только за последние полгода <...> я серьезно занялся писаньем и изученьем прозы» (ЛН. С. 423)), но несомненно, что завершающий ее этап (в рассчете на конкретные сроки публикации) протекал в первые месяцы 1907 г. — время выхода трех номеров «Сириуса». Данных, позволяющих более точно определить характер работы Гумилева над повестью на настоящий момент нет: «неизвестно, была ли она завершена автором или же писалась по кускам к каждому очередному номеру» (Соч II. С. 434).

В силу того, что полный текст «Гибели обреченных» появился в современном читательском обиходе только с выходом в 1991 году трехтомного Собрания сочинений, его исследовательская история достаточно скудна. Современники (и в том числе — постоянный корреспондент юного Гумилева и его «учитель» В.Я.Брюсов) на появление повести (равно как и на появление «Сириуса» в целом) не отреагировали никак. Г.П.Струве, опубликовавший в СС IV ее фрагмент ограничился общими замечаниями об истории журнала, проигнорировав собственно содержание опубликованного им текста (см.: СС IV. С. 589-590). В Соч II в комментариях к первой полной публикации отмечалось лишь, «что в этой повести уже проявился интерес будущего акмеиста-адамиста к полным жизненных сил первым людям планеты, и то обстоятельство, что в своей последней пьесе «Охота на носорога» Гумилев назвал «длиннорукого охотника» также Тремограстом» (С. 434). Только с середины 90-

х гг. текст «Гибели обреченных» начал фигурировать в качестве объекта научного анализа. Так, С.Н.Колосова выделяла «множество ассоциативных рядов», которые, по ее мнению вызывает гумилевская повесть (М.Горький, В.Я.Брюсов, Ф.Сологуб, А.П.Чехов и др. — см.: Колосова. С.7). В.В.Десятов сделал ценное наблюдение о «ницшеанских» мотивах повести, тесно переплетенных, по мнению исследователя, с мотивами христианскими (см.: Десятов В.В. Фридрих Ницше в художественном и экзистенциальном мире Николая Гумилева. Автореферат кандидатской диссертации. Томск, 1995. С. 8). Однако целостный научный разбор «Гибели обреченных» так и не был осуществлен. Между тем высокая оригинальность замысла и исполнения повести (несмотря на то, что автор, по его собственному признанию, находился тогда лишь в стадии выработки оригинального прозаического стиля), ее чрезвычайная интеллектуально-содержательная насыщенность, манифестированная изощренно-сложными стилистическими нюансами, предполагает обширный комментарий, позволяющий современным читателям адекватно оценить этот блистательный дебют Гумилева-прозаика.

Повесть «Гибели обреченные» является одним из самых сложных и важных произведений в раннем творчестве Гумилева, определяя во многом специфику главных сюжетных «архетипов» последующих стихотворных и прозаических произведений, в частности — «теологических» новелл 1908 г. («Золотой рыцарь», «Дочери Каина»). В «Гибели обреченных» сочетаются три автономных философско-религиозных мотива — *ницшеанства, оккультизма и христианства,* — столкновение которых отражает картину драматического процесса духовного становления Гумилева в 1903—1907 гг. Главный герой повести, «первочеловек» Тремограст выступает и как ницшевский «сверхчеловек» (который ассоциируется у юного поэта с ветхозаветным первочеловеком Адамом), и как несчастливый неофит «Четвертой Расы», лемуро-атлант оккультистов, и как «первохристианин»-апостол. Соответственно и художественный мир повести раскрывается поочередно и как ницшеанская утопия «острова блаженных», приобретающая черты ветхозаветного Едема (части I-II), и как погибающая Лемурия (часть III), и как «земля обетованная», место Служения Господня, (части IV-V). Эта архитектоническая «триада» повести соответствует трем этапам духовной эволюции поэта в годы его «декадентства» (1903-1907).

«У меня русский характер, каким его сформировало Православие», — говорил Гумилев (см.: Исследования и материалы. С. 302 — 303), и, действительно, православная воцерковленность стала важнейшим фактором при формировании как творчества поэта, так и круга его человеческих и художественных пристрастий. «...Акмеизм был не чисто литературным, а главным образом мировоззренческим объединением, — писала Н.Я.Мандельштам. — <...> Каковы бы ни были три поэта, восставшие против символистов, они отделились от основного течения... только потому, что осознали коренное различие в миропонимании своем и своих недавних учителей. <...> Символисты все до единого были под влиянием Шопенгауэра и Ницше и либо отказывались от христианства, либо пытались реформировать его

собственными силами, делая прививки античности, язычества, национальных перунов или доморощенных изобретений. <...> Три акмеиста начисто отказались от какого бы то ни было пересмотра христианства. Христианство Гумилева и Ахматовой было традиционным и церковным, у Мандельштама оно лежало в основе миропонимания, но носило скорее философский, чем бытовой характер» (Мандельштам Н.Я. Вторая книга. Paris, 1978. С. 50-53)). Гумилев — поэт Православия, но эта православная воцерковленность миросозерцания, сделавшая его, по выражению Н.А.Оцупа, «национальным поэтом в самом глубоком смысле этого слова» (см.: Оцуп Н.А. Николай Гумилев // Оцуп Н.А. Океан Времени. СПб.: Дюссельдорф, 1993. С. 583) дорого ему досталась, была, в буквальном смысле этого слова, выстрадана им. К Гумилеву в полной мере относятся знаменитые исповедальные слова Достоевского: «*через большое горнило сомнений моя осанна прошла*».

Религиозные основы мировоззрения Гумилева закладывались в детстве. «Все дети были сильно привязаны к матери, — вспоминала А.А.Гумилева-Фрейганг. — Когда сыновья были маленькими, А.<нна> И. <вановна> им много читала и рассказывала не только сказки, но и более серьезные вещи исторического содержания, а также и из Священной истории. Помню, что Коля как-то сказал: «Как осторожно надо подходить к ребенку! Как сильны и неизгладимы бывают впечатления в детстве! Как сильно меня потрясло, когда я впервые услышал о страданиях Спасителя». Дети воспитывались в строгих принципах православной религии. Мать часто заходила с ними в часовню поставить свечку, что нравилось Коле. С детства он был религиозным, и таким же остался до конца своих дней — глубоковерующим христианином. Коля любил зайти в церковь, поставить свечку и иногда долго молился перед иконой Спасителя. Но по характеру он был скрытный и не любил об этом говорить» (Гумилева А.А. Николай Степанович Гумилев // Жизнь Николая Гумилева. С. 63).

Первое потрясение основ детской религиозности наступило в жизни поэта в 1903 году, когда в руки Гумилева попадает философский роман Ф.Ницше «Так говорил Заратустра». Это чтение оказало на него огромное влияние, целиком поворотив начинающего автора к «новой литературе» и предопределив идейно-стилистическую ориентацию первой книги стихотворений (см.: Жизнь поэта. С. 9; Соч II. 309 и комментарии к т. I (С. 329)). Однако в увлечении открывшейся ему красотой «нового искусства» для юного поэта присутствовал и очень «больной» для него вопрос, связанный с декларативным антихристианством автора «Заратустры»: стоящие, по их собственному мнению, «по ту сторону добра и зла» Ницше и его русские последователи-символисты, по мнению любого православного христианина, стояли именно «во зле». «Трагическая проблема [для Гумилева] заключалась в том, что в художественном мировоззрении начала XX века «зло» вдруг оказалось *эстетически* привлекательнее «добра». По крайней мере, апеллируя ко «злу», произведения декадентов-символистов обладали внутренней содержательной динамикой и были художественно-состоятельны, тогда как «традиционалистское» художественное мировоззрение становилось очевидно косным, статичным... <...> Это харатерное для

художественного менталитета начала XX века противоположение Красоты — Истине, влекущее за собой неизбежные проблемы в области теодицеи (оправдания Бога в глазах человека — *Ред.*), было для Гумилева — художника и православного христианина — непереносимо» (Зобнин Ю.В. Странник духа: О судьбе и творчестве Н.С. Гумилева // Русский путь. С. 27).

Осваивая книгу Ницще, это противоречие начинающий поэт смог для себя разрешить. Учение Ницше было понято Гумилевым прежде всего, как гимн «здоровому» и, главное, «здравому» взгляду на жизнь, присущему физически и духовно сильному человеческому существу. Именно такой «мужественно твердый и ясный взгляд на жизнь» Гумилев впоследствии называл «*адамизмом*» (Соч III. С. 16), связывая его с *неискаженным грехопадением взглядом «первого человека»*, пребывающего по воле Творца «в саду Едемском, чтобы возделывать его и хранить его» (Быт. 2. 15). Подобное уподобление «сверхчеловека» Заратустры — «первочеловеку» Адаму свойственно и «доакмеистическому» творчеству Гумилева (в качестве наглядного примера здесь можно привести трактовку Гумилевым образа «сильного человека» в поэме «Сон Адама» (№ 161 (I)). Таким образом, «ницшеанство» Гумилева отнюдь не предполагало «богоборчества» или, тем более, атеизма. «Сильный человек» в гумилевском творчестве всегда обладает ясной и твердой верой в Бога — это одна из главных (если не главная) составляющих его «силы» (см. ст-ние № 60 (IV)). Следует отметить, что «преодоление» антихристианства Ницше было свойственно в 1900-е годы не только юному «ученику символистов», но и его «учителям», переживавшим в этот период «серебрянного века» «эпоху богоискательства». «В 1900-х гг. <...> Ницше переосмысляется: он воспринимается уже не как психолог и моралист, а как философ и проповедник. <...> В явном отступнике от христианства разоблачается тайный ученик Христа, в сверхчеловеке — Богочеловек. Аморализм и агностицизм Ницще истолковываются как принцип мистической свободы и религиозной веры, ницшеанский девиз — «amor fati» — как христианская покорность Богу, идея «вечного возвращения» — как оболочка мессианистического учения о «втором пришествии» и т.п.» (Михайловский Б. Ницше в России // Литературная энциклопедия. М., 1934. Стб. 106; см. также: Данилевский Р.Ю. Русский образ Фридриха Ницше (предыстория и начало формирования) // На рубеже XIX и XX веков: Из истории международных связей русской литературы. Л., 1991. С. 39-40, 42-43).

На этом фоне следует воспринимать и героя Гумилева, каким он изображен в первых двух частях «Гибели обреченных», — «не знающего» «кто дал ему это прекрасное сильное тело, кто забросил его в эту темную пещеру, из которой он вышел к пределам зеленоватого моря», но обладающего некими «смутными воспоминаниями», и, потому, пребывающего в своем «первобытном раю» не только «опьяненным» красотой «нового доставшегося ему мира», но и «задумчивым». «Идеалом его [Ницше] является сверхжизненный образ отдельного человека, могучая воля которого — единственный критерий добра и зла. В этике и эстетике Ницше Бог, человек и мир сливаются в одно общее человеческое существо. <...> Когда есте-

ственно-человеческое доведено до апогея, тогда пробуждается жажда божественного: чем гуще тени на человеческом, тем ярче сияет божественное — и человек сам создает божество как противоположность человеческому» (Энциклопедический словарь. СПб., 1897. Т. 41. С. 206). Разумеется, подобное «модернистское» понимание «первочеловека» предполагало весьма существенную коррекцию библейской истории Творения. «Любимейшее творение Бога», человек здесь оказывается созданным в «первый», а не в «шестой день» (ср. стр. 114-116 и Быт 1. 26-31), его «неведенье добра и зла» делает его «невинным убийцей», ибо он с самого начала своего бытия оказывается включенным в биоценоз (о чем в библейском Едеме, разумеется, не могло быть и речи, ибо биологическая необходимость смерти и борьбы за существование возникает только после грехопадения и изгнания из рая — ср. стр. 65-67 и 122-124 с Быт. 1. 29-30; 3. 14-19), а сам «рай Тремограста» приобретает черты архаического топоса эпохи неолита — с той лишь разницей, что вместо пещеры кроманьонцев обителью героя является «мраморный грот» . Насколько удачна была такая трансформация с точки зрения православного антропогенезиса (и православной сотериологии!), — вопрос, как понятно, мягко говоря, дискуссионный, но юного «ученика символистов» такой мировоззренческий компромисс, очевидно, устраивал. Поэтому в истории гумилевского «декадентства» «ницшеанство» 1903-1905 гг. играло роль «тезиса», «положительного этапа», поскольку не отрицало в восприятии автора «Пути конквистадоров» основ веры, а даже «обогащало» их, вводя в этот круг переживаний и размышлений положительный образ «сильного человека».

«Антитезой» в духовном развитии Гумилева — декадента и символиста — стало его увлечение оккультизмом. «Гумилев довольно рано создает себе определенный идейный запас, основанный на поразившей его воображение книге Фридриха Ницше «Так говорил Заратустра» и на представлениях самых различных (преимущественно французских) деятелей «оккультного возрождения», — писал о гумилевском литературном дебюте Н.А.Богомолов (Соч I. С. 9). Будучи верным по существу, это биографическое «резюме» содержит хронологическую неточность, весьма значимую для истории «духовных странствий» юного поэта: если с философским романом Ницше Гумилев знакомится в 1903 г., то первое знакомство с оккультизмом наступает двумя годами позже — срок, учитывая насыщенность и интенсивность гумилевского духовного развития, огромный. По сведеньям П.Н.Лукницкого, «об оккультизме он узнал из «Весов». В № 2 за 1905 год там была опубликована статья о книге Папюса «Первоначальные сведенья по оккультизму» с разъяснением терминов для начинающих и портретами выдающихся деятелей современного оккультизма» (Жизнь поэта. С. 31). Статья «для начинающих» увлекла Гумилева настолько, что два следующих года (1905 и 1906) оказываются до предела заполнены чтением оккультных книг. Определяя этот круг чтения, мы можем с достаточной уверенностью, помимо книг Папюса (настоящее имя Жерар д'Анкос (Encausse) (1865-1916); с ним, по свидетельству С.В. фон Штейна, Гумилев познакомился лично — см. ЛН. С. 422), назвать работы Элифаса Леви, Анни Безант и Е.П.Блаватской. Впрочем, как особо отмечал Н.А.Богомолов, приступая к своему анализу

оккультных мотивов в творчестве поэта «непосредственный круг чтения Гумилева восстановить, по-видимому, невозможно» (Богомолов. С. 113). Ясно одно — этот круг был очень широк, а само чтение — чрезвычайно интенсивно. «Я последнее время сильно отвлекся от поэзии заботами о выработке прозаического стиля, занятиями по оккультизму и размышлениями о нем», — писал Гумилев Брюсову непосредственно во время работы над материалами «Сириуса» (ЛН. С. 431).

Весьма вероятно, что известную роль в «оккультном энтузиазме» Гумилева сыграла формальная близость антропогенезиса оккультистов ницшевскому учению о «сверхчеловеке» (см. об этом: Богомолов. С. 121-122), которое к 1905 г. было вполне освоено и, главное, «усвоено» «учеником символистов», сочетавшим интерес к «новой школе» с верностью христианским духовным ценностям. Вероятно, «оккультные штудии» казались первое время юному Гумилеву естественным продолжением его пути к овладению «тайнами мастерства», не предполагавшего пересмотр личного «символа веры». Это было ошибкой. «Освоить и усвоить» «тайную доктрину» подобно проповеди Заратустры Гумилеву не удалось.

Согласно Е.П.Блаватской, «оккультизм охватывает весь диапазон психологических, физиологических, космических, физических и духовных явлений. Это слово происходит от *оккультус* — сокрытый или тайный. Таким образом, оно применяется по отношению к изучению каббалы, астрологии, алхимии и всех тайных наук» (Блаватская Е.П. Теософский словарь. М., 1994. С. 353-354). С момента возникновения и быстрого распространения христианской проповеди оккультизм стал одним из самых последовательных и непримиримых ее врагов, отрицая Бога христиан как единственного Творца мироздания и самый акт творения мира «из ничего» по Его сознательному личному желанию и волевому императиву — «да будет!» (Быт. Гл.1). Подлинным «вселенским божеством» оккультистов является некое абстрактное и безличное «всесодержащее» и «всепроизводящее» начало, схожее в своем бытии с абстракцией «математической точки», «которая является Единым Вселенским, Непреложным, Вечным и Абсолютным ЕДИНСТВОМ». Происхождение «бытия» (генезис) рассматривается здесь не как «творение», а как эманация — «проявление» аспектов этого «всеединства», выявление из Вечного в Космос и Время, из «Бытийности» в «Бытие»» (см.: Тайная Доктрина II (3). С. 35. Выделено Е.Б. — *Ред.*). Собственно же «сотворение мира и человека», согласно оккультным доктринам, является результатом действий самых разных «космических духов», находящихся в конфликтных отношениях друг с другом, причем Бог-Творец Библии в восприятии адептов оккультизма есть лишь «ангел низшей категории», а сотворенный Им (точнее — сотворенный «через Него», если исходить из теософской логики) «материальный мир» оказывается «неудачным творением», требующим исправления (см.: Тайная Доктрина II (3). С. 122-123). Таковым «исправителем», как уже легко догадаться, является «ангел света» Сатана и подчиненные ему «мудрые» ангелы.

Даже с помощью самой изощренной «диалектики» согласовать это *по-совести* с христианскими духовными ценностями было невозможно, равно как невозможно было и не видеть явно несоразмерную размаху оккультного учения *банальность*

такого итогового «откровения». Трагизм ситуации заключался в том, что ко времени, когда эта простая истина стала достаточно понятна Гумилеву (начало 1907 г., «пик» работы над «Гибели обреченными»), он уже был слишком серьезно вовлечен в «красоты» «новой школы»: «Он теснее других [акмеистов] связал себя с символистами и более болезненно отрывался от них, освобождая себя от их влияния. Как часто бывает, он долго вчитывался в статьи и теории символистов, и ему все казалось, что он еще чего-то в них недопонимает. Освобождение пришло внезапно, но все же родовая метка русского символизма сильнее всего именно на нем» (Мандельштам Н.Я. Вторая книга. Paris, 1978. С. 38). Но могло ли быть иначе, если Гумилев именно в качестве символиста и состоялся как поэт! Речь шла не много ни мало как о крахе всей творческой позиции, что в глазах Гумилева было равно краху позиции личностной, человеческой. По прошествии лет, он мог относится к этому иронически: «Символисты — просто аферисты. Взяли гирю, написали на ней десять пудов, но выдолбили середину, швыряют гирю и так, и сяк, а она пустая» (Чуковский К.И. Современники. М., 1962. С. 482). Но в 1907-1908 гг. эта конечная «пустота» оккультизма, являвшегося в глазах «ученика символистов» религиозно-философским содержательным средоточием «новой школы» русского искусства, была страшным открытием. «Всего нужнее понять характер Гумилева, — писала Ахматова, — и самое главное в этом характере: мальчиком он поверил в символизм, как люди верят в Бога. Это была святыня неприкосновенная, но, по мере приближения к символистам... вера его дрогнула, ему стало казаться, что в нем поругано что-то» (см.: Тименчик Р.Д. Заметки об акмеизме (III) // Russian Literature. 1981. IX. P. 176).

Свой духовный и творческий путь (в историческом контексте «серебряного века» эти начала оказывались нераздельными) Гумилев оценивает в «предакмеистические» годы как *путешествие за миражом*. Открытые на этом пути «истины» внешне прекрасны, но — бесплотны, безжизненны, бесполезны — «пусты». Обретение их оставляет затем лишь горькое разочарование, болезненную досаду, глубокую, надрывающую сердце печаль об их безнадежно-ненужной, «недоделанной», ущербной красоте. Одним из первых образов такого «бесполезного пути» («дороги бесполезной» — см. лирическую автобиографическую ретроспекцию в ст-нии «Я верил, я думал...» (№ 62 (II)) и является путешествие Тремограста на остров Габриэля и Лейлы (часть III). Героя Гумилева вдохновляет на это путешествие Луна, являющаяся одним из величайших символов оккультизма, «царями которой» и явились в оккультном антропогенезисе «космические духи-творцы» (Дхиан-Коганы): «...Именно Луна играет самую большую и самую значительную роль, как в образовании самой Земли, так и в населении ее человеческими существами» (Тайная Доктрина I (1). С. 235). Столкновение «первого человека» с некими человеческими существами, обитавшими *до* него не является абсурдом в оккультном учении: до «людей» в их нынешнем, «историческом» виде, согласно «тайной доктрине», существовало несколько других «человечеств» («рас»): «Они были Пред-Адамитами и Божественными Расами, которыми теперь начинает интересоваться даже и теология, в

глазах которых все они являются «проклятыми расами Каина»» (Тайная Доктрина II (3). С. 218). И Лейла и Габриэль (последний, по всей вероятности, — воплощенный «Божественный Наставник», «Дхиан-Коган» или, в библейском понимании — «падший ангел») при всей их «божественной» красоте и мудрости ничем не связаны с «первочеловеком» христианства, который в их глазах является представителем «низшей расы», слишком «воплощенным», грубым и недостойным «высших восторгов» существом (стр. 231-234). «Они прекрасны, они обольстительнее утренних звезд, — говорит разочарованному и потрясенному Тремограсту, вернувшемуся на свой остров, Эгаим-Христос, — Но они не дети нашей земли, они пришли издалека. Ее горести, ее надежды для них чужды, и за то я обрекаю их гибели» (стр. 312-315).

«Гибели обреченные» писались Гумилевым в самом начале процесса «переоценки ценностей», процесса «преодоления символизма» и изживания «декадентского» религиозно-философского конформизма. Отсюда и эклектика в способе изображения Спасителя и Его спутника, вызвавшая необходимость «говорящих имен-масок» Вообще же «христоцентричность» творчества Гумилева «предакмеистических» лет, отмеченных такими шедеврами как «Заводи» (№ 118 (I)), «Ворота рая» (№ 121(I)), «На льдах тоскующего полюса...» (№ 131(I)), «Потомки Каина» (№ 160(I)), «Она говорила: «Любимый, любимый...» (№ 162(I)), «Христос» (№ 176 (I)), — соответствует глубине постигшего его в 1907-1908 гг. кризиса: «путешествие к оккультным тайнам символизма» обернулось полным духовным банкротством, которое совпало с банкротством жизненным, крахом любовного чувства (таинственную связь этих трагедий Гумилев как бы предчувствует, моделируя символическую образность своей неоконченной повести). Следствием этого стало религиозное и нравственное опустошение, отчаянье и, в конце концов — суицидальная мания (см.: Соч II. С. 355-358 и комментарии к №№ 9 и 11 наст. тома). Итоговым «синтезом», грядущим после такой «антитезы» могло стать либо «ничто», гибель (физическая или творческая), либо «духовное восстание», «преодоление символизма» и возвращение к «традиционным» религиозным и жизненным ценностям в новом человеческом и творческом качестве, благодаря весьма богатому приобретенному отрицательному опыту. Мотив «епифании», чудесной встречи со Спасителем или ощущения Его присутствия, «преображения» и выхода из возникшего духовного тупика — становится важнейшим в творчестве Гумилева второй половины 1908 — 1909 гг. В прозе этот мотив получает совершенное воплощение в рассказе «Золотой рыцарь» — жемчужине русской литературной «христографии». Но первым опытом изображения подобной «эпифании» оказываются заключительные IV и V части «Гибели обреченных». Встреча Тремограста с Эгаимом и Элаи преображает и внутренний облик героя и окружающую его среду. Исступленный «сверхчеловек» первых частей становится «спокойным и строгим» (стр. 246-247) и уже не боится «черного безумья» луны, а архаическая тропическая природная роскошь «острова блаженных» сменяется пустынным сумеречным предутренним ландшафтом, озаренным огневищем походного костра, «изумрудно-утренним небом» с «последними звездами», «утесами», «сухим и низким кустарником» и «серебряно-белы-

ми колокольчиками» (последние, как известно, являются неотъемлемой частью горного палестинского пейзажа). На этом «новозаветном» фоне происходит призвание героя. На описании чуда, совершенного Эгаимом, повествование Гумилева обрывается.

Общий замысел повести восходит к библейской истории расцвета и гибели допотопного человечества, изложенной в Книге Бытия: «Когда люди начали умножаться на земле, и родились у них дочери, тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал. И сказал Господь: не вечно Духу Моему быть пренебрегаемым человеками; потому что они плоть; пусть будут дни их сто двадцать лет. В то время были на земле исполины, особенно же с того времени, как сыны Божии стали входить к дочерям человеческим, и они стали рожать им. Это сильные, издревле славные люди. И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были во зло во всякое время. И раскаялся Господь, что создал человека на земле, и восскорбел в сердце Своем. И сказал Господь: истреблю с лица земли человеков, которых Я сотворил, от человека до скотов, и гадов и птиц небесных истреблю; ибо Я раскаялся, что создал их» (Быт. 6. 1-7).

Библейский образ допотопных исполинов, произошедших от «падших ангелов» и «дочерей человеческих» (которых предание связывает с «дочерями Каина» — см. комментарии к № 6) играл важную роль в оккультном антропогенезисе (учении о происхождении человека). Согласно оккультной доктрине для создания «совершенного человека» необходимо семь этапов, каждый временной протяженностью в «эон» (сверхбольшой отрезок времени, исчисляющийся миллионами лет), которым должно соответствовать семь «человечеств» или семь «рас» (не путать с современным этническим понятием «расы»). Каждому из семи этапов соответствуют и семь разных состояний Земли, ее географии, флоры и фауны. Четыре из данных этапов миновали, пятая «раса» соответствует современному человечеству, две последующих оказываются временной перспективной человеческого «рода» в целом. В изложении Е.П.Блаватской, попытавшейся обобщить во второй книге «Тайной Доктрины» все оккультные «данные» в этой области, картина подобной «мистической эволюции» выглядит так.

На определенном этапе «общего» космогенезиса семь «ангелов-прародителей» («Дхиан-Коганов») выделяют из себя семь «астральных тел», которые и становятся первыми семью «эфирными образами» людей, наделенными лишь чувством слуха. Эти «эфирные образы», в свою очередь, выделяют из себя другие (процесс, сходный «почкованию» у простейших), образуя «первую расу», которая в течение «эона» существует на «эфирной тверди» Несокрушимой Священной Страны, «географические» контуры которой воспроизвести невозможно, ибо она пребывает вне физических форм бытия. По истечению «эона», «Первая Раса, вместо того, чтобы умереть, исчезла во Второй Расе, как переходят некоторые низшие растения в свое потомство. Это было всеобщее преображение» (Тайная Доктрина II (3). С. 108).

«Преображение» заключалось в том, что размножившиеся «эфирные образы» облеклись материей, «воплотились». Помимо слуха эти человеческие существа обрели осязание и пребывали уже в материальной конкретике на Гиперборейском материке — в области нынешних полярных районов земного шара, где в те времена царила «вечная весна». «Почковаться» из-за своей «телесности» люди Второй Расы уже не могли, а внешнего пола еще не имели, совмещая внутри себя как мужские, так и женские производительные функции (андрогинизм), поэтому их размножение шло через яйцекладку. И «первая» и «вторая» расы, впрочем, были только «*рудиментами* будущих людей» (Тайная Доктрина II (3). С. 137). Формирование человеческого существа в «историческом» (а, точнее, в «пред-историческом») смысле этого слова приходится на «эон» Третьей расы. Эту расу составило «яйцерожденное» потомство Второй расы, у которого постепенно стали формироваться внешние половые органы, сначала — мужеженские (андрогинизм трансформировался в гермафродитизм), а затем произошло разделение полов. К этому времени прошли геологические катаклизмы: «гиперборейские» земли вымерзли и покрылись льдом, океаны сместились, образовав единый материк в районе от нынешнего восточного побережья Африки до Полинезии — Лемурию. Не приспособленная к этим условиям Вторая Раса вымерла, а человеческие существа Третьей расы открыли в себе, помимо слуха и осязания еще и зрение. Изменился и природный мир, сопутствующий человечеству — вместо папоротниковых лесов и первых пресмыкающихся, появляются гигантские ящеры, динозавры и флора юрского периода. К завершению «эона» Третьей Расы появляются млекопитающие и «человекообразные», причем последние, по мнению оккультистов, являются потомками зоофилических контактов людей Третьей Расы, не осознавших специфику (об этике, вероятно, в подобном контексте говорить неуместно) полового способа размножения. Зоофилические пристрастия людей Третьей Расы и были, согласно оккультному антропогенезису, «последней каплей», переполнившей терпение неких «мудрых ангелов», ранее воздержавшихся от «процесса творения», но теперь решивших вмешаться и «просветить» лемурийское человечество. Эти «ангелы» стали «небесными наставниками» избранных людей Третьей Расы, сообщив им свое «огненное начало» (см.: Тайная Доктрина II (3). С 285-286, 304-308, 354-355), дающее возможность «различать добро и зло». От них возникла Четвертая Раса, соединяющая физический титанизм, присущий всем лемурийцам с интеллектуально-психическими возможностями «исторического» человечества (а к слуху, осязанию и зрению у них прибавились вкусовые ощущения) — те самые, упоминаемые в Книге Бытия «исполины». В этот период Лемурия (как некогда Гиперборея) подвергалась геологическим трансформациям: большая ее часть постепенно опускалась под воду, так что население размещалось теперь на вершинах гор, ставшими островами архипелагов, а «избранные» и их потомство перемещались в Западное полушарие, откуда отступал океан, давая место новому континенту для новой расы — Атлантиде (ее дальнейшая история и история Пятого, «послепотопного» человечества известны).

Стр. 11-51 — первая и вторая части повести, посвященые описанию жизни «первого человека» Тремограста на «первобытном острове», являются версией «ницшеанской утопии», возникшей в среде его европейских и русских поклонников 1890-1900-х гг., видевших в идеях немецкого мыслителя в первую очередь культ «естественного», «природного бытия», сообщающего человеческому существу подлинную гармонию мировоззрения, отсутствующую в урбанистической культуре современности. Эти неоромантические и «неоруссоистские» тенденции в интерпретации Ницше, позволяющие «натурфилософски» оправдать его «этический модернизм» (оправдание «естественного отбора», «права сильного», дуалистической «морали рабов и господ» и т.д.), проявляются на русской почве уже в статьях Н.К.Михайловского о его творчестве в «Русском богатстве» (1894. №№ 11 и 12); версию подобного «русского ницшеанства» 1900-х гг. см.: Абрамович Н.Я. Человек будущего: Очерк философской утопии Фр. Ницше. СПб., 1907. Мотив примитивистской «первобытной идиллии» — либо ретроспективной, созданной фантазией художника, либо возникающей вследствие каких-либо катастрофических событий в жизни героя-современника, забросивших его в «дикую среду», — именно в «ницшеанском» контексте был популярен как в европейском, так и в русском модернизме этой эпохи. Стр. 9-10 — ср. с упоминанием о «новом мире» «доставшемся» Тремограсту: «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле» (Быт. 1. 28). Тонкое замечание содержится в исследовании В.В.Десятова: «Ницшевские реминисценции в гумилевском творчестве располагаются, как правило, в непосредственном соседстве (либо вообще совпадают) с христианскими. Например, одно из стихотворений 1907 г. начинается словами: «Слушай веления мудрых, / Мыслей пленительных танец». Танец (в том числе и «танец головой») — один из лейтмотивов всего творчества Ницше, в то время как первая строка стихотворения является полуцитатой из книги притч царя Соломона (см.: Притч. 22. 17). Подобное же сближение христианских и языческих (неоязыческих) источников обнаруживается и в таких произведениях раннего Гумилева, как неоконченная повесть «Гибели обреченные»...» (Десятов В.В. Фридрих Ницше в художественном и экзистенциальном мире Николая Гумилева. Автореферат кандидатской диссертации. Томск, 1995. С. 8). Стр. 18-34 — несомненная реминисцентная перекличка этого эпизода с поэмой М.Ю.Лермонтова «Мцыри» (см. части 16-19) прокомментирована С.Н.Колосовой: «...Использованные [Гумилевым] сюжеты в своих ассоциациях несут необходимое информативное содержание, которое в процессе воспроизведения создает иную «эмоциональную ауру»<...> Сопоставление сюжетов поэмы «Мцыри» <...> и повести Гумилева «Гибели обреченные» дает возможность проиллюстрировать двойственное влияние этой поэмы на прозаический текст. <...> Мцыри, достойно прошедший все испытания и обретающий духовную жизнь в природе, все же погибает, не достигнув своей цели. Этот мотив становится доминирующим в повести Гумилева, и хотя путь героя к своей цели и к своему счастью показан только в самом его начале, наличие мотива недостижимости счас-

тья вносит необходимый подтекст и позволяет предугадать финал. Таким образом внимание читателя невольно смещается с сюжетных коллизий (т.е. с эпического плана) на внутренние переживания героя (т.е. на план лирический)» (Колосова. С.7). Стр. 43-45— кажущийся «двойной прозаизм» — «зоологический» и «научный» — очевидно призван подчеркнуть физическую «материальность» «мира Тремограста» в виду будущего контраста его с оккультным «миром Лемурии». Стр. 50 — об образе пещерного медведя в этом контексте см. комментарии к № 6. Стр. 65-67 — ср. с определением акмеистического «принятия» «жизни, нимало не сомневающейся в самой себе, хотя знающей все, — и Бога, и порок, и смерть и бессмертие» (см.: Соч III. С. 20). Стр. 68-71 — мотив «пляски» проходит через все творчество Ницше — от первой книги «Рождение трагедии из духа музыки» до «Так говорил Заратустра» — как самое полное символическое выражение переживания «дионисийского опьянения» жизнью: «Дионисийством он называет начало оргиазма, сказывающееся в восторженных телодвижениях, в сочетании радости и скорби, наслаждения и ужаса, когда уничтожаются обычные пределы бытия и человеческая личность сближается с природой» (Энциклопедический словарь. СПб., 1897. Т. 41. С. 205). Стр. 72-80 — ср.: «Знаете ли вы наслаждение, когда камень катится в отвесную глубину?» («Так говорил Заратустра». Гл. «О старых и новых скрижалях»). «Изобретение неведомого языка стоит в некоторой связи с акмеистически-адамистской программой «девственных наименований», — писал Р.Д.Тименчик. — Показательно, что сходный мотив возникает как в ситуации самонаречения «первого человека» в раннем рассказе Гумилева «Гибели обреченные» <цит. стр. 72-80> — так и в «Утре акмеизма» Мандельштама: «Но камень Тютчева, что с горы скатившись, лег в долине, сорвавшись сам собой или низвергнут мыслящей рукой, — есть слово. Голос материи в этом неожиданном падении звучит как членораздельная речь»» (Тименчик Р.Д. Заметки об акмеизме (II) // Russian Literature. 1977. Vol. 3. P. 282). Это же «первобытное» имя носит главный герой первых редакций пьесы «Охота на носорога» (см. № 9 (V), раздел «Другие редакции и варианты»). Однако, в контексте дальнейшего развития повествования уместно привести и слова Христа: «И Я говорю тебе: ты Петр [камень], и на сем камне Я создам Церковь Мою и врата ада не одолеют ее» (Мф. 16. 18). Стр. 87-88 — ср. описание Демона до его падения: «Когда он верил и любил, / Счастливый первенец творенья! / Не знал ни злобы, ни сомненья, / И не грозил уму его / Веков бесплодных ряд унылый...» (М.Ю.Лермонтов. «Демон»). Стр. 89-90 — ср.: «Я люблю тех, кто изначально не ищет за звездами причины спуститься и сделаться жертвой: но кто приносит себя в жертву земле, так чтобы земля когда-нибудь принадлежала сверхчеловеку» («Так говорил Заратустра». Пролог; см. ст-ние № 28 (I) и комментарии к нему). Ср. также мотив «подчинения природы» Адаму в ст. 31-58 ст-ния № 161 (I). Стр. 91-92 — ср. с образом «мраморной пещеры» или «мраморного грота» в ст-ниях №№ 45 и 81 (I). Н.А.Богомолов отмечал «ницшеанский» генезис подобной образности: «Пещера — место обитания Заратустры.., книга завершается строками: «Так сказал Заратустра и ушел от своей

пещеры, пылающий и сильный, как утреннее солнце, восходящее из-за темных гор» (Соч I. С. 489). Образ «острова» с «пещерами», «пантерами» и «конями» (см. далее) присутствует в ст-нии «Одиночество» (см. № 134 (I) и комментарии к нему). Стр. 129-130 вновь возвращают нас к библейским реминисценциям: «И нарек человек имена всем скотам и птицам небесным и всем зверям полевым» (Быт. 2. 20). Стр. 131-137 — образ Луны связан с обширным кругом символических значений как в оккультизме, так и в лирической символической образности Гумилева. Как уже говорилось, у оккультистов Луна считалась «царством» Дхиан-Каганов, которые начали «сотворение человека». Поэтому Луна считается «родительницей» Земли: «...Именно Земля есть спутник Луны, а не наоборот. Как бы ни было поражающе это заявление, оно не лишено подтверждения со стороны научного знания. Оно подтверждается приливами, периодическими изменениями во многих формах болезней, совпадающих с лунными фазами; оно может быть прослежено в росте растений и ярко выражено в феномене человеческого зачатия и процесса беременности. <...> Но пока что наука лишь знает, что воздействие Земли на Луну ограничивается физическим притяжением, заставляющим ее вращаться в ее орбите. И если бы возражатель настаивал, что этот факт, сам по себе, достаточное доказательство, что Луна действительно является спутником Земли.., можно ответить, задав вопрос — будет ли мать, которая ходит вокруг колыбели своего ребенка, охраняя его, подчиненной своего ребенка или же зависящей от него? Хотя, в одном смысле, она его спутник, тем не менее, она, конечно, старше и полнее развита, чем ребенок, охраняемый ею. Следовательно, именно Луна играет самую большую роль, как в образовании самой Земли, так и в иаселении ее человеческими существами» (Тайная Доктрина I (1). С. 235). Сказанное будет понятнее, если знать, что Луна является символом Люцифера. Впрочем, нынешнее состояиие Луны, передавшей все свои жизненные силы Земле, и в оккультной традиции трактуется неоднозначно: «Луна сейчас является охлажденным отбросом, тенью, влекомой новым телом, которому переданы ее жизненные силы и принципы. Она обречена теперь на протяжении долгих веков преследовать землю, привлекая свое порождение и будучи сама привлекаема им. Постоянно вампиризуемая своим порождением, она отомщает ему, пропитывая его своими губительными, невидимыми и ядовитыми воздействиями, излучаемыми оккультной стороной ее природы. Ибо оиа мертва, но, тем не менее, еще живое тело. Частицы ее разлагающегося трупа полны деятельной и разрушительиой жизнью, хотя созданное ими тело теперь лишено души и безжизненно. Потому ее излучения одновременно благодетельны и вредоносны, — обстоятельство, находящее на Земле параллель в факте, что травы и растения нигде так не сочны, нигде не растут с большей силою, чем на могилах; тогда как именио эманации кладбищ или трупов приносят болезни и убивают. Подобно всем привидениям или вампирам, Луна — друг колдунов и враг неосмотрительных» (Тайная Доктрина I (1).С. 209-210). В творчестве Гумилева Луна, как известно, была, прежде всего — «знаком Ахматовой» (действительно, страдавшей в юности лунатизмом — см. об этой стороне гумилевской «луниой символики» вступительную статью Р.Д.Тименчика к

подборке «ахматовских» ст-ний Гумилева: Родник. 1988. № 10. С. 20-21), что, в сочетании с приведенной трактовкой Луны оккультистами, позволяет оценить содержательность его любовной лирики этих лет, особенно если учесть, что общением с юной Ахматовой в апреле 1907 г. навеяно ст-ние «Влюбленная в дьявола» (см. № 58 (I), а также статью Р.Д.Тименчика ««Остров искусства». Биографическая новелла в документах» (Дружба народов. 1989. № 6. С. 247). Образ немотивированного самоубийства под воздействием Луны в гумилевском творчестве присутствует в ст-нии «Семирамида» (№ 158 (I)) и «Из логова Змиева...» (№ 16 (II)), причем второе открыто автобиографично и обращено к Ахматовой. Природу этой суицидности оккультизм объясняет тем, что «лунный магнетизм зарождает жизнь, сохраняет и разрушает ее» (Тайная Доктрина I (2). С. 491). Стр. 138-142 — образ охотника-богоборца, пускающего в небо стрелы, восходит к внуку Хама Нимвроду, упоминаемому в Библии (Быт 10. 9-10), которому предание приписывает инициативу в возведении Вавилонской башни. В творчестве Гумилева этот образ фигурирует в ст-ниях «Девушке» и «Я вежлив с жизнью современною...» (см. №№ 35 и 89 (II) и комментарии к ним). Стр. 152-160, 163 — образ «далекого острова — загадочного счастья» является доминирующим в цикле «Беатриче», причем в подобном же эротическом контексте (см.: №№ 51, 141, 142, 143 (I)). Этот образ восходит у раннего Гумилева как к «островам блаженства» — цели путешествия Заратустры в романе Ницше, так и к образам Лемурии и Атлантиды оккультизма (см. выше). Согласно оккультной историософии, после гибели и того и другого материков какое-то время сохранялись их реликтовые фрагменты — острова или горные плато — населенные людьми «Третьей и Четвертой рас», казавшихся людям «Пятой расы» «богами и героями» (см. Тайная Доктрина II (3). С. 218, 276). Стр. 168 — кипарис в традиционной флореарной символике является древом скорби, «древом мертвых». Стр. 181-183 — Е.П.Блаватская пишет: «Такие фразы как: «В своем [Сатаны] честолюбии он поднял руку против Святилища Бога в Небесах» и т.д., должны читаться так: Устремленный Законом Вечной Эволюции и Кармы, Ангел воплотился на земле в человека; и так как его Мудрость и Знание все же были божественны, хотя тело его от Земли, он... обвинен в раскрытии и выдаче Тайн Неба. <...> Это показывает, как был истолкован христианскими каббалистами случай супружества между Сынами Бога и дочерьми людей и передачи им божественных Тайн — как это аллегорически рассказано Енохом, а также в шестой главе Книги Бытия. Весь этот период может рассматриваться как пред-человеческий, период Божественного Человека или же, по выражению, употребляемому ныне протестантским богословием — как период Пред-Адамический» (Тайная Доктрина II (3). С. 354-356). «...Физическая природа, предоставленная самой себе при создании животного и человека, оказалась неуспешной. Она может производить... низших животных, но когда приходит черед человека, то для создания его, кроме «кожных оболочек» и «дыхания животной жизни», требуются духовные, независимые и разумные силы» (Тайная Доктрина II (3). С. 73). Первая семерка «ангелов-прародителей», согласно этому учению, «хотя и обладали «творческим огнем», были лишены высшего элемента Махата (т.е. «Боже-

ственного Разума» — *Ред.*). ...Они могли дать рождение только внешнему человеку или же, вернее, прообразу физического, астральному человеку» (Тайная Доктрина II (3). С. 101). Те же «высшие ангелы», которые могли сообщить человеку «Высшие Принципы», в первоначальном акте сотворения (точнее — «выделения из себя») человека не участвовали, ибо «восстали». Однако, прозябающие в невежестве и разврате люди «Третьей Расы» «взмолились к Высшим Отцам [Высшим Богам или Ангелам] <...> Божественные Цари спустились и наставили людей в науках и искусствах...» (Тайная Доктрина II (3). С. 254). «Мятежные ангелы» или «Божественные Цари» «воплотились в третьей расе в людей и сделали их совершенными» (Тайная Доктрина II (3). С. 117). «Божественные «Повстанцы»... предпочли проклятье воплощения и долгие циклы земного существования и перевоплощения, нежели видеть бедствие, хотя бы даже бессознательных существ... <...> ...Небесные Иоги добровольно пожертвовали собой, чтобы искупить Человечество... Чтобы выполнить это, они должны были отказаться от свойственного им состояния и спуститься на нашу Сферу.., сменив таким образом свои безличные Индивидуальности на индивидуальные Личности — блаженство надзвездного существования на проклятье земной жизни» (Тайная Доктрина II (3). С. 307-308). Согласно Е.П.-Блаватской, «воплотившиеся ангелы» (или «ангелообразные люди») имели что-то вроде «светящихся тел»: «...Человек эволюционировал как светящаяся, бесплотная форма, поверх которой, подобно расплавленной бронзе, вливаемой в модель ваятеля, была построена физическая форма его тела... <...> Его протопластическое тело не было создано из той же материи, из которой сделаны наши земные оболочки. Когда Адам пребывал в саду Эдема, он носил небесное одеяние, одеяние небесного света... свет от того света, которым пользовались в саду Эдема» (Тайная Доктрина II (3). С. 143). «Эти дети Неба и Земли при рождении были одарены Высшими Силами, создателями их сущности, необыкновенными способностями, как моральными, так и физическими. Они приказывали Стихиям, знали тайны Неба и Земли, морей и всего мира и читали будущее в звездах... Действительно, когда читаем о них, кажется, как будто мы имеем дело не с людьми такими, как мы, но с Духами Стихий, возникшими из Лона Природы и имевшими всякую власть над нею... Все эти существа отмечены печатью магии и колдовства...» (Тайная Доктрина II (3). С. 143). Образ «перьев страуса» присутствует в ст-нии Гумилева «Одиночество» (см. № 134 (I) и комментарии к нему). Стр. 184-185 — Лейла — изменное имя Лилит, как в оккультной традиции именовались вступившие в союз с «ангелами» «дочери человеческие» (см.: Тайная Доктрина II (3). С. 356); помимо того Лейла или Леила — действующее лицо поэмы Байрона «Гяур» и мистический адресат стихотворения А.С.Пушкина «Заклинание». В обоих случаях (у Байрона — в финале поэмы) явление героини сопряжено с явлением призрака: «Приди, как дальная звезда, / Как легкий звук, иль дуновенье, / Иль как ужасное виденье, / Мне все равно: сюда, сюда!» («Заклинание»). Стр.186-188 — согласно толкованию Е.П.Блаватской наделение человека «небесным знанием» ««сатанично», с точки зрения правоверных католиков, ибо благодаря прототипу того, что с течением времени стало христиан-

ским дьяволом — благодаря Лучезарным Архангелам, Дхиан-Коганам, которые отказались создавать, чтобы человек стал своим собственным творцом и бессертным богом — люди могут достигать Нирвану и Пристань Небесного Божественного Покоя» (Тайная Доктрина II (3). С. 307). С другой стороны, в «Теософском словаре» Е.П.Блаватской образ архангела Гавриила толкуется так: «Согласно гностикам, «Дух» или Христос, «посланец жизни» — являются одним и тем же. Первого иногда называют ангелом Гавриилом — на древнееврейском «могучий от Бога», и у гностиков он занимал место Логоса, в то время как Святой Дух считался единым с Эоном Жизнью. <...> Каждый, кто изучает оккультизм, поймет... то, что Гавриил — или «могучий от Бога» — един с Высшим Эго» (Блаватская Е.П. Теософский словарь. М., 1994. С. 131). Если учесть, что, по возвращении на свой остров Тремограст встретил подлинного Христа — Эгаима, который «обрек гибели» «лунных богов» и призвал «первочеловека» «победить» их, то Габриэль оказывается «лже-Христом», «антихристом». В «Практической магии» Папюса Габриэль — ангел Луны (по Каббале — планетный гений Луны) (см.: Папюс. С. 285). В библейской традиции архангел Гавриил — главный божественный «вестник» благовествовавший Марии о чудесном рождении Спасителя (Лк. 1. 26-38). Стр. 187-188, 205-206 — ср. со ст-нием Гумилева «Воспоминанье» (№ 152 (I)):

Когда в полночной тишине
Мелькнет крылом и крикнет филин,
Ты вдруг прислонишься к стене,
Волненьем сумрачным осилен.

О чем напомнит этот звук,
Загадка вещая для слуха?
Какую смену древних мук,
Какое жало в недрах духа?
<...>
Тот сон, что в жизни ты искал,
Внезапно сделается ложным,
И мертвый черепа оскал
Тебе шепнет о невозможном.

Ты прислоняешься к стене,
А в сердце ужас и тревога,
Так страшно слышать в тишине
Шаги неведомого бога.

Стр. 191 — «Великим» в данном контексте может быть только Люцифер, являющийся средоточием бытия «лунных богов» и «богоподобных людей» Третьей Расы. «Сатана [или Люцифер] представляет собою Активное начало или... «Центробежную» Энергию Вселенной [в космическом смысле]. Он есть Огонь, Свет,

Жизнь, Борьба, Усилие, Мысль, Сознание, Прогресс, Цивилизация, Свобода, Независимость. <...> ...Естетственно...рассматривать Сатану, Змия в Книге Бытия, как истинного создателя и благодетеля, Отца Духовного Человечества» (Тайная доктрина II (3). С. 306, 304). Стр. 193-198 — «Бледно-желтый цвет есть цвет первой плотной Расы, которая появилась во второй половине Третьей Коренной Расы — после падения ее в зарождение.., принося с собой окончательные изменения» (Тайная доктрина II (3). С. 312). Как уже было сказано, в оккультном антропогенезисе главным разграничительным моментом в процессе формирования человечества явилось формирование раздельных половых признаков в средней генерации Третьей Расы: «Третья и Четвертая Расы человечества... — Расы мужчин и женщин или же индивидов противоположных полов, но больше уже не бесполых Полу-духов и Андрогин, какими были две Расы, предшествовавшие им» (Тайная доктрина II (3). С. 159). Таким образом, «любовная коллизия» Лейлы и Габриэля, возможно, осложняется тем, что «Бог»-Габриэль либо гермафродит, либо андрогин. Что же касается «дочерей человеческих», к которым «входили Сыны Бога», то у Блаватской они характеризуются следующим образом: «Те, кто были до сих пор полу-божественными Существами, самозаключенными в телах, которые были человеческими лишь по внешности, изменились физиологически и сочетались с женами, которые были вполне человеческими и прекрасными видом, но в которых воплотились низшие, более материальные, хоть и небесные существа. Эти Существа в женских формах — Лилит является их прототипом в еврейских преданиях — называются в Эзотерических изложениях Кхадо.., всем им приписывается способность «летать по воздуху» и «великая доброта к смертным»; но они не обладали разумом — лишь животным инстинктом» (Тайная доктрина II (3). С. 356). Стр. 231-234 — «Не все люди стали воплощениями «Божественных Восставших», но лишь некоторые из них <...> что и объясняет великую разницу между умственными способностями людей и рас» (Тайная доктрина II (3). С. 131). Стр. 235-237 — «Эта раса могла одинаково легко жить в воде, воздухе или в огне, ибо она обладала неограниченным контролем над элементами. <...> Это были они, кто передал людям самые чудесные тайны Природы и открыли им неизреченное и ныне утерянное «слово»» (Тайная доктрина II (3). С. 276). Стр. 241-245 — «Вода есть порождение Луны, андрогинного Божества среди всех народов. <...> Отсюда и приливы и притяжения к Луне, как это выявляется жидкой частью нашего Земного Шара, постоянно стремящейся подняться к своей родительнице» (Тайная доктрина II (3). С. 83). Стр. 246 — ср. со ст. 59-60 и 89-90 ст-ния «Смерть Адама» (№ 161 (I)). Стр. 266-267 — имена гостей Тремограста строятся на сложной словесной игре. Эгаим — производное от латинского «эго» — «я» и еврейского «элохим», множественного числа от «эл» — Бог. «Сама эта [множественная] форма, согласующаяся в Библии почти всегда с глаголами и прилагательными в единственном числе, выражает, скорее, значение квинтэссенции, высшей степени качества, полноты божественности в лице единого Бога, вобравшего в себя всех, до того бывших богов (ср. «Бог богов» — «‘ĕlōhēy hāĕlōho m» — Втор. 10. 17). Подобная форма

множественного числа слов — обозначений Бога встречается в других, более древних семитских мифологиях, например в аккадской, где она свидетельствовала о предпочтении данному богу среди других богов; однако в русле иудаистского монотеизма такая форма была переосмыслена как обозначение единого Бога» (Мифологический словарь. С. 633). В совокупности всех смыслов «эгаим» означает и «Я — Бог», что восходит к свидетельству Иисуса о Себе в синедрионе (Мк. 14. 61-62; Лк. 22. 70), а также указывает на Него, как на Того, Кому отдаются предпочтения среди возможных «богов». Элаи — производное от еврейского «эл» — Бог и звукосочетания «аи», которое в символической «глоссолалии» Гумилева, отчасти раскрытой в его ст-нии «На далекой звезде Венере...» (№ 61 (IV)), означает «радостное обещанье» (см. ст. 13-14). В совокупности всех смыслов «элаи» означает «радостное обещанье Бога», что позволяет видеть в этом герое Иоанна Предтечу. Возможно, что источником для Гумилева послужил роман Д.С.Мережковского «Леонардо да Винчи» (1901), с которым Гумилев был безусловно знаком (юный поэт ценил творчество этого «мэтра» и в январе 1907 года пытался войти в «круг Мережковских» в качестве «неофита» (см.: ЛН. С. 426-428)). В заключительной части романа большую роль играет леонардовское изображение Иоанна в «дионисийской» атрибутике: «Глубина картины напоминала мрак той Пещеры, возбуждавшей страх и любопытство, о которой некогда рассказывал он моне Лизе Джоконде. Но мрак этот, казавшийся сперва непроницаемым, — по мере того, как взор погружался в него, делался прозрачным, так что самые черные тени, сохраняя всю свою тайну, сливались с самым белым светом, скользили и таяли в нем, как дым, как звуки дальней музыки. И за тенью, за светом являлось то, что не свет и не тень, а как бы «светлая тень» или «темный свет», по выражению Леонардо. И, подобно чуду, но действительнее всего, что есть, подобно призраку, но живее самой жизни, выступало из этого светлого мрака лицо и голое тело женоподобного отрока, обольстительно прекрасного, напоминавшего слова Пентея: «Длинные волосы твои падают по щекам твоим, полные негою; ты прячешься от солнца, как девушка, и сохраняешь в тени белизну лица твоего, дабы пленять Афродиту». Но если это был Вакх, то почему же вместо небриды, пятнистой шкуры лани, чресла его облекала одежда верблюжьего волоса? Почему вместо тирса вакхических оргий, держал он в руке своей крест из тростника пустыни, прообраз Креста на Голгофе, и, склоняя голову, точно прислушиваясь, весь — ожидание, весь — любопытство, указывал одной рукой на Крест, с не то печальной, не то насмешливой улыбкой, другой — на себя, как будто говорил: «Идет за мной сильнейший меня, у Которого я недостоин, наклонившись, развязать ремень обуви его»». У Мережковского на создание такой версии изображения Иоанна Леонардо натолкнули выписки из Священного Писания в дневнике его покойного ученика Бельтраффио: «Я уже не буду пить от плода виноградного до того дня, когда буду пить новое вино в царствии Божием. Я есмь виноградная лоза, а Отец Мой — виноградарь. Кровь Моя истинно есть питие. Пиющий Мою кровь имеет жизнь вечную. Кто жаждет, иди ко Мне и пей» (см.: Мережковский Д.С. Собрание сочинений. В 4 т. М., 1990. Т.2. С. 265-266). «Дионисийские» мотивы

в изображении спутника Эгаима, который «перекладывает в песни» открытые Эгаимом «тайны», ассоциируют этот образ также и с Орфеем (см. комментарии к №№ 6 и 10 наст. тома). Сочетание «дионисийского» начала с христианским, вероятно, навеяно в повести Гумилева и трактатом Вяч.И.Иванова «Эллинская религия страдающего бога», публиковавшимся в 1904 г. в журнале Мережковских «Новый путь». Стр. 292-294 — аллюзия на слова Иисуса во время Его вшествия в Иерусалим: «А когда он приблизился к спуску с горы Елеонской, все множество учеников начало в радости велегласно славить Бога за все чудеса, какие видели они. Говоря: благословен Царь, грядущий во имя Господне! Мир на небесах и слава в вышних! И некоторые фарисеи из среды народа сказали Ему: Учитель! Запрети ученикам Твоим. Но Он сказал им в ответ: сказываю вам, что если они умолкнут, то камни возопиют» (Лк. 19. 37-40). Предание же с плачущими от пения Орфея камнями — широкоизвестно (см. комментарии к №№ 6 и 10 наст. тома). Стр. 296-303 — в песне Элаи отражен мотив оккультной аллегории «земли-коровы», которая, «дрожа от ужаса», спасается бегством от преследующей ее Луны «в области Брамы» (см.: Тайная доктрина I (2). С. 491). Однако в общем смысловом контексте образ Луны здесь проецируется уже в сферу христианской символики, где «ночное светило» аллегорически уподобляется «христианам до христианства», т.е. всем тем, кто в языческую эпоху «жаждал» Истины и стремился к Ней, а также упоминается в Апокалипсисе (Отк. 12. 1) среди атрибутики «Жены, облеченной в Солнце», т.е. Богородицы. Стр. 304-316 — сцена «призвания» Тремограста вовлекает читателя в очень сложную (и рискованную) герменевтическую «игру», позволяющую судить о той религиозно-философской эклектике, которая царила в сознании будущего основателя акмеизма во время создания «Гибели обреченных». Сравнение Эгаима с «мудрой священной змеей» сразу же вызывает откровенно дуалистические ассоциативные ряды. С одной стороны символика «змея» была связана с ветхозаветной эмблематикой Христа: в змея превращается жезл Моисея (Исх 4. 3), Моисея и Аарона (Исх. 7. 9-12), вознесением Медного Змея Моисей спасает израильтян в пустыне (Числ. 21. 8-9; образ Медного Змея считается символом, пророчествующим о крестной жертве Христа). Сам Иисус повелевал Своим ученикам: «будьте мудры, как змии, и просты, как голуби» (Мф. 10. 16). С другой стороны неизбежно возникает и ассоциация с Едемским змием-искусителем (Быт. 3. 1-14), проклятым Творцом, но обожествляемом в качестве носителя Божественного Знания в древних гностических сектах (офитов и др.) и в таковом же качестве выступавшем в трудах деятелей «оккультного возрождения»: ««Змий — предмет отвращения и поклонения, и люди питают к нему либо беспощадную ненависть, либо преклоняются перед его мудростью. Ложь взывает к нему; осторожность заявляет на него права; зависть носит его в сердце, красноречие на своем жезле. В аду он превращается в бич фурий; на небесах вечность делает его своим символом» (Шатобриан)» (см.: Тайная доктрина I (2). С. 498, а также указание, что «Змей и Дракон были наименования, даваемые Мудрецам, Посвященным Адептам древних времен» (Тайная доктрина I (2). С. 499)). Слова Эгаима «ты можешь быть князем земли» также ассоциатив-

но-двойственны. Если учесть происхождение имени Тремограста от «камня», то здесь можно усмотреть аллюзию на исповедание Петра и дарованную ему затем власть «вязать и разрешать» на земле (Мф. 16. 19). С другой стороны «князем мира сего» Иисус называет Сатану на Тайной Вечере (Ин. 14. 30), а «все царства мира и славу их» Сатана предлагал Иисусу, искушая Его (Мф. 4. 8-9). Наконец призыв «подняться на вершины и победить богов», созвучный известному лейтмотиву романа Ницше, устанавливает ассоциативную связь и с его Заратустрой. Стр. 338-346 — ср. со ст-нием «На льдах тоскующего полюса...» (№ 131 (I)):

Из двух соблазнов что я выберу,
Что слаще — сон иль горечь слез?
Нет, буду ждать, чтоб мне, как рыбарю,
Явился в облаке Христос.

Он превращает в звезды горести,
В напиток солнца жгучий яд
И созидает в мертвом хворосте
Никейских лилий белый сад.

Упоминаемый корень мандрагоры в магических ритуалах многих народов всегда был связан с темной демонической силой, могущей навредить тому, кто его вырвал из земли, если тот не является колдуном; на Эгаима власть бесов не распространяется. Стр. 370-377 — чудо, совершенное Эгаимом символично, если учесть «преображение» Тремограста, ставшего после призвания его Эгаимом «задумчивым» и «непривычно застенчивым»: дикий бык в бестиарной символике ассоциировался с плотским началом бытия, был воплощением слепой телесной стихии. Стр. 384 — на этом повествование обрывается; возможно, на замысел финала повести «Гибели обреченные» может пролить свет финал рассказа «Дочери Каина», очевидно перекликающегося с ней по затронутой религиозно-философской тематике «проклятых рас Каина».

2. Сириус. 1907. № 2 (подп. А.Грант). Текст, изобилующий пунктуационными ошибками и грамматическими двусмысленностями, приведен к современной языковой норме; исключением является фрагмент, который может быть интерпретирован как особенность авторского стиля (в стр. 62 вместо «эта» стоит «это»).

Гумилевские чтения 1984 -- Соч II -- СС 2000 -- АО -- Проза поэта; Мистика серебряного века.

Дат.: февраль 1907 — по времени выхода № 2 журнала «Сириус» (Исследования и материалы. С. 314-315).

Художественный очерк «Карты», увидевший свет во втором номере журнала «Сириус» современниками Гумилева замечен не был. Переиздан он был лишь семьдесят семь (!) лет спустя в издании «Гумилевских чтений» 1984 г., однако и новейшее гумилевоведение эту публикацию фактически проигнорировало. Отчасти

это объясняется тем, что *«болтовня Анатолия Гранта»* воспринималась до сих пор как модернистская стилизация на тему «гадательных книг», написанная «к случаю» для заполнения пустующих страниц «Сириуса», так и не получившего поддержки в профессиональных литературных кругах (в чем Гумилев с горечью признавался Брюсову в письме от 11 марта 1907 года (см.: ЛН. С. 432; см. об издании «Сириуса» вступительную заметку к комментариям). Между тем, мотив собственно «карт» оказывается второстепенным и, в какой-то мере, случайным в очерке, который является художественным манифестом Гумилева-символиста, первым во времени программным заявлением поэта и, потому, должен рассматриваться в его творчестве в ряду таких произведений, как «художественный манифест акмеизма» — пьеса «Актеон» (см. № 4 (V) и комментарии к ней) и знаменитая статья «Наследие символизма и акмеизм».

Очерк «вынашивался» поэтом в те несколько первых «парижских» месяцев (июль-декабрь 1906 г.), когда новоиспеченный студент Сорбонны переживает страстное увлечение оккультнымн учениями и «художественным мистицизмом» символизма (эти понятия сливались в его творчестве того времени воедино). Он пытается, правда большей частью без особого успеха, завести знакомства с крупнейшими авторитетами «новой школы» в тогдашнем «русском Париже» — Мережковскими, Бальмонтом, Вяч.И.Ивановым, М.А.Волошиным (см.: Соч III. С. 353-354; ЛН. С. 416 и комментарии на с. 419), знакомится с доктором Папюсом (см. комментарий к № 3) и даже участвует в рискованных магических экспериментах. «Помню, как он однажды очень серьезно рассказывал о своей попытке вместе с несколькими сорбоннскими студентами увидеть дьявола, — вспоминала О.Л.Делла-Вос-Кардовская, автор известного портрета Гумилева 1908 г., — Для этого нужно было пройти через ряд испытаний — читать каббалистические книги, ничего не есть в продолжение нескольких дней, а затем в назначенный срок выпить какой-то напиток. После этого должен был появиться дьявол, с которым можно было вступить в беседу. Все товарищи очеиь быстро бросили эту затею. Лишь один Н.С. проделал все до коица и действительно видел в полутемной комнате какую-то смутную фигуру» (Жизнь Николая Гумилева. С. 31-32). Стихотворениями, насыщенными оккультной символикой, полны его письма к Брюсову этой поры (см.: ЛН. С. 415-426).

По совершенству стиля, строгой композиционной логике, точности и содержательной емкости выдвигаемых положений и художественной изысканности плана их выражения, очерк «Карты» непосредственио предвосхищает гумилевский «манифест акмеизма» (при том, что статья «Наследие символизма и акмеизм», конечно, содержательно антитетична «Картам»). Возможно, на стилистическое решение данного текста повлиял цикл афоризмов О.Бердслея «Застольная болтовня», русский перевод которого был помещен в № 11 «Весов» за 1905 г. («бердслеевский» блок материалов, помещенных в этом № «Весов» является одним из важнейших источников очерка). На это указывает подзаголовок, помещенный в оглавлении № 2 «Сириуса» — «Карты. *Causerie* (фр. «болтовня» — *Ред.*) *Анатолия Гранта*». В своей ипостаси «художественного манифеста» «Карты» связаны и с программной

статьей «От редакции», помещенной в № 1 «Сириуса», написанной, по всей вероятности, тоже Гумилевым: «Мы дадим в журнале новые ценности для изысканного миропонимания и старые ценности в новом аспекте.

Мы полюбим все, что даст эстетический трепет нашей душе, будет ли это развратная, но роскошная Помпея, или Новый Египет, где времена сплелись в безумии и пляске, или золотое средневековье, или наше время, строгое и задумчивое.

Мы не будем поклоняться кумирам; искусство не будет рабыней для домашних услуг, ибо искусство так разнообразно, что свести его к какой-либо цели, хотя бы и для спасения человечества, есть мерзость перед Господом» (Сириус. 1907. № 1. С. 3; см. также: Николаев Н.И. Журнал «Сириус» // Исследования и материалы. С. 311; Соч III. С. 218, 324-325).

Очерк Гумилева четко делится на три части: 1) обоснование символистской концепции творчества на основании антропологической теории Папюса, изложенной в его книге «Traite elementaire de Magie pratique» (Paris, 1893) (стр. 1-25); 2) иллюстрация сказанного с помощью краткого анализа «бердслеевской» публикации № 11 «Весов» за 1905 г. (стр. 26-35); 3) демонстрация символистской художественной рефлексии на частном случае осмысления «жизни карт» (стр. 36-83).

Эпиграф — из ст-ния Ф.Сологуба «Что селения наши убогие...».

Стр. 1-25 — в первой части «Практической магии» Папюса излагается учение о том «как человек воли может влиять на свой организм, то есть на свое жизненное начало и на жизненный принцип Природы или иначе — на мир духов» (Папюс. С. 7). Профессиональный медик и педагог Папюс привлекал для обоснования своего учения о «магических» способностях человека современные научные данные в области физиологии и психологии, и излагал содержание «магической антропологии» ясным, доступным языком, разительно отличающимся от нарочито «темного» герметического стиля других оккультистов, приводя к тому же массу удачных сравнений-аналогий, приближающих отвлеченные положения к жизненному опыту рядовых читателей. Собственно же его учение о природе человека сводится к следующему.

Человеческой существо, согласно Папюсу подразделяется на три начала: *человека-машину, импульсивного человека и разумного человека*. Первая являет взгляд на человека, как на сложное психо-физиологическое существо, могущее вести органическую жизнь. Осуществление этой жизни на основе *инстинктивной* реакции на среду является прерогативой импульсивного человека, а действия, обусловленные подчинением инстинктивных рефлексов *сознательным волевым усилием*, выявляют человека разумного. «Все усилия Магии, — пишет Папюс, — сводятся к изысканию способов, позволяющих разумному человеку возобладать над импульсивным» (Папюс. С. 22). Тот, кому это удалось и оказывается обладателем магических возможностей, ибо магия, согласно Папюсу, «есть применение динамизированной человеческой воли к быстрому развитию живых сил природы», «сознательное действие воли на жизненную силу» (Папюс. С. 18-19). На практике это будет выглядеть как способность некоторых «необыкновенных» людей преобразовывать окружающие их материаль-

альные объекты, не прибегая к каким-то механическим действиям, исключительно «напряжением воли» (например — воспламенять или передвигать предметы «взглядом», если прибегнуть к общедоступной терминологии).

Естетственно, что понимание магии как практическое воздействие духа на тело (свое собственное и внешнее «тело» окружающего «мага» мира), предполагает знание «идеальной части» «человеческой машины», его «астрального тела». Оно «занимает промежуточное положение между физическим телом и духом; оно одинаково повинуется импульсам, исходящим как от того, так и от другого, отдавая предпочтение сильнейшему. <...> В нормальном состоянии дух настолько владеет через посредство нервной силы импульсивными психическими центрами, что они не могут действовать помимо его воли, но как только в распоряжении духа не оказывается должное количество нервной силы, импульсивные центры выходят из повиновения и начинают преувеличенно реагировать на малейшее восприятие» (Папюс. С. 22). Эстетическое созерцание бытия астрального тела, реагирующего на все импульсы не только «материального», но и «потустороннего» мира, и особенно интенсивного в моменты «бессознательного» состояния человека (сон, опьянение, гипнотический транс) и есть, по мнению Гумилева, содержание символистского творчества. Стр. 2-3 — ундины и сильфиды — духи воды и воздуха в оккультной системе «духов стихий», содержащей в себе еще и духов земли и огня (гномов и саламандр). Стр. 3-7 — данный пассаж имеет очевидно автобиографическое содержание: см. выше воспоминания О.Л.Делла-Вос-Кардовской. Стр.8-10 — об описаниях состояния наркотического транса Бодлером в трактате «Искусственный рай» см. комментарии к № 15. Папюс, трактовавший действие наркотиков, наряду с действием кофе и алкоголя, как мощные, но опасные средства для искусственного «возбуждения бытия астрального тела», так прокомментировал «опыты» Бодлера: «Стоит прочесть «Искусственный рай» Бодлера, изложение которого при всей своей поэтичности далеко превосходит обычные ученые трактаты как по богатству и поучительности содержания, так и по строгой точности. Просто удивляешься мудрому анализу Бодлера, сумевшего разобраться в психическом действии этого странного снадобья, главное свойство которого состоит в преувеличении чувства радости и обострении чувства печали, доводя до крайних пределов интенсивность чувства, занимающего душу в данный момент. <...> Гашиш — это могущественный осуществитель скрытых идей и склонностей, через него бессознательное проявляется перед изумленным сознанием, и душа, отражаясь в самой себе, как бы в зеркале, является положительным откровением для себя самой. Таким образом, человек знакомится с живущим внутри его другом, о существовании которого он даже не подозревал, и человек разговаривает со своим ангелом-хранителем или, если хотите, с тем коварным демоном, толкающим его на погибель, которого каждый носит в своем сердце. Ранее грехопадения прародителей универсальный человек (Адам Кадмон) обладал квазибожественной способностью объективировать свои идеи: он «думал существа» (мыслью творил материю), «грезя творил». Эксперименетнирующему с гашишем кажется, что это вещество возвращает человеку на час эту дивную способность без труда экстеоризировать

все существующее в его воображении. Ему кажется, что он получил возможность «творческого слова», которую имел до грехопадения. <...> Гашиш всегда благоприятствует выходу астрального тела, и иногда даже один определяет это явление. Индийская конопля есть превосходное магическое растение» (Папюс. С. 74). Впрочем, надо заметить, что в книге Папюса содержится и оговорка: «Но... если экспериментатор окажется малодушным трусом, то единственным действием гашиша будет обострения его страха до степени безумного кошмара; обыкновенно это сопровождается склонностью к самоубийству, ибо в одной лишь смерти можно найти в этом случае убежище от страха умереть» (Папюс. С. 74). Стр. 10-13 — ср. у Папюса: «Мы нисколько не обманываемся насчет действия, которое произведет это учение на умы людей, составивших себе прочное мировоззрение на основании положений эмпирических наук и считающих эти положения последним словом истины. Опытная наука оказала достаточно большие услуги человечеству своими аналитическими открытиями, чтобы иметь право быть строгой. Роковой закон требует, чтобы все, выходящее из тесных рамок рутины, заранее было обречено служить посмешищем «здравомыслящему» обществу. Со своим воззванием я обращаюсь к молодежи и лицам, не погрязшим в рутине, которых не смущают никакие догматы и никакая неожиданность. К тем, которые чувствют, что существует нечто вне круга явлений, охватываемого опытной наукой. Им-то я и говорю: изучайте старательно даваемые Магией объяснения, обдумывайте их и принимайте лишь при условии строжайшего эксперимётального контроля. <...> Приучитесь хладнокровно смотреть в глаза неизвестному, в каком бы виде оно не являлось, хотя бы в виде классического привидения. Победив клерикальное ханжество, не давайте себя одолеть ханжеству научному, такому же опасному, несмотря на кажующуюся свою либеральность. Гордые своей свободой, пользуйтесь ею и учитесь быть самостоятельными во всем, даже в определении своих научных взглядов» (Папюс. С. 19-20). Стр. 14-16 — ср. у Папюса: «Психическая часть человека подобна саду, расположенному тремя террасами на склоне горы. Нижняя из этих террас называется инстинктом, средняя — чувством и верхняя — интеллектом. При рождении каждый человек получает семена для насаждения в нижнем саду (инстинкты). Из семян этих, раз попавших в землю, выходят дикие растения, не требующие со стороны садовника никакого ухода, потому что фонтан внешних впечатлений обильно доставляет им все нужное.

Но когда эти растения разовьются в способности, они принесут цветы, называемые идеями, и плоды, заключающие зародыши новых способностей.

Семена, добытые из этих плодов, предназначены для посева во втором саду (чувств). Но в этот сад лишь редко долетают брызги от фонтана внешних впечатлений, а потому об этих растениях садовнику уже приходится заботиться, в силу чего они получаются менее дикими, хотя еще и сохраняют подобие растений нижнего сада.

В период жатвы средний сад человека украшается плодами новых способностей.

Из этих плодов нужно с величайшей тщательностью и громадной осторожностью извлечь семена и посеять их в саду интеллекта. Там на них вырастут новые высшие способности — при условии, если садовник приложит все свое старание и

внимание» (Папюс. С. 31-32). Образ «садов души», генетически восходящий к этому фрагменту Папюса, очень распространен в раннем творчестве Гумилева (см., напр. ст-ния № № 85, 141 (I)). Стр. 17-19 — ср. характеристики этих понятий у Папюса (гл. III Природа. Раздел «Краткий очерк анатомии, физиологии и психологии Природы»): «В человеке Природе принадлежит органическая (механическая) часть его существа, и мы знаем, что один и тот же принцип (жизнь) в различных своих проявлениях заведует двумя главными органическими функциями: питанием, с одной стороны, и движением — с другой.

Эта сила действует в человеке независимо от его воли, и философы называют ее «бессознательным», маги же — «астральным телом»... <...> Если вы попросите вашего доктора показать вам жизненную силу, ему нелегко будет удовлетворить ваше желание. Во всяком случае он может показать вам кровь, объяснив при этом, что она — носитель этой силы, так что если воспрепятствовать крови циркулировать в каком-либо органе, этот орган умрет. <...> Грудь состоит из массы клеточек, разнообразнейших форм и назначений, подобно живым существам, населяющим землю. Кровь, заключающая в себе все нужное для поддержания их жизни, омывает все эти клеточки; движением этих клеточек, равно как и их питанием, заведует нервный флюид. Флюид этот является... орудием, используя которое «бессознательное» при посредстве нервных клеточек осуществляет воздействие на организм.

В груди есть два источника нервного флюида: 1) сплетение симпатического нерва, содержащее в запасе известное его количество, и 2) передние части спинного мозга, непрерывно доставляющие новые его количества.

В конце концов, принимая, что разумное — хотя и не сознаваемое нами — начало руководит обменом веществ и движениями в груди, мы можем оправдать его местопребывание в упомянутом ранее утолщении спинного мозга и сплетениях симпатического нерва.

Итак, мы видим, что грудь имеет свой специальный центр средоточия нервной силы, служащий посредником между ею и главным (головным) центром» (Папюс. С. 47-50). Стр. 26-35 — уже первые публикаторы «Карт» в Гумилевских чтениях 1984 и Соч II указывали на то, что вся «бердслеевская» часть художественного очерка Гумилева имеет своим источником пространную подборку материалов о великом английском графике в № 11 «Весов» за 1905 г. Этот номер «Весов» был принципиально важен для Гумилева потому, что в нем был опубликован также и «судьбоносный» для юного поэта очерк В.Я.Брюсова о ПК (см. вступительную заметку к комментариям т. I (С. 328)). Что же касается Обри Бердслея (1872-1898), то здесь, помимо гравюр, были помещены очерк итальянского художественного критика Витторио Пика «Обри Бердслей», который характеризовал его творчество как «напряженную смесь чистого мистицизма со жгучим сладострастием» (Весы. 1905. № 11. С. 53), и проза Бердслея «Под холмом» (с двумя иллюстрациями — «Аббат Фанфрелюш» и «Туалет Елены») и «Застольная болтовня». Стр. 26-29 — первая из упомянутых гравюр Бердслея относится к циклу его иллюстраций пьесы О.Уайльда «Саломея». Вторая — иллюстрация к рассказу «Под холмом»

(«Туалет Елены»), причем изображение нот присутствует именно на этой гравюре. Изображение аббата Фанфрелюша — одного из гостей Прекрасной Елены — просто разряженная фигура в жеманной позе; однако в самом рассказе эпизод с партитурой Вагнера и Фанфрелюшем есть: «Ложась, Фанфрелюш взял с собою в постель несколько книг. Одна из них <...> партитура «Золото Рейна». Изобразив из коленей пульт, он поставил перед собой оперу и стал перелистывать любящей рукой страницы, и пришел к заключению, что нет ничего приятнее разбора блестящей комедии Вагнера рано утром со свежей головой.

Еще раз наслаждался он красотой и величием вступительной сцены; полной загадочностью увертюрой, поднимавшейся, казалось, с самого илистого дна Рейна; отвратительной и наивной шаловливостью музыки, сопровождающей речитативы и движения русалок; черными омерзительными звуками любовной песни Альбериха; плавной мелодией легендарной реки...

Но что больше всего ему теперь понравилось, так это третья картина со сценой, где Логэ, словно средневековый Скапэн, пробует свою силу на Альберихе. Непрерывный лихорадочный звон молотов у кузни, сухое стаккато тревоги Мимэ, беспрерывное движение толпы Нибелунгов, похожих на стадо загнанных и перепуганных адских овец; дикая ловкость и бесчисленные превращения Альбериха; быстрые, как языки пламени движения Логэ — все это вместе делает эту картину наиболее сложной и беспокойной во всем цикле. Как наслаждался Аббат чудовищно-роскошной поэзией, разгоряченной мелодрамой, великолепной тревогой всего этого!» (Весы. 1905. № 11. С. 45-46). Упоминание о Вагнере есть и у Папюса (Глава V, раздел «Об ощущениях. Развитие психического существа», подраздел «Музыка») : «Музыка в качестве возбудителя интеллектуального центра так разнообразна, что может быть применима для услаждения всех классов людей, каково бы ни было их развитие, по этому можно судить, как важна она для мага в качестве возбуждающего.

Можно классифицировать музыку различным образом, рассматривая ее с точки зрения троякого действия органических центров оркестра под видом существа, наделенного троякой сущностью: состоящего из корпусов инструментов (деревянных ящиков), одухотворенных (медь) и разумных (струны), главой которых является дух, или, наоборот, с точки зрения ритма и размера, или, наконец, в зависимости от той среды, на которую она влияет, и тогда мы увидим большой отдел музыки инстинктивной, представляющей шансоньетки, бальные танцы и кафешантанную музыку, музыку анимическую, являющую собой преимущественно национальные и военные мотивы, вплоть до комических оперетток включительно, и, наконец, музыку интеллектуальную, заключающуюся для толпы в романсе, а для артистов — в операх Вагнера» (Папюс. С. 82-83; ср. с трактовкой музыки в раннем творчестве Гумилева в рассказе «Скрипка Страдивариуса» (см. № 10 наст. тома и комментарии к нему)). Небезынтересно и следующее почти сразу за этим у Папюса определение поэзии: «Поэзия есть музыка слова и должна быть изучаема с точки зрения ритма и соответствий» (Папюс. С. 83). Стр. 36-83 — ср.: «Две неподвижные идеи не могут вместе существовать в нравственной природе, так же, как два тела не могут в

физическом мире занимать одно и то же место. Тройка, семерка, туз — скоро заслонили в воображении Германна образ мертвой старухи. Тройка, семерка, туз — не выходили из его головы и шевелились на его губах. Увидев молодую девушку, он говорил: «Как она стройна!.. Настоящая тройка червонная». У него спрашивали: «который час», он отвечал: «без пяти минут семерка». Всякий пузастый мужчина напоминал ему туза. Тройка, семерка, туз — преследовали его во сне, принимая все возможные виды: тройка цвела перед ним в образе пышного грандифлора, семерка представлялась готическими воротами, туз огромным пауком» (А.С.Пушкин. «Пиковая дама». Глава VI). Комментируя этот фрагмент Ю.М.Лотман писал: «Семиотическая специфика карточной игры в ее имманентной сущности связана с ее двойной природой. С одной стороны карточная игра есть *игра*, то есть представляет собой модель конфликтной ситуации. <...> Но в пределах карточной игры отдельные карты не имеют семантических отношений к вне карт лежащих денотатам. Когда в расстроенном воображении Германна карты обретают внеигровую семантику.., — то это — приписывание им значений, которых они в данной системе не имеют. Однако, с другой стороны, карты используются не только при игре, но и при гадании. В этой их ипостаси активизируются иные функции: прогнозирующая и программирующая. Одновременно выступает на первый план иной тип моделирования, при котором активизируется семантика отдельных крат.

В функционировании карт как единого семиотического механизма эти два аспекти имеют тенденцию взаимопроникать друг в друга» (Лотман Ю.М. «Пиковая дама» и тема карт и карточной игры в русской литературе начала XIX века // Лотман Ю.М. Пушкин. СПб., 1995. С. 789-790). Об отношении Гумилева к «Пиковой даме» Пушкина см. вступительную заметку к комментариям наст. тома.

3. **Сириус (Париж). 1907. № 3** (подп. А. Грант). Текст, изобилующий пунктуационными ошибками и грамматическими двусмысленностями, приведен к современной языковой иорме.

Гумилевские чтения 1984-- Соч II -- Русский путь -- Русский путь 2 -- Изб (Вече) -- СС 2000 -- АО -- Проза поэта; Московский комсомолец. 25 декабря 1991.

Дат.: март 1907 г. — по дате публикации (см.: Исследования и материалы. С. 314-315).

Для истории творческого пути Гумилева рассказ «Вверх по Нилу» интересен прежде всего тем, что это первое по времени свидетельство возникшего у юного поэта интереса к Африке. Было бы соблазнительно предположить, что этот рассказ вдохновлен личной беседой (или беседами) Гумилева — студента Сорбонны (а, может быть, — и царскосельского гимназиста?) с доктором Жераром д'Анкосом (Папюсом), о которых говорится в воспоминаниях С.В. фон Штейна (Последние известия (Ревель). 16 сентября 1921; см. комментарии к № 1 и 2), и что под именем «англичанина Тьери», который одновременно и соблазняет Гранта (Гумилева), намекая на некие «сакральные тайны», находящиеся в верховьях Нила (т.е. в

Абиссинии), и предостерегает от излишнего увлечения оккультными экспериментами («Бойтесь задумчивых жаб!»), выведен сам знаменитый популяризатор и систематизатор оккультизма. Папюс был очень заметной фигурой в парижских спиритуалистских и литературных кругах. Он считал себя учеником скандально известного мистика Филиппа и был одним из основателей в 1891 г. «ордена мартинистов». В 1894 он получил степень доктора медицины в Сорбонне, где он защитил диссертацию по «философской анатомии», и имел успешную медицинскую практику. В 1901, 1905 и 1906 гг. Папюс посещал Россию, где был принят при дворе в качестве врача и оккультного консультанта (интересно, что в частной переписке с августейшим семейством Папюс всячески предостерегал Николая II и Александру Федоровну от излишнего увлечения оккультизмом и выражал беспокойство о влиянии на них Распутина). Во время войны работал медиком в госпитале, заболел туберкулезом и умер 25 октября 1916 г.

«...Африка, бывшая континентом, где обитали наследники предшествующих цивилизаций, — отмечает Н.А.Богомолов, — рассматривалась Папюсом как хранилище важнейших данных о магических корнях современного тайного знания» (Богомолов. С. 117; см. также комментарии к №№ 9 и 12 наст. тома). Непосредственно к началу работы над изданием «Сириуса» (см. вступительную заметку к комментариям и комментарии к № 1) примыкает и письмо Гумилева к В.Я.Брюсову от 11 ноября 1906 г., в котором юный «ученик символистов» сообщает «учителю», что изучение «тайной доктрины» мыслилось им одной из главных целей его пребывания в Париже: «Когда я уезжал из России, я думал заняться оккультизмом. Теперь я вижу, что оригинально завязанный галстух или удачно написанное стихотворение может дать душе тот же трепет, как и вызывание мертвецов, о котором так некрасноречиво трактует Элифас Леви. Не сердитесь за сравнение галстуха со стихами; это показывает только как высоко я ставлю галстухи» (ЛН. С. 420)). Иронический тон письма не должен вводить в заблуждение относительно серьезности, с которой Гумилев подходил к «оккультным штудиям»: как тонко отметил Н.А.Богомолов, в цитированных строках присутствуют прямые «оккультные» реминисценции: «...Автоирония становится не очень понятной, если не учесть один из пассажей «Эзотерических бесед» Папюса: «...каким путем должен человек развивать в себе те чудесные способности, которыми желал бы обладать каждый? Прежде всего — это Магия! Человеческое существо всегда старается чем-либо отличиться от себе подобных. Один надевает красивый галстух и воротнички удивительной белизны, если это в его силах; другой — заставляет о себе говорить выдающимися поступками или каким-нибудь другим способом, третий, наконец, старается достигнуть обладания магической силой, и эта мечта действовать на невидимое соблазняет очень многих». Иронизируя над оккультными опытами, Гумилев в то же время в своей биографии пытается соединить все три названных Папюсом пути к отличию от других, прибавляя сюда еще и поэзию, о которой эзотерик не говорит ничего» (Богомолов. С. 125-126).

Как и другие гумилевские публикации «Сириуса», рассказ «Вверх по Нилу» современниками поэта замечен не был. В СС он не вошел, поскольку в распоряже-

нии Г.П.Струве был лишь № 1 журнала (см. СС IV. С. 589-590) и был впервые переиздан лишь в 1984 г. Авторы публикации связывали появление этого рассказа с «живым интересом» Гумилева к творчеству Г.Р.Хаггарда и высказывали предположение, что «образ «задумчивой жабы», воплотившей в себе таинственные силы тьмы, мог возникнуть у Гумилева... под влиянием некоторых рассказов Г.Мейринка (см.: Г.Мейринк. Лиловая смерть. Рассказы. Пг., 1923. С. 19-21 («Проклятье жабы»)» (Гумилевские чтения 1984. С. 52); в комментариях к публикации рассказа в Соч I эта справка была воспроизведена практически без изменений). Факт знакомства юного Гумилева с этими произведениями Густава Мейринка (Moyrink, 1868-1932) является гипотетичным, поскольку немецкий мистик переводился на русский язык только с 1922 г. (а на немецком упомянутый сборник его рассказов («Der violette Tod») вышел в 1913 г.). В современных исследованиях рассказ «Вверх по Нилу» упоминался только как «мемориальный фантом», могущий ввести в заблуждение биографов: «Речь... идет о долгом пребывании в Египте. Первая запись датируется 9 мая, и уже там говорится: «Я устал от Каира... Проходят дни, недели, а я еще все в Каире». Последняя запись — от 17 июня, и в ней нет даже намека на готовящийся отъезд из Египта.

Что это? Действительно путевой дневник? Тогда в каком же году состоялось это путешествие? Записей пять: 9 мая, 11 мая, 12 мая, 24 мая и 17 июня. Год нигде не указан. Но в одной из записей мы читаем: «Мы, люди тысяча девятьсот шестого года».

Так что же, 1906-й? Но 30 мая 1906 года Гумилев только еще получил аттестат зрелости в Николаевской Императорской Царскосельской гимназии. (см.: Соч III. С. 351 — *Ред.*). Так что к 1906-му путешествие относиться не могло.

А к 1907-му? Но все три номера «Сириуса» вышли в январе-феврале. <...>. «Листы из дневника» — литературное сочинение. А навеяно оно было, должно быть, романами Райдера Хаггарда, которого Гумилев любил с детства. При этом «Анатолий Грант» хотел идти в сферу мистического дальше Хаггарда. Отсюда и «задумчивая жаба». В рассказе есть такие авторские слова: <цит. стр. 25 — 30>. <...> Думаю, именно к этому рассказу 1907 года и восходит молва о состоявшемся тогда же путешествии. Молва, может быть, не очень опровергавшаяся и самим Гумилевым. Но «Листы из дневника» не итог путешествий. Это мечты о встрече» (Давидсон. С. 34-35). Как «фантастическое предвосхищение» путешествия в Египет 1908 г. (см. комментарий к № 12) рассказ упомянут и в исследовании В.В.Бронгулеева, который заключал, что «данный юношеский этюд, несмотря на всю свою наивность, свидетельствует очень о многом. Сквозь претенциозно и нередко неумело построенные фразы угадываются уже зародившиеся в душе поэта мечты найти неведомую дотоле страну, то Эльдорадо Духа, где вместо золота хранились бы высшие ценности романтизма, всегда иллюзорные, но бесконечно желанные» (Бронгулеев. С. 112).

Верховья великой африканской реки Нил, египетский бассейн которой был колыбелью великой древней цивилизации, располагаются на территории современ-

ных Судана и Эфиопии. Эти страны часто упоминаются в оккультных работах в качестве «наследников» допотопной, «атлантической» культуры, прежде всего — ее магических тайн. Вся символика рассказа построена на материалах, содержащихся в главах «Лотос, как всемирный символ» и «Культ древа, змия и крокодила» первого тома (вторая книга) «Тайной доктрины» Е.П.Блаватской.

Стр. 9 — арийские народы — обозначение для лингвистической семьи народов, населяющих (с незначительными исключениями) почти всю западную Азию и Европу (индийская, иранская, франко-иллирийская, греческая, итальянская (латинская), кельтская и славянская языковые группы); в оккультном антропогенезисе именно арийские народы являлись духовным авангардом «европейской цивилизации» «Пятого Человечества». Стр. 15-16 — «Крокодил есть египетский Дракон. Он был двояким символом Неба и Земли, Солнца и Луны, и был посвящен в силу своей земноводной природы Осирису и Исиде. Согласно Евсевию, египтяне изображали Солнце кормчим Корабля, причем корабль этот нес на себе Крокодил, «чтобы показать движение Солнца во Влаге (Пространства)». Кроме того, Крокодил был символом Нижнего Енипта, наиболее болотистого» (Тайная Доктрина I (2). С. 505). Нильский «темно-изумрудный крокодил», привезенный в Рим по приказу императора Каракаллы, упоминается в качестве магического средства в ст. 21-25 ст-ния № 47 и ст. 35-36 ст-ния № 53 (I) — см. комментарии к ним а также: Ранний Гумилев. С. 22-23, 38; Зорина Т.С. Рим Н.С.Гумилева // Гумилевские чтения 1996. С. 164). Стр. 18-20 — волхвами называли в архаической древности (в Вавилоне и Египте) особый класс мудрецов, посвященных в тайны, недоступные простым людям (халдеев), главы которых (раб-маги) были ближайшими советниками вавилонских царей (отсюда слово «маг», «халдей» в языках позднейших народов). В вавилонскую эпоху у волхвов существовало несколько «профессиональных специализаций», особым почетом среди которых пользовался статус «газерима» (звездочета). После падения Вавилона волхвы существовали и в персидском царстве (где среди них действовал Зороастр), и затем — в Греции и Риме, однако их общественный статус во времени неуклонно понижался, деградировав в эпоху Цезарей до статуса «профессионального колдуна» (шарлатана — в глазах просвященных римлян). С другой стороны «волхвами» и «магами» могли называть и «посвященных» философов-мистиков, астрологов и алхимиков и просто «мудрецов», никак не связанных с «профессиональными магами». «Когда же Иисус родился в Вифлиеме Иудейском во дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят: «Где родившийся Царь Иудейский? ибо мы видели звезду Его на востоке и пришли поклониться Ему. Услышав это, Ирод царь встревожился и весь Иерусалим с ним. И собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них: где должно родиться Христу? Они же сказали ему: в Вифлиеме Иудейском, ибо так написано чрез пророка: «И ты, Вифлием, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных; ибо из тебя произойдет Вождь, Который упасет народ Мой Израиля». Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, выведал

от них время появления звезды и, послав их в Вифлием, сказал: пойдите, тщательно разведайте о Младенце, и когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться Ему. Они, выслушавши царя, пошли. И се, звезда, которую они видели на востоке, шла перед ними, как наконец пришла и остановилась над местом, где был Младенец. Увидевши же звезду, они возрадовались радостью весьма великою, и вошедши в дом, увидели Младенца с Мариею, Матерью Его, и падши поклонились Ему; и, открывши сокровища свои, принесли Ему дары: золото, ладан и смирну. И получивши во сне откровение не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою» (Мф. 2, 1-12). В канун Рождества на небе действительно было очень редкое сочетание планет Юпитера, Сатурна и Марса в созвездии Рыб; что же касается самих волхвов, то предание сохранило их имена — Каспар, Мельхиор и Вальтазар. В апостольские времена они были крещены апостолом Фомой и претерпели мучиническую кончину. Мощи их, обретенные св. Еленой, хранятся ныне в Кельне. В восточных христианских сказаниях явление волхвов в Иерусалим приобрело со временем «царскую атрибутику»: рассказывали, что они прибыли к Ироду со свитой в 1000 человек, оставив на левом берегу Ефрата целое войско в 7000 человек; страны их, согласно преданию, были на отдаленнейшем Востоке у берегов океана (т.е. либо в Индии, либо в Абиссинии). В эпоху Великих географических открытий к этим апокрифам прибавилась «географическая» конкретизации: три восточных волхва-царя становятся предствителями трех человеческих рас (белой, желтой и черной), соответствующих трем частям света (Европе, Азии, Африке) (см.: Энциклопедический словарь. СПб., 1892. Т. 13. С. 107-109; Мифологический словарь. М. С. 129-130). В оккультной традиции роль волхвов толкуется несколько иначе. В главе «Культ древа, змия и крокодила» первого тома (вторая книга) «Тайной доктрины» Е.П.Блаватской приводится трактовка сцены поклонения волхвов, открытой в 1852 г. в древнем захоронении, доказывающая, что «догматическое христианство было всецело заимствовано и перешло полностью в христианскую церковь с Солнцем, Древом, Змием, Крокодилом и всем остальным» (Тайная Доктрина I (2). С. 506). Помимо того, образ «мудрого племени эфиопов», возможно, связан с романом Р.Хаггарда «Копи царя Соломона». Очень подробно о мотиве «королей-волхвов» у Гумилева пишет Е.Ю.Раскина. Указав на сравнениеВяч. И. Иванова с «царем-волхвом Гаспаром» в гумилевской рецензии на книгу стихов «Cor Ardens» и проанализировав стихотворный цикл «Счастье» с его противопоставлением «великолепного волхва» — нищему Лазарю (см.: ст-ние № 23 (III)), Е.Ю.Раскина, в частности, пишет: «Интересно, что Гумилев предлагал Вячеславу Иванову отправиться вместе с ним в абиссинское путешествие, то есть посетить легендарную страну одного из царей-волхвов. С царями-волхвами связывали обычно Аксумское царство, располагавшееся на территории нынешней Эритреи и северо-восточной Эфиопии (Абиссинии). Так Иоанн Хильдесхаймский в своей «Легенде о трех святых царях» (М, 1998. С. 214-215), рассказывая о Первой Индии, подвластной царю-волхву Мельхиору, описывал по всей вероятности Аксумское царство, возникшее в I в. н.э.

(см. комментарии к № 12 — *Ред.*). При этом «эфиоплянином» Иоанн Хильдейсхаймский называет царя-волхва Йаспара (Гаспара), но к его владениям относит царство Фарсис, под которым, по мнению комментаторов, имеется ввиду крайний юго-запад атлантического побережья Испании, либо Тарс в Киликии (область на юге Малоазийского полуострова), либо даже остров в Атлантическом океане, обломок Атлантиды, ушедший под воду. Традиционно считается, что Абиссиния (Эфиопия) относилась к владениям одного из царей-волхвов, по мнению Гумилева — Гаспара. Но, если в гумилевской рецензии на вторую часть «Cor ardens» говорится о царе-волхве Гаспаре, то в прозаических отрывках «Вверх по Нилу. (листы из дневника)» Гумилев пишет о племени «мудрых эфиопов», пребывающем под властью потомка короля-волхва Бальтазара» (Раскина Е.Ю. Поэтическая география Николая Гумилева. (рукопись, гл. «Поэт сакральной географии»). Стр. 21-24 — Райдер Хаггард (Rider Haggard, 1856 — 1925) — английский писатель. «Один из сквозных сюжетов целого ряда романов Хаггарда — поиски неведомой земли в центре Африки (реже — в других частях света), которая таит в себе не просто клады, но сокровенное знание каких-то из предшествующих рас. Знание это может открываться случайно или как результат заранее продуманных действий, но тема присутствует постоянно» (Богомолов. С. 115). «Увертливый карлик» Оттер — персонаж романа «Люди тумана», «девушка с белой кожей» — Айеша, главная героиня романа «Она». В романе «Копи царя Соломона» (гл. VI) приводятся фрагменты из дневника рассказчика — Аллана Кватермана, — датированные 21, 22 и 23 мая; у Гумилева встреча в пирамиде с «задумчивой жабой» — кульминация рассказа — датирована 24 мая. Стр. 39 — Джиотто (Джотто) ди Бондоне (Giotto di Bondone, 1276 — 1336) — великий флорентийский живописец раннего Возрождения; согласно преданию был живописцем-самородком, сыном крестьянина, замеченным проезжающим художником Чимабуе, когда рисовал на плите фигуру овцы. Эта легенда имеет основание в «примитивизации» рисунка у Джотто, особенно при изображении тела; пейзаж у него — более намек на природу, чем ее изображение. Джотто преобразовал темные византийские тоны красок в светлый, веселый и теплый колорит, предвосхищавший цветовую гамму Высокого Возврождения. Самыми известными являются его фрески в монастыре св. Франциска в Ассизи, падуанской церкви Мадонны делл'Арена и флорентийской церкви Санта-Кроче. Стр. 44-47 — в книгах Е.П.Блаватской «Разоблаченная Изида» и «Тайная Доктрина» египетские пирамиды выступают как остатки «атлантической» цивилизации, в подземельях которых сохраняются «тайны древнего знания». Стр. 55 — «...Богиня Хикит (Hiqit), в ее аспекте лягушки, покоится на Лотосе, указывая тем на свою связь с водою. Непоэтичность этого символа лягушки, несомненно одного из древнейших изображений египетских Божеств, была причиной того, что египтологи тщетно пытались разгадать тайну и функции этой богини. Принятие ее в церкви первыми христианами показывает, что они знали и понимали лучше, нежели наши современные востоковеды. «Богиня лягушка или жаба» было одним из главных

Космических Божеств, связанных с сотворением мира по причине ее амфибного характера и, главным образом, в силу ее кажущегося воскресения после долгих веков уединенной жизни, замурованной в старых стенах, скалах и пр... Она не только принимала участие в устроении мира вместе с Хнум'ом, но была связана также с догмою воскресения. Несомненно весьма глубокий и сокровенный смысл был связан с этим символом, если, немотря на риск быть обвиненными в принадлежности к отвратительной форме культа животных, первые египетские христиане приняли его в своих церквах. Лягушка или жаба, заключенная в цветке Лотоса или просто даже без последней эмблемы, была формою, избранной для храмовых светильников, на которых были вырезаны слова: «'ĕlōhēy hāĕlōho m» — «Я есмь Воскресенье». Эти богини-лягушки встречаются на всех мумиях» (Тайная Доктрина I (2). С. 476). Стр. 57-61 — А.Б.Давидсон, «разоблачая» «мемориальный фантом» писал об этой сцене: «Автор рассказывает, как он побывал на дне неизвестной туристам пирамиды <...>. Главное же, он с легкостью прочитал там древнеегипетскую «полустертую гиероглифическую надпись. Она была написана на очень старом египетском, много старее луврских папирусов». И добавил: «Только в Британском музее я видел такие же письмена». В Британском музее Гумилев к тому времени еще не бывал. Если и побывал, то десятью-одиннадцатью годами позже» (Давидсон. С. 34). С чисто-биографической точки зрения это верная информация. Однако упоминания «Британского музея» в этом «пирамидном» контексте не случайно. Именно в Британском музее было «светлое видение» В.С.Соловьеву, призвавшее его в Египет, где ему суждено было в 1875 г., в долине Гиза близ пирамид пережить эпифанию (см. об этом поэму Соловьева «Три свидания»). Гумилевский Грант, таким образом, «идет по следам» великого философа, который был «властителем дум» русских символистов. Стр. 66-68 — ср. со ст-нием «Озера» (№ 122 (I)). Стр. 73-74 — Тьери в рассказе о посещении пирамиды ведет себя как посвященный в тайны магии и, потому, очень осторожный «путешественник вверх по Нилу», предпочитая мертвого «священного крокодила» — живой «задумчивой жабе». Стр. 85 — описывая «двойственную» символику амфибий в главе «Культ древа, змия и крокодила» Е.П.Блаватская пишет, в частности: «Александрийские нео-платоники утверждали, что для того, чтобы стать истинными халдеями или магами, нужно было овладеть наукою или знанием периодов Семи Правителей Мира, в которых пребывает вся Мудрость. И Ямвлиху приписывают другую версию, которая, однако, не меняет смысла, ибо он говорит: «Ассирийцы не только сохранили летопись двадцати семи мириадов лет, как утверждает это Гиппарх, но также и всех апокатастазов и периодов Семи Правителей Мира»» (Тайная Доктрина I (2). С. 505). Упоминаемый в цитате Ямвлих из Халкиды (ум. ок. 330) представлял самое «мистическое» течение в неоплатонизме — направлении философской мысли, соединявшем в себе восточные элементы с греческой философией (другие представители — Аммоний Саккас, Лонгин, Плотин, Порфирий), — и принадлежал к митраистам (мистикам, исповедующим культ Солнца-Митры).

10 ПСС Гумилев Н С Т 6

4. Весы. 1908. № 4.

ТП -- СС IV -- ТП 1990 -- ЗС -- Проза 1990 -- СС IV (Р-т) -- Соч II -- Круг чтения -- СС 2000 -- ТП 2000 -- АО -- Проза поэта; Кодры. 1989. № 4.

Дат.: 30 ноября 1907 г. (н. ст.) — по дате письма к Брюсову (ЛН. С. 453).

В первом современном опыте критического осмысления гумилевской прозы, Э.Д.Сампсон отметил, что в «Радостях земной любви», несмотря на обещанное в начале противопоставление любви земной и небесной, Гумилев показывает исключительно только любовь одухотворенную и идеализированную, без малейшего оттенка чувственности. В рассказе соответственно, по мнению исследователя, отсутствует сколько-нибудь приметная сюжетная напряженность (Sampson E.D. The Prose Fiction of Nikolaj Gumilev // Berkeley. P. 273). Понятно, что вопрос о природе любви в этом рассказе продолжал занимать новое поколение гумилевоведов. Отметив, как и большинство исследователей, общую соотнесенность «Радостей земной любви» с реальными отношениями Гумилева и Анны Андреевны Горенко («обращение к истории Данте и Беатриче, затем Гвидо и Примаверы было для двух поэтов естественным...»), И. Ерыкалова придерживалась фактически того же мнения, что и Сампсон: «Написанные в стиле средневековой любовной новеллы «Радости земной любви» лишены занимательности сюжета и бытовых подробностей фабулы. Очищенные от реалистических деталей и бытовых диалогов новеллы пронизаны мистическим ощущением божественности чувств Кавальканти» (Ерыкалова И. Проза поэта // АО. С. 279). Более обстоятельно трактовала эту тему М.Ю.Васильева, которая расценивала «Радости земной любви» в общем контексте гумилевского прозаического творчества. По ее мнению, Гумилев в прозе «последовательнее и глубже, чем в поэзии, постигал одно из главных положений христианского вероучения — о человеческой душе, созданной по воле Божьей». В произведениях, вошедших в сборник «Тень от пальмы» и имевших за их внешним разнообразием значительную внутреннюю общность, «Гумилев рассматривает различные человеческие чувства, располагая рассказы по принципу их усложнения. Первые три новеллы («Радости земной любви») превращаются у него в повествование о духовном выборе человека. Поклонение Гвидо Кавальканти прекрасной Примавере трудно назвать земным. Это редчайший человеческий дар, определяющая веха бытия, обусловившая путь героя в земных пределах и состояние его души в Царстве Божьем» (Васильева. С. 12-14).

Короткое специальное исследование посвятила «любовной проблематике» «Радостей земной любви» Д.С. Грачева. Исследовательница утверждает, что в этом рассказе отображаются два направления русской религиозной мысли конца XIX-начала XX веков, в «эстетическом споре» с которыми выявляется концепция любви самого Гумилева: это, с одной стороны, «идущее от В. Соловьева» возрождение и переосмысление «античной и основанной на ней гуманистической неоплатонической концепции любви, любви-Эроса, которая неразрывно связана с творчеством»; с другой стороны, ассоциирующееся с о. Павлом Флоренским, «а также с именами С.

Булгакова, И. Ильина и др.» — возобновление «средневекового христианского понимания любви как caritas (сострадания, милосердия, жалости) и связанный с ним комплекс идей христианской этики, относящейся к семье, браку». Так же, как и мнение Грачевой о том, что на основе «прямой отсылки к творчеству Данте Алигьери и скрытой параллели между его поэзией и поэзией А.А. Блока (цикл «Стихов о Прерасной Даме»)» на протяжении всего рассказа ведется «косвенный спор» с Блоком, это весьма далеко идущее утверждение очевидно заслуживает более детального рассмотрения. Д. С. Грачева находит также, что в рассказе изображены «три проявления» любви: «*возвышенная неземная любовь* (Данте и Беатриче); *возвышенная земная любовь* (Кавальканти и Примаверы); и *приземленная земная любовь* (венецианского синьора к Примавере)». При этом «венецианский синьор представлен в качестве антипода Кавальканти и становится воплощением пошлости, так как видит в женщине, прежде всего, плотское начало». Наблюдение о трех проявлениях любви повторяется в несколько иной форме и в связи с интересными соображениями об общей значимости для гумилевского рассказа числа «три»: «В трех новеллах автор рассказывает о трех проявлениях любви (возвышенной неземной, возвышенной земной и приземленной земной); трижды встречаются в повествовании Кавальканти и Примавера, о трех историях любви, участники которых — трое мужчин и три женщины: Данте и Беатриче, Кавальканти и Примавера, Гумилев и Горенко, — узнаем мы. Все мужчины — поэты, однако не на этом автор акцентирует внимание читателя: важно, что они любят. Великая любовь дарует бессмертие им и их возлюбленным. И, наконец, в рассказе возникает (имеется в виду финальная сцена третьей новеллы — *Ред.*) и переосмысливается библейский символ Св. Троицы: Бог Отец, Бог Сын и... Святой Дух — Беатриче, святой дух любви» (Грачева I. С. 140-146).

О.Обухова рассматривала «Радости земной любви», совместно с другими рассказами Гумилева, с точки зрения структуральной поэтики: в контексте трехчастного инициационного мифа, который, по ее мнению, определяет собой всю идейно-образную систему раннего творчества писателя. В этом рассказе, как она указывает, последовательно реализованы все три этапа постулируемого ею мифического инварианта: «выделение индивидуума из общества» (в данном случае, «поэт затворяется от общества в поисках совершенной любви»); «пограничный период, испытание <...> вне реального пространства и присущего ему временного измерения» («влюбленный Гвидо Кавальканти проходит путь внутреннего страдания и искушений»); и «видение рая, земного или небесного» (Обухова О. Ранняя проза Гумилева в свете поэтики акмеизма // Гумилевские чтения 1996. С. 122-124).

В то время, как в работе О.Обуховой указывается на целый ряд типологических и тематических параллелей с другими произведениями Гумилева, И.Ерыкалова нашла, что «Радости земной любви» «связаны с ритмами и пластическими образами цикла «Беатриче» (№№ 51, 141-143 (I)): «уводящие руки» Беатриче и описание руки Примаверы, замедленность движений и неторопливость событий, сочетающиеся с бурным отчаянием и неземным блаженством». Стихи последнего ст-ния цикла

(«Ты подаришь мне смертную дрожь, / А не бледную дрожь сладострастья») созвучны с изображением смерти Кавальканти, а в более общем смысле, по мнению И.Ерыкаловой, в прозаическом тексте «ощутимо наслаждение совершенством формы, оно запечатлено в насыщенности и ритмике фраз, каждая из которых столь же значима, как поэтическая строка, а финал ее требует ритмичной смены дыхания. «Музыка пластичных поз» запечатлелась в сдержанной гармонии и живописности образов новелл» (Ерыкалова И. Проза поэта // АО. С. 284-285). Наконец, более неожиданные интертекстуальные соответствия находит С.Н. Колосова, считавшая, что в «Радостях земной любви» осуществлено ««портретирование» живописных сюжетов эпохи Возрождения: «Любовь небесная и любовь земная» работы Тициана, Мадонны Рафаэля, а также картина Рафаэля «Обручение Марии» (Колосова. С. 16).

«Радости земной любви» определяются в подзаголовке как «три новеллы». Под рубрикой «Новеллы» также впервые появились в печати №№ 5 и 9 наст. тома. Однако, именно для «Радостей земной любви», как кажется, это жанровое определение имеет наибольшую значимость.

«Новелла» как литературная форма берет свое начало в раннем итальянском Ренессансе, где она возникла в тесной генетичекой связи с не-литературным (устным) жанром анекдота. Свое первое и самое знаменитое воплощение она находит в «Декамероне» Джованни Боккаччо (1353 г.). По наблюдению А. Штейна: «для того, чтобы в малом объеме выразить существенную сторону действительности, новелла должна сконцентрировать... большое содержание в эпизоде исключительном по яркости и выразительности» (Штейн А. Джованни Боккаччо и его «Декамерон» // Боккаччо Дж. Декамерон. Пер. с итальянского А.Н. Веселовского [1896 г.]. М., 1955. С. 18). В соответствии с этим, новелла представляет собой небольшое повествование, с четкой конструкцией на основе стремительно изложенной фабулы, состоящей из одного или лишь нескольких линейно сцепленных событий. Подчеркивается, с одной стороны, подлинность, фактическая «достоверность» рассказываемых происшествий, с другой стороны, — исключительность ситуации и неожиданность исхода: новелла разрешается внезапным, неожиданным поворотным моментом, причем существенную роль нередко исполняет элемент случайности.

Как известно, «Декамерон» представляет собой цикл, состоящий из ста новелл, как будто бы рассказанных десятью фиктивными рассказчиками в течение десяти дней. Боккаччо тщательно мотивирует повествовательный акт, как в целом — рассказчики удалились из Флоренции и собрались интимной компанией в загородном имении, чтобы переждать чуму, — так и в отношении содержания каждой отдельной новеллы. Созданное им многослойное нарративное обрамление, придающее художественную законченность всей книге, во многом обеспечивает закрытую форму составных новелл. Каждой из них приписывается отчетливо сформулированная художественная цель, а иерархическая система рассказчиков предопределяет специфическую объективизацию (опосредованность) рассказанного материала.

Интерес к новелле возобновился в Германии в XVIII в. Вслед за «Новеллой» Гете (для него, опять-таки, это — повествование о чем-то «неслыханном, что действительно произошло», с установкой скорее на события, чем на характеры, и с четко выраженным поворотным пунктом — перипетией) жанр приобрел существенное значение в немецком романтизме и пост-романтизме, причем новеллы нередко теперь значительно превышали по размерам свои итальянские образцы. Начиная со второй половины XIX века, новелла также культивировалась во Франции (произведения Мериме, Вилье де Лиль-Адана; затем Гюисманса, Мореаса, Анри де Ренье и т.д.). Особенно примечательны в настоящем контексте многочисленные стилизации Анатоля Франса под различные жанры итальянского ренессанса, в сборниках «Валтасар», «Клио», «Колодезь святой Клары», «Перламутровый ларец». В «Колодезь святой Клары» (Le Puits de Sainte Claire, 1895) входит небольшая новелла о Кавальканти («Мессер Гвидо Кавальканти»), построенная на основе детального воспроизведения и разработки, во-первых, анекдотического рассказа из «Декамерона» Боккаччо об острословии Кавальканти («Гвидо Кавальканти язвит, под видом приличной шутки, нескольких флорентийских дворян, заставших его врасплох»: 9 новелла VI дня); во-вторых, сообщений хроникеров о его смерти (см. ниже; по-видимому, главным историческим источником для А. Франса являлась «История Флоренции» Джованни Виллани). Однако, Кавальканти в изображении Франса — мыслитель и мизантроп, как раз подчеркутно отказавшийся от «земной любви» во имя настоящей «дамы» его сердца — Философии. Если новелла А. Франса и имела прямое значение для автора «Радостей земной любви», то лишь, как кажется, в самом общем концепцуальном плане (см. ниже).

Из непосредственных русских предшественников Гумилева в его обращении к «новеллам» следует назвать, в первую очередь, Д.С. Мережковского, опубликовавшего ряд «Итальянских новелл» — преимущественно с сюжетами XV века — в периодической печати за 1895-1897 гг. Как и «Радости земной любви», три из них («Железное кольцо», «Рыцарь за прялкой», «Превращение») носили жанровое определение в качестве подзаголовка («Новелла XV века» — дважды; «Флорентинская новелла XV века» — один раз); четыре из них («Любовь сильнее смерти», «Наука любви», «Микеланджело», «Святой Сатир») вошли затем в «Сборник новелл» изд. «Скорпион» (М., 1902; переизданный М.В.Пирожковым в 1904 г). Все, даже самые небольшие итальянские новеллы Мережковского значительно превышают по обьему весьма короткое произведение Гумилева. То же самое нужно отметить и в отношении новеллы В.Я.Брюсова «В подземной тюрьме: по итальянской рукописи начала XVI века» — появившейся в «Весах» (1906, № 5) и в первом сборнике его художественной прозы «Земная ось» (М., 1907) и, по признанию автора, скорее напоминающей «стильные подделки Анатоля Франса, чем подлинные итальянские новеллы». Гумилев, как может показаться, ориентировался по контрасту на возврат к наиболее раннему периоду, к лаконической сжатости и «примитивистской» свежести жанровых первоистоков. Однако, в его обращении к мифологической теме Пигмалиона он все же близко перекликался с самой короткой из

новелл Мережковского, «Любовь сильнее смерти» (см. ниже). К тому же, некоторые подробности бытового фона «Радостей земной любви» — такие, как роль мужчины-сводника, поведение благородной дамы на улице, ее ритуальный отпор возлюбленному, возможность увидеть или даже избрать свою возлюбленную в церкви — имеют заметные соответствия в другой новелле Мережковского из «скорпионского» сборника, «Наука любви». Отсутствие точных цитат и возможность общих источников (см. ниже) не позволяют в данном случае говорить с уверенностью о непосредственном влиянии старшего писателя, но все-таки представляется, что его итальянские опыты могли бы служить некоторой отправной точкой и (опять-таки) концепцуальным фоном для Гумилева.

В отношении жанровой специфики, обращает на себя внимание и то, что Гумилев, как в печатном оглавлении, так и в переписке с Брюсовым, настаивал на том, что «Радости земной любви» представляют собой не единую новеллу или рассказ, а именно *три* новеллы («... я написал три новеллы и посвященье к ним, все неразрывно связанное между собою» (ЛН. С. 453); «<прошу> в начале второй из моих новелл перечеркнуть слово «Симла» (ЛН. С. 472; ср. также с. 456)). Безусловно, это объяснялось сравнительным отсутствием, с его точки зрения, логически-последовательного сюжетного развития, той причинно-следственной, событийной связи частей, которая со всей очевидностью намечается во всех других его рассказах — в том числе и в тех, которые он также разбил на пронумерованные разделы («Гибели обреченные», «Черный Дик», «Лесной Дьявол», «Путешествие в страну эфира» (№№ 1, 7, 11, 15)). «Радости земной любви», должно быть, мыслились автором, как три отдельных, фабульно замкнутых (см. выше) эпизода, три параллельных, «лирических» выражения всегда восторженной, не совсем безответной, но, по существу, от новеллы к новелле не-развивающейся любви. В соответствии с этим, не дано определенного сюжетного разрешения. Даже после смерти (странно неразличимой от жизни), Кавальканти остается только поджидать свою возлюбленную: нет встречи с ней, нет окончательного прояснения интенсивности, прочности, долговечности ее «благосклонности».

Структурная основа «макро-сюжета» — взаимосвязь трех новелл — подлежит различным объяснениям. Сам Гумилев, в надежде на публикацию в «Весах», скромно указал в письме к Брюсову лишь на самую общую, «необязательную» их соотнесенность («Мне кажется, что их надо печатать все разом, потому что они дополняют одна другую» (ЛН. С. 454)). И все же, как было указано выше, можно постулировать некую глубинную структурную организацию частей, способствующую последовательному развертыванию скрытого авторского «мифа». Предположительно возможен и автобиографический принцип сцепления новелл, на основании уже неподдающихся точному восстановлению «вне-текстуальных» эпизодов взаимотношений Гумилева и его адресата, А.А. Горенко (от обмена письмами и посвящений стихов до попыток самоубийства и размышлений о «посмертных» последствиях; см. ниже, комментарий к стр. 14-18). Можно, наконец, усмотреть некоторую аналогию с композиционными принципами знаменитых литературных образцов: либо с «Дека-

мероном», где внутри каждого «дня» имеется ряд параллельных рассказов-новелл на одну и ту же заданную тему, в сюжетно-произвольном порядке, вне очевидного подчинения обобщающим идейным или сюжетным заключениям; либо — у Гумилева в предельно конденсированном варианте — с «Новой Жизнью» Данте (подробнее см. ниже), где невосполняемые лакуны между несколькими лаконичными эпизодами в нарративном изложении авторского «романа» объясняются установкой на выявление истинной, вне-временной сущности его любви.

Стр. 1-10 — в уже упомянутом письме к Брюсову от 17 ноября 1907 г., Гумилев сообщил, что он написал «три новеллы и посвященье к ним, все неразрывно связанное между собою». Безусловно, под «посвященьем», представленным в качестве неотъемлемой части писательского труда, имелось в виду не предельно краткое формальное посвящение «Анне Андреевне Горенко», а именно эти два абзаца. В их противопоставлении небесной любви Данте и земной Кавальканти, они предоставляют необходимый ключ к истолкованию последующих новелл, тем более существенный, что о Данте в дальнейшем не упоминается, а имя Беатриче встречается только во втором абзаце третьей новеллы. Прием предварительного предоставления тематической рамки для восприятия «неразрывно» входящей в нее группы новелл широко использовался в больших циклах новелл, начиная с «Декамерона» (см. преамбулу к каждому дню). Стр. 1 — история «благородной страсти» Данте Алигьери (1265-1321) к Беатриче излагается самим Данте, в прозе и стихах его «Новой Жизни» («La Vita Nuova», 1294?). Полемическая настроенность «посвященья» «Радостей земной любви» по отношению к дантовской концепции любви найдет дальнейшее выражение в обыгрывании целого ряда мотивов именно этого произведения, исключительное значение которого для осмысления гумилевского замысла подтверждается многократными реминисценциями (см. ниже). Примечательно и то, что Гумилев в своем посвящении дает тенденциозно-упрощенную характеристику дантовской тематики. «Новая Жизнь» повествует о том, как любовь молодого Данте к Беатриче — в начальных этапах болезненная, человечески-земная, трагически-безответная — преобразовывается затем в результате нескольких поворотных моментов религиозного прозрения. Автор, иначе говоря, на самом деле только постепенно приближается к тому, что Гумилев называет «холодные небесные пространства»: с болью отказавшись от всего земного в его отношении к Беатриче, мучительно возвысившись над скорбью смерти и всеми земными превратностями, он не сразу обретает духовное успокоение в созерцании ее *неизменной* красоты и доброты, и лишь под конец «Новой Жизни» принимает решение посвятить себя и свою поэзию восхвалению Беатриче, духовному общению с уже полностью одухотворенным, «не-земным» предметом своего поклонения. Стр. 2 — хотя Данте рассказывает в «Новой Жизни» о кончине отца Беатриче, он во многом соблюдает куртуазную традицию утаивания имени своей дамы, и сам нигде не называет ее фамилию; общепринятая ее идентификация с Портинари (Beatrice dei Portinari) восходит к состоявшему в дальней родственной связи с этой семьей Дж. Боккаччо. Фолько Портинари, умерший 31

декабря 1289 г., «был богатым и уважаемым гражданином Флоренции. Дом его находился в 50 шагах от дома Алигьери <...>. Он занимал общественные должности и был приором (одним из правителей флорентийским советом — *Ред.*) в 1282, 1285, 1287 гг.; основал госпиталь Санта-Мария Нуова, где и погребен» (Новая Жизнь. С. 308). Беатриче, одна из шести его дочерей, родилась в январе 1266 г., стала женой Симоне де'Барди, из семьи флорентийских банкиров, и умерла, 24-х лет, 8 июня 1290 г. Стр. 3 — очевидная перекличка с порождавшей множество комментариев словесной формулой, которой Беатриче представлена читателю в начале «Новой Жизни»: «... перед моими очами появилась впервые исполненная славы дама, <...> которую многие — не зная, как ее зовут, — именовали Беатриче» («... fu chiamata da molti Beatrice li quali non sapeano che si chiamare»: Новая Жизнь. С. 7 [гл. II]). В дальнейшем, Беатриче чаще всего изображена в компании подруг, а в ее отсутствии Данте обсуждает с ними свою любовь к ней; намек на условность имен снова встречается в связи с Джованной-Примаверой в XXIV главе «Новой Жизни» (см. ниже). Стр. 9-10 — Гвидо Кавальканти (между 1250-1260 — 1300) — старший современник Данте, самый значительный поэт его окружения, продолжатель (вслед за Гвиницелли) и главный представитель так называемого «нового сладостного стиля» (dolce stil nuovo). По традиции, сложившейся в основном после его смерти, он был одарен блестящим умом и бурным, язвительным характером, и имел «подозрительную» репутацию склонного к атеизму философа-скептика. Именно Кавальканти благосклонно откликнулся на один сонет начинающего Данте, адресованный, по тогдашнему обычаю, уже сложившимся поэтам, и с этого момента он стал во многом способствовать первым литературным шагам младшего коллеги.

Данте в «Новой Жизни» неоднократно называет Кавальканти своим «первым другом» (primo amico), и в стихах первой части этой книги намечаются темы и настроения, безусловно близкие к его поэзии (см.: Новая Жизнь. С. 292). Некоторыми комментаторами также считалось, что в символических диалогах «Новой Жизни» отражаются реальные разговоры Данте с Кавальканти о поэзии и любви; что «Новая Жизнь» построена на основе поэтических уроков Кавальканти и даже, возможно, с его близким участием; и что взаимоотношения двух поэтов нашли некоторое отражение в отношениях Данте с Виргилием в «Божественной комедии» (см. Reynolds B. Introduction and Commentary // Dante. La Vita Nuova. Harmondsworth, 1969. Pp. 14, 117; Nelson L. Introduction. // Cavalcanti G. The Poetry of Guido Cavalcanti. New York, 1986. P. XXXIX).

Литературное наследие Кавальканти невелико: он оставил около 50 небольших стихотворений, почти все на любовные темы. Возможно, что он также написал один не дошедший до нас трактат о философии, и другой о красноречии; но не известно ни о каких-либо других его сочинениях, в том числе, конечно, и о «рыцарских романах» (см. стр. 21. В «Радостях земной любви», как будто бы, не содержится отчетливых реминисценций поэзии Кавальканти, но есть основания считать, что Гумилев был знаком с общим духом его творчества и, надо полагать, хотя бы с некоторыми образцами его стихов. В них поочередно выражаются то радости, то

печали любви, в соответствии с благосклонностью или неотзывчивостью избранной поэтом дамы: однако, печаль и любовные страдания преобладают. По наблюдениям одного авторитетного исследователя его творчества: «любовь к женщине переживается Кавальканти, как неумеренная страсть, самая сущность которой заключается в излишестве. Это — реальная страсть, не имеющая в себе ничего кроткого или тривиального и, тем самым, ничего чисто условного. Но, в то же время, эта любовь далека от необузданного, животного сексуального желания; она питается неизменно присутствующим элементом идеала <...> Любовь Кавальканти не является сознательно религиозной или нравственной. Она не представляется стремлением к наивысшему благу, а остается совершенно человеческим чувством. Порождаемая воображением и интеллектуальностью, благородством человеческой души (anima nobilis, производимая Интеллектуальным Светом от Первопричины <...>), она становится страстью тела и души к реальной женщине, в которой забывается Совершенное Благо (buon perfetto). Эта страсть — разрушительна и часто пагубна, и сознание поэта сосредоточивается с нежной меланхолией на невозможности, снова и снова демонстрируемой опытом, владеть навсегда временной реализацией его идеала» (Shaw. Pp. 113, 123).

Поэзия Кавальканти, в отличие от дантовской, явно имеет не одну а несколько различных женщин-адресатов. Действительно скудная информация о его «стройной Примавере» почти исчерпывается следующим свидетельством Данте из 24-ой главы «Новой Жизни»: «И вскоре после этих слов, сказанных мне сердцем на языке Амора, я увидел, как направляется ко мне некая благородная дама, прославленная своею красотой. Она некогда имела большую власть над сердцем первого моего друга [*т.е. Кавальканти — Ред.*]. Имя этой дамы было Джованна; и за ее красоту, как полагают люди, она получила имя Примавера; и так звали ее. Я видел, как вслед за ней приближается чудотворная Беатриче. Так прошли эти дамы одна за другой, и показалось мне, что Амор снова заговорил в моем сердце и произнес: «Первая зовется Примавера лишь благодаря сегодняшнему ее появлению; я вдохновил того, кто дал ей имя Примавера, так ее назвать, ибо она придет первой в день, когда Беатриче предстанет своему верному после его виденья». <...> Затем, размышляя над этим, я решился сочинить стихи, обращаясь к первому моему другу. При этом, я скрыл те слова, скрыть которые надлежало, так как полагал, что он еще созерцает в сердце своем красоту благородной Примаверы. Тогда я сложил сонет, начинающийся: «Я чувствовал, как в сердце ... « («Io mi senti' svegliar dentro dal core»)» (Новая Жизнь. С. 58-59). Следует добавить, что повествование Данте о появлении Примаверы основано, как он тут же поясняет, на сложной игре слов: Primavera — весна — произвольно конструируется им, как prima verra — «она придет первой». Иначе говоря, Примавера является предтечей «божественно-неземной» Беатриче; и для Данте это находит дополнительное оправдание в том, что ее (настоящее?) имя Джованна «происходит от имени того Джованни, который предшествовал свету истины» — т.е. Иоанна Предтечи. Такое мистическое каламбурничание, в совокупности с ритуальной «завесой защиты» — утаиванием дамских имен — привело некото-

рых современных исследователей к заключению, что Примавера вовсе не имела реального существования (см.: Cavalcanti G. The Poetry of Guido Cavalcanti. New York, 1986. P. 88). Но, чаще всего, Примавера также отождествляется с «монной Ванной» (= Джованна), возлюбленной Кавальканти, в адресованном ему сонете Данте о зачарованной ладье: «Guido, i' vorrei che tu e Lapo ed io» («Гвидо, я б хотел, что ты и Лаппо и я»).

На основе еще одного каламбура в начальных строках стихотворения, принято считать, что Джованне-*Примавере* адресована баллата (итал. ballata от прованс. balada; первоначально — лирический песенный жанр) самого Кавальканти, «Новая свежая роза»:

Fresca rosa novella,
piacente primavera,
per prata i per rivera
gaiamaente cantando...

(«Новая свежая роза,/ пленительная весна [= примавера],/ у лугов и полей/ весело поющая»: Cavalcanti. P. 4). По всей вероятности, ей был посвящен и «весенний» сонет Кавальканти «Avete 'n vo' li fior' e la verdura» («В вас есть цветы и зелень»); а из соображений тематико-стилистического сходства, без каких-либо конкретных биографических сведений, к ней иногда также предположительно отнесены еще четыре его стихотворения: сонеты «Chi e questa che ven...» («Кто же та, кто приходит...») и «Bilta di donna e di saccente core» («Женская красота и сердце мудреца»); и баллаты «Posso degli occhi miei novella dire» («Могу про мои очи нечто новое сказать») и «Veggio negli occhi de la donna mia» («Вижу в очах моей дамы»). В настоящем контексте, важно отметить, что «Fresca rosa novella» и другие перечисленные стихотворения, написанные, как полагает Дж. Шор, еще до того, как поэт «убедился в безнадежности своих попыток совместить пылкую страсть с преклонением идеалу» (Shaw. P. 117), занимают уникальное место в творчестве Кавальканти по «радостной» восторженности их восхваления возлюбленной: «чья красота и достоинство, и чье благородное сердце, превосходят» все в мире (ср.: «[Bilta di donna e di saccente core <... > cit] passa la beltate e la valenza/ de la mia donna e 'l su' gentil corragio...»; Cavalcanti. Pp. 13-14). «В этом мире», «заземленно» утверждает поэт в другом стихотворении («В вас есть цветы и зелень»), «нет создания, настолько полного красотой и прелестью»:

In questo mondo non ha creatura
si piena di bielta ne di piacere. (Там же. С. 10.)

Однако, одержимый неотразимой силой любви, Кавальканти не всегда ограничивается в своем преклонении «Примавере» исключительно «земными» сравнениями. В целях наиболее полной иллюстрации тональности этой «страсти тела и души к реальной женщине» (Shaw. C. 123), процитируем еще несколько строк из «Fresca rosa novella»:

Lo vostro presio fino
in gio' si rinovelli <...>
Angelica sembranza
in voi,donna,riposa:
Dio, quanto aventurosa
fue la mia disianza! <...>
Fra lor le donne dea
vi chiaman, come sete;
tanto adorna parete,
ch'eo non saccio contare;
e chi poria pensare oltra natura?
Oltra natura umana
vostra fina piasenza
fece Dio, per essenza
che voi foste sovrana:
per che vostra parvenza
ver' me non sia luntana <...>
E se vi pare oltraggio
ch' ad amarvi sia dato,
non sia da voi blasmato:
che solo Amor mi sforza,
contra cui non val forza ne misura.

(«Чтобы ваше утонченное превосходство / в радости возобновилось <...> Ангельское подобие / в вас, донна, покоится. / Боже, как мне посчастливилось / в предмете моего желания! <...> Дамы между собой / называют вас богиней, как вы и есть; / вы кажетесь облаченной такой прелестью, / что я не умею это рассказать: / и кто же может мыслить за пределами природы? / За природой человеческой / вашу утонченную прелесть / сделал Бог, чтобы по существу Своему / вы были непревзойденной: / так пусть ваш облик / не станет от меня удаленным <...> / И если вам кажется чрезмерным, / что я отдаюсь любви к вам, / — чтобы я вами не был обвинен: / ибо только Любовь заставляет меня, / против которой не выстоит ни сила ни мера»; Cavalcanti. Pp. 5-8).

В контексте замысла «Радостей земной любви», вышеприведенные слова «Новой Жизни» о появлении Примаверы представляют интерес еще тем, что в них дается основа для противопоставления Данте и «первого его друга» именно в их восприятии любви и любимых женщин. В утверждении Данте о том, что он «скрыл те слова, скрыть которые надлежало, так как полагал, что [Кавальканти] еще созерцает в сердце своем красоту благородной Примаверы», достаточно недвусмысленно улавливается его осознание, что Кавальканти в то время не принял бы такое иерархически-религиозное превознесение «блаженной Беатриче» над его собственнной дамой сердца. К тому же, по убедительному наблюдению английского пре-рафаэлита Габ-

риеле Россетти (упомянутого Гумилевым в его стихотворении 1906 г. «Музы, рыдать перестаньте» (№ 51 (I)), вошедшем затем в цикл «Беатриче»), в словах Данте можно услышать и «мягко-выраженный упрек», адресованный Кавальканти в отношении непостоянства его любви (Rossetti Dante Gabriel. Poems and Translations, 1850-1870. London, 1968. P. 360). Любовь Кавальканти — земная, вещественная, непременно преходящая. Данте же, в своем (окончательном) преклонении Беатриче, неизменно «созерцает в сердце своем» вневременную, очищенную от земной контингентности, красоту небесную.

Другой намек на «мировоззренческое» расхождение между Данте и Кавальканти содержится в загадочных строках Десятой песни дантовского «Ада» (ст. 61-63), в которых поэт обращается к отцу Кавальканти:

Da me stesso non vegno:
colui ch'attende là, per qui me mena
forse cui Guido vostro ebbe a disdegno.

(в переводе М.Л. Лозинского: Я не своею волей в царстве теней, — / Ответил я, — и здесь мой вождь стоит, / А Гвидо ваш не чтил его творений).

Буквальный смысл итальянского текста, в наиболее очевидном толковании этих слов, заключается приблизительно в следующем: «Я не от себя иду: / тот, кто ждет там, ведет меня по этим местам, / к нему, быть может, ваш Гвидо питал презрение». Иначе говоря, Кавальканти мог когда-то относиться с презрением к наставнику и любимому «вождю» Данте по Аду, Виргилию. Возможные идеологические причины такого презрения — спорны и не до конца ясны (см. Sayers D.L. Commentaries / / Dante. The Divine Comedy, I. Hell. Harmondsworth, 1972. P. 133); нам же достаточно лишь напомнить, что Виргилий в «Божественной комедии» — посланник Беатриче, «призванный» ею спасти заблудившегося Данте (Ад. II. 55 и след.), провести его к духовному прозрению через Ад и по горе Чистилища к границам ее же небесного обиталища. Но местоимение *cui* в третьей строке данной цитаты может исполнять функцию не дательного, а местного (локативного) падежа — и третью строку можно соответственно понять и в прямом отношении к самой Беатриче: «... быть может, *к той, которую презрел* ваш Гвидо». В этом грамматически «альтернативном» но, по мнению многих исследователей, семантически более убедительном значении, еще отчетливее, чем в «Новой Жизни» слышится отзвук «давнишнего отказа Гвидо принять особое превознесение Дантовой Беатриче» (Nelson L. Introduction // Cavalcanti G. The Poetry of Guido Cavalcanti. New York, 1986. Pp. XXVII- XXVIII). У двух ведущих флорентийских поэтов и друзей, как будто бы указывает Данте, некогда возникло резкое разногласие именно о природе и спасительной силе любви.

В вышеупомянутой новелле «Мессер Гвидо Кавальканти», А. Франс подхватывает возможность противопоставления Кавальканти и Данте, как будто бы исходя исключительно из «виргилиевского» прочтения процитированных строк из «Ада» — на идеологической основе различного восприятия античной (языческой, но отсюда,

имплицитно, и христианской) философии. При этом, так же, как и у Гумилева, Данте является «безгласным» антиподом главного персонажа новеллы, Кавальканти, теневым присутствием, постоянно подразумеваемым Франсом, но не получившим конкретного изображения в его повествовании (подробнее о значении Данте для этой новеллы см.: Bancquart Marie-Claire. Notice sur Le Puits de Sainte Claire // France A. Oeuvres. T. 2. Paris, 1987. Pp. 1272, 1281). Гумилев — к тому времени, напомним, уже автор не дошедших до нас «эстетических заметок о различных родах половой любви» (конец 1906 г.: см.: ЛН. С. 416, 423), тоже «дерзнувший» мысленно переключиться с авторитета Данте на сторону Кавальканти — вдохновенно построил сюжет на основе указанного в его посвящении, менее абстрактно-рассудительного, эмоционального, почти бытового противопоставления величайших флорентийских поэтов. Его подход находит полное оправдание как в намеках «Новой Жизни», так и во внимательном, «альтернативном» прочтении одного темного но прославленного места из «Ада». Стр. 11-16 — явно метаописательный характер этого намерения по отношению к адресату рассказа, А.А. Горенко, отмечен, например, М. Баскером, находившим, что к подобного рода автобиографизму «стремился и реальный автор «Принцессы Зары»« (№ 5) (Баскер II. С. 139). Напомним, что переписка Гумилева с Брюсовым позволяет заключить, что «Радости земной любви» были написаны в ноябре 1907 г., и завершены к концу месяца (см. прежде всего письмо Гумилева от 30 ноября 1907 г.: ЛН. С. 453). До этого, во второй половине октября, Гумилев съездил ненадолго в Россию, и проездом в Севастополе получил отказ будущей Ахматовой-Горенко выйти за него замуж. (Она выразила свое согласие в начале года, но уже дала другой отказ в июне.) По возвращении в Париж в начале ноября, Гумилев, по предположению Е.Е. Степанова, предпринял попытку покончить жизнь самоубийством, попытавшись отравиться. Но затем к нему приехал его друг, Андрей Горенко, облегчив то состояние одиночества, в котором Гумилев пребывал в течение нескольких месяцев. Горенко сообщил сестре о «рискованных экспериментах» Гумилева, и та прислала ему «успокоительную телеграмму» (см.: Соч III. С. 353, 355). Впоследствии, как сообщает П.Н.Лукницкий, возобновилась их переписка: «Николай Степанович продолжал просить руку АА. Получал несколько раз согласие, но потом АА снова отказывалась, это продолжалось до 8 года, когда Николай Степанович, приехав к АА, получил окончательный отказ» (Acumiana. С. 143). Сложные перипетии их взамоотношений нашли отражение и в других рассказах (см. комментарии к №№ 6, 9, 11), но автобиографический подтекст данного, сюжетно не-разрешенного произведения, — которое, как Гумилев известил Брюсова в конце ноября, он «по романическим причинам» хотел «видеть ... напечатанными возможно скорее» (ЛН. С. 453), — объясняется его принадлежностью именно к этой полосе «возобновленной переписки». Введение приема «рассказа в рассказе», к тому же, с четко сформулированной художественной задачей, также продолжает процесс «обрамления» новелл, начатый двумя абзацами «посвященья». В этом смысле, в малом объеме и предельно сжатой форме гумилевского произведения можно усмотреть некоторое соответствие с тщательным обрамлением рассказываемого, характерным для «Дека-

мерона» и последующих больших циклов новелл (Чосера, Маргариты Наваррской, Сервантеса и др). Стр. 17-18 — это стилизованное высказывание о «случае» остается, как будто бы, без дальнейшего тематического развития. Зато, оно совпадает по духу с целым рядом высказываний, опять-таки, в «Декамероне» Боккаччо, сквозной мотив которого составляют попутные рассуждения автора и рассказчиков о природе случая (судьбы, фортуны). Ср., к примеру: «... случай, являющийся иногда в помощь боязливым, внезапно кладет им в уста таковые же <слова>, который в покойном состоянии духа говорящий никогда не сумел бы и найти» (Боккаччо Дж. Декамерон. Пер. с итальянского А.Н. Веселовского [1896 г.]. М., 1955. С. 372 [4 новелла VI дня]); «Непостоянная судьба, милостиво доставившая Чимоне в добычу его милую, внезапно изменила в печальный и горький плач невыразимую радость влюбленного юноши» (Там же. С. 308 [1 новелла V дня]); «Уже ей представлялось, что все обстоит благополучно, когда судьба готовила ей новое огорчение, будто не довольствуясь прошлым... « (Там же. С. 130 [7 новелла II дня]). Ср. также сюжет, «данный» на второй день: «так как с начала мира люди были увлекаемы различными случайностями судьбы, то пусть каждый расскажет о тех, кто после разных превратностей <...> достиг благополучной цели» (Там же. С. 83 [10 новелла I дня]); и т.п. Стр. 23-27 — совершенство поведения и безупречное благородство дам является подчеркнутым лейтмотивом «куртуазной» поэзии «флорентийцев», одна из центральных концепций которой выражается непереводимым термином *gentile* (donna gentile, со значениями: «благородная», «благовоспитанная», «благосклонная», «благодатная», и т.д.; еще один возможный оттенок смысла передается постоянным эпитетом гумилевского рассказа — «нежная»). Ср., например, у Кавальканти:

Tant' e gentil che, quand' eo penso bene,
l'anima sento per lo cor tremare <...>
Quando 'l pensier mi ven ch'i' voglia dire
a gentil core de la sua vertute,
i' trovo me di si poca salute,
ch'i' non ardisco di star nel pensero.

(«Так благородна она, что, когда внимательно думаю об этом, / Я чувствую, как душа трепещет в сердце <...> Когда мысль приходит мне о том, что я желаю говорить / благородному сердцу о ее достоинстве, / я нахожу, что во мне так мало здоровья, / что я не смею продолжить эту мысль» («Io non pensava che lo cor giammai» — Cavalcanti. Pp. 32-33.)) В «Новой Жизни», благородство и благовоспитанность Беатриче подчеркиваются постоянным эпитетом «gentilissima» (другой вариант: «nobilissima» (гл. XXII); ср. также «Primavera gentile» (гл. XXIV)); она характеризуется «la sua ineffabile cortesia» («своей несказанной куртуазностью»), и т.д. Стр. 28-51 — «рыцарская история», рассказанная (или придуманная) Кавальканти, представляет собой своеобразную вариацию на восходящий к «Метаморфозам» Овидия миф о Пигмалионе — с теми существенными различиями, что, во-первых, герой

«художественного произведения» поэта Кавальканти — не художник, влюбляющийся в свое собственное творение, а лишь синьор, «рыцарь», заказывающий у знаменитого художника «дивную статую» уже избранной им дамы; во-вторых, что статуя оживляется не полностью, а лишь протягивает руку. Тем самым, любовный сюжет не получает канонически ожидаемого исхода, а многозначительно завершается лишь «недовоплотившейся» надеждой. (В истолковании Д.С. Грачевой: «Статуя остается статуей, однако меняется, потому что несет в себе память о чувстве: великая любовь не может пройти бесследно» (Грачева I. С. 143)). Заключительную часть короткого повествования Кавальканти можно сравнить со своеобразной трактовкой этого мифологического мотива в «Итальянской новелле» Д.С. Мережковского «Любовь сильнее смерти». Главному мужскому персонажу Мережковского, художнику Антонино, почти что удается вдохнуть жизнь в изваяние своей возлюбленной Джиневры («опущенные веки готовы были вздрогнуть», и т.д.), когда, в конце рассказа, сама Джиневра — не умершая, как всеми предполагалось — приходит к нему живая. Предпоследний абзац новеллы заканчивается словами, в которых в мифический сюжет Пигмалиона вплетается явная реминисценция латинского «Incipit vita nova» («начинается новая жизнь») из знаменитого первого предложения «Новой жизни» Данте: «Когда Антонино наклонился, обнял и поцеловал ее в губы, ей казалось, что солнце воскрешает ее, дает ей новую бессмертную жизнь» (цит. по: Мережковский Д.С. Собрание сочинений. В 4 т. М., 1990. Т.4. С. 383; ср. у Гумилева: «И когда он припал к ней губами, лучезарная радость прозвенела в самых дальних коридорах его сердца, и он встал, сильный, смелый, и готовый для новой жизни»). Главная мысль произведения Мережковского, непосредственно выраженная в последних словах Джиневры — «Благословенна да будет смерть, которая научила нас любить, благословенна да будет любовь, которая сильнее смерти» — также любопытно сопоставима с «третьей новеллой» «Радостей земной любви». О ряде других реализаций мифа о Пигмалионе в русской литературе — преимущественно символистской, с ее пристальным интересом к «возрождению античности, и к тем проявлениям Ренессанса, которые воскрешали античность» — см. содержательную работу: Masing-Delic I. Creating the Living Work of Art: The Symbolist Pygmalion and his Antecedents// Paperno I., Grossman, J.D., eds. Creating Life: The Aesthetic Utopia of Russian Modernism. Stanford, 1994. Pp. 51-82. Стр. 30-32 — перечислены три главных места встреч, изображенных в «Новой Жизни», в которой, к тому же, «родной город» Данте и Беатриче так никогда и не называется по имени (см.: Musa M. Dante's Vita Nuova. Bloomington, 1973. Pp. 102, 104). Беатриче проходит по улице (passado per una via) когда она впервые предстает перед Данте-юношей; на улице приветствует или не приветствует его, на улице вызывает благоговение всего города («Благороднейшая дама <...> снискала такое благоволение у всех, что, когда она проходила по улицам, люди бежали отовсюду, чтобы увидеть ее»: гл. XXVI). О «собраниях дам» в «Новой Жизни» (гл.VIII, XIV, XVIII, XXII и т.д.), см.: Musa M. Dante's Vita Nuova. Bloomington, 1973. Pp. 101, 182. Единственная, но крайне важная (не-)встреча Данте с Беатриче в церкви — во время «похвал преславной королеве небес» — происхо-

дит в главе V. Стр. 32-34 — наряду с флорентийскими реалиями, в рассказ Кавальканти неожиданно примешаны элементы романтической готики: в данном случае, в духе Эдгара По и его последователей; далее (сравнение с совой в бойницах) в духе немецких и английских баллад (вплоть до «Замка Джен Вальмор» К.Д.Бальмонта (сборник 1900 г. «Горящие здания»)). Подобным образом, упоминание во второй новелле о «черных думах» Кавальканти — его размышлениях вследствие несчастной любви о дальних странствиях или же самоубийстве («уехать навсегда в далекие страны или просто ударом стилета оборвать печальную нить своей жизни») — представляет собой явный анахронизм: понятия, немыслимые для человека XIII в., но очевидно соотносимые с автобиографическими переживаниями современного автора-пост-романтика. («Романтический дух и попытки психоанализа поступков героя» этого рассказа также отметил В. Полушин, считавший, что «образ Данте, как, впрочем, и образы других исторических лиц не только в этом произведении трактуется Гумилевым довольно вольно» (Полушин В. Волшебная скрипка поэта // ЗС. С. 27)). Стр. 45 — фраза «великая любовь сотворила великое чудо» непосредственно напоминает поэтику Данте и Кавальканти, типичной чертой которой является разной степени персонификация любви. В «Новой Жизни» «Владыка Амор» («Io mio segnore Amore») четыре раза предстает перед Данте (гл. III, IX, XXI, XXIV), и еще несколько раз обращает к нему свою речь; кроме того, в этом произведении Данте, по подсчетам одного исследователя, слово *amore* употребляется более 150 раз, и лишь в единичных случаях без оттенка олицетворения: «язык и конструкции обычно такие, чтобы до некоторой степени позволить интерпретацию абстрактной персонификации» (Musa M. Dante's Vita Nuova. Bloomington: Indiana University Press, 1973. P. 184). Стихи Кавальканти изобилуют сходными примерами: см., хотя бы: «Io vidi li occhi dove Amor si mise / quando mi fece di se pauroso»; «Un amoroso sguardo spiritale / m'ha renovato Amor» («Я видел очи, в которые внедрилась Любовь, когда она внушила мне боязнь к себе»; «Любовь возобновила во мне любящий духовный взгляд». Cavalcanti. Pp. 74, 77). Стр. 48-50 — ср. откровенно ницшеанские мотивы юной смелости и могущества, характеризующие героя «Дочерей Каина» (№ 6; о других мелких точек прикосновения между образностью этих двух рассказов см. комментарии к № 6, стр. 30-31, 68). Там, однако, молодая сила пропадает после центральной эротически-оккультной коллизии; в этом «рассказе в рассказе», наоборот, она возникает в ее результате. Стр. 59-60 — как поясняет Р.Л. Щербаков, «Цветочки» Франциска Ассизского — «сборник рассказов и легенд о жизни блаженного Франциска Ассизского (1182 — 1226), учредителя нищенствующего ордена, проповедника аскетизма, преобразователя отшельнической монашеской жизни в миссионерское служение» (Соч II. С. 426). По мнению Д.С. Грачевой, упоминиание этого произведения отсылает к философской концепции любви [любви-caritas — *Ред.*], «связанной, в частности, с именем С. Булгакова, считавшего, что идеал простоты и чистоты следует искать в средневековой аскетике. Эту философию не разделяет автор: «предпочтение» Примаверы — это всего лишь хитрость, которую должна была проявить девица «столь благородного дома» (Грачева Д.С. I. С. 143-

144). Добавим, однако, что в другом контексте Гумилев в тот же период положительно расценивал нередко привлекавшие внимание младших символистов «Цветочки» св. Франциска: о возможной аллюзии на них в названии сборника «Романтические цветы» см.: Зобнин Ю.В. Воля к балладе: Лиро-эпос в акмеистической эстетике Гумилева. // Гумилевские чтения 1996. С. 113. Стр. 76 — ср. реакцию юного Данте на простое приветствие Беатриче: «в ее приветствии заключалось мое блаженство, переполнявшее меня и превышавшее нередко мою способность восприятия» (Новая Жизнь. С. 22 [гл. XI]). Стр. 88 — Марко Поло (ок. 1254-1324) — сын венецианского купца — выходца из далматинских славян. В 1271-75 гг., в сопровождении отца и дяди, совершил путешествие в Китай, где он прожил около 17 лет, занимаясь торговлей. В 1274 г. поступил на службу к монгольскому великому хану Кублаю; вернулся в Венецию окольным морским путем в 1292-95 гг. В 1297 г., он попал в плен во время морского сражения между Венецией и ее торговым соседом Генуей, и в следующем, 1298 году, один из заключенных с ним пленников записал его устные рассказы о путешествиях. Составленная таким образом «Книга» Марко Поло стала одним из первых источников знаний европейцев о странах Центральной, Восточной и Южной Азии. Стр. 89-96 — ср. осуждение тех, кто «рифмует глупо и непродуманно», высказанное автором «Новой Жизни» с отсылкой на мнение его «первого друга», Кавальканти: «Но чтобы невежественные люди не воспылали слишком большой отвагой, я утверждаю, что... слагающие стихи с рифмами не должны говорить, не сознавая ясно, что они хотят выразить, ибо весьма стыдно было бы тому, который, облачая свои высказывания в одежды и украшая их цветами риторики, не мог бы, если бы его затем спросили, оголить свои слова так, чтобы они приобрели истинное значение. Я и первый друг мой, мы хорошо знаем тех, кто рифмует глупо и непродуманно» (Новая Жизнь. С. 63-64 [гл. XXV]). Стр. 93-94 — в письме к Брюсову от 23 февраля 1908 г. Гумилев попросил редактора «Весов»: «... в начале второй из моих новелл перечеркнуть слово «Симла» и поставить вместо него «Мартишор». Первого зверя я выдумал сам, о втором упоминает Аристотель» (ЛН. С. 472). Как констатирует Р.Д.Тименчик (там же, с. 473): Мартишор, точнее «Мартихор (по-персидски «Людоед») — чудовищный зверь, похожий на тигра и быка с иглами на хвосте; Аристотель упоминает о нем со сылкой на описание Индии, сделанное Ктесием, историком, знаменитым своими выдумками (Аристотель. «История животных». 501 а 26)». Просьба Гумилева при публикации в «Весах» учтена не была. Следует добавить, что обращение Гумилева к Аристотелю было, по-видимому, не произвольным, а скорее отражало его стремление к наиболее возможной аутентичности. Именно Аристотель имел первостепенное значение для философской мысли самого Кавальканти и его интеллектуального окружения. См., в первую очередь, знаменитую умозрительную канцону Кавальканти о природе любви, «Donna me prega» («Дама меня просит...») и пространный комментарий к ней: Cavalcanti G. The Poetry of Guido Cavalcanti. Ed. and trans. Lowry Nelson Jnr. New York, 1986. Pp. 38-41; XLII-LI; 102-105. Стр. 96-99 — ср., по контрасту, отрешенность влюбленного автора «Новой Жизни», утверждавшего, что

«когда она появлялась где-либо, благодаря надежде на ее чудесное приветствие, у меня не было врагов, но пламя милосердия охватывало меня, заставляя меня прощать всем меня оскорбившим» (Новая Жизнь. С. 22 [гл. XI]). Стр. 103-106 — ср. процитированное выше описание появления Беатриче с Примаверой: «Я видел, как вслед за ней приближается чудотворная Беатриче. Так прошли эти дамы одна за другой» (гл. XXIV). В этом, возможно, отражалась жизненная реалия: многие улицы старой Флоренции были такими узкими, что разодетые дамы не могли идти по ним рядом с друг другом (см. Reynolds B. Introduction and Commentary // Dante. La Vita Nuova. Harmondsworth, 1969. P. 113). Стр. 114-115 — ср. первое появление Беатриче перед Данте-юношей в третьей главе «Новой Жизни»: «чудотворная госпожа предстала предо мной облаченная в одежды ослепительно белого цвета среди двух дам, старших ее годами» (Новая Жизнь. С. 9-10 [гл. III]). Стр. 138-140 — сравнение с розоватым жемчугом имеет соответствие в стихотворении Гумилева того же 1907 г. «Сады души»: «И щеки — розоватый жемчуг юга» (№ 85 (I)). Но, в данном контексте, оно может также восприниматься по контрасту с единственным, весьма сдержанным физическим описанием внешности Беатриче в «Новой Жизни», в двух строках знаменитой, тематически ключевой канцоны «Donne ch'avete intelleto d'amore» («Лишь с дамами, что разумом любви владеют»: гл. XIX):

Color di perle ha quasi, in forma quale
convene a donna aver, non for misura

([Лицо] имеет расцветку жемчуга, настолько, сколько подобает женщине иметь, не через меру). «Розовощекая» Примавера внутренне не сохраняет ту невозмутимую, небесную холодность, которая отличает Дантову Беатриче. Чаяния гумилевского Кавальканти остаются до последнего абзаца этой второй новеллы близкими к дантовским («нежная дама равно недоступна для всех»), но Примавера, на самом деле, не безупречно-умеренный белый жемчуг, и реальность ее «земной любви» — иная. Напомним также, что, в отличие от не до конца равнодушной Примаверы, Беатриче является воистину «недоступной» для Данте, не упоминавшего о какой-либо ее реакции на слова, адресованные ей в его стихотворных посланиях (баллата и три сонета: Новая Жизнь, гл. XII, XIV-XVI). Ощутив ее немилость — надменный, по-земному незаслуженный отказ в ее «пресладостном привете» — он принимает знаменательное решение «впредь <...> неизменно воздерживаться от прямых обращений к ней» и сосредоточить свое блаженство «в том, что не может быть от <него> отнято»: в самоотреченном «восхвалении благороднейшей дамы» в ее недосягаемой, небесной ипостаси (Новая Жизнь, гл. XVII-XVIII). Первым плодом этого «нового содержания» является как раз канцона «Donne ch'avete...». Стр. 149-185 — описание смерти Кавальканти имеет мало общего с биографической реальностью. Гвидо Кавальканти умер в Флоренции в августе 1300 г., от болезни — скорее всего, малярии — которой он, действительно, «случайно» заболел: во время короткой политической ссылки из Флоренции, в «нездоровом местечке» Сарзане на тосканских границах. Но ему было тогда далеко за сорок (предположительное время

рождения — между 1250 — 1260); и, по-видимому, он уже давно отвернулся от поэзии и «куртуазной любви», чтобы принимать деятельное участие в бурных политических распрях Флорентийской республики. (Один современный редактор предположительно датирует все сохранившиеся стихи Кавальканти 1275-1285 годами: Nelson L. Introduction // Cavalcanti G. The Poetry of Guido Cavalcanti. New York, 1986. P.XXXIV). Данте, который сам стал изгнанником из Флоренции два года спустя, в качестве одного из девяти приоров города (правителей советом) должен был приложить свою руку к ордеру об изгнании Кавальканти.

Гумилевское изображение смерти Кавальканти находит свое «поэтическое» оправдание, во-первых, в собственных произведениях флорентийского писателя. Смерть от немилости возлюбленной — метафорическая или настоящая — является характернейшей темой поэзии Кавальканти, в которой она нередко выражается с помощью парономастического обыгрывания слов L'Amore и La Morte (подробнее, см.: Shaw. Pp. 119-20). Из множества примеров ср. следующие: «Quando mi vider, tutti con pietanza / dissermi: «Fatto se' di tal servente, / che mai non dei sperare altro che morte» («Когда видели меня, все с жалостью / говорили мне: Ты стал служителем такой дамы, / так что теперь ты не должен ожидать от нее чего-либо, кроме смерти» (Cavalcanti. P. 21)); «Amor, che lo tuo grande valor sente, / dice: «E' mi duol che ti convien morire / per questa fiera donna, che niente / par che pietate di te voglia udire» («Любовь, ощущая твою большую ценность, / говорит: «Мне тяжко, что ты должен умереть / из-за этой гордой дамы, которая не хочет / слышать ни о чем, что связано с жалостью к тебе» (Cavalcanti. C. 29)); «Quando di morte mi conven trar vita / e di pesanza gioia, / come di tanto noia / lo spirito d'amor d'amar m'invita?» («Когда из смерти я должен извлекать жизнь, / и из тяжести радость, / то как же возможно, что из стольской тоски / дух любви приглашает меня любить» (Cavalcanti. C. 124-125)); «...Amor non t'assicura / in guisa, che tu possi di leggero / a la tua donna sm contar il vero, / che Morte non ti ponga 'n sua figura.» («Любовь не дает тебе гарантии, что ты можешь легко рассказать твоей даме правду, без того, чтобы Смерть не превратила тебя в свое подобие» (Cavalcanti. C. 129-130)). Но «третья» новелла Гумилева также наиболее явно полемична по отношению к «Новой Жизни», центральным «земным событием» которой является смерть Беатриче. Данте умышленно не объясняет обстоятельства ее преждевременной кончины, которую он приписывает Совершенной любви Владыки вечности, понявшего, что «жизнь так недостойна эта, докучная, ее святого света» (гл.31). И если Беатриче вознесена им в Высокий Рай, преображена «духовною красою», восславляема ангелами, то та земная жизнь, от которой она безповоротно удалилась, теряет для поэта значение («В горести разлуки / Ее красу не видит смертный взор»: гл. 33), и он в ряде траурных стихов с вожделением думает о смерти («Я Смерти власть, печальный, возлюбил./ Лишь к ней одной летят мои желанья / С тех пор, как поразил / Мадонну гнев ее. Всю жизнь на муки / Я осужден...»: Там же). С течением времени он понимает, что его истинная задача состоит исключительно лишь в постоянстве его мысли о ней («Глаза мои до смерти не должны /

Забыть о ... даме, что почила»: гл. 38): ей — точнее, тяжкому духовному пути к ее новому обретению — он посвятит всю последующую (творческую) жизнь (и «Божественную Комедию» в первую очередь) и, как он констатирует в заключительных словах «Новой Жизни», это позволяет ему предвидеть конечное духовное вознаграждение на небесах: «И пусть душа моя по воле владыки куртуазии вознесется и увидит сияние моей дамы, присноблаженной Беатриче, созерцающей в славе своей лик Того, *qui est per omnia saecula benedictus*» (гл. 42). В «Радостях земной любви», наоборот, умирает и беспрепятственно попадает в Высокий Рай влюбленный поэт, а возлюбленная женщина остается жить без него на земле. И тут, в прямую противоположность «Новой Жизни» Данте, ни небесное вознаграждение, ни вознесение к ангелам, ни обещание наивысшего духовного блаженства, не могут утолить страдающее сердце Кавальканти или вытеснить из его памяти его несладострастную, высокую, и все же «земную» любовь к реальной, не посмертно преображенной женщине. (Напомним вышеприведенные слова Дж. Шора о любви Кавальканти: «Порождаемая воображением и интеллектуальностью, благородством человеческой души... она становится страстью тела и души к реальной женщине, в которой забывается Совершенное Благо».) Трудно судить о том, насколько это третья новелла являлась серьезным, идеологически целеустремленным опровержением Данте или, возможно, восприятия его русскими символистами; насколько ее полемическая инверсия дантовского сюжета была продиктована лишь непосредственной силой тех «романических причин», о которых Гумилев упомянул Брюсову, и которые могли побудить его во что бы то ии стало привлечь внимание, поразить, убедить его собственную даму сердца. (Помимо всей иесомненности последующего пиэтета к Данте со стороны Гумилева и других акмеистов, ср. также его полемическое утверждение 1911 г. о том, что Прекрасная Дама Блока «просто девушка, в которую впервые был влюблен поэт», высказанное в непосредственной связи с мыслью о том, что Блок, подобно Данте в «Новой Жизни», являет нам «новый лик любви» (Соч III. С. 110)) В любом случае, начиная уже с «Гибели обреченных» (№ 1), глубокое переосмысление символических ценностей является характерной чертой ряда гумилевских рассказов. Стр. 150-151 — еще одна явная реминисценция из «Новой Жизни» Данте: «В тот день, когда исполнился год с тех пор, когда моя госпожа стала гражданкой вечиой жизии...» (Новая Жизнь. С. 78 [гл.XXXIV]; в подлиннике, как и у Гумилева — множественное число: «questa donna era fatta *de li cittadini* di vita eterna»). Стр. 161, 168, 177 — в трехкратном обращении Ангела к Кавальканти Д. Грачева усматривает «прямую параллель с текстом Евангелия от Луки (глава 4), рассказывающем об искушении Христа дьяволом». Как она поясняет, «оппозиция Ангел-дьявол не тождественна противопоставлению добро-зло. Библейский дьявол — символ искушения земным, Ангел в повествовании Н. Гумилева — символ искушения небесиым» (Грачева I. С. 144). Стр. 161-163 — по наблюдению И.Н. Голеиищева-Кутузова, служившему комментарием как к «Новой Жизни», так и к «Божественной комедии»: «У Бернарда Клервосского и Бонавентуры Данте вычитал легенду о том, что места в

раю, оставшиеся пустыми после низвержения в преисподнюю Люцифера и его приспешников, пополняются святыми и праведниками. <...> Данте и его друзья решили, что имено их дамы сердца, добродетельные, совершенные и прекрасные, призваны занять пустующие в небесах места! «Канонизация» прекрасных дам была произведена светскими людьми без благословения церкви» (Новая Жизнь. С. 303-304). Д.С.Грачева указывала, что из логики трехчастного обращения Ангела в финале третьей новеллы следует, что Беатриче оказывается тождественной божественной ипостаси Св. Духа (см. выше в преамбуле к построчным комментариям). Возможно что подобная «женственная» трактовка Св. Духа среди лиц Св. Троицы обусловлена влиянием оккультных источников, интерпретировавших слово «элохим» (см. комментарии к № 1) так: «Это слово представляется множественной формой женского имени «Элоах», ALN, образованной добавлением обычного окончания множественного числа мужского рода IH; отсюда в целом оно намекает на испускание активной и пассивной сущностей. Как титул оно употребляется по отношению к «Бине», Верховной Матери, а также входит в более полный титул IHVH ALHIM, Иегова Элохим» (Блаватская Е.П. Теософский словарь. М., 1994. С. 572-573). Этим обусловлены многочисленные попытки всевозможных интерпретаций Св.Троицы как единства Отца, Сына и Матери-Духа, отразившиеся также и в метафизических концепциях русских символистов (см., напр. «Иисус Неизвестный» Д.С.Мережковского). Стр. 168-185 — о множестве параллелей к данным местам в стихах и прозе («Прицесса Зара», «Золотой рыцарь») Гумилева, см.: Обухова О. Ранняя проза Гумилева в свете поэтики акмеизма. // Гумилевские чтения 1996. С. 123; о мотиве «золота» см. также комментарий к заглавию № 5 наст. тома.

5. Русская мысль. 1908. № 8.

ТП -- СС IV -- ТП 1990 -- ЗС -- Проза 1990 -- ОС 1991 -- СС IV (Р-т) -- Соч II -- Круг чтения -- Русский путь -- Русский путь 2 -- СС 2000 -- ТП 2000 -- АО -- Проза поэта; Кодры. 1989. № 4.

Автограф, вар. — РГБ. Ф.386. К. 84. Ед.хр. 19. Л. 3-4об.

Дат.: 7 января 1908 г. (н. ст.) — по дате письма к Брюсову (ЛН. С. 462).

Замысел рассказа возник у Гумилева, по всей вероятности, в начале 1907 г. В письме к Брюсову от 14 февраля (н.ст.) Гумилев, сетуя на то, что у него «отсутствует чисто техническое умение писать прозаические вещи», ставит своей целью «победить роковую интерность (т.е. — скованность, от фр. interne — "внутренний" — *Ред.*) пера» и затем сообщает своему «наставнику»-корреспонденту: «Как раз в это время я работаю над старинными французскими хрониками и рыцарскими романами и собираюсь написать модернизированную повесть в стиле тринадцатого или четырнадцатого века» (ЛН. С. 429). Как изменялся этот первоначальный замысел мы не знаем, но в результате возникают два рассказа — «Золотой рыцарь» и «Дочери Каина», действительно представляющие собой стилизации, повествующие о событиях конца XII в. —

неудачном походе английского отряда крестоносцев Ричарда I Львиное Сердце на Иерусалим в 1192 г. (это была кульминация Третьего Крестового похода). Главным источником этой стилизации, впрочем, послужили не «французские хроники и рыцарские романы», а романы В.Скотта «Талисман» и «Айвенго». Отсылая рассказ Брюсову в письме от 7 января 1908 г. (н. ст.), Гумилев уведомляет, что он переписывал приложенный текст «четыре раза, всегда с крупными поправками, так что относительно старательности... сделал все, что мог» (ЛН. С. 462). Эта трогательная подробность, увы, не возымела должного действия, — в «Весах» рассказ «не пошел», и был летом того же года опубликован Гумилевым в «Русской мысли» — как досланное вдогонку «дополнительное приложение» к понравившейся редколлегии журнала «Принцессе Заре» (см.: ЛН. С. 479-480). Для этой публикации Гумилев сделал новую (пятую, если сообщенные им в письме сведенья соотвествуют действительности) редакцию. В ней он «...добавил... окончание, допускающее вполне реалистическую трактовку сюжета» (см.: Соч II. С. 427). Не исключено, что это было мотивировано не только эстетическими, но и «тактическими» соображениями: «Русская мысль» — не «Весы», и излишний мистицизм мог показаться здесь неуместным.

Современная Гумилеву критика рассказ проигнорировала, между тем, по мнению Ю.В.Зобнина, «Золотой рыцарь» стоит «на особом месте в истории русской литературы, обращенной к облику Христа»: «...«Русский Христос» не был адекватно отражен отечественной литературой. Единственным исключением здесь явился Иисус Достоевского — молчаливый собеседник Великого Инквизитора, Иисус, неизмеримой сложностью своей превосходящий не только лубочные упоминания, рассыпанные по страницам русской беллетристики XIX века, но и хрестоматийный тютчевский образ «Царя Небесного в рабском виде». Это — Иисус, властный в кротости, Иисус, наконец, *прекрасный*... <...> Мы знаем, что *следующим* образом Иисуса стал блоковский Христос «Двенадцати» — Исус (так!), идущий впереди анархистов-революционеров, «Другой», по выражению самого Блока. Но *между* этими полюсами существует и Иисус Гумилева — Золотой Рыцарь, Иисус, ликующий и торжествующий, делающий землей обетованной выжженную солнцем пустыню, изгоняющий страх из мира, Иисус, возглавляющий кавалькаду рыцарей-тамплиеров, до конца оставшихся верным своему долгу» (Зобнин Ю.В. Странник духа (о судьбе и творчестве Н.С.Гумилева) // Русский путь. С. 33). Исследователь считает, что этот рассказ важен для понимания духовного переворота, происшедшего с поэтом, который «на какое-то краткое время «шатнулся» от церкви, поддавшись декадентским поискам «красоты», но очень скоро увидел, что христианство, православие, ложно понятые «декадентами» как статичные, мертвые институты, на самом деле обладают живой динамической духовной полнотой, вполне могущей служить базой для художника, стремящегося к эстетическому совершенству. <...> «Эстетическое» начало торжествует здесь при полном сохранении евангельской «этической» и «религиозной» чистоты, чувство радости от созерцания перкрасного облика Господа естественно дополняет чувство мистического восторга. В общем, даже тематически «Золотой

рыцарь» согласуется с известными стихами Евангелия: «Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах: так гнали и пророков, бывших прежде вас. Вы — соль земли» (Мф. 5. 12-13)» (Зобнин Ю.В. Странник духа (о судьбе и творчестве Н.С.Гумилева) // Русский путь. С. 33-34). ««Золотой рыцарь» и «Дочери Каина» связаны с библейской тематикой в творчестве Гумилева, — пишет И.Ерыкалова. — Представление о чуде связано у него с рыцарскими легендами и эпохой крестовых походов. <...> Мир Христа в прозе Гумилева навсегда связан с миром «вневременного» средневековья, рыцарства, существовавшего в эпоху крестоносцев и существующего во времена электричества и автомобилей» (Ерыкалова И. Проза поэта // АО. С. 86). Подробнее об этом пишет Ю.В.Зобнин: ««Золотой рыцарь» выводит Гумилева на тематику, важнейшую в его творчестве, но, к сожалению, почти полностью проигнорированную как современной поэту, так и посмертной критикой — теме рыцарства, понятой... не отвлеченно-декоративно, а со всей философской и религиозной ответственностью и полнотой. Рыцарство — если уйти от внешних расхожих атрибутов и романтического антуража — было самой совершенной формой деятельного личностного религиозного «жизнестроительства», воплощением во внешнем действии внутреннего духовного «движения». Для истории европейского религиозного сознания рыцарство было величайшей школой усвоения личностью соборного достояния католичества, утверждением «общего» действия в частном. Не случайно тема рыцарства была чрезвычайно актуальна для тех русских мыслителей, которые пытались угадать возможность выхода из духовного кризиса, в который попала вступившая в полосу затяжных революций Россия. «К горю нашему, в русской истории не было рыцарства, — писал Н.А.-Бердяев. — Этим объясняется и то, что личность не была у нас достаточно выработана, что закал характера не был у нас достаточно крепок... Нравственно прекрасен наш бытовой демократизм, наша простота... но в отсутствии аристократии была и наша слабость, а не только наша сила. В этом чувствовалась слишком большая зависимость от темной народной стихии, неспособность выделить из огромного количества руководящее качественное начало». Этой мысли Бердяева созвучны стихи Гумилева:

И мечтаю я, чтоб сказали
О России, стране равнин:
Вот страна прекраснейших женщин
И отважнейших мужчин»

(Зобнин Ю.В. Странник духа (о судьбе и творчестве Н.С.Гумилева) // Русский путь. С. 34-35). Е. Подшивалова видела в «Золотом рыцаре» черты, наиболее ярко воплотившие своеобразие всей гумилевской прозы, которое «состоит в том, что он обращается не к бытовым, не к частным, а к знаковым, освященным литературной традицией событиям. И потому герои его также абстрактны и символичны. Гумилев воссоздает вневременные психологические ситуации (...ожидание смерти и преодоление ее страха и муки в «Золотом рыцаре»)... Событие по самой своей природе

оказывается роковым, потому что после его совершения герой полностью освобождается от своей прежней сущности, его маленькое «я» остается наедине с вечным и истинно ценным» (ОС 1991. С. 23).

Мотив «золота» введенный в заглавие рассказа восходит к общехристианской символике золотого цвета как «духоносного» (отсюда золотые нимбы или фон в иконописи, парча как материал для облачения священнослужителей и т.д.) — см. об этом также комментарии к стр. 91; ср. также стр.179-280 № 4 наст. тома. Общее построение сюжета рассказа восходит к первым эпизодам романа В. Скотта «Талисман», где изображается, правда, не семеро а лишь один «могучий всадник», английский рыцарь, одетый в тяжелые боевые доспехи, едущий по безжизненной пустыне близ Мертвого моря (ср.: «Над этой пустыней почти нестерпимым блеском сияло солнце и все живое, казалось, спряталось от его лучей, кроме одинокой конной фигуры, которая двигалась по порхающему песку со скоростью пешего, и казалась единственным живым существом на всей широкой поверхности равнины. Облачение всадника, как и снаряжение его коня, было странно неподходящим для путешественника в этих краях»). Этот пока не названный рыцарь выходит на «великую равнину» («иссохшую, Богом проклятую пустыню»), пробравшись ранним утром по скалам и оврагам, и незадолго до «золотого блистательного полдня» (как фисируется в первом предложении «Талисмана», в час, когда «жгучее сирийское солнце еще не достигло своей наивысшей точки») — неожиданно сталкивается с «благородным сарацинским эмиром» (на самом деле, как выясняется позже, — это сам Саладин, глава мусульман, едущий инкогнито). Увидев друг друга издалека, всадники без предварительных объяснений вступают в единоборство. Они наконец выбивают друг друга из седла, и после длительных усилий, в подчеркнутом соответствии с нормами рыцарского поведения, приходят к почетному перемирию. В дружеской беседе, они если и не делятся пищей, то, по крайней мере, вместе пьют и едят, каждый из своих скудных запасов, у тенистого водопоя, и затем вместе отправляются в дальнейшую дорогу. В романе В. Скотта отсутствует гумилевский мистицизм, но многие мелкие подробности «Золотого рыцаря» (так же, как и «Дочерей Каина») непосредственно перекликаются с «Талисманом». Многочисленные детали рыцарской цивилизации XII века заимствованы Гумилевым также из романа В.Скотта «Айвенго».

Стр. 2-5 — после триумфального вступления англичан во главе с Ричардом I в Третий крестовый поход и взятия Акки (Птолемаиды) 12 июля 1191 г. развитию успеха мешала невозможность нормального снабжения войска, прежде всего — проблемы с питьевой водой. Из-за этого фактически провалилась удачно начатая кампания 1192 г. и был сорван поход на Иерусалим 1193 г. В «Талисмане» об этом упоминается, ср.: «Многие ... из западных воинов, стремившихся в Палестину, умерли до того, как они приучились к палящему зною...» («Талисман», гл.1). Стр. 5 — по-видимому, здесь и далее имена гумилевских рыцарей были авторским вымыслом. Город Кентерберий является (и тогда являлся) резиденцией главы английской Цер-

кви архиепископа Кентерберийского, и титул графа (барона, герцога) Кентерберийского поэтому представляется еле мыслимым. Возможно, сам выбор Кентербория в титуле одного из героев был продиктован Гумилеву «Кентерберийскими рассказами» Чосера. Титул «барона Норвичского» (Норвич — торговый город на востоке Англии) также весьма неправдоподобен, и на практике, как будто, не встречается. Зато «герцог Нортумберлендский» (и не один!) играл заметную, иногда даже ключевую роль в английской истории (и, соответственно, в английской литературе; об одном из герцогов Нортумберлендских упоминается мимоходом и в «Айвенго» (гл. 21)). В «Гуго Эльвистане», как кажется, сочетается норманское (французское) имя Hugo с саксонской фамилией-приставкой –стан (ср. Ательстан в «Айвенго»). Стр. 12 — полное название ордена тамплиеров (т.е. храмовников, от фр. Temple — храм; у Гумилева — темплиеры) — «Орден бедных рыцарей Христа и Храма Соломонова». Этот один из величайших католических рыцарских орденов средневековья был основан в Иерусалимском королевстве в 1118 (или в 1119) г. рыцарем из Шампани Гуго Пейе и семью его товарищами (необходимо обратить внимание на числовые совпадения с рассказом) для защиты города и Храма от неверных. На всем протяжении борьбы крестоносцев за обладание Палестиной тамплиеры, дававшие обет бескорыстия и отваги в борьбе за Церковь, шли в авангарде войска, показывая чудеса доблести. Однако, по мере роста богатства и влияния ордена в европейской политики прежние ценности тамплиеров оказались подмененными корыстью и интригами; помимо того, среди рыцарей ордена стали распространяться всевозможные ереси и колдовство. В 1312 г. по приказу французского короля Филиппа Красивого и при попустительстве папы Климента V орден был разгромлен, а его Великий Магистр Жан Молэ — сожжен в Париже. Тамплиером является один из главных героев «Айвенго» — рыцарь Бриан де Буагильбер (Bois-Guilbert). Стр. 16-17 — ср.: «Совершенную смерть показываю я вам; она для живущих становится жалом и священным обетом. Своею смертью умирает, свершивший свой путь, умирает победоносно, окруженный теми, кто надеются и дают священный обет. Следовало бы научиться умирать; и не должно быть праздника там, где такой умирающий не освятил клятвы живущих» (Ницше Ф. «Так говорил Заратустра». Гл. «О свободной смерти»). Стр.18-19 — Иисус Христос был небесным шефом ордена тамплиеров, члены которого воспринимали себя как «воины Христа»; с этим была связана одна из главных особенностей организации ордена: его члены считали себя независимыми от власти кого-либо из земных владык, а в их делах участвовали не по приказу, корысти или принуждению, а только по-совести. Стр. 19-20 — палестинский колючий кустарник — терн — символ страданий Христа. Стр. 21-22 — «упоение вином» (преимущественно — «кипрским») в раннем творчестве Гумилева — символическое обозначение экстатического состояния, причем природа экстаза может быть разной — «темной» или «светлой», страстной или духовной — см. ст-ния №№ 65 (I), 94 (I) и № 112 (II). Стр. 22-23 — упоминание «приема у византийского императора» в данном контексте кажется странным — к 1192 г. «восточная» Церковь в глазах Западной окончательно

превратилась в сборище «схизматиков», гораздо более близких к «неверным», нежели к «христианам» (как известно, через несколько лет, в 1204 г. крестоносцы штурмом ворвутся в Константинополь, сожгут и разграбят город, разрушив и разорив его святыни). Это, возможно, обусловлено упоминанием «византийского двора» тамплиером Буагильбертом в «Айвенго» В. Скотта: «мои подвиги, мои опасные деяния, сделали известным имя Аделаиды де Монтемар от кастильского двора до византийского» (гл.24). Стр. 24 — одиноким пилигримом к Гробу Господню — с охранной грамотой от Саладина (отнюдь не возражавшего, чтобы в отвоеванный им у христиан город приходили христианские паломники) — проходит сирийскую пустыню «неизвестный» рыцарь, сэр Кеннэт, в начале «Талисмана». Айвенго в начале романа также появляется под видом безвестного пилигрима (Palmier), только что вернувшегося в Англию со Святой Земли. Стр. 26-27 — ср. в «Айвенго», где по внушению Великого Магистра тамплиеров поется псалом перед судом над еврейкой Ревеккой: «торжественные звуки Venite exultemus Domine, которые так часто пелись тамплиерами перед сражением с земными супостатами, считались Лукасом наиболее подходящим вступлением к наступающему, как он предполагал, торжеству над силами тьмы. Низкие, удлиненные ноты, подхваченные сотней мужских голосов, привыкших к соединению в хоровом пении, возносились к сводному потолку зала...» (гл.37). Стр. 29-30 — архистратиг Михаил — один из семи архангелов, предводитель небесного воинства в борьбе с силами зла (Отк. 12. 7-9). Стр. 31 — ср. антиномические образы в ст-нии «Смерти» (№ 38 (I)). Стр. 34 — звезда Альдебаран (Алдебаран) — от арабского «ал дабаран» («тот, кто идет вслед», так как она «следует за» созвездием Плеяд («семью сестрами»)), — также известна, как Alpha Tauri (самая яркая звезда в созвездии Быка), и Oculus Tauri (Бычий глаз). Алдебаран — звезда первой величины, одна из самых ярких на северном небе. Птоломей связал ее со свойствами Марса (Тетрабилос, кн.1 гл.9), а в христианской традиции она считалась одной из четырех «Королевских звезд», или Сторожей Небес. Эти звезды ассоциировались каждая с одним из Архангелов, а Алдебаран, опять-таки, с «воинствующим» Архангелом Михаилом. Стр. 36 — герольд — церемонимейстер при дворе средневекового вельможи. Избрание Гумилевым апостола Иоанна в качестве «герольда» «Золотого рыцаря» — Христа — неслучайно. Традиционно именно Иоанн считается самым приближенным к Учителю из «двенадцати», учеником, «которого любил Иисус» и который «возлежал на груди Иисуса» (Ин. 13. 23); отсюда и особая осведомленность Иоанна, особая мистическая глубина написанного им евангелия (оно не входит в число т.н. «синоптических» евангелий), отсюда и его прозвание «Богослова» (т.е. открывающим тайну Бога-Слова), поскольку именно его евангелие открывается этим утверждением ипостаси Христа в Троице (Ин. 1. 1-5). Стр. 40 — наклоном копья Айвенго, впервые появляясь (с закрытым забралом) на ристалище в Ашби, приветствует принца Иоанна и сидящих в его ложе дам («Айвенго». Гл. 8). Стр. 41-42 — щиты рыцарей, участвовавших в турнирах, были, как и их знамена, своеобразной формой как представления, так и «рекламы» их владельцев. Согласно правилам турнира, за несколько

дней до начала состязания герольды возвещали о нем на пространстве 20-30 лье вокруг места проведения, в монастырях, расположенных в этом пространстве, выставлялись изображения щитов предполагаемых участников, а окна в городе, в окрестностях которого турнир проводился, украшались знаменами рыцарей. Непосредственно на турнире герольды, объявляя выходящих на единоборство, иногда демонстрировали их гербы, изображенные на щитах. Изображение и описание рыцарского «герба Иисуса» были распространены в средневековой герметической литературе и в трудах адептов т.н. «мистического христианства»; оттуда эта символика перекочевала в книги оккультистов Нового Времени. «В дни, когда генеалогия полагалась важнейшим обстоятельством, было обнаружено, что Иисус без своего собственного герба не мог быть джентльменом!» — писал об этом М.П.Холл, приводя в своей книге один из образчиков такого «герба» (см.: Холл М.П. Энциклопедическое изложение масонской, герметической, каббалистической и розенкрейцерской символической философии. Новосибирск, 1993. С. 656). О символике лилий и столпов Храма в творчестве раннего Гумилева см. комментарии к ст-нию № 98 (II, с. 299). Стр. 48-51 — ср. образ «дракона-смерти» в ст-нии «В пути» (№ 124 (I)). Стр. 53-56 — мотив рыцарского инкогнито играет очень существенную роль в «Айвенго» и, в меньшей степени, — в «Талисмане» (см. выше, о появлении Саладина под видом эмира); однако, «правила» его раскрытия не совсем устойчивы. Айвенго — среднего роста, тонкий, в стальных доспехах, обильно инкрустированных золотом — в течение двух дней сражается на турнире в Ашби с опущенным забралом, под именем «Обездоленного рыцаря» («El Desdichado»): несмотря на явное неудовольствие прица Джона, церемонимейстеры считают себя вправе принудить его открыть забрало лишь после того, как он объявлен общим победителем турнира и должен получить «венок почести» от избранной им «Королевы Любви и Красоты» (гл. 12). Подобным образом, во второй день присоединяется к турниру другой неизвестный за закрытым забралом — «Черный рыцарь» (король Ричард), на большом черном коне, одетый в сплошь черные доспехи. Он поспешно скрывается после сражений, по-видимому, как раз для того, чтобы не подвергать себя опасности невольной потери инкогнито (там же). Но гораздо ближе к «Золотому рыцарю» ситуация перед заключительным, роковым поединком между Айвенго и тамплиером Буагильбертом. Айвенго снова выходит на единоборство «неизвестным» рыцарем, но сподручник Буагильберта, Малвуазин (Malvoisin), требует, чтобы он «открыл» себя: «Неизвестный должен доказать, что он настоящий рыцарь, благородного происхождения. Орден не посылает своих воинов на поединки с безымянными людьми» (гл.43). Стр. 56-61 — описание красоты Христа не имеет параллелей в исторических романах Скотта, но «волну мистического восторга» перед «божественной» красотой испытывает и молодой Персеваль (Парсифаль) при своей самой первой встрече с пятью незнакомыми рыцарями в «Истории Грааля» (Li Contes del Graal) Кретьена де Труа: «И когда он увидел, как они появляются из леса, увидел их сверкающую кольчугу и яркий блеск их шлемов, их копья и щиты, которых он никода раньше не видал, узрел, как зеленый и алый цвет блестит при свете солнца, и цвет золотой и лазурный и

серебряный цвет, то он нашел это весьма прекрасным и благородным. Затем он сказал: «Эх! Благодарю Тебя, Господи Боже! Я вижу тут ангелов. Моя мать не солгала, когда она сказала мне, что ангелы — самые красивые из живых существ, кроме Бога, который всех прекрасней. А ведь тут я вижу самого Всевышнего Бога, ибо один из них, упаси меня Господи, в десять раз красивее, чем все другие. И моя мать сама говорила, что нужно верить в Бога, и обожать его, и преклоняться перед ним, и приносить ему всякую честь; так я буду поклоняться этому, да и всем ангелам заодно с ним». Он сразу бросился наземь, и стал читать все молитвы, которые он знал <...> Они [рыцари] остановились, и их вождь быстро подъехал к мальчугану и сказал: «Не бойся, юноша!» — «Я не боюсь, во имя Спасителя, в Которого я верую», ответил юноша. «Вы — Бог?». — «Нет, во истину». «Кто же Вы тогда?» — «Я — рыцарь». «Я никода раньше не встречался с рыцарем», сказал мальчуган, «и не видел рыцаря, и не слыхал, чтобы о нем говорили: но Вы — красивее Бога! Чтобы я был, как Вы, таким сияющим и прекрасно сложенным»» (ст. 127-181). Вернувшись домой к матери, мальчик снова утверждает, что он увидел существа, более красивые, чем Бог и его ангелы (ст. 361-369). Стр. 60-61 — центральный образ Иисуса-рыцаря порождает в стилизации Гумилева сопуствующую ему (несколько рискованную с православной точки зрения) образную систему, соответствующую куртуазным правилам: вслед за «герольдом-Иоанном» появляются св. Мария Магдалина и Богородица, увиденные автором как «прекрасные дамы» Золотого рыцаря. Согласно турнирным правилам дамы играли важную роль в состязании, которое, по мысли основоположника турниров Готфрида де Прелье, как раз и создавался для возбуждения в рыцарях «чувства чести и уважения к дамам» (см.: Эницклопедический словарь. Т. 67. СПб., 1902. С. 213). Дамам рыцари посвящали свои поединки и последние удары. Перед ристалищем дамы находились в специальных ложах, имели право, если поединок выходил за рамки состязания, по просьбе герольдов, остановить его. Они же участвовали в обсуждении вопроса о том, кто из рыцарей достоин высшей награды. Рыцари выступали на турнире, как правило, украшенные каким-нибудь значком, врученным дамой, провожавшей его в бой; если этот значок падал во время схватки, дама бросала на арену новый. После победы, перед пиром, дамы помогали рыцарю снять латы — это считалось особой честью. Стр. 63-66 — об образе «островов совершенного счастья» см. комментарии к рассказу «Путешествие в страну эфира» (№ 15 наст. тома). Стр. 69-78 — условия турниров бывали разные, но самым популярным видом были конные ристалища — единоборство двух верховых рыцарей на копьях, целью которого было либо выбить противника из седла или (полная победа) сбросить его с коня. Правилами турнира запрещалось сражаться вне очереди, наносить раны лошади противника, наносить удары иначе как в лицо или в грудь, продолжать бой после того, как противник снял забрало и выступать нескольким против одного одновременно. Как видно из текста, поединок с Золотым рыцарем велся по самым строгим канонам турнирного искусства. Стр. 71 — говорить о «дворе» Ричарда Львиное Сердце можно лишь условно, ибо почти все время своего владычества Ричард провел в постоянных разъездах; речь может

идти скорее о его постоянной «боевой свите». Эпитет «веселый» (который повторяется Гумилевым в «Дочерях Каина») — достаточно непривычен в «скоттовском» контексте в применении к королю Ричарду (который, как и показывает романист, имел сложный характер и отличался скорее свирепостью и непостоянством, чем веселым нравом). В некотором смысле, этот эпитет можно считать переносным: в «Талисмане» и «Айвенго» В. Скотт многократно говорит о «веселой Англии», «веселых англичанах» (прежде всего, в отношении «веселых молодцев» Робина Гуда). «За Святого Георгия и веселую Англию!» — является в обоих романах боевым кличем саксов. Однако, в последних главах «Айвенго», сам Ричард также заметно «расслабляется», пьет, поет и веселится в простой компании того же Локсли-Робина Гуда, выказывая в этом кругу «веселость, добрый нрав, и расположение к людям всех сословий» (гл. 41). В этот момент передышки Скотт однажды употребляет словосочетание «веселый король» (не упоминая имени). Впрочем, употребление этого эпитета Гумилевым возможно и без оглядки на романы-источники, ибо молодые годы (до коронации) Ричард провел в Провансе, где много общался с трубадурами и сам сочинял стихи и песни. Для Гумилева с его постоянным интересом к синтезу поэзии и власти (в самых разных комбинациях в разные годы жизни) поэтические «грехи молодости» Ричарда значили, конечно, много больше, нежели для достаточно «трезвомыслящего» (несмотря на его романтизм) Скотта. Стр. 77-78 — ср. мнение Айвенго в споре с норманом Буагильбертом, о том, что «английское рыцарство не знает себе равных среди всех, кто сражался мечом в защиту Святой Земли», и что первый среди англичан по почести и доблести «был английский король храбрый Ричард» (гл. 5). Стр. 79-80 — ср. в «Айвенго»: принц Джон дает «ритуальный» пир после каждого дня великого двухдневного турнира в Ашби. Впрочем, этот обычай распространялся на все европейские турниры, которые устраивались только по велению владык и только в ознаменовании каких-либо значительных событий; турниры включали в свою «программу» значительное количество сопуствующих светских «мероприятий», ибо в город, близ которого проводился турнир съезжалось всегда большое количество знати. На пиру после дня состязаний самое почетное место предоставлялось победителю (или победителям). Стр. 80-84 — чудеса, происходящие во время пира имеют основание в ветхозаветной истории: иссечение Моисеем жезлом воды из скалы в пустыне во время исхода евреев из Египта (Исх. 17. 5-6) и расцветший жезл Ааронов, указавший на его властное преемство над Израилем (Числ. 17. 8). Стр. 85-86 — имена победителей турниров заносились в особые списки, а песни, сложенные менестрелями об их подвигах были высшей наградой, ибо обеспечивали им славу в потомстве. Стр. 91 — «Образ «золотого победителя», легко и весело пирующего с рыцарями в ставшей нестрашной пустыне... восходит к евангелию, где свет личности Христа... — свет не только духовный, но и «эстетический», поскольку земное, человеческое воплощение Господа прекрасно и радостно: «Пришел Сын Человеческий, ест и пьет; и говорят: вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам» (Мф. 11. 16-19). Христос выступает на страницах евангелия как строгий и требовательный учитель, предъявля-

ющий высочайшие требования к своим ученикам, Христос говорит о «мече», который Он принес в мир, Он — царь, величие Которого несоизмеримо с величием кесаря — но Он же исцеляет больных, играет с детьми, превращает воду в вино в нищем доме во время брака в Кане Галилейской. Это — одна из величайших «эстетических» тайн евангелия, тайна Красоты в Истине: «Все предано Мне Отцом Моим, и никто не знает Сына, кроме Отца; и Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть. Приидите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас; возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой и душам вашим; ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко» (Мф. 11. 27-30)» (Зобнин Ю.В. Странник духа (о судьбе и творчестве Н.С.Гумилева) // Русский путь. С. 34). Мотив «пира в раю» существует и в «Айвенго», правда этот образ «травестирован», ибо присутствует в речи шута, рассуждающего на тризне Ательстана о том, что покойник «пирует в раю и несомненно делает честь пиршеству» (гл. 32). Стр. 95-96 — ср. со ст-нием № 92 (IV). Стр. 106 — образ мудрого арабского медика-ученого, к которому обращается король Ричард для истолкования смерти рыцарей, имеет отчетливую параллель в «Талисмане» В.Скотта, в котором сам Саладин проникает в стан крестоносцев под видом арабского врача, обладающего необычайными знаниями. Несмотря на враждебность к «неверующему» со стороны приближенных христианского короля, он получает доступ к Ричарду I, и заслуживает его глубокое доверие и особую благосклонность, искусно излечив его (с помощью таинственного «талисмана») от смертельно опасного недуга (гл. 8-11). Стр. 108-110 — ср. слова Буагильберта перед схваткой с Айвенго: «Посмотри на солнце в последний раз, ибо сегодня ты будешь спать в раю» (гл. 8).

6. Весна. 1908. № 3.

ТП -- СС IV -- ТП 1990 -- ЗС -- Проза 1990 -- СС IV (Р-т) -- Соч II -- СС 2000 -- ТП 2000 -- АО -- Проза поэта; Мистика серебряного века; Кодры. 1989. № 4.

Дат.: март — не позднее августа 1908 г. — по письму к Брюсову (см.: ЛН. С. 472) и времени публикации.

В письме из Парижа от 7 марта 1908 г. (н.ст.), Гумилев сообщил Брюсову, что он пишет «философско-поэтический диалог под названием «Дочери Каина», смесь Платона с Флобером, и он угрожает затянуться». «Когда кончу, — продолжил он, — непременно пошлю Вам» (ЛН. С. 472). Окончательный текст рассказа мало соответствует такому описанию (см. ниже), и можно поэтому предположить, что работа над ним действительно «затянулась» — тем более, что, возможно, к марту 1908 г. «Дочери Каина» и так уже достаточно долго «вынашивались»: не исключено, что первоначальный замысел рассказа восходит к началу предыдущего, 1907 г., когда чтение «старинных французских хроник и рыцарских романов» подвигнуло Гумилева к идее создания «модернизированной повести в стиле тринадцатого или четырнадцатого века». По-видимому, более или менее непосредственным плодом этого

был рассказ «Золотой рыцарь», с которым «Дочери Каина» генетически связаны не только тематически, но по общему источнику и в другом «круге чтения» (романы Вальтера Скотта см. ниже и в комментарии к № 5). Об обещанной присылке «Дочерей Каина» Брюсову ничего не известно, и дата завершения рассказа не подлежит точному фиксированию. Он появился в печати в третьем номере «нового» журнала, «Весна» (помеченном августом 1908 г.).

«Дочери Каина» — один из наиболее загадочных и, вместе с тем, тематически «ключевых» рассказов раннего Гумилева. В его узких пределах сосредоточены главные линии гумилевской прозы этих лет: та религиозная, эстетическая и любовная тематика, которая в других произведениях, как правило, трактуется раздельно. Сведены вместе центральные для других рассказов вопросы о природе красоты и греховности; соотношении этики и эстетики, земного и небесного; истоках любви и власти сексуального влечения; значении веры, причинах и последствиях ее потери. Одновременно затрагиваются и такие значимые для Гумилева-прозаика темы, как рыцарство (в совершенно другом освещении, нежели в «Золотом рыцаре»), «утро мира» (ср. «Гибели обреченных» и, отчасти, «Принцессу Зару»), происхождение искусства (ср. «музыкальную» тему «Скрипки Страдивариуса»), поиски «ослепительного счастья» («сакрального» времени и пространства), тема путешествия как инициационного мифа (об этом см.: Обухова О. Ранняя проза Гумилева в свете поэтики акмеизма // Гумилевские чтения 1996. С. 120-125).

В первой, по преимуществу описательной западной статье, посвященной гумилевской прозе, Э. Сампсон отметил, что «Дочери Каина» основаны на «тонкой коллизии земной любви и Богом внушенной женской непорочности — конфликте чувственного и духовного, являющемся одним из основных стержней [гумилевской] лирики» (Sampson E.D. The Prose Fiction of Nikolaj Gumilev // Berkeley. P.273). Однако, такой тонкий знаток гумилевского творчества, как Р.Л. Щербаков, по-видимому, не был склонен приписывать сколько-нибудь существенное значение рассказу, который он прежде всего рассматривал, как модернистскую стилизацию: сюжет, как он констатировал, был построен в духе апокрифических легенд о Каине, «но акцент в нем сделан не на мистической стороне мифов, не на проникновении в психологию действующих лиц, а на экзотике декораций, на эстетике описаний» (Соч. II. С. 429).

Более пространный анализ рассказа дал М. Баскер, который усмотрел в нем «наличие большой фантазии», особую «глубину мысли... художественно оправданные «неожиданность» и таинственность»: «Рассказ «Дочери Каина» показывает, что избранники и мудрецы — резко отличающиеся от прочих детей Адама, Каин и все те, кто впоследствии умышленно приезжает поклоняться его дочерям, — не способны жить в беспечности и веселье, ибо им открывается некий конечный предел несовместимости красоты и непорочности в условиях земного существования, ужасающее душу осознание недосягаемости для наивысшей человеческой мудрости той «внежизненно» чистой, непревзойденной красоты, сама возможность которой лишь только такой мудростью и постигается. Эта красота и прискорбно «недовоплощаема», ибо в воплощении она была бы не защищена от греха и не могла бы уцелеть.

Земному человеку-мудрецу не дано не только овладеть ею, но даже неподвижно-сосредоточенно созерцать ее в неизменности; и от этого его жизнь лишается смысла. Пожалуй, <...> «богоборческое» осознание исходящей из этого высшей несправедливости мироустройства также усугубляется смутным воспоминанием-ощущением «естественного», изначального родства не только красоты и безгрешности, но и (безгрешной) красоты и мудрости» (именно в этой последней связи исследователь воспринимает тему Каинова кровосмешения) (Баскер II. С. 153, 150-152).

Баскер сопоставляет с «Принцессой Зарой» изображение окончательной участи героя рассказа, «которому в сущности все тот же урок о несовместимости красоты и непорочности раскрывается в гораздо более обобщенной, далеко-идущей философской форме, чем воину с озера Чад». В отличие от африканского воина, «ему не дано сравнительно легкое, внезапное избавление (т.е. самоубийство — *Ред.*), хотя ни перспектива смерти, ни любая, даже самая страшная опасность его больше не трогает, и физическая борьба его не привлекает. <...> Ранее стремившись к «освобождению гроба Господня», он сам попадает в духовный плен у гроба наказуемого «мстительным Богом» великого грешника Каина; и <...> невольно приобретенная мудрость приводит его через отчаянное проклятие себя и всего мира к полному внутреннему «окаменению». Хоть он и должен вернуться в мир (отосланный от таинственного грота в жестоко ироническом обороте темы о «благосклонности дам»), он сам становится «не живой и не мертвый», чуждается всего и всех, <...> относится с совершеннейшим равнодушием к добру и злу, <...> и, навсегда отвернувшись от возможности искупления, умирает без причастия. Этим кончается одно из наиболее мрачных <...> из всех произведений Гумилева» (Баскер II. С. 152-153).

Новое поколение гумилевоведов тоже было склонно рассматривать «Дочерей Каина» на фоне других вещей Гумилева. С.Н. Колосову, обратившую внимание на демоническую тематику рассказа, интересовала и сама «контекстуальная динамика» гумилевского творчества: «...фабула об искушении художника дьяволом является <...> событийным стержнем новеллы «Дочерей Каина» (1907), ст-ний «Волшебная скрипка» (1908), «Потомки Каина» (1909). Однако, если в «Балладе» цикла «Романтических цветов» и в новелле «Скрипка Страдивариуса» фабула восстанавливается полностью, то в других произведениях за основу берется и разрабатывается лишь ее часть, а остальной материал оказывается в подтексте и звучит как своеобразный аккомпанемент, создаваемый абсолютно достоверно повторяемыми деталями. Сюжет не просто повторяется, а, привнося новые детали, расширяется и образует новые ассоциативные ряды» (Колосова. С. 11-12). Д. Грачева акцентировала внимание скорее на человеческом, чем на демоническом, и подходила к рассказу с точки зрения не искусства, а «власти желания над человеком» (см. ниже, в построчном комментарии). В таком контексте, она усматривает в «Дочерях Каина» своего рода инверсию «Радостей земной любви» и предвосхищение одного из постулатов акмеизма: «акцент здесь поставлен на размышлении не о земной любви, а о неземной, на том, к чему приводит стремление приблизить *непознаваемое*. Дочери Каина — идеал красоты (не случайно их семеро, но они едины, и они порождение «отца красоты и греха»).

И сам Каин, и сэр Джемс (люди, принадлежащие к разным историческим мирам), соприкасаясь с дочерьми Каина, теряют покой навсегда, и каждый становится «не живым и не мертвым». Воплощающие идеал «отгорожены» от мира, вынесены в «синкретическое» время, так как «тайна должна оставаться тайной», идеал должен быть недосягаем. <...> Сама природа непознаваемого оберегает себя и губит того, кто к нему прикасается, стремясь разрушить, сделать доступным.

Любовь к непознаваемому, неземному, лишает покоя и после смерти (сэр Джемс умирает, «не захотев причаститься, зная, что ни в каких мирах не найти ему забвение семи печальных дев»). Земная любовь делает человека и его чувство бессмертным (уход в другой мир Кавальканти ничего не меняет в его отношении к Примавере, потому что такая любовь оказывается сильнее смерти). Таким образом, «Дочери Каина» можно прочитывать как художественную реализацию одного из важнейших постулатов гумилевского манифеста: «Вся красота, все священное значение звезд в том, что они бесконечно далеки от земли...»» (Грачева Д. Тема любви в рассказах Н.Гумилева «Радости земной любви», «Дочери Каина», «Принцесса Зара» //_Русская филология. 15. Сборник работ молодых филологов. Тарту: Tartu Ulikooli Kirjastus, 2004. С. 91-92).

Сочетание известных интерпретационных трудностей с очевидной разнордностью включенного в рассказ материала (история рыцаря-крестоносца, изображение первобытного мира природы, легенда о Каине и его дочерях), естественным образом побуждало исследователей к попыткам идентификации его возможных литературных источников и жанровой принадлежности (о библейских-апокрифических источнинах см. ниже). Однако, эта задача значительно осложняется тем, что Гумилев, по всей видимости, в данном случае особенно своеобразно-оригинально переработал «заимствованное». На настоящий момент эта «работа по источникам» далеко не завершена.

По мнению М. Баскера, некий «обший литературный фон» для создания «Дочерей Каина» предоставляли романы Вальтера Скотта «Талисман» и (в меньшей степени) «Айвенго», выполнявшие ту же функцию в отношении «Золотого рыцаря». Влияние Скотта проглядывается, во-первых, в некоторых деталях изображения второстепенных или эпизодических персонажей: Ричарда Львиное Сердце, «алчного» тамплиера, может быть, и принца Иоанна (см. ниже в построчном комментарии). «В более определенном плане, — отмечает исследователь, — в третьей главе «Талисмана» содержится длительное описание путешествия главного героя, молодого доблестного крестоносца из рядов короля Ричарда, «среди скал и пропастей, каменистых и опасных ущелий», где-то в Иордании. Топография и атмосфера этого путешествия, в котором герой Скотта, шотландский рыцарь сэр Кеннэт, сопровождается сарацином, чтобы проведать таинственного отшельника, весьма близки к повествованию Гумилева об одиноком вечернем походе сэра Джемса по узкой тропинке «над пропастями» в «хмурые», скалистые, обволакивающиеся «сырым туманом» горы Ливана. У Скотта: «Острые, скалистые выступы начали возвышаться над ними, и вскоре глубокие расщелины и подъемы, устращающие по своей высоте и труднопроходимые из-

за узости тропинок, поставили перед путешественниками препятствия совершенно иного рода, чем те, которые им так недавно приходилось преодолевать. Темные пещеры и пропасти между скал — те гроты, которые так часто упоминаются в Священных Писаниях, — угрожающе зияли с обеих сторон, <...> и шотландский рыцарь был осведомлен эмиром о том, что они часто являются прибежищем хищных зверей...» Подобным образом, гумилевскому сэру Джемсу «вспоминались страшные рассказы о чудовищах, еще населяющих эти загадочные горы».

У главных героев обоих произведений постепенно усиливается ощущение того, что Скотт называет mysterious dread («таинственным ужасом»), а Гумилев — «темным, слепым ужасом». Крестоносец Скотта осознает, что он находится в той пустыне, где искушался Христос, и, в свою очередь, заявляет своему путнику, что «эти скалы, эти пещеры с их мрачными арками, ведущие как будто бы к центральной бездне, — считаются излюбленным местом обитания Сатаны и его ангелов». И поэтому совсем не удивительно, что появление отшельника в тускнеющем свете, «дикого и волосатого», напоминает ему если не совсем пещерного медведя, встающего, словно живой утес, <...> то, по крайней мере, некоего инфернального духа.

Однако, сопровождающий его сарацин гораздо меньше проникнут трепетным страхом. Подобно сэру Джемсу в самом начале пути, <...> он весело поет — и повествует о своем собственном происхождении от Темного Духа. И здесь включается рассказ о семи девах, «семи сестрах, таких красивых, что они казались семью гуриями». Эти сестры, которые были взяты в плен и приведены как жертвоприношения во дворец злого тирана, являются дочерьми мудреца, поклонника «того, кто именуется Источником Зла», не имевшего «никаких сокровищ, помимо этих красавиц и своей мудрости»: «Старшей еще не миновало двадцати лет, младшей еще едва ли исполнилось тринадцать; и так они были похожи друг на друга, что их нельзя было различить, как только по росту, — они постепенно возвышались одна над другой, подобно подъему, ведущему к вратам рая. И такими прекрасными были эти семь сестер, стоящие во мраке темного свода, облаченные лишь в длинном, легком одеянии из белого шелка, что их очарование тронуло сердца бессмертных». Семь безмолвных, облаченных в белое фигур молодых и «странно прекрасных» дочерей <...> мудреца и богоотступника Каина, стоящих неподвижно на страже вокруг мраморной гробницы <...> и безнадежно вспоминающих о «навеки покинутом счастьи земли», тронули (в рассказе Гумилева — *Ред.*) сердца если не «бессмертных» то полубогов — Зороастра, Орфея, и дивно могучего юноши — погружая их в глубочайшее отчаяние <...>.

Вероятность того, что «Талисман» Скотта оказал непосредственное влияние на замысел гумилевского рассказа <...> усиливается еще тем, что в обиталище отшельника у Скотта (которое, как и у Гумилева, неоднократно называется «гротом») перед сэром Кеннэтом предстает как будто бы мистическое видение: на этот раз не семи женских фигур, а двух групп из шести — первая в черном, вторая в белом (гл. 4). Как и у дочерей Каина, глаза этих прекрасных существ остаются опущенными в суровом созерцании; но, тем не менее, одной из дев, одетых в белое, удается, подобно

гумилевской Лие, намекнуть о каком-то особом благорасположении. В обоих произведениях, рыцарь преданно преклоняется перед непостижимым женским существом (или существами), и его душа охватывается мраком по мере того как они овладевают его мыслями» (Баскер II. С. 146-148).

Значительный вклад в работу по источникам «Дочерей Каина» косвенно внесла Е.Ю. Раскина, указавшая в своей статье о «Скрипке Страдивариусе» на значение для Гумилева «Истории о Царице Утра и о Сулаймане, повелителе духов» Жерара де Нерваля. В одном из центральных эпизодов этой новеллы (цикла рассказов) Хирам-Адонирам, архитектор Соломона и строитель Храма, будучи не в силах претворить в действительность весь свой грандиознейший творческий замысел и посорившийся из-за этого с Соломоном, видит сон, в котором ему открывается его наследие и истинная «миссия» на земле. По пересказу Е.Ю.Раскиной, «ему является Тувал-Каин, один из сыновей Каина, который (как и Люцифер во сне Паоло Белличини в «Скрипке Стадивариуса») называет себя художником и отцом всего прекрасного. <Тувал->Каин уводит Хирама за собой по темным лабиринтам, к подземному центру земли, где живет племя титанов, потомков Каина. Сам Каин предстает перед Хирамом как печальный и ослепительно красивый, изнуренный скорбью старец». Тувал-Каин называет Хирама своим преемником, — избранником, отличным от основной расы человечества, и тот возвращается на землю с новыми знаниями, чтобы продолжить свое «огненное» строительство. (см.: Раскина. С. 172). В новелле Ж. де Нерваля не говорится отдельно о «дочерях» Каина (хотя большое внимание уделено «детям» патриарха, которые наказаны своим одиночеством, и главным грехом которых, в их презрении к людям и противлении Богу, является гордыня); к тому же, Раскина сосредоточивается всецело на сопоставлении «Истории о Царице Утра...» со «Скрипкой Страдивариуса» (см. № 10 и комментарии к нему). Однако, как, например, это происходило и с романами В. Скотта, и с романами Р. Хаггарда в творчестве Гумилева, значение одного и того же «претекста» оказывается актуальным для двух или более его рассказов, а созданные таким образом интертекстуальные связи безусловно способствуют общей семантической «нагруженности» его прозы. С этой точки зрения, представляется весьма вероятным, чтобы сюжет «Истории о Царице Утра...» сыграл свою роль и в «творческой истории» «Дочерей Каина».

Некоторое исходное значение для гумилевского рассказа о Каине также могли иметь великолепно-безжалостное ст-ние Бодлера «Каин и Авель», которое Гумилев с изумительной силой перевел в по-революционные годы (см. БП. С. 476-477), и мистерия Байрона «Каин» (см. ниже). Как будет указано в построчных комментариях, в тексте рассказа улавливаются переклички и с весьма пестрым рядом других литературных и, шире, культурных текстов: от произведений Ницше или первой (и самой знаменитой) французской «Истории Грааля» Кретьена Де Труа (также проглядывающей в «Золотом рыцаре»: см. № 5, стр. 56-61 и комментарии), — до романа Райдера Хаггарда «Она» или «Тайной Доктрины» Е.П. Блаватской. Здесь, однако, прежде чем перейти на рассмотрение библейских и не-литературных источников, относящихся к образу Каина, уместно коротко останавливаться лишь на воп-

росе о возможном жанровом определении гумилевского рассказа. К критическим размышлениям по этому поводу подводят слова автора о намерении построить «философско-поэтический диалог <...> смесь Платона с Флобером» (хотя не исключено, что эту характеристику следует воспринимать скорее лишь эмблематически, как указание на опыт сочетания философии с экзотикой). С Платоном, как будто бы, ничего общего в «Дочерях Каина» не намечается, однако, по мнению Р.Д. Тименчика, здесь «заметно влияние повести Г.Флобера «Легенда о святом Юлиане Милостивом»» (ЛН. С. 472). На уровне сюжета, по мнению М. Баскера, «лишь окончательная судьба того дивно могучего юноши, который, «...среди прокаженных влечет остаток своих дней», несет в себе отпечаток добровольного подвига героя «Легенды о св. Юлиане Милостивом»» (Баскер II. С. 144), но следует добавить, что С.Н. Колосова обращает внимание и на большое значение для Гумилева самого понятия «легенды», — «ее сюжетообразующей функции, формы, яркой образности, «сгущенности», семантики». (Именно в силу этого, утверждает Колосова, «разные по жанровой структуре произведения, которые, однако, имеют одну сюжетную основу, <...> представляют собой как бы единое художественное целое, например <...> ст-ние «Волшебная скрипка» и новелла «Скрипка Стадивариуса», ст-ние «Потомки Каина» и новелла «Дочери Каина» (Колосова. С. 13-14)). В этом отношении, по-видимому, возможное влияние «Легенды» Г.Флобера подлежит более подробному рассмотрению.

Другой подход к жанровому определению «Дочерей Каина» позволяет наметить несомненная связь рассказа с произведениями Эдгара По. Как установила И.Г. Кравцова, Анна Ахматова еще в 1920-ые гг. указала на перекличку «Дочерей Каина» со «Сказкой извилистых гор» Э.А. По, заключавшуюся прежде всего в сходных описаниях походов в унылые, скалистые горы (см.: Кравцова И.Г. Н. Гумилев и Эдгар По: Сопоставительная заметка Анны Ахматовой. // Н. Гумилев и Русский Парнас. С. 51). Но помимо отголосков этого и других произведений американского писателя (см. ниже), в критической литературе о «Дочерях Каина» указывалось и на общее сходсво в развертывании гумилевского повествования с «архисюжетом» По: «о путешествии (физическом или умственном) куда-то вдаль от реального мира, заканчивающемся ослепляющим видением красоты, которая одновременно является откровением и пагубным разрушением (разложением, безумием, смертью)». М. Баскер приводит в этой связи и предположение К.Д. Бальмонта о том, что По создал уникальный литературный жанр — «философской сказки» — для воплощения своих своеобразных прозрений: «Никто не знал до <Э. По>, — пишет Бальмонт — что сказки можно соединить с философией, он слил в органически-цельное единство художественные настроения и логические результаты высших умозрений, <...> и создал новую литературную форму, философские сказки, гипнотизирующие одновременно и наше чувство, и наш ум. Метко определив, что происхождение поэзии кроется в жажде более безумной красоты, чем та, которую нам может дать земля, Эдгар По стремился утолить эту жажду созданием неземных образов» (Бальмонт К.Д. Гений открытия // Вступительная статья к кн.: По Э.А.

Собрание сочинений. Т. I. М., 1901)). «Может быть, — предполагает исследователь, — и Гумилев в «Дочерях Каина» <...> стремился именно к «слиянию» своего разнородного материала в цельную форму не «философско-поэтического диалога» <...> а, по определению Бальмонта, «философской сказки» в духе Эдгара По» (Баскер II. С. 150-151).

Бесспорный и самый главный «первоисточник» гумилевского рассказа — краткую, во многом трудную для понимания библейскую историю о Каине и Авеле (Быт. 4.1-17) — приходится рассмотреть в совокупности с великим множеством ее различных толкований и трактовок.

В Библейском тексте сыновья Адама и Евы, «Авель пастырь овец, а Каин ... земледелец», оба приносили Господу жертвы: Каин — от первых плодов земли, Авель — от первородных стада своего. «И призрел Господь на Авеля и на дар его; а на Каина и на дар его не призрел. Каин сильно огорчился, и поникло лице его» (Быт. 4.5). Позвав Авеля в поля, Каин его убил (согласно некоторым позднейшим версиям — камнем: ср. Мифологический словарь. С. 269-270). Тогда Господь проклял Каина «от земли» и прогнал его от себя, обрекав его стать «изгнанником и скитальцем на земле». (Не исключено, что в словах Каина: «Вот, Ты теперь сгоняешь меня с лица земли, и от лица Твоего я сокроюсь» (Быт. 4.14) содержится намек на то пребывание под землей, в пещерах, которое впоследствии встречается не только в рассказе Гумилева). Чтобы никто из встретившихся с Каином не убил его, Бог отметил его особым знаком. Каин «поселился в земле Нод, на восток от Едема» (Быт. 4.16), и «построил он город; и назвал город по имени сына своего: Енох» (Быт. 4.17).

В христианской богословской традиции предполагается, что жертвоприношение Каина было не принято Богом оттого, что оно оказалось «недолжным»: Каин, в отличие от Авеля, принес свою жертву без надлежащего старания и разбора. Каин, разъясняет св. Августин, принес Богу часть своего добра, но не принес Ему своего сердца (De Civitate Dei, XV. 7): в таком же духе истолковывают библейский текст такие святоотеческие мыслители, как преподобный Ефрем Сирин и Иоанн Златоуст. Подытоживая «церковное» восприятие Каина в целях анализа другого, близко связанного с «Дочерями Каина» «ветхозаветного» произведения Гумилева, — ст-ния «Потомки Каина», — Ю.В.Зобнин писал: «Каин был слишком увлечен переживаниями «земной» жизни, настолько увлечен, что в конце концов перестал различать иерархию ценностей <...> перенеся большую часть внимания с «небесного» на «земное». Каин «не поднимал лица» к небу даже и «делая доброе» (ср.: Быт. 4.7 — *Ред.*), не в силах оторваться от «земных» удовольствий. [Он] окончательно утратил интерес к общению с Богом, предпочитая заниматься тем, что составляло злобу его дня (любопытно, что само имя Каина связывается с глаголом qвпв — «покупать, приобретать», так что образ Каина может быть дополнен весьма существенной чертой — это первый «приобретатель» в истории человечества <...>). Вот в этом-то чрезмерном жизнелюбии и заключается причина порочности первенца Адама, а братоубийство является уже частным проявлением ее» (Зобнин. С. 163; добавим,

что у Гумилева «частное проявление» братоубийства — так же несущественно для «Дочерей Каина», как и для ст-ния «Потомки Каина»).

С такой же позиции религиозными мыслителями воспринимается постройка Каином первого города и библейское перечисление его потомства и рода их занятий (в седьмом поколении упоминаются Иавал, «отец всех живущих в шатрах со стадами»; Иувал, «отец всех играющих на гуслях и свирели»; и Тувалкаин, «который был ковачом всех орудий из меда и железа» (Быт. 4. 20-22)). Иными словами, Каин и его «жизнелюбивые» потомки были основателями человеческой цивилизации, ее материальной и социальной культуры: «основоположниками ремесел и искусств, создавших на земле иную, «альтернативную» райской человеческую жизнь» (Зобнин. С. 163). И хотя в основе этой деятельности лежит все тот же грех — человек забывает о Боге, отворачивается от него во имя земных «благ» и своих собственных интересов, но это влечет за собой все другие пороки. Для Филона, например, «город» Каина воспринимался метафорически, как обозначение того, что Каин — воплощение себялюбия — «построил доктрину беззакония, дерзости, непомерного стремления к наслаждению» («De Posteritate», 15; см. также «De Sacrificiis Abelis et Caini»; «Quod Deterius Potiori Insidiari Soleat», 10). Для многих комментаторов, изобретение Иувала — музыка — представляла собой властную «соблазнительную» силу, и поэтому была сатанинского (не-божественного) происхождения; дьявольские ассоциации также исконно носило связанное с Тувалкаином кузнечное дело. Последовательным, хоть и крайним развитием подобных трактовок является раввинское учение о том, что: «Семь поколений Каина, как выводки Сатаны, представляют собой прообразы бунтовщиков. <...> От Каина происходили все творящие зло, восставшие против Бога, извращения и развращенность которых явились причиной Потопа; они в бесстыдстве совершали всякие омерзения и (что особенно пртмечательно в контексте «Дочерей Каина» — *Ред.*) кровосмесительные преступления (The Jewish Encyclopaedia. New York, 1901-1906. Vol. 1. Pp. 493-494).

Если буквально интерпретировать библейскую историю, то в Потопе, ниспосланном Богом вего раскаянии, что «создал человека на земле» (Быт. 6. 6), погиб весь род Каина. Уцелели только Ной и его племя, — а Ной, «человек праведный и непорочный в роде своем» (Быт. 6.9), был потомком не Каина а Сифа — сына, дарованного Богом Еве «вместо Авеля, которого убил Каин» (Быт. 4.25) и, соответственно, прародителя всего послепотопного человечества. Однако, по многим апокрифическим и позднейшим литературным версиям, так или иначе выжили некоторые потомки Каина (а иногда и сам Каин): то в уединении от мира, то — как, пожалуй, и в гумилевских «Потомках Каина» — распространяясь по всей земле, снова вытесняя с нее праведников (ср.: Зобнин. С. 163-168).

Для оценки гумилевского рассказа не менее важно, что существует и противоположное отношение к Каину-земледельцу, имевшее свои корни в примитивной традиции, согласно которой «всякое ремесло и искусство <...> связывались с магией. У древних евреев к этому кругу ремесла — искусства магии — относилось, по-видимому, и земледелие» (Мифологический словарь. С. 269). С этой точки зрения,

Каин был и «отцом магии» и — шире — источником всех сокровенных знаний и тайных эзотерических наук: воплощением наивысшей человеческой мудрости.

Яркий пример такой «переоценки ценностей» представляет собой учение возникшей во II веке н.э. гностической антиномистской секты каинитов (являвшейся своего рода развитием секты офитов). Они считали Каина одним из высших эонов: созданием духа более высокого, чем «бог-демиург», «злой творец земли», чей мир был создан так, чтобы препятствовать воссоединению божественного в человеке с совершенным, но непознаваемым Богом. Каиниты поклонялись Каину как носителю эзотерических, спасательных знаний (гносиса), несправедливо караемому ревнивым, иррациональным Творцом. Отрицая при этом традиционную мораль и законность, они отвергали некоторые основополагающие христианские догматы — в том числе о воскресении мертвых. По описанию св. Иринея Лионского, «спасение по их мнению невозможно до тех пор, пока человек лично не испробовал всего. И с каждым греховным и непотребным делом связан некий ангел, который слышит их слова и поощряет к совершению наглого и нечистого акта. Значимость каждого свершенного действа они скрепляют обращением к ангелу: «О, ангел! Я завершаю твою работу. Я довожу ее до конца». Согласно их доктрине, совершенным гносисом является бесстрашное исполнение таких действий, которые не позволительно даже упоминать» (Irenaeus, Adv. Haer. I 31, 2) А по более простому наблюдению Тертуллиана, каиниты «...славили Каина за ту силу, которая заключена в нем. Напротив, Авель был произведен низшей силой. Те, кто утверждал это, славили также и Иуду предателя, поскольку он принес многие блага человеческой расе... «Иуда, — говорят они, — заметив, что Христос собирался отказаться от истины, предал его, чтобы истина не была низвергнута»». (Tertullian, Adv. Omn. Haer. 2; у каинитов было свое собственное «Евангелие от Иуды»).

Сходные взгляды встречаются, начиная с эпохи романтизма, в хорошо знакомой Гумилеву западной оккультной и литературной традиции. Так, например, французский оккультист Элифас Леви считал «город» Каина Енох «иероглифической книгой», первоисточником «всех тайн и всех знаний», приравнивал Еноха (сына) к Гермесу Трисмегисту, основателю оккультных наук, и утверждал в этой связи, что «Библия дает человеку два имени, первое — Адам, означающее: извлеченный из земли, человек земли; второе — Енос, или Енох, означающее человека божественного, возвысившегося до Бога» (Levi E. Dogme et Rituel de la Haute Magie (1886): цит. по: Ранний Гумилев. С. 137; 152-153). Учение об отдельной, верховной человеческой расе «каинитов» содержится и в масонской легенде, отображаемой в вышеупомянутой «Истории о Царице Утра и о Сулаймане, повелителе духов» Жерара де Нерваля. Эзотерическое масонство разделяет человечество на сыновей Авеля (или Сифа), и сыновей Каина; а Каин, первенец Евы, как считается, родился от люциферианского духа Самаэля, зачавшего сына до его изгнания с небес Иеговой. Только после этого был создан Адам. Таким образом, Авель родился от человеческих родителей, а Каин являлся полубожественным сыном огня или огненного духа. Каиниты, содержащие в себе искру божественного, являются творчески одаренными

изобретателями. Они агрессивны, прогрессивны, обладают большой инициативой, но нетерпимы по отношению к любому ограничению или авторитету, будь то человеческому или божественному (см.: Heindel Max. Freemasonry and Catholicism. 8th edn. Oceanside, California, 1977. Pp. 18-21). Для «ортодоксального» масонства конец истории представляется воссоединением сыновей Каина и Авеля в царстве братской любви и мира. Однако, у Нерваля, как и у большинства романтиков, затрагивающих «каинитскую» тематику, ярко выражено как презрение к смиренно пассивным, довольным своей участью потомкам Авеля (или Сифа), так и открытая симпатия к мудрому, «непослушному», вечно к чему-то стремящемуся Каину, — по вышеприведенным словам Тертуллиана «за ту силу, которая заключена в нем». Богоборческая нота особенно подчеркнута в таких произведениях, как «Каин» Байрона, о непосредственном значении которого для Гумилева свидетельствует явная перекличка первых реплик Евы и Каина (в переводе И. Бунина 1905 г.: «Плод древа запрещенного созрел <...> / Что ж, змий не лгал! Дало же древо знанье; / Другое — жизнь дало бы. Жизнь есть благо, / И знание есть благо. Как же может / Быть злом добро?») с началом ст-ния «Потомки Каина» («Он не солгал нам, дух печально-строгий...» (№ 160 (I)). Некоторые более отдаленные отзвуки указывают на возможное влияние этой вещи и на «Дочерей Каина» (см. ниже). И все же не исключено, что молодой Гумилев в своем рассказе, так же, как и в «Потомках Каина», своебычно пересматривает подобную «богоборческую традицию» и, отчасти, отказывается от столь привлекательного (и привлекавшего его) «каинитского наследия».

При всей огромной литературе о Каине и его потомстве, сравнительно мало говорится о его дочерях. В Библии «дочери человеческие» (т.е. Каина) лаконично представлены соблазнительницами «сынов Божиих»: «тогда сыновья Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, и стали брать их в жёны себе...» (Быт. 6,2). В более расширенном толковании этого места апокрифическими книгами («Книга Адама», «Пещера сокровищ», «Евангелие Сифа») именно дочерям Каина (а не Каину, как у Гумилева, или Иувалу, как в Библии) приписывается изобретение музыкальных инструментов (ср. евр. qonв, «пение», араб. qajna, «певица»). Своей красотой, игрой на музыкальных инструментах и пением они соблазнили праведных сынов Сифа (т.е. «сынов Божиих», потомков второго «богоугодного» брата Каина), и те, спустившись с горы Хеврон, стали жить с ними, несмотря на то, что Сиф заклинал их «кровью праведного Авеля» не смешиваться с семенем Каина (ср.: Мифологический словарь. С. 269). Однако, гумилевские дочери Каина, при всей своей красоте, являются воплощением не «извращений и развращенности», а невинности.

В Библии также говорится, что результатом отношений между «сынами Божьими и дочерьми человеческими» было рождение гигантов (Быт. 6. 4). Некоторые истолкователи Священного Писания поэтому утверждали, что фраза «сыны Божии» обозначает не человеческое потомство Сифа, но либо ангелов, либо бесов, принявших плоть. Нередко добавляется, что именно согрешения порождаемых ими гигантов составили первую и главную причину Потопа.

В оккультной традиции образ Каина, как прародителя допотопных «исполинов» (или же, в других версиях, титанов) контаминировался в свою очередь с образом Атланта греческой мифологии, а дочерей Каина (которым «приписывается бракосочетание с Богами») с дочерьми Атланта (см.: Тайная Доктрина II (4). С. 970). В соответствии с «теософским» учением об антропогенизисе, атланты считались «первым потомством полу-божественного человека после разъединения полов»; они «высятся в тумане далекого прошлого в веках более древних, нежели доисторические, как прообраз, на основе которого был создан великий символ Каина» (Тайная Доктрина II (3). С. 342). Сам Каин, таким образом, относится к «обожествленным Людям Третьей Расы» («Пред-Адамитам»), представление о которой несомненно отображается в «доисторической» флоре и фауне гумилевского рассказа (см.: Тайная Доктрина II (3). С. 218; подробнее об этом см. комментарии к № 1); а его дочерей, как «дочерей Атланта», следует отождествить с Плеядами (см.: Тайная Доктрина II (4). С. 970). Плеяд, как известно, было семь — «семь сестер» (см. комментарии к № 5, стр. 34), причем семь — традиционная цифра, постоянно возникающая в легендах о Каине (см. выше о «семи поколениях» Каина; второй убийца, его потомок Ламех, сказал женам своим «я убил мужа в язву мне и отрока в рану мне. Если за Каина отмститися всемеро, то за Ламеха в семьдесят раз семеро» (Быт. 4. 23-24); согласно апокрифической книге Еноха (22.7) каждое столетие из уделенных Каину семисот лет жизни должно было привлечь на него новую кару, и т.д.). Данная «нумерологическая» традиция имеет своим явным источником библейский стих: «И сказал ему Господь: за то всякому, кто убьет Каина, отомстится всемеро» (Быт. 4.15); но она безусловно отображала распространенное в древности понятие цифры семь, как обозначения божественного совершенства и завершенности (по отношению к Каину, «отомщение всемеро» означало тотальность Божественного возмездия и т.д.; но ср. также оккультное учение о семи расах, и т.д.).

Стр. 1-2 — о Ричарде Львиное Сердце см. комментарии к рассказу «Золотой рыцарь» (№ 5 наст. тома); об эпитете «веселый» в применении к нему см. там же, комментарий к стр. 71; об эпитете «золотой» см. комментарий к названию этого рассказа, а также к «Радостям земной любви» (№ 4 наст. тома (стр. 168-185)). Стр. 2-3 — по наблюдению М. Баскера: «Такое скопление сил несоразмерно ни с исторической действительностью, ни с романами скрупулезного Скотта. Зато <...> король Артур в «Истории Грааля или Персевале» К. Де Труа изображается то в своем дворце в окружении «множества своих баронов, ста графов, ста герцогов, и ста королей», то в сопровождении трех тысяч благородных рыцарей; а камин в том замке, в котором герой впервые видит чашу Грааль, достаточно большой, чтобы вокруг него поместилось как раз «четыреста людей»: quatre cenz hommes <...>» (Баскер II. С. 148-149; см.: Chretien de Troyes. Li Contes del Graal. Vers 9167-9169, 3973, 3062-3064). Стр. 3-4 — в романах В.Скотта, пишет М. Баскер: «Ричард олицетворяет целую эпоху, «считавшую войну главным и наиболее достойным занятием человечества» и ставившую на второе место, сразу же после «веселой

и доблестной храбрости», женскую красоту и романтизированное понятие рыцарского служения прекрасной и верной даме. Определение Гумилевым главных целей похода Ричарда в Святую Землю <...> не только соответствует, таким образом, общему духу произведений Скотта, но отчасти подхватывает и своего рода ритуальную формулировку о гробе Господнем, встречающуюся, например, во второй главе «Айвенго» опять-таки в близком соседстве с темой о незаурядной красоте северных «невест»» (Баскер II. С. 145-146). Стр. 5-6 — на самом деле, военное искусство эпохи было не так развито, как предполагает Гумилев: во время Крестовых походов разведчики фактически не использовались, — что иногда и влекло за собой весьма пагубные последствия (см.: Belloc H. The Crusade. London, 1937. P. 78). Стр. 7 — Стоунгемптон — контаминация двух реально существующих английских фамилий: Stone, «камень» (ср. «окаменевшее сердце» героя, стр. 216) + часто встречающееся в других фамильных (и топонимических) сочетаниях окончание —Hampton (с первоначальным значением «маленький город», «городок»). Стр. 9-11 — в эпизоде «игры», прерванной призывом к боевому действию, М. Баскер увидел некую параллель с изображением Вулича в «Герое нашего времени» Лермонтова (Баскер II. С. 150). Стр. 10 — об ордене тамплиеров см. комментарий к стр. 12 рассказа «Золотой рыцарь» (№ 5 наст. тома); образ «алчного» тамплиера мог быть подсказан беспрецедентыми богатствами, накопленными этим орденом за сравнительно короткий срок, невзирая на обет бедности каждого отдельного рыцаря. Богатства тамплиеров (которые стали в сущности первыми современными банкирами) безусловно явились одной из главных причин жестокой расправы с ними (см.: Baigent M., Leigh R., Lincoln H. The Holy Blood and the Holy Grail. London, 1982. Pp. 41-42.). Ср. также неизменно отрицательное изображение тамплиеров в романах В. Скотта. Стр. 15 — ср. «По обрывам пройдет только смелый» (ст. 129 ст-ния № 21 (I)); «...Я вышел в путь и весело иду <...> То наклоняясь к пропастям и безднам» (№ 36 (I)). Как и данные ст-ния «Пути конквистадоров», образ сэра Джемса (и шире, по-видимому, «веселого короля» Ричарда) в первых абзацах рассказа насквозь пронизан ницшеанскими мотивами, — из которых прохождения «над пропастями» героя, наделенного «смелым сердцем», является, пожалуй, лишь наиболее очевидным. Помимо указанных ниже более точных перекличек с текстом «Так говорил Заратустра», явно ницшеанскими чертами нужно считать «могучие» руки и сердце героя (стр. 26), его «красоту и веселость» (стр. 8, 22) а также, в этом контексте, такую деталь, как его пение (стр. 22; ср. песни самого Заратустры в ч. 2, и т.д.). Особенно важен ницшеанский мотив воина («Двух вещей хочет настоящий мужчина: опасности и игры... мужчина должен быть воспитан для войны» («О старых и молодых бабенках»); «В том и жертва великого, чтобы было в нем дерзновение, и опасность, и игра в кости насмерть» («О самопреодолении»; ср. игру сэра Джемса с тамплиером). Излюбленные Заратустрой «воины» бывают «королями» или — как гумилевский герой — приближенными короля (гл. «Беседа с королями»), они должны быть смелыми (там же), «быть готовыми ко всему самому трудному, как к празднику своему, быть здоровыми и невредимыми» (гл. «Тайная Вечеря») и — так же, как и

сподвижники короля Ричарда Львиное Сердце, — «находить веселье в войнах и на пиршествах» (Там же; ср. стр. 239 и след.). Однако «ницшеанский» облик крестоносца сэра Джемса в начале этого рассказа о Каине и его дочерях, безусловно, связан вовсе не с богоборчеством немецкого философа (хотя в абстрактном плане от Каина до Ницше, казалось бы, тянется непосредственная нить преемственности), а с незатейливо жизнерадостной «преданностью Земле»: до его встречи с «каинитами», герой рассказа обладает здоровым, здравым, прямолинейно простым («мужественно твердым и ясным»!) взглядом на жизнь, оказывающимся не «чрезмерным жизнелюбием» «мудрого», «грешного» Каина (см. выше), а гораздо более «наивным», характерным для раннего Гумилева *адамизмом*, т.е. неискаженным грехопадением взглядом «первого человека» (см. комментарии к № 1). В то же время, отмеченные выше переклички со стихами из «Пути конвистадоров» знаменуют собой некий «возврат» Гумилева не столько к отдельным тематическим мотивам, столько к «макросюжету» его первого сборника, явно просматривающемся в дальнейшем развертывании сюжета рассказа и внутреннем преображении героя. Ср. наблюдения А.В.Комольцева по поводу «Пути конвистадоров»: «Герой сборника в начале стихотворения обладает атрибутами сверхчеловечности: он находится на горах, <...> в ряде случаев он является королем, обладает властью и могуществом, прекрасен внешне. Мистическим путем (из баллады, во сне, в полете на «выси сознания») он узнает о существовании Девы, и его мечты обращаются к ней. Но Дева не может увлечься этим героем-королем, и его могущество рушится. После крушения героя основной силой оказывается его противник — карлик, гном или тролль. Именно данное сюжетное сходство целого ряда стихотворений является, вероятно, наиболее интересной отличительной особенностью гумилевского дебюта и может быть условно названо макросюжетом сборника. В [нем] отчетливо наблюдается смена настроений повествования. В завязке его герой могущественен, прекрасен, властен, могуч; после отказа героини он оказывается проклят, рыдает, печалится, отчаивается» (Комольцев А.В. Русское ницшеанство и особенности композиции сборника Н.С.Гумилева «Путь конквистадоров» // Гумилевские чтения 1996. С. 174-175. Ср. также рассуждение Э.Д. Сампсона по поводу «конфликта» на этом раннем этапе гумилевского творчества «между уходом от мира в себя, трансцендентализмом — и путем действия» (Sampson E.D. Nikolay Gumilev. Boston, 1979. P. 49)). В «Дочерях Каина», конечно, вместо одной Девы встречаются семеро, но резонно предположить ту же подспудную биографическую связь с образом Анны Ахматовой, что и в стихах «Пути конквистадоров» (ср. напр., т. I. С. 354, 356). О связанности ее образа с оккультным материалом, «столкновение» с которым расшатывает первоначальное «ницшеанство» гумилевского героя, см. также № 1 наст. тома и комментарии к нему. Стр. 15-17 — ср.: «Знаете ли вы наслаждение, когда камень катится в отвесную глубину?» («Так говорил Заратустра». Гл. «О старых и новых скрижалях»). Ср. также отзвук тех же слов Ницше в № 1 наст. тома (стр. 72-74). Стр. 21 — ср. «берег островов неведомого счастья» (№ 5 наст. тома (стр. 66)); шире, упоминание некоего сказочного счастья является сквозным лейтмотивом гумилевс-

кой прозы, от «острова — загадочного счастья» в рассказе «Гибели обреченных» (см. № 1 наст. тома (стр. 163) и комментарий к стр. 152-160, 163) и упущенного принцессой Зарой зова «к возможному и ослепительному счастью» (№ 9 наст. тома (стр.156)) до «островов Совершенного Счастья» «Путешествия в страну эфира» (№ 15 наст. тома (стр. 153)). Стр. 24-25 — ср. изречение Заратустры Ф. Ницше: «мужчина должен быть воспитан для войны, а женщина для отдохновения воина» («Так говорил Заратустра», гл. «О старых и молодых бабенках»); ср. также описание невесты Айвенго, — стройной, с чистыми голубыми глазами Ровены в «северном» замке Седрика Саксонского в гл. 4 романа В. Скотта. Стр. 28, 32-33 — ср. рассказ мистера Бедлоу о своем походе в горы (не то реальном, не то воображаемом под воздействием морфия) в «Повести Скалистых гор» Эдгара По: «Туман меж тем так сгустился, что под конец мне пришлось идти наощупь. И тогда мной овладело беспокойство, не поддающееся описанию, — какая-то нервная дрожь и нерешительность. — Я не осмеливался сделать ни шагу из боязни сорваться в пропасть. Мне вспомнились к тому же странные рассказы про эти Скалистые горы, про неведомые свирепые племена, обитающие здесь в пещерах и рощах» (По Э.А. Полное собрание рассказов. М., 1970. С. 498). Стр. 30-31 — ср. в более позднем ст-нии «Ледоход»: «Так пахнут сыростью гриба <...> Те потайные погреба, / Где труп зарыт и бродят жабы» (№ 57 (III)); ср. также образ дней «ядовитых и черных, как змеи, гнездящиеся в подвалах <замка>» (№ 4 наст. тома (стр.38-39)). Стр. 41-43 — большой пещерный медведь (Ursus spelaeus) известен со среднего до конца позднего плейстоцена. Этот вид был одним из самых могучих хищников плейстоцена, и вымер вместе с мамонтом 10 000 лет назад. По своим размерам пещерный медведь был на треть больше своего современного родственника — бурого медведя. Он обитал на лугах, в разреженных лесах, в лесостепи, но особенно предпочитал закарстованные горные районы. Археологические данные свидетельствуют о том, что на пещерных медведей охотились жившие в то отдаленное время позднепалеолитические люди. Одна из форм охоты заключалась в том, что они подстерегали медведя на узких скалистых тропинках и оттуда бросали на него большие камни. Неожиданная встреча сэра Джемса с доисторическим обитателем этих загадочных гор очевидно расшатывает его «ницшеанскую прямолинейность» (см. в стр. 53-64 инверсию ницшевского мотива стр. 15-17), что может поэтому быть расценено, и как первый этап «падения» его «адамистической невинности». В этой связи ср. также размышления Ю.В.Зобнина в более общем контексте анализа адамистской и звериной тематики Гумилева, о «борьбе человека с природой», которая с точки зрения православной прерсоналистской натурфилософии «видится продолжением сотериологической коллизии внутренней борьбы человека с греховными страстями. <...> Взгляд на окружающий нас животный мир, по мнению Святых Отцов Церкви, позволяет человеку наглядно представить себе мир своих собственных «плотских» переживаний. «Ты обладаешь всяким родом диких зверей, — писал свт. Василий великий о взаимоотношениях «животного» и «человеческого» миров в общей картине тварного мироздания. — Но скажи, нет ли диких зверей во мне?

Есть, множество. Это точно, громадная толпа диких зверей, которых ты носишь в себе. <...> Не есть ли гнев маленький свирепый зверь, который лает в твоем сердце? <...> И разве обман, пресмыкающийся в вероломной душе, не более жесток, чем пещерный медведь? ... Какого рода диких зверей нет в нас?»» (Зобнин. С. 227). Более подробно об этом см. в комментариях к № 14 наст. тома; о колизии ницшеанства с христианскими и оккультными мотивами у Гумилева, см. комментарии к № 1 наст. тома. Стр. 42-43 — см. изложение оккультной доктрины антропогенезиса — смены рас и соответствущих им флоры и фауны в комментариях к № 1 наст. тома. Стр. 48-49 — ср. воспоминиание мистера Бедлоу Э.А.По о том, как мимо него в «Скалистых горах» пронесся с пронзительным воплем полуобнаженный темнолицый человек: «Он промчался так быстро, что на своем лице я ощутил его горячее дыхание. <...> Едва он скрылся в тумане, как с разинутой пастью и пылающими глазами вслед за ним промчался, тяжело дыша, огромный зверь» (По Э. А. Полное собрание рассказов. М., 1970. С. 499). Стр. 52-53 — ср. в контексте предыдущих реминисценций приведенное М. Баскером мнение американского исследователя Д. Галловэй о том, что «две наиболее постоянных доминанты творчества По, составляющие суть его мировоззрения — это поиски Красоты в области воображения, и то, что он назвал «ужасом души» (Баскер II. С. 151). Стр. 57-68 — ср. (вплоть до отдельных словесных перекличек) эпизод бегства Казбича на его обожаемом коне Карагезе в «Герое нашего времени» М.Ю.-Лермонтова. Стр. 68 — ср. сочетание «печальных и задумчивых сов» со змиями в № 4 наст. тома (стр. 37-38). Стр. 71-73— ср.: «Лишь у того есть мужество, кто знает страх, но *побеждает* его, кто видит бездну, но с *гордостью* смотрит в нее» («Так говорил Заратустра»; гл. «О высшем человеке»); а также: «Человек же самое мужественное животное: этим победил он всех животных. <...> Мужество побеждает даже головокружение на краю пропасти; а где же человек не стоял бы на краю пропасти! Разве смотреть в себя самого — не значит смотреть в пропасть!». Последние слова — из главы «О призраке и загадке», очевидная реминисцентная перекличка с которой имеет существенное значение и для заканчивающегося на образе отвергнутого скитальца Каина цикла «Капитаны» («Вам, смелым искателям, испытателям и всем, кто когда-либо плавал под коварными парусами по страшным морям, — вам, опьяненным загадками, любителям сумерек, чья душа привлекается звуками свирели ко всякой обманчивой пучине», и т.д.; ср., прежде всего, с ст. 13-16, 19-20 № 148 (I)). Не исключено, что рассказ Заратустры в той же главе о своем трудном пути составлял более общий-фон для описания пути сэра Джемса по горам («Тропинка, капризно извивавшаяся между камнями, злобная, одинокая, не желавшая ни травы, ни кустарника, — эта горная тропинка хрустела под упрямством ноги моей. Безмолвно ступая среди насмешливого грохота камней, стирая в прах камень, о который спотыкалась моя нога, — так медленно взбирался я вверх. Вверх: наперекор духу, увлекавшему меня вниз, в пропасть...»); следует отметить в связи с дальнейшей участью сэра Джемса, что здесь содержится предостережение от сострадания, как наибольшая опасность для «мужественной твердости»: «Мужество — лучшее смертоносное

оружие: мужество убивает даже сострадание. Сострадание же есть наиболее глубокая пропасть, ибо, насколько глубоко человек заглядывает в жизнь, настолько глубоко заглядывает он и в страдание. Мужество — лучшее смертоносное оружие, — мужество нападающее: оно забивает даже смерть до смерти, ибо оно говорит: «Так *это* была жизнь? Ну что ж! Еще раз!»». Стр. 77-81 — луна, по-видимому, ознаменовывает переход в новый, «оккультный» этап повествования (см. о великом оккультном значении Луны в комментарии к № 1 наст. тома); «гигантские деревья» указывают на переход в более древнюю эру (Третьей-Четвертой рас), чем плейстоцен большого пещерного медведя (см. о «реликтовых фрагментах» этих «эонов» в комментарии к стр. 152-160, 163 № 1 наст. тома). Стр. 81-83 — поднимаются, на самом деле, не сталактиты, а сталагмиты. По этому поводу М. Баскер писал: «может быть, не случайно, что ту же ошибку совершил <...> столь значимый для «Принцессы Зары» Райдер Хаггард. <...> В заключении «Копей царя Соломона», главных героев ведут через то, что автор ошибочно называет «огромной *сталактитовой* передней пещерой», в которой гигантские «сталактиты из белого шпата» «поднимались в великолепной и изысканной красоте вплоть до отдаленного свода пещеры». Оттуда они проходят во внутреннюю пещеру — «место смерти», с «громадным каменным столом во всю ее длину, с массивной белой фигурой во главе его, и белыми фигурами человеческого роста в окружении». И при пристальном рассмотрении, оказывается, что это — превратившиеся именно в «сталактиты» окаменелые тела умерших вождей (гл. 16)». По мнению исследователя, «сходство с жуткой сценой вокруг гробницы Каина уже достаточно разительно» (Баскер II. С. 148). Стр. 83-92 — в описании красоты семи высоких девушек — а также их отца, с черными очами и телом, по белизне «как бы высеченным из слоновой кости» есть сходство с подчеркнуто «странной» и утонченной красотой ни живой ни мертвой Лигейи из одноименной повести Эдгара По — «высокая, несколько тонкая», с «мраморными перстами», «ослепительно черными» глазами странной, бездонной глубины, и «высоким, бледным лбом, цветом <...> соперничающим с чистейшей слоновой костью» (По Э.А. Полное собрание рассказов. М., 1970. С. 146-147; см. также возможный отзвук этого описания в № 9 наст. тома). Лигейя, как представляется «разгоряченному воображению» рассказчика, обладает «красотою существ, живущих над землею или вне земли» (Там же); однако, небывалую красоту дочерей Каина («прекраснее которых не видел мир», стр. 97-98) следует скорее связать с вышеупомянутыми оккультными теориями о происхождении «Пред-Адамитов». Ср. также в этой связи «божественную» красоту и мудрость Лейлы и Габриэля в «Гибели обреченных», о которых Эгаим говорит Тремограсту: «Они прекрасны, они обольстительнее утренних звезд. Но они не дети нашей земли...» (№ 1 наст. тома (стр. 312-313)). Стр. 89-90 — ср. вышеприведенное оккультное (масонское) представление о Каине, как полубожественном сыне огня или огненного духа, а также изложенное в преамбуле к № 1 наст. тома учение Е.П.Блаватской о «мудрых ангелах», ставших «небесными наставниками» избранных людей Третьей Расы, сообщив им свое «огненное начало». Стр. 93-102, 163-173, 200-204 — в

«подчеркнутой нелепости» обращений сэра Джемса к дочерям Каина М. Баскер нашел некоторое типологическое сходство с «Историей Грааля» Кретьена Де Труа, в которой «именно духовная неподготовленность Персеваля к мистической встрече-видению, выражающаяся в его неспособности в нужное время задавать подходящие вопросы, приводит к продлению всеобщих страданий, «осиротению дев и опустошению земель», а также, на долгое время, к его личному отходу от Бога, годам бесплодных скитаний, и желанию смерти» (Баскер II. С. 149). Стр. 106-108 — ср. «Каина» Байрона, в котором Люцифер представляет Каину в течение «лишь только часа» то «Что создано несчетными веками»: «живую летопись миров / Прошедших, настоящих и грядущих» (пер. И.А.Бунина, 1905). Стр. 109 — по утверждению Е.П.Блаватской, гиппопотамы являются являются одной из немногих реликтовых форм эпохи Третьей Расы («Вторичного периода»): «немногие оставшиеся, гигантские животные, такие как слоны — сами уже много меньше своих предков мастодонтов — и гиппопотамы, являются единственными пережитками, и с каждым днем они все более и более уменьшаются в числе» (Тайная Доктрина II (3). С. 275; ср.: Тайная Доктрина II (4). С. 898). На «гиппопотамов, которые только ночью выходят из липкой и глубокой тины» — а также на «свирепых медведей» — охотится герой «Гибели обреченных», Тремограст (№ 1 наст. тома (стр. 97-98)). Гигантская фауна была признаком той же эры. Стр. 111 — как констатирует Р.Л.Щербаков, на острове Самосе с древности развивалось виноградарство, но самосские вина стали славиться только с XVIII в. (Соч II. С. 429). Стр. 111-113 — Е.П.Блаватская писала о «летающем завре, птеродактиле, найденном в Германии, семидесяти восьми футов длиною и снабженного сильными крыльями, прикрепленными к его телу пресмыкающегося», неоднократно утверждая, что «птеродактилы (так — *Ред.*) с крокдиловыми челюстями при утиной голове» сосуществовали с человеком: «вероятно, нападали на него, так же как и человек нападал на них». Имеются в ввиду первые «гигантские» представители человечества Третьей Расы, вместе с большинством которых птеродактили якобы перестали существовать (см.: Тайная Доктрина II (3). С. 258, 260, 274). С птеродактилями Блаватская несколько раз связывает «плезиозавров», как источник более поздних легенд о драконах и крылатых змиях. «Ихтиозавры», как можно понять по этимологии этого слова, на самом деле обитали в море; однако и они упоминаются Блаватской, как харктерные представители «эпохи пресмыкающихся» («гигантских мегалозавров, ихтиозавров, плезиозавров и т.д.»), приуроченных «оккультной наукой» к тому времени, когда «уже появилась Третья Раса» (Тайная Доктрина II (4). С. 898). По даным современной науки, птеродактили были в большинстве своем величиной с воробья. Стр. 114-115 — пренебрежительно-отрицательное упоминание дряхлого Адама и коварной Евы имеет свои параллели в таких произведениях, как вышеупомянутые «мистерия» Байрона «Каин» и «История о Царице Утра и о Сулаймане, повелителе духов» Нерваля — в которой не Каин а Адам лежит в гробнице, вокруг которой стоят, «неподвижные, как сон», князья-сыновья его (ср. «Адам спит под этим камнем... и он должен проснуться только в последний день мира; его пленный гроб содержит наш

выкуп» (de Nerval G. Oeuvres complites. T. 2. Paris, 1984. Pp. 722-723)). О «третьем» сыне Адама и Евы Сифе и его потомстве см. выше. Стр. 116 — «И пошел Каин от лица Господня; и поселился в земле Нод, на восток от Едема» (Быт. 4.16). Земля Нод — не географическое место, а обозначение «пустыни», земля странствования, на которой человек, гонимый грехом, все удаляется от рая. Согласно некоторым комментаторам, название «Нод» может также обозначать период сна, бессознаетельности. Стр. 117-118 — ср. самоопределение Люцифера в «Скрипке Страдивариуса» («меня называют отцом греха: я только отец красоты» (№ 10 наст. тома (стр. 91-93))) и выше, о легендарном происхождении Каина от люциферианского духа Самаэля (змия, самого Сатаны; ср. типичное слияние этих образов: Тайная Доктрина II (3). С. 257). О сущности Каинова греха как уводящего от Бога увлечения переживаниями «земной» жизни, — в том числе и Красотой, — см. выше. Стр. 122-124 — ср.: «Из Едема выходила река для орошения рая; и потом разделялась на четыре реки. Имя одной Фисон: она обтекает всю землю Хавила, ту, где золото; и золото той земли хорошее; там бдолах и камень оникс» (Быт. 2. 10-14). Бдолах сравнивается по цвету с манной (Чис. 11.7); предполагается, что это была либо светло-желтая прозрачная смола бальзамового дерева *Balsamodendron*, ставшая предметом торговли в Древнем Египте, либо смолистое вещество, вытекающее из бдолы, особого рода пальмы. Он также упоминается в ст-нии Гумилева «Судный день» (№ 138 (I)). Оникс (евр. *шохам*; греч. *онюкс*, «ноготь») является разновидностью халцедона с хорошо выраженными черными и белыми слоями. С образом «поющих раковин» ср. «причудливые раковины» африканского рая в № 9 наст. тома (стр. 116). Стр. 124-126— ср. №10 наст. тома (стр. 95-98). Стр. 128— созвездие Южный Крест лежит в Млечном Пути: в нем всего пять звезд, из которых четыре ярких расположены в форме креста, одна из линий которого указывает на южный полюс. В южном полушарии оно поэтому приобрело первостепенное значение для путешественников; однако, в «старом свете» о нем стало известно лишь со времен кругосветного плавания Магеллана (XVI в.). Стр. 129-131 — ср.: «И сделал Господь Каину знамение, чтобы никто, встретившись с ним, не убил его» (Быт. 4.15). Не исключено, что «знамение Каина» — Божий завет, охраняющий его от смерти или любого, не-Божьего, человеческого суда, — истолковается здесь, как своего рода «обречение на жизнь». Слова о «мстительном Боге» явно отражают «каинитскую» точку зрения: в дальнейшем этот Бог «не допустит великого греха» (стр. 145). Стр. 132 — ср.: «Быть может, как родился он, — на небе / Кровавая растаяла комета» (№ 167 (I)); см. также комментарий к этим строкам, с указанием на возможный источник у Эдгара По. Стр. 133-135 — «Н.Гумилев определяет чувство, которое владеет Каином, как «безумную страсть». Каин *любит* свою дочь настолько сильно, что любовь перерастает в страсть-вожделение, становится великим грехом. <...> Чувство, владеющее Каином, — страсть-грех, но это *чувство*, а не просто слепое желание. Виновны в его рождении и «семь печальных дев», потому что являются воплощением красоты, а значит, вместе с отцом должны нести наказание до последних дней» (Грачева II. С. 226). Стр. 135 — в Библии имя

Лия впервые встречается, как имя старшей дочери Лавана, первой жены Иакова (Быт. 29); в средневековой богословской традиции оно стало символом активной (не-созерцательной) жизни. Это имя впоследствии «ошибочно» использовал в сходном контексте О.Э.Мандельштам по отношению к одной из двух безымянных дочерей Лота, вступивших после падения Содома в кровосмесительную связь с отцом, жившим в пещере, «в горе» (ст-ние «Вернись в смесительное лоно...»). Есть очевидная акустическая связь и с именем Лейла в «Гибели обреченных» (см.: № 1 наст. тома и прим. к стр. 184-185). Стр. 154-157 — поскольку красивые дочери Каина скорбят именно по «земному» счастью, то жест «опущения» глаз может натолкнуть на сравнение с признаком первого согрешения — увлечения земными переживаниями — отца, который «поник» лицом, и «не поднимал лица» к небу даже и «делая доброе» (Быт. 4. 5-7). Стр. 166-168 — тема «скитаний в океане на кораблях» иронично перекликается с легендарной обреченностью Каина на вечные скитания, см. окончательные строки цикла «Капитаны»: «О том, что где-то есть окраина / — Туда, за тропик Козерога! — / Где капитана с лицом Каина / Легла ужасная дорога» (№ 150 (I)). Вся речь сэра Джемса продолжает выявлять наивное недопонимание со стороны «человека высшей силы, высшей доблести» иных — оккультных — «областей мира» (ср.: «Но в мире есть иные области, / Луной мучительной томимы. / Для высшей силы, высшей доблести / Они навек недостижимы»: (№ 150 (I))) и их отношения к христианскому Богу. Стр. 171 — о магах (волхвах) см. комментарий к стр. 18-20 № 3 наст. тома. Стр. 172-173 — ср. тему удаления в монастырь в ст-ниях №№ 171 (I) и ст. 79-84 № 33 (III). Стр. 180-189 — Зороастр — общепринятая греческая форма персидского имени «Заратуштра» (Заратустра); пророк, основатель первой «мировой» религии зороастризма, считавийся также великим магом и звездочетом (см. комментарий к стр. 18-20 № 3 наст. тома), странником, и обладателем эзотерических тайн. Его жизнь условно датируется с 628 по 551 до н.э., хотя не исключено, что он жил на несколько сотен лет раньше. «Биография» Зороастра соткана из ряда чудес; примечательно в настоящем контексте первое из них, согласно которому он был единственным в мире ребенком, который при рождении не заплакал а засмеялся. Бог Зороастра — Ахура-Мазда («Мудрый Господь»), характеризуется своей мудростью, щедростью, и является Совершенным Добром. Но у «Мудрого Владыки» появляется противник и соперник, Ангра-Манью или Арихман, воплощение физического и нравственного Зла; а в «Гатах» (гимнах) Зороастра этот дуализм также объясняется следствием изначального конфликта двух существ-близнецов — сыновей Ахуры-Мазды (Спента-Манью и Ангра-Манью), которым был предоставлен добровольный выбор между добром и злом, «жизнью» и «не-жизнью»: первому принципу соответствует Царство Справедливости и Истины, второму, — Ангры-Манью — Царство Лжи, обитаемое «дэвами» или злыми духами. Этот выбор и служит прообразом аналогичного выбора, который должен сделать каждый человек в своей жизни. В конце концов должен победить Добро, и Ахура-Мазда станет всесильным. Надежда на достижение рая поэтому предоставляется всякому, кто последует за ним и будет стремиться к праведности, —

тем более, что Ахура-Мазда является для Зороастра «другом», источником «дружественной опоры». В проявлении своего Добра он и создал семь сынов и дочерей, — ипостасей Мудрого Отца, к свойствам которых человек может быть причастен, если пойти по пути истины. Но тем, кто сбивается с пути, угрожает уничтожение и ад (см.: Hinnels John R. Persian Mythology. London, 1973. Pp. 13-15, 49-50: The New Larousse Encyclopedia of Mythology. London, 1968. P. 312). Стр. 190-194 — Орфей, «родоначальник» поэтов, был сыном музы Каллиопы либо от фракийского царя Эагра либо, по нескольким сказаниям, от самого Аполлона, учеником и учредителем культа которого он и являлся. Именно Аполлон подарил ему лиру, музыкой которой он очаровывал зверей и заставил двигаться камни и деревья. Согласно Овидию, после вторичной, окончательной потери своей жены, — красивой, страстно любимой им Эвридики, — Орфей был настолько ошеломлен, что он стал подобным тому трусливому человеку, который, увидев трехглавого Цербера, отрешился от своего страха лишь тогда, когда превратился в камень: «окаменел в руках и в ногах». Он стал молиться о смерти, которая была ему не дана, поскольку паромщик Харон отказался второй раз перевезти его через Стикс. С тех пор он ушел от мира, скрывшись на обветренной возвышенности Родопа и Хаймета, сетовал на жестокость богов, и чуждался женской любви. (Met. X. 64-68, 72-80). К образу Орфея, волшебного певца оккультных учений, Гумилев вскоре вернулся в рассказе «Скрипка Страдивариуса» — см. № 10 наст. тома (стр. 105-110) и комментарий к ним. Стр. 195-199 — «неведомый миру юноша» — один из самых загадочных образов рассказа. Вряд ли вышеуказанная перекличка с «Легендой о св. Юлиане Милостивом» Г.Флобера достаточна, чтобы позволить полностью отождествить его со святым, «влачившим остаток дней у прокаженных». Явный отзвук ницшеанства («дивно могучий» и т.д.) может предоставить некоторую основу для отождествления этого образа с образом героя, сэра Джемса; соблазнительно предположить и некую более специфическую автобиографическую связь этого «третьего» посетителя Каина — после «мудреца» и «поэта» — с самим автором рассказа. Слова о способности «переменить лицо земли» могут напомнить язвительную характеристику Гумилева в известном письме З.Н. Гиппиус к Брюсову («... говорит, что он один может изменить мир. «До меня были попытки... Будда, Христос... Но неудачные»»; ср. также сходное высказывание Гумилева приведенное Н.А. Богомоловым (Богомолов. С. 118). Стр. 215 — в православной сотериологии окаменение означает нечувствительность, невосприимчивость к слову Божию. Стр. 218-227 — поведение героя показывает, что он чему-то научился у «ни живой ни мертвой» оккультной мудрости Каина: «Умение укрощать самых свирепых зверей и молвить слова, парализующие и заклинающие змей» является, по словам Элифаса Леви, одной из способностей Истинного Мага (цит. по: Ранний Гумилев. С. 24). Стр. 231 — Ездрелон — зеленая плодородная долина (равнина), древняя житница Израиля (Палестины). Стр. 246-247 — принц Иоанн (1167-1216) — младший сын Генриха II, унаследовал английский престол после смерти брата, Ричарда Львиное Сердце. Стр. 248-249 — в так наз. «рыцарский кодекс» вошло обязательство «для спасения невин-

ного идти на поединок» (см.: Энциклопедический словарь. Т. 53. СПб., 1899. С. 461). Стр. 249-250— ср. описание Овидием Орфея смерти Евридики: «Он воздержался от женской любви, не то вследствии своего горестного опыта, не то, потому что он дал в этом клятву. Однако многие горели желанием соединиться с поэтом, и многие обиделись его отказу» (Met. X. 64-68, 79-82). Стр. 252-254 — ср.:

С той поры, сгорев душою,
Он на женщин не смотрел,
И до гроба ни с одною
Молвить слова не хотел
<...>
Возвратясь в свой замок дальный,
Жил он строго заключен,
Все влюбленный, все печальный,
Без причастья умер он.
(А.С.Пушкин. «Жил на свете рыцарь бедный...»)

Не только пушкинская реминисценция, но также конкретная тема смерти без причастия, созвучны с концовкой «Скрипки Страдивариуса», где смерть Паоло Белличини, скончавшего без церковного покаяния», спроецирована отчасти и на слухи о смерти без причастия Паганини (см. №10 наст. тома (стр. 180-182) и комментарий к ним).

7. Речь. 15 июня 1908. № 142.

ТП -- СС IV --ТП 1990 -- ЗС -- Проза 1990 -- СС IV (Р-т) -- Соч II -- СПП -- Русский путь -- Русский путь 2 -- СС 2000 -- ТП 2000 -- АО -- Проза поэта; Кодры. 1989. № 4. -- Семья и школа. 1998. № 4.

Дат.: До 22 апреля 1908 г. — по дате письма к Брюсову (ЛН. С. 476), в котором упоминаются «два рассказа», написанные перед отъездом из Парижа (см. комментарии к № 8).

Об истории создания этого рассказа — по мнению Э.Д. Сампсона, одной из наиболее декадентски-извращенных вещей во всем творчестве Гумилева (см.: Sampson Earl D. The Prose Fiction of Nikolaj Gumilev // Berkeley. P. 272), — фактически ничего не известно. Можно лишь догадаться о том, насколько его мрачная сюжетная «извращенность» повлияла на то, что Гумилева не упомянул о его создании в письмах к «учителю», В.Я. Брюсову, и не пытаться опубликовать его через брюсовское посредничество. Но в любом случае, сам Гумилев, должно быть, отчетливо сознавал, что «Черного Дика» можно считать декадентским — «упадочным» — в буквальном смысле слова, по отношению к некоторым из его предыдущих рассказов. В нем как будто бы представлен вульгарно-приниженный, «выродившийся» вариант того возвышенного жизнеутверждающего ницщеанства, которое до этого было воплощено в героях «Гибели обреченных» и «Дочерей Каина» (№№ 1 и 6 наст. тома).

Как и в тех рассказах, в «Черном Дике» изображено столкновение «сильного» героя с женским персонажем из другого, «оккультного» мира — однако, на этот раз, не с небывалой по красоте «подругой Богов» или «дочерью» великого «отца красоты и греха», а лишь с немой дочерью бедной помешанной с соседнего (однако, все же ранее недоступного) острова. «Сюжетная деградация» еще более очевидна в гибели героя — от темной, неотразимой, «звериной» силы его собственной сексуальности (см. ниже).

Моральная оценка Черного Дика, его взаимоотношений с окружающим миром и значения его окончательного превращения в «зверя», составляет один из главных предметов опубликованных к настоящему времени критических заметок по поводу этого рассказа. Некоторое внимание было также уделено вопросам его жанрово-стилистических особенностей и литературным источникам.

«Принцип жизни Черного Дика — объясняет Д.С. Грачева, считавшая этого персонажа «самым отталкивающим из всех персонажей» гумилевской прозы, — заключается в том, что «все дозолено», главное — веселье. Только смех его страшен. <...> Ни любовь, ни жалость, ни чувство долга, ни сострадание незнакомы герою, потому что он живет по законам, которые диктует ему плоть, но не душа и разум. Не случайно Черному Дику противопоставлен пастор, взывающий к спасению души и пытающийся наставить на путь истинный парней, окружающих героя. И аскетизм, и гневные проповеди пастора оказываются противопоставленными поступкам и словам Дика. И все же пастор не является alter ego автора. Путь, которым идет пастор, ложный, он приводит не к спасению душ тех, к которым тот взывает, а к дальнейшим несчастьям. Призыв к насилию порождает насилие, только жертвой его становится чистая, безвинная, одиноко живущая на острове девочка (именно ее, а не пастора можно назвать героем-антиподом Черного Дика)» (Грачева II. С. 224). По мнению некоторых исследователей, облик «анти-героя» является конкретным воплощением демонической силы — и, в этом отношении, более или менее модернизированным вариантом установившейся литературной традиции. Для некоторых исследователей, образ Черного Дика был непосредственно связан с демонической силой: «само существование добра провоцирует дьявола и приводит его в бешенство. Этот мотив, восходящий к романтизму XIX века, по лаконизму и жестокой определенности сюжета принадлежит литературе века XX. Правдивая... интонация лишь оттеняет мистический .смысл, вечное столкновение добра и зла, Христа и дьявола» (Ерыкалова И. Проза поэта // АО. С. 288). Ю.В.Зобнин также обращает внимание на «классическое» столкновение в «Черном Дике» добра и зла (см. ниже, комментарий к стр. 222-223, 238-240), но в общем контексте гумилевского творчества того времени, находит, что «зверское» в герое оценивается скорее на уровне эстетического, чем этического проявления: «Превращение человека в зверя, обнаруживающее присутствии «стихии» в его природе, у раннего Гумилева вовсе не является сколь-нибудь трудной задачей, напротив, взгляд художника с легкостью прозревает «зверя» в человеке, что и подтверждается целым рядом «анималистических» метафор. <...> Пробуждающееся в человеке при самом малом внешнем толчке «зверство» настолько

эстетически (об этике у юного Гумилева речь еще не идет) непереносимо, что возможными становятся самые кровавые развязки в духе «Африканской охоты» (еще не написанной)» (Зобнин. С. 254; ср. также комментарии к № 14 наст. тома). А для М.Ю. Васильевой суть рассказа заключается в психологическом аспекте, причем автор, по мнению исследовательницы, нашел здесь новые способы литературного самовыражения: «неожиданность и необычность событий оказалась средством воплощения сложнейших поворотов внутренней жизни, которые не поддавались конкретизации в форме бытовых и психологических процессов. Гумилев <...> сознательно освобождал образ сверхестественных сил от таинственного (и жуткого) колорита, поскольку обращение к ним всегда объясняется теми или другими возвышенными запросами человеческой души. <...> Следует признать самобытную новизну писателя и в этой области (Васильева. С. 16)

Что касается конкретных литературных источников «Черного Дика», то Гумилев, как обычно, оригинален в разработке своего материала, однако многие исходные «компоненты» рассказа восходит к достаточно широкому ряду претекстов. К «Черному Дику» относится замечание В.А. Рождественского о «стивенсонских параллелях» в прозе Гумилева (см. вступительную статью). Это весьма ценное указание впоследствии часто цитировалось, однако не получало подробного рассмотрения (см. ниже). Самая обстоятельная на настоящий момент научная работа по литературным «претекстам» «Черного Дика» достаточно неожиданно посвящена сугубо русскому источнику. Справедливо отметив, что проза Гумилева насыщена реминисценциями из русской классической литературы, которые «часто оказываются более завуалированы, чем отсылки к западноевропейской культуре» и поэтому привлекают менее пристальное внимание исследователей, Д.С. Грачева указывает на значение для «Черного Дика» «Вечеров на хуторе близ Диканьки» Гоголя: «В «Черном Дике» встречаются реминсценции из трех повестей Гоголя: «Страшная месть», «Майская ночь, или утопленница», и «Вечер накануне Ивана Купала». Последняя повесть послужила основной канвой сюжета рассказа: «герой (человек-дьявол), любящий покутить и погулять, соблазяющий девушек, живет веселой жизнью. Священник пытается предупредить людей об опасности, которой они подвергают себя, общаясь с ним, но его слова оказываются не услышанными. Человеку-дьяволу приносится невинная жертва — ребенок, в гибели которого виноват не только «герой-оборотень», но и люди (человек), способствующие убийству. <...> Самая яркая и очевидная параллель — Дик / Басаврюк (герой повести «Вечер накануне Ивана Купала»). И тот, и другой — «сатана, принявший человеческий облик», чтобы смущать души людей (только Гоголь об этом говорит, а Гумилев лишь подразумевает), оба они жаждут невинной жертвы и получают ее, оба рано или поздно принимают свой «нормальный», звериный, вид. Мотив метаморфозы — превращения человека-грешника или человека-дьявола в зверя, такой популярный у Гоголя, привлек внимание Гумилева. Именно поэтому образ Черного Дика восходит еще и к образу колдуна, отца Катерины из «Страшной мести». Он сам не дьявол, но связан с ним, он, как и

упомянутые герои, принимает истинный облик — звериный и посягает на невинное создание, тоже в каком-то смысле ребенка — свою дочь» (Грачева III).

Но если произведения Гоголя могли таким образом подсказать некоторые общие сюжетные моменты «Черного Дика», то все-таки кажется, что местный колорит и общий фон действия этого рассказа восходят, прежде всего, к «шотландским» произведениям Стивенсона: однако, не к широко известным приключенческим романам (таким, как «Похищенный, или Приключения Дэвида Бэлфура», «Катриона», «Владетель Баллантрэ»), а к небольшим «рассказам ужасов», с оттенками сверхъестественного и демонического: прежде всего, к произведениями 1881 г. «Окаянная Джанет» («Thrawn Janet»), и «Веселые молодцы» («The Merry Men»). Возможно, что улавливаются отголоски «английского» рассказа того же времени, «Похититель трупов» («The Body-Snatcher», 1881—84). И, безусловно, некоторые элементы развязки «Черного Дика» следует также отнести к «Странной истории Доктора Джекила и Мистера Хайда» («The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde», 1886). Все перечисленные произведения были доступны Гумилеву в русском переводе — по журнальным публикациям 1890-х годов, и четырехтомному Собранию сочинений 1901 г., изд. П.Ф. Панетелеева (подробнее см.: Diakonova Nina. Robert Louis Stevenson in Russia // Scottish Review. № 10. 1998. Pp. 207—209, 221—222. Ср. также: Cornwell N. Two Visionary Storytellers of 1894: R.L. Stevenson and Anton Chekhov // Liebrets P. and Tigges W. eds Beauty and the Beast: Christina Rossetti, Walter Pater,R.L. Stevenson and Their Contemporaries. Amsterdam,1996. Pp. 171—185). В свете предположения Р.Л. Щербакова о том, что «Черный Дик» был написан «еще в Париже» (Соч II. С. 428), следует добавить, что Стивенсон к тому времени также был не раз переведен на французский язык, в том числе М. Швобом.

Само название рассказа несомненно навеяно Стивенсоном. Имя Дик — вполне в духе творчества этого писателя: к примеру, так зовут главных героев еще двух его произведений: «Черной стрелы» (Dick Richard Shelton), и шутливой «Истории одной лжи» (где, кстати, в один прекрасный вечер, «Дик был черен, как ночь»). Но особенно значимы — устойчивые «демонические» коннотации черного цвета в вышеназванных шотландских рассказах. Как поясняется в единственном авторском примечании к «Окаянной Джанет»: «В Шотландии было распространено поверье, что дьявол являлся в виде черного человека» (Stevenson. Vol. 6 P. 101).

В соответствии с этим, «Окаянная Джанет» идет к своей развязке начиная с того момента, когда пастор Соулис в один небывало жаркий день, у заброшенного кладбища «в тени Черной горы», видит «черного человека, или облик человека», сидящего внутри ограды на могиле. «Он был высокого роста, черный, как ад, и глаза какие-то очень странные. Мистеру Соулису не раз приходилось слышать о черных людях; но в этом черном человеке было что-то такое жуткое, что устрашало его» (Stevenson. Vol. 6. P. 101). В дальнейшем, «окаянная» домработница пастора, услышав об этой встрече, и заявив, что в их краях «не сыщешь черного человека», кончает жизнь самоубийством, повесившись в своей комнате. Но ее труп каким-то образом возвращается к жизни. Пастор изгоняет дьявола, и только после этого ее труп превраща-

ется в прах, а несколько свидетелей наблюдают за тем, как «черный» человек навсегда покидает эту местность.

Демоническое в «Веселых молодцах» выражено более косвенно и, как будто бы, субъективно — глазами полуобезумевшего дяди повествователя: но и тут оно ассоциируется с «черным человеком», чудом уцелевшим от кораблекрушения, при котором погибает вся остальная команда корабля. Этот черный пришелец на отдаленный шотландский берег влечет «дядю», Гордона Дарнавэя, к его гибели и, как кажется, тонет вместе с ним. Показательно для значения этой темы, что Стивенсон в то время задумал не осуществившийся сборник под названием «Черный человек и другие рассказы» (см.: Binding P. Introduction // Stevenson Robert Louis. Weir of Herminston and Other Stories. Harmondsworth, 1979. P. 25). Она также была весьма устойчива: в Предисловии к более поздней, незавершенной шотландской повести, «Weir of Hermiston», упоминается о «четырех черных братьях» (грозно-мстительных Братьях Эллиотт), и т.д. Но в то время, как «черные люди» Стивенсона загадочно откуда-то появляются и ведут, как будто бы, отдельное существование, Дик Гумилева — не чернокожий, и не чужак: его демоническая («дьявольское» — словесный лейтмотив рассказа) «чернота» на этом фоне определеннее оказывается внутренним (интернализированним) и психологизированным явлением (см. выше).

Повествование в «Черном Дике» ведется в первом лице, от имени второстепенного участника и свидетеля давнишних событий: старика, который нехотя вспоминает темные дела молодости. Аналогичным образом ведется основное повествование в «Окаянной Джанет». В двух первых абзацах, имплицитный автор представляет читателю сначала главного персонажа рассказа, загадочного пастора Соулиса, а затем своего безымянного повествователя: «Такая атмосфера страха, окружавшего <...> человека Божьего [пастора Соулиса — Ред.] <...> обычно вызывала удивление или любопытство у немногих пришельцев, случайно или по делам попадавших в эту глухую и отдаленную местность. Но многие даже среди прихожан не знали о странных событиях, ознаменовавших первый год служения мистера Соулиса; а из тех, кто был лучше осведомлен, некоторые были по природе молчаливы, а другие боялись касаться именно этого предмета. Лишь то и дело, кто-нибудь из стариков, набравшись храбрости после третьего стакана, рассказывал о причинах странного вида и одинокого образа жизни пастора» (Stevenson Vol. 6. P. 96). В дальнейшем, повествование целиком представлено в виде непосредственно-личных воспоминаний одного такого «рассказчика» — коренного жителя маленького, весьма небогатого прихода Балвири (Balweary), очевидца событий, происшедших «пятьдесят лет тому назад». Переход с «предисловия» имплицитного автора на повествование от первого лица подчеркивается в оригинале переключением на трудно понимаемое шотландское наречие.

Подобным образом оформляется повествование Стивенсона в «Похитителе трупов», где рассказ о грехах молодости, событиях многолетней давности, снова вводится второстепенным (в сущности, посторонним) наблюдателем, завсегдатаем местной пивнушки: «Каждый вечер в году, мы вчетвером сидели в маленькой гостиной таверны

«Георгий» в Дебенхаме...» (Stevenson. Vol. 3. P. 295). Пристрастие к регулярной выпивке в местной таверне роднит его с повествователем «Черного Дика».

Так же, как и в рассказе «Окаянная Джанет», действие «Черного Дика» проходит в «бедной и маленькой... деревушке». Стивенсон относит цетральное событие своего рассказа к «ночи семнадцатого августа тысячи семьсот двенадцатого года» (Stevenson. Vol. 6. P. 103); у Гумилева историческое время точно не указано. Но действие обоих произведений приурочено к периоду, когда в глухой, уединенный приход только что был назначен новый, молодой, не местного происхождения пастор (см. стр. 29-30). Параллели между этими персонажами, играющими в сюжетном развитии обоих произведений сходную, ключевую роль борцов с черной силой, весьма существенны. Безымянный пастор Гумилева, «с глазами, покрасневшими от занятий», учился, понаслышке, в Кембридже, и «всюду носил с собой тяжелые книги» (стр. 31-32). Соулис Стивенсона «был полон книжной учености» но без «жизненного религиозного опыта». По мнению прихожан, «он слишком долго учился в своем колледже <...> Книг он привез с собой пропасть <...> больше, чем когда-либо было видано в доме пастора <...> серьезные люди считали, что было мало пользы в таком количестве книг <...> И вот он сидел над ними полдня и даже полночи, что совсем не приличествует — и все писал|...» (Stevenson. Vol. 6. Pp. 96—97). В обоих рассказах, молодой пастор придерживается суровых религиозных взглядов, которые он проповедует с устрашающим красноречием (см. ниже); в скором времени, у обоих пасторов возникает конфликт с прихожанами (или некоторыми из них). Но тут намечается и принципиальная разница между рассказами. Пастор Соулис Стивенсона заступается за свою пожилую служанку Джанет, рассорившуюся с ее односельчанками: те уже годами смотрят на нее с подозрением и завистливым предубеждением, и теперь начинают жестоко расправляться с ней, пытаясь определить «ведьма ли она или нет, выплывет или потонет». Пастор из жалости берет к себе жить пострадавшую (ср. стр. 213-214 «Черного Дика», где пастор также предлагает предоставить приют отверженной девочке); впоследствии, ему приходится бороться прежде всего не с местным населением, а с не уловимой, «черной», нечистой силой, поселившейся в «окаянной» Джанет. В рассказе Гумилева, наоборот, пастор борется в открытую не со сверхъестественным, но с безбожным прихожанином, Диком. Его пастор — гораздо более словоохотолив, чем Соулис, в своем проповедническом осуждении Дика; и основной конфликт рассказа носит религиозно-нравственный характер, между церковной моралью и умышленно прямым, вызывающе презрительным ее опровержением в деяниях. Таким образом, в соответствии с уже отмеченной выше психологизацией этого мотива, — «черное», «демоническое» начало в рассказе Гумилева гораздо ближе к аморализму начала века, чем к потусторонней жути традиционной «литературы ужасов».

Главные женские персонажи «Черного Дика» не имеют существенных параллелей у Стивенсона (о некоторых сходствах в мелких деталях, а также о возможных параллелях в ряде других источников, см. ниже, в построчных комментариях). Однако, окончательная судьба Дика, его превращение во что-то «страшное и хищное»,

волосатую «тварь» с горящими глазами, снова указывает на зависимость от Стивенсона, и одновременно углубляет центральный конфликт рассказа. Прообразом такого превращения человека в «чудовищного» зверя могут являться, в данном контексте, превращения Генри Джекила в Эдварда Хайда в «Странной истории Доктора Джекила и Мистера Хайда». Гумилев, как и большинство последователей Стивенсона, идет дальше него в изображении «абсолютной и изначальной двойственности человека» и буквальном выявлении того, что Стивенсон называет «зверем внутри» (Stevenson. Vol. 6. Pp. 72, 85; ср. также слова самого Джекила о ненависти ко «зверю, спавшему во мне», р. 87). Но даже Хайд, чей внешний вид вызывает у всех отвращение или страх (Там же. С. 46) и внушает «сильное ощущение уродства» без определенных его примет (Там же. С. 15), дважды эксплицитно уподобляется обезьяне (см.: «ape-like fury», «ape-like spite» — обезьяно-подобное «бешенство» и «злоба» (Там же. С. 30, 90); элемент примитивистской ретрогрессии был тем более явственен в тогдашнем злободневном контексте теории дарвинизма). Появление Хайда знаменуется превращеннием гладкой руки Джекила в «узловатую и волосатую» (Там же. С. 85; ср. у Гумилева «когтистые лапы», «волосатая тварь», стр. 246-248); и его тело «носит отпечаток <...> разложения» (Stevenson. Vol. 6. С. 75). Тот, в которого превращается Джекил, не зверь, как таковой, но он с самого начала едва ли кажется человеком: в нем — нечто «троглодитское», на его лице «читается почерк Сатаны» (что также выражается, как и можно ожидать, в «*черном*, издевательски-высокомерном хладнокровии... действительно, подобно Сатане» (Там же. С. 23, 13)). И в конце своего последнего письма-исповеди, Джекил приходит к заключению, что «в этом детище ада нет ничего человеческого» (Там же. С. 87).

На превращающемся из Джекила Хайде бесформенно висит одежда последнего, которая безнадежно велика. Эта нелепость особенно заметна, когда он лежит мертвым, покончив с собой («одежда была ему велика, она пришлась бы впору человеку сложения доктора». Там же. С. 58. Ср. также с. 85, 87). Сходной деталью опознания по одежде заканчивается рассказ Гумилева (стр. 254-255). Но особенно примечательно в контексте гумилевского рассказа, что при всех слухах о жестокости Хайда, «бессовестной и насильственной» (Stevenson. Vol. 6. С. 41), о его «отвратительном» образе жизни и странных «товарищах», ему приписываются только два определенных преступления. В начале повести, рассказывается о том, как он «хладнокровно растоптал» девочку примерно восьми-десяти лет, случайно столкнувшись с ней поздно ночью (!) на улице («наступил на тело ребенка и оставил ее кричащей на земле» — Там же. С. 12-13). Девочка выживает, но мысль об этом «проявлении жестокости к ребенку» мучит Джекила в дальнейшем (Там же. С. 78). После этого, снова «принимаясь топтать свою жертву», Хайд нападает на «престарелого и красивого джентельмена с белыми волосами», некоего сэра Данверса Кэрей, которого он на этот раз убивает, избив его в припадке «обезьяне-подобного бешенства» (Там же. С. 29-31). Хотя девочке в «Черном Дике» «было уже двенадцать лет», параллель с первой жертвой Хайда кажется очевидной. Что касается его второй жертвы, то сэр Данверс, обладающий «старосветской добротой нрава, да и чем-то

более возвышенным» (там же), может истолковываться, как «центральное для Викторианского общества положительное воплощение патриарха, благосклонного мужского патернализма (мужчины без мужского; авторитетного выражения социального порядка, а также безмятежности общественной и семейной добродтели)» (Heath Steven. Psycopathia Sexualis: Stevenson's *Strange Case* // Pykett L., ed. Reading *Fin de Siucle*. London, 1996. P. 72). В этом символическом смысле, он весьма сходен с первым антагонистом черного Дика, безымянным пастором.

Есть наглядная разница между «Странной историей Доктора Джекила и Мистера Хайда» и «Черным Диком» в гораздо более откровенно сексуальном содержании последнего. Гумилев усиливает элемент сексуальности, вводя мотив вампиризма, лишь подспудно угадываемого в произведении Стивенсона. Стивенсон, наоборот, пытался в своих письмах вообще отрицать значение сексуального в поведении Хайда («звериный» Хайд «не более чувственен, чем всякий другой, <...> но воплощает в себе сущность жестокости и злобы, эгоцентричности и трусливости: а в них же — дьявольское в человеке». Письмо Дж. Бококу (John Paul Bocock) от ноября 1887 г.; цит. по.: Mainer Paul, ed. Robert Louis Stevenson: The Critical Heritage. London, 1981. P. 231). Достаточно сказать, что уже поэт Дж. Хопкинс нашел в сцене «растаптывания» девочки «нечто, не приличествующее художественной прозе», и что критика последних лет, несмотря на уверения автора, склонна усмотреть в повести, из которой «странно» исключена всякая женская сексуальность, глубинный и весьма существенный процесс сексуальной сублимации (см. вышеупомянутое содержательное исследование С. Хита о «патологии» Стивенсона, в кн.: Pykett L., ed. Reading *Fin de Siucle*. London, 1996. Pp. 64—69). Но важно то, что у Гумилева, по контрасту, вся демоническая «чернота», «тварность» Дика откровенно и неприкрыто сводится, в конце рассказа, к необузданной сексуальной агрессии мужского персонажа. Это кажется несколько неожиданным в контексте других его рассказов этого периода, в которых сексуальная власть приписывается прежде всего женщинам (или двусмысленным женщинам-девственницам). Но такой исход — логически-последователен в тематическом контексте самого «Черного Дика», где к моральным и религиозным запретам пастора еще добавляется отсутствующий у Стивенсона мотив законного брака: влияния жен, как сдерживающей силы («если ваши жены не выцарапают вам глаза», стр. 220 и т.п.), на поведение мужей (один Дик, как кажется, холост). Общественные, нравственные и религиозные устои, как будто бы, цивилизующе обуздывают примитивные, звериные инстинкты; но человек (или, по крайней мере, мужчина?) зол по природе (это — не благородный дикарь Руссо, а, наоборот, в антируссоистском, дарвинистическом духе не-благородный ДИК-арь!...). Вне социальных устоев, — или же, должно быть, свергнув их в «веселом» порыве постницшеанского декадентства — он рвется под властью своей собственной хищнической сексуальности к черной погибели. Таким образом, хотя по содержанию этот рассказ может показаться одной из наиболее «декадентски-извращенных вещей Гумилева» (см. выше), его конечная направленность все же оказывается глубоко антидекадентской и (так же, как и будущий акмеизм) социально-консервативной.

Как отметили Г.П. Струве и Р.Л. Щербаков, эпиграф к рассказу, очевидно, представляют собой специально сочиненные для этой цели стихи самого Гумилева, не встречающиеся в известных его произведениях (СС IV. С. 586; Соч 2. С. 428). О возможном эффекте этого приема написала Д.С. Грачева: «Обычно эпиграф ... отсылает к предшествующему культурному полю, позволяя проводить параллели и делать выводы <...> Может показаться странным, что автор обращается к своим собственным строкам, но еще более удивляет тот факт, что это строки из несуществующего стихотворения, они словно указывают нам «путь в никуда». Движение будто замыкается в рамках рассказа, где эпиграф и сам текст объясняют друг друга» (Грачева II. С. 224). Как было указано выше, затронутая в эпиграфе тема «веселости», «веселья» несколько по-иному трактуется в двух других рассказах этого времени — «Золотом рыцаре» и «Дочерях Каина» (№№ 5 и 6 наст. тома). Чрезмерное, пагубное (и весьма мрачное!) «веселье» вызывающе-безбожного Дика можно считать «анахронистским» проявлением декадентского имморализма, своего рода вульгаризацией ницшеанского «Веселого ремесла». Но другой контекст для восприятия сквозной темы «веселья», выделенной в эпиграфе, предоставляется названием рассказа Стивенсона «The Merry Men» — «Веселые молодцы». Это заглавие, как оказывается, представляет собой местное наименование ревущих валунов у шотландского островка (или полуострова) Арос, которое проясняется во время страшной ночной бури: «Их звучание казалось почти радостным, превосходя все другие звуки ночи; или же, если не радостным, то наделенным вещей веселостью («portentous joviality»). Да ведь оно показалось даже человеческим. Как когда дикие люди, пропивши весь свой разум и отказавшись от речи, часами ревут вместе в своем безумии ...» (Stevenson. Vol. 6. P. 158). То и дело в продолжении рассказа, эти «Веселые молодцы» не только грозно кричат и гремят, как оркестр, но и пляшут (Там же. С. 156, 159; ср. также о неистовой пляске пьяного Дика: «дубовые половицы прыгали и посуда дребежала...»). А под конец рассказа, истинное значение их стихийного веселья раскрывается в том, что они «кажутся частью мирового зла и трагического в жизни» (Там же. С. 174).

Стр. 18 — скорее всего, имеется в виду приморский город Бервик (Berwick), в XII—XIII веках самый крупный порт Шотландии. Впоследствии, из-за его расположения на англо-шотландской границе, он многократно (чаще, чем любой город средневекового мира за исключением Иерусалима) переходил из рук в руки во время вековых конфликтов Англии с Шотландией, потерял свое коммерческое значение, и к концу средних веков окончательно перешел во владение англичан; южнее от него находится большой остров Линдисфарн, так же известный под названием «Святой остров» («Holy Isle»). Есть также небольшой шотладский приморский город Северный Бервик (North Berwick), а лежащее между ними графство Бервикшир (Berwickshire) на юго-востоке Шотландии, вошло в литературу, как место действия романа Вальтера Скотта «Ламмермурская невеста» («повести», якобы «восстановленной» на основе рукописи, переданной автору еще одним Диком — неудавшимся художником Диком Тинто). Тут и замок под внушительным названием «Wolfscrag»

(«Волчья скала») и, на унылом берегу («bleak shores») одинокого и бурного Германского океана, рыбацкий поселок под названием «Wolfshope» («Волчья надежда»; о волках см. ниже). Как мимоходом упоминается в романе Скотта (часть 3, гл. 7), Северный Бервик прочно ассоциировался с ведьмами, якобы служившими Сатане и летавшими на кладбище. Это отражалось в продолжительных судебных процессах 1590-1592 и 1649-1677гг. И все же, вряд ли стоит слишком точно соотнесить место действия «Черного Дика» с реальной местностью. Общая передача в рассказе морского прибрежного ландшафта, переменной погоды при коротких морских поездках и т.д., имеет более вероятным источником вдохновения в подробном изображении Росса и Ароса в «Веселых молодцах» Стивенсона — со множеством маленьких, каменистых островков в глубоком море вблизи от берега, высокими скалами и т.д. (Stevenson. Vol. 6. Pp. 118—119 и далее). Ср. также описание пустынного островка Эрраид, на котором застревает в течение трех суток герой «Похищенного», Дэвид Балфур — менее, чем в полумили от хорошо видного ему с пригорка «материка» (на самом деле, большой остров Иона) со «страриной церковью и крышами домов» (гл. 14; Stevenson. Vol. 10. 10. P. 111—120) Стр. 434-46 — ср. пастора Соулиса в «Окаянной Джанет»: «...он каждый год читал проповедь на текст из Первого Соборного Послания Петра (v.8) «диавол ходит, как рыкающий лев», и в этом он обычно превосходил самого себя, как по ужасающей природе своего предмета, так и по своей грозной манере держаться на церковной кафедре. Дети пугались до припадков, а старики выглядели более, чем обычно, пророческими ...» (Stevenson. Vol. 6. P. 95). Стр. 45-46 — джин, может быть, не самый вероятный напиток для жителей уединенного северного рыбацкого поселка (он употреблялся в больших городах; но здесь вероятнее виски или ром). Однако, «дьявольские» ассоциации спиртного многократно подчеркиваются Стивенсоном — между прочим, и в песне пиратов из «Острова сокровищ» («Пятнадцать человек на сундуке мертвеца, / Йо-хо-хо и бутылка рому! / Питье и дьявол доконали остальных (Drink and the devil had done for the rest...), / Йо-хо-хо и бутылка рому!»). В «Веселых молодцах», когда в своей безумной тревоге напивается Гордон Дарнавэй, его племянник рассуждает так: «Я всегда считал пьянство диким и почти устрашающим удовольствием (wild and almost fearful pleasure), скорее демоническим, нежели человеческим; но напиваться здесь, в ревущей черной тьме, на самом краю утеса, над этой адской водой <...> было нравственно невозможным для такого человека, как мой дядя, крепко верующий в адские мученья и терзаемый самыми темными суевериями. И все же это было <...> и я увидел, как его глаза сверкали в ночи дьявольским (unholy) блеском» (Stevenson. Vol. 6. P. 160). А в «Похитителе трупов», повествование развертывается на фоне регулярной выпивки дружеской компании в местной таверне («по пять стаканчиков рома за вечер ... до состояния меланхолического алкогольного насыщения»), и отчаянная выпивка (виски с элем) является прелюдией к последнему жуткому злодеянию. Стр. 65 — с первого взгляда, бешеные волки — неточность Гумилева: в Англии, волки уже вывелись к началу XVI века; в Шотландии, последний волк был убит в 1743 г. (Burton M., ed. Wild Life of the

World. London, 1965. P. 43). Зато волки были традиционным компонентом «литературы ужасов», а в сочетании с «братьями-разбойниками» это может представлять собой намек на окончательную судьбу — или истинную, вампирическую (см. ниже) сущность — черного Дика. (Следует отметить, что слова пастора в этом месте о «зверях, некогда терзавших тела святых мучеников» так же, как будто бы, с провидческой точностью предвосхищают поведение «Дика», оборотившегося зверем, по отношению к невинной девочке в заключительном эпизоде рассказа). Дело в том, что как волки, так и разбойники являлись постоянными сообщниками и спутниками вампира. Устойчивая связь волков с вампирами имеет, как будто бы, этимологические истоки (см.: Twitchell James B. The Living Dead: A Study of the Vampire in Romantic Literature. Durham NC., 1981. P. 20); а уже в первом западно-европейском литературном произведении на эту тему, «Вампире» Дж. Полидори (1818), именно лесные разбойники играют ключевую роль, заключив договор с вампиром, чтобы обеспечить его воскрешение (Polidori John. The Vampyre: A Tale. (перепеч.: Shelley Mary. Frankenstein. London. 2003. Pp. 258-259)). Значение и тех и других с особенной очевидностью проглядывается в классическом образце этого жанра — романе «Дракула» Брэма Стокера (1897). В самой первой главе романа появляются неестественно злобные волки («я видел вокруг нас кольцо волков, с белыми зубами и вываливающимися изо рта языками, с длинными, жилистыми ногами и лохматой шерстью. Они были во сто раз страшнее в жуткой тишине, которая объединяла их, чем даже тогда, когда они выли. Что касается меня, я ощутил какой-то паралич страха...» и т.д.), которые оказываются послушными воли молчаливого кучера Дракулы. Как волки, так и цыгане-разбойники угрожающе сопутствуют «героям» в заключительной поездке в замок Дракулы, пытаясь преградить им путь к своему повелителю, Вампиру. К предположительному времени написания «Черного Дика», именно «бешеные волки» также вошли (возможно, из тех же источников, см. ниже; об увлечении Ал. Блоком романом «Дракула» — в русском переводе — в это же время см.: Баран X. Некоторые реминисценции у Блока: Вампиризм и его источники // Баран X. Поэтика русской литературы начала XX века. М., 1993. С.267) в поэтическую мифологию самого Гумилева: к декабрю 1907 г. относятся следующие строки из ст-ния «Волшебная скрипка»: «Духи ада любят слушать эти царственные звуки, / Бродят бешеные волки по дороге скрипачей...» (№ 89 (I)). Стр. 82-83 — приводятся Э.Д. Сампсоном в связи с его рассуждениями о том, что «Черный Дик» отличается от других рассказов Гумилева того времени своим сравнительно простым и заземленным языком: «разговорный тон более подчеркнут в начале рассказа, а затем он постепенно уступает место более нейтральному, литературному стилю: «литературный» в том смысле, что он соответствует нормам стандартного, не разговорного литературного языка, хотя есть отдельные места, отмеченные «книжной изящностью» <...> с употреблением лингвистических и художественных рессурсов, не присущих предположительному повествователю <цит. стр. 82-83>. В начале, автор создает иллюзию устного пересказа, а потом сам подспудно берет повествование на себя (Sampson Earl D. The Prose Fiction of Nikolaj Gumilev // Berkeley.

Pp. 279—281). Стр. 93-94 — ср. ст-ние Гумилева 1906 г. «Крест»: «Когда я вошел, воспаленный, безумный, / И молча на карту поставил свой крест» (№ 48 (I)). Святотатственный жест Черного Дика имеет явный резонанс в русской литературной традиции, прежде всего в рассказе Мышкина о пьяном солдате («...в совершенно растерзанном виде. Подходит ко мне: «Купи, барин, крест серебряный, всего за двугривенный отдаю ...») в «Идиоте» Ф.М. Достоевского (Т.1 ч. 2. гл. 4). Но такой эпизод — менее значим для не-православной, протестантской страны, где ношение нательного креста не является обязательным. Стр. 101-109 — ср., во-первых, окаянную Джанет, которая считается не дочерью, а сестрой дьявола («sib to the de`il»), часто бормочет про себя, утрачивает способность «говорить, как подобает христианке», а в день перед смертью также поет про себя: «...иногда погромче, но ни один человек, рожденный от женщины, не мог бы разобрать слова ее песни» (Stevenson. Vol. 6. Pp. 98, 99, 103). Но Джанет, к концу рассказа, действительно как будто бы воплощает в себе нечистую силу, в то время, как девочка в «Черном Дике» представляет собой чистую, светлую противоположность как «темному» язычеству «Большого острова» в восприятии повествователя, так и темной сексуальности черного Дика. К тому же, гумилевский образ «бедной помешанной, давно бродившей по грязным задворкам» не имеет (и, в культурологическом отношении, вряд ли мог бы иметь) точного соответствия у англо-шотландского писателя Стивенсона; не исключено, что элементы изображения матери-ребенка в «Черном Дике» также синтетически перекликаются с еще одним памятным местом из Достоевского: описанием «...городской юродивой, скитавшейся по улицам и известной всему городу по прозвищу Лизавета Смердящая. Говорить она ничего не говорила уже по тому одному, что не умела говорить... Ходила она всю жизнь, и летом и зимой, босая и в одной посконной рубашке. Почти черные волосы ее, чрезвычайно густые, <...> всегда были запачканы в земле, в грязи». Помимо сходных мотивов скитания по местности, грязи, одежды, неумения говорить и, в более общем, сюжетном плане, пьяного, издевательского насилия над невинной жертвой, есть и мотив одновременно «демонического» и светлого происхождения невинного ребенка: суеверный Григорий отзывается следующим словами о младенце, при рождении которого умирает Лизавета: «Боже дитя-сирота всем родня, ... а произошел сей от бесова сына и от праведницы» (Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы. Кн. 3. гл. 2—3). Стр. 129-131 — ср. в «Похитителе трупов» Стивенсона, где Феттес, бестолково опьянелый, то клюя носом над своим третьим бокалом, то озадачено озираясь вокруг себя, услышав имя Макфарлэна: «мгновенно протрезвел; его глаза проснулись, его голос стал ясным, громким и ровным, и он стал выражаться убедительно и серьезно. Мы все изумились его преображению, как будто бы человек воскрес из мертвых» (Stevenson. Vol. 3. P. 296). Стр. 135-136 — ср. вышеупомянутую расправу прихожанами Балвири с «окаянной Джанет»: «женщины <...> содрали с ее спины одежды и поволокли вниз по деревне к реке Дуль, посмотреть, ведьма ли она или нет» (Stevenson. Vol 6. P. 98). «Испытание холодной водой», как способ опознавания ведьмы — не выдумка, и не пустая угроза. В 1560-е годы, в разгаре пресловутых западно-европейских гонений на ведьм, оно

получило даже официальную юридическую санкцию. В Шотландии, последний судебный процесс над ведьмой имел место в 1722 г., и соответствующее законодательство было отменено в 1736 г. Но, по-видимому, испытание холодной водой время от времени практиковалось суеверным местным населением вплоть до второй половины XIX века (см.: Trevor-Roper H.R. The European Witch-Craze of the 16th and 17th Centuries. 1967; repr.: Harmondsworth, 1978. P. 68; Thomas Keith. Religion and the Decline of Magic. 1971; repr.: Harmonsdworth, 1978. Pp. 536, 539—540). Об интересе Стивенсона к истории гонений на ведьм в Шотландии свидетельствует его вышеприведенное краткое авторское примечание к «Окаянной Джанет». Стр. 157 — об оккультных ассоциациях образа «чудовищных распластанных жаб» см. комментарии к № 3 наст. тома. Стр. 159 — слово «дольмен» (от древнекельтского *tol* = стол + *men* = камень) обозначает мегалитическое сооружение, сложенное из каменных плит, и — в соответствии с мрачным колоритом данного описания — предположительно служившее усыпальницей. Чаще всего, он состоит из трех или более отшлифованных, вертикально установленных плит, перекрытых сверху массивной горизонтальной плитой, иногда наклоненной назад или (жабообразно?!) выпирающей вперед. Обычно оставлялось отверстие для вхождения внутрь. Некоторые дольмены прикрывались низкими земляными или каменными курганами. Следует добавить, в свете гумилевского сравнения со «спящими черепами», что по утверждению некоторых исследователей, соотношение длины и средней ширины внутренней камеры дольменов составляет 1:1,6 — такое же, как у человеческого черепа. В любом случае, как констатирует И. Ерыкалова, дольмены являются здесь «знаком присутствия древних темных сил земли, противных христианству» (Ерыкалова И. Проза поэта // АО. С. 292). Они датируются, по разным подсчетам, примерно от 5000 или 4000—1500 гг. до н.э., и встречаются в нескольких районах Британских островов, в том числе и в Шотландии: в сравнительно небогатом мегалитическими памятниками районе юго-восточной Шотландии все-таки насчитывается более ста каменных кругов, стоящих камней и т.д. Но наибольшая концентрация дольменов в западной Европе — в Бретани, на севере Франции — местности, к друидическому прошлому которой Гумилев, как кажется, обратился примерно в это же время, в фервале 1908 г., в ст-нии «Камень» (см.№ 104 (I) и комментарий к нему). Первые строки ст-ния явно созвучны описанию «дольменов» в «Черном Дике»: «Взгляни, как злобно смотрит камень, / В нем *щели страшно глубоки, / Под мхом* мерцает скрытый пламень; <...> Он вышел черный, вышел страшный...». Есть более отдаленное тематическое сходство и в дальнейшем — в том, как в ст-нии разрабатывается тема злобной, мстительной языческой силы, с мотивами «жалкого хруста ... костей» и пьяной, чуть ли не вампирической («Лишь утром он оставит дом», и т.д.) сытости «горячей кровью». Стр. 161-162 — ср. мифический образ «морских коней» в № 1, стр. 100-112. Стр. 154-179 — общемифическая атмосфера чудесного, на фоне которой изображена не только природа острова, с легендами о «древних мохнатых жителях» и пр., но и девочка, дочь морского дьявола, очаровывающая морских рыб, кажется созвучной с описаниями легендарного в «Веселых

молодцах». Так, например, «... местные жители рассказывали немало историй про Арос. <...> Существовала <...> легенда о несчастном морском духе, обитающем в кипящих валунах и творящем там страшное и злое дело. Однажды в Песчаной бухте русалка встретила волынщика и всю долгую летнюю ночь пела ему так, что на следующее утро застали его сосшедшим с ума, и с тех пор до дня своей смерти он повторял только одну фразу <...> : «Ах, сладостное пение, доносящееся из моря!». Известны случаи, когда тюлени, обитавшие на этом берегу, заговаривали с людьми на их человеческом языке и предсказывали великие бедствия. И именно здесь впервые вступил на землю некий святой...» (Там же. С. 121-122). Гордон Дарнавэй, которому не раз мерещится присутствие таящегося морского чудища, вспоминает, как в прошлом, с борта корабля, он однажды увидел, «но неясно» (ибо простой человек не мог бы ясно видеть и «продолжать жить в своем теле») «морского дьявола, или морского духа, или еще какую-то нечисть». Услышав это, его слуга «уязвленный глубоким чувством обиды, рассказал несколько историй про русалок, про духов, и морских коней, которые выходили на берег на острова и нападали на команды кораблей в открытом море», и т.д. (Там же. С. 132-133). Однако, в отсутствии дословных совпадений, можно указать и на более неожиданные параллели к другим текстам. Так, например, «сказочный» элемент в изображении девочки подчеркивается некоторым сходством с «Русалочкой» Г.-К. Андерсена, в начале которой, в коралловом дворце морского короля: «Рыбки подплывали к маленьким принцессам, ели из их рук и позволяли себя гладить» (Андерсен Г.-К. Сказки. М., 1958. С. 56). Принцесса-русалочка, героиня этой сказки, также покидает (правда, добровольно) замкнутое волшебное владение свей молодости, чтобы впервые ознакомиться с «человеческим» миром (в данном случае, когда ей исполняется пятнадцать лет), при этом, возникает мотив языка: переходя туда с помощью морской ведьмы, русалочка лишается дара речи (ее «красивого» голоса). Однако, Д.С. Грачева проводит параллель с образом «панночки» из «Майской ночи или утопленницы» Н.В. Гоголя, и указывает на возможное сходство с некоторыми чертами Катерины из повести «Страшная месть» (см. ниже) (Грачева III). Стр. 170-171 — развивая параллель с Катериной Н.В. Гоголя, Д.С. Грачева пишет: «Как дикая, сторонящаяся людей девочка живет на острове, так и уже безумная Катерина «бежит от людей, и с утра до позднего вечера ходит по темным дубравам». <...> Катерина предстает перед своим мучителем — отцом, когда спит: он вызывает ее душу <...> Рисуя своих героинь спящими, как Гоголь, так и Гумилев с одной стороны хотят показать их невинность, беззащитность, а с другой, подчеркивают охоту темной силы именно на душу» (Грачева III). Стр. 175-176 — ср. в «Веселых молодцах»: «Я вскарабкался обратно на камни, и подбросил путанную растительность к своим ногам. В тот же момент что-то резко зазвенело, как падающая монета» (Stevenson. Vol. 6. P. 144). Стр. 200-202 — сходное внезапное изменение внешности претерпевает д-р Ланион — по-видимому, в результате столкновения с Хайдом — в «Странной истории Доктора Джекила и Мистера Хайда». «Признаки быстрого физического разложения» наблюдает в нем его друг, Уттерсон, увидевший его здоровым лишь неделю назад:

«Розовощекий мужчина побледнел; он осунулся и похудел; он заметно облысел и постарел» (Stevenson. Vol. 6. P. 42). Ср. также заключительную фразу «Окаянной Джанет»: «с того самого часа он сделался таким, каким вы теперь его знаете» (Там же. С. 107). Стр. 221-222 — ср. описание того, как перетаскивается обернутый мешковиной труп фермерши, в конце «Похитителя трупов» (Stevenson. Vol. 3. Pp. 315—316). Стр. 228-230 — ср. заключительную сцену стремительной погони за Гордоном Дарнавэем по опасным, мокрым скалам в «Веселых молодцах». Тема охоты на человека встречается и в «Странной истории Доктора Джекила и Мистера Хайда», в котором Джекил с ужасом признает себя «общей добычей человечества, предметом охоты, бездомным» («the common guarry of mankind, hunted, houseless») (Stevenson. Vol. 6. P. 85). Стр. 222-223, 238-240 — проводя сравнение «Черного Дика» со ст-нием «Сегодня у берега нашего бросил...» (№ 50 (I)), Ю.В. Зобнин писал: «И в балладе, и в рассказе главными героями являются антиподы, причастные, соответственно, к «добру» и «злу» — что обуславливается многократно варьирующимся во всех стилистических уровнях приемом контраста, — а «толпа» мечется от одного «вождя» к другому, и в конечном счете, не может пристать ни к одному» (Зобнин Ю.В. Странник духа (о судьбе и творчестве Н.С.Гумилева) // Русский путь. С. 27). Ср. также: «Люди, окружающие Черного Дика и подчиняющиеся ему низки и жалки, они — стая <...> вокруг своего вожака, у которого они ищут защиты, которого боятся и ненавидят, которому безоговорочно подчиняются. «Стае» чужна охота и удовлетворение похоти, и вожак понимает ето <...> Черный Дик ведет своих друзей туда, куда они уже готовы пойти» (Грачева II. С. 225). Стр. 242-244 — «Ивас из повести «Вечер накануне Ивана Купала» умирает так же страшно, как и девочка из рассказа «Черный Дик». Оба они приносятся в жертву при помощи человека и попадают в зубы к нечистой силе» (Грачева III). Стр. 246-250 — отмеченный выше элемент вампиризма становится особенно очевидным при сопоставлении с описанием первого вампирического нападения на Джонатана Харкера в «Дракуле» Б. Стокера: «Я боялся приподнять веки, но взглянул <...>. Белокурая девушка встала на колени и нагнулась надо мной с явным злорадством. Было в ней какая-то намеренная сладострастная чувственность, одновременно волнующая и отвратительная, и в то время, как она сгибала свою шею, она даже лизнула свои губы, как зверь, и я увидел в лунном свете как сверкает влага на алых губах и на красном языке, облизывающем белые острые зубы. Ее голова опускалась все ниже и ниже...» (Stoker B. Dracula: A Tale. Oxford, 1983. P. 38). И хотя в «Черном Дике» сексуальные роли мужчины и женщины — инвертированы, не менее .примечательно, что в обоих произведениях сексуальный акт вампирического насилия (у Гумилева вдобавок — педофилически-некрофилического характера!) прерывается появлением мужского агрессора (или агрессоров). У Стокера это — сам Дракула, — и тут выявляются дальнейшие параллели с подробностями гумилевского описания: «Но в тот момент мной молниеносно овладело другое ощущение. Я осознал присутствие Графа <...> я увидел, как его крепкая рука схватила тонкую шею белокурой женщины и оттащил ее назад с чудовищной силой. Ее голубые глаза бешенно

преобразились, ее белые зубы скрежетали от ярости <...> А Граф! Я никогда не представлял себе такого остервенения и злобы <...> Его глаза положительно пылали. В них горел красный огонь, такой жуткий, как будто за ними полыхали языки адского пламени» (Там же). Существует и не менее любопытная перекличка — позы Черного Дика, «вцепившегося когтистыми лапами» в свою добычу, с волчьей темой упомянутого выше ст-ния Гумилева «Волшебная скрипка»: «Тотчас бешеные волки в кровожадном исступленьи / В горло вцепятся зубами, встанут лапами на грудь» (№ 89 (I)). (Добавим, что в той же сцены из «Дракулы», Граф делает повелительный жест рукой, напоминающий Харкеру тот жест, которым ранее были усмирены волки). Это безусловно открывает интересные интерпретационные возможности. Однако, Д.С. Грачева приводит другую, русскую параллель к данному месту «Черного Дика»: «Этот страшный мотив Гумилев <...> заимствует у Гоголя: ведьма из «Вечера накануне Ивана Купала», сообщница Басаврюка, «вцепившись руками в обезглавленный труп», пьет из него кровь» (Грачева III). Стр. 254-255 — ср. с драматическим моментом жуткого опознания (убитого Грея, вместо трупа фермерши, которую везли «похитители»), составляющим последнюю фразу рассказа Стивенсона «Похититель трупов»: «Дикий крик радался в ночи; <...> и лошадь <...> галопом поскакала в направлении Эдинбурга, везя с собой, единственного пассажира в двуколке, труп умершего и давно уже вскрытого Грея» (Stevenson. Vol. 3. P. 317).

8. Речь. 27 июля 1908 (№ 178).

ТП -- СС IV -- ТП 1990 -- ЗС -- Проза 1990 -- СС IV (Р-т) -- Соч II -- СПП -- Русский путь -- Русский путь 2 -- СС 2000 -- ТП 2000 -- АО -- Проза поэта; Кодры. 1989. № 4; Лит. Россия. 17 июня 1988.

Дат.: до 22 апреля 1908 г. (н.ст.) — по письму к Брюсову (ЛН. С. 476) и упоминании в письме от 14 июля 1908 г. (ст. ст.) о публикациях в «Речи» (ЛН. С. 481)

22 апреля 1908 г. (н.ст.) Гумилев сообщает Брюсову: «Я работаю много, написал два рассказа и много стихов...» (ЛН. С. 476), однако, в отличие от стихотворений эти «два рассказа» «мэтру» посланы не были, поскольку, вероятно, изначально предполагались не для публикации в «Весах» (туда готовилась «Скрипка Страдивариуса» (см. комментарии к № 10 наст. тома)). Об их судьбе Гумилев сообщает в письме от 14 июля 1908 г. (ст. ст.): «...Речь взяла три [рассказа] и просит еще...» (ЛН. С. 481). В газете «Речь» были напечатаны рассказы «Черный Дик» и «Последний придворный поэт» (возможно, третьим из упомянутых был «Лесной дьявол» (см. комментарии к № 11 наст тома), не прошедший затем из-за «рискованности» тематики и переадресованный Гумилевым более «свободомыслящей» «Весне»).

Современной Гумилеву критикой рассказ замечен не был, а затем упоминался в работах о Гумилеве для иллюстрации взглядов поэта на миссию художника (прежде всего — художника-акмеиста). Так, В. Полушин писал, что Гумилев «в «Последнем придворном поэте» говорит о том, что художник, торгующий совестью, обречен на

забвение» (ЗС. С. 28), О.Обухова тематически соединила его со «Скрипкой Страдивариуса» («рассказы о трагедии искусства» — см.: Обухова О. Ранняя проза Гумилева в свете поэтики акмеизма // Гумилевские чтения 1996. С. 121), а Вяч. Вс. Иванов видел в рассказе пророчество Гумилева о собственной творческой судьбе (в ее версии, предложенной Ивановым): «Поэт — герой рассказа, по словам автора, в ответ на предсказание, чем «кончится его служба... нахмурился бы еще мрачнее, негодующим презрением отвечая на предсказание, как на неуместную шутку». Но и молодой Гумилев едва ли бы согласился с предвещанием будущих своих стихов. <...> ...Молодой автор (в год опубликования рассказа Гумилеву было всего 22 года) сам описал возможную перемену поэта, внезапно перед концом (если не жизни, то службы при дворе) расстающегося с традиционной манерой [писания стихов]. <...> Гумилев сходен с героем своего рассказа еще и тем, как внимательно читает всех поэтов — своих современников. Быть может того не осознавая, он учился у каждого из них — не только у Блока, как все крупные поэты его поколения, но и у этих последних, — но стало это видно лишь в поздних стихах, где Гумилев одновременно и акмеист, и футурист (причем крайний), и имажинист» (Иванов Вяч. Вс. Звездная вспышка (поэтический мир Н.С.Гумилева) // СтПРП. С. 6-7). Р.Л.Щербаков, вслед за В.А.Рождественским, отмечал, помимо того, «влияние Андерсена и Уайльда» на стиль автора и подчеркивал, что «в стилистическом отношении этот рассказ — одна из наибольших удач Гумилева» (Соч II. С. 428). Очевидно, наиболее плодотворными для сопоставления с рассказом Гумилева являются изящные сатирические «придворные» сказки О.Уайльда «Счастливый принц», «Выдающаяся Ракета» и «День рождения Инфанты». Из сказок Андерсена некоторую основу для сближения с «Последним придворным поэтом» могут представлять «Соловей» и «Скверный мальчишка». Любопытные сближения героя с чеховским Беликовым и... Пушкиным имеются в работе Д.С. Грачевой: «Отчужденность от мира, желание спрятаться от него, постоянно повторяющийся мотив футляра-табакерки аллюзивно отсылает нас к рассказу А. Чехова «Человек в футляре». Действительно, между гумилевским поэтом и чеховским Беликовым много общего: один занимается мертвым языком, другой пишет «мертвые стихи». <...> Более того в жизни обоих случается скандал.., который меняет размеренное течение существования в оболочке. Но с этого момента герои идут разными дорогами. Беликов всю жизнь боялся «как бы чего не произошло», и разразившийся скандал — по большей части внешний по отношению к нему. Придворный поэт сам сознательно идет на обострение ситуации, понимая к чему это все приведет. <...> Произошедшее приображение поэта отсылает нас к нескольким пушкинским текстам: «Пророку» («отверзлись вещие зеницы, как у испуганной орлицы»; «моих ушей коснулся он и их наполнил шум и звон»), к стихотворению «Осень» («И мысли в голове волнуются в отваге, / И рифмы легкие навстречу им бегут, / И пальцы просятся к перу, перо к бумаге, /Минута — и стихи свободно потекут»), к стихотворению «Поэт» («В заботах суетного света / Он малодушно погружен; / Молчит его святая лира; / Душа вкушает хладный сон, / И меж детей ничтожных мира, / Быть может, всех ничтожней он. / Но лишь боже-

ственный глагол / До слуха чуткого коснется, / Душа поэта встрепенется, / Как пробудившийся орел». Вкладывая в уста своего героя пушкинский текст, Н. Гумилев подчеркивает то, что старый поэт действительно достиг высшей гармонии в своих стихах. <...> Эта параллель рождает несколько догадок: а ведь А. Пушкин тоже был последним придворным поэтом, он тоже оказался в опале за неугодные стихи, а жена его, тоже красивая и легкомысленная (как полагали большинство поэтов «серебряного века» и, скорее всего, Н. Гумилев), хоть и не сбежала, но предпочла ему другого. И пусть даже гумилевский поэт кажется таким непохожим на Пушкина, тень великого классика вырисовывается за его текстовым силуэтом». (Грачева Д.С. «Тексты культуры» и «тексты жизни» в рассказе Н. Гумилева «Последний придворный поэт» (рукопись)).

Всплеск интереса к рассказу произошел после публикации материалов П.Н.Лукницкого, в которых содержался ахматовский «ключ» к гумилевскому прототипическому «шифру» «Последнего придворного поэта», ставшего, как это сейчас ясно, в творчестве Гумилева средоточием т.н. «царскосельского круга идей», возникших в результате личного и творческого общения с И.Ф.Анненским (см.: Ранний Гумилев. С. 80-113). «В подтексте новеллы ощутимо преклонение поэта перед автором «Кипарисового ларца»» (Ерыкалова И. Проза поэта // АО. С. 281).

О возникновении ахматовской версии прототипа главного героя рассказа имеется подробная запись П.Н.Лукницкого от 5 декабря 1925 г.: «А.А. открыла сегодня, что в «Последнем придворном поэте» Николай Степанович говорит об Анненском. И нашла одинаковые места в «Письмах о русской поэзии», в стихотворении «Памяти Анненского» и в «Последнем придворном поэте». Всюду, где возникал у Николая Степановича образ Анненского, возникали и предметы, связанные в памяти Николая Степановича с ним. И А.А. убедилась, что у Николая Степановича существуют какие-то «пучки» — так мысль об Анненском вызывает в нем мысль о бюсте Еврипида, о Леконте де Лилле, то есть о разговорах с Анненским и об обстановке его комнаты и т.д.

«У Николая Степановича есть что-то звериное: по запаху вещи узнают хозяина».

А.А. думает, что на изучение, на знание Леконта де Лилля Николая Степановича натолкнул Анненский.

Николай Степанович иногда, когда пишет об Анненском, пишет в его стиле (см. «Письма о русской поэзии», но не о «Кипарисовом ларце»).

Говорили о методе Николая Степановича — теперь уже совершенно ясен этот метод. И он одинаков как по отношению к произведениям Николая Степановича «от жизни», и по отношению к произведениям Николая Степанович «от книг»» (Acumiana. С. 296).

Фигура Иннокентия Федоровича Анненского (1855-1909), действительно, не совсем обычная, стала сразу после его смерти одной из устойчивых «царскосельских легенд». Блестящий лирический поэт и один из крупнейших знатоков античной литературы, Анненский в то же время сделал быструю и успешную карьеру педа-

гогического чиновника и, будучи в 1896-1906 гг. директором царскосельской Николаевской мужской гимназии, удивлял и раздражал окружающих его педагогов и литераторов своей «генеральской» манерой держаться. По свидетельству одного из мемуаристов, педагога, историка театра и филолога-классика Б.В.Варнеке, в его жизни Анненский был «одним из самых сложных людей из всех, кого приходилось встречать»: «Я до сих пор глубоко чту его как одного из лучших русских классиков и образованнейших людей вообще, каких довелось встречать в России. <...> Но эти положительные стороны его личности невольно тускнели и отступали на задний план, когда приходилось сталкиваться с тем смешным и противным, что бросалось <в> глаза при непосредственном с ним общении, особенно на деловой почве. <...> Очень высокий и стройный, он своим обликом напоминал тех кавалеров, какие попадались на французских иллюстрациях 60-х годов. Сходство с ними усиливал покрой его щегольского платья с подчеркнутым уклоном в сторону мод 60-х годов. Галстухи широкие из черного атласа, такие, как у него, я видал только на портретах герцога Морни. На манер французских дворян времен III империи подстригал он и свою бородку, от которой всегда сильно пахло тонкими духами и фиксатуаром. Длинные ноги его с очень высоким подъемом над ступней плохо гнулись, и походка получалась тоже какая-то деланная. Среди филологов и педагогов такая фигура была совсем необычна. <...> Также необычно было сочетание его вкусов и интересов. Равняясь с лучшими нашими классиками в знакомстве со всеми сторонами античного мира, Иннокентий Федорович, однако, был по университету учеником воинственного слависта В.И.Ламанского. <...> В Ученом комитете Министерства народного просвещения, службой в котором он очень дорожил, И.Ф. по преимуществу разбирал учебники русской грамматики. <...> По своим знаниям И.Ф. вполне годился на кафедру в университете, и лекции его там, наверно, доставили бы удовольствие и пользу слушателем, но «учителем» он был бы плохим даже в высшей школе: интересуясь только самим собой, он едва ли имел бы терпение так работать со студентами, чтобы действительно научить их серьезной работе. К преподаванию в средней школе он не годился вовсе и по неумению подойти к детям, и по полному отсутствию интереса к учебному делу... Но еще хуже проистекало его директорство в административном отношении. Совершенно не интересуясь деловой стороной и хозяйством, он свалил эти обязанности вполне и целиком на эконома и письмоводителя, и некто Козьмин, объединявший эти должности, великолепно втирал ему очки, рассыпаясь мелким бесом угодничества, какое И.Ф. принимал весьма благосклонно. Охотно нес он одну сторону генеральского представительства...» (Иннокентий Анненский в неизданных воспоминаниях. С. 71-76). Тем неожиданней был контраст между Анненским — «чиновником от педагогики» и Анненским — поэтом, следовавшим в своем творчестве самым радикальным европейским поэтическим школам: «Кроме белиберды и противного ломания, я здесь ничего не видал и не вижу. По молодости лет не приходила мне только тогда в голову мысль, как близко к гибели то общество, среди которого один из таких «магов» мог оказаться во главе учебного заведения. Французы ни Верлена, ни Малларме не назначали директором

гимназии и не поручали им оценку учебных книг по должности члена Ученого комитета. Античность с Писемским и Стефаном Малларме мог сплести в один узел только человек, сложившийся под очень противоречивыми влияниями» (Иннокентий Анненский в неизданных воспоминаниях. С. 72-74). Ахматова в беседах с Лукницким еще более драматизировала это «анненское» противоречие: по ее мнению, поэт Анненский в последние годы жизни пережил некий радикальный чудесный «переворот», полностью эманципировавшись от эстетических вкусов своего круга: «Опять говорили об Анненском, о том, какой он «высокий», хороший, большой поэт. Он очень поздно начал, Анненский, и А.А. не жалеет, что неизвестны его ранние стихи, — есть данные предполагать, что они были очень плохими» (Acumiana. С. 303). По мнению Ахматовой, «переворот» в Анненском произвело чтение поэтов «новой школы», книги которых приносил ему Гумилев (в 1903-1906 гг. — ученик царскосельской Николаевской мужской гимназии), и которых Анненский затем «превзошел»: «...А.А. стала читать мне письма И. Анненского к Маковскому. Из них видно, что В. Иванова Анненский впервые прочитал в 1909 г. «Ох, труден», — пишет Анненский. А.А. думает, что на чтение новых поэтов — например, таких как Кузмин, Потемкин и т.д., Анненского натолкнул Николай Степанович. Вероятно, он приносил ему книги и вел с Анненским по этому поводу беседы. Вообще же для А.А. несомненно, что общение Николая Степановича с Анненским приводило к влиянию как первого на второго, так и второго на первого — влиянию в жизни и творчестве. <...> Теперь уже установлено, что в литературные круги, в «Аполлон», вообще в литературную деятельность втянул Анненского Гумилев, что знакомству Анненского с новой поэзией сильно способствовал Гумилев... Известно и раньше было, что Анненского открыл (для Потемкина, Кузмина, Ауслендера, Маковского, Волошина и т.д.) Гумилев» (записи от 5 и 10 декабря 1925 г., см.: Acumiana. С. 297-304). И Ахматова, и, тем более Варнеке, конечно, не совсем правы — коль скоро речь идет о действительной, «фактической» жизни Анненского (см.: Иннокентий Анненский в неизданных воспоминаниях. С. 63-64; Анненский И.Ф. Письма к С.К.Маковскому (публ. А.В. Лаврова и Р.Д.Тименчика) // Ежегодник рукописного отдела ИРЛИ (Пушкинского Дома) АН СССР на 1976. Л., 1978. С. 222-241; Федоров А.В. Иннокентий Анненский — лирик и драматург // Анненский И.Ф. Стихотворения и трагедии. Л., 1990. С. 5-50 (Б-ка поэта. Большая сер.)). Однако в цитируемых источниках наиболее контрастно сфокусирована схема «легенды Анненского» — история чиновника, интеллектуала, консерватора, «классика» и «сухаря», оказавшегося на поверку тончайшим лириком и вдруг, прямо «перед заходом солнца» поразившим молодых поэтов-современников необычайными, затмевающими их собственные произведения стихами (в эпоху «позднего» акмеизма «легенда Анненского» активно культивировалась Ахматовой и Мандельштамом среди молодых поклонников в несколько иной акцентировке: в пику «профессиональным» поэтам Брюсову и Вяч.И.Иванову, стремившихся играть роль «мэтров» среди литературной молодежи 1900-х гг., но так и не создавших сколь-нибудь значительной собственной «школы», «никому не известный» Анненский объявлялся подлинным «учите-

лем» акмеистов). В контексте царскосельских «поэтических» легенд «легенда Анненского» безусловно была еще и опосредована «легендой Жуковского» — «придворного поэта» в прямом смысле этого слова, — поэтический пересказ которой дан самим Жуковским в знаменитом «Царскосельском лебеде»:

Дни текли за днями. Лебедь позабытый
Таял одиноко; а младое племя
В шуме резвой жизни забывало время...
Раз среди их шума раздался чудесно
Голос, всю пронзивший бездну поднебесной;
Лебеди, услышав голос, присмирели
И, стремимы тайной силой, полетели
На голос: пред ними, вновь помолоделый,
Радостно вздымая перья груди белой,
Голову на шее гордо распрямленной
К небесам подъемля, — весь воспламененный,
Лебедь благородный дней Екатерины
Пел, прощаясь с жизнью, гимн свой лебединый!

Эту коннотацию в «легенде Анненского» именно Гумилев закрепил в русской литературе широкоизвестным афористическим определением:

К таким нежданным и певучим бредням
Зовя с собой умы людей,
Был Иннокентий Анненский последним
Из царскосельских лебедей.
(«Памяти Анненского»)

Так связь в его творчестве образа Анненского с образом «придворного поэта» оказывается очевидной (см.: Ранний Гумилев. С. 95-96).

Если «влияние» Гумилева-гимназиста на Анненского, на котором настаивала Ахматова, является проблематичным, то влияние Анненского на поэтическое самоопределение будущего лидера акмеистов — бесспорно. Содержание воспетых Гумилевым бесед «о традиции и новаторстве» (если верить Ахматовой), касалось (насколько это можно понять по сохранившимся косвенным источникам в гумилевском творчестве — см.: Ранний Гумилев. С. 86-87, 96-104 и комментарии к ст-ниям № 66 (II) и 108 (II)) классической литературы и филологов-классиков, самым ярким примером которых для Анненского был Леконт де Лиль, а смысл их можно реконструировать, используя пассаж из статьи Анненского об «Эринниях»: «Леконт де Лиль был классиком, а вот уже почти сто лет, как в словах «поэт-классик» звучит для нас нечто застылое, почти мертвенное. Классик смотрит чужими глазами и говорит чужими словами. Это — подражатель по убеждению; это — вечный ученик, фаустовский Вагнер. У классика и творчество и заветы подчинены чему-то внешнему. За схемами искусства он, классик, забывает о том, что вокруг идет жизнь.

Он боится света, боится нарушенной привычки и пуще всего критики, если эта критика дерзко посягает на безусловность образца. <...> Между тем самый *классицизм* гораздо глубже лежит во французском сознании, чем кажется иногда его противниками из французов. <...> Всякий французский поэт и даже вообще писатель в душе всегда хоть несколько да классик. Будете ли вы, например, отрицать, что когда Верлен в своей «Pensйe du soir» рисует старого и недужного Овидия у «сарматов» и кончает свою пьесу стихами:

O, Jesus, Vous m'avez justement obscurci
Et n'etant point Ovide, au moins je suis ceci, —

Здесь говорит не только le pauvre Lelian, но и культурный наследник Рима?

Или разве когда какой-нибудь «старый богема» объявляет стихами Мориса Роллина:

Je suis hideux, moulu, racorni, dejute!
Mais je ricane encore en songeant qu'il me reste
Mon orgueil infini comme l'eternite, —

вы не чувствуете здесь чего-то более сложного, чем раздражительное высокомерие нищего интеллигента, и именно благодаря тому, что этот интеллигент сознает себя человеком римской крови?

В кодексе классицизма значится вовсе не один *вкус* Буало, кодекс этот требует также особой дисциплины. Мера, число (numerus, nombre) — вот закон, унаследованный французами от Рима и вошедший в их плоть и кровь. <...> Итак — вот путь славы Леконта де Лиль. Ему не суждена была популярность Ростана, поэта нарядной залы и всех, кто хочет быть публикой большого парижского театра. Тем менее он мог претендовать на «власть над сердцами», которая так нужна была Виктору Гюго. <...> Как ни странно, но его славу создавала не духовная близость поэта с читателями, а, наоборот, его «отобщенность» от них, даже более — его «статуарность». Его славу создавала школа, т.е. окружавшая поэта группа молодых писателей, и ее серьезное, молчаливое благоговение перед «мэтром» импонировало более, чем шумный восторг» (Анненский И.Ф. Леконт де Лиль и его «Эриннии» // Анненский И.Ф. Книги отражений. М., 1979. С. 409-417 (Литературные памятники)).

Итак, если параллель "Анненский — Жуковский" давала Гумилеву мотив собственно «придворного поэта» и образ внезапно поразившей «молодежь» поэтической «лебединой песни», то параллель "Анненский — Леконт де Лиль" давала мотив «оправдания классицизма», реабилитации его творческой потенции в контексте творчества молодой поэтической «богемы» (вроде Верлена и Роллина). В совокупности оба эти мотива и являются содержательным основанием «Последнего придворного поэта».

Впрочем, образ самого героя рассказа, создававшегося практически «параллельно» со «Скрипкой Страдивариуса» (о связи этих произведений см. выше и в комментариях к № 10 наст. тома) оказался наделенным некоторыми чертами Николо

Паганини, колоритная фигура которого, по всей вероятности, являлась в сознании молодого Гумилева идеальным воплощением творческой натуры в целом.

Стр. 1-2 — «ленивыми королями» называли потомков первого франкского короля Хлодвига Меровинга, в период власти (середина VI — начало VII в.) которых в объединенном саллическо-ринуарском франкском королевстве царила полная анархия. Стр. 28-31 — кабинет Анненского был «притчей во языцех» у всех, знавших поэта царскоселов и всегда особо выделялся при описании его жилища: «Уже самый красный кабинет в роскошной казенной квартире при гимназии показывал, что хозяин незаурядный человек. Строгий выбор гравюр по стенам, заставленным шкапами с ценнейшим подбором книг, всю зиму вазон с живыми цветами на письменном столе говорили, что здесь живет и работает не «человек в футляре», а художник, привыкший окружать себя всеми условиями утонченного западного обихода» (Б.В. Варнеке). Образ кабинета в сознании современников органично «сливался» с образом самого поэта: «И на всю жизнь мне запомнился темно-зеленый глубокий кабинет с огромными библиотечными шкафами, с белым бюстом Эврипида на одном из шкафов, — грустные и как бы усталые глаза с полуопущенными веками и тонкие, удивительно красивые нервные руки поэта, листающие какую-то французскую маленькую книгу в темном кожаном переплете» (В.С.Срезневская). Недаром, именно с кабинетом отца «прощается», узнав о внезапной смерти Анненского, его сын: «Перед отъездом (на опознание тела в морг Обуховской больницы — *Ред.*) я зашел на секунду в кабинет отца. Ведь этот — еще *его* кабинет я вижу в последний раз в жизни. Через какой-нибудь час это будет уже *просто комната.*

На письменном столе привычно и спокойно горит лампа, нежно пахнут красные, увядающие розы в граненом хрустале у чернильницы. Сбоку, под заложенной разрезательным ножом книгой белеют листки какой-то рукописи, а на книге поблескивает луна. Толстая стопка еще дневной почты сверху на бюваре, придавленная press papier с портретом матери... Тускло поблескивают переплеты книг в двухэтажных дубовых шкапах, желтая прабабка мертво улыбается над малиновым вольтеровским креслом...

Все так знакомо, так привычно... И в то же время — уже ничего нет» (см.: Иннокентий Анненский в неизданных воспоминаниях. С. 94). Именно эти черты присутствуют и в стихотворении Гумилева «Памяти Анненского», но с добавлением характерного «сумрака»:

О, в сумрак отступающие вещи,
И еле слышные духи,
И этот голос, нежный и зловещий,
Уже читающий стихи!

Стр. 30-31 — коллекционирование драгоценных табакерок — страсть Паганини. Об этом знали все (в Вене даже специально выпускались табакерки с изображением его портрета) — и пользовались этим для того, чтобы вызвать расположение «маэстро». Так, в Дрездене в начале 1829 года он дал концерт для короля и

королевы Саксонии, на котором присутствовали лишь придворные и члены королевской семьи — и получил в награду драгоценную табакерку, наполненную золотыми дукатами. 23 мая того же 1829 года австрийский император присвоил ему почетный титул «камер виртуоза» — и передал при этом золотую табакерку. А на официальном приеме в Варшаве ему подарили золотую табакерку с надписью: «Шевалье Николо Паганини от почитателей его таланта. Варшава. 19 июля 1829 г.» (см.: Paganini. Pp. 250, 277, 254, 289). Стр. 63-64 — Царское Село находится в 16 километрах от Петербурга; о литературных вкусах, господстовавших среди его обитателей Ахматова отзывалась презрительно: «В этом страшном месте все, что было выше какого-то уровня — подлежало уничтожению» (Анна Ахматова. Десятые годы. М., 1989. С. 34). Стр. 93-96 — М. Баскер обращал внимание на общую формулу, описывающую стихи Аненского в ст-нии «Памяти Анненского» («В них плакала какая-то обида, / Звенела медь, и шла гроза...») и стихи Придворного поэта («с медным звоном встречались рифмы»): «...Звон меди и «бушевание» грозы, которые Гумилев улавливает в поэзии Анненского, кажутся... неожиданными. <...> ... «Медная музыка» привычно ассоциировалась среди других и у самого Гумилева с символистской поэзией Валерия Брюсова — другого «учителя», чье раннее влияние на него, в действительности, значительно перевесило влияние Анненского и всех других. И поэтому можно хотя бы предварительно заключить, что своим весьма своеобразным в этом смысле восприятием-изображением Анненского Гумилев намекает на известное внутреннее сближение с его стихами своей собственной поэзии, внешне иной, «декоративной».., и во многом инспирированной Брюсовым. Но, как можно понять на основании рассказа Гумилева... элемент полемической натяжки при этом на самом деле, пожалуй, значительно меньше, чем может с первого взгляда показаться. В «Последнем придворном поэте» рассказывается о том, как анонимный поэт-герой неожиданно бросает долгую и спокойную карьеру... чтобы создать в конце-концов настоящую поэзию. В ней «с медным звоном встречались рифмы», в то время, как сила этой поздней творческой «грозы» описывается пропорционально длине последующего затишья (см. стр. 44 — *Ред.*). И как впоследствие обнаружила на основе ряда словесных перекличек и подробностей описания кабинета «придворного поэта» Анна Ахматова, в своем рассказе Гумилев опять-таки (хоть и в замаскированной форме) «говорит об Анненском». Иначе говоря, еще за три года до сочинения «Памяти Анненского»... образы «меди» и «грозы» уже ассоциировались у Гумилева с творчеством старшего поэта» (Ранний Гумилев. С. 90-91). Упомянутые М.Баскером «словесные переклички», отмеченные Ахматовой — вероятно фраза из рецензии Гумилева 1909 г. на «Вторую книгу отражений» Анненского: «Время Экклезиаста прошло безвозвратно. «Суета сует и всяческая суета» для нас только «медь звенящая, кимвал бряцающий». Мир стал больше человека, и теперь только гимназисты (о, эти вечные гимназисты мысли!), затосковав, шалят с пессимизмом. Взрослый человек (много ли их?) рад борьбе. <...> Мне представляется, что автор «Книги отражений», почуяв первое веянье древней тоски, не улыбнулся, не нахмурился, а вздохнул облегченно, как человек, наконец нашедший свое

дело. Колдовством своей бессонной мысли, как Аэндорская волшебница, стал вызывать он тени былых пророков и царей, чтобы говорить с ними о деле жизни. <...> Но он всегда поэт, и каждая страница его книги обжигает душу подлинным огнем» (Соч III. С. 172-173). Как видим, весь образный «ряд» рассказа — «медь», вызывание «прекрасных образов», «былых призраков из глубин неведомых пропастей» и «обжигающий огонь» («гроза») — здесь повторен. Стр. 98-103 — история с «придворным» возвышением и скандальным «изгнанием» была в биографии Паганини. В 1805 году он согласился принять пост директора придворного оркестра при старшей сестре Наполеона Марианне Элизе в маленькой итальянской республике Лукка. В скором времени он стал там первым скрипачем и первым солистом, а Элиза, пристрастная к тонкостям придворного этикета, считала, что он должен иметь звание и мундир, чтобы присутствовать на официальных приемах. Она сделала Паганини капитаном королевских жандармов (ее собственной гвардии). Он стал придворным фаворитом (и, по общему мнению, — любовником Элизы) и весьма охотно сочинял музыку «к случаю». В 1808 г. он на время уехал на гастроли, тогда как двор Элизы переместился во Флоренцию, куда она настойчиво приглашала прибыть и Паганини. В день возвращения он появился на придворном празднике в пышном мундире капитана королевских жандармов. Элиза просила его переодеться во фрак, но он сказал, что вправе носить то, что ему нравится, и даже после повторной просьбы продолжал демонстративно ходить в этом мундире взад и вперед. Тогда Элиза в приступе ярости тут же уволила его; Паганини поспешно уехал и более не возвращался, несмотря на ее мольбы (см.: Paganini. P. 93-108, 129-130). Впрочем, в дальнейшем Паганини отнюдь не чуждался «придворной» жизни, наоборот, — выступая перед коронованными особами, он более или менее откровенно сыскивал себе «настоящий» титул, каковой и получил в 1830 г., став бароном и командором Вестфальского двора.

9. Русская мысль. 1908. № 8.

ТП -- СС IV -- ТП 1990 -- ЗС -- Проза 1990 -- ОС 1991 -- СС IV (Р-т) -- Соч II -- СПП -- Круг чтения -- Русский путь -- Русский путь 2 -- СС 2000 -- АО -- Проза поэта; Мистика серебряного века; Кодры. 1989. № 4; Лит. Россия. 17 июня 1988.

Дат.: до 15 июня 1908 г. — по письму к Брюсову (ЛН. С. 479-480).

В отличие от некоторых других рассказов того же периода, «Принцесса Зара» в сохранившейся переписке Гумилева нигде по названию не упоминается и не поддается точной датировке. В своем письме от 15 июня 1908 Гумилев сообщил Брюсову, что «Русская мысль» «взяла один мой рассказ и просит еще», предполагая отправить туда залежавшуюся у Брюсова в редакции «Весов» «Скрипку Страдивариуса» (ЛН. С. 479-480). Безусловно, рассказ, уже принятый в это время «Русской мыслью», была «Принцесса Зара»; а по получении не дошедшего до нас ответа своего учителя, Гумилев послал вдобавок не «Скрипку Страдивариуса», а

другую, уже давно имевшуюся у Брюсова рукопись — «Золотого рыцаря»: последний появился вместе с «Принцессой Зарой» под общей рубрикой «Две новеллы» в августовском номере «Русской мысли» (о жанровом определении «новелл» см. выше, в комментариях к «Радостям земной любви»). Такая история публикации соответствует утверждению П.Н.Лукницкого о том, что «Принцесса Зара», так же, как и «Скрипка Страдивариуса», «Черный Дик» и «Последний придворный поэт», была написана «весной 1908 г.» (Жизнь поэта. С. 71). Но не исключено, что этот рассказ был создан немного раньше, — к самому началу 1908 г., когда Гумилев отправил Брюсову того же «Золотого рыцаря», обещав, что он скоро пошлет «уже специально для «Раннего Утра», без посягательства на «Весы»», еще один рассказ, который был «уже написан, но еще не отделан». (Два дня спустя, он снова подтвердил Брюсову, что «скоро <...> должен прислать рассказ»; письма от 7 и 9 января 1908 г. — ЛН. С. 462-463). Как известно, в «Раннее утро» ни один рассказ Гумилева не пошел, и «Принцесса Зара», по всей вероятности, была послана не Брюсову а непосредственно в редакцию «Русской мысли». Но из всех дошедших до нас, точно не датированных рассказов Гумилева этого периода (помимо «Принцессы Зары» — «Черный Дик», «Последний придворный поэт», «Лесной дьявол»), именно «Принцесса Зара» с наибольшей вероятностью может быть предположительно приурочена ко времени завершения работы над «Золотым рыцарем» (конец декабря — первые дни января 1908 г.(по н. ст.)). К этому заключению приводят, прежде всего, близкие тематические переклички с другими «африканскими» произведениями, точно датирующимися концом 1907 г.

Исходный биографический момент, приведший к созданию рассказа, фиксируется с большей определенностью. Подобно «Радостям земной любви», «Лесному дьяволу», а в более косвенной форме, возможно, и другим рассказам — «Принцесса Зара» явно отображает сложные перипетии отношений Гумилева с Анной Горенко — Ахматовой. По более позднему специфическому утверждению самой Ахматовой: ««Зара» объясняется тем, что Н.С. думал, что ничего не было, а затем сказала, что было» (Acumiana. С. 157). Таким образом, автобиографический подтекст рассказа изначально восходит к «роковому» посещению Гумилевым Ахматовой на даче Шмидта в августе 1907 г., когда, по откровенному признанию Ахматовой, имели место разговоры, «из которых Николай Степанович узнал, что АА не невинна. Боль от этого довела Николая Степановича до попытки (*на самом деле, попыток — Ред.*) самоубийства в Париже» (Acumiana. С. 143). Однако, судя по всему, «разговоры» на этом не кончились, и Ахматова — в феврале уже давшая согласие выйти замуж — продолжала мучить Гумилева неопределенностью относительно своего сексуального опыта, держа его в состоянии постоянной неуверенности: «... в течение 4-х лет беспрестанно говорила Николаю Степановичу то, что «было», а потом, что «не было», все время ... («Это, конечно, самое худшее, что я могла делать!»)» (Acumiana. С. 143). (Если «Радости земной любви», которые Гумилев с нетерпением хотел увидеть напечатанными, принадлежат к некоей полосе примирения и надежд в ноябре 1907 г. (см. прим. к № 4 наст. тома), то это позволяет заключить, что «Принцесса

Зара», о которой он, по понятным причинам, не распространялся в своей переписке и, возможно, так и не отправлял на суд Брюсову, вполне могла быть сочинена лишь немного спустя, в период новых, мрачных сомнений.) Комментируя признания Ахматовой, М. Баскер писал: «Непосредственное отношение этих болезненных обстоятельств к рассказу о самоубийстве воина с озера Чад, обманутого легкомысленно солгавшей ему о том, что «было», молодой Принцессы, вряд ли подлежит сомнению. Безусловно, это многое проясняет как в общем замысле рассказа, так и в его мелодраматичной развязке <...>. Но автобиографический элемент все же глубоко замаскирован под почти непроницаемой оболочкой экзотики, и настолько интимен, что он, должно быть, был совершенно недоступен читателям-современникам» (Баскер I. С. 131).

Другим, чисто литературным импульсом к созданию «Принцессы Зары» вероятно послужили романы Генри Райдера Хаггарда — о котором Гумилев пренебрежительно отозвался в рассказе «Вверх по Нилу», как о писателе, неспособном увидеть тайны, которые находят в самой «обыденной» экзотике «люди тысяча девятьсот шестого года» (см. № 3 наст. тома и комментарии к нему). На этот источник гумилевского замысла также указал М. Баскер: «Центральным для каждого из самых знаменитых произведений Райдера Хаггарда — «Копи царя Соломона», «Аллан Кватерман», «Она» — является путешествие от прибрежной периферии в неизведанную глубь Африки, в поисках затерянного или запретного царства, полуфантастичного, сказочно-прекрасного, богатого или заманчиво опасного». В описании Гумилевым «потаенных, поистине сказочных владений Светлой Девы» исследователь соответственно выявляет ряд словесно-тематических параллелей ко всем трем романам английского писателя (см. ниже, в построчном комментарии). М. Баскер также обращает внимание на то, что «в двух произведениях Райдера Хаггарда, затерянным царством правит женщина («Она») или женщины («Аллан Кватерман»). Как и Принцесса Зара (при первом взгляде на которую «статный пришелец понял, что он не ошибся, придя сюда»), героини Хаггарда наделены чрезвычайной красотой, и перед ними беспрекословно преклоняются. И если Зара, переселившись <...> на «священное озеро Чад», должна выявить свою истинную сущность, как Светлая Дева лесов, то королевы-сестры в «Аллане Кватермане» стоят в центре культослужения, а Айеша — «Она» — обладает аурой божества. Более того, о гумилевской Светлой Деве, «единой и божественной», говорится, что она «не умирает, но иногда оставляет свою прежнюю оболочку, является в другой среди бедных человеческих селеиий». В остальное время, она живет в уединении, так, что «только случайно можно увидеть ее», и племя Зогар молится ей иевидимой. Загадочная Айеша тоже держится вдали от людей: «Ее можно было увидеть очень редко, пожалуй, раз в два или три года, когда она появлялась, чтобы вынести приговор каким-нибудь правонарушителям, и когда ее видели, она вся была окутана в мантию, так, что никто не мог узреть ее лицо» (гл. 7). Айеша в течение двух тысяч лет <...> не умирает, приблизившись почти что к бессмертию; и хотя в этом смысле ее действительно можно было бы описать «единой», тем не менее бытует ложное мнение о том, что она время от времени перевоплощается, рожая дочь, которая как

будто бы принимает ее оболочку, заменяя ее при смерти... <...> Сходство с миром Райдера Хаггарда (заключающееся <...> не в дословных реминисценциях, а в сжатой и своеобразной переработке Гумилевым определенных мотивов и общего фона действия) наблюдается и в некоторых других элементах рассказа. Благородность и стройная благовидность племени Зогар <...> сопоставимы, пожалуй, с изумительно статной внешностью племени кукуанов, обитающего в стране «колдовства, прекрасных вещей и храбрых людей» «Копей царя Соломона»: мужчины там — «красивее и крупнее даже зулусов» (гл. 2), а женщины — «чрезвычайно хороши собой. Они высокие и изящные, и их фигуры — изумительно прекрасны» (гл. 8). И если безымянный гумилевский воин, носивший на лбу священный знак избранника, выделяется среди своих соплеменников, как «сильный среди сильных, отважный среди отважных», то в этом он похож на сопровождающего белых открывателей в царство племени кукуанов Умбопаса (как доказывает опять-таки таинственный опознавательный знак на его теле — короля-изгнанника, возвращающегося в свои законные владения), и на сыгравшего такую же путеводную роль в «Аллане Кватермане» храброго Умслопогааса, чьи воспоминания о давнишнем, смертельно опасном путешествии-побеге на север (безостановочно в течение трех месяцев — «трех лун») напоминают тяжелые испытания <...> восьмимесячного пути («восемь раз полумесяц становился луной») гумилевского воина из Чада в Занзибар». Сходства «Принцессы Зары» с произведениями Райдера Хаггарда также отмечаются в таких немаловажных моментах, как «пренебрижительном отношении <...> к Занзибару, как к месту торговли деньгами, жадной меркантильности и <...> деятельности ростовщиков» (что особенно заметно у обоих писателей по контрасту с «таинственной топографией центрального царства, стоящего фактически вне исторического времени»); в эпизоде и самом способе самоубийства на глазах у возлюбленной; наконец, в тематике мусульманства и некоторых этнических приметах главных героев» (Баскер II. С. 140-143).

Некая исходная ориентация на Райдера Хаггарда все же не исключает для Гумилева-прозаика возможного наличия других литературно-культурных источников и влияний. «В изображении второстепенных персонажей — старухи-сводни, с ее «успокоительными подмигиваниями и смешками», и угодливой невольницы негритянки <...> ощущается некоторое сходство с «гаремной тематикой» сказок «Тысячи и одной ночи». Образ Светлой Девы, «единой и божественной» <...> выявляет непосредственное влияние русского символизма — однако <...> в несколько причудливо-своеобразной переработке Гумилева, так, что в несоответствии между представлением воина о непорочности Девы и поведением «реальной» Зары угадываются (в психологическом преломлении горького личного опыта?) предпосылки для будущего остро полемического высказывания Гумилева о том, что Прекрасная Дама Блока «просто девушка, в которую впервые был влюблен поэт» (Баскер II. С. 142). «Гаремная тематика» также широко отражалась в живописной традиции европейского романтизма, для которого изображение «светлой» красавицы, «оттененной» на втором плане сгорбленной (обычно темнокожей) старухой-прислугой или рабыней-

негритянкой, являлось устойчивым лейтмотивом. В свете вероятных источников следует также обратить внимание на рассказ Р.Л. Стивенсона «The Fair Cuban» («Прекрасная Кубинка», или же «Светлая Кубинка», 1885), в котором невинная красавица-героиня — рабыня, но на самом деле дочь прицессы, светлокожая как ее мать, несмотря на их происхождение от рода африканских королей — в момент смертельной опасности объявляет себя перевоплощением великой жрицы Мэндизабал. Так же, как и гумилевская светлая Дева, она не умирает (хотя обстоятельства ее «смерти» как будто бы достаточно подробно показаны в рассказе), а покидает свою прежнюю «оболочку» чтобы «явиться в другой»; и хотя «прекрасная кубинка» по своей внешности даже отдаленно не похожа на черную, страшную Мэндизабал, но, назвавшись ее именем, она у туземцев и местных моряков становится объектом беспрекословного преклонения и обожания.

Более частым предметом исследовательского внимания являлись образно-тематические переклички «Принцессы Зары» с собственными произведениями Гумилева — как правило, в связи с рассуждениями о жанровой динамике и устойчивых мифологемах его творчества (ср.: «Путем сопоставления... текстов <...> нетрудно различить общие контуры мифа о сказочно-великолепном Эдеме <...> имеющем либо прямую связь со все освящающем своим присутствием идеалом юной и прекрасной Девы, либо антитетическую связь с реальным образом возлюбленной женщины» (Баскер I. С. 126)). По мнению И. Ерыкаловой, «описание пути гонца роднит текст новеллы с классическими описаниями африканского континента в стихах Гумилева «Нигерия», «Абиссиния», «Галла» и др. <...> «Принцесса Зара» предстает символом африканской земли в произведениях Гумилева». (Ерыкалова И. Проза поэта // АО. С. 285-286). Другие исследователи плодотворно сопоставляли «Принцессу Зару» со стихотворениями Гумилева об озере Чад. «Нередко у рассказов Н.Гумилева, — пишет Диана Грачева, — есть стихотворные «двойники», в которых он «проигрывает» ситуацию, часто меняя местами черное-белое. Стихотворение «Озеро Чад» в сюжетном смысле — перевернутый двойник рассказа «Принцесса Зара», а в идейном — «Дочерей Каина». Светлая Дева-жрица, совершавшая таинственные обряды, идет за европейцем, покидает таинственный мир, в котором жила раньше и, оказавшись в мире земном, теряет свои силы. Мир земной и неземной бесконечно далеки друг от друга. Все попытки их сблизить оканчиваются трагедией». (Грачева Д. Тема любви в рассказах Н.Гумилева «Радости земной любви», «Дочери Каина», «Принцесса Зара» // Русская филология. 15. Сборник работ молодых филологов. Тарту: Tartu Ulikooli Kirjastus, 2004. С. 92). К содержательным заключениям по поводу тематической и жанровой специфики рассказа приходит на основе того же сопоставления и С.Н. Колосова: «В основе новеллы «Принцесса Зара» и стихотворения «Озеро Чад», — отмечает она, — лежит легенда о прекрасной женщине, которой было отведено высокое предназначение, и она, поддавшись искушению, разрушает свою жизнь и жизнь пришельца и теряет возможность постичь недоступные земному человеку пределы. Причем в прозаическом произведении план романтический выражен более ярко, а в поэтическом — на

первом месте подчеркнуто-грубый реалистический сюжет, а собственно лиризм и легендарное заложено в подтекст. Стихотворение и новелла в совокупности представляют некую сферу, центром которой является легенда о сказочном озере Чад. Таким образом, смещалось традиционное понятие о поэтическом и прозаическом — имеет смысл говорить о жанровом синтезе в творчестве Гумилева» (Колосова. С. 13). М. Баскер ориентировался на исследования Р. Якобсона по фунциональному определению словесной коммуникации в попытке пространного сравнения «Принцессы Зары» с другим стихотворением из цикла «Озеро Чад» — «Жирафом» (написанным в октябре 1907 г.: см. наст. изд. т. I. С. 400; ср. также наст. изд. т. I. С. 412, 414). Обнаруживая, что в рассказе преобладает характерная для лирической поэзии «поэтическая фукция» (установка на «содержание как таковое» — message as such — со сильной примесью эмотивной функции — ориентации на «говорящего»), он писал: «В рамках сюжета воин, ослепленный своим не соответствующим реальности иделизированным представлением о Принцессе-адресате, до того увлечен своей собственной риторикой, что совсем не способен оценить ее реакции. Эти два главных персонажа рассказа настолько не находят общего языка («Ты хорошо говоришь ... но я не знаю того, о чем ты говоришь»), не разделяя нужного коммуникативного кода, что отсутствует истинный психологический конфликт. Между ними нет внутреннего «контакта»; и рассказ строится на оппозиции двух взаимно-исключающих друг друга миров: приключений и ограничений; открытых и закрытых пространств (широких равнин — гарема); чистого, честного, примитивного, с одной стороны, декадентствующе-порочного — с другой. В более абстрактном плане, противопоставляютя два разных модуса мышления: возвышенно-романтический и приниженно-реалистический; <...> «поэтический» и «прозаический».

В данном поэтическом тексте, однако, такое противопоставление представляется несколько проблематичным. Основное место действия — Занзибар, или «мир Принцессы» — при всем своем экзотизме, достаточно конкретно обрисовывается в авторской речи; и хотя время (историческая эпоха) происходящего не определено, вряд ли это препятствует условному читательскому восприятию его «реальности». «Мир воина» относится к совершенно иному хронотопу — «запрещенной для людей» сакральной долине Чада, абсолютно индиферентной к конкретному историческому (не-циклическому) времени, сууществующей вне всяких нормальных условий бытия <...> Но воин повествует об этом мире «чудесного», как о реально существующем: как о своей собственной родине, к тому же доступной теперь занзибарской принцессе». По мнению исследователя, «это может восприниматься, как попытка внедрения «поэтического» в «прозаическое» — мотивации композиционно-цетрального поэтического монолога [воина] законами (реалистической) прозы. Это придает рассказу налет онтологической неопределенности...». А в «Жирафе» тот же тематический материал («далекое озеро Чад») и тот же, в сущности, драматический конфликт (страстный рассказчик-«поэт», невосприимчивая женщина-адресат; несовместимость двух хронотопов) переданы с перемещением акцентов на коммуникативный акт (не самовыражение героя, а попытку *общения*, с установкой на адресата):

«Внимание перенесено с запрятанных автобиографических реалий на сам текст и его коммуникативные функции; с реального автора на реального (но не уникального читателя)». Вопрос о реальности хронотопа устранен тем, что таинственное царство Чад представлено не родиной а вымыслом рассказывающего; наблюдается усиление разговорной лексики и интонаций. Этим и объясняется парадоксальное впечатление «сравнительной прозаичности» стихотворного текста — который, тем не менее, «явно отличается высокой искусностью своей формальной организацией» и подчеркнутой «металитературностью» (см.: Баскер I. С. 129-135).

Говоря о тематических перекличках рассказа необходимо также обратить внимание и та то, что, спустя десять лет элементы его сюжета и специфическая эротическая символическая образность оказались — в совершенно новой трактовке — включенными Гумилевым в трагедию «Отравленная туника» (см. ниже в построчных комментариях).

В более общем плане, при сходной оценке «поэтичности» «Принцессы Зары», Е. Подшивалова видела в этом рассказе (как, впрочем, и в «Золотом рыцаре» — см. комментарии к № 5) черты, наиболее ярко воплотившие своеобразие всей гумилевской прозы, состоящее в том, «что он обращается не к бытовым, не к частным, а к знаковым, освященным литературной традицией событиям. И потому герои его также абстрактны и символичны. Гумилев воссоздает вневременные психологические ситуации (<...> каприз девической души в «Принцессе Заре» <...>). Событие по самой своей природе оказывается роковым, потому что после его совершения герой полностью освобождается от своей прежней сущности, его маленькое «я» остается наедине с вечным и истинно ценным. Так и Зара за минуту до того, как пошутила, не могла предположить, что ее шутка обернется трагедией утраченной веры. Каприз здесь сомкнулся с преступлением против человеческой души, хранящей заветы Пророка» (ОС 1991. С. 23). «Трагедию веры» также обнаруживает Д. Грачева: «Рассказ «Принцесса Зара» написан о вечном стремлении людей совместить таинственное, непознаваемое (Светлая Дева лесов) и земное (принцесса Зара) и об испытании земного возможностью стать не просто предметом преклонения (титул принцессы дает такое право), но обрести статус божества, а значит, новое имя, иное бытие. Испытание принцессы возможной причастностью к высокому провоцирует ее на искушение того, кто стал гонцом избравшего ее народа. Земная женщина, оказавшись не готовой поверить в возможность обретения божественного бытия, своим сомнением разрушает легенду, а значит, и веру гонца в перевоплощение: он убивает себя, разрушая связь между своим народом и «единой и божественной». Возможность совместить идеал и жизнь остается не осуществленной.» (Грачева Д. Тема любви в рассказах Н.Гумилева «Радости земной любви», «Дочери Каина», «Принцесса Зара» // Русская филология. 15. Сборник работ молодых филологов. Тарту: Tartu Ulikooli Kirjastus, 2004. С. 92).

Для С.Н.Колосовой, однако, трагическое заключается скорее в несоответствии этики с эстетикой: «Двойственная природа красоты — неизменный предмет «исследований» Н.С.Гумилева <...>. Романтические герои Гумилева сказочно красивы и

именно это становится ключевым моментом постороения произведений, поскольку красота — это и великий дар, и одновременно дьявольское искушение» (Колосова. С. 13-14). К подобному выводу пришла и О. Обухова, проследившая и в «Принцессе Заре» все три стадии того «переходного, инициационного мифа», который, на ее взгляд, составляет «сквозной мотив» всего раннего творчества Гумилева. Примечательно по отношению к «Принцессе Заре» ее утверждение, что третья, «последняя стадия — «инкорпорация и новое рождение» — может осуществляться и как рождение в смерть <...> либо строиться по оппозиции «призыв к испытанию / отказ». Отказ от любви и / или рая («Принцесса Зара»), отказ от благого труда искусства («Скрипка Страдивариуса»)». (см.: Обухова О. Ранняя проза Гумилева в свете поэтики акмеизма // Гумилевские чтения 1996. С. 121-123).

Стр. 1 — название племени «Зогар», как кажется, единственное из собственных имен и названий рассказа не имеет прямого этнографического соответствия. При общей произвольности в транскрипции африканских собственных имен, можно предположить, что имеются в виду древние туземные обитатели области Чада — Загава (Zaghawa), исторический след которых фактически пропадает после проникновения Ислама и возникновения мусульманской династии Сайфавидов (XI в.) (см.: Hiskett M. The Course of Islam in Africa. Edinburgh, 1994. Pp. 104-105). Но Гумилев, привезший на дачу Шмидта в 1907 г. какое-то из сочинений французского оккультиста Папюса (Acumiana. С. 176), не мог не знать, что принятая им форма названия «Зогар» занимает существенное место в системе оккультных наук, как название одной из двух основополагающих книг Каббалы (другая — «Сефер Иецира»). «Зогар» («Книга сияния») представляет собой пространное каббалистическое истолкование Пятикнижия, трактующее прежде всего Божественную Сущность и способы ее проявления (см.: Папюс. Кабалла, или Наука о Боге, Вселенной и Человеке. СПб., 1992. С. 18-20, 30-33). Одно из его основных учений — о так называемом «круге перевоплощений», в соответствии с которым, «если понадобится, душа пройдет многие существования» (Там же. С. 54); в связи с этим, считается, что «кожа, плоть, кости, вены — лишь покрывало, внешняя *оболочка*», но не сам Человек, неизменная, сокровенная сущность которого таится глубоко внутри (цит. по кн.: Regardie F. A Garden of Pomegranates. London, 1932. P. 92). Возможно, что гумилевское название для племени, которое поклоняется многократно перевоплощавшейся Деве, поэтому содержит косвенный намек на то, что оно является обладателем-хранителям сокровенных, эзотерических тайн. Это следует рассмотреть как в контексте вышеприведенных слов Гумилева о «тайнах, о которых не подозревал Райдер Хаггард», так и в свете концепции об истории человечества, «как тетрады рас, несущих с себе свет истинной мудрости: лемурийцы, атланты, черные и белые», в которой Н.А.Богомолов увидел одну из возможных причин увлечения Гумилева Африкой (см. Богомолов. С. 116-117). По утверждению Папюса, отдельные группы атлантов уцелели от погубившего их цивилизацию Потопа, сохранив свою эзотерическую традицию (Папюс. Первоначальные сведения по оккультизму. Гл. 8). В 1908 г. немецкий путеше-

ственник Л. Фробениус, возглавлявший очередную экспедицию в поисках «потерянной Атлантиды», искал уцелевшую дальнюю колонию атлантов в Эквиториальной Африке, считая их «эпигонами» племя иорубов — народность, внешне принявшую Ислам, но все же (как и Зогар) оставшуюся верной своему собственному «давнему, древнему завещанному предками единобожию» (подробнее об этом см.: Брюсов В.Я. Собрание сочинений. В 7 т. М., 1975. Т. 7. С. 427-431). Озеро Чад находится в северо-центральной Африке, на высоте 240 м. над уровнем моря. В начале XX в. это — четвертое по величине африканское озеро, площадью от 27 до 50 тысяч кв. км., в зависимости от сезона (оно находится в черте периодических дождей — от июня до октября — и наиболее переполняется водой в сентябре-октябре месяцах; однако, в результате экологического кризиса последних десятилетий XX в., его территория сократилась до одной десятой части прежней.) Берега озера были большей частью болотистыми и заросли папирусом, но южный берег отличался богатой тропической растительностью, и вся окружность — особенным обилием разнообразнейшей фауны: слоны, буйволы, газели, носороги, обезьяны, львы, пантеры, гепарды, леопарды, бегемоты, крокодилы; огромное количество миграционных птиц и т.д. В III веке н.э. значительные торговые пути уже связывали Чад с африканским Севером, а примерно к концу XI в. из коалиции воинствующих местных племен эти земли стали центром одной из величайших африканских империй — Канем. От районов Чада царство Канем распространилось далеко на север и запад (на территории современной Либии и Нигерии) — главным образом в связи с мусульманским джихадом под предводительством Дунамы Диббалеми (царствовал в 1221-1259 гг.). С XIV века царство начало ослабляться изнутри, переместилось к западу от Чада в Борну, но окончательно распалось только в 1840-ые гг. В конце XIX века территория Чада составляла часть Судана, а в 1904 г. вошла в состав французской колонии Убанги-Шари. Хотя озеро Чад было известно Птоломею, оно впоследствии «затерялось» для внешней «цивилизации». Первые сведения о нем проникли в Европу в 1823 г., и оно было более полно исследовано Бартом (1852) и Нахтигалем (1870-1872), предполагавшим существование большого подземного потока. Стр. 5 — население Африки представляло три наслоения: туземные расы; переселившиеся в глубокой древности хамитские народы; и в исторические времена пришедшие с северо-востока семиты, принадлежавшие к арабскому племени. Переселение последних из северной Аравии совпало с распространением Ислама, проникшего в Судан в VII в., а в районы оз. Чад — в XI в. При этом, многие из местных племен заменили свой первоначальный язык арабским. (см.: Энциклопедический словарь. Т. 4. СПб., 1891. С. 502-505). Стр. 8-15 — Занзибар — остров-город (на самом деле — архипелаг) в Индийском океане в 40 километрах к востоку от берегов Танганьики; в эпоху Гумилева Занзибаром назвалось также государство, заключающее береговую полосу материка. Занзибаром правил магометанский султан (у Гумилева — «бей» (вост. турецк.; также «бек» или «бег»), — титул, обозначавший владетельного особу или лицо царского происхождения). Смешанное население города составляли, главным образом, негры, затем сомали с восточного берега Африки,

и арабы. Он являлся крупным торговым центром, главными статьями вывоза которого были слоновая кость, каучук и т.п., а прежде всего, как намекает гумилевская старуха, — рабы. К концу XIX века он также стал главным опорным пунктом для экспедиций «белых» в восточную Африку. Как уже было отмечено выше, об экономическом богатстве, сравнительной дегенерации и меркантильном духа Занзибара отрицательно отзывался в своих романах Райдер Хаггард (см., например, «Копи царя Соломона», гл. 8; «Аллан Кватерман», гл. 1 и 4; ср. также острую критику современной цивилизвции и власти денег в финале последнего романа (гл. 23 и 24)). Стр. 10 — «Имя Зара восходит к русскому романтизму — очевиднее всего, к «Измаил-Бею» Лермонтова, хотя о более широком испоьзовании этого имени в эпоху романтизма можно судить по такому курьезу, как вышедшая в 1836 г. в Париже, на основе длительного русского опыта ее автора, поэма «Владимир и Зара, или Киргизы» (Clairmont C. Vladimir et Zara ou les Kirguises: подробнее см. Литературное наследство. Т. 91. М., 1982. С 502-505). Может быть, не лишено интереса в данном контексте <...> что имя Зара имеет более длинную родословную в (заведомо незнакомой молодому Гумилеву) английской литературе, начиная с пленной мавританской королевы, покончившей жизнь самоубийством в <...> «Невесте в трауре» Вилльяма Конгрива (1697), и тоскующей ширазской девы второй «Персидской эклоги» Вилльяма Коллинза (1742)» (Баскер II. С. 155). Стр. 13-15 — монета действительно чеканилась занзибарским султаном (см.: Энциклопедический словарь. Т. 23. СПб., 1894. С. 227); ср. также упрек в адрес ростовщиества в романе «Аллан Кватерман» (гл. 18). Стр. 21-23 — ср. в ст-нии «Сады души» (№ 85 (I)): «В них золотой песок и мрамор черный, / Глубокие прозрачные бассейны» — при последующем, повторном упоминании «розового» цвета. Стр. 33-34 — ср. мотив «ковров» в «Отравленной тунике» (ст. 212-213 первого действия № 7 (V)). Стр. 38 — ср. мотив «мускуса» в «Отравленной тунике» (ст. 154 первого действия № 7 (V)). Стр. 39-40 — М. Баскер приводит параллель с появлением Айеши перед своим народом — «вся ... окутанная в мантию, так, что никто не мог узреть ее лицо» («Она», гл. 7), а также с ее первым появлением перед повествователем романа в гл. 12 (см.: Баскер II. С. 143, 155). Стр. 40-43 — черты внешности принцессы имеют отчетливые соответствия в «эротических» стихах Гумилева этого периода: ср., напр., «кораллы нежных губок» («Самоубийство» (№ 76 (I))); «стан ее, стройный и гибкий, казался так тонок» («Отказ» (№ 80 (I)); о «гибкости» Зары см. ниже, стр. 130, 151); «Он смотрел на маленькие груди, / На браслеты вытянутых рук» («Заклинание» (№ 63 (I))); «Я браслетов не снимала с рук» («Озера Чад» (№ 95 (I))); «На смуглых руках и ногах трепетали запястья» («Варвары» (№ 119 (I))). Стр. 57-59 — ср. со ст. 104-106 первого действия «Отравленной туники» (№ 7 (V)). Стр. 66-75 — по наблюдению И. Ерыкаловой, «путь посланца к принцессе пролегал и по тем землям, где мечтал побывать Гумилев. 2 сентября 1910 г. он писал Брюсову: «Дней через десять я опять собираюсь ехать за границу, именно в Африку. Думаю через Абиссинию проехать на озеро Рудольфо, оттуда на озеро Викторию и через Момбад в Европу»» (Ерыкалова И.

Проза поэта // АО. С. 291). В любом случае, Гумилев, с его любовью к «стертым картам» (ср. ст-ние Ахматовой «Он любил три вещи на свете...»), описывает весьма реальный путь, пролегавший на протяжение по меньшей мере 3800 км. более или менее прямо на юго-восток от Чада в Занзибар. (В этом смысле «указание» «великого жреца» могло быть предельно простым, а путешествие воина, при всех его трудностях, вполне могло бы занять восемь месяцев тяжелейшей ходьбы). О. Обухова связывает путешествие воина с онерическим или визионерским «путем испытания» героя в многих других произведениях Гумилева, в том числе и в прозе («Гибели обреченные», «Вверх по Нилу», «Дочери Каина») (см.: Обухова О. Ранняя проза Гумилева в свете поэтики акмеизма // Гумилевские чтения 1996. С. 122-123). Специфика данного пути, где «великий жрец на холме» посылает «воина» в город «купечества», чтобы тот, вернувшись назад, восстановил «священное время» своему народу, может также напомнить о более позднем стихотворении Гумилева и сопряженной с ним «эзотерической» теории о «смене каст»:

Земля забудет обиды
Всех воинов, всех купцов,
И будут как встарь друиды
Учить с зеленых холмов

(см. № 106 (III); о концепции каст см. также: Богомолов. С. 117). Стр. 69 — река Шари — самый большой приток озера Чад. Длиной в 1200 км., она берет свое начало на северной возвышенности нынешней Центральной Африканской Республики; ее верхние и южные истоки были исследованы Ле Мэстром в 1892 г.; восточный, на водоразделе Нила, к началу XX века еще не был прослелован. В озеро Чад она впадает широкой дельтой с юго-востока; воину поэтому на самом деле пришлось бы пройти по реке против течения. Ниам-Ниам — народ нубийского племени в центральной Африке, который сам себя назвал Сандех («Ниам-Ниам» — или «Ньям-Ньям» — означает «обжора» на языке соседнего народа, Динки). Сандех, как в 1900 г. можно было узнать по энциклопедическому словарю изд. Брокгауза и Ефрона, «живут в области истоков Бар-эль-Газаля и водораздела между последним и реками, текущими к Конго и к Шари. В числе двух миллионов человек, Сандех распространились от нижнего течения Мболлу и Уэлле до верхнего Нила. <...> [народ] среднего роста, коренастый, мускулистый; голова круглая и широкая. <...> курчавые волосы, напоминающие шерсть, заплетаются в фантастические узлы и косы <...> к татуировке прибегают. Передние зубы оттачиваются в виде острия. <...> Людоедство господствует повсеместно. Оружием служат копья, кинжалы, кривые сабли, дротики <...> О религиозных воззрениях Сандеха почти неизвестно. Большую роль играют кудесники и гаданье» (Энциклопедический словарь. Т. 56. СПб., 1900. С. 256). В связи с их богом, ср. также ст-ние Гумилева 1913 г. «Африканская ночь»: «Им помогает черный камень, / Нам — золотой нательный крест» (№ 107 (II)). Стр. 71 — Укереве — прежнее название озера Виктории (Виктория-Ньянца). Это — самое большое из африканских озер и

второе по величине пресноводное озеро в мире, площадью в 70 тысяч кв. км., с изрезанной береговой линией, превышающей 7000 км. (Обход его, таким образом, мог бы существенно удлинить путешествие воина с Чада). С апреля по июнь на Укереве идут длительные дожди, с октября по декабрь — кратковременные. Туманы над озером бывают часто, особенно по утрам; над его мутной водой — хоть и не ядовитой, но представляющей существенную опасность для здоровья, как источник шистосомоза (бильгарциоза), — нередко наблюдаются и громадные тучи мух. Укереве открыл Спик в 1858 году, а затем исследовал Стенли (в 1875 и 1889 гг.). Стр. 72 — Нгези — экваториальный лес, ближе от центра Африки к Занзибару; в нем растут редкие, отчасти уникальные деревья. Ньязи (Ньямзи: «люди запада» — по определению прибрежных арабов, — или «люди луны») самая могучая этническая группа восточной Африки, занимавшая широкую полосу западной и центральной Танганьики (современное Танзании; в эпоху Гумилева — Германской Восточной Африки). Ньязи сложились в XVII-XVIII веках в результате миграций племен Банту. Они первоначально представляли собой мирное аграрное объединение, но по мере развития обширных торговых связей в Центральной и Восточной Африке, постепенно приобретали все более агресивно-воинствующий характер. В XIX в., закупив огнестрельное оружие, они создали постоянную армию. Стенли отозвался об их вожде Мирамбо в 1870-е годы, как о «Наполеоне Центральной Африки». Стр. 74 — Килима-Нджаро (орфографически правильнее, чем общепринятая форма Килиманджаро) — в буквальном смысле «снежная гора»; самая высокая точка Африки, находящаяся в горной стране Джагги, в 48 км. на юго-востоке от оз. Укереве. Остроконечная вулканическая гора достигает высоты 5703 м. (снеговая линия на высоте 5000 м.), и распространяется в общей сложности на 80 км. от запада на восток, с двумя другими вулканическими пиками. Стр. 76-78 — ср. наблюдение И. Ерыкаловой о присутствии в столкновении могучего чувства чернокожего прекрасного гонца и опасного остороумия обманувшей его принцессы «налета иронии, которую Гумилев называл «сущность романтизма» (Ерыкалова И. Проза поэта // АО. С. 285). Стр. 80-90 — с точки зрения Ислама, для которого «нет другого Бога кроме Аллаха, и Магомет его Пророк», поклонение некоей «Светлой Деве» являлось бы безусловным кощунством (о борьбе самого Магомета за «чистый монотеизм» и, в частности, о полемике по поводу «дочерей Аллаха», приведшей к отрицанию возможности «женского» божества см.: Peters F.E. Muhammad and the Origins of Islam. New York, 1994. Pp. 117-118, 161-162, 237-239). Но как было уже отмечено выше, сочетание магометанской веры с изначальными, более древними религиозными верованиями было широко характерным для африканских племен южнее Сахары. Стр. 90-92 — ср. мотив «ангельских крыльев» в «Отравленной тунике» (ст. 121-122 второго действия № 7 (V)). Стр.93-94 — Магомет «ушел в изгнание», поспешно сбежав из Мекки в Медину; с момента его бегства («Хиджра», 622 г. н.э.) ведет свое начало мусульманское летоисчисление. По одной версии, покидая Мекку по внушению архангела Габриэля, он и его спутник Абу Бакр вынуждены были украдкой вылезти из окна на задний двор дома, где их ждали

привязанными и уже оседленными два верблюда (гумилевского воина ждет «легконогий верблюд царственной породы», привязанный к пальме). Целью пути Магомета, которую он достиг в пятнадцатый день изгнания, была цепь оазисов: «в двенадцатый день после ухода из пещеры они стали подниматься по скалистому склону... К тому времени, как они дошли до вершины, солнце стало уже высоко, и была большая жара. В другой день они бы приостановились на время, чтобы отдохнуть, ...но теперь они решили добраться до самого верха, и когда наконец они увидели равнину внизу, они не думали удержаться. То место, которое снилось Магомету, «хорошо орошенная земля между двумя рядами черных камней», лежало перед ними, и темная зелень пальмовых рощ и более светлая фруктовых деревьев и садов простиралась к подножию, по которому они должны были спуститься» (Lings M. Muhammad and His Life, Based on the Earliest Sources. Cambridge, 1983. Pp. 118-120). Стр. 94-95 — важным моментом в жизнеописании Магомета является его так называемое «ночное путешествие», в течение которого он вознесся во сне через «семь небес», населенных праведниками и пророками, до ворот «бессмертной обители» (т.е. Рая). На седьмом небе его встретил праотец Авраам, который ввел его в Рай, где он увидел Деву с красными губами (см.: Guillaume A. The Life of Muhammad. Oxford and Lahore, 1955. Pp. 184-187). О роскошных, райских «садах Аллаха», вечно зеленеющих, с постоянно журчащей водой, часто говорится в «Коране»; гурии (арабск. «ослепительно белые») — темноглазые, поразительной красоты, непорочные девы; обитатели райских садов, где они покоятся на драгоценных коврах и диванах или целомудренно обслуживают правоверных, награждая их бесконечным блаженством. Стр. 98 — ср.: «Я, носитель мысли великой, / Не могу, не могу умереть» (№ 14 (III)). Стр. 100-117 — опыт стилистического анализа этих строк был проведен М. Баскером. Отметив, что «авторская речь рассказа ... мало отличается от речи неназванного героя» и что прямая речь воина занимает более половины текста, «что влечет за собой сравнительную статичность и отсутствия действия вплоть до драматической развязки», он обращает внимание на подчеркнутую поэтичность этого места, которую считает характерной для произведения в целом: «[Поэтичность] достигается, в первую очередь, за счет лексических средств — обилия экзотизмов (алоэ, ирис, мраморный грот, стадо жирафов) <...> и высокой частотности красочных эпитетов (так, например, в последних 6-и предложениях [113 слов] монолога героя используется 21 прилагателтное, при наличии всего 14 глаголов). Ключевую роль играет и разнообразное применение параллелизма <...> Это наблюдается на всех уровнях текста: фоническом — со сложным переплетением подчеркнутых аллитераций и ассонансов («в быстрых **пирогах** **переплывать вспененные реки, пока перед нами не засинеют священные** воды»; «солнце, ласковое и **нежное, не** дышит **зноем**, и его **сияние сливается с** прохладой», и т.д.); лексическом (простые словесные повторы, типа «Ты ... ты...», «Твои ... твои ...»; анафорическое сплетение пяти последовательных фраз начальным «Там» и т.д.); и синтактическом, где особенно примечательно преобладание простых и сложно-подчиненных кострукций с однородными частями речи. Присутствует и явная тенденция к симметричному распределению равночлен-

ных синтагм, иногда приводящая к созданию регулярных ритмических периодов («резвые, как кони, водопады», «Там пчелы темного золота /садятся на розы краснее, / чем мантии древних царей» и т.д.). Элемент повторности появляется и на уровне сюжета, с установкой, например, на повторяемость вечернего ритуала у мраморного грота (несовершенный вид глаголов и т.д.; ср. последующее обобщающее утверждение воина: «не раз это было, и не раз это повторится среди тысчелетий»)» (Баскер I. С. 128-129). Описание «владений Светлой Девы» имеет множество параллелей в других произведениях Гумилева: по утверждению того же исследователя, «в «Мике», «Приглашении в путешествие», и в более ранней лирике: «Озеро Чад», «Жираф», «Сады души», «Рощи пальм и заросли алоэ», «Баллада» из «Чужого неба»» (Баскер I. С. 127; ср. также: Обухова О. Ранняя проза Гумилева в свете поэтики акмеизма // Гумилевские чтения 1996. С. 123) Возможны также и параллели с романами Райдера Хаггарда: «это во многом напоминает пространное описание скрытого «далекого центра».., «земного рая», в романе «Копи царя Соломона»: «Рядом с нами <...> весело журчал ручеек, мягкий воздух тихо шептал сквозь листья деревьев, ворковали голуби, и яркокрылые птицы порхали с ветки на ветку, как живые драгоценные камни. Это походило на рай. Магия этой местности, совместно с всеобъемлющем ощущением того, что все опасности оставлены позади, и наконец-то достигнута обетованная земля, казалось, очаровала нас, наводя на нас глубокую тишину» (гл. 7). И далее: «По мере нашего продвижения, пейзаж становился все более и более прекрасным. Растительность была роскошной; солнце, не будучи тропическим, было светлым и теплым, но не знойным, и благостный ветерок нежно дул по благовонным склонам гор. И действительно, эта новая земля была почти что земным раем; по красоте, по природному богатству и по климату я подобной ей не видал» (гл.8). Та же художественная деталь изображения необычайно мягкого климата <...> подчеркнуто повторяется и в «Аллане Кватермане». <...> И даже в неприветливо-каменистом пейзаже романа «Она» в конце далекого пути неожиданно появляется некая «огромная чаша» изумительно плодородной зеленой земли» (Баскер II. С. 141). Стр.115-117 — «может быть, возможно услышать отдаленную перекличку с красочным описанием жирафов, вспугнутых от кристально-чистой воды вечернего водопоя появлением белых открывателей в «Копях царя Соломона»: Когда мы выбрались <...> мы неожиданно подняли с места стадо высоких жирафов, которые ускакали или, вернее, уплыли своим странным бегом, с завинченными над их спинами хвостами, звеня копытами, как кастаньетами (гл. 4)» (Баскер II. С. 143). Стр.124 — магнолия на самом деле растет в северной Америке и восточной Азии (Японии, Китае). Зато Занзибар славился своими роскошными садами и плантациями, с благоухающими цветами и ароматными экзотичными специями. Стр. 131 — ср. мотив «лилии» в «Отравленной тунике» (ст. 28-29 четвертого действия № 7 (V)).Общее значение этого мотива для литературы декадентства во многом объясняется следующими рассуждениями о картине Г. Моро «Пляска Саломеи» в хорошо известном молодому Гумилеву романе Г.-К. Гюисманса «Наоборот»: «Впрочем, художник, словно намереваясь подняться над эпохой, не обозначает точно ни места, ни

времени действия. Архитектура дворца, где танцует она, величественна, но не принадлежит никакому конкретному стилю, платье на ней — роскошный, но бесформенный хитон, волосы уложены в виде финикийской башни, как у Саламбо, а в руках священный у египтян и индусов цветок лотоса и скипетр Исиды.

Дез Эссент все пытался понять символический смысл цветка. Являлся ли лотос фаллическим, как в индуизме, символом? Или был для Ирода жертвоприношением девственности, кровью за кровь, раной за убийство? А может, являлся аллегорией плодородия, индуистским образом полноты бытия, или олицетворял цветок жизни, вырванный из рук женщины жадными руками самца, обезумевшего от страсти?

Или, может быть, художник, вручив богине священный цветок, имел в виду смертную женщину и сосуд нечистоты, от которого пошел грех и беззаконие? Или даже вспомнил об обычаях древних египтян и их погребальном обряде: жрецы и посвященные в тайны бальзамирования кладут тело на скамью из яшмы, крючками извлекают мозг через ноздри, а внутренности — из надреза в левом боку; затем они умащают мертвеца смолами и душистыми снадобьями, золотят ногти и зубы, но прежде кладут в гениталии, чтобы очистить покойника, воплощающие целомудрие лепестки лотоса» (Гюисманс Г.-К. Наоборот. Гл. 5).Стр.135-139 — ср. роль «европейца» в ст-нии «Озеро Чад» (№ 95 (I)). Стр. 148-150 — помимо уже отмеченных параллелей в романах Райдера Хаггарда (самоубийство королевы Сораис, кинжалом в грудь на глазах у ее любовника в «Аллане Кватермане»; жуткие размышления о самоубийстве любовников, пронзенных кинжалом в грудь, среди катакомб владений Айэши в гл. 16 романа «Она»), ср. также внезапное самоубийство другого воина, — «молодого сирийца», капитана королевского происхождения, в «Саломее» О. Уайльда. Воин, заколовшись в ее присутствии, падает мертвым у самых ног Саломеи («падает между Саломеей и Иоканааном»), не в состоянии вынести, опять-таки, непристойные речи обожаемой им женщины (намеренно дразнящей его, не слушающей его увещаний) в ее длинном, непомерно сладострастном обращении к св. Иоканаану. «Лживость» ее слов окончательно проясняется в конце пьесы, где подчеркнуто подтверждается девственность этой изумительно красивой молодой принцессы; между тем, кровь от самоубийцы, эксплицитно обагряющая пол дворца, становится тематически значимой. Следует добавить, что пьеса Уайльда являлась очевидным источником заключительных строк ст-ния 1907 г. «Заклинание» («Бледная царица уронила / Для него алеющий цветок»; ср. обещание Саломеи сирийцу: «... завтра, когда меня пронесут на моем ложе <...> я уроню для тебя маленький цветок», — при наличии в первом варианте ст-ния Гумилева ст.: «А царица, наклоняясь с ложа, / Мировой играла крутизной» (см.: № 63 (I) и раздел «Другие редакции и варианты»). Другие возможные отзвуки «Саломеи» в лирике Гумилева этих лет можно усмотреть в «дворцовой экзотике» «танцовщиц» и «цистерн» в ст-ниях «Каракалла» и «Семирамида» (№ № 53 (I), 158 (I)), и в параллели с описанием Саломеей глаз Иоканаана, «как черные озера, встревоженные фантастическими лунами» в первых строках ст-ния «Портрет мужчины» (№ 167 (I)). Но заметнее всего ее связь с концовкой другого рассказа, «Лесной Дьявол» (см.

комментарии к № 11 наст. тома). Стр. 1534-155— ср.: «Царица, иль может быть только капризный ребенок» («Отказ» № 80(I)). Стр. 157-158 — ср. мотив «верблюдов» и «гиен» в «Отравленной тунике» (ст. 111 первого, ст. 100, 161 второго, и ст. 6 четвертого действий № 7 (V)).

10. Весы. 1909. № 7. В стр. 182 исправлена очевидная опечатка: «погребения» вместо «покаяния».

ТП -- СС IV -- ТП 1990 -- ЗС -- Проза 1990 -- ШЧ -- СС IV (Р-т) -- Соч II -- Круг чтения -- Изб (XX век) -- СС 2000 -- ТП 2000 -- Изб 2000 -- АО -- Проза поэта; Мистика серебряного века; Музыкальная жизнь. 1987. № 18 -- Кодры. 1989. № 4.

Дат.: До мая 1908 г. — по письму к Брюсову (ЛН. С. 478).

Одно из самых значительных созданий раннего Гумилева, рассказ «Скрипка Страдивариуса» был передан В.Я.Брюсову для публикации в «Весах» (где к тому времени уже появились «Радости земной любви») при их второй встрече в конце апреля 1908 г. (см.: Соч III. С. 357). Вероятно, эта встреча была менее «безоблачной», нежели прошлогодняя (Гумилев впервые свиделся со своим постоянным корреспондентом и «учителем» 15 мая 1907 г.), ибо Гумилев за минувший год во многом разочаровался в символизме, в который ранее верил, по выражению Ахматовой, так, «как люди верят в Бога» (см.: Тименчик Р.Д. Заметки об акмеизме III // Russian Literature. 1981. IX. P. 176). По крайней мере в письме от 12 мая 1908 г. Гумилев, двумя месяцами ранее провозглашенный «мэтром» самым «перспективным» из «дебютантов» «новой школы» (см.: Брюсов В.Я. Дебютанты // Брюсов В.Я. Среди стихов: 1894-1921. Манифесты, статьи, рецензии. М., 1990. С. 261-262), уже вполне допускает возможность, что публикация его новых произведений в «Скорпионе» и «Весах» может быть сопряжена с некими «затруднениями», — и в очень осторожной, деликатной форме пытается «прощупать почву». «Теперь Вы конечно знаете, возьмется ли «Скорпион» за издание моих стихов, и я со жгучим нетерпением жду Вашего ответа по этому поводу, — пишет он, намекая, что вопрос об грядущем издании «Жемчугов» во время московской встречи, так сказать, «повис в воздухе». — Еще раз повторяю, что если объявление о моей книге будет печататься в списке изданий «Скорпиона», я буду ждать хоть два года. Мне было бы также интересно знать, пойдет ли в «Весах» мой рассказ «Скрипка Страдивариуса», потому что в случае отказа я мог бы предложить ее в другое место. Но с этим не торопитесь и прочтите ее, когда Вам будет удобно» (ЛН. С. 478). Ответ Брюсова пришел спустя без малого месяц, и Гумилев, очевидно не без основания связывающий паузу в переписке с какими-то возникшими между ним и его корреспондентом трениями, выражает желание вновь повидаться с Брюсовым: «А то, правду сказать, я не вполне удовлетворен нашими прежними встречами. Вы были моим покровителем, а я ищу в Вас «учителя» и жду формул десятичности, которым я поверю не из каких-нибудь соображений (хотя бы и высшего порядка), а вполне инстинктивно» (ЛН. С. 479).

Встреча так и не состоялась, Брюсов уехал в заграничный вояж, а по возвращении его опять ждало письмо Гумилева (14 июля 1907 г), где вновь мы находим прозрачные намеки на возникшие проблемы в отношениях «учителя» и «ученика». Так, Гумилев прямо спрашивает «заслуживают ли внимания его темы и не является ли философская разработка их ребячеством», и заявляет, что «помнит» высказанные Брюсовым «предостережения об опасности успехов». Тем не менее, это не мешает ему считать, что «успехи действительно есть: до сих пор ни один из моих рассказов не был отвергнут для напечатанья. «Русская мысль» взяла два моих рассказа и... напечатает их в августе. «Речь» взяла три и просит еще. <...> ...Я хочу... издать книгу рассказов...» (ЛН. С. 481). После такого «китайского» предисловия Гумилев приступает к существу дела, ради которого, вероятно, и было написано письмо: «Теперь я дошел до щекотливого пункта. У Вас есть мой рассказ «Скрипка Страдивариуса», по общему мнению много выше «Трех новелл» (т.е. «Радостей земной любви» — *Ред.*)., и он должен войти в книгу. Поэтому для меня очень важно, если в случае его принятия, он будет напечатан в августе. И так как это может ввести «Весы» в дополнительные расходы по увеличению номера, я с удовольствием откажусь от гонорара за него. Если же это все-таки не удастся, то прошу Вас, не откажите сообщить мне об этом, я предложу его в другое место» (ЛН. С. 481). Против последнего Брюсов отнюдь не возражал, — и рукопись была возвращена им Гумилеву с изумительной оперативностью: уже 20 августа, ошеломленный таким оборотом дела, Гумилев пишет «покаянное письмо». Он сообщает, что «убедился в своем ничтожестве», что созерцая «путь для искусства», указанный Брюсовым, «был похож на того, кто любит иероглифы не за смысл, вложенный в них, а за начертания и перерисовывает их без всякой системы», что «надо начинать все сначала». «В силу того же соображения, — сообщает, наконец, уничиженный «ученик», — я возвращаю Вам «Скрипку Страдивариуса» с просьбой напечатать ее в «Весах», когда это будет для них удобно. Книгу я решил не издавать...» (ЛН. С. 482-483; см. также о настроениях Гумилева в момент написания этого письма во вступительной заметке к комментариям). Возвращенная рукопись легла на самое дно редакторского портфеля и была извлечена оттуда лишь, без малого, через год, — и то после очередного «напоминания» Гумилева (21 апреля 1909 г.), уже менее деликатного: «Интересно бы узнать, накоиец, судьбу «Скрипки Страдивариуса» (ЛН. С. 491).

Столь долгая история с публикацией рассказа именно в «Весах» (мы видели, что для Гумилева это было важно), конечно, во многом объясняется его очевидной «антисимволистской» направленностью. Не случайно, что этот рассказ, явившись-таки на страницах «Весов», был отмечен как положительный пример новейшей русской прозы уже в «стартовом» номере «Аполлона» — журнала, который вскоре превратился в главный орган молодых литераторов, «преодолевающих символизм» и ищущих «противоядий» от «искуса декадентства»: «Яркий, оригинальный язык, фантазия, интересная в большинстве случаев архитектоника фразы...» (см.: Анненский-Кривич В. Заметки о русской беллетристике // Аполлон. 1909. № 1 [октябрь 1909]. С. 25; впрочем, объективности ради, автор указал и на недостатки (с его

точки зрения): «...Проза г. Гумилева несколько утомляет. Она как-то уж слишком густа, а периоды ее тяжеловесны для самой формы рассказа»)). В контексте всего творчества поэта рассказ воспринимается как один из первых самостоятельных эстетических манифестов, предвосхищающих позднейшую проблематику «акмеистического бунта» против символизма.

Впрочем, некоторые из современных исследователей склонны трактовать его в еще более «общем» плане, как «рассказ о трагедии искусства» вообще, как поиск Гумилевым ответа на вопрос, «в чем же отличие гения от мастера, таланта от шарлатана» в ходе которого автор приходит к выводу «о неизбежности роковой участи посвятившего себя искусству и отсюда — о трагичности самого таланта» (Полушин В. Волшебная скрипка поэта // ЗС. С. 28). О.Обухова видела в истории гибели Паоло Белличини изображение завершающего этапа «инициационного мифа» (по ее мнению, — «сквозного мотива» всей ранней прозы поэта) — «инкорпорации и нового рождения», выражающихся в данном случае в «отказе от благого труда искусства» (см.: Обухова О. Ранняя проза Гумилева в свете поэтики акмеизма // Гумилевские чтения 1996. С. 121-122), а по мнению М.Ю.Васильевой, рассказ «передает прозрение главного героя... которому открывается недостижимость страстно жаждуемой божественной гармонии силами человеческого таланта», и в этом смысле «Скрипка Страдивариуса» оказывается смысловым средоточием всех ранних рассказов поэта, где «непременное для Гумилева поклонение искусству проступает иной смысловой гранью — освещением истоков художественного дарования человека в глубинах его души. Поэт, композитор, скульптор для писателя достигают вершин только в том случае, когда поднимается до осознания нетленных, вечных, духовных ценностей. По этой линии обобщений проза Гумилева... обладает несомненной самостоятельной значимостью» (Васильева. С. 14).

Однако в большинстве работ анализ «Скрипки Страдивариуса» производится непосредственно с помощью содержательных ассоциаций с проблематикой полемики акмеистов с символистами, а также ассоциаций с теми произведениями русской литературы, как классической, так и современной Гумилеву, в которых проблема искусства поднималась схожим образом. «В «Скрипке Страдивари» руки музыканта стали руками убийцы, — пишет С.А.Зинин, — с которых он тщетно пытается стереть невидимую кровь жертвы. «Слабое и жадное» сердце человека дрогнуло под чарами дьявольского наваждения: «И опять на много веков отдалился священный миг победы человека над материей». <...> Гумилев-акмеист не отказывался от принципа образной символизации, признавая, что символизм был «достойным отцом». Вместе с тем поэтика акмеизма решительно отвергала любые попытки мистического толкования мировых явлений. «Наш долг, наша воля, наше счастье и наша трагедия — ежечасно угадывать то, чем будет следующий час для нас, для нашего дела, для всего мира, и торопить его приближение», — писал поэт. В этом смысле художник, по Гумилеву, «начинатель игры», условием которой является напряженный духовный поиск, требующий жертвенной самоотдачи и неискоренимой веры в торжество гармонии. <...> «Еще одно тысячелетие такой же напряженной работы, и я

навеки погружусь в печальные сумерки небытия», — замечает дьявол... По Гумилеву, цель «напряженной работы» человечества состоит в достижении сил духовного совершенства, прорыве в область «горнего величья» в решении этой сверхзадачи заключается главный смысл и логика исторического прогресса:

Так век за веком — скоро ли, Господь? —
Под скальпелем природы и искусства
Кричит наш дух, изнемогает плоть,
Рождая орган для шестого чувства.

Особая роль в этом великом духовном строительстве принадлежит художнику-мастеру, переплавляющему тяжесть земной материи в «бессмертные стихи», «звуки легкие оркестра», «сокровища немыслимых фантазий». Миссия художника требует колоссального напряжения творческих сил, беззаветного служения Истине. ...Пушкинский тип «взыскательного художника» получает у Гумилева двоякое наполнение. Поэт, взыскующий единоличного успеха, стоящий в оппозиции по отношению к «общему делу» духовного возвышения человечества рискует сойти со священной «дороги скрипачей», доверив свой дар темной силе. Ему противостоит тип подвижника, неуклонно совершенствующего свое мастерство и готового поделиться его секретами с начинающими (известно, что в первые годы революции Гумилев организовал поэтическую студию для молодежи, способствуя тем самым сохранению «культурного пространства» в недрах пролетарского государства). Художник в полную меру осознающий ответственность перед собственным талантом, по праву владеет волшебной скрипкой — великой тайной вдохновения, посещающего избранных» (Зинин. С. 23-24). По мнению С.А.Зинина, образ скрипки в подобном символическом смысле является «сквозным образом» в русской литературе («Скрипка Ротшильда» А.П.Чехова, «Гамбринус» А.И.Куприна, «Скрипка стонет под горой...» А.Блока, «Смычок и струны» И.Анненского, «Скрипка и немножко нервно...» В.Маяковского). Образ скрипки имеет в этих произведениях «во многом схожее смысловое наполнение: это и символ высокого искусства, и голос человеческой души, и поток милых сердцу напоминаний» (Зинин. С. 23). «Образ скрипки многогранен, — пишет о гумилевской интерпретации этого «сквозного образа» С.Н.Колосова. — Одухотворенная и живая, она становится символом искусства, символом любви и преданности. Но в новелле две скрипки. Помимо скрипки Страдивари , «которая так покорно передавала все оттенки благородной человеческой мысли», существует еще и дьявольская скрипка — Прообраз... Эти две скрипки — две стороны, характеризующие искусство. Если одна из них — это созидающая сила, вдохновляющая на любовь и жизнь, то другая — сила зла и искушения (ср. с «Портретом» Н.В.Гоголя, где один художник создает два полотна: портрет демонического ростовщика и светлые лики на картине, изображающей рождение Иисуса)» (Колосова. С. 9). Е.Ю.Раскина, в свою очередь, сравнивает «Скрипку Страдивариуса» с «Русскими ночами» В.Ф.Одоевского, ибо, по мнению исследователя, в произведениях «сходен мотив «благостного творчества»»: «Целомудрие мастера понимается Гумилевым как

отказ от насильственного обладания знанием, как осознание того, что без внутренней благостности и мудрости процесс осознания истины, а следовательно и процесс творчества невозможен» (Раскина. С. 174-175).

Все, пишушие о рассказе, отмечали, что повествование о «трагедии художника, осознавшего бессилие таланта перед вечностью» (см.: Зинин. С. 23) тематически связан со ст-нием «Волшебная скрипка» (№ 89 (I)). С.Н.Колосова находмла также, что «ст-ние «Баллада» (№ 3 (IV); ср. также ст. 61-84 № 21 (I) — *Ред.*) сюжетно и архитипическии является поэтическим вариантом новеллы», ибо «можно говорить об активном использовании [Гумилевым] легенды о докторе Фаусте» (см.: Колосова. С. 11).

По мотивам рассказа создан балет «Во власти Музы» (музыка Владимира Баскина, постановка Е. Мартыненко (г. Курган, 2000)).

С.Н.Колосова, анализируя название рассказа проводит параллель со «Скрипкой Ротшильда» А.П.Чехова: «В заголовок обоих произведений выносится название музыкального инструмента — *скрипки*, и оба рассказа строятся таким образом, что именно через историю инструмента рассказывается история владельца... И в рассказе А.Чехова, и в новелле Н.Гумилева в названии фигурирует имя не центрального персонажа: в новелле Гумилева — имя создателя скрипки, а в рассказе Чехова — имя будущего владельца. В обоих произведениях в заголовок вынесены имена второстепенных для развития сюжета персонажей, которые, однако, имеют важное значение для раскрытия идеи произведения. Имя Страдивариуса, легендарного мастера, поднимает тему *бессмертного* искусства, а имя знаменитого богача Ротшильда ставит вопрос об истинном богатстве, богатстве человеческой души» (Колосова. С. 7). Вообще, «скрипка в поэтике Гумилева — это... своего рода «проводник» в область неведомого и источник познания собственных возможностей, объект приложения воли и таланта» (Зинин. С. 24). Эта символика, впрочем, относится к сфере общекультурных «сквозных тем», причем помимо скрипки в подобном же символическом значении «трансцедентального медиатора» выступает еще несколько родственных ей струнных инструментов — лира, арфа, гусли, реже — домбра, гитара и т.п. У Гумилева, кроме упомянутой «волшебной скрипки» из одноименного стихотворения, в этом смысле вводится мотив «волшебной лютни» в драматической поэме «Гондла» (см. № 6(V)), причем, как и в рассказе, «магическое» содержание действия лютни (т.е. — содержание действия искусства) двойственно:

Ах, двойному заклятью покорный,
Музыкальный магический ход
Либо к гибели, страшной и черной,
Либо к славе звенящей ведет.

Оба эти «пути», возможные по Гумилеву для художника, который в подобной образной системе выступает как музыкант-исполнитель, и представлены в рассказе (заметим, что в «Волшебной скрипке», написанной раньше «Скрипки Страдивариу-

са», в 1907 г., — в период, когда юный поэт находился под совершенным обаянием символистской эстетики, — подобная альтернатива отсутствует и содержание «царственных звуков» безусловно связано лишь с одной темной, демонической стихией).

Образ главного героя — композитора и виртуоза-исполнителя Паоло Белличини — несомненно прототипически связан с фигурой великого итальянского музыканта Николо Паганини (1784-1840). Помимо аннаграматического совпадения имен и фамилий на это указывает целый ряд важных деталей в облике и истории главного героя, повторяющих известные (большей частью скандальные) штрихи биографии знаменитого итальянца. Как и у героя Гумилева, невероятное мастерство Паганини, приводящее в исступленный восторг огромные аудитории его слушателей, уже у современников ассоциировалось с действием «темных», разрушительных трансцедентальных энергий. Были случаи, когда после его концертов, некоторые особо экзальтированные поклонники пытались покончить с собой (здесь уместно вспомнить суицидальную манию, развившуюся в конце 1907 г. у юного Гумилева — «ученика символистов»: см., напр.: Толстой А.Н. Н.Гумилев // Николай Гумилев в воспоминаниях современников. С. 38-39; Жизнь поэта. С. 52, 67). «Сделка с дьяволом» играет ключевую роль в «легенде Паганини», возникновению которой немало содействовал и сам маэстро, любивший намекать на какие-то необычайные секреты своей игры и окружавший свою жизнь покровом нарочитой таинственности. С другой стороны, с «легендой Паганини» связан и мотив собственно «волшебной», «заветной» скрипки, т.е. инструмента, соединенного с исполнителем некими индивидуальными «эзотерическими» отношениями. У Паганини было много первоклассных инструментов, но среди них он сам безусловно выделял знаменитую виолу дель Джезу, которая и вошла в историю как «вдова Паганини» (сам Паганини величал ее «пушкой» — за необыкновенную громкость звука). Этот инструмент, неизменно сопровождавший виртуоза в его постоянных странствиях по Европе, был создан самым талантливым из соперников Антонио Страдивари — Джузеппе Гварнери — с сознательным нарушением выработанных великим мастером «классических» пропорций, так что «вдова Паганини» представляет собой нечто среднее между собственно скрипкой и виолой. Паганини категорически возражал против того, чтобы у виолы дель Джезу был преемник и специально завещал ее не какому-то отдельному лицу, а родному городу Генуе, где она и хранится в качестве общенационального достояния по сей день.

Облик главного героя имеет характерные черты, восходящие к облику Паганини, который был высок, очень сутул, если не сказать — горбат, и имел уродливо-непропорциональные по отношению к анатомическому стандарту кисти рук. С другой стороны, особый акцент на «необыкновенных руках» «мэтра Паоло Белличини» вводит и автобиографический мотив, ибо «руки Гумилева» — постоянная деталь в описании облика поэта мемуаристами. «...Своеобразие его облика скорее удивляло, чем привлекало, — вспоминала Д.Ф.Слепян, — очень высокий, движения как на шарнирах, дынеобразная голова с небольшими глазами, какого-то неопределенного цвета и выражения... но руки... У него были необыкновенно красивые,

выразительные руки!» (Жизнь Николая Гумилева. С. 195). «Необыкновенной красоты руки — руки патриарха с узкими длинными пальцами», — пишет о том же С.К.Эрлих, а И.М.Наппельбаум, описывая занятие в поэтической студии «Дома Искусств» рисует целую картину, вполне соответствующую тексту новеллы: «Великолепные узкие руки с длинными, тонкими пальцами. Я много раз наблюдала их игру. Садясь к столу, Николай Степанович клал перед собой особый, очень похожий по форме на большой очечник, портсигар из черепахи. Он широко раскрывал его, как-то особо играя кончиками пальцев, доставал папиросу, закуривал, захлопывал довольно пузатый портсигар и отбивал папиросу о его крышку. И далее весь вечер, занимаясь, цитируя стихи, он отбивал ритм ногтями по портсигару» (см.: Жизнь Николая Гумилева. С. 187, 180-181). Манифестированный этой незаметной для «непосвященных» деталью автобиографический подтекст становится весьма важен, если вспомнить, что как раз в момент создания новеллы Гумилев находился в процессе «преодоления символизма», так что герой новеллы вступал с автором в отношения «лирического отчуждения» изжитой художественной ипостаси, о чем позднее Гумилев рассказывал в ст-нии «Память», описывая «тех, кто раньше в этом теле жили до меня»:

...Любил он ветер с юга,
В каждом шуме слышал звоны лир,
Говорил, что жизнь — его подруга,
Коврик под его ногами — мир.

Он совсем не нравится мне, это
Он хотел стать богом и царем,
Он повесил вывеску поэта
Над дверьми в мой молчаливый дом.

(см. № 42 (IV) и комментарии к нему; см. также: Зобнин. С. 366-370). На «общую» символику имени героя обратила внимание Д.С.Грачева: «В имени героя представлено соединение двух возможных судеб: Паоло — от латинского Paulus, что значит «малый». В христианской культуре это имя аналогично имени Павел — апостол язычников. Таким образом в тексте указывается на возможность двух жизненных путей: человека «малого» и апостола, ведущего язычников к вере. Паоло стал лишь «малым». Фамилия Белличини — (от итал. belliko — военный) указывает на разрушающее начало героя, хотя рождает и первичную ложную ассоциацию, связанную с итальянским словом «bello», что означает «красивый», «прекрасный», то есть носитель «высокого», устремлённый к нему. Таким образом, и имя и фамилия героя совмещают разновекторные движения творческого пути, что предполагает свободу выбора героя» (Грачева Д.С. «Скрипка» и «бумеранг» (о пути творчества в рассказе Н.С.Гумилева «Скрипка Страдивариуса») // Русская филология. 14. Сборник работ молодых филологов. Тарту, 2003. С. 84).

Стр.1 — Паганини считался непревзойденным мэтром прежде всего в исполнении своей собственной музыки для скрипки solo (см.: Paganini. P. 136). Стр. 3-5 — Бальзак и Гете, знавшие Паганини, считали, что его виртуозность была каким-то образом связана с патологическими анатомическими качествами. В настоящее время существует версия, что у него был т.н. «синдром Марфона» — редкая болезнь, при которой возникает гиперэлластичность пальцев (см.: Paganini. P. 469-470). Стр.6-7 — пианист и композитор Дж. Розенхэйп вспоминал: «Я слышал Паганини и не верю, что человеческое существо когда-либо превзойдет чудесные технические достижения этого необычайного человека. Я не могу описать мои впечатления от его игры. Я дрожал каждой частью своего тела, как будто я находился в присутствии некоего деспота; мои чувства были притуплены от изумления, я плакал, смеялся, был на самом деле совсем вне себя» (Paganini. P. 312.). В английской «Times» от 19 мая 1831 г. читаем: «Он не только самый прекрасный исполнитель, который когда-либо играл на этом инструменте (скрипке — *Ред.*), но и создатель таких технических эффектов исполнения, которые очень немногие, а то и никакие подражатели смогут воспроизвести вновь». «Было любопытно следить, пишет та же газета после очередного концерта Паганини два дня спустя, — за выражением лиц Линдлея, Драгонетти и других великих музыкантов, занявших свои места на сцене, чтобы наилучшим образом следить за его выступлением. После они все сошлись во мнении, что ничего подобного раньше не слышали и, помимо его чудесных чудачеств и новоизобретенных эффектов, его игра — взлет за наивысший из когда-либо достигнутых уровней нормального человеческого искусства» (см.: Paganini. Pp. 363, 367). Стр. 7-9 — среди почитателей Паганини были Меттерних, королева Баварии, великая герцогиня Тосканская Элиза и даже русский царь Николай I, подаривший ему бриллиантовые кольца после выступления на придворном банкете в Варшаве. Во время гастролей по Австрии Паганини получил титул барона; на одной из многочисленных каррикатур на «маэстро» Паганини изображен в королевском одеянии среди венценосных особ Европы (см.: Paganini. Pp. 289, 103). Поклонниками Паганини были также Гете, Бальзак, Стендаль, а его многочисленные романы были предметом постоянного интереса в европейских светских кругах того времени; история с юной дочерью одного из его продюссеров, Карлоттой Уотсон, которая некоторое время с ним сожительствовала, стала предметом особого скандального разбирательства, так что музыкант фигурировал в роли «похитителя детей». Стр.11-13 — Композитор Ф.Лист писал по поводу выступлений Паганини во Флоренции: «Волнение, которое он вызвал, было таким необычайным, магия, которой он воздействовал на воображение его слушателей такой сильной, что они не могли удовлетвориться естественными объяснениями. Старые басни о ведьмах и призраках пришли им в голову... Они даже шопотом говорили, что он посвятил свою душу Владыке Зла, и что четвертая струна на его скрипке сделана из кишечника его покойной жены, который он сам вырезал из ее трупа» (Paganini. P. 112). Стр. 15-16 — при жизни Паганини часто раздавались голоса, требующие отлучить его от церкви: «Они воспользовались слухами всякого рода как доказательством в оправдание своих действий.

Они провозгласили его атеистом, указывая на то, что он никогда не бывал в церкви, не предоставил сыну религиозного образования, был отчаянным игроком и, к тому же, совершенно безнравственным человеком» (Paganini. P. 453). Стр. 16-17 — для современников Паганини-композитор (основные произведения которого вошли в широкий музыкальный обиход только после его смерти) был совершенно заслонен Паганини-виртуозом, владеющим непостижимой техникой игры на скрипке. Основным «фокусом» концертов Паганини была намеренно-нетрадиционная формальная интерпретация популярных музыкальных произведений (самым известным примером такого рода является исполнение некоторых из них на одной (четвертой) струне). Подобные трудноисполнимые формальные задачи Паганини сознательно ставил перед собой, полагая это родом «дерзновения», — вызовом ограниченным возможностям «косной материи». Стр. 17-19 — Все обращали внимание на его характерно-неповторимую «трупоподобную» внешность: темные, впалые глаза, длинные жидкие черные волосы, восковую белую кожу: «Он был высоким, худощавым, угловатым человеком с острым выдающимся носом, похожим на орлиный клюв и длинными костлявыми пальцами». Его друг и биограф Шоттки пишет: «Он такой худой, что нельзя быть худее приличному человеку; при этом у него бледная, желтоватая расцветка лица, длинный, горбатый нос и костлявые руки. Кажется, что тело его еле держится под одеждой, и когда он кланяется в своей странной, необычной манере, невольно боишься, что его ноги отпадут от туловища и весь он распадется грудою костей. В настоящий момент, едва оправившись от тяжелой болезни.., он кажется каррикатурой на самого себя, своей фигурой напоминая нам о фигурах Калло» (см.: Paganini. Pp. 469, 269). По всей вероятности именно этот фрагмент из воспоминаний Шоттки и использовал Гумилев для своего портрета Белличини. Стр. 20-25 — описание кабинета Белличини, вызывающего аллюзии с картинами Жака Калло (1593-1635) и Клода Лоррена (1600-1682), вызвало специальный экскурс в работе С.Н.Колосовой: «Калло, знаменитый французский гравер и рисовальщий XVII века, прославился сериями гротесковых офортов, сатирически изображающих людские пороки. Неотъемлемые образы его произведений — карлики, бурлескные актеры, горбуны. Скорее всего под «бредовыми видениями», которые могли вдохновить музыку Паоло и предвосхитить доверительную встречу с дьяволом, подразумеваются «Искушения св. Антония». В творчестве Калло было два произведения под таким названием и с таким сюжетом. Оба этих офорта представляют собой «бредовые видения» в виде всевозможных чудовищ и чертей. Эстампы изображают адово царство. «В одном образе Калло сочетает самые разнообразные формы, порожденные природой, части тела различных животных и птиц, и пресмыкающихся... Здесь можно видеть людей с жабьими, рачьими, козлиными и верблюжьими мордами, коней с тараканьими головами, длинноухих верблюдов, людские скелеты с собачьими черепами, обезьян с крыльями летучих мышей» (Гликман. Жак Калло. Л.-М., 1959. С. 32). А в верхней части обоих произведений — изображение «огромной фигуры князя тьмы Люцифера, простершего могучие крылья с когтистыми лапами над своим царством» (План П.П. Жак Калло. М., 1924. С. 102). В контексте рассказа

Гумилева гротески Калло становятся прелюдией, эпиграфом к творчеству музыканта Белличини» (Колосова. С. 8). На фоне кошмаров Калло «лучезарные пейзажи Лоррена, освещенные солнцем, проникнутые поэтическим настроением кажутся неуместными, на первый взгляд. Однако уже здесь, упоминая вскользь Лоррена и Калло, Гумилев определяет место творческой личности. Искусство художника, да и сам он, находятся на грани божественного вдохновения и дьявольского искушения. Среди математических формул и «темных углов» картины Лоррена, излучающие свет и одухотворенные, теряются в кабинете маэстро, как теряются «благочестивые мелодии» в вихре «бешенного взлета к невозможному». <...> Привлекая живопись, Гумилев включает сюжеты полотен Калло и Лоррена в новеллу и «заставляет работать» их на свой текст: ссылка на творчество художников становится средством раскрытия образа и идеи произведения, а также расширяет содержание» (Колосова. С. 8). Следует также указать и на большое значение живописи Лоррена в творчестве Достоевского, в частности — на введение этого мотива в характеристику Ставрогина («Бесы»), самого «двойственного» из галереи героев великого романиста. Стр. 26-28 — «математическая» и «геометрическая» символика существенно углубляет характеристику героя, проецируя его творческие искания на пифагорейское учение. Великий древнегреческий мыслитель был известен своим современникам, прежде всего как мистик и практический моралист, основатель «пифагорейского союза» в Кротоне, культивирующего самую суровую аскезу, а также — как музыкант и теоретик музыки (собственно «математические» идеи Пифагора и его учеников были оценены гораздо позднее). Согласно учению Пифагора, мир, состоящий из противоречий, существует только лишь потому, что их согласует внеположная им «мировая гармония», которая есть тайна, доступная в полноте своей лишь божественному разуму. Эта мировая гармония осуществляется в противоположностях, из которых основные — «предел» и «беспредельность», производящие затем 9 основных антитетичных пар: нечет — чет, единство-множество, правое-левое, мужское-женское, покоющееся-движущееся, прямое-кривое, свет-мрак, добро-зло, квадрат — продолговатый четырехугольник. Как мы видим, «математические» противоположности ближе всего предстоят средоточию мировой антитезы, т.е. математическое мышление ближе всего приближает человека к тайне «мировой гармонии». Происходит это потому, что само понятие «числа» Пифагор и его ученики понимали не в расхожем современном значении «суммы единиц», а как обозначение той силы, которая суммирует разрозненные единицы в определенное целое и сообщает ему определенные свойства. Так «число единица» в этой системе значит «причина единения», «число двойка» — «причина раздвоения» и т.д. Поэтому «четные» числа (кратные двум) содержат в себе начало «разъединения», «длительности», а «нечетные» — противоположные свойства. Отсюда понятно, что числа могут обладать и содержанием, выходящим далеко за пределы математики как таковой, и обнимать все мироздание, служа для человека выражением его свойств. Аристотель писал, что Пифагор и его ученики «признали математические начала за начала всего существующего»: «В числах усматривали они множество аналогий или подобий с вещами.., так что одно

свойство чисел являлось им как справедливость, другое — как душа или разум, еще другое — как благоприятный случай и т.д. Далее они находили в числах свойства и отношения музыкальной гармонии, и так как все прочие вещи по природе своей являлись им подобием чисел, числа же — первыми из всей природы, то они и признали, что элементы числа суть элементы всего сущего и что все в небе есть гармония и число» (Met. I. 5). Поэтому, постигая законы музыкальной гармонии, Пифагор надеялся постигнуть сущностную тайну мироздания. Для этого он изобрел монохорд и, эксперементируя со струной, открыл связь музыкальных интервалов с простейшими из рациональных числовых отношений (половина струны звучит в октаву с тоном, издаваемой целой струной, $^2/_3$ — в квинту, $^3/_4$ — в кварту и т.д). Музыкальные отношения соединяют и геометрические тела, восходящие к космологическим представлениям пифагорейцев о «гармонии небесных сфер». Т.о. «земная» музыка оказывается в учении Пифагора символом «мировой гармонии» и, будучи математически «исчисленной», становится информацией о трансцедентальных тайнах бытия. (см. Трубецкой С.Н. Метафизика в Древней Греции. М., 1890, а также его статью о Пифагоре и пифагорейцах в т. 46 Энциклопедического словаря изд. Брокгауза и Ефрона).

Уже современники видели в учении Пифагора «жизнененавистничество» и «жизнеотрицание», «худое искусство» (Гераклит) в роде некоего «знахарства». Некоторое время «пифагорейский союз» терпели, а затем начались все усиливающиеся гонения, которые закончились изгнанием Пифагора из Кротона (он умер в Метапонте) а затем — погромами и убийством многих его учеников. На рубеже Новой Эры пифагорейство пережило «второе рождение», благодаря александрийским философам-мистикам, прежде всего — знаменитому Аполлонию Тианскому, который вошел в историю как последовательный противник нарождающегося христианства и основатель Пифагорейской школы в г. Эфесе. После, «пифагорейство» стало одной из важнейших составляющих всевозможных «тайных доктрин», вдохновлявших еретические средневековые секты (и, как известно, — доктора Фауста) (см.: Новицкий. Постепенное развитие древних философских учений в связи с развитием языческих верований. Киев, 1891). Для современного русского культурного сознания «пифагорейское начало» в искусстве эмблематизируется, прежде всего, образом пушкинского Сальери с его стремлением «звуки умертвив», «разъять музыку, как труп» и «поверить алгеброй гармонью». Несомненно, что Сальери «Маленьких трагедий» имел в виду и Гумилев, создавая образ Паоло Белличини: «Подобно Сальери... мэтр Паоло поверяет музыку сложными алгебраическими уровнениями, а стены его обители исчерчены причудливыми знаками. Герой истово служит Гармонии, видя единственный путь ее достижения в беспрестанном труде музыканта-затворника» (Зинин. С. 23). См. о «пифагорейских» мотивах у юного Гумилева — «ученика символистов» в комментариях к ст-ниям №-№ 63 (I), 67 (I). Помимо того, любопытным фактом является упоминание в одном из писем Гумилева Брюсову, цитируемых в настоящей статье в связи с драматической историей публикации рассказа (см. выше), о «*формулах десятичности*», которых ждет от «учителя» покорный ученик. Брюсов, таким

образом, ассоциировался у Гумилева именно с Пифагором. Следует также указать на «антипифагорейское» ст-ние Гумилева «Больной» (см. № 21 (III) и комментарии к нему) и на позднейшую полемику Гумилева с «пифагорейством» в стихотворении «Слово» — в виде антитезы «числа» и «слова», разрешаемой в пользу последнего (см. № 29 (IV) и комментарии к нему). Стр. 29-35 — Антонио Страдвариус (в современной произносительной норме — Страдивари, 1643 — 1737) — самый знаменитый из великой плеяды итальянских скрипичных мастеров XVII-XVIII вв., ученик и продолжатель Амати. Обладал феноменальной работоспособностью, однако в его огромном наследии количество скрипок значительно уступает виолончелям и контрабасам. Объясняется это тем, что в создании скрипок Страдивари всегда преследовал не столько коммерческую, сколько экспериментальную цель и в достижении ее не считался с временными затратами (хотя о десятилетнем сроке работы над одним инструментом сведений нет). К 1700 году он выработал тот стандарт, который считается образцовым вплоть до настоящего времени, и его скрипки 1700 — 1725 гг., совершенные с внешней и «внутренней» стороны, ценятся сейчас знатоками особенно высоко. Впрочем, популярность была присуща инструментам Страдивари уже при жизни их создателя (истории с «золотым» мулом и предложением кардинальского места — достоверны, хотя и разнятся во времени). Стр. 35-39 — ср. мотив «дарения» (с соответствующими условиями дарящего) инструмента, обладающего магическими возможностями в ст-нии «Волшебная скрипка» (№ 89 (I)) и в драматической поэме «Гондла» (№ 6 (V)). Паганини коллекционировал музыкальные инструменты; к концу жизни он был обладателем 11 скрипок, виолы и 4 виолончелей (легенда приписывает ему 11 инструментов Страдивари, 2 — Амати и 4 — Гварнери — см.: Paganini. P. 522), но, в стремлении к «невозможному», он предпочитал всем им «пушку» — «виолу дель Джезу». Стр. 39-42 — на то, что образ скрипки Страдивари в рассказе Гумилева тесно связан с мотивом «женственности» в характерной для гумилевского творчества версии обращает внимание Е.Раскина, утверждающая, что, как и в ст-нии «Потомки Каина» и в позднейшей драматической сказке «Дитя Аллаха», женственность здесь «оказывается смертельной и в то же время восстанавливающей разрушенные связи земного и небесного» силой: «В павшем мире роль женского начала искажается, но в то же время именно с женским началом... связана надежда на спасение. См. аналогичную роль скрипки Страдивариуса как спасительного женского начала: <цит. стр. 39-42>» (Раскина. С. 172). Эротическая аура мотива «игры на скрипке» у Гумилева генетически восходит к стихотворению И.Ф.Анненского «Смычок и струны» (вошло в книгу Анненского «Тихие песни» (1904)), о котором Гумилев в статье «Жизнь стиха» (1910) писал: «Кому не приходилось склоняться над своей мечтой, чувствуя, что возможность осуществить ее потеряна безвозвратно? И тот, кто, прочитав это стихотворение, забудет о вечной, девственной свежести мира, поверит, что есть только мука, пусть кажущаяся музыкой, тот погиб, тот отравлен. Но разве не чарует мысль о гибели от такой певучей стрелы?» (Соч III. С. 14). Ахматова указывала на эти связи П.Н.Лукницкому (см.: Acumiana. С. 302). Стр. 42-43 — ср.:

«Не правда ль? Больше никогда
Мы не расстанемся — довольно?»
И скрипка отвечала: «да»,
Но сердцу скрипки было больно.

Смычок все понял, он затих,
А в скрипке эхо все держалось,
И было мукою для них,
Что людям музыкой казалось.
(«Смычок и струны»)

Стр. 45 — оратория (ит. oratorio) — духовная музыкальная драма иа сюжет из св. Писания, с пением соло и хором под музыкальный инструмент. Стр. 45-57 — «пифагорейская» трактовка игры Белличини как эксперимента, подтверждающего «математический рассчет», позволяющий достичь «неведомой вершины», выраженной «величавой музыкальной фразой». Детали пейзажа (ночь, сумрак, сад за окном, звезды, подобные цветам) в раннем творчестве Гумилева устойчиво манифестируют «сновидческое» состояние, свойственное магическому акту (что вполне соответствует результату — последующему явлению князя тьмы) (см.: Ранний Гумилев. С. 25-29; Богомолов. С. 123). Стр. 50-54 — ср. описание музыки в ст-нии «Маэстро» (№ 82(I)). Стр. 68-73 — ср.:

Но человек не погасил
До утра свеч... И струны пели,
Лишь утро их нашло без сил
На черном бархате постели.
(«Смычок и струны»)

«Отгородившись от большого мира непроницаемой стеной гордого одиночества, — пишет С.Зинин, — Паоло ревностно оберегает то особое «пространство духа», которое, по его мнению, питает высокое искусство. Однако ни обладание чудесным инструментом, ни скрупулезные математические рассчеты не приближают маэстро к заветной цели — окончанию «неслыханного соло», призванного явить человечеству вершинное творение музыкального гения. Противопоставив «священной преемственности» гордый подвиг во имя искусства, герой лишает себя того божественного пространства, которое питает «солнечных гениев». Именно об этом напоминают тяжелые тома древних поэтов в доме Паоло, на это намекает и исстрадавшаяся в руках мастера затворница-скрипка. <цит. стр. 72-73> Этот жест нетерпения и гнева вызывает движение тех сил, которые мгновенно заполняют духовный вакуум, неся с собой разрушение и смерть» (Зинин. С. 23). Нужно заметить, что для «декадентского» эстетического сознания разрушение «священной преемственности во имя искусства» — один из принципиальных актов, манифестирующих самосознание художника «новой школы», ср.: «Наши гимны — наши стоны; / Мы для новой

красоты / Нарушаем все законы, / Преступаем все черты» (Мережковский Д.С. Новые стихотворения: 1891-1895. СПб., 1896. С. 5). «Революционный» нигилизм символистов (и их наследников — футуристов) по отношению к «классическому наследию» отвергали акмеисты. «Творческий процесс по Гумилеву, — это духовная работа поколений, устремленная к общей цели, и эту цель поэт определяет как гармонизацию мира. Именно о таком акте, об «умном делании», упоминает Гумилев в статье «Читатель»: «Поэзия и религия — две стороны одной и той же монеты. И та, и другая требуют от человека духовной работы. Но не во имя практической цели, как этика и эстетика, а во имя высшей, неизвестной им самим». И религиозная работа, и работа поэтическая предполагают преемственность: в первом случае это преемственность поколений в их общей духовной работе, во втором — преемственность мастеров в их творческих усилиях по гармонизации мира. Именно преемственность мастеров названа в рассказе «священной» и именно о ней пытаются напомнить Паоло Белличини тома древних поэтов, чернеющие по стенам. И та, и другая преемственность связаны с возможностью общего спасения и искупления первородного греха, и для Гумилева, как для глубоко русского поэта, особенно дорогой оказывается мысль о том, что нельзя спастись в одиночку, что спастись можно только всем миром, и в то же время, что спасение невозможно без аристократической преемственности мастеров. Об аристократической интмности «связующей всех людей» и чуждой по духу «равенству и братству» упоминает О.Мандельштам в манифесте «Утро акмеизма», называя эту связь «сообщничеством сущих в заговоре против пустоты и небытия»» (Раскина. С. 169). Стр. 75-76 — образ летящего орла в творчестве раннего Гумилева оказывается символом творческого порыва — см. ст-ние «Орел» (№ 133 (I)) и комментарии к нему. Однако красная (алая, пурпурная, багряная) цветовая аура (дымка, туман, окраска и т.д.) любого образа на всем протяжении его торчества эмблематизирует сопряженную с ним смертельную опасность, вводит мотивы гибели (см.: Смагина О.А. Образная система книги Н.С.Гумилева «Огненный столп» // Творчество Н.Гумилева и А.Ахматовой в контексте русской поэзии XX века. Тверь, 2002. С. 33-34). Стр. 80 — тарантелла — итальянский танец в скором темпе, музыка в ней сопровождается ударами в тамбурин. Из контрастного соположения «легкой» мелодии тарантеллы с «сумрачной ораторией» пережитой Белличини ночи возникает мотив антитетичности «милого и забытого» мира его сна — Божьему миру. Стр. 82-87 — описание «незнакомца» у Гумилева соответствует традиции, получившей самое яркое выражение в «Фаусте» Гете: в облике Сатаны сочетаются черты средневековой (здесь — немецкой) «стильности» со «стильностью» античной. Алая константинопольская туника, выступающая в качестве «дьявольского облачения» (буквально) — возможно, первый импульс к образности будущей великой гумилевской трагедии «Отравленная туника» (см. № 7 (V)). «В описании князя тьмы обращает на себя внимание выразительная деталь: руки и ноги его «перевиты нитями жемчуга серого, черного, розового». Аналогичная символика вынесена в название раздела сборника «Жемчуга» («Жемчуг черный», «Жемчуг серый», «Жемчуг розовый»). В стихотворениях, включенных

в книгу, «жемчужная» символика имеет различное образное наполнение. В стихотворении «Христос» Спаситель «идет путем жемчужным / По садам береговым», а в «Капитанах» герои-первооткрыватели грезят о новых землях, «Где в солнечных рощах живут великаны, / И светят в прозрачной воде жемчуга». В «Сне Адама» блеск жемчуга обрамляет вечную тайну первородного греха» (Зинин. С. 23-24; об этой архитектонической символике ЖК 1910 см.: наст. изд. т. I. С. 334-337). Стр. 93-104 — о Каине и каинитах см. комментарии к рассказу «Дочери Каина» (№ 6 наст. тома), а также — комментарии к ст-нию «Потомки Каина» (№ 160(I)). Е.Ю.Раскина обращает внимание, что «Каиново строительство мира противоположно обожению тварного, ведь «власть Адама над землей заключалась в том, что он давал имена. Согласно Ефрему Сирину, нарекая животных, он поистине соучаствовал в творческом деле Бога» (О. Саймон Тагуэлл. Беседы о блаженствах // Человек. 1996. № 2. С. 92). Т.е. благодаря наречению все тварное обретало полноту бытия, освобождалось от греха. Каин, напротив, обрекает тварный мир на безымянность и пребывание во грехе. Порчей тварного оборачивается воздействие концертов Люцифера и Каина на природу. Пагубная музыка как бы заражает собой все вокруг» (Раскина. С. 174). Стр. 98-102— новая репродукция «магического сновидчества», см. выше комментарий к стр. 45-57. Стр. 104-105 — необходимо учитывать, что «эпоха Каина», о которой ностальгически вспоминает «отец красоты и любитель всего прекрасного», — это эра допотопного человечества. Допотопный мир был настолько зол в самых основаниях своих («Но земля растлилась пред лицем Божиим, и наполнилась земля злодеяниями. И воззрел Бог на землю, — и вот, она растленна: ибо всякая плоть извратила путь свой на земле» (Быт. 6. 11-12)), настолько «озверел» (буквально), что для сохранения собственно «человеческого начала» в мироздании, которое теплилось лишь в праведном Ное, понадобился Потоп, очистивший землю для нового поколения людей (которые, с точки зрения Сатаны уже не были столь «музыкальны»). Стр. 105-110 — архаическая и античные эпохи истории человечества (в ее сатанинской «музыкальной» версии) эмблематизируются в рассказе образом Орфея. «Послепотопное», второе человечество (к которому принадлежим и мы) менее открыто силам зла, нежели «допотопное», однако это вовсе не означает, что в нем (особенно во время языческой архаики) отсутствовала расположенность ко злу. Отсюда и отношение Сатаны к Орфею. Е.Ю.Раскина замечает, что «порицаемая Люцифером музыка Орфея, от песен которого «заплакали камни и присмирели ленивые тигры»» оказывает «совсем противоположный эффект», нежели «музыка Каина» (см.: Раскина. С. 174). Это верно лишь отчасти, ибо Сатана замечает, что Орфей играл «хорошо», т.е. демоническое начало в его «музыке» присутствовало и в очень большой степени. «Порицает» же он его лишь за то, что Орфей, «удовлетворился ничтожными результатами», «перестал совершенствоваться, думая, что достиг вершины искусства», т.е. не воплотил в своем творчестве злое начало в той полноте, которая свойственна «музыке Каина». Эта диалектика вполне соответствует образу Орфея как в творчестве Гумилева, так и в той религиозно-философской традиции, на которую поэт ориентировался при эксплуатации «орфи-

ческого мотива» в своих произведениях. В расхожем понимании Орфей — поэт фракийского происхождения, творчество которого связывается с «догомеровским», легендарным периодом древнегреческого искусства. Отсюда и открыто мифологизированный характер его «биографии», являющейся ныне неотъемлемой части античной мифологии. Орфея считают сыном фракийского царя Эагра и музы Каллиопы. Большой популярности пользуется сюжет о его любви к жене Эвридике, смерти ее от укуса змеи и попытке Орфея вывести ее из Аида. Потеряв Эвридику Орфей, по преданию, жил один и чуждался женщин, перенеся свою любовь на мужчин. Он участвовал в походе аргонавтов и играет в этом цикле мифов заметную роль, «зачаровав» сначала своей музыкой движущиеся скалы Симплегады и открыв тем самым путь «Арго», а затем усыпив музыкой же дракона, охраняющего Золотое руно. Умер он, по одной версии, от тоски по Эвридике и погребен в Пиерии, близ Пимплейского источника, а по другой — был убит в долине Гебра за женоненавистничество мэнадами, которые бросили его лиру и голову в реку (их вынесло затем к Лесбосу, где останки Орфея и были погребены). Однако в оккультных учениях волшебный певец считается провозвестником учения и мистерии Диониса, а мифологическая история его трактуется аллегорически (а в некоторых версиях и вовсе перетолковывается: Орфей здесь предстает богоборцем, своего рода alter ego Прометея, даровавшим людям священные таинства и убитым за это молнией Зевса). От его имени была создана целая «орфическая» литература, которая воспринималась древними мистиками как откровения самого бога Диониса, записанные его «пророком» — Орфеем. Учение орфиков предвосхищало многие «тайные доктрины» средневековья: здесь проповедовалась теокразия, т.е. ограничение политеизма, и из всего многообразия греческого пантеона лишь три божества — Зевс, Персефона и Дионис-Загрей признавались «настоящими», причем последний оказывался сыном Зевса и Персефоны, которому доверено управлять земным миром. Если учесть, что Дионис-Загрей, принявший образ быка (тельца), был растерзан титанами, а затем возрожден Зевсом от Семелы вторично, — то аналогии с христианским догматом троичности божества и историей смерти и воскресения Сына, которые всегда были популярны в оккультных учениях, делали орфическую доктрину крайне привлекательной для них. С христианами орфиков внешне сближала и их практическая мораль: строгая аскеза «посвященных» (им возбранялось есть не только мясо, но даже и бобы, а также — носить иные одежды, кроме белых), воздержание как от похотей тела, так и от всего, «что ведет к смерти», дабы «очистить» душу от скверны «телесной материи» (в отличие он христиан, считавших тело «домом души» и своей аскезой восстанавливавших «здоровую», «обоженную» плоть, орфики всякую «телесность» отрицали как безусловно «злое начало»). Неслучайно в III-IV вв. именно «орфическая» литература и ее практическая мораль были самым популярным «оружием» апологетов язычества в их борьбе с христианскими апологетами: последних можно было уличить в «плагиате», а все христианство объявить неправильно понятым учением Орфея. Гумилев был знаком с оккультной историей Орфея и учением орфиков (см. комментарии к ст-нию «Андрогин» (№ 107 (I)); несомненно, что в рассказе Сата-

ны Орфей и выступает в качестве «полу-христианина» (точнее — «недо-христианина»), что и вызывает неудовольство рассказчика. Кроме того, необходимо отметить, что титул «Орфей нашего времени» был в периодике 30-х годов XIX века одним из самых употребительных по отношению к Паганини (см.: Paganini. P. 308). Стр. 110-116 — эпоху поздней античности, Средних Веков и Возрождения Сатана считает «немузыкальной» и эмблематизирует ее именем философа Горгия. Горгий (ок. 483 — 427 до Р.Х.), которого В.С.Соловьев называл «самым оригинальным и последовательным из софистов» (см.: Энциклопедический словарь. Т. 17. СПб., 1893. С. 217) был дипломатом во время Пелопонесской войны, а затем странствовал по Греции, преподавая риторику. Он прославился сочинением «О природе или о несуществующем», в котором доводил до логического конца учение основоположников софистики Зенона и Мелиса, выступавших против «мнимого бытия». Как известно, основным приемом софистов была демонстрация несоответствия результатов правильных умозаключений — эмпирическому опыту (самым известным из них является апория Зенона об Ахиллесе, который не может догнать черепаху). Горгий же неопровержимо доказал, что для логически мыслящего человека 1) ничего не существует; 2)если бы что-нибудь было, его нельзя бы было познать; 3) если бы оно существовало и было бы познаваемо, его нельзя было бы высказать. Пафос Горгия — тотальное отрицание подлинности бытия «просвещенным разумом» — приоткрывает главное содержание деятельности «отца красоты и любителя всего прекрасного»: стремление к тотальному отрицанию всего тварного мироздания, к «аннигилированию» его в «ничто». Именно тотальному разрушению всецело служила «совершенная» музыка Каина и отчасти — «несовершенная» музыка Орфея. В новую эпоху, главным содержанием которой, как понятно, является рождение и утверждение христианства, разрушительная энергия перемещается из чувственной, «звуко-музыкальной» сферы — в сферу рациональную. Поэтому Сатана переходит от «концертов» к «философским диспутам», стремясь внедрить в сознание людей «горгиевское» сомнение в подлинности бытия, а в сфере искусства самыми «демоническими» становятся пространственные жанры: архитектура и живопись. «Образцом» первой становятся химеры собора Нотр-Дам, второй — картина Леонардо да Винчи «Леда», изображавшая совокупление Леды с лебедем-Зевсом (по преданию, эта картина была уничтожена во время «сожжения сует» во Флоренции, устроенным Джироламо Савонароллой — см. комментарий к ст-нию «Флоренция» (№ 95(II)). Следует отметить, что позванный к умирающему Паганини священник, о. Кафарелли, в своем отчете епископу Ниццы писал, что обстановка квартиры музыканта прямо указывает на его необузданную аморальность, ибо стены увешаны «непристойными картинами». Особо о. Кафарелли отметил именно копию леонардовской «Леды и лебедя» (см.: Paganini. P. 453). Стр. 116-121 — Б.В.Томашевский указывал на несообразность «пассажа о бумеранге»: «Бумеранг возвращается лишь в том случае, если не достигает цели, так как всякий удар расстраивает правильность его движений» (Соч II. С. 431-432). Однако, как можно понять, для содержания рассказа Гумилева важна не столько механика работы бумеранга, сколько то, что смертель-

ное орудие, свершив эту разрушительную работу, остается «гладким и невинным», — образ бумеранга здесь символ *эстетики* разрушения (пищали и мортиры — громоздкие и неуклюжие огнестрельные орудия XVI-XVIII вв., род ружья и короткоствольной пушки). Оригинальную и глубокую трактовку символики «бумеранга» в соотношении с мотивом «альтернативных» скрипок в рассказе Гумилева дала Д.С.Грачева: «Скрипка-Прообраз и скрипка Страдивариуса соотносятся как общее и частное и в этом смысле оказываются в оппозиции (как человек онтологический и человек в качестве объекта истории). Скрипка-Прообраз может находиться как в поле добра, так и зла, хотя является символом искусства, идущего от Бога. Знак её Божественного происхождения — написание слова «Прообраз» с большой буквы (так в тексте Библии выделены все обозначения Бога). Кроме того, человек при помощи скрипки, которая находится в его руках, хочет достичь гармонии, доступной скрипке-Прообразу, стремится к этому идеалу, а значит,- к своему Прообразу — Богу, по образу и подобию которого был создан. Человек, как и скрипка-Прообраз, может оказаться во власти дьявола, но и человек, и искусство — творения Бога. В руках дьявола скрипка-Прообраз искушает совершенством и приводит к убийству, выполняя функцию бумеранга. Незнакомец лишает человека возможности пройти путь самому, стать творцом: человек воспаряет, совершает, казалось бы, прорыв к вершине, но, разрывая звенья культуры, движется по кругу; возвращение в исходную точку оказывается гибельным («бумеранг» совершенства разрушает Белличини, который сам в свою очередь становится бумерангом — убийцей скрипки). <...> Ответ на вопрос о путях творчества возвращает нас к исходному противоположению скрипки и бумеранга. Скрипка Страдивариуса и бумеранг становятся в тексте знаками разновекторных путей. Скрипка Страдивариуса — знак духовного, «цехового» единения с людьми, творческой свободы человека, бумеранг — знак ложного прорыва к вершине, духовного рабства» (Грачева Д.С. «Скрипка» и «бумеранг» (о пути творчества в рассказе Н.С.Гумилева «Скрипка Страдивариуса») // Русская филология. 14. Сборник работ молодых филологов. Тарту, 2003. С. 85). Стр. 122-129 — «Не случайно Страдивариус, подаривший тогда еще молодому и неизвестному Паоло свою лучшую скрипку, охарактеризован любимым гумилевским эпитетом «упрямый», включенным [в его творчестве] в семантическую цепочку «упрямый — хмурый — строгий — смиренный — благочестивый»» (Раскина. С. 170-171). Далее Е.Ю.Раскина, ссылаясь на новеллу Ж. де Нерваля «История о Царице Утра и о Сулаймане, повелителе духов» как на один из источников гумилевского рассказа (см. об этом комментарии к рассказу «Дочери Каина» (№ 6 наст. тома) раскрывает смысл действий Сатаны в отношении Паоло Белличини: и Тувал-Каин в новелле Нерваля, и Люцифер в «Скрипке Страдивариуса» предлагают своим избранникам — Паоло Белличини и Хираму некое универсальное знание, которое на деле оказывается соблазном, способным лишь разбить «слабое человеческое сердце». Псевдознанию во имя Люцифера в «Скрипке Страдивариуса» противостоит благочестивое творчество («смиренное знание») во имя Христа. Так, в рассказе «Люцифер опасается, что с помощью скрипки Страдивариуса род человеческий может пренебречь псевдо-

знанием, которое он предлагает, и достичь высшей гармонии путем постоянной духовной работы <цит. стр. 126-128>» (Раскина. 173). Стр. 133-136 — имеется в виду германо-франкский поход Атиллы, оскорбленного отказом императора Валентиана III отдать за него свою сестру Гонорию. Атилла вторгся в 440 году в германские и франкские земли во главе 500000 войска. Гунны, вообще отличавшиеся жестокостью, в этом походе осуществляли геноцид европейских племен, уже подвергшихся христианизации и отброшенных теперь снова в варварское состояние. Разгрому подверглась вся германская территория до Рейна и часть франкских прирейнских земель. Атилла дошел до Орлеана, однако был остановлен Аэцием и Теодорихом в «битве народов» близ г. Труа в 451 г. (с обоих сторон тогда пало более 200000 человек), после чего Атилла возвратися за Рейн. Стр. 141-142 — очевидно, имеется в виду Анна Комнена (1083-1148), византийская правительница и выдающаяся писательница; в одноименном стихотворении Гумилев интерпретировал ее образ достаточно оригинально — см. № 112 (I) и комментарии к нему. Стр. 146-147 — греческая богиня любви Афродита была влюблена в прекрасного юношу Адониса; на охоте он был убит волшебным вепрем, посланным приревновавшей Адониса к Афродите богиней Артемидой. После смерти Адониса в мире иссякла любовь, ибо Афродита уединилась в безутешном горе; чтобы не допустить гибель мироздания, боги разрешили Адонису на полгода возвращаться в мир живых для свидания со своей возлюбленной. Наряду с другим «хтоническим» мифом о похищении Персефоны Аидом, миф об Афродите и Адонисе был содержательным средоточием древних мистерий и, затем, оккультных доктрин. Стр. 149-153 — новая репродукция «магического сновидчества», см. выше комментарий к стр. 45-57 и 98-102; образ «солнца-золотистого плода» встречается в ст-нии «Неслышный, мелкий падал дождь...» в схожем контексте: убийство возлюбленной, обернувшееся самоубийством (гибелью) героя (см. № 94 (I)); при упоминании о «томительной неге счастья», вызываемой музыкой Скрипки-Прообраза, необходимо помнить по какому поводу эта музыка была написана и, соответственно, каковы итоги ее «магического воздействия» на Паоло. Стр. 156-160 — «Навязчивая участливость темного спутника в судьбе Паоло сродни обету, данному Мефистофелем в великой трагедии Гете («...Увидите воочью, / У вас я сумасброда отобью, / Немного взявши в выучку свою»). <...> В удивительном сне Паоло Белличини... волшебные ощущения навеяны пением скрипки-Прообраза, способной вызвать у человека одновременно восторг и страдание. Восторг оттого, что эта неземная музыка превышает любые возможности человеческого гения, и страдание — от осознания бессилия любых попыток «земного» ее воплощения. <...> Отравленный прекрасной музыкой, мэтр Паоло отказывается от своего верного друга — скрипки Страдивариуса, бессильной воспроизвести идеальное звучание Прообраза» (Зинин. С. 24). Стр. 167-173 — образ крадущегося тигра ассоциируется в ранней поэзии Гумилева с образом Отелло (см. ст-ние «Поединок» (№ 132 (I)). Если учитывать эротические коннотации, сопутствующие в рассказе образу скрипки, то ее «убийство» героем воспринимается именно как «убийство возлюблен-

ной». Это может ассоциироваться и с одной из легенд о Паганини, гласящей, что он убил влюбленную в него женщину и заключил ее душу в свою скрипку. Помимо того в жизни Паганини был и достоверный эпизод, связанный с «убийством скрипки»: в припадке зависти к виртуозу после его концерта в Вене в 1828 г. некий музыкант, действительно, публично разбил один из своих инструментов (см.: Paganini. Pp. 112, 237). Стр. 174-178 — ср.:

Да вот беда: сойди с ума,
И страшен будешь как чума,
Как раз тебя запрут,
Посадят на цепь дурака
И сквозь решетку как зверка
Дразнить тебя придут.

А ночью слышать буду я
Не голос яркий соловья,
Не шум глухой дубров –
А крик товарищей моих,
Да брань смотрителей ночных,
Да визг, да звон оков.
(А.С.Пушкин. «Не дай мне Бог сойти с ума...»)

Уместно привести заключение, сделанное после разбора данного пушкинского ст-ния Я.Л.Левковичем: «Прямолинейное соотнесение поэта и безумца наталкивается на сопротивление текста. Оставленный на воле безумец «забывался бы в чаду нестройных чудных грез». «Нестройные грезы» — это мир антипоэтический. Вдохновенные же грезы поэта в конечном результате — в поэзии — всегда грезы упорядоченные, т.е. заключенные в строгие рамки ритма, рифмы, образов. <...> Творческий процесс характеризуется [у Пушкина] как единство поэтического вдохновения и аналитической способности мышления. Таким образом, там, где нет «соображения понятий» и «объяснения оных», т.е. выражения их в словах, «послушных» мысли, и поэтических формах, — там нет и вдохновения. Безумец, который забывается «в чаду нестройных чудных грез» этого дара лишен. <...> И еще один образ отличает безумца от истинного поэта — «пустые небеса». <...> «Пустые небеса» — это небеса без Божества. <...> Идея небес у Пушкина ассоциируется с идеей Божества, а идея Божества — со сферой понятия о творческом процессе. <...> В поэтической символике Пушкина «пустые небеса» несовместимы с высоким переживанием творчества. Таким образом, два словосочетания — «нестройные грезы» и «пустые небеса» — образуют смысловой комплекс, который выводит безумие за область художественного творчества» (ЛевковичЯ.Л. Стихотворение Пушкина «Не дай мне Бог сойти с ума...» // Пушкин. Исследования и материалы. Л., 1982. С.179-180). Стр. 178-179 — ср. аналогичный мотив из трагедии В.Шекспира «Макбет». Стр. 180-182 — по отчету о. Кафарелли, умирающий Паганини отказал-

ся от причастия св. Тайн. Это дало повод епископу Ниццы запретить хоронить прах Паганини в освященной земле, и в течение пяти лет прах его находился в оцинкованном гробу, ожидая решения папы.

11. Весна. 1908. № 11.

ТП -- СС IV -- ТП 1990 -- ЗС -- Проза 1990 -- СС IV (Р-т) -- Соч II -- СПП -- СС 2000 -- ТП 2000 -- АО -- Проза поэта; Русская любовная повесть первой половины XX века: Сб. /Сост. А.Н.Николюкин, А.Н.Гиривенко. Кн.1. М.,1995 -- Мистика серебряного века; Наука и техника. 1988. № 1 -- Кодры. 1989. № 4.

Дат.: до ноября 1908 г. — по дате публикации.

Как и близкий по мрачно-эротической тематике расказ «Черный Дик» (см. № 7 наст. тома и комментарии к нему), рассказ «Лесной дьявол» не оставил следа в гумилевских биографических источниках «первого парижского периода». Его тематика непосредственно восходит к центральной психологической коллизии в жизни поэта в течение приблизительно года — с июня 1907 — по октябрь 1908 г., о чем он позже написал в автобиографическом ст-нии «Эзбекие»: «Я женщиною был тогда измучен...». Как уже говорилось в комментариях к № 9 наст. тома, женщиной, «измучившей» молодого поэта была Анна Ахматова, тогда, впрочем, гимназистка Анна Горенко. Позже, она вспоминала об этой истории (в пересказе П.Н.Лукницкого) так: «...На творчестве Николая Степановича сильно сказались некоторые биографические особенности. Так, то, что он признавал только девушек и совершенно не мог что-нибудь чувствовать к женщине, — очень определенно сказывается в его творчестве: у него всюду девушка — чистая девушка. Это его мания. А.А. была очень упорна — Николай Степанович добивался ее 4, даже 5 лет. <...> Это было так: в 1905 году Николай Степанович сделал А.А. предложение и получил отказ. Вскоре после этого они расстались, не виделись в течение 1, 5 лет (А.А. потом, в 1905 году уехала на год в Крым, а Николай Степанович уехал в Париж). 1,5 года они не переписывались — А.А. как-то высчитала этот срок. Осенью 1906 года А.А. почему-то решила написать письмо Николаю Степановичу. Написала и отправила. Это письмо не заключало в себе решительно ничего особенного, а Николай Степанович... ответил на это письмо предложением. С этого момента началась переписка. Николай Степанович писал, посылал книги и т.д. <...> Николай Степанович, ответив на письмо А.А. осенью 1906 года предложением (на которое, кажется, А.А. дала в следующем письме согласие), написал Анне Ивановне [Гумилевой] и Инне Эразмовне [Горенко], что он хочет жениться на А.А.» (Acumiana. С. 142-143). О скорой свадьбе писала своим корреспондентам и сама Ахматова (см. ее письмо к С.В. фон Штейну от 2 февраля 1907 г. — Ахматова А.А. Сочинения. В 2 т. М., 1990. Т.2. С. 181), а в июне к ней в Севастополь (Ахматова проводила там лето) приехал Гумилев — «на правах жениха». «А.А. рассказывала, что на даче у Шмидта, у нее была свинка и лицо ее было до глаз закрыто — чтоб не видно было

страшной опухоли... Николай Степанович просил ее открыть лицо, говоря: «Тогда я вас разлюблю!» Анна Андреевна открывала лицо, показывала. «Но он не переставал любить меня! Говорил только, что «вы похожи на Екатерину II». <...> На даче Шмидта были разговоры, из которых Гумилеву стало ясно, что А.А. не невинна» (Acumiana. С. 147, 143). Это был удар. Из Севастополя Гумилев буквально «бежит, куда глаза глядят», делая по пути в Париж бессмысленный «константинопольский» крюк. Состояние поэта после такого «предсвадебного визита» передает его письмо к Брюсову от 3 августа 1907 г., в котором, извиняясь за двухмесячное молчание, Гумилев пишет: «...Все это время я был... игралищем слепой судьбы. Я думаю, что будет достаточно сказать, что после нашей встречи *(*15 мая 1907 г. — *Ред.)* я был в Рязанской губернии, в Петербурге, две недели прожил в Крыму, неделю в Константинополе, в Смирне имел мимолетный роман с какой-то гречанкой, воевал с апашами в Марселе и только вчера не знаю как, не знаю зачем, очутился в Париже. В жизни бывают периоды, когда утрачивается сознанье последовательности и цели, когда невозможно представить своего «завтра», и когда все кажется странным, пожалуй даже утомительным сном. Все последнее время я находился как раз в этом периоде» (ЛН. С. 434). «А.А. говорит, что много горя причинила Николаю Степановичу: считает, что она отчасти виновата в его гибели (нет, не гибели, А.А. как-то иначе сказала, и надо другое слово, но сейчас найти не могу его найти — смысл «нравственной»)» (Acumiana. С. 145).

На таком мрачном «психологическом фоне» и создавался «Лесной дьявол»; отсюда и его «специфическая» тематика "сомнения в невинности невесты", присутствующая также и в «Принцессе Заре» (см. № 9 наст тома и комментарии к нему), но достигающая здесь предельного — на грани патологической болезненности — «заострения».

Как уже говорилось, свидетельств об истории создания рассказа практически нет. В комментариях к Соч II Р.Л. Щербаков высказывал предположение, что стиль «Лесного дьявола» дает возможность соотнести время его создания с письмом к Брюсову от 14 июля 1908 г., в котором Гумилев, говоря о Леконте де Лиле, отмечает, что ему «нравится... манера вводить реализм описаний в самые фантастические сюжеты»: «Во всяком случае, в рассказе применен именно такой прием. Реалистически выписанный фон, на котором развивается действие, дал основание В.Рождественскому заметить, что в «Лесном дьяволе» «есть живая Африка, по которой сам автор когда-то странствовал, и не однажды» (имеется в виду упомянутая во вступительной заметке к комментариям рецензия В.А. Рождественского на ТП (Книга и революция.. 1923. № 11-12. С. 63 [подп. В.Р.]) — *Ред.*). Думается, такой Африки там как раз и нет, а есть правдоподобная декорация, которая для европейца выглядит именно так, как он и ожидал. Зачарованный псевдореалистической картиной, читатель с большим доверием воспринимает фантастический сюжет. <...> «Лесной дьявол» — еще ученический рассказ, в значительной степени он сделан под Майн Рида, которого Гумилев очень любил... Но «Лесной дьявол» далеко не «проба пера». В частности, можно отметить, как точно меняется ритм

повествования, персонажи которого находятся в экстремальных условиях. Спешит найти целебную траву павиан, несколько выйгранных мгновений спасают девушку от мучительной казни, лихорадочно ищет убедительные доводы Ганнон... И в зависимости от ситуации Гумилев то замедляет действие, нагнетая ожидание развязки, то ускоряет его, создавая ощущение стремительности событий» (Соч II. С. 430). Впрочем, современные Гумилеву критики и читатели этого не оценили — никаких откликов на журнальную публикацию «Лесного дьявола» не было. Правда, рассказ «очень понравился» А.М.Ремизову (см.: Соч II. С. 430), и, возможно, именно его имел в виду С.К.Маковский, когда замечал в мемуарном очерке: «Как ни настраивал себя Гумилев религиозно... есть что-то безблагодатное в его творчестве. От света серафических высей его безотчетно тянет к стихийной жестокости творения и к первобытным страстям человека-зверя, к насилию, к крови, к ужасу и гибели» (Николай Гумилев в воспоминаниях современников. С. 66).

В современном гумилевоведении «Лесной дьявол» также занимает весьма скромное место. Как один из первых примеров возникновения в раннем, «декадентском» творчестве Гумилева мотивов христианского натурфилософского персонализма с его учением о «животной» плоти, поврежденной первородным грехом, мотивов, ставших впоследствии философским смысловым средоточием рассказа «Африканская охота», рассматривает этот рассказ в своей монографии Ю.В.Зобнин: «За киплинговскими зоофилическими ужасами в духе «Бими» (рассказ Р.Киплинга о мести ручной обезьяны, влюбленной в собственного хозяина — *Ред.*) здесь ясно ощущается вполне гумилевское желание христианского «натурфилософского» оправдания «чистого» плотского, животного начала, обращающегося в «звере» в ужасное и безобразное «неистовое бешенство желаний» (обезьяна в христианской «бестиарной» символике была одним из обозначений ненасытного и извращенного блуда): смерть зверя, а затем и посмертная «казнь» его уничтожает собственно «зверство», как бы «очищает» пораженную греховной похотью плоть — остается нечто, вызывающее сострадание» (Зобнин. С. 236). «Звери Гумилева в сущности похожи на зверей древнерусской каменной резьбы, — пишет о том же, но под несколько иным углом зрения И.Ерыкалова. — В рассказе «Лесной дьявол», обратившись к древней истории Африки, временам Ганнона Карфагенского (V в. до Р.Х.), поэт описывает историю гибели отравленного павиана у ног похищенной им карфагенской девушки. Столкновение мира зверя и мира человека поначалу лишено мистического содержания. <...> Блистательно описание нечеловеческих чувств и мыслей павиана. В последнем эпизоде невеста великого Ганнона дарит поцелуй мертвой голове зверя. Этот поцелуй забирает живую силу ее любви. Он приносит в рассказ тот мистический ужас, который порой пронизывает [в творчестве Гумилева] мир Африки. Образы зла в рассказах Гумилева приоткрывают своеобразие его мировосприятия: ощущение постоянно борющихся в мире сил добра и зла. И зло чаще всего связано с образом зверя. Это не конкретный зверь — носорог, жираф или слоненок. Это мистический зверь, воплощение дьявола, звериных сил в человеке, противостоящих свету христианства. Если живой павиан явно одушевлен автором, то

мертвая голова его — воплощение дьявола, мистического зла» (Ерыкалова И. Проза поэта // АО. С. 287-288). Интересно наблюдение Д. Грачевой, также рассматривавшей рассказ в контексте метафизики «животной» плоти в звере и человеке: все события в рассказе — «цепь случайностей» («не зная зачем» жалит павиана змея, зимние дожди размывают ручей, делая недоступной «уединенную лощину», куда стремится ужаленный павиан, «желанный брод» случайно оказывается занят отрядом Ганнона, павиан кидается на шею коню, будучи не в силах удержаться от припадка, а затем «случайно» смотрит на девушку и им овладевает желание, и, наконец, его отрубленная голова «случайно» попадается на пути невесты Ганнона). «Однако случайности, — пишет она далее, — оказываются роковыми, а значит предопределенными, фатальными. Все происходит по воле Любви, всемогущее начало которой в рассказе воплощает «прекрасная, но грозная богиня» Истар, к которой взывает о помощи героиня. Истар... — богиня любви и плодородия, олицетворение планеты Венера... <...> ...В рассказе «Лесной дьявол» смысловое наполнение слова «страсть»... — это «острое желание», «дикое бешенство», потребность утоления чувства и его запредельность, «медленно действующий яд», распространение которого нельзя остановить» (Грачева II. С. 222-223).

И.Ерыкалова отмечает буквальную, а не метафорическую содержательность заголовка: «Мотив дьявола [в творчестве Гумилева] имеет очень характерный образ — дикой звериной силы» (Ерыкалова Н. Проза поэта // АО. С. 286). Как уже говорилось выше, в творчестве Гумилева рассказ «Лесной дьявол» оказывается тематически соотнесенным как с рассказом «Черный Дик» (см. № 7 наст. тома и комментарии к нему), так и с рассказом «Принцесса Зара» (см. № 9 наст. тома и комментарии к нему); О.Обухова также полагает, что «стихотворение «Царь, упившийся кипрским вином...», где царь описывает первую брачную ночь с неолюбящей его девой, можно прочитать как окончание рассказа «Лесной дьявол»» (см.: Гумилевские чтения 1996. С. 124).

Стр. 1 — Сенегал — река в северо-западной Африке. В древности, под названиями Chretes или Chremetes (позже — Stachir или Bambotus),она была известна карфагенянам, основавшим в ее устье, богатом плодородными илистыми землями, колонию; была заново открыта португальцем Лансеротом в 1447 г. В нижнем течении своем образует множество излучин, а сильный прилив и отлив препятствуют в некоторые периоды года доступ в реку. «Многоводный Сенегал» упоминается в одном из вариантов поэмы «Мик» (см. с. 231 т. III наст. изд.). Стр. 1-7 — традиционная для раннего Гумилева экзотическая образность «условной Африки» (первое «африканское» путешествие Гумилева приходится на сентябрь-ноябрь 1908 г.). Профессиональный африканист А.Б.Давидсон писал об «африканских» стихах «Романтических цветов»: «Те стихи относятся не к временам, когда Гумилев ездил в далекие страны, чтобы, как он говорил, в новой обстановке найти новые слова. С ними куда более связано другое признание Гумилева: «И я опять спешу в библиоте-

ки, стараясь выведать у мастеров стиля, как можно победить роковую интерность пера». И если о нем писали потом, что его жирафы и леопарды стилизованы, салонны, что они порождены не подлинным морским и тропическим миром, не Африкой, а Монпарнасом, что они целиком навеяны чужими произведениями: Леконтом де Лилем, Бодлером, Кольриджем, Стивенсоном, Киплингом, — то имелись в виду именно те первые стихи. <...> Это ничем не принижает тех стихов. Их запоминали и декламировали... Но «точными описаниями» природы и быта Африки эти и другие подобные строки, конечно, не назовешь. Это совершенно очевидно» (Давидсон. С. 40-41). К пейзажам «Лесного дьявола» это, конечно, тоже относиться — с той оговоркой, что, создавая свою ориентальную экзотику Гумилев, помимо беллетристики, имел в виду и исторические и географические труды и справочные издания, с которыми был знаком с детства (см.: Жизнь поэта. С. 17). Самих «африканских» стихов (т.е. таких, в которых можно установить какое-то, хотя бы косвенное наличие африканских мотивов) в «парижском» творчестве Гумилева 1906-1908 гг. на самом деле очень мало, и все они локализованы периодом августа — декабря 1907 г., т.е. именно временем духовного кризиса поэта, после севастопольских «откровений» Ахматовой (см. в т. I наст. изд. №№ 63, 73, 75, 81, 93, 95). Стр. 9-10 — ср. описание старого павиана в «Африканской охоте» (№ 14 наст. тома). Стр. 37-63 — экспедиция карфагенского военачальника Ганнона с целью основать колонию Карфагена в устье «Крокодилосвой реки» — Сенегала — была грандиозным даже по нынешним временам предприятием: в ней участвовало до 30 тысяч (!) человек, снабженных всем необходимым для обустройства на новом месте; целью ее было расширение области карфагенской торговли (финансы и торговля были специальностью Карфагена в тогдашней ойкумене). По мере продвижения на юг Ганноном основывались колониальные поселения; самой южной точкой его пути стал мыс Пальма (тогда — «Южный рог»). После этого запасы, взятые с собой, стали иссякать, и Ганнон счел за благо вернуться в Карфаген, где в одном из храмов он установил доску с отчетом об экспедиции. Этот отчет стал одним из немногих дошедших до нас (в греческом переводе) после полного разрушения города римлянами в Третьей пунической войне (как известно, даже на место, где находился Карфаген, было наложено заклятье) подлинным памятником карфагенской цивилизации — отсюда его широкая известность. Р.Л. Щербаков высказывает предположение, что поэт мог быть знаком с этим документом (равно как и с историей всей экспедиции) по кн.: Mer,Memoir sur le Periple d'Hannon. Paris, 1885 (см.: Соч II. С. 430-431). На описание внешности карфагенян Гумилевым, вероятно, повлиял исторический роман Г.Флобера «Саламбо». Упомянутые в начале данного отрывка боевые слоны были ударной силой карфагенского войска, — в отличие от крупнейших армий тогдашнего мира, где аналогичную роль выполняли боевые колесницы. У Гумилева этот исторический экзотизм встречается в ст-ниях №№ 99 (II), 44 (IV), 57 (IV). Стр. 58-60 — Ганнон происходил из знатной Карфагенской семьи, многие члены которой активно участвовали в политической жизни города (Ганноном звали также наместника Ливии, оставшегося в истории с прозвищем Великий). Ганнон-

мореплаватель был какое-то время суффитом Карфагена (одна из двух высших выборных должностей исполнительной власти) и военачальником (тоже выборная должность). В отличие от своих воинственных родственников, активно задействованных в интригах пунических войн, Ганнон-мореплаватель предпочитал укреплять экономическую мощь родного города и карфагенское колониальное могущество, что свидетельствует о его политической прозорливости. Ганнон-мореплаватель воспет в «Капитанах» (см. № 148 (I)). Стр. 59-60 — перед тем как пасть в схватке с Римом, Карфаген одержал как военную так и экономическую победу над греческими государствами (используя гражданские распри между эллинскими полисами и традиционные торговые таланты финикийских купцов), — отсюда и упоминание о «льстивых греках», именующих карфагенского суффита братом «светозарного» бога. Стр. 84 — Истар (Иштар) или Астарта была женским божеством финикийцев (т.е. семитских племен тогдашней ойкумены). В отличие от арийцев (греков и римлян) с их олимпийским пантеоном, финикийцы исповедовали религию, средоточием которой было воспроизводящее начало мироздания. Этой религии была присуща мистика самой грубой чувственности, жрецами Астарты и ее «мужского» протагониста Ваала были «свщенные блудницы и блудники», а символическими изображениями этих божеств были йони и фаллос. С сексуальными аспектами культа Ваала и Астарты (выступающих в разных испостасях) была тесно связана практика намеренно жестоких человеческих жертв, культ «священного насилия и страдания», ибо половое влечение и воспроизводство материи обратной стороной имеет подавление материи и ее смерть. Астарта выступала и в качестве богини-воительницы; близкое к ней семитическое божество Ашера имело откровенно-хтоническую природу, ей приписывалась особая приверженность к козлам (сама Астарта, как и Ваал были «рогатыми» божествами), а в ее лесных капищах производились особые ритуальные умерщвления девственниц. Вводящийся здесь Гумилевым мотив «астартизма» — ибо все дальнейшие события оказываются истолкованными как непосредственное проявление воли Истар, — обуславливает специфическую «мистико-половую» ауру происходящего, связанную, прежде всего, с сакрализацией акта дефлорации. Стр. 119-120 — в отличие от Вавилона и Египта, жреческое сословие не обладало широкими властными полномочиями в прагматической карфагенской демократии, которую Аристотель именовал «аристократией, перешедшей в плутократическую олигархию», и было подчинено светской власти. Главную роль в последней играл председательствуемый суффетами совет старейшин (аналогичный спартанскому) и «коллегия ста четырех» — выборный законодательный орган, являющийся оплотом олигархов и предводительствуемый влиятельными фамилиями. Что касается народа, то, хотя он формально и имел право обсуждать государственные вопросы, его голос выслушивался только в самых крайних случаях, когда возникали неразрешимые противоречия между властными органами. Все дальнейшее обсуждение судьбы героини воспроизводится Гумилевым в соответствии с этими историческими фактами. Стр. 128 — Амон в Финикии — одно из имен Ваала («Вечный»). Стр. 1140-142 — практика сожжения жертв (в том числе, и прежде всего — детей) была самой популярной в

культе Ваала и Астарты. Стр.143-145 — ср. с рассуждениями на эту же тему героев рассказа «Путешествие в страну эфира» (№ 15 наст. тома). Стр. 173-180 — ср. описания африканской ночи в ст-ниях №№ 107 (II) и 12 (IV). В ассирийском изводе астартизма богиня считалась дочерью Луны, которая являлась собственно богиней плодородия, богиней брака, совокупляющей все твари. С другой стороны образ Луны в раннем творчестве Гумилева был эмблемой Ахматовой, страдавшей лунатизмом (см. об этом: Тименчик Р.Д. Николай Гумилев // Родник. 1988. № 10. С. 20). Стр. 181-182 — покоренные карфагенянами африканские туземцы — ливийцы и нумиды — были обращены победителями в крепостных; отношение к ним было подобно отношению спартанцев к илотам, которых они специально подпаивали, а затем демонстрировали в качестве назидательного отрицательного примера подросткам. Стр. 112-120 — ср. концовку пьесы О. Уайльда «Саломея», где «девственная» Саломея целует в губы отсеченную по ее капризу голову Иоканаана: «Ах, ты не дал мне поцеловать твой рот, Иоканаан! <...> Ах, а теперь я его поцелую. Но зачем ты не смотришь на меня, Ионакаан? Твои глаза, раньше такие страшные, такие наполненные яростью и презрением, теперь закрыты. Зачем они закрыты? Открой свои глаза. <...> Ах, как я тебя любила! Я до сих пор тебя люблю, Иоканаан, я люблю только тебя <...> Я жажду красоты твоей, я жажду тела твоего <...> Я была принцессой, а ты мною пренебрег. Я была девственницей, а ты отнял от меня мою девственность. Я была целомудренна, а ты наполнил мои жилы огнем <...> Я хорошо знаю, что ты бы полюбил меня, а тайна любви величественнее, чем тайна смерти». Ср. также функцию «уальдианских» реминисценций в мотиве самоубийства рассказа «Принцесса Зара» (см. комментарии к стр. 148-150 № 9 наст. тома).

12. При жизни не публиковалось. **Печ. по фотокопии автографа в архиве Е.Е.Степанова (Москва).**

ЗС (ошиб. публ.) -- Соч II -- Полушин (ошиб. публ.) -- Изб (Слов) -- Изб (Слов) 2 -- СС 2000 -- СПП 2000 -- Изб (Вече) -- АО -- Проза поэта -- СПП 2001; Зов Африки. М.; 1992; Огонек. 1987. №14 (ошиб. публ.).

Автограф до 1987 г. находился в коллекции О.Н.Высотского (Кишинев). *Глава первая.* В стр. 23 вместо «кого именно» ранее было «кого из секретарей». В стр. 59 после «принятый» ранее было «музеем». Между стр. 77-78 ранее было (с абзаца): «Странное впечатление производит на северянина Одесса. Словно какой-нибудь заграничный город, русифицированный усердным администратором. Огромные кафе, наполненные подозрительно-изящными коммивояжерами. Вечернее гуляние по Дерибасовской, напомииающей в это время парижский бульвар Сен-Мишель. И говор, специфическии одесский говор, с измененными ударениями, с неверным употреблением падежей, с какими-то новыми и противными словечками. Кажется, что в этом говоре яснее всего сказывается психология Одессы, ее детски-наивная вера во всемогущество хитрости, ее экстатическая жажада успеха. В типографии, где я печатал визитные карточки, мне попался на глаза свежий номер печатающейся там же вечерней одесской газеты. Развернув его, я увидел стихотворение

Сергея Городецкого с измененной лишь одной строкой и напечатанное без подписи. Заведывающий типографией сказал мне, что это стихотворение принесено одним начинающим поэтом и выдано им за свое.

Несомненно, в Одессе много безукоризненно порядочных, даже в северном смысле слова, людей. Но не они задают общий тон. На разлагающемся трупе Востока завелись маленькие юркие червячки, за которыми будущее. Их имена — Порт-Саид, Смирна, Одесса». В стр. 78 после «10-го» ранее было «апреля», после «Тамбов» ранее было «мы». В стр. 80 после «как» ранее было «какое-нибудь». В стр. 109 после «на улицах» ранее было «почти». В стр. 130 после «маленький» ранее было «турок». В стр. 179 после «несколько» ранее было «раз». В стр. 235 после «товарищ» ранее было «скрыл». *Глава вторая.* В стр. 77 вместо «царит» ранее было «вождем царствует». В стр. 92 после «второго» ранее было «обыкновенно». В стр. 94 вместо «пути» ранее было «дороги». В стр. 98 после «рельсы.» ранее было «Чтобы колеса». В стр. 155 вместо «две дрезины» ранее было «дрезину». В стр. 166 перед «Одному» ранее было «Наконец», вместо «стрепета» ранее было «дроф». В стр. 181 после «я» ранее было «последний из». В стр. 200 вместо «пока» ранее было «когда». В стр. 276 после «Громадные» ранее было «волны», после «валы» ранее было «воды». *Глава третья.* Стр. 14-69 написаны рукой Н. Л. Сверчкова. В стр. 72 вместо «я» ранее было «мы». В стр. 118 перед «Как-то» ранее было «Он». В стр. 129 перед «однако» ранее было «в то». Стр. 134-175 написаны рукой Н.Л. Сверчкова. В стр. 169 перед «впечатлению» ранее было «обще». В стр. 187 после «прибытье» ранее было «Адис-Абебой». В стр. 191 вместо «видевших» ранее было «желавших». В стр. 207 вместо «губернатором» ранее было «дедьязмачем». В стр. 243 перед «Мы» ранее было «Всю бо». В стр. 251 перед «раса» ранее было «род». В стр. 255 вместо «приказ» ранее было «пропуск». В стр. 256 перед «нагадрас» ранее было «при». В стр. 295 вместо «прядильную» ранее было «ткацкую». В стр. 298 перед «избегая» ранее было «общая». *Глава четвертая.* В стр. 14 вместо «Абесинии» ранее было «Адис-Абебе». В стр. 24 перед «дедзач» ранее было «дедьязмач», перед «Ильма» ранее было «Бальча». В стр. 30 после «торга» ранее было «как рабынь».

Дат.: апрель-май 1913 г.: по времени описываемых событий и письму к Ахматовой от 16 апреля 1913 г. (Соч III. С. 237).

«Африканский дневник» — художественное повествование о событиях этнографической экспедиции в Северо-Восточную Африку (7 апреля — 20 сенятбря 1913 г. (ст. стиль)). Это самое пространное произведение Гумилева на «африканскую тему», интеграция которой в отечественный литературный тематический репертуар является, во многом, личной заслугой поэта.

«Любовь к Африке он пронес через всю свою судьбу, от ранних стихов до сборника «Шатер», последнего из изданных при его жизни, — писал автор лучшего на настоящий момент исследования данной тематики А.Б.Давидсон. — <...> Африканская тема пронизала всю его жизнь. Вспомним хотя бы его стихотворения и

поэмы, написанные в разное время. «Африканская ночь», «Озеро Чад», «Мик. Африканская поэма», «Жираф», «Леопард», «Носорог», «Гиена», «Красное море», «Египет», «Сахара», «Судан», «Абиссиния», «Галла», «Сомалийский полуостров», «Либерия», «Мадагаскар», «Замбези», «Суэцкий канал», «Эзбекие», «Экваториальный лес», «Нигер», «Дагомея», «Дамара. Готтентотская космогония», «Зараза», «Рождество в Абиссинии», «Алжир и Тунис» и еще, еще. <...> Есть у Гумилева и два цикла абиссинских песен. Первый — его собственные стихотворения об Абиссинии, а второй, впервые опубликованный в 1988 году, — это собранные и переведенные Гумилевым подлинные песни эфиопов.

А когда Гумилев писал о своих читателях — тех, которыми он гордился, то первым из них называл старого бродягу в Аддис-Абебе.

Акростих, посвященный Анне Ахматовой, начат так: «Аддис-Абеба, город роз...».

И даже Дон-Жуана отправил на свой любимый материк, написав пьесу «Дон-Жуан в Египте» <...>

Есть у Гумилева и сборник рассказов «Тень от пальмы», рассказ «Африканская охота. Из путевого дневника», статья «Умер ли Менелик?», «Записка» об Абиссинии. Он писал и статью «Африканское искусство», — сохранилось ее начало. А в 1987 и 1988 годах были опубликованы две части неизвестного прежде гумилевского «Африканского дневника», который он вел во время путешествия 1913 года.

Африканская тема была не просто важной для Гумилева. В его творчестве она заняла неизмеримо больше места, чем у других российских писателей и поэтов. Да и прожил он в Африке значительно дольше» (Давидсон. С. 6-7).

«...Почему же с таким упорством Гумилев стремился в эти заветные края и чем в те годы была столь привлекательна Абиссиния? — развивает эту же тему другой биограф поэта, В.В.Бронгулеев. — Прежде всего конечно же своей уникальной географией. Найти условия в Африке, аналогичные абиссинским в смысле строения поверхности, разнообразия высотно-природных зон, богатства растительного и животного мира было практически невозможно.

Второе, что привлекало к Абиссинии исследователей, — это ее этнография. Пестрота этнического состава здесь была удивительна, а ведь она обусловливала различия и в быте ее народов, и в искусстве, и, конечно, в религии.

Наконец, необыкновенной оказалась история Абиссинии, восходившая к самому Адаму и тесно переплетавшаяся с сюжетами Библии.

Но помимо названных общих причин, обусловивших интерес Гумилева к Абиссинии, имелись и более частные, связанные с его вкусами и особенностями характера. <...> Николай Степанович смог познакомится с обширным материалом, касавшимся географии, этнографии и истории восточной Африки, и в частности Абиссинии. По словам Ахматовой, она часто видела в его руках «Атлас географических карт» Видаля де ла Блаша, который он усиленно штудировал.

Кроме географических карт и научной литературы поэт должен был познакомиться и с хранившимися в архивах, а частично и опубликованными отчетами русских путешественников и военных — А.В.Елисеева, Л.С.Артамонова, А.К.Булато-

вича и других, неоднократно посещавших Абиссинию в предшествующие годы. Эти материалы могли сыграть решающую роль при выборе маршрутов его путешествий.

Не могло пройти не замеченным для Гумилева и совершенное незадолго до него путешествие в Абиссинию его коллеги по перу Артюра Рембо. Если на такую авантюру мог решиться французский поэт, то почему аналогичную ей не мог совершить поэт русский?

Ну и последнее. Не волновала ли его мысль о том, что своим приобщением к Абиссинии он как бы отдавал своеобразный долг памяти боготворимого им русского гения — Пушкина, далекие предки которого, как известно, были выходцами все из той же древней страны?» (Бронгулеев. С. 183-184).

А.Давидсон приводит в своей работе два важных свидетельства, позволяющие конкретизировать источники «африканских» влияний на Гумилева в самый ранний период его творческого развития. Первое — со слов А.А.Ахматовой: «...Я спросил, почему Гумилев так увлекся Абиссинией и вообще Африкой.

— Не знаю, время, наверное, было такое. Книги о путешествиях, рассказы...

И вспомнила, как офицеры-гвардейцы в Царском Селе, где жили Гумилев и Ахматова, похвалялись, бывало своими путешествиями в Абиссинию: «Ну что там, — съездить в Африку, привезти арапчонка». Это же потом подтвердил и поэт В.А.-Рождественский, выпускник той же царскосельской Николаевской мужской гимназии, которую в 1906 г. окончил Гумилев: «Всеволод Александрович Рождественский на мои распросы обо всем этом сказал, что Абиссиния возбуждала необыкновенное любопытство царскосельских гимназистов. Как и Ахматова он считал, что в Царском Селе служили, или во всяком случае бывали офицеры и казаки из конвоя, сопровождавшего первую российскую дипломатическую миссию [в Абиссинию]. А юный Гумилев по словам Рождественского, очень любил распрашивать военных» (Давидсон. С. 18, 81).

Ко всему сказанному необходимо также добавить, что собственно «африканская» тематика впервые появляется в творчестве Гумилева в начале 1907 года, в рассказе «Вверх по Нилу» (см. № 3 наст. тома и комментарии к нему), написанном под влиянием произведений Р.Хаггарда, а также — оккультных сочинений, в которых особо акцентировалась «мистическая значимость» Африки. Это кажется весьма важным, если учесть, что первая мощная «генерация» произведений на «африканскую» тему в стихах и в прозе, равно как и возникновение безудержного стремления «в Африку» приходится в жизни поэта на июль-ноябрь 1907 г., т.е. на месяцы, когда он остро переживал драматическое крушение надежд на благополучный брак с А.А.Горенко (см. комментарии к №№ 9, 11 наст. тома). Не исключено, что «африканское паломничество» ассоциировалось у него с неким «магическим действием», которое должно чудесным образом «преобразить» его жизнь, «обессмысленную», по его собственному признанию, изменой невесты. Сама Ахматова утверждала, что для Гумилева «путешествия были вообще превыше всего и лекарством от всех недугов. <...> Сколько раз он говорил мне о той «золотой двери», которая должна открыться перед ним где-то в недрах его блужданий, а когда вернулся в 1913

году, признался, что «золотой двери» нет. Это было огромным ударом для него» (см. комментарии к ст-нию № 33 (III)).

Собственно «абиссинское направление» возникает в планах его «странствий» (насколько можно судить по имеющимся источникам) летом 1908 г. (следует указать, что в апреле 1908 г. произошел «решительный» разговор с Ахматовой, завершившийся полным разрывом и взаимным возвращением писем и подарков — см.: Жизнь поэта. С. 61). «Я... осенью думаю уехать на полгода в Абиссинию, чтобы в новой обстановке найти новые слова», — пишет он Брюсову 14 июля (ЛН. С. 481), но в этом году осуществить задуманное ему удалось лишь наполовину: осенью он, действительно попал в Африку, был в Египте, в Каире, а, возможно, и «полежал на камнях Мемфиса» (см. письмо к Брюсову от 19 октября — ЛН. С. 484), однако (как явствует из того же пиьма) «мне не удается поехать в глубь страны, как я мечтал».

Вновь «абиссинский мотив» возникает в его творческой биографии летом 1909 г. — сразу после «коктебельского» разрыва с Е.И.Дмитриевой. Уехав по ее настоянию из Коктебеля, Гумилев, возвращаясь в Петербург, заезжает в Одессу, где встречается с Ахматовой и... предлагает той ехать с ним в Африку! (см.: Жизнь поэта. С. 87-89). Ахматова отказалась, равно как отказался (в самый последний момент) ехать вместе с Гумилевым и Вяч. И.Иванов, давно мечтавший совершить паломничество на «священную» территорию Аксума, но «не потянувшего» такого путешествия за скудостью средств (см.: Бронгулеев. С. 151-152). 23 декабря (н. ст.) 1909 года Гумилев прибывает в Джибути (через Одессу, Варну, Константинополь, Афины, Каир и Аден) и отправляется в глубь страны. С этого момента именно Абиссиния-Эфиопия и становится той «Африкой Гумилева», которая сыграла такую яркую роль в русской и мировой литературе и культуре XX века.

Абиссиния в момент появления там Гумилева представляла собой империю, метрополия которой располагалась на Абиссинском нагорье, а земли простирались от бассейна Верхнего Нила до побережий Красного и Аравийского морей, гранича на севере с Египтом, на Западе — с Суданом, на Юго-Востоке — с Сомалийским полуостровом, а на Юге — с территориями племен Центральной Африки (нынешняя граница с Кенией), являвшимися в имперском восприянии «чужеземцами» («сидамо»). Удачное сравнение при изображении «физического» облика Абиссинской империи мы находим в статье энциклопедического словаря Брокгауза-Эфрона: «Она представляет точно громадную крепость на скале, которая с запада поднимается постепенно, отчасти в виде широких террас, а с востока обрывается отвестной стеной, внутри же перерезывается многочисленными, необыкновенно глубокими и своеобразно извивающимися долинами рек, между которыми бесчисленные плоские возвышенности кажутся как бы островами» (Т. 1. СПб., 1890. С. 29). На этих «островах» горной «цитадели», протянувщейся с юго-запада на северо-восток, до самого побережья, были расположены земли трех крупнейших стран-областей империи — Амхары («крайний» север, выходящий к морю), Тигре (северо-запад) и Шоа (центр абиссинской территории), населенные народностями семитской группы. Роль «предместий», окружающих «цитадель», выпол-

няют земли «низинных» народов, принадлежащих к кушнитской группе, среди которых особенно выделялось многочисленное племя галласов, единственное, способное противостять «горной» семитской метрополии. Властным имперским центром в стране Галла являлся город Харэр (у Гумилева — Харрар).

История Абиссинии восходит к Аксумскому царству, т.е. к ветхозаветной эпохе. Согласно этой, «библейской» версии, основателем города Аксум — первой из городов-крепостей на Абиссинском нагорье, — был внук Ноя, один из пяти сыновей Сима — Арам. Наследницей его и была знаменитая Хазнеб — библейская царица Савская. Третья Книга Царств (10. 1-13) рассказывает о ее посещении Иерусалима, где она была принята Соломоном, которого «испытывала» загадками, была поражена его мудростью, уверовала и принесла великие дары для строительства Храма. Предание же говорит о любви Соломона и Савской, и о рождении у них сына Менелика, который был воспитан Соломоном и, став совершеннолетним, сел царем в Аксуме. В Аксум же, по воле Соломона, был перевезен из Иерусалима на вечное хранение Ковчег Завета (отсюда и сакрализация Абиссинии во многих «тайных учениях»). «Исторические» же версии говорят о многовековых войнах (удачных) эфиопов с египтянами, и о бегстве их от победоносных римских войск в I в. до Р.Х. на юг.

«Первая эпоха существования Аксума, начавшаяся, возможно, с царствования полулегендарного Менелика I, завершилась в IX веке н.э. правлением царя Дельнаада. Между ними престол занимали от 17 до 32 царей. Все они принадлежали к династии Соломонидов, о которой известно не слишком много» (Бронгулеев. С. 188). С середины первого тысячелетия на Аксумское царство начинается мощное исламское давление, приведшее к закату державы Соломонидов и эпохе «смутных времен», растянувшихся на три века, в течение которых государство распалось на несколько княжеств и султанатов. В эпоху Крестовых Походов абиссинские христианские владыки имели контакты с европейскими государями, а в XIII веке династия Соломонидов вновь приходит к власти и возрождает единство страны — уже Абиссинии. С этого момента собственно и начинается историческое бытие того государства, которое увидел Гумилев (воспетый им Менелик II был 68 государем «второй» генерации Соломонидов).

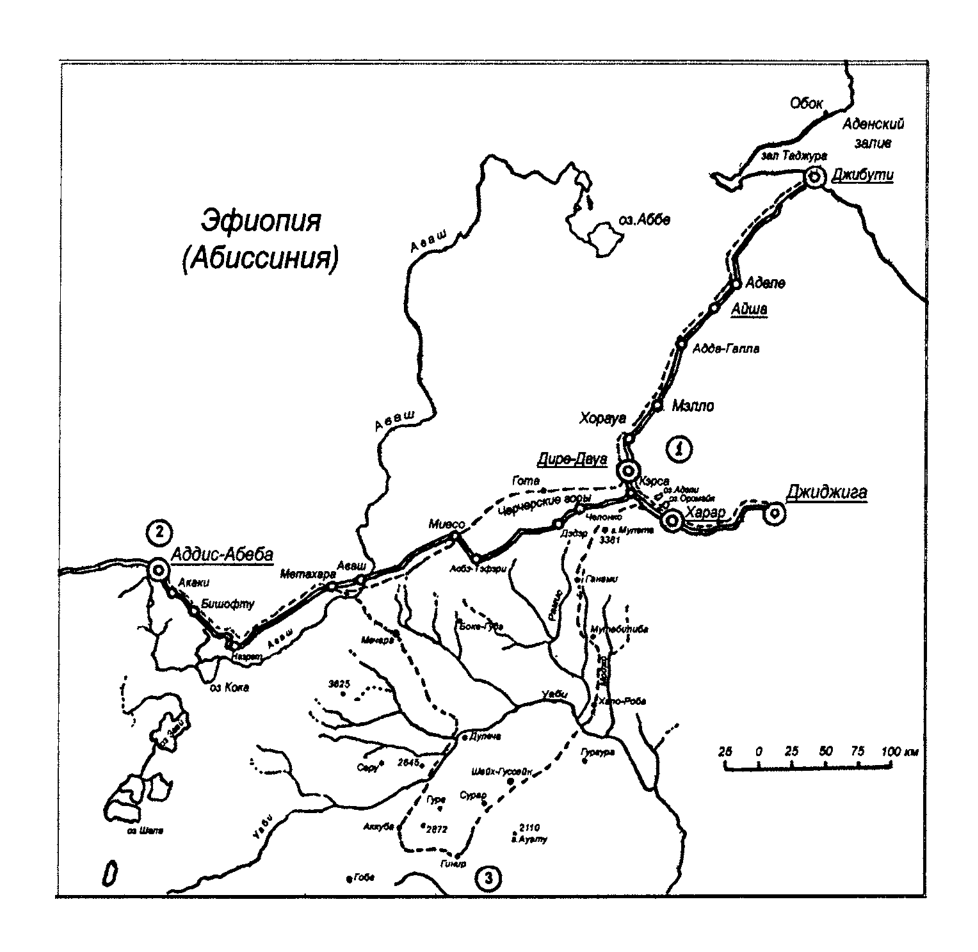
Центральной историко-геополитической коллизией Абиссинии стало некое «посредничество», подобное геополитическому «евразийскому» посредничеству России. Здесь, правда, было не два, а целых три «центра притяжения» к каждому из которых так или иначе была причастна эта удивительная страна — христианская Европа к которой «страна черных христиан» имела отношение по своей религиозно-культурной традиции, мусульманский Ближний Восток, с которым она была исторически и этнически связана, и, наконец — «черная Африка», к которой она принадлежала опять-таки этнически и географически. К началу XIX века «африканское» начало, кажется, окончательно возобладало: в большой степени этому способствовала трудность контактов (прежде всего торговых) с тогдашним цивилизованным миром: сухопутные пути шли через североафриканские пустыни, а морские предполагали огибание всего африканского материка. Страна по существу жила натуральным

хозяйством, древняя христианская культура пришла в упадок, а централизованные государственные структуры в XVIII веке вновь превратились в фикцию. Сохраняя формально имперскую власть, Абиссиния вновь представляла собой, фактически, ряд враждующих друг с другом феодальных владений.

Однако в середине XIX века на Суэцком перешейке начались работы по созданию канала (открыт в 1869 г.), — и значение прежнего «африканского захолустья» в глазах великих колониальных держав Европы резко выросло. К середине XIX века относится и завязка тех событий, свидетелем которых стал в начале 10-х годов русский поэт.

Во время обострения очередной междоусобицы в начале 50-х годов XIX века удача улыбнулась правителю западной Амхары Касе, который, разбив в 1852 г. силы правителей сопредельных областей и развивая успех, нанес в 1853 г. в битве при Дераские поражение самому могущественному из абиссинских феодалов — имперскому наместнику Убие, правившему в Тигре. После этого, в 1857 году Каса венчал себя императором под именем Теодора II, подчинил себе Шоа и, таким образом восстановил реальную централизованную власть в метрополии. Новый император развил бурную деятельность по реформации страны: создал единую армию, запретил работорговлю, смирил духовенство и, главное, стал активно привлекать европейцев, англичан и французов, к проведению своих реформ (в какой-то мере его деятельность, равно как и деятельность продолжателя его политики — Менелика II кажется неким аналогом «западнических» петровских преобразований). Недовольство населения реформами, выражавшееся в целом ряде восстаний в провинциях, сотрясавших страну во время всего его правления, Теодор подавлял с запредельной жестокостью, но такое постоянное внутреннее напряжение до предела истощало государство. В октябре 1862 г. Теодор направил своих европейских советников к королеве Виктории и Наполеону III с просьбой о предоставлении помощи, однако его обращения были проигнорированы. В ответ на это он заключил всех, бывших при его дворе европейцев в крепость Магдалу, вынудив этим англичан начать с ним переговоры. Кончилось это тем, что в 1866 году из Бомбея прибыло англо-индийское войско под командованием лорда Нэпира, которое в апреле 1868 г. осадило Магдалу. Несмотря на то, что заложники-европейцы после этого были выпущены, 13 апреля крепость была взята штурмом, во время которого Теодор II застрелился, а его жена и сын сдались в плен.

Смерть Теодора и наличие «английского фактора» дали толчок к очередному витку борьбы за власть между владыками областей метрополии, в которой победил наместник Тигре Каза, пообещавший англичанам уничтожить пошлины и даровавший английской компании земли для плантаций. В канун окрытия Суэцкого канала это было как нельзя кстати, — и при поддержке Англии Каза под именем Иоанна IV короновался в Аксуме 21 января 1872 г. С помощью Англии же ему удалось выдержать натиск войск египетского хедива, который в 1875 г. предпринял поход на Абиссинию, рассчитывая на восстание абиссинских мусульман и помощь самого могущественного конкурента Иоанна, — имперского наместника в Шоа Менелика.



Маршруты абиссинских путешествий Н. С. Гумилева

1 — Декабрь 1909 г. — январь 1910 г. (Джибути — Дире-Дауа — Харар). 2 — Октябрь 1910 г. — февраль 1911 г. (Джибути — Дире-Дауа — Аддис-Абеба). 3 — Апрель — сентябрь 1913 г. (Джибути — Дире-Дауа — Харар — Джиджига — Черчерские горы — Шейх-Гуссейн — Гинир — Метахара — Дире-Дауа).

Последний, обнаруживая уже тогда гениальную политическую интуицию, предпочел не «вступать в союз с неверными», — и египтяне были разбиты в битвах при Маребе (18 ноября 1875 г.) и Гуре (5-7 марта 1876 г.). Войско их было практически вырезано, все его оружие досталось победителям, мусульмане в самой Абиссинии подверглись жестоким гонениям, а Египет по условиям мирного договора 1879 г. обязался выплачивать Абиссинии $ 8000 ежегодно. Власть Иоанна IV как будто бы окрепла, но... сам он был уже полностью зависим от английского влияния. Как раз в это время, в 1881 году в соседнем с Абиссинией Судане разгорелось антиколониальное восстание, поднятое мусульманскими фанатиками во главе с Мухаммедом Ахметом, объявившим себя махди (праведником из рода пророка, который поддержит правоверных и даст победу правде; махдистское восстание стало темой для одного из «африканских» стихотворений Гумилева — см. № 20 (IV) и комментарии к нему). Английские колониальные войска терпели сокрушительные поражения, завершившиеся падением столицы Восточного Судана Хартума, гибелью главы англичан генерала Ч.-Д.Гордона и созданием махдистского государства, просуществовавшего с 1885 по 1898 гг. В затяжную войну с махдистами оказался вовлечен и Иоанн IV с его абиссинскими воинами. С другой стороны, англичане вынудили Иоанна заключить договор о беспошлинной торговле через порт Массова (современная Масауа, город на побережье Красного моря), значение которого по мере развития судоходства через Суэцкий канал приобрело стратегический характер. В 1885 г., пользуясь пошатнувшимся в африканских странах после побед махдистов положением англичан, к этому договору присоединилась Италия. Иоанн пробовал протестовать, но его протесты были проигнорированы, и итальянцы ввели в Массову свои войска. Начался вооруженный конфликт в котором, в конце концов, итальянцы вынуждены были уступить и вывести свои войска из северной Абиссинии, как вдруг в 1889 г. в сражении с махдистами Иоанн IV был убит.

Менелик, державшийся до этого времени в тени, по своей инициативе начал переговоры с итальянцами, завершившиеся подписанием в том же году Уччиальского мирного договора, согласно которому Абиссиния переходила под протекторат итальянского короля. Вдохновленные таким неожиданным успехом итальянцы оказали всемерную поддержку Менелику, который тогда же короновался под именем Менелика II и при непосредственной помощи итальянцев последовательно подавил всех других претендентов на трон в Амхаре, Тигре и Харэре, сосредоточив в своих руках небывалую, полную и абсолютную власть над всей страной. Когда это произошло, он опротестовал ключевую, 17 статью Уччиальского договора, сославшись на то, что фраза «император Абиссинии должен прибегать к услугам правительства Его Величества Итальянского Короля», которая и была в глазах итальянцев основой для введения протектората, переведена с амхарского языка (на котором был составлен договор) на итальянский неправильно, и следует читать не «должен», а «может». Согласно такому «прочтению» итальянский протекторат над Абиссинией был незаконным, ибо Менелик предуведомлял, что «прибегать к услугам правительства Его Величества Итальянского Короля» он предполагает еще не более года. Возмущен-

ные вероломством их ставленника итальянцы в 1895 г. без объявления войны ввели экспедиционные войска и начали продвижение вглубь территории страны.

Однако Менелик, конечно предвидевший такой исход заранее, сыграл на противоречиях колониальных интересов великих держав. Еще в 1894 г. он, демонстрируя приверженность Италии, заручился в то же время поддержкой Франции, которой предоставил концессию на строительство железной дороги, связывающей другой морской порт на Красном море — Джибути — с городом Аддис-Абебой (куда он в 1892 г. перенес свою столицу). С начала 90-х годов в борьбу за морские базы близ Суэцкого канала вступила и Россия, озабоченная не столько торговыми пробемами, сколько вопросом снабжения углем своих транспортов, направляющихся на Дальний Восток (и, следовательно, наличием угольных баз в Красном море). В 1888-1889 гг. (т.е. в самый канун восшествия Менелика на имперский престол) терский казак Николай Иванович Ашинов и архимандрит Паисий с небольшой группой сподвижников, пытались основать недалеко от Джибути русское поселение, которое они именовали «Московской станицей» (а попросту — Нью-Москвой). Предприятие Ашинова всецело поддерживали морской министр адмирал И.А.Шестаков и всесильный тогда обер-прокурор Синода К.П.Победоносцев. С подачи последнего в синодальной периодике была развернута «просветительская» кампания, утверждающая «братское единоверие» абиссинских христиан русскому Православию. Естетственно, что коптское (египетское) христианство северо-восточной Африки было отнюдь не тождественно греко-российскому Православию (коптская монофизитская ересь была осуждена еще IV Халкидонским вселенским Собором в 451 г.), но прагматический политик Победоносцев, очень чувствительный к вероучительным нюансам в пределах Российской империи, здесь исходил из простого силлогизма: если абиссинцы-христиане не католики и не протестанты — ergo они православные. Появление казачьей «Московской станицы» близ Джибути вызвало резкое противодействие французов, военный корабль которых обстрелял лагерь Ашинова в феврале 1889 г., после чего, избегая прямого конфликта с Францией, Россия объявила ашиновских казаков «авантюристами». Однако сам Менелик, в отличие от французов, отнюдь не настаивал на изоляции Абиссинии от России. В 1894 г. среди его советников появлется отставной русский офицер Н.С.Леонтьев, а уже в июне 1895 г. абиссинская дипломатическая миссия прибывает в Петербург.

В результате в момент итальянской агрессии Россия заняла сторону абиссинцев и даже послала Менелику через общество Красного Креста русский санитарный отряд, Франция не признала объявленный Италией протекторат над Абиссинией (т.е. фактически также поддержала Менелика), а Англия, поддерживающая Италию, ограничилась дипломатическими маневрами. В этой благоприятной внешнеполитической обстановке, Менелик воззвал к патриотическим чувствам подданных, обратившись к ним 17 сентября 1895 г. с призывом к народной войне с «оккупантами». Ему удалось сплотить нацию и собрать 112-ти тысячную армию (элитные части которой были перевооружены и обучены теми же итальянцами). 7 декабря 1895 г. войска Менелика нанесли первое поражение итальянцам под Амба-Алаги, после чего Мене-

лик, продолжая блистательную дипломатическую игру, предложил перемирие. Итальянцы не согласились и вышли к Адуа, на тот момент — крупнейшему городу Тигре. Здесь 1 марта 1896 года произошла великая битва в которой итальянские войска потерпели сокрушительное поражение. Разгром был настолько полным, что Италии ничего другого не оставалось, как официально признать себя побежденной, безоговорочно признать полную независимость Абиссинии и согласиться на выплату контрибуции в 10 миллионов лир. После битвы при Адуа вплоть до 1935 года Абиссиния оставалась **единственной** независимой страной в разделенной между колониальными державами Африке.

Став независимым и самодержавным монархом Менелик II продолжил линию «западнических» реформ Теодора II: перестраивал государственный аппарат, создавая необходимые для централизации страны властные вертикали, вводил торговые льготы и вел активное строительство коммуникаций, основал светскую школу и искоренял рудименты феодализма, прежде всего — институт рабства. При этом он опирался на помощь французов, оказавшихся объективно в положении победителей в колониальной борьбе за Абиссинию в 90-е годы XIX в. Однако, учитывая ошибки Теодора II, приведшие к трагедии 1868 г., Менелик организовывал свои отношения с Францией так, чтобы избежать излишней зависимости от этого «взаимовыгодного сотрудничества», могущего, как это доказывало недавнее прошлое, с легкостью превратиться в простой колониальный захват. Поэтому, верный себе, Менелик стремился создать политическую вертикаль, уравновешивающую его альянс с Францией: и «единоверческая» Россия, достаточно веско заявившая о себе в событиях итало-абиссинской войны, идеально подходила на роль такого «противовеса» (см. о вышеизложенных событиях истории Абиссинии: Marcus H.G. A History of Ethiopia. Berkeley, 1994; The Ethiopian royal chronicles. Ed. by Richard K.P. Pankhurst. Oxford, 1967; Jesman C. The Russians in Ethiopia. London, 1958).

«В феврале 1898 г. в Аддис-Абебу прибыла российская императорская миссия. Ее приезд фактически означал установление постоянных дипломатических отношений. Во главе миссии был поставлен П.М.Власов. <...> Миссию сопровождал конвой — двадцать казаков под начальством подъесаула лейб-гвардии Атаманского полка П.Н.Краснова. <...> Это было первое дипломатическое представительство, отправленное Россией в Черную Африку» (Давидсон. С. 17). С 1902 г. в Аддис-Абебе было учреждено постоянное российское дипломатическое представительство, которое возглавлял министр-резидент, действительный статский советник К.Н.Лишин. Русские военные и ученые в эти годы активно исследовали территорию Абиссинии, подготовляя базу данных для развития всесторонних отношений двух империй. Некоторые из них становились доверенными лицами самого Менелика.

Эти бурные контакты, впрочем, не получили адекватного продолжения: помешала неудача России в японской войне 1904-1905 гг. Менелик не скрывал, что вне сферы высокой политической стратегии, сотрудничество с Россией интересует его исключительно в области военной: «Менелик... хотел получить у России и защиту, и

прямую материальную помощь» (Давидсон. С. 78). Поражение русского оружия резко охладило его интерес к северной империи, так что в 1906 году возник вопрос о целесообразности сохранения в Абиссинии российского дипломатического представительства, тем более, что в обострившейся тогда борьбе за наследование трона престарелого императора (об этом Гумилев подробно рассказывает в статье «Умер ли Менелик?» — см. № 13 наст. тома и комментарии) жизнь русских дипломатов в Аддис-Абебе могла оказаться под угрозой. Все же было принято решение сохранить постоянную дипломатическую миссию хотя бы и в сокращенном виде — «не из-за каких-либо конкретных русских интересов в Абиссинии, а лишь по соображениям великодержавного престижа Российской империи» (Давидсон. С. 84).

После смерти Менелика в 1913 г. (ее, действительно, скрывали, но не так долго, как это запечатлено в сложившейся легенде), императором был объявлен его внук Иассу, поддерживавший мусульманскую группировку в правящих кругах Абиссинии. Произошла переориентация внешней политики: в 1914-1915 гг. Абиссиния была враждебна Антанте, поддерживала Германию и Турцию, планируя совершить интервенцию в английский Восточный Судан. Однако Иассу был свергнут и на престол взошла дочь Менелика Заудиту, а регентом объявлен Тэфэри Мэконын (у Гумилева — Тафари Маконнен), харэрский наместник, встреча с которым описана Гумилевым в третьей главе «Африканского дневника» (см. стр. 231-271). Тэфэри был лидером группы «младоэфиопов» — торговой буржуазии и интеллигенции, и пользовался поддержкой европейских стран Антанты. Его регентство было ознаменовано активной и весьма хитроумной борьбой против партии крупных феодалов и духовенства и подготовкой к введению конституционного правления. Став после смерти Заудиты (1930) императором Абиссинии под именем Хайле-Селасио I, он ввел на следующие год разработанную им конституцию, превратив, таким образом страну в конституционную монархию. Этот недюжинный человек возглавил борьбу против итальянских оккупантов в 1935-1931 гг. и удержался на троне до 1974 г., когда был свергнут в ходе «социалистической» революции (обернувшейся затем страшной трагедией для современной Эфиопии). Сам Хайле Селасио, оказавшийся последним, 225 владыкой Абиссинии из династии Соломонидов, скончался в 1979 г. в заключении. Польский публицист Рышард Капусцинский написал о нем книгу «Император», переведенную на русский язык (см.: Давидсон. С. 163).

Первое посещение Гумилевым Абиссинии было коротким — менее месяца (конец декабря 1909-середина января 1910), а содержание его ограничивалось, по всей вероятности, экскурсиями по маршруту Джибути — Дыре-Дауа (у Гумилева — Дире-Дауа) — Харэр («Застрелю двух, трех павианов, поваляюсь под пальмами и вернусь назад...» — как планировал он в письме к Брюсову по пути в Джибути (см.: ЛН. С. 494)). «...Данная поездка в Абиссинию носила просто познавательный или, как сейчас принято говорить, туристический характер. Но она оказалась весьма плодотворной в духовном смысле, поскольку широко открыла горизонты автора, наполнила его душу новыми, необычайно яркими образами и укрепила его уверенность в себе. Именно в эту поездку он собрал местный фольклор, преобразив его в серию

оригинальных абиссинских песен, вошедших в сборник «Чужое небо»» (Бронгулеев В.В. Африканский дневник Н.Гумилева // Наше наследие. 1988. № 1. С. 81).

Однако «открытая» страна понравилась поэту настолько, что через десять месяцев, в ноябре 1910 г. он вновь возвращается в Джибути, добирается до Аддис-Абебы и около четырех месяцев (с ноября 1910 по февраль 1911 г.) живет в абиссинской столице, предпринимая, очевидно, вылазки в окрестности, а на обратном пути путешествует по данакильской пустыне. Из писем жены русского посланника в Аддис-Абебе Б.А.Чемерзина Анны Васильевны известно, что Гумилев пребывал здесь в качестве корреспондента газеты «Речь» и журнала «Аполлон», присутствовал на рождественском обеде у императора (впрочем, сам Менелик, тяжело больной, там не присутствовал, его роль выполнял принц Иассу), неоднократно бывал на приемах в российском посольстве и планировал посетить горную страну Черчер (см.: Давидсон. С. 62, 85-86). Из этих же писем можно, кстати, узнать и то, что вторая поездка Гумилева каким-то образом связана с его недавней (апрель 1910 г.) женитьбой на Ахматовой: «Мы конечно не спрашиваем его о причинах, побудивших покинуть жену, но он сам высказался так, что между ним и его женой решено продолжительными разлуками поддерживать взаимную влюбленность» (Давидсон. С. 85). Возвращение из этого путешествия описано самим поэтом:

Но проходили месяцы; обратно
Я плыл и увозил клыки слонов,
Картины абиссинских мастеров,
Меха пантер, — мне нравились их пятна, —
И то, что прежде было непонятно —
Презренье к миру и усталость снов.

Подробности двух первых абиссинских путешествий Гумилева практически неизвестны: документальные свидетельства о них крайне скупы. Возможно, подобная «завеса молчания» со стороны как самого Гумилева, так и ближайших из его окружения лиц объясняется как раз чрезмерно «лирическими» причинами и «содержанием» этих «побегов в Африку» (см. ст-ние № 77 (III)).

Третье, заключительное, путешествие в Абиссинию (апрель — сентябрь 1913 г.), резко отличается от двух предыдущих в том числе и тем, что известно в настоящий момент достаточно детально. Главным «художественным документом» и является здесь «Африканский дневник».

Из «Африканского дневника» явствует, что третье абиссинское путешествие изначально задумывалось как научная этнографическая экспедиция. В первой главе Гумилев касается предуготовлений к поездке (см. также комментарии ниже) и описывает путь от Одессы до Джибути (с остановкой в Константинополе). Затем, в главе второй рассказывается о пребывании в Джибути, приключениях по дороге из Джибути в Дыре-Дауа и описывается этот абиссинский город. Третья глава посвящена пути в Харэр, хлопотам, посвященным составлению каравана, возвращению в Дыре-Дауа за оставленным багажом и повторному возвращению в Харэр, уже с

эскортом турецкого консула. Опывается здесь также и посещение харарского имперского наместника Тэфэри Мэконына (будущего Хайле Селасио I) и хлопоты по сбору в городских окраинах предметов быта харэритов. В самом конце третьей главы упоминается о плане «с одним грузовым мулом и тремя ашкерами отправиться в Джиджига к сомалийскому племени Габараталь». Однако, четвертая глава вновь начинается с рассказа истории Харэра и обрывается на описании погребальных обычаев харэритов. Это дало повод В.В.Бронгулееву предположить, что «не имеющая пямого отношения к путешествию» глава (точнее — начало главы) «была написана много позже» (см.: Бронгулеев В.В. Африканский дневник Н.Гумилева // Наше наследие. 1988. № 1. С. 84). Это предположение он конкретизировал в своей монографии, указав на то, что «в ней нет сведений о продолжении путешествия, а упоминание города Гинира, в который Гумилев со своим караваном прибыл почти в конце маршрута, свидетельствует о том, что она была написана не во время поездки, а уже после ее завершения» (Бронгулеев. С. 313). Если это предположение В.В.Бронгулеева оказывается гипотетичным, то не вызывает никаких возражений его версия истории написания «Африканского дневника» в целом: он решительно утверждает, что «никакого продолжения этого дневника в той же художественной форме не было. Он был просто не закончен самим Гумилевым. На первый взгляд, такое заключение кажется рискованным, однако при более внимательном рассмотрении... материалов оно становится очевидным.

Первоначально Гумилев действительно хотел писать свои путевые заметки сразу в литературной форме, годной для публикации. Это подтверждается и его словами в письме к Ахматовой, посланном еще с дороги: «Мой дневник идет успешно, и я пишу его так, чтобы прямо можно было печатать». Пока они плыли на пароходе и жили в гостиницах, это было, вероятно, возможно. Однако, дальше все стало меняться. Начались трудности, связанные с подготовкой к маршруту, посыпалось множество дел — и наем нужных людей, и покупка мулов, и получение пропуска на дальнейшее следование, и выручение временно конфискованных в таможне ружей, и приобретение экспонатов для коллекций, и многое другое. Вероятно, даже экскурсию в Джиджигу... он записать не успел или поручил это сделать Сверчкову. Когда же экспедиция тронулась в путь, тут уж стало совсем не до художественных описаний, и Гумилев перешел на обычный способ фиксации только самых главных происшествий, основных пунктов маршрутов и продолжительности дневных переходов. И записи приняли совсем иной характер — типичного полевого дневника, который ведется урывками, на коленях» (Бронгулеев В.В. Африканский дневник Н.Гумилева // Наше наследие. 1988. № 1. С. 84).

Судьбы этих двух частей «африканских записей» Гумилева 1913 г. сложились по-разному. «Художественная» их часть, публикуемая в настоящем томе, после гибели поэта оказалась в Бежецке у его сводной сестры А.С.Сверчковой, которую та в 1951 г., незадолго до своей кончины передала сыну Гумилева и О.Н.Высоцкой Оресту Николаевичу Высоцкому (Л.Н.Гумилев в это время находился в заключении). В 1987 г. О.Н.Высотский опубликовал «Африканский дневник» в №№ 14

и 15 журнала «Огонек» (к сожалению, — с целым рядом существенных погрешностей). История «полевого дневника» еще драматичнее: он находился у жены поэта А.Н.Гумилевой, которая, после казни мужа, боясь репрессий, решила сжечь тетрадь. Буквально из огня дневник вытащил П.Н.Лукницкий и забрал его себе, а затем передал Ахматовой. Ахматова, находясь перед угрозой ареста, передала записи на хранение С.Б.Рудакову. После смерти Рудакова его жена, Л.С.Филькенштейн, продала рукопись В.Г.Данилевскому, а тот перепродал ее В.В.Бронгулееву. Фрагменты «полевого дневника» были опубликованы им в журнале «Наше наследие» (1988. № 1. С. 85-86), полностью он будет опубликован вместе с отчетами Гумилева об экспедиции и списками собранных коллекций в т. X настоящего Собрания сочинений.

В.В.Бронгулеев настаивал также, что никаких иных «художественных версий», кроме четырех глав «Африканского дневника» на основе «африканских записей» 1913 года Гумилев не успел сделать: «Конечно, можно предположить, что Гумилев продолжил художественное описание своего путешествия уже после возвращения в Россию. Но если бы это было так, он безусловно бы его опубликовал. Как известно, этого не случилось, а в печати появились лишь отдельные рассказы с эпизодами, отчасти взятыми из дневников и только. Ведь и на родине было много срочных дел: оформление и сдача коллекций в музей, составление их описей, составление отчета об экспедиции. Вполне возможно, что наш путешественник в конце концов просто потерял интерес к изданию своих дневников. Ведь все же он был не ученым, а поэтом. А потом началась война, и он пошел на нее добровольцем» (Бронгулеев В.В. Африканский дневник Н.Гумилева // Наше наследие. 1988. № 1. С. 84). Никаких аргументов, опровергающих версию В.В.Бронгулеева, на настоящий момент нет.

Публикация «Африканского дневника» в 1987 г. в «Огоньке» (предваренная специальным анонсом с публикацией факсимиле первой страницы рукописи в № 12 журнала) стала одной из сенсаций литературного года. «Сенсационности» способствовало и то, что явление «Африканского дневника» стало как бы эффектным заключительным аккордом триумфального для отечественного гумилевоведенья зимне-весеннего сезона 1986-1987 гг. — времени легализации творчества поэта на родине (среди первых «гумилевских» публикаций в массовой прессе была статья Г.Дрюбина под интригующим названием «Куда исчезли «Африканские дневники» Гумилева?» (Московские новости. 4 января 1987 (№ 4). С. 16), ответом на которую стала статья О.Н.Высоцкого «Найдены дневники Н.Гумилева» (Московские новости. 22 марта 1987 (№ 12). С. 8-9). Публикации «Африканского дневника» предшествовала заметка В.Енишерлова, уточняющая (вполне в духе того времени), что Гумилев «трижды приходил в Африку как настоящий друг, исследователь-этнограф, а не как конквистадор-завоеватель» (Огонек. 1987. № 14. С. 19). Правка Гумилева в данной публикации учтена не была.

Отклики на появление «Африканского дневника» были самыми разнообразными: «При чтении записей Гумилева возникает впечатление, что смотришь какой-нибудь американский приключенческий фильм с Майклом Дугласом, где экзотика и

непотопляемость неустрашимого и обаятельного главного героя заставляет сопереживать ему и держит в напряжении до конца фильма» (Санкт-Петербургская панорама. 1998. № 9 (487). С. 21). В то же время, Е.П.Бернштейн отмечал, что «культура для Гумилева существует в ситуации духовного взаимодействия и взаимообогащения народов, в то время как дикость предполагает разобщенность. Т.о. любимая Гумилевым Африка будучи несомненной культурной ценностью в его восприятии, одновременно «не поддаваясь цивилизации» оказывается вне структурированной культурной среды. Тем не менее для Гумилева оппозиция культуры и дикости не фатальна, поэтому целью африканской экспедиции [европейцев-русских] для него было «цивилизовать или, по крайней мере, арабизировать» африканские племена, чтобы «в семье народов прибавился еще один сочлен»» (Беренштейн Е.П. Концепция культуры Николая Гумилева // Лит. текст: проблемы и методы исследования. (III). Тверь, 1997. С. 97-98). М.Ю.Васильева обратила внимание на типологическое сходство «африканских и военных впечатлений»: «В дневниках Гумилева (имеются в виду «Африканский дневник» и «Записки кавалериста» — см. № 16 настоящего тома — Ред.) субъективное и объективное начала органически переплетены. <...> «Африканский дневник» радует... красотой Африки, стремлением понять сущность далекой земли. В «Записках кавалериста» писатель показал, как в повседневных тяготах войны... проявляются... скрытые возможности личности... И там, и здесь [в описательном повествовании] акцентируется внутренняя составляющая жизни человека, ее неожиданные и значительные метаморфозы» (Васильева. С.9).

Подробный разбор «Африканского дневника» дали в своих монографиях А.Давидсон и В.В.Бронгулеев.

Заглавие «Африканский дневник» дано рукописи Гумилева публикаторами (сама рукопись авторского названия не имеет). Однако, поскольку сам Гумилев в письмах к Ахматовой от 16 и 25 апреля 1913 г. именует свои путевые записи «дневником», прямо подчеркивая их беллетристический характер (см.: Соч III. С. 237), а также ввиду полной адаптации названия «Африканский дневник» в современном гумилевоведении de facto, кажется целесообразным оставить его за данным текстом.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Стр. 4-43 — рассказ Гумилева о рождении замысла африканской экспедиции писался как единый «пролог» к собственно «дневниковым» записям во время следования на пароходе в Джибути в середине апреля 1913 г., т.е четыре месяца спустя после описываемых событий. Он изобилует конкретными, очевидно, особо запомнившимися поэту деталями его тогдашних бесед с «принцами официальной науки», что позволяет существенно уточнить обстоятельства этого, весьма важного в биографии Гумилева эпизода.

Причину визита Гумилева в «прелестный, заставленный книгами уголок Петербургского университета, где студенты, магистранты, а иногда и профессора пьют чай» (т.е., как можно сказать с большой уверенностью, — в университетское кафе, и поныне располагающееся в начале знаменитого Большого коридора здания Двенадцати коллегий, который до сих пор заставлен застекленными книжными шкафами университетской библиотеки) уточняет свидетельство Ахматовой, «что Гумилев привез абиссинский триптих и еще что-то профессору Тураеву» (Давидсон. С. 13). Академик Борис Александрович Тураев (1868-1920) был не только египтологом, но и знатоком Эфиопии; именно он написал во втором издании энциклопедии Брокгауза и Ефрона (1911) статью об Абиссинии, которая, очевидно, была для Гумилева одним из главнейших источников сведений о стране в период подготовки к путешествию. Тураев редактировал третий, «африканский» том «Истории человечества», вышедший в русском переводе в 1909 г., где поместил свою генеалогическую таблицу абиссинских царей «Соломоновой династии», и публиковал в начале 10-х годов «Памятники эфиопской письменности». «Тураев прекрасно знал письменные источники по истории Абиссинии, но никогда там не бывал. С какой же завистью он, должно быть, смотрел на Гумилева — очевидца, бывальца. И как интересно было Гумилеву делиться своими впечатлениями с настоящим знатоком» (Давидсон. С. 13). Впрочем, как явствует из рассказа Гумилева, Тураев, очевидно, задерживался и поэт, ожидая его, беседовал с некими его коллегами, которым («маленькому собранию») он и продемонстрировал свой абиссинский трофей. Хотя сам складень «имел посредственный успех», демонстрация этого образчика примитивной африканской живописи вызвала в «маленьком собрании» живое обсуждение гумилевского путешествия 1910-1911 гг., в завершение которого некий «профессор Ж.» посоветовал Гумилеву повторить свой рассказ в Академии наук. Именно «профессор Ж.», настоявший на визите поэта-путешественника в Академию, и снабдил его рекомендательным письмом к «одному из вершителей академических судеб», которое, собственно, и стало отправной точкой всех дальнейших событий.

Р.Л.Щербаков высказал предположение, что «профессор Ж. — это академик В.В.Радлов (1837-1918), востоковед, этнограф и переводчик» (Соч II. С. 437). Василий Васильевич Радлов, занимавший тогда пост директора Музея антропологии и этнографии российской Академии наук, действительно, оказался куратором экспедиции Гумилева от официальных структур Академии, но именно это заставляет усомниться в правильности предположения Р.Л.Щербакова: вряд ли Радлов стал бы вручать Гумилеву рекомендательное письмо, адресованное... самому себе. Более логичным кажется предположение, что это был некий ученый авторитет, не являющийся представителем петербургских административных академических структур, но имеющий в них большое влияние.

Гораздо вероятнее, что под «профессором Ж.» скрывается в гумилевском дневнике Сергей Александрович Жебелев (1867-1941), ученый-секретарь историко-филологического факультета и проректор университета, имевший непсредственное отношение к пребыванию Гумилева в университете.

Текст «Африканского дневника» содержит ряд деталей, которые позволяют преположить также, что Гумилев мог иметь в виду академика Дмитрия Николаевича Анучина (1843-1923) — археолога, антрополога, географа и этнографа.

Д.Н.Анучин был профессором Московского университета, где с 1880 г. возглавлял первую в России кафедру антропологии. Однако активная научно-общественная деятельность Анучина предполагала частые визиты в столицу; среди прочего он был и председателем российского Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии и председателем Географического отдела этого общества (т.е. как раз и занимался во всероссийском масштабе координацией действий «путешественников-любителей» и официальных географических и этнографических академических структур). Перу Анучина принадлежит монография «К истории ознакомления с Сибирью до Ермака» (1890). Это становится важным свидетельством в пользу нашей гипотезы, если вспомнить, что один из участников «маленького собрания», «этнограф», сопоставлял абиссинскую живопись с «искусством сибирских инородцев» (стр. 10-11). Но особую уверенность в фигуре именно Д.Н.Анучина в качестве прототипа «профессора Ж.» придает упоминание Гумилевым в завершение рассказа о «принцах официальной науки» некоего ученого, мечтою которого является «добыть шкуру красной дикой собаки, водящейся в Центральной Африке» (стр. 38-39).

Одной из главных тем Анучина — фанатичного приверженца и апологета дарвинизма — являлись исследования по эволюции собачьих. Ему принадлежат исследования «Собака, волк и лисица» (1882) и «К древнейшей истории домашних животных в России» (1884). Вместе с А.А.Иностранцевым он участвовал в раскопках ладожских стойбищ первобытного человека, исследуя останки домашних животных, в первую очередь — собачьи черепа (см.: Иностранцев А.А. Доисторический человек каменного века побережья Ладожского озера. СПб., 1882). «Собачья тема» для дарвинистов, отстаивающих теорию эволюции видов, была одной из приоритетных, ибо сам Дарвин в 1868 г. выдвинул идею о происхождении всего многообразия пород собак от двух или трех «исходных» видов волков и шакалов. Одной из самых ярких коллизий в этой сфере была видовая близость обитающего в Центральной, Южной и Юго-Восточной Азии красного волка (Cyon alpinus), единственного представителя рода Cyon из семейства собак, и гиеновидной собаки (или пестрого волка, Lycaon pictus), обитающей в степях и саванне Африки, к югу от Сахары (в том числе и на землях, принадлежавших Абиссинской империи). Гиеновидная собака, в отличие от абсолютно дикого красного волка, громко лает и вполне поддается приручению (особенно в молодом возрасте), однако по физическим параметрам подобна своему азиатскому протагонисту и, главное, имеет тождественное с ним строение челюсти (в нижней челюсти всего 6 коренных зубов, т.е. в отличие от обыкновенного волка (Canis) зубная система состоит у них из 40 зубов, вместо 42). Разумеется Анучин, работавший как раз над сопоставительным анализом собачьих черепов, мечтал оказаться на месте Гумилева в его абиссинских странствиях, чтобы отловить экземпляр гиенообразной собаки для непосредственного изучения, что, ве-

роятно и не преминул высказать поэту. Гумилев запомнил эту деталь, но, будучи не очень сведущим в тонкостях дарвинизма, «соединил» красного волка и гиенообразную собаку в «красную дикую собаку, водящуюся в Центральной Африке» (в природе не существущую), каковой «гибрид» и оказался запечатленным на страницах «Африканского дневника».

У Гумилева и Анучина была и еще одна тема для «географических» разговоров: именно статья Анучина «О судьбе Колумба как исторической личности и о спорных и темных пунктах его биографии», опубликованная в журнале «Землеведение» (1894. Т.I. Кн.1; Анучин был непосредственным вдохновителем и идейным руководителем этого издания), являлась одним из основных источников поэмы «Открытие Америки», которую Гумилев завершил в Порт-Саиде, в октябре 1910 г., в самом начале второго абиссинского путешествия (см. комментарии к № 12 (II)). Чрезвычайно содержательным для исследователей биографии поэта является и упоминание об ученых, которые «с восторженным блеском глаз говорят о тлях и кокцидах» (стр. 38), поскольку, указав на прецедент с Анучиным, можно ожидать и здесь в качестве прототипа некое реальное лицо, с котором Гумилев познакомился зимой 1912-1913 гг., оказавшись вхож, благодаря рекомендательному письму в академические круги. Исследование кокцидов, точнее говоря тех видов этого подотряда насекомых отряда равнокрылых (Homoptera), которые имеют общее название «кошениль» (Porphyrophera haneclii, Porphyrophera polonica и Dactylopius cacti), было приоритетным в кругах энтомологов петербургского университета, поскольку отвечало стратегическим экономическим интересам России. Кошениль в течение долгого времени являлась в странах Восточного полушария единственным источником получения кармина, красящего вещества, являющегося одним из основных компонентов текстильной промышленности (она была вытеснена в XX веке только с развитием химических красителей). Самой популярной была мексиканская кошениль, которая культивировалась (помимо Центральной Америки) в Северной Африке и Восточной Азии; ее европейские эквиваленты — польская и армянская кошениль, — будучи более доступными для бурно развивающейся в конце XIX — начале XX века российской текстильной промышленности по цене, значительно уступали ей в качестве. Крупнейшим исследователем выделительных и фагоцитарных органов у беспозвоночных в России был профессор Петербургского университета, академик А.О.Ковалевский (1840-1901, не путать с братом — В.О.Ковалевским), совершивший в 1870-1873 гг. исследовательскую поездку на побережье Красного моря и в Алжир. Дело Ковалевского в Петербургском университете и Академии продолжали его многочисленные ученики, с одним из которых и беседовал Гумилев. (В качестве гипотетического предположения укажем также, что гумилевские связи, возникшие в кругах научной академической элиты в 1912-1913 гг., будучи исследованы, могут дать материал для конкретизации специфики причастности Гумилева к т.н. «профессорской группе» Петроградской Боевой организации). Стр. 44-56 — Р.Л.Щербаков указывал на то, что примером, вдохновившим Гумилева, была история Л.К.Артамонова (1859-

1932). Полковник генерального штаба (впоследствии — генерал от инфантерии) Леонид Константинович Артамонов, прикомандированный военным министерством к миссии П.М.Власова в Аддис-Абебе (см. выше), добравшись в 1897 г. на фелуке из Джибути в Обок, действительно, вступил в переговоры с султаном Рахэйты (у Гумилева — Рагейты), который пожелал перейти в русское подданство. «Об этом узнали французские дипломаты и в результате, как пишет И.С.-Кацнельсон, «посол Франции в Петербурге направил в МИД ноту протеста. Копия ноты вместе с жалобой министра иностранных дел М.Н.Муравьева на действия полковника Артамонова была послана министру А.Н.Куропаткину», в результате чего полковника чуть не отозвали на родину (Артамонов Л.К. Через Эфиопию к берегам Белого Нила. М., 1979. С. 12)» (см.: Соч II. С. 437). С марта 1898 по февраль 1899 гг. Артамонов с казаками Архиповым и Щедровым исследовал бассейн Белого Нила; в августе 1914 г. Л.К.Артамонов командовал Первым корпусом армии Самсонова (см.: Давидсон. С. 72). Данакиль — скотоводы-кочевники, чьи воинственные племена населяют степи и полупустыни, прилегающие к Красному морю к северу от Джибути. Данакиль неоднократно упоминается в поэзии Гумилева (см. особенно ст-ние № 55 (IV)). Гаваш (совр. Аваш) — река в Центральной Абиссинии, основная водная артерия страны. Стр. 61-67 — проанализировав реальный маршрут экспедиции, В.В.Бронгулеев сделал вывод: «...Основная задача путешествия была выполнена. <...> Общая протяженность этой трассы составила примерно 1500 км., а ее отрезок, пройденный пешком и на мулах, не менее 900 км. Для местных условий и тех лет это было почти подвигом» (Давидсон. С. 341). Стр. 67-71 — Николай Леонидович Сверчков (в семье — «Коля-маленький», 1894-1919) — племянник Н.С.Гумилева, сын его сводной сестры А.С.Сверчковой. Памяти его посвящен Ш 1921 (см. т. IV, с. 220-224). Об этом замечательном человеке см.: Сенин С.А. Спутник странствий Н.Гумилева (о Н.Л.Сверчкове) // Гумилевские чтения. СПб., 1996. С. 273-278). Стр.72-74 — о подготовительном периоде экспедиции исчерпывающе рассказывается в монографии А.Давидсона: «Гумилеву, конечно, повезло. Именно в те годы Музей атропологии и этнографии добился государственных дотаций на дальние экспедиции для пополнения экспонатами отделов Африки, Южной Америки, Индии. <...> Профессиональным этнографом Гумилев не был — соответствующего образования не получал, в этнографических учреждениях никогда не работал. <...> И все же Радлову и Штернбергу (Лев Яковлевич Штернберг — хранитель музея; см. о нем комментарий к стр. 86-87 главы третьей № 18 наст. тома — *Ред.*) он подошел. Дело в том, что профессиональных этнографов-африканистов в нашей стране тогда не было. А Гумилев уже знал страну, был молод, здоров, полон энергии, чтобы преодолевать тяготы пути, природных условий, климата. Рвался в Африку.

Сохранилось несколько документов о подготовке экспедиции. <...> Первый по времени документ... датирован 20 марта 1913 года. Это письмо директора музея академика Радлова директору-распорядителю правления Добровольного флота. Вот его текст:

Милостивый государь Отто Львович,

Позволю себе обратиться к Вашему превосходительству со следующей просьбой:

Музей антропологии и этнографии имени императора Петра Великого командирует в Абиссинию для собирания этнографических коллекций и для обследования племен Галла и Сомали Николая Степановича Гумилева и Николая Леонидовича Сверчкова. Ввиду крайне ограниченной суммы, ассигнованной на эту экспедицию, обращаюсь в Вашему просвещенному содействию для предоставления означенным лицам свободного проезда на пароходах Добровольного флота от Одессы до Адена и обратно. Экспедиция предполагает выехать 10 апреля из Одессы и возвратиться в начале августа.

Прошу Ваше превосходительство принять уверения в совершеннейшем моем почтении и преданности.

В.Радлов.

Затем следуют сразу три документа с одной и той же датой — 26 марта 1913 года. Очевидно, в этот день директор музея уделил абиссинской экспедиции немало времени.Одним из первостепенных дел считалось обеспечение экспедиции оружием. И появилось следующее письмо:

В Главное Артиллерийское управление

Музей Антропологии и этнографии, снаряжая экспедицию в Абиссинию под начальством Н.С.Гумилева, покорнейше просит не отказать в разрешении на выдачу г.Гумилеву из арсенала пяти солдатских винтовок и 1000 к ним патронов на возможно льготных условиях.

Директор музея

Действительный тайный советник

Академик В.Радлов.

Необходимо было заручиться содействием Российской императорской миссии в Абиссинии. И ее главе, Чемерзину, направляется послание.

Его превосходительству Б.А.Чемерзину

Милостивый государь Борис Александрович!

Позволяю себе обратиться к Вашему Превосходительству со следующей просьбой: Музей антропологии и этнографии командирует Н.С.Гумилева в Абиссинию для изучения племени Галласов. Так как для беспрепятственного проезда по стране этого племени необходимо содействие губернатора г. Харрара, покорнейше прошу исходатайствовать соответствующее рекомендательное письмо от Абиссинского правительства и выслать таковое по адресу г.Гумилева в Dirre Daua, а также сообщить русскому вице-консулу в Джибути об оказании содействия г. Гумилеву в этом городе, чем премного обяжете Музей Императорской Академии наук и Вашего покорного слугу.

В.Радлов

Наконец, в этот же день, очевидно, подписан и так называемый «открытый лист», давший Гумилеву несомненные привилегии на всем пути следования. Самого документа в архиве нет. Он был отдан Гумилеву. <...> Оружие Гумилеву было отпущено. Ответ Главного артиллерийского управления гласил:

2 апреля 1913 г.
В Музей антропологии и этнографии
Императора Петра Великого

Одновременно сделано распоряжение об отпуске за деньги из Петербургского склада 5-ти винтовок Бердана с 1000 патронами г.Гумилеву, отправляющемуся в Абиссинию во главе снаряжаемой туда экспедиции.

Стоимость отпущенного будет удержана непосредственным распоряжением Начальника Артиллерии Петербургского военного округа.

Генерал-лейтененант (неразборчиво)

Полковник (неразборчиво)

А директор-распорядитель и заведующий канцелярией правления Добровольного флота сообщали:

5 апреля 1913 г.
В Музей антропологии и этнографии
Императора Петра Великого

В ответ на отношение от 20 прошлого марта правление Добровольного флота имеет честь уведомить о согласии своем предоставить бесплатный проезд на пароходе Добровольного флота от Одессы до Джибути и обратно, с оплатою продовольствия за собственный счет Н.С.Гумилеву и Н.Л.Сверчкову, отправляющимся в Абиссинию для собирания коллекций и обследования местных племен.

Предельным пунктом поездки указывается Джибути, а не Аден, так как обычно пароходы Добровольного флота в Адене не останавливаются; в случае же остановки, вызванной высадкой хотя бы двух пасажиров, пароход считался бы производящим коммерческие операции, что повлекло бы за собою уплату значительных портовых сборов.

О последовательиом разрешении одновременно с сим ставим в известность Управление делами Добровольного флота в Одессе.

И наконец — также вполне положительное — послание на бланке Российской императорской миссии в Абиссинии.

27 апреля 1913 г.

Милостивый государь Василий Васильевич!

В ответ на письмо от 26 марта 1913 г. за № 122 имею честь уведомить Ваше Высокопревосходительство, что правительство Эфиопии, предупрежденное мною о предстоящем приезде Н.С.Гумилева, выразило готовность оказать ему полное содействие в осуществлении его намерений.

Кроме того, мною поставлен в известность о том же в.-консул наш в Джибути.

Желательно, однако, иметь точные сведенья о времени, когда г.Гумилев предполагает прибыть в Джибути и Абиссинию, ввиду чего я позволю себе просить Вас уведомить меня об этом.

Б.Чемерзин

Это письмо, хотя оно... пришло очень быстро, не застало Гумилева в Петербурге. Он уже находился в пути. Наверно, Радлов, будучи уверен в благоприятном ответе Чемерзина, и не считал нужным ставить отъезд Гумилева в зависимость от этого ответа.

Наименее поворотливой, судя по документам, выглядит сама Академия наук. Вопрос об отправке экспедиции был рассмотрен лишь 22 мая, когда Гумилев уже был в Эфиопии.

Странно? Но тем не менее вот два документа.

Один — ходатайство директора музея.

22 мая 1913 г.

В Историко-филологическое Отделение
Императорской Академии Наук

Прошу разрешения Отделения на командирование Н.С.Гумилева в Африку для обследования племени Галасов и собирания среди них коллекций и вместе с тем прошу на связанные с этим расходы ассигновать пока 600 рублей, из коих 400 рублей выдать здесь лицу, которому доверяет г.Гумилев, а 200 рублей перевести 1 июля через Лионский кредит по следующему адресу: Afrique, Abyssinia, Dire-Daua, Banc of Abissinia — через Индо-Китайский Банк в Джибути, Mr. Nicolas Goumileff.

Директор Радлов

Это ходатайство написано в день, когда происходило заседание Историко-филологического отделения. Другой документ — протокол заседания. Он крайне лаконичен. «Директор Музея антропологии и этнографии академик В.В.Радлов читал нижеследующее». Далее приведен текст его ходатайства и после этого, как решение, — только одна фраза: «Положено сообщить о командировке Н.С.Гумилева в Правление для зависящих распоряжений».

Вероятнее всего предположить, что решение Историко-филологического отделения было чисто формальным актом, визированием уже решенного дела...»

(Давидсон. С.142-146). Стр. 75-76 — «Я помню, как Гумилев уезжал в эту поездку. Все было готово, багаж отправлен вперед, пароходные и железнодорожные билеты давно заказаны. За день до отъезда Гумилев заболел — сильная головная боль, 40° температура. Позвали доктора, тот сказал, что, вероятно, тиф. Всю ночь Гумилев бредил. Утром на другой день я навестил его. Жар был так же силен, сознание не вполне ясно: вдруг, перебивая разговор, он заговаривал о каких-то белых кроликах, которые умеют читать, обрывал на полуслове, опять начинал говорит разумно и вновь обрывал.

Когда я прощался, он не подал мне руки: «Еще заразишься», — и прибавил: «Ну, прощай, будь здоров, я ведь сегодня непременно уеду».

На другой день я вновь пришел его навестить, так как не сомневался, что фраза об отъезде была тем же, что и читающие кролики, т.е. бредом. Меня встретила заплаканная Ахматова: «Коля уехал».

За два часа до отхода поезда Гумилев потребовал воды для бритья и платье. Его пытались успокоить, но не удалось. Он сам побрился, сам уложил то, что осталось неуложенным, выпил стакан чаю с коньяком и уехал» (Иванов Г.В. Собрание сочинений. В 3 т. М., 1994. Т.3. С. 546-547). Стр. 77 — описание пребывания в Одессе (9-10 апреля 1913 г.) исключено Гумилевым из текста «дневника», очевидно, как не отвечающее общему замыслу создаваемого произведения, ибо одесские «прагматические» и «сиюминутные» впечатления и переживания, действительно, оказываются в тексте первой главы диссонансом по отношению к ее «кульминации» — описанию посещения путешественниками храма св. Софии в Константинополе, — и к символике трагического финала главы. 9 апреля 1913 г. Гумилев писал Ахматовой из Одессы: «Я совершенно выздоровел, даже горло прошло, но еще несколько устал, должно быть, с дороги» (Соч III. С. 236). Стр. 78 — Добровольный флот был создан в России в 1878 г. для развития торговых отношений, прежде всего со странами Западной Европы и США. Помимо того, Добровольный флот активно осваивал и «ориенталистские» направления: он установил регулярный рейс «Одесса — Владивосток», осуществлял рейсы в Японию и Китай. Стр. 95-96 — Гумилев прибыл в Стамбул в самый разгар неудачного для турок финала Первой Балканской войны между Османской империей и коалицией Болгарии, Греции, Сербии и Черногории (9 октября 1912 — 10 мая 1913). Для обеспечения безопасности торгового движения через проливы в Босфор были введены военные суда нейтральных держав (Англии, России и Испании). Стр. 105 — Галата — предместье Стамбула, населенное греками, которые в большинстве своем сочуствовали успехам Балканской коалиции. От турецкого Стамбула, в котором в эти дни был траур, Галата отделена заливом Золотой рог, через который были переброшены тогда Старый (деревянный) мост и Новый (разводной) мост. Стр. 110-111 — главные события Первой Балканской войны происходили на линии Чаталджинских высот к северу от Стамбула, где в декабре 1912 г. османским войскам удалось остановить силы Коалиции. В феврале-марте 1913, после отказа вновь сформированного после переворота 23 января 1913 г. «младотурецкого» кабинета министров выполнить требования Коалиции ее войскам удалось прорвать турецкую оборо-

ну, взять Янину (6 марта) и Адрианополь (26 марта). 10 апреля 1913 года пала крупнейшая цитатель Турции в Албании — Шкодер (Скутари). Стр. 120-136 — величайший храм Византийской империи строился по приказу императора Юстиниана в 532-537 гг. Строительство св. Софии, имевшее для императора символическое значение утверждения в Константинополе духовного центра тогдашнего христианского мира (как то позже было для Ватикана со строительством собора св. Петра в Риме) стало символическим же «фоном» трагедии Гумилева «Отравленная туника» (см. № 7 (V) и комментарии). Очевидно, что вплоть до 1917 года поэт разделял панславистские идеи, связанные с «провиденциальной миссией» славянства (прежде всего — Российской Империи) — возвращением в лоно христианской цивилизации как Константинополя в целом, так и, прежде всего, «священнейшего из храмов» (см. Зобнин С. 336-338). Собор св. Софии после падения Константинополя в 1453 г. и превращения его в столицу Османской империи Стамбул был превращен султаном Магометом II (1430-1481) в мечеть, для чего, согласно исламской традиции храмостроительства вся внутренняя роспись собора была загрунтована, кресты на куполах, естетственно, уничтожены, а к зданию пристроены минареты. Для идеологии как Московской Руси, считавшей себя преемницей Византии, так и Российской Империи любая агрессия против османов оказывалась в общем, «мистическом плане» возможным приступом к разрешению главной «провиденциальной» задачи: «покрыть Софийскую обитель / Изображением креста». Отсюда и особые мистико-романтические переживания героя «Африканского дневника», попавшего под своды пустынной св. Софии в дни, когда перспектива отторжения Стамбула и проливов от Турции стала вполне реальной, и созерцающего трагические реликвии унижения и гибели христианской Византии: кровавый отпечаток руки победителя-Магомета, зарубку его меча и «тени» замазанных православных фресок. Легенда, о которой упоминается в повествовании Гумилева гласит, что в миг падения города в св. Софии шла литургия, которую совершал Вселенский патриарх; увидев ворвавшихся в храм османских воинов, он взял чашу со Св. Дарами и, шагнув к стене, «растворился» в ней. С этого момента, согласно преданию, литургия не перестает «тайно» совершаться и в стенах мечети — до той поры, пока храм вновь не перейдет из рук «неверных» к православным христианам. Трактовка Гумилевым архитектурного решения интерьера собора св. Софии (архитектор Анфимий) перекликается с известным ст-нием О.Э.Мандельштама «Айя-София» (1912). Стр. 139 — Сулеймания — кладбище, святыня мусульманского Стамбула; кипарис в восточных культурах — дерево скорби. Стр. 140-143 — эпизод, упоминаемый Гумилевым, произошел 7 или 8 декабря 1909 г., по пути из Стамбула в Каир в начале первого абиссинского путешествия. «Я высаживался в Пирее, был в Акрополе и молился Афине Палладе перед ее храмом. Я понял, что она жива, как и во времена Одиссея, и с такой радостью думаю о ней» (Неизвестные письма Н.С.Гумилева (публ. Р.Д.Тименчика) // Сер. литературы и языка. 1987. № 1. Т. 46. С. 50). Став действительно «старше» (и значительно) в духовно-религиозном смысле этого слова, эту «романтическую эскападу» он вспоминал и в гениальном «Сентиментальном путешествии» (1920) с его трагическим переживанием краха прежних юношеских

надежд на «странническое жизнетворчество» (см. ст. 49-60 № 41(IV)). Стр. 144-152 — генеральный консул Османской империи Мозар-бей был направлен в Аддис-Абебу в 1913 г. в связи с резким изменением внутренней и внешней политики страны в ходе Первой Балканской войны (в январе сменилось правительство в результате уже упоминавшегося переворота и к власти пришли экстремистски настроенные младотурки во главе с Махмудом Шевит-пашой); оказавшись попутчиком Гумилева, он играет значительную роль в «Африканском дневнике». Судя по краткому изложению «бесед» поэта с Мозар-беем, мы можем заключить, что именно тогда и возникли идеи Гумилева, относительно потенциального «призывного ресурса» Абиссинии в контексте европейской военной политики, — идеи, которые поэт изложил в 1918 г. (см. т. X). Стр. 153 — Порт-Саид — египетский город на Суэцком перешейке, административный центр Суэцкого канала. Стр. 158-175 — см. описание Суэцкого канала в ст-нии № 8 (IV) и комментарии к нему. Стр. 176-195 — см. описание Красного моря в ст-нии № 5 (IV) и комментарии к нему. Стр. 187 — Южный Крест — созвездие, наблюдаемое над Средиземным морем; в творчестве Гумилева неоднократно выступало как символический знак «причастности к страннричеству» (см. ст-ния № 98 (II) и № 113 (III)). Стр. 196-199 — Джедда — порт на аравийском берегу Красного моря, в ста с небольшим километрах от Мекки, священного города мусульман, паломничество (хадж) в который, является для них главным событием на жизненном пути. Совершившие хадж носят чалму зеленого цвета (в отличие от поэтической версии Гумилева, этот цвет отнюдь не «географического» происхождения, а является сакральной эмблематикой ислама (зеленое знамя Пророка)). В книге В.В.Бронгулеева приводится следующее описание прибрежной черты Красного моря: «...Морские цветы... по форме разнообразию и яркости своей окраски... могут вполне соперничать с земными цветами. Освещенные яркими лучами солнца, пронизывающими толщу прозрачной воды, эти морские лилии и астры блещут всеми цветами радуги. Среди этого волшебного мира водорослей и животно-растений кишит не менее пестрая и разнообразная морская жизнь. <...> В долгие часы ночи подводные леса водорослей, кораллов и зоофитов озаряет светом бездны, фосфорическим сиянием миллиардов крошечных существ. <...> Здесь светится все: и подводные леса, и морские цветы, гирлянды переплетенных водорослей и все живое этого волшебного мира» (Бронгулеев. С. 183). Стр. 200-249 — о символике этого эпизода, вошедшего в рассказ «Африканская охота», см. комментарии к № 14 наст. тома.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Стр. 1-7 — в 1992 г. А.Давидсон оценивал эти строки 1913 г. так: «Прогноз Гумилева сбылся — и с лихвой. Джибути как морской порт давно уже обогнал «Массову» — Масауа. Обок исчез с географических карт. О нем никто уже и не помнит. А Джибути — столица созданной в 1977 г. республики, которая и названа именем этого порта. Теперь его девиз «24/365!», что значит: «Мы открыты для

судов 24 часа в сутки все 365 дней в году». Круговерть портовой жизни. Танкеры и сухогрузы, контейнеровозы, пассажирские лайнеры и военные корабли. <...> Не только морская гавань, но и аэропорт Джибути — среди крупнейших в Африке. Во времена же Гумилева не так уж легко было предвидеть такой бурный рост этого городка...» (Давидсон. С. 159). Стр. 8-9 — эта железная дорога была достроена только в 1917 г. Стр. 43-44 — о вице-консуле Галебе А.Давидсон писал: «Купец, грек, он считался внештатным русским вице-консулом в Джибути. Таких вице-консулов у Российской империи было в то время немало. В одной только Южной Африке — три. Это были местные жители, которые соглашались помогать появлявшихмся в их краях немногочисленным россиянам, защищать их интересы». В письме Гумилева Л.Я.Штернбергу от 20 мая 1913 г., посланном уже из Дыре-Дауа, поэт особо отмечает: «Русский вице-консул в Джибути m-re Галеб оказал мне ряд важных услуг: устроил бесплатный пропуск оружия в Джибути и в Абиссинии, скидку на провоз багажа на железной дороге, дал рекоменталеьные письма» (см.: Давидсон. С. 157-158). Стр. 55 — сомали — кочевые скотоводческие племена, населяющие Сомалийский полуостров; некоторые из них проживали и на юге территории Абиссинии. Стр. 61-62 — имеется в виду одна из форм первобытного идолопоклонничества, см. ст-ние № 107 (II) и комментарии к нему. Стр. 74-81 — свои переводы некоторых, записанных им абиссинских песен, Гумилев пытался издать, однако неудачно: готовая рукопись осталась после его смерти в архиве М.Л.Лозинского. Приведенная песня туда не вошла (см.: БП. С. 478-483). Стр. 82-83 — имеется в виду перечисление Гомером ахейских навархов — «вождей корабельных и их корабли», — пришедших под Трою (Илиада. Песнь II). Стр. 140-146 — см. гумилевскую характеристику сомали в ст-нии № 12 (IV) и комментарии к нему. Стр. 165 — зобатый аист марабу — крупная африканская болотная птица. Стр.181-182 — реминисценция из диалога Хлестакова с Анной Андреевной Сквозник-Дмухановской: «*Анна Андреевна*: <...> Я думаю, вам после столицы вояжировка показалась очень неприятною. *Хлестаков*: Чрезвычайно неприятна. Привыкши жить, comprenez vous, в свете, и вдруг очутиться в дороге: грязные трактиры, мрак невежества... Если б, признаюсь, не такой случай, который меня...*(посматривает на Анну Андреевну и рисуется перед ней)* так вознаградил за все... *Анна Андреевна*: В самом деле, как вам должно быть неприятно. *Хлестаков*: Впрочем, сударыня, в эту минуту мне очень приятно. *Анна Андреевна*: Как можно-с! Вы делаете много чести. Я этого не заслуживаю. *Хлестаков*: Отчего же не заслуживаете? Вы, сударыня, заслуживаете. *Анна Андреевна*: Я живу в деревне... *Хлестаков*: Да деревня, впрочем, тоже имеет свои пригорки, ручейки... Ну, конечно, кто же сравнит с Петербургом! Эх, Петербург! Что за жизнь, право!» (Действие третье. Явление VI). Стр. 194-195 — этот эпизод уточняет письмо О.Ф.Д.Абди (Эфиопия): «Гумилев (или Гумало, как его звали в нашей семье) добрался до Дире-Дауа 19 мая 1913 года и познакомился с дядей моего отца Х. <айле> Мариамом (до крещения — Регосса), который в то время учился во французской католической школе, основанной миссионерами в Дире-Дауа. Главный священник школы порекомендовал Гумилеву взять Х. <айле>

Мариама проводником для поездки в Харрар. Так Х. <айле> Мариам стал проводником и переводчиком русского путешественника» (Московские новости. 15 марта 1987 (№ 11). С. 2). Дата, указанная автором письма, подтверждается письмом Гумилева от 20 мая 1913 г. из Дыре-Дауа: «Дождями размыло железную дорогу, и мы проехались 80 километров на дрезине, а потом на платформе для перевозки камней. Прибыв в Дире-Дауа, мы тотчас отправились в Харрар покупать мулов, так как здесь они дороги. Купили пока четырех, очень недурных по 45 р. за штуку. Потом вернулись в Дире-Дауа за вещами и здесь взяли четырех слуг, двух абиссинцев и двух галласов, и пятого переводчика, бывшего ученика католической миссии, галласа» (Давидсон. С. 157-158). В письме О.Ф.Д.Абди, однако, не говориться, что, как явствует из повествования Гумилева, уже в первые два дня «низость переводчика Хайле выяснилась... вполне» и тот был рассчитан. В гумилевском письме упоминается, вероятно, другой переводчик, Фасика, также выбранный по рекомендации миссионеров-католиков (см. ниже), который и сопровождал Гумилева в поездке вглубь страны. Впрочем, О.Ф.Д.Абди сообщает, что на обратном пути, Гумилев вновь встречался с семьей своего неудавшегося толмача вполне дружески. Стр. 200-206 — описанный Гумилевым городок Дыре-Дауа, куда приходила готовая на тот момент ветка абиссинской железной дороги, находится менее чем в пятидесяти километрах севернее Харэра. Рост его, отмеченный Гумилевым, был непосредственно связан с осуществлением жизненно важного для Абиссинии французского железнодорожного проекта. Стр. 217 — имеются в виду талеры с изображением австрийской эрцгерцогини Марии-Терезии, которые тогда были ходовой монетой в Абиссинии (их чеканили в Австрии (а затем — в Лондоне) специально для рассчетов с африканскими странами). Стр. 231-233— система военно-феодальных титулов в Абиссинской империи и по форме и по содержанию напоминает «Табель о рангах» империи Российской, делившей всех служащих на четырнадцать иерархических «классов» (соответствующих системе военных чинов) — от коллежского регистратора до действительного тайного советника и канцлера. В Абиссинии была следующая иерархия: баша, баламбарас, геразмач, фитаурари, дедъязмач, рас, рас битоуттдет. Имелись и «промежуточные», вариативные титулы-чины. Нагадрас (точнее — нэгадрас) — один из них. Буквально он обозначает «начальника над торговой корпорацией», однако, как и в России, буквальное содержание названия «класса» чиновника не обязательно было связано с содержанием его непосредственной работы.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Стр. 10-11 — дедьязмач (точнее — дэджазмач) буквально означает «старший телохранитель императора»; этот титул соответствовал лицам, занимавшим высшие государственные посты (см. комментарий к стр. 231-233 главы второй). Стр. 38 — дурро — злаковое растение, которое разводят в Азии и Африке. Стр. 50-51 — Гарун-аль-Рашид — персонаж сказок «Тысяча и одной ночи», прототипом которо-

го был арабский халиф VIII века. Стр. 81 — копт в данном случае — христианин-египтянин. Стр. 109-120 — «И в Харэре, и в Дыре-Дауа Гумилев бывал в католических миссиях. Беседовал и с монсеньором, здешним епископом, живишим в Харэре. К сожалению, Гумилев не назвал его имени, написал только, что это француз лет пятидесяти, и рассказал о его поведении, манерах. А этим епископом наверняка был тот самый иезуит Жером, которого [биограф Хайле Селасио I] Капусцинський назвал другом Артюра Рембо и единственным учителем юного Тэфэри Мэконына» (Давидсон. С. 166-167). Стр.125-130 — эпизод с наймом Филиппа дополняет рассказ А.С.Сверчковой (со слов ее сына, Н.Л.Сверчкова): «...Понадобилось им найти человека — проводника, знающего французский язык. Отцы иезуиты прислали несколько молодых людей, но никто из них не пожелал идти в неизведенные места к дикарям. Нашелся один — Фасика — который даже знал несколько слов по-русски. Но вот беда: его не пускала тетка, и в то время, когда надо было выступать каравану, прислала людей, чтобы его увести. Начался спор. Фасику тянули вправо, тянули влево, и неизвестно, чем бы все это кончилось, если бы вдруг не появился какой-то абиссинец, размахивавший палочкой над головой. Н.С., долго не думая, вырвал у него из рук палочку и замахнулся на него. «Что вы, что вы! — закричал Фасика, — ведь это ж судья!». Все кончилось вполне благополучно, судья, рассмотрев бумаги, разрешил взять переводчика и даже подарил Н.С. свою палочку, знак своего могущества, после чего все отправились к тетке Фасика, где засиделись до заката солнца» (Жизнь Николая Гумилева. С. 18). Стр. 231-236 — 20 мая 1913 г. Гумилев писал из Дыре-Дауа Л.Я.Штернбергу: «Из Харрара я телеграфировал русскому посланнику в Аддис-Абебе, прося достать мне разрешение на приезд, но ответа пока не получил. Надеюсь все-таки достать это разрешение. Мой маршрут более или менее установился. Я думаю пройти к Бари, оттуда по реке Уеби Сидамо у озеру Зваю, и пройдя по земле Арусси, по горному хребту Черчер вернуться в Дире-Дауа. Таким образом все время буду в наименее изученной части страны Галла. <...> Завтра я надеюсь уже выступить и месяца три Вы не будете иметь от меня вестей» (Давидсон. С. 158). Стр. 236-271 — дедьязмач Харэра Тэфэри Мэконын (1892-1979) в 1930 году стал последним императором Абиссинии под именем Хайле-Селасио I. Его отец рас («князь, командующий армией») Мэконын (1852-1906) был родственником Менелика и самым влиятельным военным и политическим деятелем этого блестящего царствования. Он участвовал в битве при Челонко (1887) и сыграл видную роль в разгроме Харэрского султаната, после чего стал правителем провинции Галла. С момента воцарения Менелика он был одним из ближайших сподвижников негуса-реформатора. После обращения Менелика к нации с призывом к сопротивлению агрессорам-итальянцам (1895) дедьязмач Харэра первый откликнулся на него, увлекши своим примером и прочие провинции империи (этот эпизод отражен в поэзии Гумилева: «Первый флаг забился над Харраром, / Это город раса Маконена, / Вслед за ним проснулся древний Аксум / И в Тигрэ заухали гиены» — см. ст-ние № 5 (II)). В битве при Адуа 1 марта 1896 г. рас Мэконын возглавлял авангард абиссинской армии, кото-

рый разгромил основной отряд итальянского экспедиционного корпуса и обеспечил Менелику победу. Мэконын возглавлял имперскую делегацию на переговорах с Италией (для чего ездил в Рим) и именно он заключил победный мир, результатом которого было признание полной независимости Абиссинии Италией и выплаты репараций победителям-абиссинцам. В 1906 г. Мэконын скоропостижно скончался от застарелого рака желудка. Его сын Тэфэри Мэконын получил образование в харэрской французской католической миссии и уже в молодые годы примкнул к партии т.н. «младоэфиопов», объединившей профранцузски настроенную абиссинскую интеллигенцию. Будучи женатым на внучке Менелика принцессе Менен (1895-1962) Тэфэри, с юных лет проявляя недюжинные маккиавелистские таланты, участвовал в дворцовых интригах, активизировавшихся во время длительной болезни императора. В девятнадцатилетнем возрасте он занял место отца — стал дедъязмачем Харэра. Он же, при поддержке Франции и Англии, сыграл главную роль в перевороте 1915 г., в результате которого на престол взошла дочь Менелика Заудиту, и стал регентом, а после смерти Заудиты (1930) -императором Абиссинии. Он правил страной 44 года, а если учесть срок регенства — около шестидесяти лет. «По продолжительности правления рядом с ним можно поставить разве что королеву Викторию, Людовика XIV, Франца-Иосифа и Хирохито. <...> Несомненно, Хайле Селасие был фигурой сложной, неоднозначной. И сам он, и методы, которыми он пользовался, сильно менялись за столь долгое время правления. В автобиографии «Моя жизнь и прогресс в Эфиопии» престарелый правитель не без гордости вспоминал, как, еще только встав у власти, он запретил отрубать руки и ноги — это было привычным наказанием даже за мелкие проступки; запретил варварский обычай четвертования, который должен был публично исполнять самый близкий родственник — сын убивал отца, а мать — сына. Запретил работорговлю» (Давидсон. С. 164). Стр. 257-271— эти фотографии приведены в монографиях Давидсона (с. 166, 168) и Бронгулеева (с. 307, 308). Стр. 291 — кавос — технический служащий.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Стр. 1-19 — согласно современным данным, основание Харэра относится к VII-VIII вв. Его история тесно связана с историей бурной исламской экспансии на территории Абиссинии: к XVI веку владения абиссинцев — ахмарцев и тиграитов на какое-то время ограничивались вообще только самим нагорьем, однако в дальнейшем абиссинские негусы-негести («цари царей», т.е. — императоры, в отличие от «негусов» — царей, владык территорий) стали одерживать успехи. Харэрский султанат до 1888 года был главным оплотом сопротивления имперским амбициям абиссинцев. Специфика его истории определяется перманентыми конфликтами как этнического толка (столкновениями между абиссинцами, харэритами, галла и арабами), так и религиозным противостоянием. В сочетании эти два фактора приводили к длительным и жестоким войнам (самой жестокой была страшная война галласов с

хараэритами в XVI в., в которой применялись методы геноцида — отсюда и взаимная неприязнь «горожан» и «крестьян» в Галла, отмеченная Гумилевым). Присоединение к империи Харэра и галасских земель в конце 80-х — 90-х гг. XIX века было одним из главных внутриполитических коллизий царствования Менелика. Стр. 11 — дата пропущена Гумилевым. Стр. 25-43 — упоминаемый Гумилевым дедзач (сокращенное дедьязмач) Бальча был, вместе со своим предшественником, расом Мэконыном, организатором антиитальянского сопротивления и героем Адуа: пост имперского наместника в Галла занимался в то время только лицами, обладающими первостепенными властными и военными полномочиями и общеимперским авторитетом. Для понимания этого фрагмента нужно упомянуть, что граница, разделяющая галасские земли, находящиеся под управлением имперского наместника, и земли метрополии, проходит по великой абиссинской реке Аваш (у Гумилева — Гаваш). Стр. 45 — см. комментарии к стр. 231-233 второй главы. Стр. 52-53 — см. комментарии к стр. 74-81 второй главы. В сборник, составленный Гумилевым цитируемая песня вошла. Стр. 66 — Гинир — город, расположеный в глубине территрии Абиссинии, приблизительно в 300 километрах к юго-западу от Харэра, куда экспедиция Гумилева прибыла только 30 июня 1913 г. (см.: Бронгулеев В.В. Африканский дневник Н.Гумилева // Наше наследие. 1988. № 1. С. 86); именно эта фраза и явилась основой для предположения В.В.Бронгулеева, что четвертая глава «Дневника» написана Гумилевым уже на обратном пути экспедиции (см. выше). Стр. 69 — на этом «художественная» часть путевых заметок Гумилева об экспедиции 1913 года обрывается. О ее дальнейшей истории см. комментарии к «полевому дневнику» (т. X).

13. Нива. 1914. № 5.

ЗС -- ОС1991 -- Полушин -- Соч II -- АО -- Проза поэта.

Дат.: вторая половина января-февраль 1914 г. — по срокам первых известий о смерти Менелика II (середина января 1914 г. — см. ниже) и времени публикации.

Хотя Гумилев, пребывая в 1910-1911 гг. в Аддис-Абебе и представлялся тамошним официальным лицам как корреспондент «Речи» и «Аполлона», единственная его «абиссинская корреспонденция» появилась на страницах журнала «Нива» после возвращения из путешествия 1913 г. Зато тема гумилевской статьи была действительно выйгрышной, ибо даже для равнодушной к далеким восточноафриканским политическим страстям читательской аудитории «Нивы» фигура абиссинского императора, ставшего уже при жизни легендарным, была не совсем чужда (хотя бы на уровне инстинктивной тяге к романтической героике, тайно присущей даже рядовому российскому обывателю).

Император Менелик II, основатель современной Эфиопии, был 24 года негусом (королем) Шоа (с 1865 по 1889 гг.), а с 1889 по 1913 г. — негусом негести (императором) Абиссинии. Во время его долгого царствования (одного из самых длительных в истории Абиссинии) произошло множество значительных событий:

основание Аддис-Абебы, разгром итальянского вторжения в 1895-1896 гг., установление дипломатических связей с великими державами, присоединение отпавших в предыдущий период ослабления Абиссинии имперских провинций, введение многих новых властных и общественных институтов (см. комментарии к № 12 наст. тома).

Менелик был сыном Хайле Малакота, наследного принца Шоа, и его наложницы, дворцовой прислуги Эгигайяху. Узнав о рождении внука, негус Саале Селасио (ум. 1847) приказал сыну жениться на любовнице. Отец Менелика правил в Шоа с 1847 по 1855 гг., был в оппозиции к императору Теодору II, долгое время успешно отбивался от имперских войск, но заболел малярией и умер, оставив престол несовершеннолетнему сыну. Регентом при Менелике стал его дядя — Ато Дардже, который и сдал его императору Теодору II, якобы для «усыновления». «Усыновленный» императором юный Менелик был вскоре заключен в крепость Магдалу, — ту самую, где будут содержаться и пленники-европейцы, и где император Теодор II покончит с собой (см. комментарии к № 12 наст. тома). Впрочем, к этому времени Менелика там уже не было. В 1865 г. ему удалось сбежать из тюрьмы и добраться до Шоа. Первые годы его самостоятельного царствования ушли на организацию административного порядка в стране. Согласно хроникам, он предпринимал военные экспедиции по разным направлениям, отстроил столицу — Анкобер, занимался территориальными проблемами, изобрел новый алфавит, занимался совершенствованием законодательства. В период «междуцарствия», после смерти Теодора, Менелик, считая себя главным претендентом на имперский престол, всячески демонстрировал пренебрежение к императору Иоанну IV, однако, здраво оценив свои возможности, предпочел гражданской войне — соглашение с Иоанном (которое и было с радостью принято). После этого он с головой уходит во внутренние дела Шоа, активно приглашая к себе в советники западных специалистов.

В 1881 г. после опустошительной эпидемии в Анкобере, он основал новую столицу в Энтото. Через некоторое время Менелик пришел к выводу, что выбор Энтото был неудачен, и в 1887 г. отстроил неподалеку новый город, который его супруга Таиту назвала «новым цветком» — Аддис-Абебой. Королева, будучи очень набожной, занималась возведением храмов и бытовым благоустройством новой столицы. В эти же годы Менелик покоряет отпавшие провинции, прежде всего — Харэрский султанат, который он занял в 1887 г.

В 1889 г. по всей стране прокатилась волна падежа скота, обратившаяся голодной катастрофой для населения. Тогда же был убит в битве с махдистами император Иоанн IV. В это тяжелое время Менелик проявил лучшие качества правителя, снискал всеобщее уважение и популярность, и был возведен на имперский престол. Немалую роль в его избрании сыграли и контакты с итальянцами, с которыми он заключил Уччиальский договор (см. комментарии к № 12). С момента своего восшествия на престол Менелик особо озаботился созданием регулярной армии, для чего даже ввел новые налоги. Италия, объявившая Абиссинию своим протекторатом, тяготила Менелика, и он подготавливал денонсацию договора 1889 г. После военной интервенции Италии Менелик обратился к народу с призывом к единству для

сопротивления агрессору и, создав чудовищный перевес в силе, буквально раздавил итальянские войска под Адуа (потери итальянцев — 6000 убитых, 1428 — раненных, 1800 — взято в плен; в итоге итальянцы потеряли 70% своих сил в Абиссинии). Это была первая победа африканской армии над европейской со времен второй Пунической войны (см. комментарии к № 12 наст. тома). После этого Запад совершенно изменил свое отношение к Менелику. Из мелкого африканского удельного князька после битвы при Адуа он, стараниями европейской прессы, разом преобразился в нового Ганнибала, великого Императора, средоточие всех монархических добродителей. В Абиссинию хлынул целый поток журналистов — искателей приключений.

С 1896 по 1907 г. Менелик проводит политику присоединения к Абиссинии южных и западных провинций, отпавших в XVII веке, а также — присоединяет к империи новые территории. Эту компанию завоеваний он почитал своим «священным долгом». В эти же годы в империи была реформирована система управления, создан кабинет министров, введена национальная валюта, создана телеграфная связь между крупнейшими городами, активно строилась железнодорожная ветвь Джибути — Аддис-Абеба. Абиссиния входит в Международную банковскую систему (1905) и Международный почтовый союз (1908). В 1908 г. была основана первая муниципальная школа (преподавателями были иностранцы-копты — с одним из них Гумилев подружился в 1910 г. в Харэре).

О финале этого царствования и идет речь в статье Гумилева, который, конечно, судил о происходившем в Абиссинии в 1908-1913 гг., в основном по слухам, поскольку внутридворцовые интриги тщательно скрывались от «непосвященных».

С 1904 года Менелик страдал тяжким недугом, который был следствием перенесенного им в молодости сифилиса. В 1908-1909 гг. его состояние резко ухудшилось, так что к февралю 1909 года он был частично парализован. Для того, чтобы сохранить в глазах народа образ дееспособного императора, Менелика периодически возили по Аддис-Абебе, но фактически вся власть перешла к императрице Таиту, что вызвало резкое неудовольствие знати. Летом 1909 г. на Менелика было совершено покушение (попытка отравления). Императрица сочла виновником покушения министра иностранных дел и коммерции Хайле Георгиса (упомянутого в очерке Гумилева), и он был отправлен в отставку. Император выжил, но 28 октября 1909 г. произошел еще один удар, после которого он оказался полностью парализован. С этого времени неоднократно возникали слухи о кончине императора, которые периодически вызывали беспорядки в столице. С сентября по декабрь 1910 г. Менелик пребывал в состоянии, близком к смерти, так что кончину ожидали со дня на день, однако с начала 1911 года его состояние стабилизировалось, хотя, не умирая, он, по выражению итальянского дипломата, графа Г. Коли, которому разрешили навещать больного, жил только «телесной жизнью». В таком состоянии он и пребывал до кончины, наступившей в ночь с 12 на 13 декабря 1913 года. Хотя уже с 15 декабря об этом просочились первые слухи, а к середине января 1914 года эта новость стала общеизвестной, официальное заявление о смерти Менелика так и не

было сделано **никогда** (см. о кончине Менелика: Marcus H.G. The Life and Times of Menelik II. Ethiopia 1844-1913. Oxford, 1975. Pp. 232-235, 248-250, 261; Marcus H.G. A History of Ethiopia. Berkeley, 1994. Pp. 110-113).

Стр. 3-14 — о внутренней и внешней политической борьбе за контроль над Абиссинией во второй половине XIX — начале XX вв. см. преамбулу к построчным комментариям к № 12 наст. тома. Стр. 27 — лидж (наследник) Иассу (1896-1935) — внук Менелика, объявленный Менеликом своим преемником в 1908 г. Это не было обнародовано, хотя по дипломатическим каналам об этом были проинформированы европейские державы. Регентом, согласно волеизъявлению императора, должен был стать рас Тасама (см. ниже). Очень скоро Иассу стал фактически выполнять функции первого лица в государстве, открыто принимая на официальных приемах императорские почести. С апреля 1911 г., после смерти Тасамы, Иассу отверг перспективу нового регентства и настоял на том, чтобы властвовать самому. Это вызвало всплеск негодования со стороны знати и бурные волнения в столице (о которых рассказывает Гумилев), но, в конце концов, его объявили «*сыном Менелика, негуса негести*», и этот странный «титул» был зафиксирован и на государственной печати. Однако собственно коронацию было решено все-таки отложить до кончины действующего (но не дееспособного) императора. Иассу был исключительно красив и пользовался большой популярностью в простом народе. Приближенным же очевидны были крайне отрицательные его черты — патологические жестокость и сладострастие, неспособность к здравым суждениям и низкая работоспособность. Очень скоро при таком правлении властные структуры стали стремительно разлагаться, недовольство среди знати росло, — и в сентябре 1916 года он был свергнут в результате дворцового заговора. Стр. 28 — отец Иассу, рас Михаэль (ум. в 1918) был мужем принцессы Шевы Рагги, дочери Менелика. Изначально он звался имамом Мухамедом-Али. После покорения Уолло, он отрекся от ислама, крестился и активно сотрудничал с Менеликом, поддерживая его, в частности, в военных предприятиях. Несмотря на свое ренегатство Михаэль был покровителем исламских кругов в Абиссинии. Лидж Иассу также был настроен происламски, а с момента начала Первой мировой войны — активно стремился к сотрудничеству с Турцией, что вызвало неудовольствие Англии, Франции и России и окончательно решило его судьбу. «Исламская» коллизия подрывала харизму Иассу как «соломонида» и была одной из основных причин неприятия его абиссинской аристократией. Стр. 31-35 — с 1907 г. Менелик, осознав что смертельно болен, стал предпринимать шаги к сохранению целостности страны после его смерти. В частности, он назначил девять министров — «по европейскому образцу», — причем из осторожности выбрал состав кабинета из лиц, не обладавших особо знатным происхождением, чтобы не допустить их сильного влияния. Пока Менелик был дееспособен этот «кабинет» выполнял чисто номинальные функции, но в перспективе, по замыслу императора, он должен был стать представительным органом, укрепляющим единоличную власть преемника Менелика. Стр. 35-37 — рас Мэконын — двоюродный брат Менелика,

губернатор Харэра, ближайший советник Менелика по вопросам внешней политики. См. о нем комментарии к стр. 236-271 третьей главы № 12 наст. тома. История о попытке восстания и отравлении, по всей вероятности, — просто пересказ Гумилевым слухов, циркулировавших в Аддис-Абебе в разгар борьбы за престол (как уже говорилось, Иассу был назначен преемником Менелика лишь в 1908 г., через два года после естественной смерти Мэконына от застарелого рака желудка). Однако, после смерти Мэконына в Харэре, действительно были беспорядки, связанные с кандидатурой его преемника. На этот пост претендовали два сына покойного раса — старший — Илму и младший — Тэфэри, причем симпатии войск склонялись к последнему. Однако императрица Таиту предпочла Илму, что вызвало крайнее неудовольствие харэритов. Стр. 46-51 — Таиту Бетул (ок. 1850 — 1918) — вторая жена Менелика, императрица Абиссинии. Обвенчалась с императором в апреле 1883 г. Их брак, заключенный при активном содействии императора Иоанна IV, носил, во многом, политический характер. Хорошо образованная, очень набожная, уравновешенная и здравомыслящая, обладавшая большими способностями в области политической деятельности, Таиту была идеальным «противовесом» своему мужу, склонному к авантюризму и весьма импульсивному. Таиту могла проводить самостоятельную политическую линию, используя для этого непосредственные связи с политическими кругами Европы. Горячая патриотка, она всячески поддерживала мужа. С февраля 1908 г. после удара, случившегося с Менеликом и частичной утраты им дееспособности, Таиту возглавляла имперский совет, ставший на время болезни императора главным органом управления страной. Положение женщины во главе страны вызвало неудовольство знати. Понимая это, Таиту окружала себя сторонниками, вызывая резкую оппозицию со стороны губернаторов провинций, которые бойкотировали центральную власть и распускали слухи, порочащие императрицу. В марте 1910 года группа влиятельных военных и политиков обвинили ее в неправильном ведении дел и потребовали от митрополита Абуны Матеоса (см. ниже), чтобы он разрешил их от присяги. Рас Тасама и другие лидеры этого возмущения объявили Таиту о том, что отныне единственной ее обязанностью становится уход за парализованным императором. После переговоров (и протестов) она уступила. Стр. 49-51 — Абуна Матеос (1857-1927) был в 1881-1889 гг. епископом Шоа, в 1889-1927 — митрополитом Абисинии; он короновал Менелика и венчал его с Таиту. Стр. 54-60 — рас Тасама (ум. в 1911) с августа 1909 г. был регентом при лидже Иассу. Тасама являлся креатурой оппозиционных к Таиту придворных сил, убедивших больного императора в целесообразности введения регентства (отец Тасамы был регентом при несовершеннолетнем Менелике). Однако Тасама, также как и Менелик, страдал прогрессирующим параличом и не мог в полной мере реализовать себя в политике. Умер он, по всей вероятности, своей смертью. Стр. 61-70 — исторически эти события, относящиеся к маю 1911 г., развивались несколько иначе. Один из влиятельных расов — Аббате — со 3000 своими сторонниками осадил дворец Тасамы, где жил лидж Иассу, требуя низложения наследника. Однако войска в столице не поддержали Аббате, и Иассу, в свою очередь, с 13 000 солдат занял

дворец Менелика. В результате этого противостояния был выработан компромисс. Иассу оставался официальным преемником Менелика, но на время жизни императора обязался согласовывать свои действия с Советом министров, который, в свою очередь, давал гарантии провозглашения Иассу императором сразу после смерти Менелика. Связь столицы со страной во время этих событий, действительно, была прервана. Стр. 65 — рас Уолде Георгис (1851-1918) — двоюродный брат Менелика, ведущий генерал абиссинской армии, захвативший Кафу и ставший ее правителем (1897), а также присоединивший к Абиссинии области озера Рудольфа. Был женат на сестре императрицы Таиту. После смерти Менелика Уолде Георгис был кандидатом на роль военного диктатора и даже собрал для захвата власти войско, но воздержался выступить против Иассу открыто. Уолде Георгис активно участвовал в заговоре против императора в 1916 г. Стр. 85-90 — эта песня вошла в сборник абисинских песен, составленный Гумилевым (см. комментарии к стр. 74-81 второй главы).

14. Ежемесячные литературные и популярно-научные приложения к журналу «Нива». 1916. № 8.

ТП -- СС IV -- ТП 1990 -- ЗС -- Проза 1990 -- Изб (Слов) -- Изб (Слов) 2 -- ОС1991 -- СС IV (Р-т) -- Соч II -- Полушин -- СС 2000 -- ТП 2000 -- АО -- Проза поэта -- СПП 2001; Наше наследие. 1988 № 1.

Дат.: конец мая — первая половина июня 1914 г. — по датировке В.К.Лукницкой (Жизнь поэта. С. 175), уточненной Е.Е.Степановым (Соч III. С. 387).

Рассказ «Африканская охота. Из путевого дневника», очевидно, по замыслу Гумилева должен был явиться своеобразным «анонсом» к публикации повести об его африканских путешествиях. Судя по тому, что он был отдан в «Ниву» сразу вслед за очерком «Умер ли Менелик?», поэт связывал дальнейшую работу над «африканской темой» именно с этим изданием. О замыслах Гумилева мы можем только догадываться, однако сложная архитектоника «Африканской охоты» позволяет нам сделать вывод о том, что задуманная, по всей вероятности, поэтом книга об Африке не должна была исчерпываться только материалами «Африканского дневника», но обнимала бы все африканские приключения, наблюдения и впечатления, накопившиеся за три путешествия. «Очерк создает у читателя впечатление, что события изложены в нем в хронологическом порядке. На самом деле эпизод с ловлей акулы (часть II рассказа — *Ред.*) относится к 1913 году, когда Гумилев уехал в экспедицию по поручению Академии наук, а все остальные охотничьи приключения имели место во время поездок в Абиссинию зимой 1909-1910 и 1910-1911 годов», — отмечал Р.Л.Щербаков (Соч II. С. 432). Если конкретизировать последнее, то эпизод охоты на леопарда, являющийся содержанием части III, с очень высокой долей вероятности мы можем связать с письмом Гумилева к М.А.Кузмину, написанном в январе 1910 года: «Дорогой Миша, пишу уже из Харрара. Вчера сделал двенадцать часов (70 километров) на муле, сегодня мне предстоит ехать еще 8 часов (50 километров) на муле, чтобы

найти леопардов. <...> Здесь только один отель и цены, конечно, страшные. Но сегодня ночью мне предстоит спать на воздухе, если вообще придется спать, потому что леопарды показываются обыкновенно ночью. <...> Мой слуга абиссинец ждет меня у дверей. Кончаю писать. Всегда твой Н.Гумилев» (Известия АН СССР. Сер. литературы и языка. 1987. № 1. Т. 46. С. 60). Именно из этого, первого путешествия в Абиссинию была привезена Гумилевым знаменитая леопардовая шкура, описанная многими мемуаристами и воспетая самим поэтом в «Леопарде» (см. ст-ние № 55 (IV) и комментарии к нему). Содержание IV части по всей вероятности опять относится к событиям 1913 г., ибо в экспозиции к ней описываются именно те места, которые миновала экспедиция на своем последнем этапе — область верхнего течения Аваша близ городов Аваш и Метахара к которой с севера примыкает Данакильская пустыня (см. карту). Впрочем, Гумилев пересекал Аваш и во время второго путешествия, так что точная отсылка во времени описываемых в IV части событий невозможна. Зато облава в имениях лиджа Адену, описанная в части V совершенно точно относится к 1910-1911 гг., когда Гумилев жил в качестве «корреспондента «Речи» и «Аполлона» в Аддис-Абебе и, в частности, по словам А.В.Чемерзиной был на рождественском обеде в приемной зале императорского дворца, где присутствовала практически вся столичная знать (около 3000 человек) и принц (будущий император) Ияссу, которому поэт был представлен. «Надо думать, — резонно замечает А.Давидсон, комментируя свидетельство А.В.Чемерзиной, — что этот обед дал Гумилеву массу впечатлений. Он повидал всю столичную знать, может быть, и познакомился с кем-то из местных аристократов» (см.: Давидсон. С. 62). Между тем о посещении Гумилевым Аддис-Абебы в 1913 г. никаких сведений нет (в 1909-1910 гг. он добрался только до Харэра), но если даже, паче чаяния, экспедиция на обратном пути в Харэр и сделала «крюк» в столицу, сложно представить, что глава каравана бросил бы всех спутников и все «хозяйство» (в том числе и собранные с таким трудом коллекции) минимум на неделю, и отправился бы в развлекательное верховое турне. К тому же, по свидетельству О.Л.Делла-Вос-Кардовской, именно после путешествия 1910-1911 гг. Гумилев привез «красивые шкуры обезьян»; не исключено, что шкура того самого «старого павиана», застреленного во время облавы, стала причиной появления «Великой Вольной обезъяньей палаты» А.М.Ремизова и поводом для «обезъяньего» «суда чести» между Мережковскими и А.Н.Толстым (см.: Жизнь Николая Гумилева. С. 34, 277).

Гумилев работал над «Африканской охотой» в Слепневе в мае-начале июня 1914 г. и поручил Ахматовой, уехавшей из Слепнево в Петербург в середине июня отдать готовую рукопись в «Ниву» (Соч III. С. 387). В процессе работы он отредактировал фрагмент «Африканского дневника» (стр. 200-249 главы первой); соблазнительно было бы предположить, что и все другие части рассказа он создавал подобным же образом, редактируя уже имеющиеся записи о путешествиях 1909-1910 и 1910-1911 гг., в настоящее время еще ненайденные.

Очевидно публикации помешала начавшаяся 18 июля война; военные же события остановили и дальнейшую работу поэта над африканскими материалами (он

готовил для «Аполлона» статью об африканском искусстве — см. Соч III. С. 326). 5 августа он был уже в военной форме, ожидая отправки в Гвардейский запасной кавалерийский полк. Вернуться к африканским запискам ему уже было не суждено. А его последний «африканский» рассказ увидел свет лишь год спустя, оставшись в разгар военных страстей не замеченным критикой. Составляя ТП, Г.В.Иванов включил в состав сборника и этот рассказ, хотя, как отмечал Р.Л.Щербаков, этот рассказ несколько «стилистически выпадает» из сборника (Соч II. С. 423). Рецензируя вышедшую книгу, В.А.Рождественский отмечал в рассказе присутствие «живой Африки»: «Это подлинные записки географа, поэта, охотника, филолога, негоцианта, быть может соперника Артура Рембо, водившего через леса западной области торговые караваны и читавшего Ронсара отдыхающим верблюдам» (Книга и революция. 1923. № 11-12. С. 63). Г.П.Струве, переиздавший «Африканскую охоту» в СС IV отдельно от рассказов ТП, писал, что это «хороший образчик сухой и точной прозы Гумилева, без романтических «прикрас», несмотря на экзотическую тему» (СС IV. С. 595). Позднее Е.Подшивалова сравнивала стиль рассказа с «Записками кавалериста»: ««Африканская охота» и «Записки кавалериста» представляют собой очерковую прозу. В результате мир в них воспроизведен конкретно, со множеством частных подробностей и наблюдений. Однако, не только формы быта африканцев, профессиональные тайны охотников, специфика военных операций и ход военных действий интересуют писателя. Он и здесь внимателен к психологии человека, один на один оставшегося с диким зверем или готовящегося к схватке, он фиксирует ощущения современника, человека цивилизованного, попавшего в романтически воспринимаемый, экзотический, первобытный мир «войны», ставший его бытом. Чувства часто названы не прямо, оттенки и переходы их не зафиксированы, а спрятаны за детали внешнего мира, проявляются в жесте, поступке. Это делает очерки несколько эмоционально обедненными» (ОС 1991. С. 23). Как образчик «очерковой» же прозы М.Ю.Васильева сопоставила «Африканскую охоту» с путевыми очерками И.А.Бунина «Тень птицы» и К.Д.Бальмонта «Край Озириса». По мнению исследовательницы, обращение всех трех авторов к «африканской» тематике возникло на общей основе: с учетом опыта «экзотических» народов они стремились осознать пройденный путь и перспективу развития человечества (и России, в том числе). Кардинальное же отличие «Африканской охоты» от путевых очерков Бунина и Бальмонта заключено в области философско-эстетических «временных» обобщений: «В «Тени птицы» — острая оппозиция Восток — Запад, вечное и конкретно-временное, органическая культура прошлого и ложная цивилизация настоящего. <...> В «Крае Озириса» величественная древность противопоставлена кризисной современности. <...> Гумилев отдает свое внимание только настоящему — сложившемуся к началу XX века непримиримому противостоянию девственно-чистой... природы враждебному ей «цивилизованному» обществу» (Васильева. С. 12).

Определение Е.Подшиваловой и М.Ю.Васильевой жанровой природы «Африканской охоты» как «очерка» (или — ряда «очерков»), каковое встречается и в других «гумилевоведческих» работах (см., напр., несколько наивную статью В. Стриж-

нева «"Знал он муки голода и жажды..." Н.Гумилев — поэт, этнограф, охотник // Охота и охотничье хозяйство. 1987. № 7. С. 38), следует признать весьма спорным, поскольку, будучи, действительно, формально «составленной» из фрагментов «африканских приключений» разных лет, «Охота», в то же время, обладает содержательным единством, тематика которого, мягко говоря, далеко превосходит «познавательно-этнографическую» или «приключенческую» сферы. Е.П.Беренштейн связывал философскую проблематику рассказа с «игровым началом», присущим, по его мнению, гумилевским произведениям, обращенным к «антропологической» проблематике ницшеанского толка: «Игровое начало, как известно, лишено утилитарности, будучи реализацией свободных творческих сил. У Гумилева **игра со смертью** является связующей нитью между бытием и индивидуальным существованием, природой и Богом. Пролитие своей и чужой крови есть для него в прямом смысле слова **кровная** связь с миром <цит. стр. 257-262>. В этом сне, где игровое начало буквально выпячивается, снимается противоречие "преступления-наказания", "деяния-воздаяния". <...> Человек [в творчестве Гумилева] в высшей потенции утрачивает все ограничивающие его существование рамки — социальные, исторические, этические (см. «Капитаны», «На Северном Море» и др.). Деятельное существование в бытии, а не в жизни — сверхчеловеческая установка Гумилева, непосредственное предстояние Богу как в процессе проживания жизни, так и после нее (см. «Мои читатели»). Отсюда органическая множественность — всеобщность «я» существующего во всех пространствах, временах, культурах. Целенаправленное волевое и одновременно произвольно-игровое начала в сверхчеловеческом выборе органически соединяются, и тип гумилевского сверхчеловека родиной, почвой считает **все** бытие, преломленное в культуре (см. «Прапамять», «Стокгольм», «Память», «Среди бесчисленных светил...» и др.)» (Беренштейн Е.П. Концепция культуры Николая Гумилева // Лит. текст: проблемы и методы исследования. (III). Тверь, 1997. С. 102-103). Не случайно, что фильм о чекистском красном терроре и гибели в нем Гумилева также был назван *«Африканской охотой»* (см. аннотацию его: Кинонеделя Ленинграда. 2 сентября 1988 (№ 36 (1665)).

Эти мрачные философские «бездны» «Африканской охоты», непривычные в традиции позитивистского абстрактного «гуманизма», становились настоящей проблемой для читательского восприятия: «Что можно сказать по существу приведенного рассказа? — писал, комментируя III часть «Охоты» В.В.Бронгулеев. — Конечно, он правдоподобен, и все было именно так, как поведал нам его автор. Читая об этой охоте на леопарда, невольно вспоминаешь аналогичные описания во многих приключенческих романах тех лет. Отношение к охоте, как к занятию для смелых, было тогда совем иным. И все-таки кажется, что никакого удовольствия от стрельбы по обезьянам и леопардам Гумилев испытывать не мог и если участвовал в этом, то либо по необходимости, как во время своей последней экспедиции в Абиссинию в 1913 году, либо из ложно понятой идеи самоутверждения в более ранние годы. Ведь во многих его стихах, где говориться о мужестве и преодолении страха смерти, нет и намека на какую-либо жестокость, а есть лишь особый элемент бравады. Очень характерно, что тот же

элемент сопровождает и описание сцен людских побоищ, которые делались им во второй половине жизни. Там нет ни ненависти к врагу, ни злорадства, а есть лишь восхищение битвой как таковой, как ристалищем для сильнейшим духом. К сожалению, это было не понято ни прежде, ни теперь» (Бронгулеев. С. 159).

К сожалению, приходится признать, что как вышеприведенная, так и многие другие попытки «реабилитировать» поэта, списав «трудные» для традиционного этического оправдания произведения (см. комментарии к № 16 наст. тома) на его склонность к наивной «браваде» и юношескому «самоутверждению», не выдерживают критики. Метафизические основы «странного» миросозерцания, отраженного в «Африканской охоте» раскрыты Ю.В.Зобниным, который констатировал, что «рассказы о жестоком умервщлении охотниками диких хищных животных, морских и наземных», резко выделяются даже на фоне «обыкновенной» «охотничьей прозы» «сознательной установкой автора на подробное, натуралистическое изображение кровавых «физиологических» жестокостей и плотских страданий животных». Это, по мнению автора, обусловлено связью гумилевской символики «африканской охоты» с православной натурфилософией персонализма, согласно которой вся «животная» часть мироздания может рассматриваться как единая космическая «живая плоть», и, в качестве таковой, она «испорчена» грехопадением перволюдей: «Согласно библейской истории творения, животный мир был вызван к жизни в шестой день, т.е. непосредственно перед созданием человека. <...> Животная часть мироздания, как этоя явствует из самого названия ее, оказывается носителем чувств и эмоций, производимых плотью. Прежде, чем соединисться воедино в человеческом существе, эти чувства и эмоции получили свое самостоятельное воплощение в особом животном виде — так что каждое «животное» оказывается носителем некоей черты «плотского» человеческого бытия, а в целом животный мир представляет собой воплощение этого бытия... <...> ... «Дикость» и «зверство» не были присущи животному миру изначально, а обнаружились только тогда, когда Адам не смог «осуществлять господство над своими страстями», т.е. явились одним из трагических последствий грехопадения. Во время пребывания в раю, первые люди, располагающие полнотой бытия в любовном общении с Богом и всецело «владеющие» своей как душевной, так и плотской природой проецировали эту гармонию чувств и «вовне». <...> Превращение «животных» в «диких зверей» явилось точной «проекцией во вне» того, что произошло с человеческой плотью, вышедшей в момент грехопадения из под контроля душевного «ума». Невинные и гармонические чувственные переживания превратились в страсти — и это недолжное состояние... также «объективировалось», получило свое воплощение в животном мире. Однако, если человеческий «ум» и после грехопадения мог еще более или менее успешно препятствовать развитию плотских страстей внутри человеческого существа, то сами «животные» носители их, в силу простоты своей природы, таковой способностью не располагали. Здесь плотские страсти развились до последнего предела, до «зверства», причем те из них, которые и в человеке с легкостью превозмогают ослабленный грехопадением «ум» (половая похоть, алчность, жадность, агрессивность и т.п.) превратили своих носите-

лей в животном мире в хищников, несущих страдания и смерть всему окружающему. <...> Природа сама по себе метафизически пуста, как само по себе «пусто» зеркальное стекло, «содержанием» которого является отраженный в нем образ человека. Точно так, единственной действительной «тайной природы» является ее способность отражения всего ужаса того зверского хаоса, который живет в человеке после грехопадения. Настоящий «зверь» скрывается в человеке, тогда как в видимом «природном» звере скрывается доброе и кроткое человекообразное «животное», созданное Творцом для службы своему земному повелителю — вот страшная истина вполне усвоенная Гумилевым. В его творчестве образ «африканской охоты» получает жуткое, символическое значение. Животная плоть природы здесь сотрясается отвратительными, безобразными конвульсиями «зверства», вызывающими у «охотника» немедленную естественную реакцию беспощадного отрицания этого темного, хаотического кошмара, — и тогда летят пули, разрывающие кровавую ткань, вонзаются заостренные лезвия и железные ломы, расчленяющие костные суставы. Но, в результате, мертвая, растерзанная кровавая туша, которая остается перед взорами «охотника», вдруг приобретает совсем не свойственные ей минутой раньше «кроткие» черты, как бы «обливаясь кровью, аплодирует искусству палача и радуется, как все это просто, хорошо и совсем не больно». И в этот миг «охотник» понимает — он стрелял в самого себя, в свое собственное alter ego, вдруг повстречавшееся во время «земного странствия» в «сумрачном лесу»...» (Зобнин. С. 227-237).

Стр.1-37 — защитниками Гумилева в годы официального запрета его творчества традиционно акцентировалось внимание читателей на первой части «Африканской охоты», как на ярком свидетельстве «антиколониалистских» взглядов поэта. Это отразилось и в книге А.Давидсона («в этом очерке, как бы итог размышлений [Гумилева] о судьбе Африки и о ее отношении к европейским завоевателям»), и в комментариях Р.Л.Щербакова («подлинный гимн Африке... красноречиво свидетельствует, что многолетние упреки поэту в империалистическом мышлении были абсолютно надуманны и беспочвенны») (см.: Давидсон. С. 204; Соч II. С. 433). Стр. 60-61 — сравнение акульих глаз с глазами «старых, особенно свирепых кабанов» добавлено Гумилевым при редактировании данного фрагмента «Африканского дневника». «Заметим, что охотник встречает самых страшных хищников, самый облик которых оказывается воплощением агрессивного зверства. <...> Гумилевский «охотник» стреляет только в тех животных, которые являются «зверями в полном смысле этого слова». Получается, что не все «животные» были для Гумилева «зверями», более того — даже животные одного и того же вида могут «зверями» быть, а могут и не быть» (Зобнин. С. 235-234). Стр. 81 — в «Африканском дневнике» это предложение начинается так: «А этот, верный до конца...» и т.д. Редакция фразы сделана для усиления «антропоморфной» метаморфозы, произошедшей с «осиротелым лоцманом». «В страшных сценах, нарисованных Гумилевым, есть повторяющийся поэтический контраст, который производит впечатление еще более сильное, нежели натуралистические детали в роде вспоротого акульего живота и застрявшей в

позвоночнике леопарда пули. Дело в том, что непосредственно в момент мучительной гибели звери, пораженные охотниками, вдруг, волей рассказчика, начинают приобретать человекообразные черты» (Зобнин. С. 234). Только две упомянутые правки Гумилева при редактуре фрагмента-источника несут существенную смысловую нагрузку (остальная правка носит технический характер). Стр. 201 — под «маузером» имеется в виду однозарядная или магазинная немецкая винтовка данной системы. Эту деталь «обыгрывал» в своих воспоминаниях о Гумилеве Г.В.Иванов, то ли иронически, то ли всерьез приводя слова «гимна», который распевали «негры из сформированного им отряда, маршируя по Сахаре»:

Нет ружья лучше Маузера!
Нет вахмистра лучше З-Бель-Бека!
Нет начальника лучше Гумилеха!

(см.: Иванов Г.В. Собрание сочинений. В 3 т. М., 1994. С. 546-547). Стр. 204 — «берданка» — однозарядная винтовка системы Х.Бердана; в 1868-1891 гг. была на вооружении русской армии. Эта деталь может учитываться при датировке данного эпизода: оружие для экспедиции 1913 г. Гумилев получил из казенного арсенала. Стр. 212 — «лидж» — буквально «мальчик», в прибавлении к имени молодого представителя аристократического рода это слово приобретает значение «отпрыск, наследник». Стр. 257-262 — уже Н.А.Оцуп видел в этих строках «предчувствие» своего трагического конца (см.: Оцуп Н.А. Николай Гумилев: жизнь и творчество. СПб., 1995. С. 84). «...Образ своей головы, отрубленной палачом по причинам политическим, привиделся ему еще в Африке после охоты <цит. стр. 257-262>, — пишет и Вяч. Вс. Иванов, считавший также данный фрагмен «биографическим пророчеством» об августе 1921 г. — Этот пригрезившийся в кошмарном сне образ, навязчиво повторяющийся, в «Заблудившемся трамвае» помножен на отсутствие овощей (примета времени), вместо которых в зеленной лавке продают мертвые головы» (Иванов Вяч. Вс. Звездная вспышка (поэтический мир Н.С.Гумилева) // СтПРП. С.9). «Биографы традиционно приводят фразу об «абиссинском дворцовом перевороте» и «отрублении головы» как одно из «пророчеств» Гумилева о собственной гибели в 1921 г. ...Однако, именно финал «Африканской охоты» менее всего согласуется с той картиной «смертных обстоятельств», которая, действительно, многократно повторяется в разные годы в гумилевском творчестве. Там речь идет о гибели как таковой, страшной, страдальческой и внезапной. Герой упомянутых произведений погибает «в болотине проклятой», «дикой щели», на гильотине, падает, обливаясь кровью, на «пыльную и мятую траву», «смертно тоскуя» и т.п. О причинах гибели, тем более о виновности или невиновности героя вообще не поминается... Во сне из «Африканской охоты» речь идет о справедливой казни.

Смерть героя оказывается справедливым воздаянием за участие в «каком-то абиссинском дворцовом перевороте», и поэтому она воспринимается как искупление совершенного греха и освобождение от него. Из-за этого она не вызывает «смертной тоски», а переживается даже самим казненным как нечто естественное — «это

просто, хорошо и совсем не больно». Если не выдирать эту сцену из контекста, присваивая ей «пророческий» смысл, то можно увидеть здесь тот самый ответ на вопрос об оправданности убийства охотником зверей «для забавы», которое не расторгает «кровной связи с миром» и не порождает «угрызений совести». Оказывается, что в сознании рассказчика происходит своеобразное отождествление хищных жертв «африканской охоты» с самим собой — и в диких зверях, и в своей собственной натуре рассказчик прозревает некий единый порок, освобождение от которого может прийти лишь в результате казни. <...> Подобная [православная персоналистская] натурфилософия, действительно, превращает гумилевских «африканских охотников» в «умелых палачей», действия которых оправдываются особой высшей справедливостью, тогда как звери-жертвы оказываются носителями некоего «метафизического порока», от которого их освобождает гибель. Жестокость единоборства зверя с охотником, в этом случае, подобна жестокости «отрубления головы» в сонном видении героя, — она не распространяется дальше «физиологии», по существу же это — «просто, хорошо и совсем не больно». Насилие обращено здесь не против плоти, а против обретающегося в ней «зверства», и плотские страдания, которыми сопровождается исторжение «зверства», оказываются потому оправданными — так, как оправдываются, например, страдания больного под ножом хирурга, исторгающего болезнь из тела. ...Подобный образ «радостной казни» весьма распространен в аскетических сочинениях» (Зобнин. С. 232-233, 236).

15. Биржевые ведомости. 31 июля 1916 г (утр. выпуск, № 15711).

ТП -- СС IV -- ТП 1990 -- ЗС -- Проза 1990 -- СС IV (Р-т) -- Соч II -- Изб (ХХ век) -- СС 2000 -- АО -- Проза поэта; Мистика серебряного века.

Дат.: июль 1914 г. — по датировке Р.Л.Щербакова (Соч 2. С. 433).

Этот небольшой рассказ, созданный в самый канун Первой мировой войны и поэтому, возможно, стоящий несколько особняком в творчестве Гумилева-прозаика, может расцениваться, как опыт сближения, на современном «городском» фоне, документальности африканских (и последующих военных) очерков с причудливой фантазией и экзотикой более ранней художественной прозы. Об истории его создания в контексте прозаических поисков и опытов Гумилева 1908—1916 гг. см. вступительную статью к настоящим комментариям.

На биографическую основу рассказа указала А. Ахматова. По сообщению П.Н. Лукницкого: «АА уверена, что Таня Адамович нюхала эфир и что «Путешествие в страну эфира» относится к Тане Адамович» (Acumiana. С. 138). В таком случае, время его написания — в дни объявления войны, между 10 и 17 июля 1914 г. (ср. письма Гумилева к Ахматовой от этих дат: Соч 3. С. 238) — позволяет разделить предположение Р.Л. Щербакова о том (Соч 2. С. 433), что его создание было скорее всего связано с впечатлениями от поездки Гумилева к Т.В. Адамович в Вильно и Либаву в конце июня 1914 г. (ср. Соч 3. С. 387; Жизнь поэта. С. 168).

Мнение Ахматовой о реальных истоках «Путешествия в страну эфира» находит частичное подтверждение в некоторых подробностях рассказа. Подобно Татьяне Адамович, у героини рассказа, Инны — русское имя, но, «фамилия ее <...> не русская». Инне «было лет двадцать»; Т.В. Адамович (1892— 1970) в 1914 г. исполнилось двадцать два. Татьяна Викторовна, сестра известного в будущем поэта и литературного критика Г.В. Адамовича, была тогда учительницей танцев и начинающей балериной; появление Инны в одеянии индийской танцовщицы — баядеры, возможно, содержит в себе еще одну косвенную отсылку к реальному прототипу. И все-таки подобные совпадения нужно признать достаточно поверхностными. Гумилевская Инна также, безусловно, — идеализированная женщина, которая по уму и красоте («нам не приходилось встречать более умной, красивой, свободной и капризной девушки») скорее напоминает некую литературную героиню по образцу Лигеи Э.А.По, чем реальную Адамович. (Ахматова — хоть в данном случае, может быть, и не самая беспристрастная из наблюдателей, — ответила Лукницкому на его прямой вопрос об Адамович: «красивой она не была... (но была интересной)»; косвенную оценку ее умственных способностей дала О.А. Мочалова, как будто бы непосредственно со слов самого Гумилева: «Очаровательная...книги она не читает, но бежит, бежит убрать в свой шкаф. Инстинкт зверька» (Acumiana. С. 138; Жизнь Николая Гумилева. СПб., 1991. С. 119.))

Иначе, чем в жизни, изображаются в рассказе и любовные отношения героини. Первое (хотя и оставшееся до конца двусмысленным) ее интимное сближение с Грантом непосредственно предшествует их окончательному расхождению — своевольному и бесповоротному отбытию Инны за границу. Но Гумилев в то время отнюдь не «терял» Адамович, с которой он познакомился в январе 1914 г. и вел, по словам Ахматовой, «вполне официальный роман» по крайней мере до появления посвященного ей «Колчана» в декабре 1915 г. По-видимому, несмотря на его утверждение о «страшной скуке» в Любаве в июне 1914 г., он в одно время даже подумывал о женитьбе на ней (Acumiana. С. 178—179; письмо Гумилева к АА. Ахматовой от 10 июля 1914. Соч 3. С. 238). Иначе говоря, биографический (любовный) подтекст «Путешествия в страну эфира» лишен той остро-напряженной, но глубоко зашифрованной ориентации на реальную женщину-адресата, которая иногда намечается по отношению к Ахматовой в более фантастических рассказах гумилевской молодости.

На другой аспект автобиографизма намекают фамилии мужских персонаж рассказа, Гранта и Мезенцова. Грант — псевдоним молодого Гумилева-прозаика парижского периода 1906-1908 гг. «Мезенцовым» Гумилев потом назовет героя «Веселых братьев» — собирателя, как и он, народных сказок и песен (правда, не абиссинских, а «заволжских», «гонимого» (как сообщается в первом абзаце повести, в словах, безусловно применимых и к самому Гумилеву позднего периода парижско—лондонского «застоя», «вечной тоской бродяжничества, столь свойственной русской интеллигенции» (см. № 18 наст. тома.). Выбор фамилий может поэтому навести на мысль о том, что в двух мужских персонажах «Путешествия в страну

эфира» — в молодом Гранте, впечатлительном авторе-повествователе, и в более опытном, менее восторженном, скептически-рассудительном Мезенцове (способном, однако, в представлении Гранта, «бормотать заклинания и творить волшебство»), Гумилев изображал две ипостаси самого себя — прошлого и настоящего (или даже будущего: если Мезенцову тут «было уже тридцать», то Гумилеву шел двадцать девятый год). Тенденция к раздельному проецированию и даже отдельному воплощению хронологически различных этапов своей собственной личности (духовной автобиографии) была характерна для некоторых из самых значительных вещей Гумилева, — от «Пятистопных ямбов» («Я молод был, был жаден и уверен <...> Теперь мой голос медлен и размерен» (№ 98 (II)) и противопоставления Актеона Кадму в пьесе «Актеон» (см. комментарии к № 4 (V)), до «Памяти» и «Заблудившегося трамвая» (№№ 42, 39 (IV)). Подобным образом, сюжетный треугольник (Грант—Мезенцов—Инна) этого легкого, полу-иронического рассказа предвосхищает и такое стихотворение, как «Два Адама» — в котором «внешний Адам», подобно Гранту, «Улыбкой нежной, нежными очами / Сумеет женщину приворожить», а внутренний «Унылой злобою всегда томим» (№ 100 (III); ср. в последнем разделе «Путешествия в страну эфира» размышления Мезенцова о добре и зле и его решение «причинить кому-либо зло»).

Не исключено наличие автобиографического элемента другого рода, позволяющего связать автора «Путешествия в страну эфира» и с третьим мужским персонажем, — неназванным «доктором». Как автор, так и доктор, по-своему стремятся к передаче того, что доктор называет «правдой об эфире». Доктор претендует на уникальные знания свойств этого снадобья — но, разумеется, именно эти свойства и составляют главный сюжет гумилевского повествования. Некоторое сходство с авторской позицией можно усмотреть в отношении доктора к другим персонажам, как к любопытному, «подопытному» человеческому материалу для его безпристрастных наблюдений; он же и «сочинитель» основного сюжета (сюжета в сюжете, видения под эфиром) в том смысле, что именно он подсказывает другим, «действующим» лицам идею — нюхать эфир. Наконец, в четвертом разделе рассказа, внутри «страны эфира», он управляет этими персонажами до такой степени, что их участь как будто бы оказывается полностью в его распоряжении. Сближение авторских, художественных задач с научно-исследовательскими и хотя бы частичное уподобление «авторитетного» доктора самому автору, могли быть подсказаны и литературными прецедентами (см. ниже).

Личный, автобиографический опыт Гумилева лежит в основе рассказа и в прямом смысле, — он сам, безусловно, не раз испробовал действия эфира. Ахматова предварила свое сообщение о том, что «Таня Адамович нюхала эфир», следующим высказыванием о Гумилеве: «АА <...> сказала, что при ней Николай Степанович никогда, ни разу, даже не упоминал ни об опиуме ни о прочих таких снадобьях, и что если б АА сделала бы что-нибудь такое (т.е. использовала бы наркотическое средство — *Ред.*) — Николай Степанович немедленно и навсегда рассорился бы с нею. А между тем, АА уверена, что еще когда Николай Степанович был с нею, он прибегал к этим

снадобьям» (Acumiana. С. 137—138; о приеме Гумилевым опиума см. также: Голлербах Э. Из воспоминаний о Н.С. Гумилеве // Николай Гумилев в воспоминаниях современников. С. 17). И, как кажется, нет никакой причины не воспринимать в буквальном смысле язвительный отзыв З.Н. Гиппиус о совсем молодом Гумилеве в январе 1907 г.: «Двадцать лет, вид бледно-гнойный, сентенции — старые, как шляпка вдовицы, едущей на Драгомиловское. Нюхает эфир (спохватился!)» (Письмо В.Я Брюсову от 8/21 января 1907 г.; цит. по: Валерий Брюсов. М., 1976. С. 691. (Литературное наследство. Т.85)). О достоверности слов Гиппиус см. также: Богомолов. С. 118). О том же 1907 г. идет речь в интригующей записке П.Н. Лукницкого: «[Гумилев] написал цикл стихотворений, среди них — «Доктор Эфир», очевидно к утраченное. Дело в том, что в Севастополе Гумилев подарил Анне Горенко несколько стихотворений, в числе которых было и это» (Жизнь поэта. С. 47—48). По-видимому, интерес к эфиру не совсем прошел с молодостью. По свидетельству Ю.П. Анненкова Гумилев снова, хотя бы один раз, принимал эфир и в последний период своей жизни, в революционном Петрограде. Свидетельство Анненкова, представляющее собой любопытный комментарий к жизни большевистской элиты того времени, объективно изображает «извне» то состояние наркоза, которое в «Путешествии в страну эфира» отображается субъективно и изнутри: «В том же году [1919 г. <?> — *Ред.*], в «Доме Исскуств» на Мойке, поздним вечером, Гумилев, говоря о «тяжелой бессмыслице революции», предложил мне «уйти в мир сновидений».

— У нашего Бориса (Борис Гитманович Каплун двоюродный брат М.С. Урицкого был Управляющим делами коммисариата Петросовета — *Ред.*), — сказал Гумилев, — имеется банка с эфиром, конфискованная у какого-то чернобиржевика. Пойдем подышать снами?

Я был удивлен, но не отказался. От Мойки до площади Зимнего дворца было пять минут ходьбы. Мы поднялись в квартиру Каплуна, где встретили также очень миловидную девушку, имя которой я запамятовал. Гумилев рассказал Каплуну о цели нашего позднего прихода. Каплун улыбнулся.

—А почему бы и нет? Понюхаем!

Девушка тоже согласилась.

Каплун принес из другой комнаты четыре маленьких флакончика, наполненных эфиром. Девушка села в вольтеровское кресло, Гумилев прилег на турецкую оттоманку; Каплун — в кресло около письменного стола; я сел на диван чиппендалевского стиля: мебель в кабинете председателя Петросовета была довольно сборная. Все поднесли флакончик к носу. Я — тоже, но «уход в сновидения» меня не привлекал: мне хотелось только увидеть, как это произойдет с другими, и держал флакончик так же, как другие, но твердо заткнув горлышко пальцем.

Раньше всех и не сказав ни слова, уснула девушка, уронив флакон на пол. Каплун, еще почти вполне трезвый, и я уложили девушку на диван.

Гумилев не двигался. Каплун закрыл свой флакончик, сказал, что хочет «заснуть нормальным образом», и, пристально взглянув на Гумилева, пожал мне руку и вышел из кабинета, сказав, что мы можем остаться в нем до утра.

Гумилев лежал с закрытыми глазами, но через несколько минут прошептал, иронически улыбаясь:

— Начинаю грезить... вдыхаю эфир...

Вскоре он, действительно, стал впадать в бред и произносить какие-то непонятные слова, или, вернее, сочетания букв. Мне стало не по себе, и, не тревожа Гумилева, я спустился по лестнице и вышел на площадь, тем более, что кабинет Каплуна начал уже заполняться эфирным запахом.» (Анненков Ю.П. Дневник моих встреч. Цикл трагедий. Нью-Йорк, 1966. С. 103—104.)

Понятно, что поразительное внешнее сходство этого эпизода с

«Путешествием в страну эфира» — присутствие, помимо самого Гумилева, «миловидной девушки» и еще двоих мужчин, из которых один с меньшим энтузиазмом прибегает к эфиру, а другой, «руководящий», является безучастным инициатором всего происходящего, — привело Г.П. Струве и последующих редакторов, за неимением более конкретных данных, к ошибочной датировке гумилевского рассказа именно 1919-ым годом. Сам Анненков уверял, что он не знал о существовании этого рассказа, хотя его дальнейшее объяснение в письме к Струве от 10 августа 1965 г. может вызывать некоторое сомнение в достоверности его памяти: «несколько дней спустя после нашей эфирной ночи, встретившись со мной в Доме искусств, Гумилев, смеясь, сказал, что он непременно напишет об этом «путешествии в мир сновидений», добавив, что, несмотря на такое решение, он отнюдь не собирается снова «нанюхиваться» эфиром» (цит. по: СС IV. С. 588). Напомним, что на самом деле рассказ был уже опубликован за три года до этого, в июле 1916 г.

Но при всем несомненном отношении «Путешествия в страну эфира» к личным обстоятельствам и жизненному опыту писателя, содержание этого рассказа, как и более ранних, также несомненно восходит к определенным литературным источникам. В создании произведения, средоточием которого является детальное изображение эффектов некоего наркотического вещества, Гумилев имел по крайней мере трех значительных предшественников. Хронологически первый и самый оригинальный из них — автор «Исповеди англичанина — употребителя опиума» («Confessions of an English Opium Eater», 1821 г.; второе, значительно дополненное и переработанное изд. 1856 г.) Томас де Квинси — по более позднему определению самого Гумилева, — «потайный и в свое время мало оцененный» писатель (ПРП. С. 349), чья «Исповедь», на самом деле, все же оказала значительное влияние на англоязычную литературную традицию и общее культурное сознание позднего романтизма (см. ниже). Истолкователем де Квинси во Франции стал Шарль Бодлер, чей пристальный интерес к наркотическим средствам и состояниям и собственный опыт употребления опиума и гашиша, безусловно, создали внушительный прецедент для увлечений и жизнетворчества многих писателей модернистов, в том числе и Гумилева. Первая из двух частей «Искусственного рая» Бодлера («Les Paradis artificiels», 1858—60, 1864 гг.) посвящается личным соображениям писателя о свойствах гашиша; вторая часть представляет собой, в сущности, детальный пересказ и комментарий к рассуждениям де Квинси об опиуме. О гашише Бодлер писал и десятью

годами раньше, в сравнительном очерке «По поводу вина и гашиша (сравниваемых, как средства размножения личности)» («Du vin et du hachish: comparиs comme moyens de multiplication de l'individualite», 1851 г.; часть материала вошла затем в «Искусственный рай»); и тут, помимо де Квинси, у него был и отечественный предшественник. Непосредственно до него о гашише также писал другой излюбленный Гумилевым французский писатель Теофиль Готье, чей «Клуб гашишистов» («Le Club des Hachichins», 1846 г.) в том же 1851 г. Этому произведению предшествовали две более короткие прозаические вещи Готье, как о гашише («Гашиш» — «Le Hachich», 1843 г.), так и об опиуме («Трубка опиума» — «La Pipe d'opium», 1838 г.). Выбрав предметом своего рассказа эфир, а не опиум или гашиш, Гумилев, как будто, сознательно обособился от своих предшественников, обеспечивая таким образом свой собственный, новый вклад в литературу «наркомании» (об эфире, как кажется, до него никто так не писал). Но он тем не менее существенно опирался на их литературный опыт.

В «Путешествии в страну эфира» содержатся отголоски всех перечисленных произведений (см. построчные комментарии); подлежит некоторому сомнению лишь вопрос о том, знал ли Гумилев де Квинси в то время непосредственно, или «опосредованно» Бодлером. Текст рассказа позволяет предположить, что Гумилев был знаком и с другими произведениями западной литературы, в которых наркотикам была уделена более или менее значительная сюжетная роль. Но не удивительно, что «Путешествие в страну эфира» более всего навеяно именно Готье, свои стихотворные переводы которого Гумилев выпустил отдельной книжкой в том же 1914 году (Готье Т. Эмали и камеи. Пер. Н. Гумилева. СПб., 1914). Что касается прозы Готье, то он достаточно хорошо знал ее, чтобы даже порекомендовать Ахматовой заняться ее переводом (Acumiana. С. 96; возможно, что «Клуб гашишистов» нашел более поздний отзвук в ее «Поэме без героя»: см.: Тименчик Р.Д. Портрет Владыки Мрака в «Поэме без героя» // Новое литературное обозрение. 2001. № 52. С.200), а в создании «Путешествия в страну эфира», как кажется, опирался прежде всего (но отнюдь не исключительно) на сравнительно малоизвестную вещь Готье, «Трубка опиума».

Сходство с Готье намечается, во-первых, в отношении жанра. «Исповедь» де Квинси и «Искусственный рай» Бодлера представляют собой объемистые аналитические трактаты: своеобразную смесь (по словам Бодлера, «медицинскую и поэтическую одновременно» — «Искусственный рай». Часть 1. гл. 1) автобиографии с отвлеченными рассуждениями, детальных описаний наркотических видений с обобщенными наблюдениями и моралью. «Трубка опиума» (как и «Гашиш» и, до меньшей степени, «Клуб гашишистов») является, по контрасту, легким, изящным полуочерком полурассказом, не превышающим по размеру короткий рассказ Гумилева. Повествование ведется от первого лица; его предмет составляет не пространное жизнеописание, а один лишь достаточно незначительный эпизод, эксплицитно не имеющий для автора-повествователя каких-либо далеко-идущих эмоциональных или философских-мировоззренческих последствий.

Повествователь (авторское «я») «Трубки опиума» — театральный критик-фельетонист — заходит днем к своему приятелю, у которого, не ожидав заранее подобного опыта, он случайно выкуривает «трубку» опиума. Почувствовав на минуту слабое головокружение, он продолжает свои ежедневные занятия: ужинает, посещает театр, а ночью, протомившись бессонницей, видит наркотический сон, подробный пересказ которого составляет центральный сюжетный стержень данного произведения. Оно заканчивается пробуждением автора-повествователя на следующее утро. Так же, как в «Путешествии в страну эфира», наркотическое видение обрамлено, таким образом, обыденностью настоящего: современной жизнью города, родной стихией повествователя. Непредвиденный прием наркотика воспринимается со спокойной уравновешенностью, как любопытный художественный материал, и фантастический элемент (сновидение) передан с почти документальной точностью аналитического самонаблюдения.

Как театрального критика, повествователя Готье легче отождествить с реальным автором, чем псевдонимического Гранта с Гумилевым; однако, оба повествователя-эстета так же эстетизируют свою действительность, и нарочитая художественность очерка Готье исключает возможность слишком прямого отождествления автора с повествователем. (В этом — существенное отличие от документальности Де Квинси и Бодлера, у которых настоящее авторское «я» ретроспективно-исповедально размышляет над прошлым). Очевидная литературность очерка Готье проявляется (так же, как и у Гумилева) не только в чуть ироничной стилистической отделке, в элегантной законченности формы, последовательности и закругленности сюжетной логики (может быть, слегка чрезмерными для описания наркотического сновидения?), но также в отчетливом элементе интертекстуальности. Готье открыто ссылается на Фауста, подспудно на Де Квинси, и вставляет «образы современных гравюр <...> и его собственных балетов, в том числе «La Péri»» (ср.: Hayter A. Opium and Romantic Imagination. London, 1968. Pp. 158—159; о рассказе Гумилева, см. ниже). Следует, наконец, обратить внимание и на разительное сходство в содержании наркотического видения в обоих произведениях: эротической встрече, происходившей в теневом присутствии «третьего» (и у Готье, возможно, четвертого) мужского персонажа (Карра, Мезенцова). Все сказанное приводит к заключению, что проза Готье сыграла немаловажную роль не только в возвращении Гумилева к собственно-художественной прозе накануне Первой мировой войны, но и в определении ее нового направления.

В современном гумилевоведении «Путешествие в страну эфира» упоминается нечасто. Однако, В. Полушин, например, отмечает, что этот рассказ отличается от других рассказов сборника «Тень от пальмы» «не только по настроению, но и по тематике, и принадлежит перу зрелого Гумилева» (Полушин В. Волшебная скрипка поста // ЗС. С. 588), а в более детальном рассмотрении рассказа М.Ю. Васильева также обращает внимание на его новизну, которую она связывает, с одной стороны, с попыткой свежего постижения «человека и эпохи начала века», а с другой, — со стремлением ко внутреннему приобщению — к высшей гармонии: ««Путешествие в страну эфира» во многом завершает поиск ранней прозы, поскольку оно посвящено

особенно сложной сфере — подсознанию человека, его интуитивным порывам, эзотерическим состояниям, явно и резко противопоставленным мелкому, бедному жизненному потоку. Избранная, благодаря вольной фантазии автора, оригинальная коллизия «Путешествия в страну эфира» дает возможность без натяжек, с резкой убедительностью высветить стремление героя к идеальному, гармоническому бытию, к прояснению навеянных свыше запросов, а в противовес им вскрыть обреченность застойной реальной действительности. В рассказе Гумилев отходит от воспевания экзотической красоты, ищет бесконечно прекрасное в пробудившемся подсознании, точнее сверхсознании, незаурядной личности, хотя не затушевывает реальное в облике людей начала века. Более того, в произведении зримо воссозданы болезненные диссонансы того времени: мучительное одиночество человека, его полная отчужденность от живой жизни, природы, неспособность к полнокровным чувствам. Тем удивительнее, значительнее «Страна эфира», т.е. страна грез, предчувствий, интуитивных прозрений, благодаря которым будто приближается к жаждущим подлинной красоты небесная гармония» (Васильева. С. 16—17).

В тематическом отношении, в «Путешествии в страну эфира» все же сохранилась подспудная связь с более откровенно экзотическими и фантастическими рассказами гумилевской молодости. Биографическая соотнесенность рассказа с Т .В. Адамович позволяет считать, что рассказ лишен той остро-напряженной, но глубоко зашифрованной ориентации на женщину-адресата, которая ранее намечалась по отношению к Ахматовой. Но и тут присутствует, вплоть до последнего абзаца, то внимание к теме девственной непорочности, которая идет сквозным мотивом через ранние рассказы (ср., в более широком смысле, ценные наблюдения О. Обуховой о значении «инициационного мифа» в ранней прозе Гумилева, и неизменном компоненте «испытания <...> в онерическом или визионерском пространстве»: Обухова О. Ранняя проза Гумилева в свете поэтики акмеизма // Гумилевские чтения. СПб., 1996. С. 122). Эта «фиксация» так или иначе объединяет всех трех мужских персонажей рассказа (употребленное доктором сравнение: «чтобы завтрашний день был целомудрен, как невеста, не оскорбленная даже в мечтах» — еще один штрих, как будто бы роднящий его с автором). Но ее двусмысленное «разрешение» (ср. № 9 наст, тома) может рассматриваться в данном случае и в свете повторяющегося мотива «наркотической» литературы — невозможности отличить помышление и дело, «интенцию» и действительность, — состоянию, по словам Бодлера, свойственному наркотическому опыту «полного смешения сновидения и реального акта» («Искусственный рай». Ч. 1. гл. 4).

Помимо очевидной соотносимости заглавия рассказа с гумилевской тематикой путешествия, пути, в том числе и умозрительного и даже наркотического характера (ср. хотя бы в «Капитанах» 1909 г.: «Как странно, как сладко входить в ваши грезы <...> И вдруг догадаться, какие наркозы / Когда-то рождала для вас глубина» (№ 148 (I)), обращает на себя внимание возможная параллель с «Искусственным раем» Бодлера. В первой части этой работы, «Поэма гашиша», опьянение гашишом представляется непосвященному уму наподобие *«огромной страны* обшир-

ного театра фокусничества и ловкости рук, где все полно чудес и неожиданностей» (un pays prodigieux <...> ой tout est miraculeux et imprйvu). Подготовления к приему этого наркотика также уподобляются отправлению в «длительное и своеобразное путешествие» — возможно, к «обетованной земле» — описание которого дважды дается в виде развернутой метафоры. М.Ю. Васильева дает названи. рассказа другую литературную отсылку — к рассказу В.Я. Брюсова «Ночное путешествие»: сближают эти произведения «перекличка в названиях, мотив путешествия, открытия внутреннего мира, созвучного представлениям писателей о духовных началах бытия. Тем не менее совершенно по-иному осмыслена художниками природа любви. <...> у Брюсова значительно сильнее выражена ориентация на конкретный опыт человека, у Гумилева — на способности личности к предельным и самоотверженным прозрениям» (Васильева. С. 16—17).

Что касается эфира, то это вещество было обнаружено в 1275 г. испанским алхимиком Р. Луллием, который назвал его «сладким купоросом». Его гипнотические свойства были обнаружены другим знаменитым алхимиком и оккультистом, Парацельсом, около 1540 г.. В целях развлечения, он использовался по крайней мере с 1790 гг., и впервые применялся как хирургическое анестезирующее средство в 1846 г. В продолжение XIX в., он нередко прописывался в виде микстуры (его принимала английская поэтесса Элизабет Баррат-Браунинг), и еще в 1911 г. такое солидное издание, как «Британская Энциклопедия» («Encylopaedia Brittanica»), констатировало, что «доза эфира, немного превышающая одну чайную ложку достаточна, чтобы вызвать состояние опьянения длительностью от 30-и минут до одного часа, однако впоследствии в скором времени придется значительно увеличить эту дозу». В целях опьянения, эфир употреблялся как в Америке, так и во многих странах Европы (Англии, Франции, Норвегии, России), и стал подвергаться строгому контролю, в основном, лишь с конца 1920—1930 гг.

Стр. 1 — по предположению Р.Л. Щербакова, образ гумилевского доктора «навеян персонажем романа У. Коллинза «Лунный камень» доктором Дженнингсом, который изучал воздействие на человека опиума» (Соч 2. С. 433). Но хотя д-р Дженнингс — отчаянный опиоман, чье доскональное понимание воздействия этого наркотика является ключевым фактором в развязке сюжета «Лунного камня», его неоконченный многолетний труд посвящается на самом деле не опиуму (наблюдения о котором занимают большое место в его журнале, но не составляют самостоятельный объект его изучения), а «тонкому и замысловатому предмету мозга и нервной системы» (Ч. 2, «третье повествование», гл. 8). К тому же, образ доктора, знатока и опытного употребителя наркотика, — как и у Гумилева, помогавшего или сопутствовавшего «непосвященному» автору-повествователю в его первых пробах наркотического «снадобья», — дважды встречается в произведениях Готье. В «Гашише» некий оставшийся безымянным доктор (le docteur***), в прошлом «проделавший длительные путешествия по Востоку», первым из нескольких присутствующих поддается воздействию гашиша; к концу очерка, «одетый по-турецки», его образ вплетается, — опять-таки, так же, как и у Гумилева, — в наркотическое «видение» пове-

ствователя. А в «Клубе гашишистов» некий жизнерадостный доктор берет на себя ответственность за раздачу наркотика: «Лицо доктора излучало энтузиазм; его глаза блестели, его щеки багровели, его расширенные ноздри усиленно вдыхали воздух. «Вот что сочтется с Вас на Вашу долю рая», сказал он, протягивая мне мою дозу...» (гл. 1). По-видимому, образ начитанного, проницательного, но подчеркнуто «странного», даже умственно расстроенного «психического доктора» стал своего рода шаблоном западноевропейской литературы (в контексте четвертого раздела гумилевского рассказа, сошлемся еще и на «старого» доктора Мартина Хесселиуса, авторитетного собирателя психических дел в цикле рассказов «В тусклом стекле» («In a Glass Darkly». 1872 г.) популярного в свое время англоирландского писателя Шеридана ле Фану: среди прочих записей и трудов, этому несколько сумбурному но убежденному проповеднику своего собственного, весьма своеобразного мировосприятия якобы принадлежит «Необычайное сочинение о наркотиках раннего и позднего средневековья». Но если, таким образом, «странный» доктор Гумилева вряд ли может быть безоговорочно соотнесен с действительно странным персонажем У. Коллинза, следует добавить, по отношению к «Путешествию в страну эфира», что Коллинз также оставил два образца другого, более редкого литературного типа — женщины, смелого употребителя наркотиков. Это Магдалина Ванстон в романе «Без имени» («No Name», 1862 г.), и еще более приверженная «милому лаудану» злодейка мисс Гвилт в «Арамадэле» («Armadale», 1866 г.). Стр. 2-3 — ср. рассуждения Томаса де Квинси: «разновидности воздействия опиума на различные человеческие организмы — бесконечны. Один лондонский мировой судья <...> отмечал, что при первом употреблении лаудана для излечения подагры он выпил сорок капель, на следующую ночь шестьдесят, а на пятую ночь восемьдесят, совершенно безо всякого воздействия: и это в преклонном возрасте» («Исповедь англичанина — употребителя опиума». Часть 2. «Предисловие к терзаниям опиомана»). Стр. 4 — хлороформ — галогеносодержащий углеводород, используемый при ингаляционном наркозе. Любопытный пример детального литературного изображения галлюцинации во время хлороформирования лежит в основе рассказа Герберта Уэллса «Под ножом» (1896 г.). Стр. 5-7 — лет через пятьдесят спустя после «Путешествия в страну эфиира», английская исследовательница Алетэа Хайтер подошла к частичному освещению «потаенной» науки, «лишь подозреваемой» тут гумилевским доктором: она посвятила монографию разъяснению вопроса о том, наблюдаются ли «постоянные эффекты» в литературном отображении опыта писателей — «употребителен опиума». За исключением краткой главы о Бодлере и «Клубе гашишстов» Т. Готье, ее исследование ограничивается лишь англоязычными писателями, в ряды которых, помимо уже упомянутых де Квинси и У. Коллиза, входят, однако, не только Кольридж, Эдгар По, Дж.Краббе, но и (эпизодически) Бульвер-Литтон, поздний Диккенс, В. Скотт, Э. Барретт-Браунинг и, пожалуй, Дж. Китс (из французов можно было бы также назвать Рембо, Нервал и др.). Ее выводы, как будто бы, во многом оправдывают тонкий прогноз гумилевского доктора: «То, что Бодлер называл «опиумным ландшафтом» (paysage opiacй) воспроизводится за счет стирания обычного образно-

го ландшафта — групп людей, текущих ручейков, дорог, коттеджей, лесов, солнца — и перестановки внимания на одинокие фигуры, пруды с застойной водой, скалы, замки, каменные лица и покрытые слизью когти, на мгновение различимые в отверстиях пещер. Это — не другая планета, а наша, но в свете затменья. В предыдущих страницах этой книги было показано, что некоторые образы — парии, блудницы-великанши, зыбучие пески, окаменелые ландшафты, ледяной холод, затопленные или захороненные под землей храмы, стерегущие глаза — действительно повторяются в произведениях писателей-опиоманов. Некоторые из этих образов — достаточно недвусмысленный мак, медвяная роса, женщина-соблазнительница, захороненный под землей храм — могут представлять собой сознательные или подсознательные эквиваленты самого опиума. Некоторые из них — ледяной холод, зыбучие пески, окаменение, затерянные в водяных или воздушных пространствах любовники — могут быть связаны с физическими симптомами, вызываемыми дозами опиума или прекращением его приема; некоторые их них — идея отщепенства, парии, образы стерегущих глаз или гибридных, видоизменяющихся существ — могут выражать изоляцию наркомана или его подозрительность. Ни один из этих образов не является присущим исключительно лишь произведениям опиоманов, и ни один из писателей-опиоманов не употребляет исключительно лишь эти образы; но они составляют определенно узнаваемую конфигурацию» (Hayter Alethea. Opium and the Romantic Imagination. London, 1968. Pp. 336—337). Литературным первоисточником «сияющих озер» является опять-таки свидетельство де Квинси. В первых стадиях его «болезни», как вспоминает опиоман, «великолепие <...> снов было прежде всего архитектурным». Затем: «Моя архитектура уступила место видениям озер — и серебристых водяных ширей; они настолько неотвязно преследовали меня, что я боялся, <...> не *объективируется* ли некое водяночное состояние или тенденция мозга. <...> Однако, я превозмог этот приступ, хотя, должно быть, он граничил с чем-то крайне опасным. Воды теперь изменили свой характер, — полупрозрачные озера, сияющие, как зеркала, превращались уже в моря и океаны» («Исповедь англичанина — употребителя опиума». Раздел «Терзания опиомана»). Ср. также, в контексте соображений гумилевского доктора о «постоянных эффектах» наркотиков, пересказ и комментарий к этому месту «Исповеди» де Квинси в «Искусственном рае» Бодлера: «Но скоро все эти призрачные террасы, башни, стены, уходящие вершинами в беспредельную высь и опускающиеся в бездонные глубины, сменялись озерами и широкими водяными гладями. Картины воды стали преследовать его. Мы уже отмечали в нашей работе о гашише это удивительное предрасположение мозга к водной стихии, к ее таинственным очарованиям. Не говорит ли это о каком-то особом сходстве между этими двумя возбуждающими средствами, по крайней мере, в их действии на воображение? Или, быть может — если угодно предпочесть такое объяснение — о том, что человеческий мозг под влиянием наркотика сам по себе имеет особую склонность к определенным образам?» (Ч. 2. гл. 4). Стр. 8 — де Кювье (Cuvier) Жорж (1769—1832), французский зоолог, один из реформаторов сравнительной анатомии и систематики животных, считавшийся основателем палеон-

тологии. В частности, Кювье ввел понятие «типа» в зоологию, и установил принцип «корреляции органов», на основе которого он реконструировал строение многих вымерших видов. О нем многократно упоминается в «Тайной Доктрине» Е.П. Блаватской, в том числе и в пространной полемике по поводу легенд о «летающих верблюдах» (ср. ниже, стр. 153-154) на страницах, которые, как кажется, нашли непосредственный отклик в «Дочерях Каина» (см. № 6 стр. 111-113 и комментарии к ним; мифические «летающие верблюды» — не то далекий отголосок сатанинского змия (Самаэля), не то коллективное воспоминание столкновений первого человечества с плезиозарами и птеродактилями и глухое указание на преемственность этих образов — Блаватская Е.П. Тайная Доктрина. М., 1993. Т. 2. Кн. 3. С. 257-259). Стр. 29-31 — в начале двадцатого века, подобное утверждение по отношению не собственно к эфиру, а к наркотикам вообще, должно было показаться сведущему читателю явным преувеличением. Зато, пренебрежение доктора к современной науке и его почти демагогическое настаивание на исключительности его собственных знаний были чертами, несомненно созвучными сложившейся литературной традиции. Де Квинси в своей «Исповеди» неодократно отзывается с презрением о вопиющем невежестве и «лжах, лжах, лжах» всех «профессоров медицины» и прочих авторов, трактовавших до него о действиях наркотиков. В этой связи, он полу-иронически объявляет о своем намерении самому сочинить чисто «медицинский трактат об опиуме» для публикации при Коллегии хирургов («Исповедь англичанина — употребителя опиума». Часть 2. «Предисловие к терзаниям опиомана»). Но предел его личной самонадеянности достигается, пожалуй, в догматичном утверждении из первого варианта книги (1821 г.): «Это — доктрина истинной церкви по поводу опиума — каковой церкви я признаю себя единственным членом — альфой и омегой: но ведь, следует напомнить, что я говорю на основании большого и глубокого личного опыта, в то время, как большинство ненаучных авторов, трактовавших об опиуме, делают очевидным, <...> что их экспериментальные знания его действия равняются нулю». Исключение делается лишь для одного экцентричного доктора-одиночки, не писателя, а необычайно осведомленного опиомана (Там же. Раздел «Наслаждения опиомана»). Стр. 48 — прежде всего, должно быть, имеется в виду уже неоднократно упомянутый выше «Искусственный рай» Бодлера. Однако, «изучение наизусть» заставляет думать и о его стихотворениях (см. ниже), и не исключено, что популярный биографический облик Бодлера (или «русского бодлерианства») сказывается также на поведении и всем праздном образе жизни гумилевских персонажей. Как констатирует американский исследователь А.Уаннэр, «многие [русские] читатели считали такие заглавия, как «Цветы зла» и «Искусственный рай», парадигматическими для центральных постулатов декадентства, в то время, как Бодлер — экстравагантный парижский дэнди и употребитель наркотиков — предоставил легко-доступный шаблон декадентского образа жизни» (Wanner Adrian. Baudelaire in Russia Gainesville, Florida , 1996. P. 57). Стр. 87 — скетинг — каток, фривольное для того времени занятие, характеризующее экстравагантное поведение Инны и ее «декадентствующих» поклонников. Стр. 88-89 — нелепая покупка

Мезенцова может напомнить об одном эпизоде из ранней жизни Гумилева — эпохи «Анатолия Гранта». По воспоминаниям Е.И. Дмитриевой: «... В первый раз я увидела Н.С. в июле 1907 г. в Париже в мастерской художника Себастьяна Гуревича, который писал мой портрет. Он был еще совсем мальчик, бледное, мрачное лицо, шепелявый говор, в руках он держал небольшую змейку из голубого бисера. Она меня больше всего поразила. <...> уже поздно ночью мы все втроем ходили вокруг Люксембургского сада, и Н.С. говорил о Пресвятой Деве. Вот и все. Больше я его не видела. Но запомнила, запомнил и он» (Неизд. 1986. С. 169). Стр. 91-94 — так удивившие Гранта и Мезенцова восточное убранство комнаты и индийский наряд Инны могут действительно показаться неподобающе экстравагантным фоном для нюханья дешевого анастезирующего средства, доступного, как указывает доктор, в «любом аптекарском магазине». Зато восточный колорит, чаще всего эклектичного характера, прочно ассоциировался с «литературной культурой» опиума и гашиша. Так, например, краткий очерк Т. Готье «Гашиш» посвящается описанию именно, по определению автора, «восточного вечера» (masoirйe orientale) в Париже; а утверждение о том, что «ничто в моей чисто буржуазной осанке не могло заставить заподозрить во мне это излишество ориентализма» является верным ориентиром как для экзотической внутренней обстановки «Клуба гашишистов» в особняке Пимодана (l'hфtel Pimodan описанном также Бодлером), так и для изначального склада ума автора-повестователя одноименного произведения (Готье Т. «Клуб гашишистов». См., в особенности, гл. 2). Значительным источником для импортного «наркотического» ориентализма является и «Лигейя» Эдгара По — по любопытному совпадению, опубликованная в том же месяце (сентябрь 1838 г.), что и другой, тематически во многом схожий с ней, рассказ Готье «Трубка опиума». Рассказчик По, давно уже ставший, по его собственному признанию, «покорным рабом опиума», до мельчайших подробностей воспоминает «фантастическое обличив» брачного покоя умершей жены, Ровены Тревенион. Среди прочего: «Несколько оттоманок и золотых восточных канделябров размещались в беспорядке; было там и ложе — супружеское ложе — в индийском стиле, низкое, вырезанное из тяжелого эбена <...> Но главная фантастичность заключалась — увы! — в драпировках. Стены, гигантски — даже непропорционально — высокие, сверху донизу были увешаны тяжелыми, массивными вышивками — вышивками по такой же ткани, что служила и ковром на полу, и покрывалами для оттоманок, и пологом над ним, и роскошными волютами завес, частично скрывавшими окно. Материал этот был драгоценнейшая золотая парча. Ее беспорядочно покрывали арабески, каждая около фута в диаметре, черные, как смоль» (По Эдгар Аллан. Полное собрание рассказов. М., 1970. С. 151—152; см. в соответствующих комментариях о возможных отзвуках «Лигейи» и в №№ 6 и 9 наст. тома). Стр. 95-98 — эти детальные наблюдения имеют возможное соответствие в описании обеда, поданного в «Клубе гашишистов»: «все тарелки были разные, но каждая имела свое особое достоинство; Китай, Япония, Саксония представляли там образцы своих самых красивых изделий, своих самых богатых красок; все было немножко отколото по краям, немножко потрескано, но

утонченного вкуса. Блюдца были, главным образом, либо эмалями Бернара де Палисси, либо лиможскими фаянсами, и официант, режущий мясо, иногда натыкался ножом на рептилию, лягушку или птицу в рельефе под реальными кулинарными изделиями» (Готье Т. Клуб гашишистов. гл. 3). Стр. 100 — баядера (от франц. bayadіre) — собирательное название, получившее распространение в Европе XIX в. для обозначения индийских женщин, принадлежащих к профессиональным исполнителям танцев. В их число входили в первую очередь храмовые танцовщицы (так наз. «девадаси»: ср. известный балет Минкуса-Петипа «Баядерка» (премьера — 1877 г.)). Стр. 104-105 — одеколон на самом деле не мог производить такого эффекта, но разные предания о его почти чудодейственных лечебных свойствах восходят к западному средневековью. В XVII в. предполагалось съедать сахар, намоченный в одеколоне под названием «Эликсир молодости», для поддержания бодрости и здоровья; а Наполеон, как будто бы, употреблял по 2—3 бутылки этого же эликсира в день, считая, что он стимулирует работу мозга. Лечебные свойства одеколона приписывались входившим в его состав эфирным маслам и экстрактам. Стр. 109 — большие граненые флаконы — еще одно мелкое излишество, напоминающее, может быть, о том «реальном сосуде, не золотом а стеклянном, и весьма похожим на винный графин», в котором де Квинси привычно содержал свою дозу наркотика: «с кварты рубинного цвета лаудана» («Исповедь англичанина — употребителя опиума». Часть 2. «Предисловие к терзаниям опиомана»). Как отмечает А. Хайтер, «обрядовые» принадлежности и вся ритуальная сторона приема наркотиков безусловно приобретали большое значение в привлечении многих «адептов» (Hayter A. Opium and the Romantic Imagination. London, 1968. Pp. 37, 243). Стр. 129-130 — Э. Сампсон отметил, что невозможно определить, является ли «эфирный сон» Гранта чистым вымыслом, или до какой-то степени отображением личного опыта Гумилева (Sampson Earl D. The Prose Fiction of Nikolaj Gumilev // Nikolaj Gumilev. 1886—1986. Berkeley, 1987. P. 284). Однако, наблюдения А. Хайтер позволяют выявить в гумилевском описании целый ряд элементов, которые, во всяком случае, весьма точно совпадают с подлинным наркотическим опытом. Так, например, опиоманами в первых стадиях употребления наркотика «часто упоминается ощущение плавучести, полета, парения»; и хотя ощущение полета нередко встречается и в обыкновенных сновидениях, «в наркотической грезе ощущение полета или парения связано с особенным чувством невещественности, эфирности, слияния или потери своей личности, а также с измененным восприятием времени и пространства, всеохватывающим расширением ума и материи». Наркоман в своем видении не способен «точно определить какую-либо дату, возраст, местонахождение, или размеры чего бы то ни было; он ведет исчисление тысячами лет или километров. Таким образом, сон наркомана имеет тенденцию к космическим масштабам, и он спокойно созерцает гибель миров или развертывание тысячелетий. Он грезит также о раях и утопиях, достигаемых воздушными путешествиями: «Я увидел, на скале по середине океана, великолепный храм, усыпанный золотом... [и т.д.]»» (Hayter A. Opium and the Romantic Imagination. London, 1968. Pp. 47—48). Однако, для профессионального

писателя даже самый непосредственный «наркотический опыт» неминуемо предопределяется в какой-то степени и культурными прецедентами. Иначе говоря, в рассказе Гумилева (так же, как и в вышеупомянутых произведениях Готье или Бодлера) невозможно отличить подлинно пережитое не только от «чистого вымысла», но и от разного рода литературных вставок и прикрас, умышленных или невольных реминисценций. Как уже было отмечено выше, «литературность» «эфирного сна» Гранта несомненна. Стр. 132-135 — по мнению Э. Сампсона, данное сравнение с жаворонком показывает на качественное отличие даже этой, стилистически наиболее прихотливой части рассказа (описания наркотического сна) от более ранней прозы Гумилева : «Тогда как в более ранних сравнениях связь между основной и второстепенной частями в сущности, служила лишь предлогом для еще одной экстравагантной стилистической инкрустации, следует указать здесь, что сравнение выполняет подобающую ему метафизическую функцию, то есть, второстпенная часть оживляет концепцию, представляемую основной» (Sampson Earl D. The Prose Fiction of Nikolaj Gumilev // Nikolaj Gumilev. 1886—1986. Berkeley, 1987. P. 283). Стр. 135-137 — ср.: «Я был окружен <...> арабесками, бесконечно обновляемыми цветными узорами, которые я не могу сравнить ни с чем лучшим, как с игрой калейдоскопа» (Готье Т. «Гашиш»). Стр. 137 — разного рода сказочные звери, в том числе и единороги, фигурируют в заключительном абзаце описания наркотического опьянения в очерке Т. Готье «Гашиш» (ср.: «caprimulges, coquesigrues, oysons bridйs, licornes, griffons»). О повторяющемся топосе храма, см. вышеприведенную цитату из Хайтер. Стр. 145 — о превращении полупрозрачных озер Де Квинси в тревожные «моря и океаны» см. выше, комментарий к стр. 5-7. Стр. 152-153 — топос «блаженных островов», «островов счастливых», имеет длинную литературную генеалогию, начинающуюся с «Трудов и дней» Гесиода («Прочих [падших героев троянской войны] к границам земли перенес громовержец Кронион <...> / Сердцем ни дум, ни заботы не зная, / Близ океанских пучин острова населяют блаженных» — ст. 165-170, пер. В. Вересаев) до «Так говорил Заратустра» Ф. Ницше («Блаженные острова» составляют название одной из глав второй части этого произведения, и являются повторяющимся мотивом 3-й части). Но данная формула непосредственно восходит к ранней прозе самого Гумилева (см. № 5, стр.63-66), в которой она имеет широкий отклик (ср., например, № 1, стр. 163 и комментарий к стр. 152-160, 163; № 6, стр. 21 и комментарий к ней; самая очевидная параллель в стихах — в ст-нии «Я не буду тебя проклинать»: «Ты подаришь мне смертную дрожь, / А не бледную дрожь сладострастья, / И меня навсегда уведешь / К островам совершенного счастья» (№ 143 (I)). Эта и целый ряд других мелких перекличек позволяют говорить об определенном интертекстуальном слое, связующем этот «эфирный сон» своеобразным образным ландшафтом самого Гумилева (преимущественно раннего периода). Помимо общего, непроходящего влечения к морю (ср. хотя бы такие названия ст-ний, как «На море», «Снова море», «Отъезжающему», «Тоска по морю» (№№ 72, 100, 101, 14 см. также варинты (II)), любви к путешествиям (цикл «Капитаны (№№ 147-150 (I)) «Нас было пять ... мы были

капитаны» (№ 90 (I)) и т.д.) или же призыва доктора к «веселым пожирателям пространств», в число возможных автореминисценций входят, например: *дельфины* (см. ст-ние «Отказ» (№ 80 (I)); ст. «Влекут его челн голубые дельфины» («Сон Адама»; № 161 (I)); *чайки* (см. ст-ния «На мотивы Грига»; «Я молчу — во взорах видно горе» (№№ 26 (I), 14 (II)); *серебряный песок* (ср. «Если хочешь, мы выйдем для общей молитвы / На хрустящий песок золотых островов» (№ 142 (I)); ср. также «золотой песок» в ст-ние «Сады души» (№ 85 (I)) и в описании священного берега озера Чад в рассказе «Принцесса Зара» (№5 наст, тома, стр. 138); *пальмы* (см., к примеру, то же место в «Принцессе Заре»; ст-ние «Рощи пальм и заросли алоэ» (№ 126 (I)); или, в сочетании с чайками, в конце ст-ния «Избиение женихов»: «Снова полюбим влекущую даль мы / И золотой от луны горизонт, / Снова увидим священные пальмы / И опененный, клокочущий Понт. <...> Чайки белей и невинней зарницы / Темной и страшной ее красоты» (№ 145 (I))); уже упомянутые в более общем литературном контексте *единороги* (см. ст-ние «Потомки Каина» (№ 160 (I))), *храмы* (другой излюбленный мотив Гумилева со времен «Пути конквистадоров» (см. №№ 20, 28, 55 (I)), через такие ст-ния, как «Думы» (№ 54 (I)), «Маэстро» («Созидали башни храмам / Голубеющего рая» (№ 82 (I))) и др., до архитектурных и итальянских стихов акмеистического периода) и даже *травы* (см., в особенности, «Маркиз де Карабас» («...в каждой травке, в каждой ветке / Я мой встречаю маркизат» (№ 165 (I)) и, в «Открытии Америки»: «К новым, лучшим травам» (№ 12 (II)), а также, к примеру, №№ 75, 94, 137 (I)). Даже «*зеленые и красные*» облака найдут более поздний отзвук в неожиданной расцветке ст-ния «Красное море»: «...Мели, точно цветы, зелены и красны» (№ 5 (IV)). О перекличках эротических мотивов рассказа в произведениях Гумилева и др. авторов, см. ниже. Стр. 153-154 —образ верблюда дважды встречается в «Исповеди англичанина — употребителя опиума» Де Квинси (вставки 1856 г., №№ 8 и 12), с отсылкой на В. Вордсворта (см. Hayter A. Opium and the Romantic Imagination. London, 1968. P. 243). Стр. 159-164 — согласно наблюдениям Хайтер, эротические мотивы редко встречаются в подлинных грезах наркоманов (Hayter A. Opium and the Romantic Imagination. London, 1968. P. 49). Однако, у Гумилева имелись существенные прецеденты в произведениях Готье (см. выше, а также в последующих примечаниях) и Бодлера. В предисловии к «Искусственному раю», Бодлер утверждал, что женщина, это «то существо, которое бросает на наши сны наибольшую тень и наибольший свет». Далее он объяснял, что при наркотическом опьянении: «самое легкое, самое невинное прикосновение, — например, рукопожатие, — может получить значение, в сто раз увеличиваемое настоящим состоянием души и чувств, и довести, — может быть, очень быстро, — до того обморочного лишения сознания, которое считается обывателями summum счастья. И нет сомнения, <...> что ... сильная доза чувственности примешивается к волнениям духа» (Ч. 1, гл. 4). Данное описание Инны выдержано в духе эротизма самого Гумилева эпохи «Принцессы Зары», «Романтических цветов» и «Жемчугов»: ср., к примеру: «Суровых врагов ожидала царица нагою <...> Под сеткой жемчужной дымились дрожащие груди, / На

смуглых руках и ногах трепетали запястья....» («Варвары» (№ 119 (I))). Но образ нагой женщины, увитой драгоценностями, восходит к самым истокам декаданса, в том числе и к «Цветам зла» Бодлера: см. ст-ние «Les Bijoux» («Украшения»); «La truйs-chйre etait nue, et, connaissant mon coeur, / Elle n`avait gardй gue ses bijoux sonores» (в переводе В. Микушевича: «И разделась моя госпожа догола; / Все сняла, не сняла лишь своих украшений...»; далее в этом явно «наркотическом» ст-нии, синэстетический мир любовного экстаза, излучающийся «металлом и камнем», мимоходом уподобляется и морскому пейзажу). Тот же архетип составляет настойчивый мотив произведений художника Густава Моро (Gustave Moreau), полотнами которого увлекался молодой Гумилев: см., например, «Клеопатру», «Единорогов», «Восточное сновидение (Пери)», и ряд изображений Саломеи. Еще две его картины, «Елена на троянской стене» и «Вечер» (1887), изображают на этот раз уже пышно облаченную женщину, все же украшенную драгоценностями, на белом камне (в «Вечере» — на фоне водяного пространства). Стр. 165-173 — ср. «Трубку опиума» Т. Готье, в которой все изысканные речи уже умершей героини сводятся к одному повторяющемуся рефрену: «Я хотела бы жить еще шесть месяцев», «Жить шесть месяцев, еще шесть месяцев»: «Два маленьких розовых пятна сверху красили ее щеки, и ее глаза сияли, как полированные серебряные шары <...> И, рассказав все это с красноречивой выразительностью и поэзией, которые я не в силах передать, она связала свои руки, как платок, вокруг моей шеи, и переплела свои тонкие пальцы в локоны моих волос». Стр. 165-166 — ср.: «Звуки одеваются в цвета, и цвета содержат в себе музыку» (Бодлер Ш. «Искусственный рай». Ч. 1. гл. 3); «Мой слух развился неимоверно; я слышал звук цветов. Звуки зеленые, красные, синие, желтые доходили до меня совершенно отчетливыми волнами» (Готье Т. «Гашиш»); «Я отчетливо видел, что она собиралась говорить, до того, как мысль доходила с головы или сердца до ее губ <...>; я имел ту же прозрачность («la mкme transparence») для нее...» (Готье Т. «Трубка опиума»). Стр. 175 — излюбленный мотив религиозной эротики символизма и, в явной и скрытой форме, еще один характерный компонент поэтического мышления самого Гумилева (см. ст-ние «Андрогин» и комментарий к нему (№ 107 (I)), а также: Козлов С.Л. Любовь к андрогину: Блок—Ахматова—Гумилев // Тыняновский сборник. Пятые тыняновские чтения. Рига; М., 1994. С. 155-171). Стр. 190-192 — ср. неожиданное появление «моего товарища волшебника Эскирос» (mon camarade Esquiros *le Magicien*) «Трубке опиума» Т. Готье. Стр. 195-196 А. Хайтер отмечает, что даже в ранние стадии наркомании «в грезы и сновидения иногда вторгаются неприятные элементы — ощущение падения вниз в бездну, холода... » (Hayter A. Opium and the Romantic Imagination. London, 1968. P. 49). Подобным образом, в предпоследней главе «Клуба гашишистов» перед автором открываются площадки и лестницы, уходящие в небесную высь и опускающиеся в бездонные адские глубины; он с тревогой оказывается в самом низу. Стр. 198-199 — ср. вышеприведенное свидетельство Де Квинси о грандиозной архитектуре его первых видений. Раннее в том же разделе своей «Исповеди» («Терзания опиомана»), Де Квинси также писал о «театре, кото-

рый, казалось, вдруг открылся и осветился в моем мозгу, в котором каждую ночь шли представления более, чем земного великолепия». Образ театра был подхвачен Бодлером в «Искусственном рае» (см. выше о названии гумилевского рассказа). Стр. 229-231 — ср. у Готье: «...маленький незнакомый голос говорил мне: «Береги себя, ты окружен врагами; невидимые силы пытаются тебя заманить и задержать. Ты здесь узник: попробуй спастись, и ты увидишь.»

Внутри меня сорвалась вуаль, и для меня стало ясно, что члены клуба были ни чем иным, как кабаллистами и магами, которые хотели завлечь меня к моей погибели» («Клуб гашишистов». Гл. 7). Об особенной тенденции «архитектурных» наркотических видений рано или поздно замыкаться на себе и заканчиваться ощущением окончательной безысходности («вся вселенная становится одним бесконечным дворцом, безграничным, но заключающим»), см. также: Hayter A. Opium and the Romantic Imagination. London, 1968. Pp. 97, 158. Стр. 239-241— широко используемый литературный прием — изображения пробуждения, при котором содержание последних моментов сновидения, казавшееся весьма значительным, объясняется банальным соответствием в реальном мире — также встречается в концовке «Трубки опиума» Т. Готье: «Я не знаю, где бы кончились эти восторги, уже не стесненные присутствием Карра, когда я ощутил, как что-то волосатое но жесткое прошлось по моему лицу: я открыл глаза, и увидел своего кота, тершего свои усы о мои...». Стр. 256-257 — первый абзац «Искусственного рая» Бодлера открывается похвальной рекомендацией тех, «кто умеет наблюдать самого себя и сохранять память о своих впечатлениях». Стр. 259-260 — «наркотическая» эстетизация моральных суждений и ощущение возвышения над моральными категориями подробно описываются в четвертой главе («Человек-бог») «Искусственного рая» Бодлера. Так, например, для его «предположительного человеческого типа»: «Всякое противоречие снимается, все проблемы философии становятся кристально-ясными, или по крайней мере кажутся таковыми. Все составляет предмет наслаждений. <...> Внутренний голос (к сожалению, его собственный) говорит ему: «Теперь ты имеешь право считать себя лучше всех людей ...Не обладаешь ли ты тем царственным презрением, которое делает душу такой доброй?»» и т.д. Стр. 282-283 — употребление эфира и было действительно особенно распространено в Северной Ирландии, где оно укоренилось с 1840 гг. К 1870 гг., ежегодный ввоз эфира из Англии и Шотландии в Ирландию насчитывался многими тоннами; он был дешевле, чем виски (на легальное изготовление которого английское правительство накладывало суровые налоги), но вызывал сильную наркотическую привязанность. В 1890 г. было введено специальное законодательство, с целью ограничения его продажи лишь зарегистрированными аптекарями, но, по-видимому, он и после этого остался легко доступным и широко употребляемым. Вопреки утверждению Гранта, в Ирландии, как правило, эфир не вдыхался а выпивался разбавленным в растворе с водой или алкоголем. Опыт (и даже само существование) ирландских эфироманов также опровергает малоубедительное утверждение Гранта о том, что «эфир действует только на не подготовленный к нему организм».

16. I. Биржевые ведомости. 3 февраля 1915 (№ 14648); II. Биржевые ведомости. 3 мая 1915 (№ 14821); III. Биржевые ведомости. 19 мая 1915 (№ 14851); IV. Биржевые ведомости. 3 июня 1915 (№ 14881); V. Биржевые ведомости. 6 июня 1915 (№ 14887); VI. Биржевые ведомости. 9 октября 1915 (№ 15137); VII. Биржевые ведомости. 18 октября 1915 (№ 15155); VIII. Биржевые ведомости. 1 ноября 1915 (№ 15183); IX. Биржевые ведомости. 4 ноября 1915 (№ 15189); X. Биржевые ведомости. 22 ноября 1915 (№ 15225); XI. Биржевые ведомости. 6 декабря 1915 (№ 15253); XII. Биржевые ведомости. 13 декабря 1915 (№ 15267); XIII. Биржевые ведомости. 14 декабря 1915 (№15269); XIV. Биржевые ведомости. 19 декабря 1915 (№ 15279); XV.Биржевые ведомости. 22 декабря 1915 (№ 15285); XVI. 8 января 1916 (№ 15310); XVII. Биржевые ведомости. 11 января 1916 (№ 15316).

СС IV -- ЗС -- Проза 1990 -- Изб (Слов) -- Изб (Слов) 2 -- СС IV (Р-т) -- Соч II -- ОС1991 -- Полушин -- ЗК 1991 -- СПП -- Круг чтения -- СС 2000 -- СПП 2000 -- ТП 2000 -- Изб(Вече) -- АО -- Проза поэта; Записки очевидца. М., 1991; Москва. 1989. № 2.

Автограф (др. ред. II части): РГАЛИ. Ф. 147. Оп.I. Ед. хр. 17.

Дат.: 3 февраля 1915 — 11 января 1916 — по датам публикации.

18 июля 1914 года в 10 часов вечера Германия объявила войну России. Накануне был объявлен «Высочайший указ о мобилизации». Эти события застали Николая Гумилева в Петербурге, на Васильевском острове, где он остановился у своего друга В. К. Шилейко (5-я линия, 10). Вместе с В. Шилейко и С. Городецким Гумилев присутствовал при разгроме германского посольства, участвовал в манифестациях, приветствовавших сербов. Решение идти на фронт пришло сразу...

...В немолчном зове боевой трубы
Я вдруг услышал песнь моей судьбы
И побежал, куда бежали люди,
Покорно повторяя: буди, буди...

(«Пятистопные ямбы»)

24 июля в петербургских газетах были опубликованы «Правила о приеме в военное время охотников на службу в сухопутные войска, Высочайше утвержденные 23 июля». Собрать все перечисленные в «Правилах» документы было непросто, так как еще 30 октября 1907 года Гумилев был освидетельствован военной медицинской комиссией и признан не способным к военной службе и освобожден от воинской повинности по причине астигматизма глаз. Однако уже 30 июля 1914 года им было получено медицинское свидетельство, подписанное действительным статским советником доктором медицины Воскресенским:

«Сим удостоверяю, что сын Статского Советника Николай Степанович Гумилев, 28 л. от роду, по исследовании его здоровья оказался не имеющим физических недостатков, препятствующих ему поступить на действительную военную службу, за

исключением близорукости правого глаза и некоторого косоглазия, причем, по словам г. Гумилева, он прекрасный стрелок».

31 июля 1914 года полицией города Царского Села в лице полицеймейстера полковника Новикова Гумилеву было выдано указанное в «Правилах» свидетельство, удостоверяющее «об отсутствии опорачивающих обстоятельств, указанных в статье 4 сих правил»:

«Дано сие Сыну Статского Советника Николаю Степановичу Гумилеву, согласно его прошению, для представления в Управление Царскосельского Уездного Воинского Начальника, при поступлении в войска, в том, что он за время проживания в гор. Царском Селе поведения, образа жизни и нравственных качеств был хороших, под судом и следствием не состоял и ныне не состоит и ни в чем предосудительном замечен не был. Что Полиция и Свидетельствует».

Ахматова вспоминала о хлопотах Николая Степановича при поступлении на военную службу: «Это было очень длительно и утомительно». Тем не менее уже 5 августа 1914 года Гумилев был в военной форме, в этот день его с Ахматовой на Царскосельском вокзале встретил А. Блок (об этом имеется запись в его записной книжке). А 13 августа 1914 года Гумилев был в Кречевицких Казармах, поселке под Новгородом. Приказом по Гвардейскому запасному кавалерийскому полку № 227 от 14 августа 1914 года Николай Гумилев был зачислен охотником в 6-й запасной эскадрон. Более месяца шло обучение. В сентябре к нему приезжала Ахматова (см. ее ст-ние «Пустых небес прозрачное стекло...»).

Этот полк готовил кавалеристов для гвардейских кавалерийских полков, составлявших 1-ю и 2-ю гвардейские кавалерийские дивизии. Гумилев был определен во 2-й маршевый эскадрон Лейб-Гвардии Уланского Ея Величества Государыни Императрицы Александры Феодоровны полка, который отправился на позиции 23 сентября. Эскадрон прибыл в полк 30 сентября. Приказом № 76 по Л.-Гв. Уланскому полку от 30 сентября 1914 года прибывшие нижние чины и вольноопределяющиеся рядового звания (всего 190 человек) зачислены на жалованье согласно аттестата за № 4512 от 24 августа 1914 года. Именно эта дата занесена в известный «Послужной список» Николая Гумилева (см.: Исследования и материалы. С. 258), и ее ошибочно считали датой его прибытия в полк. Лейб-Гвардии Уланским полком командовал полковник (с 1 января 1915 г. — генерал-майор) Дмитрий Максимович Княжевич. В полку было шесть эскадронов, первый эскадрон обозначался как эскадрон Ея Величества (ЕВ). Командовал этим эскадроном ротмистр князь Илья Алексеевич Кропоткин, и в этот эскадрон был зачислен Николай Гумилев.

К моменту прибытия поэта Лейб-Гвардии Уланский полк, в составе 2-й Гвардейской кавалерийской дивизии, уже участвовал в боях, совершил длительный поход по Восточной Пруссии, впервые перейдя границу 27 июля 1914 года. Самый тяжелый, но победный бой был 6 августа под Каушенами, за этот бой были награждены более 80 человек. Однако первый прусский поход закончился неудачно. 2-я Армия попала в окружение, 1-я Армия, в состав которой входила 2-я Гвардейская кавалерийская дивизия, понесла меньшие потери, однако 30 августа 1914 года Лейб-Гвардии Уланский

полк вынужден был отступить за пределы Восточной Пруссии. 9 сентября 1914 года Уланский полк, как наиболее уставший, был временно выведен из состава дивизии и отправлен на отдых. На это время полк был расквартирован в г. Россиены (теперь Литва, г. Расейняй). Именно там и началась боевая военная служба поэта.

Первым документальным свидетельством пребывания Гумилева в действующей армии является письмо Ахматовой, отправленное 7 октября 1914 года: «Я уже в настоящей армии, но пока не сражаемся, и когда начнем, неизвестно <...> Пиши мне в 1-ую действующую армию, в мой полк, эскадрон Ея Величества <...> Раненых привозят немало <...> Сейчас случайно мы стоим в таком месте, откуда легко писать. Но скоро, должно быть, начнем переходить, и тогда писать будет труднее <...> После первого боя <...> напишу...».

С описания первого боя начинаются «Записки кавалериста» Николая Гумилева. Принято считать, что «Записки кавалериста» — это отдельные корреспонденции, описывающие разрозненные боевые эпизоды, в которых участвовал Гумилев. (Некоторые публикации сопровождались подзаголовком: «От нашего специального военного корреспондента».) Однако подробное изучение архивных материалов, связанных с боевыми действиями Л.-Гв. Уланского полка на протяжении 1914 — 1916 годов, позволяет сделать вывод, что «Записки кавалериста» с самого начала были задуманы автором как документальная повесть, рассказывающая обо всех главных событиях первого года его участия в войне. Фактически «Записки кавалериста» описывают весь период военной службы Гумилева в Лейб-Гвардии Уланском полку.

Точность описания, с одной стороны, и большие временные сдвиги между событиями и датами публикации их описаний («запаздывание» составляло от 3 до 10 месяцев) позволяют утверждать, что с первых дней своего пребывания в Уланском полку Гумилев вел подробный дневник (как и ранее, во время африканских путешествий). Хотя судьба военного дневника неизвестна (как и судьба большинства его африканских дневников), однако почти весь он и составил «Записки кавалериста», печатавшиеся в газете «Биржевые ведомости» на протяжении почти года: с 3 февраля 1915 года по 11 января 1916 года прошло 17 публикаций. В дальнейшем мы сохраним принятое разбиение «Записок» на главы, считая каждой отдельной главой (обозначены римскими цифрами) все, что было опубликовано в одном номере газеты. Однако заметим, что это не очень корректно, и если бы «Записки кавалериста» были перепечатаны отдельной книгой в авторской редакции, оно, безусловно, не сохранилось бы.

«Записки кавалериста» печатались очень неравномерно. Если обратить внимание на даты, то можно сделать вывод, что тексты для публикаций в газете доставлялись в редакцию лично автором, а не посылались почтой с фронта, как иногда утверждают. Как было уже сказано, глава I появилась в утреннем выпуске газеты «Биржевые ведомости» 3 февраля 1915 года. В конце января Гумилев приезжал на несколько дней в Петроград. 29 января 1915 года газета «Петроградский курьер» рассказала о вечере поэтов в «Бродячей собаке» 27 января, на котором свои военные стихи читал Гумилев. Затем в публикациях был трехмесячный перерыв, а за период с 3 мая по 6 июня 1915 года были напечатаны главы II—V. С середины марта по

май Гумилев находился в Петрограде на излечении. С июня по сентябрь он опять на фронте, постоянно участвует в боях. В конце сентября Гумилева откомандировали в Петроград в школу прапорщиков, и практически весь остаток 1915 и начало 1916 года он провел в столице. С 9 октября 1915 года по 11 января 1916 года в «Биржевых ведомостях» прошло 12 публикаций «Записок кавалериста», завершивших книгу. В марте 1916 года Гумилев был произведен в прапорщики с переводом в 5-й Гусарский Александрийский Ея Величества Императрицы Александры Феодоровны полк. Завершилась его служба в Лейб-Гвардии Уланском полку, и продолжения «Записок кавалериста» не последовало...

В комментариях к каждой главе «Записок кавалериста» будут, на основании официальных документов, описаны фактические действия Уланского полка в военной кампании 1914 — 1915 годов, с указанием времени и места действия. Цензурные прочерки в «Записках кавалериста» касаются, главным образом, точных указаний на место и время, а также сведений о боевых частях, которые участвовали в операциях. Заметим, что цензурные вычеркивания касаются практически лишь первых трех глав «Записок». В дальнейшем автор приспособился к требованиям цензуры, и все последующие тексты шли в авторской редакции. Сопоставление официальных документов и описаний автора указывает на точность и ответственность Гумилева при написании документальной повести. Нет ни одного выдуманного или хотя бы как-то приукрашенного (в пользу автора) эпизода. Все документально точно.

Для того чтобы читатели могли легче ориентироваться в «Записках», было бы правильным разбить их на четыре части, в соответствии с теми кампаниями, в которых участвовал Гумилев. В комментариях будет кратко указано, чем занимался Гумилев в промежутках между теми событиями, которые описаны в «Записках кавалериста».

Часть 1. Главы I и II. Октябрь 1914 года. Восточная Пруссия. Участие во взятии Владиславова и во втором прусском походе.

Часть 2. Главы III — VI. Ноябрь — декабрь 1914 года. Польша. Бои за Петроков. Отход армии за реку Пилица.

Часть 3. Главы VII — XI. Февраль — март 1915 года. Приграничные районы Литвы и Польши. Бои вдоль Немана. Содействие наступлению русской армии на Сейны, Сувалки, Кальварию.

Часть 4. Главы XII — XVII. Июль — сентябрь 1915 года. Украина (Волынь) и Белоруссия (Брестская губерния). Бои под Владимиром-Волынским. Отход русской армии вдоль реки Зап. Буг и далее, от Бреста, через Кобрин, за Огинский канал.

Все использованные в комментариях документы хранятся в Российском государственном военно-историческом архиве (РГВИА). Ниже перечисляются те фонды, которые были просмотрены при подборе документов. Чтобы не перегружать текст, в комментариях отсутствуют ссылки на номера фондов, перечней, дел и страниц. Автор комментариев выражает искреннюю благодарность сотрудникам РГВИА за помощь, оказанную в работе.

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОСМОТРЕННЫХ И ИСПОЛЬЗОВАННЫХ В РАБОТЕ ФОНДОВ РГВИА

400	Послужные списки
409	Послужные списки
1343	Петроградский военный округ
2000	Главное управление Генштаба
2003	Штаб Верховного Главнокомандующего
2019	Северо-западный фронт
2048	Западный фронт
2067	Юго-западный фронт
2106	I Армия
2113	III Армия
2118	IV Армия
2122	V Армия
2144	X Армия
2157	XIII Армия
2185	III Армейский корпус
2187	IV Армейский корпус
2307	Гвардейский кавалерийский корпус
2717	103 Петрозаводский пехотный полк
2718	104 Устюжский пехотный полк
2945	6 Челябинский пехотный полк
3509	2-я Гвардейская кавалерийская дивизия
3515	5-я Кавалерийская дивизия
3544	Лейб-Гвардии Конно-гренадерский полк
3549	Лейб-Гвардии Уланский полк
3552	Лейб-Гвардии Драгунский полк
3591	Лейб-Гвардии Гусарский полк
3597	5-й Гусарский Александрийский полк
4000	Лейб-Гвардии Конная артиллерия
5046	1-я Донская казачья дивизия
5159	7-й Донской казачий артиллерийский дивизион
5252	Уральская казачья дивизия
5256	4-й Уральский казачий полк
5257	5-й Уральский казачий полк
5258	6-й Уральский казачий полк
5259	7-й Уральский казачий полк
5278	1-я Забайкальская казачья бригада
5342	Конный отряд Майделя
8034	Гвардейский запасной кавалерийский полк

Как уже говорилось, «Записки кавалериста» не были опубликованы при жизни автора отдельным изданием. Тем более не могло идти речи о подобной публикации после трагической гибели Гумилева. Вплоть до выхода в 1968 г. СС IV они были практически неизвестны массовой читательской аудитории, а в специальных работах, посвященных истории «серебряного века», лишь упоминались для подтверждения тезиса о «шовинистической» позиции Гумилева в годы Первой мировой войны (см., напр.: Волков А.А. Акмеизм и империалистическая война // Знамя. 1933. № 7. С. 165-181; Цехновицер О.В. Литература и мировая война 1914-1918 гг. М., 1938). Отношение к «военному творчеству» Гумилева в советском литературоведении исчерпывающе сформулировал В.В.Ермилов: «Война для войны, кровь для крови — вот что осталось «конквистадору» наших дней, не понимающему расстановки борющихся сил в период капитализма, перешедшего в последнюю — империалистическую — стадию» (Русский путь. С. 551).

Как ни странно, но настороженное отношение к «Запискам кавалериста» было характерно и для западного гумилевоведения после их публикации в 1968 г. Г.П.Струве (хотя в комментариях к тексту они названы «прекрасным образчиком прозы Гумилева» — см.: СС IV. С. 625). По мнению Б. Хеллмана, полагавшего, что название этой вещи содержит в себе умышленную отсылку к «Запискам кавалерист-девицы» Н. Дуровой (!), «как гурия в раю», Гумилев оставался сравнительно не задетым своим фронтовым опытом. «...Во всем объемистом материале, относящемся к его первому году на войне, нет ни одного намека на разочарование. <...> В своих фронтовых записках он никогда не смотрит на войну как на всеобщую, коллективную трагедию; он смотрит на нее, прежде всего, как на личное испытание, приключение, и грандиозное зрелище» (Hellman. Pp. 34, 26, 33). Б. Хеллман констатирует, что «кавалерия, с ее длинной и доблестной историей, безусловно импонировала Гумилеву. Однако в реальности, в условиях современной войны, она оказалась мало пригодной. Ее отсталость в отношении стратегии и особенная уязвимость к дальнобойному оружию нисколько не отображаются в репортажах Гумилева» (Hellman. P. 28). Вообще, по мнению исследователя, взгляд Гумилева на историю обусловлен присущим «авантюристу»-поэту субъективизмом: «Он восхищался казаком Ермаком и генералом Перовским скорее как личностями, сочетавшими в себе роли искателей приключений, открывателей [новых земель] и воинов, чем в качестве созидателей мощной и великой России. Поза была ему дороже, чем результаты их деятельности» (Hellman. P. 27). Это приводит исследователя к заключению, что «записки с фронта» говорят больше о самом Гумилеве, нежели о войне.

«Военное творчество» Гумилева являлось «камнем преткновения» и в период «легализации» творчества поэта в России — все из-за того же пресловутого жупела «шовинизма и аполитизма», который смущал даже авторов, свободных от какой-либо «ангажированности». Так, в 1988 г., в «гумилевском» томе «Библиотеки поэта», в статье А.И.Павловского (которую, равно как и все это издание, можно без преувеличения считать «вехой» в отечественном гумилевоведении) именно «военная тема» выносилась за скобки: «Народные неисчислимые страдания, которыми оплачи-

валась война, чуждая национальным интересам, не были ему ни близки, ни внятны. Шовинистический угар лишь изредка сдерживался реальным зрелищем кровавых боев, в которых Гумилев участвовал, а также не менее реальными и охлаждающими военный пыл слухами о неблагополучии в «верхах», о предательстве в Генштабе, о распутинщине» (БП. С. 38). «Сама война, пусть и не все время, но достаточно часто, выглядит в «Записках» чуть ли ни идиллически... — писал в 1992 г. один из первых «послеперестроечных» биографов Гумилева А.Давидсон, также чувствовавший себя, прикоснувшись к «военной теме», несколько неуверенно. — ...При этом корреспонденции написаны прекрасным языком. Да и чувства там переданы в чем-то верно, но односторонне. Война все время выглядит празднично. <...> Что же до оценки отношения Гумилева к Германской войне, то теперь, с расстояния уже в три четверти века, многое, мне кажется, понятнее. Во всяком случае, хотелось бы думать, что мы менее категорично относимся к людям прошлого, не так уж бездумно осуждаем или превозносим и не делим их на ангелов и дьяволов. Хотя, кто знает... Живуче еще стремление видеть прошлое только в двух красках: черной и белой» (Давидсон. С. 193 —195). Даже в киносценарии предполагавшегося фильма о поэте — апологетическом, хотя, к сожалению, изобилующим вопиющими биографическими несообразностями, — «военные эпизоды», источниками которых служили «Записки кавалериста», рисуют героя наивно-восторженным и «заблуждающимся» (см.: Акимов В. Костер. Киноповесть о Николае Гумилеве. М., 1996).

В настоящее время интерпретацию «военного творчества» Гумилева (и, прежде всего, «Записок кавалериста») как результат «шовинистических настроений» поэта следует признать историко-литературным анахронизмом. «Гумилев — и как поэт, и как личность — мало подходит для создания «агиток». Шовинизм был изначально чужд ему. «Ты знаешь, я не шовинист», — писал он с фронта жене, а в письме к М.Л.Лозинскому признавался, что «ничто так не возмущает, как презрительное отношение к ним (*немцам — Ред.*) наших газет. Они — храбрые воины и честные враги, и к ним невольно испытываешь большую симпатию». <...> Не стоит преувеличивать и «политическую наивность Гумилева, которой порой объясняют его желание вступить в ряды «охотников». «Я буду говорить откровенно: в жизни у меня пока три заслуги — мои стихи, мои путешествия и эта война. Из них последнюю, которую я ценю меньше всего, с досадной настойчивостью муссирует все, что есть лучшего в Петербурге. <...> Когда полтора года тому назад я вернулся из страны Галла, никто не имел терпения выслушать мои впечатления и приключения до конца. А ведь, правда, все, что я выдумал один и для себя одного, <...> — все это гораздо значительнее тех работ по ассенизации Европы, которыми сейчас заняты миллионы рядовых обывателей, и я в том числе». Подобная трезвая и резкая оценка политических целей войны содержится в письме к М.Л.Лозинскому, датированном январем 1915 г. Таким образом, вряд ли правомерно говорить о наивно-восторженном энтузиазме Гумилева в начале войны. Скорее, призыв защитить Отечество был воспринят им как безусловный долг гражданина России, территории, населению и культуре которой угрожает интервенция» (Зоб-

нин Ю.В. Стихи Гумилева, посвященные мировой войне 1914-1918 гг. (военный цикл) // Исследования и материалы. С. 131-132).

Подлинная проблема «Записок кавалериста» заключается в том, что Гумилев — едва ли не единственный в истории русской литературы — пытается лирически осмыслить психологический опыт т.н. «функционального убийства», которое, собственно, является основным содержанием военных действий, военной «работой». Изучение подобного опыта — одна из главных задач военной психологии, выведшей известную формулу психологической адаптации бойца: «На войне не убивают людей, на войне — уничтожают противника». Одной из форм подобной адаптации являются, например, специальные эвфемизмы, выработанные в военной научной терминологии, для обозначения собственно «убийственной» (в прямом смысле этого слова) информации: «обработка местности», «эффективность оружия», «зона поражения» и т.д. На практике военный опыт связан с реальным феноменом массовой психологии — утраты бойцом в миг активных боевых действий его части представления о персоне противника (деление на «своих» и «чужих») и полная сосредоточенность на процессе его подавления (и, соответственно, только «техническая» оценка «качества» данного процесса). Этой действительно страшной стороны военной психологии касались в русской общественной и художественной мысли лишь считанные единицы авторов, из которых крупнейшими являются — В.С.Соловьев в философии («Три разговора») и Л.Н.Толстой — в беллетристике («Севастопольские рассказы», «Казаки» и «Война и мир»). Следует, впрочем, заметить, что Толстой отчуждает своих любимых героев — Николеньку Ростова, Андрея Болконского, Пьера Безухова от непосредственного психологического опыта «функционального убийства» — сами они, воюя, «никого не убивают» (даже Ростов, делающий успешную карьеру профессионального военного в 1805-1812 гг.), а только наблюдают за «преображением» людей в процессе боевых действий «со стороны». В отличие от Толстого, опыт батальной прозы которого непосредственно учитывался автором «Записок кавалериста» при создании «корреспонденций» (см.: стр. 9-12 главы V), Гумилев подчеркнуто бесстрастно фиксирует «бесчувствие» своего героя к жертвам его «работы», сознательно выбирая авторскую позицию «психолога», а не моралиста и резонера. На «гражданских» читателей, незнакомых с теорией и практикой военной психологии, это производило ошеломляющее впечатление (и в этом смысле следует признать справедливыми инвективы даже «вульгарных социологистов» — ср.: «очерк крупнейшего из поэтов — идеологов империализма Н.Гумилева об его фронтовой охоте на «двуногую дичь» по бездушию, жестокости и цинизму автора, является, пожалуй, уникальным в мировой литературе» (Цехновицер О. На оборону Великой родины мирового пролетариата // Литературный Ленинград. 1 августа 1934 (№ 35 (57)). С. 1)). Особое значение в исследовании «Записок кавалериста» приобретает потому анализ гумилевского «самосозерцания», отношения автора к герою-повествователю, при котором объектом исследования становится сама гениальная нарративная организация текста «Записок» (сопоставимая, опять-таки, только с «Севастопольскими рассказами» и соответствующими фрагментами «Войны и мира»). Про-

странный (и, вероятно — лучший в западном гумилевоведении) анализ художественной стороны «Записок кавалериста» принадлежит Э.Русинко (Rusinko N. Elaine. The Theme of War in the Works of Gumilev // Slavic and East European Journal. 1977. Vol. 21. № 2. Pp. 204-213). Э. Русинко проводит сопоставительный анализ «Записок кавалериста» с военными стихами Гумилева. Отметив, что стихи — по преимуществу абстрактны, высокопарны, мало связаны с объективной реальностью военного опыта, тогда, как сюжетность «Записок» ближе к действительности, Э. Русинко обращает внимание и на существенное «жанровое» различие в исходных углах зрения и построении авторского «я». «Автор» «Записок» остается пропагандистом и романтиком — искателем приключений. Но если в военных стихах авторское «я» Гумилева — оратор, чья цель состоит в том, чтобы вдохновлять и производить внушительное впечатление, то в «Записках» это — писатель-журналист, цель которого — более или менее правдиво передавать факты своего опыта. Журналистский стиль создает непосредственное впечатление простоты; однако, более пристальное рассмотрение показывает, что эта простота является блистательной стилизацией. Впечатление бесхитростного повествования обманчиво: оно достигается за счет сознательных творческих усилий.

Одним из основных художественных приемов Гумилева в созидании ощущения непосредственного субъективного повествования Русинко считает иронию. Кавалерист, как будто, выражает «откровенные» эмоции, которые, по скромности своей, создают впечатление реализма. Так, к примеру, он с кажущейся откровенностью признает в себе ощущение усталости, неудобства, даже страха (см. стр. 72-95 главы XII, 32-40 главы XVI), немыслимое для стихотворного «романтического» героя, и не скрывает свою попытку «интриговать, чтобы его не посылали на пост» (см. стр. 60-63 главы VII). Но он все-таки преодолевает свой страх, его посылают на пост, и он послушно выполняет приказ: иначе повествование не имело бы смысла. И поэтому, как констатирует исследовательница, то, что первоначально кажется добросовестным реализмом, является на самом деле сознательной художественной позой, замаскированной непретенциозным стилем рассказчика. Еще нагляднее ирония выступает, когда «высокий стиль» применяется автором для выражения простого содержания. Так, например, стакан горячего чая в халупе считается «счастливейшим мигом жизни» (см. стр. 84-86 главы VII), а псевдо-риторическое прославление «низких, душных халуп» (стр. 19-23 главы II) является, по мнению Русинко, чуть ли не авто-пародией на стиль патриотических стихов. Но, несмотря на всю стилистическую контрастность и различия авторской личности, военную прозу и стихи объединяет патриотическое восславление войны и таинственного значения солдатского дела.

В своей стилистической оценке «Записок кавалериста», Э. Русинко находит близкое соответствие с теоретическими требованиями, которые изложил Гумилев в его рецензии на прозу Кузмина: «Опытные causer'ы знают, что заинтересовать слушателя можно только интересными сообщениями, но чтобы очаровать его, захватить, победить, надо рассказывать ему интересно о неинтересном. <...> Отличительные свойства прозы М. Кузмина — это определенность фабулы, плавное ее

развитие и <...> целомудрие мысли... Он просто и ясно, а потому совершенно, рассказывает ...». Гумилев в этом смысле — отличный рассказчик. «Его записки быстро развиваются, и сюжет плавно разворачивается, с юмором и напряженностью. Сцены и события описываются ясным, точным языком, с отчетливой логикой. <цит. стр. 12-20 главы V>. Все с таким же лаконизмом и продолжает рассказчик свой пересказ. Но его стилистическая прямолинейность опять-таки обманчива. Гумилев поддерживает читательский интерес, созидая вспышки прозрения, эмоции или сочувствия во внезапном осознании контраста между значительностью содержания и стилистической недосказанностью. Как в наилучших своих стихотворениях, он избегает изложения и объяснений, предоставляя зрительную картину, которая говорит за себя: <цит. стр. 86-98 главы X> <...> И все же из его стилистически непритязательной прозы тонко выявляется героическая поза» (Rusinko N. Elaine. The Theme of War in the Works of Gumilev // Slavic and East European Journal. 1977. Vol. 21. № 2. Pp. 208-211).

«Толстовские» параллели уже традиционны в «батальной» тематике современного гумилевоведения. «Хотя официально они и считались фронтовой хроникой, — пишет об этом же подробнее В.Полушин, — но, по сути, «Записки» были художественной прозой на документальной основе. Гумилев не просто констатировал бесчисленные наступления и отступления, прорывы и окружения, он находил точные и запоминающиеся краски для описания самых будничных явлений. Не собранные вместе при жизни поэта, по манере письма «Записки кавалериста» — эпическое произведение. В них остро чувствуется связь с «Войной и миром» Л.Н.Толстого. <цит. стр. 134-149 главы IV> Читая это, я вспоминал описание Аустерлица, князя Болконского и огромное поле боя. Это не повторение Толстого, это одно и то же поле, описанное разными художниками» (Полушин В. Волшебная скрипка поэта // ЗС. С. 26). Е.А.Подшивалова назвала «Записки кавалериста» «психологическим свидетельством войны» (см.: ОС 1991. С. 13).

I

Стр. 1-114 — глава охватывает события с 17 по 20 октября 1914 года.

Стоявший на отдыхе в Россиенах Гвардейский Уланский полк 14 октября был временно включен в состав 1-й отдельной кавалерийской бригады, входившей в III Армейский корпус. Начальником этой бригады был генерал-майор барон Майдель (генерал М. в «Записках»). Бригада Майделя стояла вблизи границы с Восточной Пруссией; недалеко от Владиславова (Литва, г. Кудиркос-Науместис). Штаб бригады и главные силы размещались в селах Рудзе, Бобтеле, Ашмонишки. В этот район Уланский полк пришел 17 октября. Из донесений Майделя в штаб корпуса: «17 октября, 11 ч. 10 м. утра. Моя пехота подходит к Владиславову <...> Гвардейские уланы еще в резерве <...> 3 ч. 50 м. дня. Владиславов и Ширвиндт взяты и укрепляются нашей пехотой. Немцы отошли густыми цепями на юг и юго-запад по обоим берегам Ширвинты...». Упоминаемый Гумилевым город В. — это Владиславов. Город стоит у слияния рек Ширвинты и Шешупы, по которым проходила граница с Восточной Пруссией. Дорога в Восточную Пруссию шла по мосту

через Ширвинту. На другом берегу, сразу за мостом, располагался немецкий город Ширвиндт. От Ширвиндта веером расходились прямые, обсаженные липами дороги в глубь Пруссии: к югу — на Шталюпенен (Нестеров), к западу — на Пилькален (Добровольск), к северу — на Шиленен (Победино). (Заметим, что все населенные пункты Восточной Пруссии, нынешней Калининградской области, в которых развертывались описываемые боевые действия, в советское время уничтожены **полностью**; сохранились лишь старые немецкие дороги вдоль пустырей, земля которых нашпигована битым кирпичом, красной черепицей, печными изразцами, а вдоль дорог местами стоят огромные погибшие липы — белые скелеты деревьев.)

18 октября несколько эскадронов Уланского полка вошли во Владиславов. Перед уланами поставили задачу разведывать расположение неприятеля. Уланам район Владиславова был хорошо знаком, так как именно отсюда начинался их первый прусский поход в июле — августе 1914 года. Из донесений Майделя от 18 октября: «На Ширвиндт и Владиславов со стороны Пилькалена наступает не менее 2-х батальонов с артиллерией. Ширвиндт с трудом держится, 11 моих эскадронов идут на левый фланг противника через Варупёнен на Пилькаленское шоссе <...> Атака на Ширвиндт приостановлена <...> Как только это удастся, перейду у Дворишкена со всеми имеющимися у меня силами конницы на западный берег реки Шешупы и двинусь в общем направлении на Вилюнен. В промежутке между Владиславовом и правым флангом 56 пехотной дивизии разведывают 2 эскадрона гвардейских улан <...> Завтра с рассветом перехожу Шешупу для действий в направлении на Пираген и далее к юго-западу». 19 октября: «В 6 ч. 30 м. утра 10 эскадронов переправились у Дворишкен. Получен приказ, что наступление откладывается. 3 дивизиона для разведки: на Вилюнен, на Шиленен, на Каршен. С бригадой встал в районе Кубилеле для обеспечения правого фланга корпуса».

Последний эпизод первой главы «Записок» описывает сильный обстрел Владиславова 20 октября 1914 года. «В 7 часов утра началось наступление противника на Ширвиндт. Защита сложна, так как мало пехоты, коиный отряд поддерживает ее, имея за собой 2 очень плохих для артиллерии брода через Шешупу, а в 4 верстах артиллерия противника <...> Огонь очень сильный, у противника не менее 5 батарей».

Стр. 30-31 — впечатления поэта о первом бое из «Записок» попали в стихотворные строки: ср. с началом написанного тогда же стихотворения «Солнце духа» (№ 18 (III)):

Как могли мы прежде жить в покое
И не ждать ни радостей, ни бед,
Не мечтать об огнезарном бое,
О рокочущей трубе побед...

Стр. 55 — Ермак Тимофеевич — величайший завоеватель российской истории, присоединитель Сибири (по масштабам деяний Ермака в мировой истории с иим сопоставимы только его современники — Кортес и Пизарро). Атаман волжской разбойничьей шайки, а затем — наемник у уральских промышленников Строговых,

Ермак с отрядом в восемьсот с небольшим человек 1 сентября 1581 г. выступил в поход против татарского Сибирского ханства. В двух битвах при Туре и Тавде Ермак наголову разбил во много раз превосходящих его татар (как и в истории покорения Мексики Кортесом решающую роль здесь сыграло применение огнестрельного оружия), а затем в двух следующих — при Тоболе и под Чувашевым на Иртыше — главные силы хана Кучума, которыми командовал царевич Маметкул (последний попал в плен). 26 октября 1581 г. Ермак занял оставленную татарами столицу — г. Сибирь, откуда послал в Москву с известием о присоединенных землях своего ближайшего сподвижника Ивана Кольцо. Граф Перовский Василий Алексеевич (1794-1857) — генерал от кавалерии, генерал-адъютант; в 1833-1856 (с перерывом) был военным губернатором Оренбурга, вдохновителем и организатором экспансии России в Туркестан; 28 июня 1853 г. русскими войсками под его командованием была взята кокандская крепость Ак-Мечеть, после чего хивинский хан вынужден был заключить договор, фактически признающий владычество России.

II

Стр. 1-150 — данная глава продолжает главу 1 и описывает события с 21 по 27 октября 1914 года. С 21 по 24 октября Уланский полк располагался вдоль границы с Пруссией по реке Шешупе, в окрестных деревнях Бобтеле, Кубилеле, Рудзе, Мейшты, Уссейне, в разбросанных по полям хуторах («О, низкие, душные халупы...»). Одновременно продолжалась разведка прусской территории. Через Шешупу в этом районе было две переправы, два брода: на прусском берегу у Дворишкена и на российском берегу у Кубилеле. Один из бродов упоминается в этой главе при описании разведывательного наступления, которое было осуществлено 22 октября. Из донесения Майделя 22 октября: «Переправа у Дворишкена временами обстреливается. Разведка установила, что батарея противника в роще южнее кладбища, что между Кл. и Гр. Варупёнен <...> Ночная разведка на фронте Гросскенигсбрух, Варупёнен, Дайнен выяснила, что противник попрежнему стоит на местах и занимает окопы, левый фланг которых упирается в абсолютно непроходимое болото (Гросс Плинис) <...> Единственный способ наступления — движение больших сил конницы на Шиленен, предварительно пробивши завесу на р. Шешупе, которая до сих пор охраняется». Упоминаемое Гумилевым «трехэтажное кирпичное строение, нелепая помесь средневекового замка и современного доходного дома» — это Дворишкен, от которого не осталось никаких следов.

Наступление русской армии в пределы Восточной Пруссии началось 23 октября. В деле полка об этом лишь краткая запись: «Сего числа полк перешел границу Германии». 23 октября генерал Майдель докладывал в штаб корпуса: «Перешел Шешупу у Будупенена, достиг авангарда у Дористаля. Встречаем огонь мелких частей. Иду на Радцен и далее на Грумбковкашен. Разведка к вечеру дошла до Пилькалена <...> Конница в 10 ч. 15 м. вечера встала на ночлег в

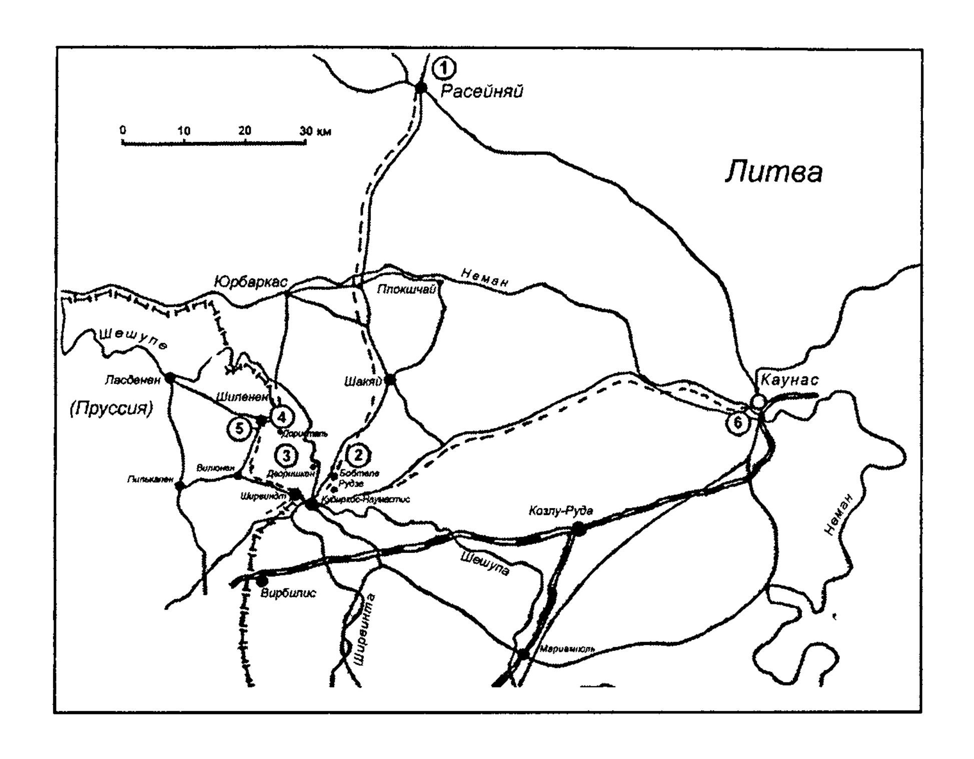
районе Радцен — Дористаль — Бартковен. Завтра буду наступать пехотой на Вилюнен, Пилькален. Конница — севернее». Перейдя границу Германии, Уланский полк устремился к северу, по дороге вдоль Шешупы, в сторону Шиленена (на этом месте поселок Победино). Помимо «обсаженных столетними деревьями дорог», в начале века в этой части Пруссии было проложено множество железнодорожных путей. Поезда доходили до Ширвиндта, Шиленена, а от Шиленена в сторону Дористаля и до границы с Россией шли многочисленные узкоколейки. Одну из этих узкоколеек и пересек Уланский полк. Благоустроенная усадьба, в которой заночевал в этот день Уланский полк, — Бартковен, располагавшийся чуть севернее Дористаля.

26 октября наступление продолжалось. В одном из донесений сказано: «Отдельная бригада Лейб-Гвардии Уланского полка идет на Шиленен, преследуя отступающего противника». Шиленен был взят уланами («Дики были развалины города Ш.»). Вырвавшись «опять в простор полей», Уланский полк устремился к югу и выбил немцев из Вилюнена. Барон Майдель докладывал командиру III корпуса генералу Епанчину: «Только благодаря доблести Лейб-Гвардии Уланского Ея Величества полка, как господ офицеров, так и нижних чинов, полк этот показал блестящие примеры храбрости и великолепно атаковал под Вилюненом, о чем считаю долгом донести Вашему Высокопревосходительству...».

Вечером 26 октября в штабе III Армейского корпуса была получена телеграмма: «Командующий армией приказал немедленно вернуть Лейб-Гвардии Уланский Е. В. полк в Россиены, о чем сообщить Майделю». 27 октября в 4 ч. 55 м. вечера Майдель докладывал: «Уланский Е. В. полк ушел на Ковно. Взятый вчера Вилюнен мною оставлен...». В полковом деле 27 октября появилась запись: «Сего числа полк перешел границу Германии обратно». Этим эпизодом завершается вторая глава и первая часть «Записок кавалериста». 1 ноября 1914 года Гумилев отправил письмо Михаилу Лозинскому, в котором писал:

«Пишу тебе уже ветераном, много раз побывавшим в разведках, много раз обстрелянным и теперь отдыхающим в зловонной ковенской чайной. Все, что ты читал о боях под Владиславовом и о последующем наступленье, я видел своими глазами и во всем принимал посильное участие. Дежурил в обстреливаемом Владиславове, ходил в атаку (увы, отбитую орудийным огнем), мерз в сторожевом охраненье, ночью срывался с места, заслыша ворчанье подкравшегося пулемета, и опивался сливками, объедался курятиной, гусятиной, свининой, будучи дозорным при следованье отряда по Германии. В общем, я могу сказать, что это лучшее время моей жизни. Оно несколько напоминает мои абиссинские эскапады, но менее лирично и волнует гораздо больше...».

В Ковно (Каунасе) отряд простоял до 8 ноября. В этот день пришел приказ дивизии грузиться и переезжать в район Ивангорода (г. Демблин в Польше). Лейб-Гвардии Уланский полк опять вошел в состав 2-й Гвардейской кавалерийской дивизии. (Дивизия состояла из двух бригад: 1 бригада — Лейб-Гвардии Конно-гренадерский полк Свиты Его Величества и Лейб-Гвардии Уланский Ея



Записки кавалериста. Схема I (к главам I — II)

1 — Россиены, где стоял Лейб-Гвардии Уланский полк, когда туда прибыл Н. Гумилев. 2 — расположение Уланского полка под Владиславовом, когда он был прикомандирован к конному отряду генерала Майделя и занимался разведкой вдоль границы с Пруссией (главы I и II/1). 3 — разведывательное наступление с переправой через р. Шешупу у Двоpишкена (глава II/2). 4 — начало наступления в глубь Пруссии, ночлег в районе Дористаля (глава II/3, 4). 5 — участие Уланского полка во взятии Шиленена и Вилюнена (конец главы II). 6 — отход на отдых в Ковно перед переброской в Польшу.

Величества Государыни Императрицы Александры Феодоровны полк; 2 бригада — Лейб-Гвардии Драгунский полк и Лейб-Гвардии Гусарский Его Величества полк.)

Погрузка дивизии завершилась 9 ноября, и эшелон, проследовав через Гродно, Белосток, Малкин, Пиляву, 13 ноября прибыл в расположенный в Южной Польше Ивангород.

В ЦГАЛИ (ф. 147, оп. 1, ед. хр. 17) сохранился автограф варианта главы II, существенно отличающийся от опубликованного в «Биржевых ведомостях». События, описываемые в нем, соответствуют эпизодам 1, 3 и началу эпизода 4 главы II в газетной публикации; более законченным выглядит в этом фрагменте описание начала наступления русской армии в Восточной Пруссии 25 октября 1914 года. При описании наступления Гумилев вспоминает строки из стихотворения Ф. Тютчева «Неман». Воспоминания о том, что «в первое наступление мы закладывали розы за уши лошадей», относятся к сослуживцам поэта, а не к нему самому: первый поход в Восточную Пруссию начался для улан в тех же самых местах 27 июля 1914 года.

III

Стр. 151 — глава охватывает события с 13 по 20 ноября 1914 года.

Выгрузившись 13 ноября на станции Ивангород, Л.-Гв. Уланский полк сразу же проследовал в г. Радом. От Радома полк был направлен в район железнодорожной станции Колюшки (станция К.). Эту дорогу по Южной Польше и описывает Гумилев в начале главы. 13 ноября полк прошел от Радома до имения Потворов, где был ночлег. 14 ноября, через Подчащу Волю, Кльвов, Одживол, Ново-Място, полк дошел до Ржечицы. 15 ноября через Любохню и Уязд уланы дошли до господского двора Янков, расположенного недалеко от станции Колюшки. Дорога проходила среди лесов, по долинам рек Радомки, Држевицы, Пилицы. С 15 ноября 2-я Гв. кав. дивизия вошла во временно сформированный кавалерийский корпус Гилленшмидта (совместно с 1-й Гв. кав. дивизией, 13-й кавалерийской дивизией, 5-й Донской казачьей дивизией, Уральской казачьей дивизией и Забайкальской казачьей бригадой). Задача корпуса — заполнить промежуток между располагавшейся к северу V Армией и относящейся к юго-западному фронту IV Армией, в состав которой и входил кавалерийский корпус Гилленшмидта. 16 ноября Уланский полк прибыл на станцию Колюшки и расположился в ближайшей деревне Катаржинов. Противник медленно отходил от станции, в донесениях говорится: «Части противника бродят в лесах у Колюшек, много пленных». 17 ноября полк простоял в Катаржинове, а 18 ноября была получена телеграмма: «Корпусу Гилленшмидта прибыть в Петроков в подчинение 4 Армии, уланы получат распоряжение вечером или ночью». Гумилев описывает вечерний и ночной переход, в ночь с 18 на 19 ноября, от станции Колюшки в район Петрокова. Бивак был в деревнях Камоцын и Литослав.

19 ноября началось наступление противника на Белхатов, в сторону Петрокова. Последующие два дня прошли в непрерывных боях, причем главный удар пришелся на Уланский полк. За бой 20 ноября командир полка Княжевич был представлен к Георгиевскому оружию. В представлении сказано: «...20 ноября 1914 г. около 12 ч. дня командующий Гвардейским кавалерийским отрядом Свиты Его Величества ген.-майор Гилленшмидт приказал командиру Л.-Гв. Уланского Е. В. полка полковнику Княжевичу занять спешенными уланами позицию у шоссе к г. Петрокову, шагах в трехстах восточнее опушки леса, что между Белхатовым и Велеполе, с целью упорно задерживать дальнейшее наступление германцев, угрожавших Петрокову. В 3 ч. дня противник начал артиллерийскую подготовку, а около 4-х ч. дня под прикрытием сильного арт. огня повел энергичное наступление против улан и соседнего участка конногренадер. Вскоре завязался горячий бой, в течение которого был тяжело ранен командир 1 бригады ген.-майор Лопухин, и командование 1-й бригадой перешло к полковнику Княжевичу. Последний, несмотря на потери, подвергаясь серьезной личной опасности, удерживался до седьмого часа вечера, после чего в порядке отвел свою бригаду на 2-ю позицию у д. Мзурки, где прочно занял ряд хуторов намеченного наступления, которое было остановлено. Значение упорной обороны полковника Княжевича на Велепольской позиции выразилось в том, что благодаря ей мы успели твердо обосноваться на позициях Мзурки — Рокшицы, что отстаивали Петроков вплоть до 2 декабря, что мы не позволили противнику вклиниться в промежуток между двумя нашими армиями...».

Во время этого боя несколько улан было убито, много ранено, через несколько дней скончался от ран генерал-майор Лопухин. Эскадрон, в котором служил Гумилев, судя по документам, в этот день вел разведку как перед боем, так и ночью, после боя (об этом — в следующей главе). В главе III много цензурных купюр, в которые, видимо, попало и описание боя; в тексте остался лишь небольшой фрагмент. После боя Уланский полк отошел на бивак в Мзурки.

IV

Стр. 1-158 — глава охватывает события с 20 по 30 ноября 1914 года.

В конце предыдущей и в начале этой главы имеется некоторое нарушение хронологической последовательности. Возможно, это произошло случайно, после цензурных сокращений, но не исключено и то, что автор, когда записывал и восстанавливал события чрезвычайно напряженного дня 20 ноября, бессознательно отнес эпизоды одного дня на несколько следующих друг за другом дней. Это и не удивительно, если принять во внимание то, что несколько дней никто в полку не спал. На основании боевых документов можно реконструировать следующую последовательность событий. Вслед за описанием боя в главе III и выделенной с двух сторон купюрами фразы: «Поздно ночью мы отошли на бивак <...> в большое имение <...> » — следует читать эпизод «2» в главе IV.

Этот эпизод описывает ночь с 20 на 21 ноября, когда эскадрон улан, в котором состоял Гумилев, был отправлен на разведку для выяснения расположения противника после боя.

Сторожевое охранение гусар, до которого доехал гумилевский разъезд, было выставлено по линии дд. Мзурки — Будков — Пекари — Монколице. В донесении гусар об этой ночи сказано: «Была обстреляна застава и заняты Монколице. Всю ночь шла перестрелка между неприятелем и нашими полевыми караулами. За ночь убит 1 гусар, посланный для связи с Уланами Е. В. полка...».

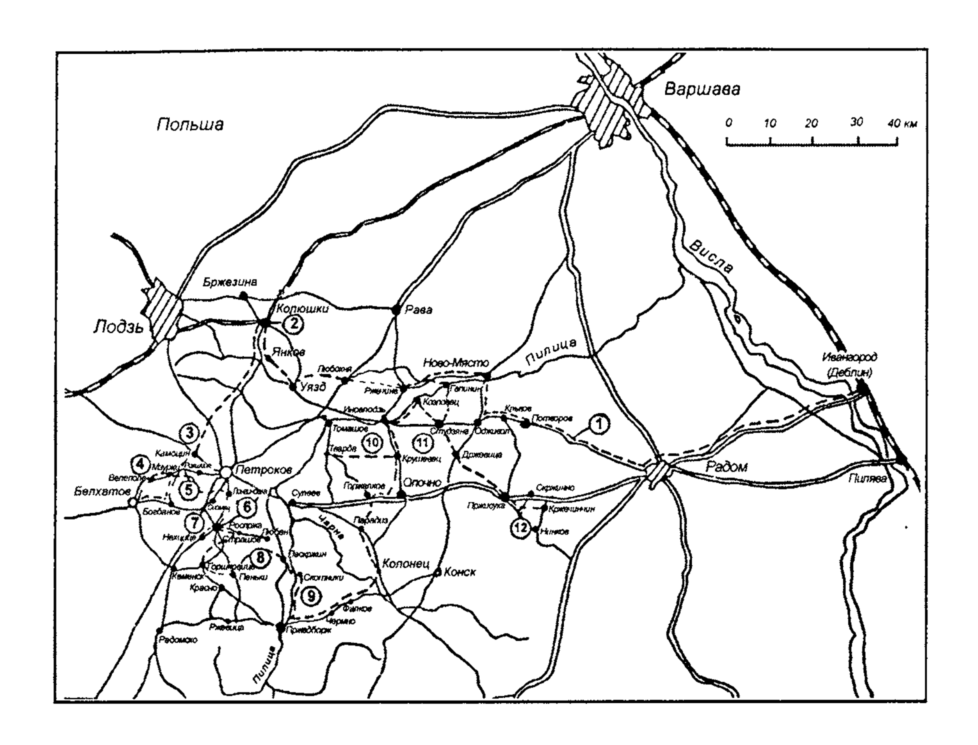
За разведку в ночь с 20 на 21 ноября Гумилев получил первый Георгиевский крест: «Приказом по Гвардейскому Кавалерийскому корпусу от 24 декабря 1914 г. за № 30 за отличия в делах против германцев награждаются: <...> Георгиевскими крестами 4 степени: эскадрона Е. В. унтер-офицер Николай Гумилев п. 18 № 134060...». В приказе Гумилев значится унтер-офицером, хотя на самом деле это звание ему было присвоено приказом по полку № 183 от 15 января 1915 года: «Улан из охотников эскадрона Ея Величества Николай Гумилев за отличия произвожу в унтер-офицеры». В приказе по полку № 286 от 28 апреля 1915 года дополнительно объявляется «список награжденных за отличия в делах против неприятеля Георгиевскими крестами и медалями с указанием времени совершения подвигов». Под номером 59 записан унтер-офицер охотник Николай Гумилев, награжденный за дело 20 ноября 1914 года.

Эпизод «1» главы IV должен следовать за эпизодом «2». 21 — 23 ноября немецкое наступление было приостановлено. 1 бригада с Уланским полком отошла к югу и встала на бивак в Кржижанове. В эти дни шла сильная перестрелка, постоянно высылались разведывательные разъезды для выяснения расположения противника. Один из таких разъездов описан в эпизоде «1».

Описанная в эпизоде «3» «сравнительно тихая» неделя — с 24 по 30 ноября 1914 года. В начале этой недели полк оставался на прежних позициях в районе Кржижанова.

В конце недели, в пятницу 28 ноября, дивизию отвели на отдых за Петроков. Уланский полк расположился в Лонгиновке. В субботу 20 ноября в полку было объявлено: «Завтра в 11 часов утра около расположения штаба полка будет отслужена Божественная Литургия, а после нее панихида по всем убитым в эту войну чинам полка. К означенному времени выслать всех желающих нижних чинов полка, а всем певчим собраться в 8 1/2 часа утра». Полковым священником у улан был протоиерей Смоленский, пожалованный 20 ноября 1914 года орденом Св. Владимира 3 ст.

Стр. 50 — упоминаемый в этой главе взводный — поручик Михаил Михайлович Чичагов. Ему посвящено стихотворение «Война» в сборнике «Колчан». Сохранился экземпляр с дарственной надписью автора: «Многоуважаемому Михаилу Михайловичу Чичагову от искренне его любящего и благодарного ему младшего унтер-офицера его взвода Н. Гумилева в память веселых разъездов и боев. 27



Записки кавалериста. Схема II (к главам III — VI)

1 — дорога от Ивангорода, через Радом, по Южной Польше (начало главы III). 2 — расположение Уланского полка около ж/д станции Колюшки (глава III). 3 — переход от Колюшек в район Петрокова и разъезды на Белхатов (конец глава III). 4 — расположение в районе д. Мзурки, бой под Велеполе и последующая ночная разведка, за которую Н. Гумилев получил первый Георгиевский крест (глава IV/1, 2). 5 — разведка вокруг Петрокова и расположение Уланского полка у д. Сиомки (глава IV/3). 6 — бивак в Лонгиновке (конец главы IV). 7 — штаб Уральской казачьей дивизии в Роспрже (глава V/1). 8 — осуществление связи между Уральской дивизией и Уланским полком (глава V/2). 9 — дом ксендза в Скотниках (глава V/3). 10 — переход на позиции вдоль р. Пилица и наблюдение за боем пехоты и д. Тварда (глава VI/1, 2). 11 — расположение вдоль Пилицы и бой у д. Иновлодэь (глава VI/3). 12 — расположение Уланского полка на отдых в Кржечинчине перед переброской на другой фронт (в Олиту).

16 ПСС Гумилев Н С Т 6

декабря 1915 г. Петроград» (собрание М. И. Чуванова). Имя Чичагова упоминается и в других главах «Записок». Стр. 131-133 — Иванова ночь — ночь с 23 на 24 июня (по ст. стилю), накануне дня празднования православной Церковью рождества Иоанна Крестителя (24 июня), во время которой разыгрывается народный праздник, имеющий корни в языческой древности: погребение (или утопление) Купалы (Марины-Марены) и Ярилы (Костромы). Иванов день предполагает двойственную содержательность обрядности, сочетающую игровое веселье и сексуальный разгул со скорбью и оплакиванием. Это происходит оттого, что этот день (летнее солнцестояние) символизировал собою как миг полного расцвета «жизненных сил» года, так и момент, когда они перестают рости и начинают идти на убыль. Стр. 137 — Каббала (буквально — «принятие», «предание») — мистическое учение и мистическая практика в еврействе; традиционно считается «тайным знанием», переданным праотцом Авраамом изустно и незафиксированным в Библии Большую роль в каббале играет символика 22 букв еврейского алфавита, каждой из которых соответствует особое имя Божье; их начертание является безусловным архаическим экзотизмом для современного европейского восприятия. Стр. 141-146 — не из описываемых ли в этом эпизоде наблюдений за звездами, когда поэта «охватывал невыразимый страх», родилась впоследствии поэма «Звездный ужас» (№ 53 (IV))?

V

Стр. 1-155 — в главе описываются события с 1 по 4 декабря 1914 года.

1 декабря 1914 года командир корпуса Гилленшмидт издал приказ №14 об отходе за р. Пилицу. В нем 2-й Гв. кав. дивизии предписывалось: «Всей дивизии с темнотой сосредоточиться в р-не Нехцице, имея 2 эскадрона в Роспрже <...> В случае наступления противника задерживать его на линии Роспржа — Каменск и не отходить от этой линии до очищения Петрокова...». Вместе со 2-й Гв. кав. дивизией натиск противника в эти дни сдерживали Забайкальская казачья бригада и Уральская казачья дивизия. В приказе № 15 от 1 декабря Гилленшмидт дополнительно указывает: «В случае натиска противника и невозможности удерживать позиции отходить: <...> Уральской казачьей дивизии — в полной связи с 2-й Гв. кав. дивизией на Ежова — Страшов — Любен — Зыгмунтов <...> 2-й Гв. кав. дивизии — отходить в полной связи с Уральской и 13 кавалерийской дивизиями на Горжковицы — Пржедборж <...> Отход лишь под натиском и предупреждением соседей...».

Взвод Гумилева, входивший в один из двух эскадронов улан, оставленных в Роспрже («большое местечко Р.»), обеспечивал «полную связь» с Уральской казачьей дивизией. 2 декабря началось наступление противника. Из журнала боевых действий Уральской казачьей дивизии: «2 декабря. С 11 часов утра противник перешел в наступление и начал теснить наши полки <...> Противник наступает главным образом через Козероги и Пекарки на Рокшице <...> К вечеру полки

Уральской дивизии заняли линию Буйны — Сиомки, имея сотни в дд. Кренжня, Воля Кршитопорске <...> Штаб дивизии, предполагавший ночевать в д. Кржижанове, ввиду занятия противником д. Рокшице перешел ночевать в пос. Роспржу».

Именно этот штаб в Роспрже описан во фрагменте «1». «Рослый и широкоплечий полковник» — это начальник штаба Уральской казачьей дивизии полковник Егоров. «Молодой начальник дивизии, носитель одной из самых громких фамилий России» — это исполнявший в те дни обязанности командира Уральской казачьей дивизии генерал-майор граф Петр Михайлович Стенбок. Ему тогда было 45 лет (род. 11 апреля 1869 г.). О причинах, обусловивших употребление Гумилевым эпитета «громкая» по отношении к фамилии Стенбок-Ферморов см.: Богданов И.А. Лахта // Санкт-Петербургские епархиальные ведомости. 2003. №№ 30-31.

Фрагмент «2» описывает события 3 декабря 1914 года. В 3 часа ночи противник занял Петроков. Располагавшийся с вечера 2 декабря в Горжковицах штаб 2-й Гв. кав. дивизии и вся дивизия, включая Уланский полк, начали отход в сторону Пилицы. Из донесения, доставленного уланами в штаб Уральской дивизии: «Дивизия от Горжковица отходит в направлении на Кросно, Цесле, Охотник, Пржедборж...». Уральская казачья дивизия также начала отход. Штаб Уральской дивизии утром 3 декабря отошел из Роспржи в Страшов, расположенный в четырех верстах. Из Страшова Гумилеву нужно было проехать в Горжковицы, дорога туда шла через Роспржу. Встреченный им артиллерийский полковник — это командир 7-го Донского казачьего артиллерийского дивизиона полковник Греков. Этот дивизион входил в состав Уральской казачьей дивизии. Из журнала боевых действий 7-го Донского дивизиона: «<...> 14 батарея двигалась с главными силами, и ей было приказано занять позиции к востоку от Страшова <...> Получено донесение, что по дороге от Ежова на Роспржу наступал противник, поэтому приказано эту дорогу обстреливать, но только до Магдаленки, где еще были наши части (12 1/4 дня). В 12 1/2 ч. дня приказано открыть огонь. В 2 часа дня приказано открыть огонь 4 орудиями по Роспрже...». Обстрел Роспржи начался сразу после встречи Гумилева с полковником Грековым.

Пока Гумилев пробирался в штаб своей дивизии, отход корпуса продолжался. Из донесений от 2-й Гв. кав. дивизии в штаб Уральской дивизии: «3.12.1914. 11 ч. 45 м. дня. В 11 ч. утра выяснилось движение значительных сил противника <...> Наше сторожевое охранение отошло, и сейчас дивизия заняла позицию Буйнице — Буйнички. Штаб дивизии в Пеньки Горжковицке. В случае выяснения отхода моего левого фланга думаю задержаться недолго и отходить на Бенчковице — Цесле». В 1 ч. 40 м. дня: «Ввиду ясно обозначенного отхода моего левого фланга дивизия сейчас начинает отходить от Пеньки Горжковицке на Цесле — Охотник — Пржедборж. В случае возможности дивизия ночует перед рекой Пилицей, если нет, то постарается занять Пржедборж». Не удивительно, что Гумилеву долго пришлось разыскивать свой штаб.

Эпизод «3» относится к вечеру того же дня. Из боевого дела Уральской казачьей дивизии за 3 декабря 1914 года: «Штаб дивизии и 7 полка с артиллерийским

дивизионом к вечеру занял д. Паскржин <...> Ночью, ввиду донесений 5 полка о движении пехоты противника от Жерехова на Пиваки, дивизия с подошедшими 3 сотнями 5 полка была переведена по мосту у д. Скотники в эту деревню...». Как сказано в донесении, штаб Уральской казачьей дивизии расположился на ночь в д. Скотники в доме ксендза. Скотники — это та деревня, название которой забыл автор.

Скотники расположены за рекой Пилица. С 4 декабря начался организованный отход кавалерийских полков корпуса. Гумилев вернулся в свой полк. Штаб дивизии утром 4 декабря располагался в Пржедборже, на реке Пилица. К вечеру дивизия отошла в район Фалькова, уланы ночевали в Олешевнице. С 5 по 7 декабря отход на новые позиции вдоль Пилицы продолжался. Через Маленец, Соколов, Янков, Пржимусова Воля, Горжалков, Опочно, кол. Либишев дивизия и с нею Уланский полк 7 декабря прибыли к 6 ч. вечера в Крушевец, присоединившись к кавалерийскому корпусу Гилленшмидта.

VI

Стр. 1-113 — события, описанные в главе, относятся к 7 — 10 декабря 1914 года. Прибывший 7 декабря в Крушевец Уланский полк был сразу же отправлен на позиции вдоль реки Пилицы. Из приказов по кавалерийскому корпусу №314 и № 22 от 7 декабря 1914 года: «Сегодня в 12 ч. дня приказано перейти в общее наступление. Конному корпусу оказывать содействие. Отрядам под командованием Скоропадского наступать в направлении на Слуюцице — Тварда для содействия частям 52 и 45 пехотных дивизий. 2-й Гв. кав. дивизии по ее прибытии направиться за колонной Скоропадского. Штаб в Краснице»; «№ 22. 7.12. 11 ч. дня. Наша пехота успешно продвигается вперед, овладев линией Камень Вельке — Антонинов — Людвинов — Ольшовец, взяв 200 пленных и 2 пулемета. Противник по линии Иновлодзь — р. Соломянка — Мазарня — Братков — Поток. Приказываю: <...> 2-й Гв. кав. дивизии — к 9 ч. утра подойти головой колонны к кол. Крушевец». Это наступление 52-й и 45-й пехотных дивизий в направлении на запад от Крушевца и наблюдали уланы 8 декабря 1914 года.

Заключительный эпизод главы «3» относится к 9 — 10 декабря. Из донесений: «9.12.1914. Ввиду успешных боев в ночь с 7 на 8 декабря и дневного боя 8 декабря — на 9 декабря: частям XIV корпуса с конницей генерала Гилленшмидта было приказано прикрывать с запада 45 пехотную дивизию и приданную Уральскую казачью дивизию. Остальным войскам переправиться на левый берег Пилицы для удара в тыл неприятеля, действуя против левого фланга 5 Армии. С рассвета у д. Иновлодзь должна начать переправу 18 пехотная дивизия и 2-я стрелковая бригада...». В эти дни командованием готовилось большое наступление. Из приказа по конному корпусу от 9 декабря 1914 года: «Вверенному мне корпусу приказано завтра, 10 декабря, настойчиво продолжать форсировать реку Пилицу на участке Гапинин — Спала с целью дальнейшего наступления на Ржечица в тыл неприятеля, действующего против левого флага 5 Армии...».

Запланированное наступление и форсирование реки Пилицы не удалось. Все ограничилось тяжелым, продолжавшимся два дня боем, эпицентр которого пришелся на местечко Иновлодзь, раскинувшееся по обоим берегам реки. Именно этот бой и наблюдал Гумилев. Из донесений: «10.12.1914. Наступление XIV корпуса: у Мысляковице переправилась вся 1 бригада 18 пехотной дивизии и два эскадрона кирасир, заняли Ленч, наступление на Гротовице. Переправа у Иновлодзи также занята, и 2 бригада 18 дивизии переправляется на понтонах...». Из боевого дела 2-й батареи, действовавшей совместно с 2-й Гв. кав. дивизией: «10.12.1914. В 7 утра встали на позиции и поддерживали пехоту, наступавшую на Иновлодзь. В 3 часа дня пришло приказание 3-му взводу открыть огонь по костелу Иновлодзи, так как предполагалось, что там были пулеметы».

Описанием этого боя завершается 2-я часть «Записок кавалериста». После неудавшегося наступления на этом участке фронта установилось затишье. Русская армия не давала противнику переправиться через Пилицу. Уланы периодически заступали в сторожевое охранение на участке от Иновлодзи до Козловца, при этом их застава размещалась в Верувке. На отдых полк отходил в район Држевицы. До 12 января Уланский полк оставался на одном и том же участке, периодически занимая деревни Студзянна, Анелин, Брудзевице, господский двор Замечек и др. 12 января дивизия была отправлена на отдых в р-н Шидловца. Уланский полк был размещен в Кржечинчине и оставался там до начала февраля. За период декабрьского и январского затишья Гумилев дважды посетил Петроград, выступал в «Бродячей собаке» и договорился в редакции «Биржевых ведомостей» о публикации «Записок кавалериста».

Стр. 43-44 — динотериум — ископаемое травоядное животное, самое крупное из когда-либо живших млекопитающих, современник мамонтов, представлял собою нечто среднее между слоном, моржом и тапиром, достигая 4, 5 метров в высоту. В «Записки кавалериста» этот представитель доисторической фауны попал, очевидно, благодаря известному стихотворению М. Зенкевича «Махайродусы» (1911) — «Близ лога вашего, где в сумрачной пещере // Желудок страшный ваш свой красный груз варил, // С тяжелым шлепаньем свирепый динотерий // От зуда и жары не лез валяться в ил». Плезиозавр — гигантский водный ящер юрского периода (см. комментарии к стр. 111-113 № 6 наст. тома). Стр. 46 — болид — большой метеорит. Стр. 47-49 — «дивное зрелище» напомнило Гумилеву строки из стихотворения Ф. Тютчева «Цицерон»:

Блажен, кто посетил сей мир
В его минуты роковые!
Его призвали всеблагие
Как собеседника на пир.
Он их высоких зрелищ зритель,
Он в их совет допущен был —
И заживо, как небожитель,
Из чаши их бессмертье пил!

Стр. 51-52 — имеется в виду знаменитый роман Г. Уэллса «Машина времени».

VII

Стр. 1-213 — в главе описываются события с 11 по 21 февраля 1915 года.

3 февраля в стоявшей под Радомом 2-й Гв. кав. дивизии был получен приказ начать грузиться в Ивангороде. 7 февраля погрузка завершилась, и эшелон, через Холм (Хелм в Польше), Брест, Барановичи, Лиду, Вильно, 9 февраля прибыл в Олиту (Алитус в Литве). «Возвращение на старый фронт» относится больше к полку, а не к автору. Уланы сражались в этих местах в конце августа и начале сентября. Правда, и Гумилев был в Олите, когда с маршевым эскадроном двигался из Гвардейского запасного полка к месту назначения.

В боевом деле 2-й Гв. кав. дивизии этот период значится как: «Сейненская операция. Бои в р-не Карклин, Куцулюшек, Голны-Вольмер, Дворчиско, Краснополя, Жегар и Копциово: с 12 по 27 февраля 1915 г.».

Перед дивизией была поставлена задача, начиная с 11 февраля, произвести усиленную разведку вокруг Серее (Сейрияй в Литве; район действия Уланского пока в этот период сейчас охватывает Лаздийский р-н в Литве и приграничные области Польши, до Сувалок). В 9 утра дивизия соединилась на западной окраине Олиты и двинулась по шоссе на Серее. Первый бивак был в р-не Манкун. Уланские разъезды посылались на Балкосадзе (Балкасодис) и в другие расположенные по Неману деревни. Вот одно из донесений улан, возможно, от того разъезда, который описан в эпизоде «1»: «Балкосадзе и Неуюны свободны. В д. Пляптуя был обстрелян в 7 ч. вечера».

Эпизод «2» главы VII относится к 12 — 15 февраля.

В эти дни разведка продолжалась. На позиции подошла 73-я пехотная дивизия. 12 февраля Уланский полк с 1 бригадой пошел к югу и вел разведку на Макаришки и Малгоржаты. Донесение от улан: «Уланы дошли до Норагеле (Норагеляй), но в 300 м окопы с немцами, пытаются их выбить. Дрополе свободно...». На ночлег уланы остановились в господском дворе Рачковщизна.

14 — 15 февраля Уланский полк стоял в Балкосадзе. Во многих донесениях отмечается ухудшение погоды: «Ввиду сильной метели и невозможности стрелять батарея простояла в резервной колонне у Балкосадзе». В эпизоде «2» описывается ночь с 14 на 15 февраля. В приказе № 214 по Уланскому полку от 15 февраля 1915 года записано, что убит 1 улан — Абара. 15 февраля подошли части 73-й пехотной дивизии, а коннице было приказано разведывать на Гуданце. 16 февраля дивизии было приказано сосредоточиться южнее р-на Балкосадзе, оставив место против Серее для 73-й пехотной дивизии, чтобы она могла начать наступление.

Начало эпизода «3» относится к 17 февраля. В донесении от эскадрона ЕВ Уланского полка сказано: «Противник выбил полевые караулы эскадрона ЕВ, прошел на восточную опушку леса в Карклины, обстреляв 1/2 эскадрона ЕВ, идущего на усиление в Роголишки. Отошел в лощину. Эскадрон ЕВ вынужден отойти на Гуданцы». Донесение от 5-й артиллерийской батареи, входившей в состав дивизии: «17.02.1915. 1 бригаде приказано наступать на Карклины — Куцулюшки, а 2-й — через Шляпики на Дрополе. Был сильный обстрел Дрополе. (Большие потери у

противника. «Все улицы в Дрополе были залиты кровью» — показания местных жителей.) Противник очистил Дрополе, но в то же время потеснил контратакой части 1-й бригады от Карклин на Малгоржаты, вследствие чего 2-й бригаде было приказано обстрелять д. Карклины, отойти на Крикштаны. 1 бригада вновь заняла Карклины и Куцулюшки <...> 2 батарея пошла в Макаришки, обстреляла ф. Куцулюшки, подбила 1 пулемет...».

Много теплых слов в «Записках кавалериста» адресовано артиллеристам. В состав дивизии постоянно входили 2-я и 5-я батареи Лейб-Гвардии Конной артиллерии. Эти батареи постоянно действовали совместно с входящими в дивизию полками. Такое отношение к артиллерии, возможно, связано и с тем, что в этих батареях служили хорошие довоенные знакомые. В 5-й батарее — прапорщик Владимир Константинович Неведомский, сосед по слепневскому имению матери поэта, муж оставившей воспоминания о Гумилеве Веры Алексеевны Неведомской. Во 2-й батарее — подпоручик Николай Дмитриевич Кузьмин-Караваев. Имение Кузьминых-Караваевых располагалось также по соседству со Слепневом, между семьями существовали родственные связи.

Окончание эпизода «3» относится к 18 — 20 февраля. В донесениях от 18 февраля говорится: «Немецкая кавалерия отошла на юг. Местность свободна». В журнале военных действий артиллерийских батарей говорится: «19.02. Приказано подтянуться к Крикштанам. 75 пехотная дивизия сегодня начинает наступление на позиции противника у Серее. Дивизии приказано быть наготове на случай содействия пехоте <...> 20.02. Дивизии приказано содействовать пехоте, атакующей д. Роганишки, давлением с фланга. Позиции у леса. Драгуны заняли Дрополе. 1 бригада наступает правее на шоссе <...> Ввиду прекращения боя 75 дивизия встала в сторожевое охранение <...> Дивизия стала на ночлег...» Уланский полк 20 февраля стоял в Макаришках.

Эпизод «4» описывает столкновение улан эскадрона ЕВ с немецким сторожевым охранением 21 февраля. Судя но донесениям, это произошло в районе озера Шавле, около которого стояли немцы. Сторожевое охранение было обнаружено у д. Барцуны. В приказе № 220 от 21 февраля 1915 года по Уланскому полку сказано: «Раненного сего числа ефрейтора эскадрона Ея Величества Сергея Александрова числить оставшимся в строю <...> Убитую сего числа строевую лошадь эскадрона Ея Величества под названием кобыла Частица исключить из списков полка и с фуражного довольствия с 22 февраля...». Надежда раненого улана Сергея Александрова осуществилась. 23 апреля 1915 года в приказе № 281 по Уланскому полку объявлено, что приказом по X Армии (дивизия входила в ее состав) улан Сергей Александров удостоен Георгиевского креста за дело 21 февраля 1915 года.

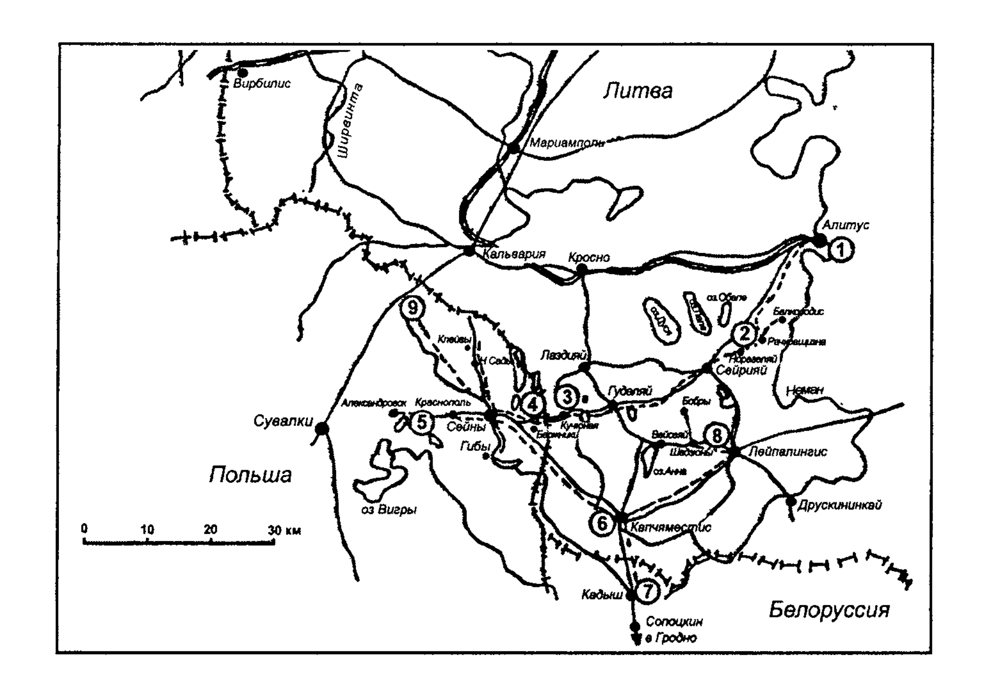
Стр. 115-116 — имеется в виду «тактика» массовых драк между киевской бурсой и семинарией, описанная Гоголем в «Вие»: «...Грамматики начинали прежде всех, и как только вмешивались риторы, они уже бежали прочь и становились на возвышениях наблюдать битву. Потом вступала философия с длинными черными усами, а наконец и богословия в ужасных шароварах и с претолстыми шеями. Обыкновенно оканчивалось тем, что богословия побивала всех, и философия, почесывая бока, была теснима в класс и помещалась отдыхать на скамьях».

VIII

Стр. 1-115 — в главе описываются события 22 — 23 февраля 1915 года.

22 февраля началось наступление русской армии. Утром немцы были выбиты из Серее (Сейрияй; местечко С. в «Записках»). Дивизии было приказано преследовать отступающего противника по дороге на Сейны, через Карклины, Вайнюны, Доманишки, Гуделе (Гуделяй), Клепочи (Клепочай), Пудзишки. Рассказ Гумилева дополняют (и подтверждают) журналы военных действий 2-й и 5-й батарей. 2 батарея: «22.02. На рассвете 73 пехотная дивизия взяла посад Серее и продолжала наступление в направлении на м. Лодзее (Лаздияй). Дивизии приказано действовать в тылу противника. В 8 ч. 30 м. утра батарея, поседлав, выступила на сборный пункт дивизии в д. Малгоржаты, куда пришли в 9 ч. 45 м. В 11 ч. дивизия двинулась далее, на шоссе Серее — Сейны. Не доходя до шоссе авангард был остановлен арьергардом противника, и дивизия остановилась у д. Авижанцы (Авиженяй), где построилась в резервную колонну. Батарея шла за головным полком главных сил Лейб-Гвардии Уланским. Через 1/2 часа с помощью взвода 5-й батареи противник был выбит, и дивизия двинулась далее. В 10 ч. вечера авангард дивизии подошел к д. Коцюны (Качюнай), в районе которой и приказано дивизии встать на бивак. Батарея встала в д. Коцюны. Приказано было не расседлывать. Только что лошадей завели по дворам, как прискакал улан с донесением, что фольварк Голны-Вольмеры, который был предназначен для бивака полка, занят частями противника с пулеметами; вслед за этим пулеметы из фольварка открыли огонь, и пули стали попадать в деревню...». Дополняет картину журнал 5-й батареи: «Повсюду следы поспешного отступления противника; взяты пленные. Дивизия к наступлению сумерек дошла до озера Зойсе, головные части до Берзников, которые заняты пехотой противника в окопах. Совсем стемнело. Дивизии приказано стать на ночлег. Батареям в д. Коцюны. Уланы должны были стать в ф. Голны-Вольмеры в версте от д. Коцюны, но ф. Голны-Вольмеры оказался занят пехотой с пулеметами. Уланы (2 эскадрона) рассыпались и стали наступать, но благодаря открытой местности не могли продвинуться и залегли, ведя перестрелку. Батарея, стоявшая нерасседланной на западной окраине д. Коцюны, оказалась на биваке под ружейным огнем (ранена одна лошадь). В 12 часов ночи батарее приказали перейти на другой край деревни. С рассветом взвод 2-й батареи должен открыть огонь по ф. Голны-Вольмеры. Простояли до 5 ч. утра нерасседланными. 23 февраля. Противник до рассвета очистил ф. Голны-Вольмеры и отошел. Дивизия в 6 ч. утра выступила с целью отрезать шоссе Копциово (Капчяместис) — Сувалки на Огродники — Жегары...».

В приказе № 221 по Уланскому полку от 22 февраля 1915 года сказано: «Убитого сего числа наездника Антона Гломбиковского исключить из списка полка и с довольствия с 23 сего февраля...». Как пишет Гумилев, «он только что прибыл на позиции из запасного полка и все говорил, что будет убит». Действительно, Антон



Записки кавалериста. Схема III (к главам VII — XI)

1 — Олита, куда прибыла дивизия после переброски из Польши (начало главы VII). 2 — расположение Уланского полка в Рачковщизне и ведение разведки на Серее (глава VII). 3 — наступление через Серее, Гуделе и ночное столкновение с немцами за Коцюнами у Голны-Вольмеры (глава VIII). 4 — дальнейшее наступление, бой в районе Бержников (глава IX). 5 — третий день наступления, разведка и бои в районе Краснополя (начало главы X). 6 — отход от Сейн на Копциово (середина главы X). 7 — бивак в Кадыше (конец главы X). 8 — расположение улан в Лейпунах и дальний разъезд с Чичаговым на Шадзюны — Бобры (начало главы XI). 9 — наступление на дорогу Сувалки — Кальвария, эвакуация через Ковно в Петроград на лечение (конец главы XI).

Гломбиковский прибыл в полк с 3-м маршевым эскадроном и зачислен на довольствие приказом № 215 по Уланскому полку от 16 февраля 1915 года.

Село Качюнай в Литве (бывшие Коцюны) и расположенный в 1 версте фольварк Голны-Вольмеры разделяет граница: фольварк сейчас находится в Польше.

IX

Стр. 1-85 — в главе описываются события 23 — 24 февраля 1915 года.

Атакованный гусарами фольварк был расположен сразу за Голны-Вольмеры. В донесении гусар сказано, что было взято более 50 пленных. Ближайшая деревня на пути полка — Огродники. В этой части Польши во многих деревнях жили русские старообрядцы. Об этом говорят названия деревень: Гремзды Русские, Буда Русская, Покровск. Со всех сторон Огродники окружена озерами: самое большое, вытянутое на север, — Галадусь, много мелких озер. Основная дорога тянется на запад, через Сейны на Сувалки. В донесениях отмечается, что во многих деревнях стоит неприятель: «Обстрел от Огродников и Жегар. Авангард дошел до Новосад. С темнотой дивизии приказано стать на ночлег в р-не д. Клейвы. Из-за неясности обстановки (противник с трех сторон) дивизия перешла через д. Клейвы — Бабанце на шоссе и стала на ночлег. 2-й батарее в 9 ч. 45 м. вечера приказано идти с уланами в д. Стабиньщизна и встать там на бивак. Встали не расседлывая в 1 ч. ночи...». Разведывательные разъезды улан были посланы в северном направлении. Вот донесение Чичагова, командира взвода, в котором служил Гумилев: «Деревня Новосады занята противником, за темнотой силы определить невозможно. Ф. Девятишки свободен, неприятельская артиллерия до нас сегодня вечером стояла там. После нескольких наших очередей сейчас же ушли. Сам лес свободен. Караул противника стоит в 3-ей халупе от леса. Разъезд у.-оф. Яковлева, посланный на д. Охотники, еще не вернулся. По его присоединении иду обратно. 23 февраля, 9 ч. 30 м. вечера». Утром 24 февраля в район расположения 2-й Гв. кав. дивизии подошли полки 26 пехотной дивизии, что позволило продолжить наступление русской армии на Сувалки.

Упоминание в этой главе о девятистах пленных — видимо, ошибка при наборе. Число пленных скорее составляло около 90 человек.

X

Стр. 1-160 — в главе описываются события с 24 по 27 февраля 1915 года.

Командиру 2-й Гв. кав. дивизии Гилленшмидту были временно подчинены резервные полки 26-й пехотной дивизии: 103-й, 104-й и 336-й. 24 февраля 103-й пехотный Петрозаводский полк, двигаясь с юга, из Копциово (Капчяместис), соединился с дивизией: «24.02. Правее нас и впереди — 2-я Гв. кав. дивизия. Авангард должен дойти до Краснополя, а основные силы — в р-не Сейны (там предполагается ночлег)». В этот день войска заняли Сейны и продвинулись западнее: «В 9 ч. утра дивизия двинулась на Краснополь <...> Дивизия сосредоточилась в Скустеле <...>

Дойдя до Павлувки, дивизия остановилась и стала разворачиваться <...> I бригада — на Краснополь <...> 3 взвод открыл огонь у д. Конец и выбил противника из окопов, дав возможность Уланам занять Краснополь <...> Противник открыл ураганный огонь по Краснополю и Конец, и части улан и драгун вынуждены были отойти <...> В это время подошел авангард 26 пехотной дивизии 2-го Армейского корпуса...».

Следующий эпизод главы X относится к 25 февраля. Предполагалось продолжить наступление на Михновце, но в это время из штаба Армии сообщили: «Ночью противник, перейдя значительными силами в наступление вдоль шоссе на Лодзее, отбросил 3 армейский корпус к Серее и наступает по шоссе от Лодзее на Сейны...». 1-я бригада была послана занять Жегары, но это уже не удалось. Начался отход 2-го корпуса на Лумбе — Гавенянце. Подошел резерв 26-й пехотной дивизии, однако, перейдя шоссе, пехота не смогла продвинуться. Встреченный Гумилевым командир 26-й пехотной дивизии — генерал-майор Тихонович.

Сборный пункт дивизии был в Сейнах (местечко С.). Из полученных за этот день донесений: «Дивизия, ввиду того, что 73 пехотная дивизия под сильным натиском отошла от Лодзее, оголив правый фланг 2 корпуса, должна прикрыть его. В 10 3/4 часа батарея с I бригадой прошла через Сейны на шоссе Сейны — Лодзее. Сейны сильно обстреливаются <...> Когда бригада проходила д. Залесье, то была обстреляна артиллерией противника и, повернув кругом, отошла за деревню <...> В 1 3/4 ч. дня, снявшись с позиции, пошла к д. Поссейны, где стоял Уланский полк в резервной колонне. В 3 1/2 ч. дня бригада перешла к ф. Грудзевизна, где тоже построили в резервную колонну...». В донесениях отмечается, что 25 февраля началось сильное похолодание. Последующие описанные в главе события относятся к ночи и дню 26 февраля. Из донесений за 26 февраля: «В 12 ч. 30 м. ночи встали на бивак в д. Дегунце. В 2 ч. 30 м. по тревоге, оседлав, соединились с дивизией, которая пошла на д. Копциово, куда, по сведениям разведки, шла колонна противника...». Копциово (Капчяместис) — это «местечко К. на узле шоссейных дорог».

Уланы опередили основную колонну дивизии и вошли в Копциово до подхода основных сил и сил противника: «В 12 ч. 30 м. дня дивизия подошла к Копциово. Одновременно подходили и части противника <...> Был очень холодный день. Ночью 20 градусов, а днем 15 градусов мороза. Лошади устали <...> В 6 ч. вечера выяснилось, что 2 корпус вышел из опасного окружения...». Днем части дивизии оставили Копциово и отошли к востоку, в Юшканце, и к югу, на Кадыш (сейчас — Гродненская обл.). Из донесений от улан: «Временно оставил 2 эскадрона улан в Менцишках, остальные двигаю на Моцевичи — Царево — Кадыш...».

27 февраля дивизия охраняла правый фланг 2-го корпуса и держала связь между ним и 3-м Армейским корпусом, стоявшим у Серее. В распоряжение командира дивизии прибыл 336-й пехотный Челябинский полк. Утром 28 февраля Лейб-Гвардии Уланский полк был направлен в Лейпуны (Лейпалингис): «Задача полка: удерживать Лейпуны в случае напора противника. В 11 ч. утра полк пришел в деревню...».

Стр. 124-127 — при описании ночного перехода Гумилев цитирует ст-ние «Солнце духа» из сборника «Колчан» (см. № 18 (III)).

XI

Стр. 1-149 — глава охватывает период с 28 февраля по начало марта 1915 года.

28 февраля помощник командира Уланского полка полковник М. Е. Маслов докладывал: «Лейпуны заняты полком в 10 ч. 30 м. Выслал разведывательные эскадроны: (1) на Лейпуны — Серее — Ржанцы — Доминишки; (2) на Шадзюны — Бобры (Шаджунай, Бабрай)». Второй разъезд повел поручик Чичагов, взводный Гумилева (см. коммент. к главе IV). Шадзюны располагаются в 5 верстах от Лейпун по дороге на Вейсее, а чуть ближе к Лейпунам — Салтанишки. В донесении, подписанном Чичаговым и посланном из Салтанишек, говорится: «28.02. Дорога до Салтанишек свободна, дорога из Коморунце в Шадзюны занята. Выслал разведку между Шадзюны и Шумсков». В следующем донесении Чичагов пишет: «Унтер-офицер, посланный на Ворнянце, донес: Ворнянце — свободно, Шумсков — свободно. Снежно — занято кавалерией. Кавалерия между Снежно и лесом. Южнее Шумскова — проволочное заграждение». На обороте донесения изображена схема местности и написано: «Следующее неприятельское заграждение проходит по линии: д. Снежно, урочище Ворнянце и приблизительно между Сморлюны и Чуваны —Мерецне». Унтер-офицер, посланный на Ворнянце и обнаруживший проволочное заграждение, скорее всего, Гумилев. Прибывший к вечеру ротмистр — командир эскадрона Ея Величества князь И. А. Кропоткин. Ночь и утро 1 марта Гумилев провел на главной заставе в Салтанишках.

В приказе по дивизии от 2 марта 1915 года сказано: «2-я Гв. кав. дивизия вчера совместно с 336 Челябинским и частью 104 Устюжского полков овладела к 5 ч. вечера местечком Копциово <...> Завтра, 3 марта, 2 Гв. кав. дивизии — занять р-н Вейсее, выбив находящегося там противника, и выслать сильную разведку на фронте Пасерники — Сейны — Гибы...». В одном из таких разведывательных разъездов принял участие Гумилев. Повел этот разъезд корнет князь С. А. Кропоткин, офицер его эскадрона. В донесениях, полученных в этот день, часто упоминается чрезвычайно неблагоприятная погода: «Выступили при весьма неблагоприятной погоде: сильный ветер с падающим снегом, залепляющим глаза...». И в последующие дни погода отнюдь не улучшалась: «5 марта. <...> Началась сильная метель. Дорогу засыпало снегом, не пройти...»; «7 марта. <...> Из-за страшного тумана фольварка не было видно <...> Поднявшаяся метель мешала стрельбе...»; «13 марта. Погода убийственная: снег, сильный ветер и грязь...».

После 3 марта опять началось наступление русской армии. 5 марта 2-я Гв. кав. дивизия заняла Вейсее, 7 марта Уланский полк снова встретил упорное сопротивление у Голны-Вольмеры. 11 марта было приказано всем войскам X Армии перейти в наступление, 2-й Гв. кав. дивизии — действовать на тыл противника, находящегося в Кальварии. В приказах по полку за этот период ежедневно отмечаются те уланы, которых отправили на излечение, однако Гумилева среди них нет. Доктор, к которому пошел Гумилев, — полковой врач Ильин. Казачий полк, с командиром которого столкнулся Гумилев, возможно, действовавший в этом районе 1-й Донской казачий полк.

Точная дата, когда Гумилева отправили на излечение, неизвестна. Ближайшей железнодорожной станцией, куда на подводах отправляли больных и раненых, была Ковно (Каунас). Известно, что в Петроград Гумилев прибыл до 20 марта. В Петрограде его положили в лазарет Деятелей искусства. В записях П. Лукницкого сказано: «Перед переосвидетельствованием медицинской комиссией доктор говорил ему, что по состоянию здоровья должен признать его негодным к военной службе. Гумилев упросил признать его годным и, невзирая на плохое состояние, уехал на фронт». Известная фотография поэта с женой и сыном относится к периоду его болезни. Сделана она, судя по дарственной надписи матери, перед 5 апреля 1915 года (скорее всего, 3 апреля, в день рождения Н. Гумилева).

XII и XIII

Стр. 1-2176 — эти две главы описывают события 5 — 6 июля 1915 года, тот бой, за который Гумилев получил второй Георгиевский крест.

Однако несколько слов о том, что ему предшествовало. Гумилев покинул свой полк в середине марта. Уланский полк продолжал наступление на Кальварию. 13 марта в полку случилось чрезвычайное происшествие. Ночью из-за несогласованных действий сторожевого охранения немцам удалось взять в плен 67 улан (из эскадрона № 6). Многие из них позже бежали из плена, и о некоторых рассказано в «Записках кавалериста». Бои, в которых принимал участие полк за период с марта по июнь, в официальном журнале 2-й Гвардейской кавалерийской дивизии обозначены следующим образом:

Арьергардные бои по прикрытию отхода 3-го Армейского корпуса:

— Бои в р-не Пржистованцы и Клейвы — с 13 по 20 марта 1915 г.

— Расположение на позициях в р-не Моргово — Яворово — Даукше — с 8 апреля по 11 мая 1915 г.

Козлово-Рудская операция:

— Бой в Козлово-Рудском лесу — 26 апреля 1915 г.

— Рекогносцировка высоты 48,0 у ст. Мавруце — 28 мая 1915 г.

— Рекогносцировка в р-не ст. Мавруце — с 29 мая по1 июня 1915 г.

— Расположение на позиции в р-не северо-западнее крепости Ковна — с 2 по 5 июня.

— Расположение на Мариампольской позиции и бои за дефиле у Даукше, Новополе и в р-не фол. Яворов — с 6 по 21 июня.

Все эти области лежат несколько севернее того района, в котором Гумилев воевал в феврале — марте 1915 года. Возвратился в полк он в конце мая или начале июня. Активных боевых действий в это время не проводилось, и этот период в «Записках кавалериста» не отражен. 24 июня 1915 года в Олите началась погрузка дивизии в эшелон, который отправился в путь 25 июня и, через Ораны, Гродно, Мосты, Барановичи, Брест, 27 июня прибыл во Владимир-Волынский. Диви-

зия вошла в состав 4-го кавалерийского корпуса генерала Гилленшмидта (вместе с 3-й и 16-й кавалерийскими дивизиями). Корпус относился к северо-западному фронту и входил в XIII Армию генерала Горбатовского. 28 — 29 июня уланы остановились в д. Селец, 30 июня и 1 июля полк стоял в Менчицах и вел разведку на линии Мышев — Старогрудь. 2 июля вечером полк перешел в Ромуш на правом берегу Зап. Буга. 3 июля была предпринята неудачная попытка наступления на Войславице, на правом, австрийском, берегу Буга, и 4 июля всем частям было приказано к 10 часам вечера отойти на позиции в р-не Литовиж — Заболотце — Джарки. Уланский полк остановился в д. Заболотце.

5 июля 1915 года был зачитан приказ № 4015 Гилленшмидта: «Вверенной мне дивизии приказано сменить части 3-й кавалерийской дивизии и занять участок на реке Зап. Буг от д. Литовиж искл. до д. Джарки вкл. Для этого приказываю: <...> Л.-Гв. Уланскому полку при 4-х пулеметах занять левый участок от столба № 15 до восточной окраины дер. Джарки <...> Частям I бригады прибыть к 9 ч. вечера к штаб-квартирам полков 3-го Драгунского Новороссийского — близ кор. 189, 3-го Гусарского Елисаветинского — на дороге из Заболотце в лес, что севернее Джарки. К 8 часам вечера в оба полка в д. Заболотце прибудут проводники от названных полков. К смене приступить с таким расчетом, чтобы все передовые части были на своих местах к 10 ч. 30 м. вечера. Коноводов оставить в лесу в тылу своих участков по выбору командиров полков. Немедленно по получении сего командующим I-й бригады организовать детальную рекогносцировку эскадронных участков полка...».

В «Записках кавалериста» подробно описывается ночной и дневной бой 6 июля. Объективность его рассказа подтверждают свидетельские показания других участников боя, сохранившиеся в деле о представлении к награждению Георгиевским оружием командира эскадрона Ея Величества ротмистра князя Ильи Кропоткина.

Рассказ командира Л.-Гв. Уланского полка ген.-майора Княжевича:

«6 июля полк занимал участок оборонительных позиций на переправах через р. Зап. Буг от д. Джарки до надп. 15. Задача полка заключалась в обороне переправ и обеспечении позиции у д. Заболотце до подхода пехоты. Ротмистр князь Кропоткин с эскадроном и пулеметами занимал крайний левый фланг полкового участка у д. Джарки, наиболее ответственном по условиям местности, как кратчайшее направление от противника в охват левого фланга полка. Ночью противник повел наступление по всему фронту, причем особенно энергично на участок князя Кропоткина, с явным намерением сбить наш левый фланг и, зайдя в тыл полку, отрезать путь отступления к позиции у д. Заболотце. Оценив обстановку, ротмистр князь Кропоткин оказал противнику длительное упорное сопротивление, отражая ружейным и пулеметным огнем настойчивый натиск пехотных цепей, с расстояния, доходившего до 50 шагов. Несмотря на слабость позиции, оборудованной ночью, под проливным дождем, и потери в офицерах и нижних чинах, ротмистр князь Кропоткин стойко держался против превосходящих сил противника, являясь примером доблести и хладнокровия и личным мужеством действуя на чинов эскадрона, чем дал возможность полку задержать противника на переправах в продолжение нескольких часов и затем

в порядке отойти на позиции у д. Заболотце и сдать ее пехоте, подошедшей лишь под вечер. Серьезность операции противника свидетельствует результат контратаки пехоты, которой было взято под Заболотцами 14 офицерских и 840 нижних чинов одними пленными».

Показания помощника командира полка полковника Маслова:

«Заняв ночью на 6 июля окопы с левого фланга левого моего боевого участка, ротмистр князь Кропоткин с рассветом был атакован сильно превосходящими силами, обороняя с эскадроном вверенные ему окопы, энергичным огнем отражая повторные атаки противника. Только благодаря стойкости и спокойствию обороны удалось с горстью людей (около 50 человек) своего спешенного эскадрона отражать атаки как пулеметным, так и ружейным огнем, принимая во внимание, что окопы не были ограждены проволокой и были весьма мелкого профиля, когда и управлять ими было трудно. Несмотря на то, что противник, воспользовавшись мертвым пространством и тайно приготовленным ходом сообщений, накопившись, прорвался с фланга, ротмистр князь Кропоткин продолжал обороняться и только тогда приказал вынести пулеметы и уланам отходить, причем сам отошел последним, когда получил приказание от командира полка...»

Рассказ корнета князя С. Кропоткина (из эскадрона Ея Величества, с ним в окопе сидел Гумилев):

«6 июля 1915 г. наш эскадрон занимал левофланговый участок позиции нашего полка у д. Джарки на реке Буг. В 2 ч. 30 м. ночи противник, открыв убийственный огонь, начал переправу. Командир эскадрона, предупредив эскадрон об ответственности участка, приказал, несмотря на сравнительную нашу малочисленность, держаться во что бы то ни стало. С рассветом выяснилось, что численность наступающего противника доходит до одного батальона пехоты. К этому времени подоспели посланные нам на подкрепление один взвод улан при двух пулеметах. Противник неоднократно пытался приблизиться к нашим окопам, но каждый раз ружейным и пулеметным огнем был отброшен. В 7 часов утра выяснилось, что противник обходит наш левый фланг, но командир эскадрона, послав туда имевшееся в эскадроне ружье-пулемет, приказал все-таки держаться, и только когда пришло приказание отойти на другую позицию и когда противник, распространяясь у нас в тылу, бросился, примкнув штыки, на наши окопы, командир эскадрона ротмистр князь Кропоткин приказал отходить, причем ввиду малой численности людей несколько раз сам лично вез пулемет. Отойдя к 9 ч. утра на указанную позицию, мы сдерживали австрийцев до вечера, когда нас сменила пехота».

Полковник Уланского полка князь Андроников особенно отметил значение упорной обороны эскадрона князя Кропоткина у Джарок: «Опрошенные пленные австрийские офицеры (14) показали, что почти все они проходили Джарки, куда вследствие важности направления и серьезности сопротивления была направлена большая часть пехоты, участвовавшей в ночном наступлении. В случае менее упорной обороны переправ на Буге противник дошел бы на наших плечах до позиций у д. Заболотце ранее подхода туда пехоты Ген. Ад. Мищенко. Если бы противнику

удалось отбросить эскадрон ротмистра князя Кропоткина, полк был бы обойден с левого фланга и австрийцам было бы ближе до д. Заболотце, чем нам...».

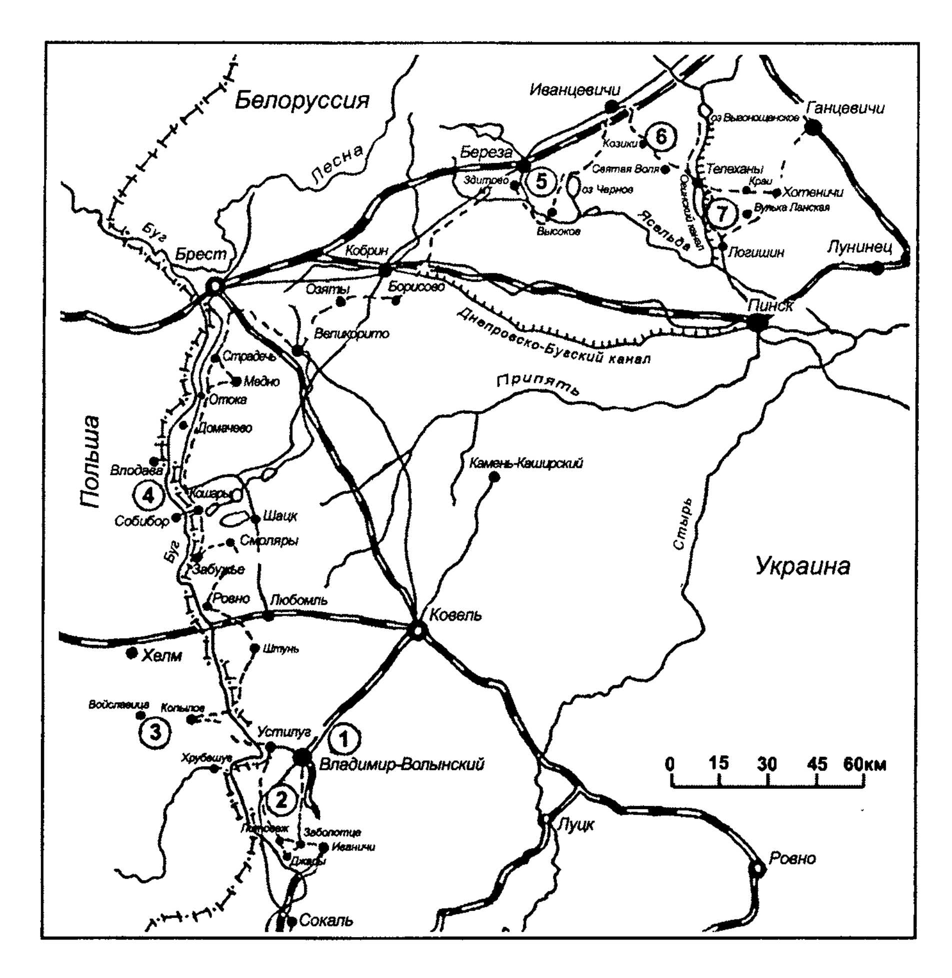
В окопах эскадрон ЕВ сменил эскадрон кавалеристов 3-го Драгунского Новороссийского полка, входившего в состав 3-й Кавалерийской дивизии. В тексте «Записок» в абзаце, начинающемся словами: «Я взглянул в бойницу...», — явная ошибка. Следует читать: «Шагах в двухстах—трехстах...»

В приказе № 355 по Уланскому полку от 6 июля 1915 года перечисляются все потери полка в этом бою, в том числе и офицер, о котором пишет Гумилев: «Сего числа ранен и остался на поле сражения поручик Хлебников. Предписано означенного обер-офицера исключить из списков полка». Был ранен Сергей Владимирович Хлебников. Из офицерского состава в этот день был ранен в голову штабс-ротмистр барон Розен, из нижних чинов: 3 — убиты или остались на поле сражения, 8 — ранены и отправлены в госпиталь.

После отхода улан к Заболотцам бой продолжался весь день. Из донесений от улан: «6 июля. 2 ч. 30 м. дня. Противник наступает цепями в направлении на кладбище и господский двор, что у костела <...> Эскадрон ЕВ правым флангом у кладбища. Ближайшие к противнику цепи на расстоянии 500—600 шагов <...> В эскадроне ЕВ есть небольшие потери...». О сложной обстановке говорит такая фраза в одном из донесений: «3 ч. 25 м. дня. <...> По слухам, еще не проверенным, взят в плен эскадрон Л.-Гв. Уланского полка...». Слух этот не подтвердился: «В 4 часа дня подошли 2 эскадрона улан и расположились северо-западнее кладбища. Потом подошли остальные эскадроны улан туда же. Ко мне подошло 2 пулемета. Перестрелка только против эскадрона ЕВ. С правого фланга нашей пехоты еще не видно...».

Дневной бой 6 июля подробно описан в журнале военных действий 5-й батареи Лейб-Гвардии конной артиллерии:

«Продолжая наступать, австрийцы к утру 6 июля вытеснили спешенные цепи от р. Буг, заняли высоту 100,4, а также и лес впереди д. Заболотце. Наблюдательный пункт, бывший на холме впереди господского двора, сразу же попал под ружейный огонь с опушки леса. Батарея открыла огонь. Позиция неудачна, так как занимали ее ночью, под проливным дождем, но другой нет. Весь день батарея обстреливала лес западнее Заболотце, на опушке которого окопались австрийцы. К вечеру положение создалось следующее. После ночного боя наша конница отошла на дер. Заболотце и заняла западную ее окраину, господский двор и фольварк, а также холмы, идущие с севера на юг параллельно Заболотцам. Гусары с пулеметами целый день вели перестрелку; драгуны 1/2 эскадрона атаковали в конном строю окопы противника, но попали под очень сильный огонь гаубичной батареи, отошли обратно. Противник, не успев переправить свою артиллерию через Буг, держал себя пассивно, вероятно, кроме того, переоценивая наши силы. Наша артиллерия сильным огнем прекращала всякие попытки выхода противника из леса <...> В 9 ч. вечера подошли на помощь 3 батальона (в составе 300—400 человек каждый) 331 Орского пехотного полка 83 пехотной дивизии. Окопавшись под углом к нашему расположению, они, когда стемнело, после 10 минут ружейной перестрелки, несмотря



Записки кавалериста. Схема IV (к главам XII — XVII)

1 — Владимир-Волынский, куда Уланский полк был переброшен в конце июня 1915 года. 2 — бой в районе дд. Заболотце — Джары, за который Н. Гумилев получил второй Георгиевский крест (главы XII и XIII). 3 — переход на левый берег Буга в район Копылова для прикрытия отхода пехоты (начало главы XIV). 4 — отход на север вдоль Буга, столкновение с немецким разъездом у Собибора (конец главы XIV). 5 — дальнейший отход вдоль Буга до Бреста и далее на восток, через Кобрин, за реку Ясельда, позиции на Ясельде у Здитово (глава XV). 6 — прикрытие отхода частей по дороге Иванцевичи — Логишин в районе д. Козики (глава XVI). 7 — расположение на позициях вдоль Огинского канала и столкновение с немцами около д. Вулька Ланская (глава XVII).

на полную темноту и густой лес, штыковым ударом во фланг переправившимся австрийцам, обратили их в бегство, захватили около 800 пленных при 20 офицерах и одного штабс-офицера. Наши потери в этот день ничтожны. Но ввиду превосходства сил Орцы должны были остановиться и окопаться на линии Иваничи — дорога на Джарки».

Только в 9 ч. Вечера 6 июля начальником дивизии было отдано распоряжение № 4028: «С занятием пехотой позиции и когда пехота пройдет через линию, занимаемую частями вверенной мне дивизии, полкам сосредоточиться: <...> Уланам и Конно-Гренадерам — в лесу северо-западнее Колонии Гурова...».

За этот бой приказом по 2-ой Гвардейской кавалерийской дивизии от 5 декабря 1915 года за № 1486 за отличия в делах против германцев Н.С.Гумилев был награжден Георгиевским крестом 3 ст. за № 108868. Объявлено об этом приказом по Уланскому полку № 527 от 25 декабря 1915 года. В приказе № 528 по Уланскому полку от 26 декабря 1915 года объявлено: «Ниже поименованные нижние чины согласно ст. 96 статута производятся как награжденные Георгиевскими крестами: <...> 3 степени эскадрона Ея Величества улан из вольноопределяющихся Николай Гумилев <...> в унтер-офицеры...».

Всего за бой 6 июля в Л.-Гв. Уланском полку было вручено 86 Георгиевских крестов, что говорит о нешуточности того испытания, которое выдержал поэт. А о его личных качествах много говорят строки из посланного сразу же после боя письма жене:

«Дорогая моя Аничка <...> Я тебе писал, что мы на новом фронте. Мы были в резерве, но четыре дня тому назад перед нами потеснили армейскую дивизию, и мы пошли поправлять дело. Вчера с этим покончили, кое-где выбили неприятеля и теперь опять отошли валяться на сене и есть вишни. С австрийцами много легче воевать, чем с немцами. <...> Сейчас война приятная, огорчает только пыль во время переходов и дожди, когда лежишь в цепи. Но и то и другое бывает редко. Здоровье мое отличное...».

XIV

Стр. 1-139 — в главе описываются события с 12 по 31 июля 1915 года.

До 11 июля Уланский полк был в резерве в прежнем районе, стоял в д. Биличи. 11 июля вся дивизия в 11 ч. дня вышла двумя колоннами в р-н Устилуга. В приказе № 4056 от 11 июля говорится: «Нашей дивизии приказано командующим армии перейти спешно тремя полками с артиллерией в Устилуг, а один полк двинуть на Млыниск. Л.-Гв. Уланскому полку с получением приказа выступить через Грибовица — Нискиничи в Млыниск. Задача полку поставлена следующая: произвести набег в тыл противнику в р-не Грубешов, внося панику в оборону противника, и препятствовать его сосредоточению севернее Грубешова...».

Уланы должны были отвлекать на себя неприятеля, чтобы пехотные части, сосредоточенные на левом берегу Буга, могли спокойно отойти на другой берег (по Бугу

проходила граница с Австрией; сейчас это граница с Польшей) и начать запланированный отход армии вглубь. Из донесений Княжевича: «12. 07. Вверенный мне отряд находится при штабе 45 пехотной дивизии. Пехота успешно выполняет свою задачу и вскоре надеется ее окончить, нашей помощи никто не просит, и потому пока нахожусь в резерве» (послано из Цегельны, на левом берегу Буга); «14. 07. <...> 2 эскадрона Л.-Гв. Уланского полка поддерживают связь между цепями пехоты и частью занимают позицию в лесу. Только что начался сильный обстрел д. Копылов тяжелыми снарядами, наша артиллерия молчит». 15 июля улан сменили конногренадеры, и полк отошел в резерв в Лушков. В эти дни в полк пришло следующее распоряжение: «Ввиду предполагавшегося ночью наступления полки бригады были вызваны для уничтожения и сжигания запасов фуража и хлеба...». Первые два эпизода главы XIV относятся к этим дням.

На некоторое время 1-я бригада с Уланским полком была подключена вначале к 5-му, а затем ко 2-му Кавказскому корпусу и направлена в авангарде отходящих частей на север, по правому берегу Буга. Из Лушкова Уланский полк вышел 17 июля и делал остановки: 17 июля — в Скричичине; 18-19 июля — в Погулянках; 20 июля — в Штуне; 21 июля — в Ровно; 22-27 июля — в Столенских Смолярах; 28-30 июля — в Забужье. Этот период не отражен в «Записках кавалериста», однако опубликованы два письма Ахматовой (от 16 и 25 июля), как бы их дополняющие. В последнем письме Гумилев пишет о своем намерении попасть в Петроград. За время отхода бригады постоянно высылались разъезды, но никаких активных боевых действий не было. Так как 1-я бригада шла в авангарде отходящих частей, передовые разъезды часто оказывались, как пишет Гумилев, в «еще не затронутой войной местности». Последний описанный в главе эпизод относится к 31 июля 1915 года. К вечеру этого дня произошло первое за время отхода столкновение с немецкими частями. Накануне был получен приказ: «13 Армии приказано растянуть свой фронт по Бугу к северу от д. Орехов <...> 2-й Гв. Кав. Дивизии вверяется для упорной обороны участок от кол. Александровская до дер. Ольшанка вкл. Для чего приказываю 1) 1 бригаде (Г.-М. Дабич) немедленно с моими частями 2 Кавказского корпуса перейти и занять для упорной обороны участок от д. Ольшанка...».

Из журналов военных действий 2-й и 5-й батарей: «31 июля в 6 ч. утра батарея выступила на присоединение к бригаде, к которой и пошла, идя за головным Л.-Гв. Уланским полком на д. Ольшанку. Бригаде был дан участок обороны дд. Ольшанка и Кошары. <...> Остановились на бивак в Кошарах, встали на позиции, восточнее деревни...». Передовые уланские разъезды пришли в Кошары утром. Точно напротив Кошар, на другом берегу Буга, располагается д. Собибор, а на окраине ее стоял тот усадебный дом, в котором побывал поэт. Из донесений от уланских разъездов: «По полученным от трех офицерских разъездов сведениям, д. Собибор в 2 ч. 50 м. дня оказалась занятой смешанной немецкой конницей. <...> Неприятельские дозорные выходят из деревни, но при появлении наших разведчиков возвращаются обратно. Наши разъезды при подходе к д. Собибор обстреливаются ружейным огнем». Дальнейшие события этого дня изложены в журналах артиллери-

стов: «В 2 S часа дня появились на берегу пешие части противника <...> В 6 S ч. вечера разведывательные эскадроны противника, усиленные пешими частями, стали продвигаться вперед. 1 взвод открыл огонь <...> 3 взвод встал левее позиции батареи, чтобы обстреливать южную окраину дер. Собибор <...> Совместно со 2 батареей открыли огонь по передовым частям германцев, подошедшим к д. Собибор и занявшим ее. Метким огнем препятствовали выходу их из деревни, чем задержали противника на всю ночь <...> Батарея обстреляла дом за ф. Собибор, где были поставлены немцами пулеметы. Вечером произведена пристрелка по разным направлениям, а именно, окраины д. Собибор, окопы за восточной ее опушкой, фол. Собибор, отдельный дом за ним, лес западнее деревни на прицелах». Во время этой пристрелки и был подожжен помещичий дом, сохранившийся лишь на страницах «Записок кавалериста». А картины взять с собой Гумилев хотел, потому что вскоре он оказался в Петрограде. Там он провел всего несколько дней и через неделю вернулся в полк.

В начале августа отход вдоль Буга на Брест продолжался. Уланский полк проходил через Новосады (2.08), Черск (3. 08), Кобелка (4. 08), Отоки (5. 08). Последний участок обороны на Буге, который занимал Уланский полк, — от ф. Колпин до д. Отоки; стоял при этом полк в д. Медно (с 6 по 10 августа). 8 августа дивизия вышла из состава 2-го Кавказского корпуса и вошла в состав 29-го Арм. корпуса. Уланский полк прикрывал отступление арьергарда 29-го корпуса. 11 августа было прощание с Бугом: «Перед снятием с позиций вместе с 4 батареей 27 арт. бригады дали в разные стороны по 4 очереди беглого огня. Это было сделано по приказу ген. Княжевича для прощания с Бугом. После этого с хором трубачей Уланского полка генерал Княжевич уехал. По дороге играли марши всех полков и другие музыкальные №...». С этого дня началось отступление армии от Буга на Кобрин и далее на Слуцк.

XV

Стр. 1-68 — в главе описывается бой 24-25 августа 1915 г.

После того, как 11 августа Уланский полк повернул на восток и в течение двух дней наблюдал пожар Брест-Литовска, перед ним была поставлена задача прикрывать отступление арьергардов корпуса и разведывать на участках 27-й пехотной дивизии. При этом дивизия находилась в резерве командующего III Армии. Отход шел через Радваничи (13.08), Борисово (14. 08), Кустовичи (15-16. 08), Воротно (17.08), Угляны (18-20. 08), Ново-Пески (21-25. 08). Приказом № 4269 от 20 августа дивизии было назначено: «Наблюдать участок по левому берегу р. Ясельды от г. дв. Здигово до Старомлына. 1 бригаде — от южной окраины дер. Стригин до перекрестка дорог в 1 версте сев.-зап. дер. Пересудовичи...». Во время отхода уничтожались мосты, зажигались деревни: «19.08. Шли через Сигневичи, Новоселки, Здитово <...> У Здитово переправились по новому мосту через Ясельду. Уходя, зажигали все деревни. Ночью было светло как днем».

В боевом деле дивизии этот период обозначен: «С 19 по 25 августа 1915 года расположение по Ясельде и бои за переправы у Старомлына — Жабер — Здитово». Уланский полк со 2-й батареей занимал позиции в районе Стригин — Здитово. Из журнала военных действий 2-й батареи: «24.08. Батарея на позициях у Стригин, огонь по окопам противника <...> Взвод батареи неприятеля начал обстреливать сторожевое охранение Улан <...> 25.08. На позициях в 4 ч. ночи <...> В 6 ч. вечера противник открыл огонь по наблюдательному пункту 1 взвода, а 1 взвод — по халупам, у которых весь день замечено шевеление противника <...> В 11 ч. вечера батарея по тревоге оседлана и с тремя эскадронами улан пошла к шоссе и дальше на северо-восток...». Сторожевое охранение улан у р. Ясельды описывает Гумилев в этой главе. 25 августа 1-я бригада была заменена частями 45-й пехотной дивизии и переброшена на другой участок.

XVI

Стр. 1-108 — описываемые события относятся к 1 — 2 сентября 1915 года.

Пройдя за ночь около 50 верст, Уланский полк утром 26 августа встал на бивак в д. Озерец. Шедшая с полком 2-я батарея встала на отдых в д. Подстарины (в р-не Иванцевичи). Частям 1-й бригады был предоставлен недельный отдых. 2-й Гвардейской кавалерийской дивизии было приказано охранять правый фланг 31-го Армейского корпуса, в р-не которого и приказано сосредоточиться. Для этого дивизии надо было перейти в район Святая Воля — Телеханы — Логишин и расположиться вдоль Огинского канала. В приказе № 4366 по дивизии сказано: «От I бригады выставить I сентября в 8 ч. утра дежурную часть в составе эскадрона с 2-мя пулеметами к дому лесника у ручья на дороге между Козики и Святая Воля. Способы разведки — самые разнообразные (на конях, пешком, с переодеванием и т. д.). Штаб — в Телеханах». В приказе № 4395 от 1 сентября указывается: «Противник занимает Любищицы — Яглевичи — Гичицы — Ходаки — Житлин. Приказываю: I бригаде — не допустить противника в р-н Святой Воли, наблюдая за Козики <...> Населению приказывать уходить восточнее канала на Гонцевичи, не оставляя никакого скота западнее канала...».

Идущая через Козики, Великую Гать, Святую Волю, Телеханы, Озаричи, Логишин дорога пересекает леса и болота и до сих пор является единственной проходимой дорогой в этой местности. Прикомандированные к 31-му Армейскому корпусу уланы прошли Козики и остановились, как сказано в приказе, у дома лесника. В этом месте и происходили описываемые события. Утром полк ушел: «31 Арм. корпус отошел за Огинский канал. Дивизии приказано отойти тоже за канал. В 5 ч. утра батарея выступила в д. Святая Воля, откуда в 6 ч. утра бригада пошла на м. Логишин. Батарея шла в середине колонны за Лейб-гвардии Уланским полком...». В приказе № 4413 от 2 сентября предписывалось: «I бригаде выступить из Святой Воли в 6 ч. утра и двигаться на д. Турная — Омельная — Озаричи — Логишин. Притянуть к бригаде разведывательные эскадроны, оставив в Козики, Вулька-Обровская и

Оброво по сильному разъезду (в 12 ч. дня они будут заменены драгунами)». С одним из этих разъездов, в Козиках, и остался Гумилев. При отходе Козики и другие деревни были подожжены.

С 2 по 4 сентября Уланский полк стоял в Логишине, ведя наблюдения к западу от Огинского канала и обороняя дороги Телеханы — Хотеничи и Выгонощи — Хотеничи. 5 сентября дивизия была разделена на два отряда, Уланский полк вошел в отряд ген.-майора Шевича. 7 сентября отряду Шевича было приказано продвинуться возможно дальше вперед, для чего Л.-Гв. Уланскому полку со взводом артиллерии приказано занять д. Гортоль. С 5 по 9 сентября Уланский полк стоял в Рудне. 8 сентября противник с утра перешел в наступление и занял д. Речки. Было приказано выбить его оттуда. К 6 ч. вечера отряд Шевича, поддержанный 2-й. батареей, выбил противника из Речек.

Стр. 35-36 — полинезийские каннибальские племена (маори, самоанцы, тончане, таитяне и др.) верили в духов; их капища соединялись с кладбищами и изобиловали многочисленными идолами, которым приносились человеческие жертвы.

XVII

Стр. 1-89 — описываемые события относятся к 9 — 10 сентября 1915 года.

Из донесений от 9 сентября 1915 года: «31 Арм. корпус перешел в наступление. Бригаде ген. Шевича приказано наступать на его правом фланге. В 1 ч. дня выяснилось, что противник очищает лес западнее д. Речки. Командир бригады приказал Уланскому полку со взводом артиллерии занять Вульку Ланскую. Остальным взводам для содействия этого обстрелять Хворосно...». Ген. Шевич докладывал: «Спешенные эскадроны, поддержанные огнем 2-й батареи, атакой в штыки выбили противника из Вульки Ланской в 6 ч. 30 м. вечера, причем были взяты в плен 2 нижних чина 272 германского пехотного полка здоровых и 6 раненых. В деревне были оставлены немцами 11 убитых <...> Ночной разведкой выяснили, что неприятель из Вульки Ланской отошел на д. Хворосно <...> В течение дня 9 сентября и ночью был сформирован заслон полковника Толя из 1 1/2 роты 107 пехотного полка и трех эскадронов с 5-й батареей и взводом пулеметной команды в направлении на Телеханы, которые сдерживали попытки немецкого наступления из Гортоли на Край — Гута — Буда и к вечеру прочно закрепились на этой линии...». 10 сентября генерал Шевич сообщил: «В 3 ч. дня близ хут. Осина была обнаружена ружейная рота пехоты противника, выходящая из леса и шедшая от Логишина на сев.-запад. Эта колонна была обстреляна с близкого расстояния 2-й батареей, после чего мною было послано 3 эскадрона для атаки в конном строю. Атаку не удалось довести до конца, так как противник рассыпался в лесу, заваленном срубленными деревьями, открыл огонь...». Рассказ Гумилева об этом инциденте дополняет донесение от эскадрона Л.-Гв. Гусарского полка: «Часов в 12 дня отряд Ген. Шевича выступил на Вульку Ланскую, Валище для выполнения задания. Не доходя I версты до д. Валище отряд неожиданно обнаружил около батальона

немецкой пехоты, пробиравшейся лесом на запад. Их увидала группа начальников, выехавших вперед в тот момент, когда немцы переходили поляну. 2-я батарея моментально выехала на позицию и, как потом выяснилось, очень удачно обстреляла 2 эскадрона пеших улан под начальством полковника князя Андроникова, уже успевших выйти на дорогу Логишин — Валище...».

Два эскадрона улан, в том числе и тот, в котором служил Гумилев, стояли у дома лесника, располагавшегося не доходя 1 1/2 версты до д. Вулька Ланская. Эскадрон ЕВ в результате обстрела собственной батареей понес заметные потери. Как следует из приказа № 421 от 10 сентября 1915 года по Уланскому полку, был убит состоявший при эскадроне обозный Демьян Черкасов, ранены два улана и убиты три лошади.

В приказе по Уланскому полку № 419 от 8 сентября 1915 года сказано: «Вернувшихся из плена № 6 эскадрона унтер-офицеров взводного Сигизмунда Кочмарского и Спиридона Сибилева зачислить в список полка и на довольствие с 7 сентября». Именно об этих уланах рассказывает Гумилев в заключительных строках «Записок кавалериста». Об их подвиге 2 ноября 1915 года было объявлено в приказе № 5687 по 2-й Гвардейской кавалерийской дивизии:

«8 сентября возвратились в полк бежавшие из плена уланы Ея Величества взводные унтер-офицеры № 6 эскадрона Сигизмунд Кочмарский и Спиридон Сибилев. Взяты в плен были в ночь на 14 марта в дер. Прулитанцы, причем взводный Кочмарский был ранен пулями в бедро и руку. Находясь в лазарете в Вержболове, они просили их не выписывать до тех пор, пока не найдут возможности бежать, и, улучив момент, бежали через подкоп под забором. Сообщившись с еще 8 пленными пехотных полков и вооружившись откопанными из земли по указанию местного жителя винтовками, беглецы шли по солнцу и звездам. По пути они резали все встречавшиеся провода и у дер. Даукше с криком «ура» бросились с тыла на германский полевой караул, обратив его в бегство, затем вышли на наш полевой караул 26 Сибирского стрелкового полка, дав весьма ценные сведения о противнике».

До конца 1915 года Л.-Гв. Уланский полк находился на позициях вдоль Огинского канала. В течение сентября продолжались периодические столкновения с неприятелем, а с октября по декабрь практически никаких боевых действий не было. В декабре 1915 года полк отошел на отдых в д. Дребск, за Лунинец.

20 сентября 1915 года сдал свои полномочия командующего полка ген.-майор Княжевич. В приказе № 431 от 20 сентября 1915 года объявлено: «26 декабря 1913 года я имел счастье получить наш славный полк <...> На мою долю выпало повести полк на войну <...> С глубокой грустью принужден я теперь сдать полк, к моему утешению, я назначен вашим бригадным командиром, а потому имею возможность продолжать быть вблизи вас. Сердечно рад, что сдал полк в верные руки нашему старшему товарищу улану, глубокоуважаемому Михаилу Евгеньевичу Маслову». Через два дня после этого по полку был объявлен приказ № 433 от 22 сентября 1915 года:

«Командированного в школу прапорщиков унтер-офицера из охотников эскадрона Ея Величества Николая Гумилева исключить с приварочного и провиантского довольствия с 20 сего сентября и с денежного с 1 октября с. г.».

Военная служба поэта будет продолжаться еще долго (до апреля 1918 года), однако служба в Лейб-Гвардии Уланском полку на этом закончилась, и продолжения «Записок» не последовало.

Завершаются «Записки кавалериста» обращением к Пушкину: Гумилев цитирует строки из заключительной части поэмы «Полтава»:

Прошло сто лет — и что ж осталось
От сильных, гордых сих мужей,
Столь полных волею страстей?
Их поколенье миновалось...

17. При жизни не публиковалось. Печ. по: СС IV (публ. Г.П.Струве).

СС IV -- Проза 1990 -- СС IV (Р-т) -- Соч II -- СПП -- Круг чтения -- СС 2000 -- ТП 2000 -- АО -- Проза поэта; Сполохи (Берлин), 1922, № 10 -- Воля России (Прага), 1931, № 1-2 -- Аврора. 1987. № 12 -- Лепта. 1992. № 1 (непр. загл.)

Дат.: июль — декабрь 1917 г. — по датировке В.К Лукницкой с уточнением Е.Е.Степанова (см.: Жизнь поэта. С. 200; Соч III. С. 403).

История создания и публикации рассказа дана у Г.П.Струве: «Впервые — журнал Сполохи (Берлин). 1922. № 10. С. 20-21. В том же журнале раньше было напечатано стихотворение «Гончарова и Ларионов. Пантум (см. № 108 (III)) — *Ред.*). И рассказ, и стихотворение были затем перепечатаны, без всякого указания на предыдущую публикацию, в журнале Воля России (Прага). 1931. № 1-2. С. 53-58, под заглавием «Неизданные произведения Н.С.Гумилева». Перепечатке была предпослана следующая вступительная заметка: В 1917 году, в бытность свою в Париже, Н.С.Гумилев часто встречался и дружил с художниками Н.С.Гончаровой и М.Ф.Ларионовым. Однажды Н.С.Гончарова увидела у поэта небольшую индусскую миниатюру, изображавшую черного генерала и несколько пострадавшую от дурного обращения. Миниатюра очень понравилась Н.С.Гончаровой, и Н.С.Гумилев подарил ее художнице, сопроводив свой подарок небольшим рассказом, который мы воспроизводим с любезного согласия Н.С.Гончаровой. Печатаемые ниже стихи Н.С.Гумилева предоставлены нам М.Ф.Ларионовым.

Ввиду того, что в тексте Сполохов (по всей вероятности, полученном тоже от Н.С.Гончаровой и М.Ф.Ларионова) пропущена часть одной фразы, мы предпочли текст Воли России, исправив некоторые явные опечатки. На стр. 89 в строке 6 снизу в Сполохах (стр. 15 наст. изд. — *Ред.*) вместо слова лакею — жокею (СС IV. С. 591).

К этому следует добавить фрагмент из статьи Н.М.Минского, характеризующий увлечение поэта восточными миниатюрами во «второй» парижский период его жизни, во время которого он стал непосредственным свидетелем краха российской

европейской политики: «После войны я встречался с ним в Париже. Прежняя его словоохотливость заменилась молчаливым раздумьем и в мудрых, наивных глазах его застыло выражение скрытой решимости. В общей беседе он мало участвовал, и оживлялся только тогда, когда речь заходила о его персидских миниатюрах. Я заставал его углубленным в чтение. Оказалось, он читал Майн-Рида» (Николай Гумилев в воспоминаниях современников. С. 170).

В работах, посвященных Гумилеву, «Черный генерал» практически не исследовался, упоминания о нем носили самый общий характер, — как, например, высказанное мимоходом замечание В.Полушина, что в рассказе Гумилев «в гротескной форме едко высмеял тупость и чинопреклонение выскочек» (Полушин В. Волшебная скрипка поэта // ЗС. С. 663). Между тем, этот рассказ — прекрасный образчик поздней прозы поэта, продолжающий (и завершающий) на новом уровне «новеллистическую» линию его прозы, давшую в 1908 г. столь яркие результаты. Тематически и стилистически этот рассказ, возможно, ближе по духу, чем «Последний придворный поэт», к сказкам Андерсена (ср. «голого протагониста» гумилевского героя в «Новом платье короля») и О. Уайльда (особенно элегантно легкие, полушутливые сказки из сб. «Счастливый Принц и другие рассказы») (см. комментарии к № 8 наст. тома). К «детским» литературным образцам восходит и песня «костлявого старика», якобы сложенная «по строгим правилам тибетского стихосложения». Она имеет своим прототипом английские детские народные «нарастающие» песенки (accumulative rhymes) наподобие «Дома, который построил Джек», имеющие древние истоки, скорее всего в дренееврейской антологии Аггады («Козленок, которго купил отец за две монеты»). Упоминание об «Индии Духа» имеется в ст-нии «Заблудивший трамвай» (см. № 39 (IV) и комментарии к нему), а в ст-нии «Прапамять» Гумилев сравнивает себя с «простым индийцем, задремавшим в священный вечер у ручья», т.е. с Буддой (см. ст-ние № 69 (III); в этом контексте см. также: Богомолов. С. 118). «Индийские» мотивы присутствуют в драматической сказке «Дерево превращений» (см. № 8 (V)) и в киносценарии «Жизнь Будды» (№ 10 (V)).

Гончарова Наталья Сергеевна (1881-1964) — живописец и график. С 1915 г. вместе с мужем, М.Ф.Ларионовым, жила в Париже. Об их встречах с Гумилевым в 1917 г. см.: Ларионов М.Ф. Из писем о Н.С.Гумилеве // Жизнь Николая Гумилева. С. 101-104 (и комментарии к ним), а также комментарии к № 108 (III). В 1922 г. Н.С.Гончарова создала эскизы декораций и костюмы для предполагавшейся постановки пьесы «Дитя Аллаха» в Берлине (см. комментарии к № 5 (V). С. 444).

Стр. 2 — Кембриджский университет — одно из самых престижных учебных заведений Великобритании, куда традиционно поступали представители туземной «золотой молодежи» стран, входивших в состав Британской Империи. Вице-король (или губернатор) Индии — высший представитель английской короны в индийских владениях; резиденция его была в Калькутте (летняя — в Симле). Стр. 5 — «Махабхарата» («Великая война потомков Бхараты») — древнеиндийская эпическая поэма; наряду с «Рамаяной» является величайшим произведением индийской

литературы. Эта огромная поэма (170000 двустиший (шлок)) рассматривалась ортодоксальными индусами как сакральный текст и, чаще всего, как руководство при решении спорных религиозных, философских и моральных вопросов, что предполагало цитирование ее фрагментов наизусть для полемической аргументации. Стр. 8 — Бомбей — крупнейший город-порт на западе Индии; был административным центром английской экспансии. Стр. 10 — раджа — индийский титул владетельной особы. Стр. 14 — радж-йога — имеются в виду духовные и физические упражнения, соответствующие одной из ступеней йоги, индийского учения о пути духовного и физического совершенствования личности. Стр. 21 — рупия — монетная единица в Британской Остиндии, включавшая в себя 16 анна (1 анна равнялся тогда приблизительно 12 пенсам). Стр. 32-34 — фактическая ошибка, допущенная Гумилевым: лотос (различные виды кувшинки), действительно считается священным растением в Индии, но цветет он, разумеется (как и все кувшинки), сообразно естетственной сезонной регулярности; раз в столетие, в Иванову ночь (по народному преданию) цветет папоротник, и его цветок, буде вовремя обнаружен и срезан, является магическим средством для обнаружения кладов. Стр. 88-89 — Анатоль Франс (наст. имя Ж-А.Тибо, 1844-1924) — французский писатель, публицист и общественный деятель; в творчестве Франса нашли продолжение традиции великих французский сатириков от Рабле до Вольтера: он высмеивал суеверия, чванство, глупость французского «высшего общества» (об «итальянских новеллах» Франса см. также комментарии к № 4 наст. тома). Анри Матисс (1869-1954) — один из величайших французских художников-новаторов XX столетия; в начале века — лидер скандально известной группы «фовистов» (т.е. «диких», от "fauves"). Гийом Аполлинер (наст. имя В.А.Костровицкий, 1880-1918) — французский поэт-авангардист, критик и живописец, один из основоположников кубизма; будучи ультралевым по своим убеждениям, эпатировал парижское общество скандальными эскападами и quasi-криминальными приключениями (в 1911 г. он был даже арестован по подозрению (неосновательному) в похищении «Джиоконды»). Гумилев познакомился с ним в Париже: Г.П. Струве упоминает о рисунке Ларионова, изображающем Гумилева «с Гиёмом Аполлинером» (Струве Г. Из моего архива // Мосты. 1970. № 15. С. 405). Стр. 91 — «черными гусарами» называли личный состав 5-го гусарского Александрийского полка, носивший черную форму; Гумилев был прапорщиком этого полка с апреля 1916 по май 1917 г.

18. При жизни не публиковалось. **Печ. по автографу 1.**

Неизд 1952 (с ошибочным порядком глав) -- СС IV (с ошибочным порядком глав) -- ЗС (с ошибочным порядком глав) -- СС IV (с ошибочным порядком глав) -- Соч II (с ошибочным порядком глав) -- Изб (XX век) (с ошибочным порядком глав) -- СС 2000 (с ошибочным порядком глав) -- ТП 2000 (с ошибочным порядком глав) -- Изб 2000 (с ошибочным порядком глав) -- АО (с ошибочным порядком глав) -- Проза поэта (с ошибочным порядком глав) -- СПП 2001 (с ошибочным порядком глав); Горизонт. 1989. № 12 (с ошибочным порядком глав).

Автограф 1 — Gleb Struve Papers, 1910-1985 (Hoover Institution Archives). Box 88 folders 12 and 13. *Глава первая*. Над строкой 1 в углу листа стоит — «В час. В 6 часов». В стр. 51 после «Адама с Евой» вместо «вовсе» ранее было «совсем». В стр. 116 — после «умелой» ранее было «и тщательной <?>». В стр. 126 — после «перед мельницей» ранее было «лежала». В стр. 157 вместо «свертком» ранее было «пакетом». *Глава вторая*. В стр. 76 — перед «неожиданно» раньше было «вдруг». Стр. 171 — вместо «увидался» ранее было «познакомился». В стр. 198 — после «шестой» ранее было «значит». В стр. 224 вместо «Свежий» ранее было «Свежий умоляющий». *Глава третья*. После стр. 35 — текст ст-ния № 114-а (см. наст. том, раздел «Дополнения к тт.3-4»). В стр. 218 перед «живыми» ранее было «настоящими». *Глава четвертая*. В стр. 14 вместо «путники» ранее был «они». В стр. 47 — вместо «приветствие» ранее было «обращение». В стр. 92 — вместо «Девки» ранее было «И девки вдруг». В стр. 172 — вместо «трогать» ранее было «держать». *Глава пятая*. В стр. 5 — вместо «подобно» ранее было «как». В стр. 23 после «пахнущая» ранее было «каким-то». В стр. 32 всесто «лежать» ранее было «смотреть», вместо «ни о чем» — «ничего». В стр. 50 после «кошмара» ранее было «было». В стр. 51 после «бормотал» ранее было «себе». В стр. 71 вместо «прошел» ранее было «миновал их». В стр. 84 вместо «прихотей» ранее было «фантазий».

Автограф 2, вар. (перебеленная рукопись фрагмента первой главы (стр. 1-34)) — Gleb Struve Papers, 1910-1985 (Hoover Institution Archives). Box 88 folders 12 and 13. Автограф 3, вар. (машинопись перевода первой и второй глав на английский язык) — Gleb Struve Papers, 1910-1985 (Hoover Institution Archives). Box 48 folder 9.

Дат.: до 10 апреля 1918 г. — по предположительной дате отъезда Гумилева из Англии в Россию (см.: Соч III. С. 405).

Повесть «Веселые братья» относится, по всей вероятности, к работе Гумилева над романом, с которым, по словам Ахматовой, «он носился всю жизнь» (см. вступительную статью к комментариям). В этом качестве она связана как с ранними рассказами, так и с «Путешествием в страну эфира» (см. № 15 и комментарии к нему). Помимо того, некоторые мотивы «Веселых братьев» перекликаются со ст-ниями Гумилева «Старые усадьбы» (№ 114 (II)), «Змей» (№ 37 (III)) и «Мужик» (№ 56 (III)).

Работа над тем текстом, который в настоящее время имеется в читательском распоряжении, была начата Гумилевым в 1917 г.; первоначально повесть называлась «Подделыватели» (см.: Соч III. С. 399). Весной 1918 г., собираясь вернуться в Россию, Гумилев оставил Б.В.Анрепу, который был его «английским конфидентом», весь свой «черновой архив», забрав с собой, судя по всему, только окончательные беловые тексты созданных за границей в 1917-1918 гг. произведений (см. вступительные заметки к комментариям тт. III и V и комментарии к № 7 (V)). Таким образом, мы не исключаем, что в будущем, возможно, обнаружится и окончательный вариант повести, подобно тому, как был обнаружен соответствующий вариант трагедии «Отравленная туника». Что же касается «чернового архива», то он в 1942 или

1943 гг. был передан Анрепом Г.П.Струве, который и опубликовал «Веселых братьев» в Неизд 1952, а затем, с небольшими добавлениями в расшифровке, — в СС VI. К сожалению в обоих публикациях была допущена существенная ошибка, полностью исказившая сюжетный замысел автора: текстовой фрагмент, обозначенный публикатором как «Глава вторая» был на деле компиляцией глав второй, пятой и четвертой. Именно в таком виде текст «Веселых братьев» и публиковался далее во всех изданиях прозы Гумилева (включая и Соч II). В настоящем томе впервые публикуется подлинная гумилевская сюжетная версия повести.

Материалы «Веселых братьев» в архиве Струве весьма разнородны. Это рукопись пяти первых глав повести (автограф 1), *чистая* тетрадь, на титуле которой гумилевской рукой написано: «Н.Гумилев. Веселые братья. Повесть», с единственной заполненной первой страницей (начальный фрагмент повести: заглавие — «Глава первая» и далее три абзаца) (автограф 2) и перевод на английский язык текста первой и второй глав, выполненный в машинописном виде (первый экземпляр и копия) (автограф 3).

Автограф 1 представляет собой рукопись на 20 листках бумаги, сложенных пополам («книжечкой»), на которых содержится 5 законеченных текстовых фрагментов (глав). Исключением является лишь финал первой главы, оборваный на полуслове (стр. 160), так что строки 160-222 возможно реконструировать только с помощью английского перевода (автограф 3) «обратным» переводом на русский язык; в настоящей публикации они выделены *курсивом*. Начало и конец каждого фрагмента обозначены отступлением соответственно от верхнего и нижнего полей листа. Порядковые обозначения фрагментов присутствуют только в первой (римская цифра I) и третьей (заголовок «Глава третья») главах, однако реконструкция сюжетной последовательности очень проста (непостижимой загадкой поэтому остается ошибка Г.П.Струве): вторая глава определяется по обозначенному римской цифрой II переводному эквиваленту в автографе 3, а последовательность четвертой и пятой — по содержанию, исключающему их перестановку. Рукописный текст выполнен «классической» гумилевской скорописью, — весьма трудно поддающейся расшифровке, с произвольной пунктуацией, — которой выполнены все его «окончательные черновики» (являющиеся источниками перебеленных окончательных вариантов). Таким образом, можно почти наверняка предположить, что, во-первых, имелись какие-то предварительные материалы, и, во-вторых, что был сделан и окончательный, беловой вариант. В первом убеждает малое количество правки в автографе: трудно предположить, чтобы текст такого качества в таком объеме мог создаваться как чистая импровизация. Во втором — то, что рукопись, выполненную черновой скорописью, Гумилев не мог отдать переводчику — если и не из вежливости, то, по крайней мере, из-за трудности дешифровки (расшифровка гумилевских черновиков — особая текстологическая проблема, являющаяся прерогативой ограниченного числа специалистов).

Автограф 2 Г.П.Струве, основываясь на графологическом анализе, атрибутирует как беловой автограф (см.: СС IV. С. 592). Формально это, действительно, так, однако окончательным данный текст признать невозможно не только из-за того, что

фрагмент не был продолжен Гумилевым. Главным аргументом в пользу существования иного (и окончательного) белового варианта, является то, что английский перевод первых трех абзацев первой главы гораздо больше соответствует варианту автографа 1 нежели варианту автографа 2 (ключевой фразой в данном сопоставительном анализе являются стр. 17-21: ср: «Да и какие секреты могла бы иметь эта милая пара, он сочинял старообрядческие гимны, розовый и кудрявый, как венициановский мальчик, она — всегда спокойная и послушная, с сияющими глазами и со смуглой кожей, которая выдавала татарскую или даже половецкую кровь» (автограф 1); «Да и какие тайны могла бы иметь эта милая пара, он запевала старообрядческим <...>, розовый и кудрявый, как венициановский мальчик, она — спокойная и послушная, с вечно сияющими, как в праздник, глазами» (автограф 2); «Besides, what secrets could these children have?.. Vania the composer of hymns and sacred songs, curly and rosy cheeked as a Venezianovsky painting; and Masha, the gentle and obedient, with bright eyes and dark skin revealing her Tartar or Indian blood» (автограф 3)). Очевидно, данный фрагмент был *попыткой* создания Гумилевым белового автографа. Собственно беловой автограф, отданный затем переводчику, был записан в другой тетради, которую Гумилев забрал с собой в Россию, как это он сделал с рукописью «Отравленной туники» и беловыми списками стихотворений, с которых затем набирался текст «Костра».

Наличие автографа 3 (публикуется впервые) является не только текстологической, но и биографической проблемой гумилевоведения. Г.П.Струве отмечает, что этот перевод — «неизвестно кем и когда сделанный, но, очевидно в Лондоне» (СС IV. С. 592). Такая справка почти начисто отметает соблазнительное предположение, что гумилевским переводчиком был Б.В.Анреп: сложно представить, что передавая материалы «из рук в руки», тот не проинформировал Струве, своего «доброго знакомого и тогдашнего сослуживца (мы оба были русскими «слухачами» на радиостанции агенства Рейтер под Лондоном)» (см.: СС III. С. 247), о таком важном обстоятельстве (хотя возможность *случайной* забывчивости, конечно, есть всегда). Другим вероятным кандидатом на роль переводчика «Веселых братьев» является граф Карл Бечхофер Робертс, в будущем — автор многочисленных биографий, романов и путевых записок, а тогда — корреспондент «The New Age», знакомый с Гумилевым еще по Петрограду 1915 года. В «лондонские месяцы» Гумилева Бечхофер взял у него интервью, помещенное затем на страницах еженедельника. Можно предположить, что и фрагменты повести предназначались для публикации там же (по крайней мере, читая интервью, трудно отрешиться от мысли, что это не своеобразный «анонс» грядущей публикации, — настолько схожи некоторые идеи, высказанные поэтом, с мотивами «Веселых братьев» (см.: Русинко Э. Гумилев в Лондоне: неизвестное интервью // Исследования и материалы. С. 299-309)). Перевод мог сделать также и Дж. Курнос, — один из «лондонских» знакомых Гумилева, профессиональный переводчик и сотрудник «The New Age». Он был русского происхождения, переводил Блока, Сологуба, Ремизова, и мог потому справиться с трудным (с точки зрения перевода) гумилевским текстом.

Несомненно одно: Гумилев попытался дебютировать с повестью на европейской «литературной арене». Однако, когда возвращение в Россию было решено, данный перевод остался невостребованным. В общем он довольно точно (если не считать типично переводческих нюансов, связанных с поиском английских аналогов русским идиомам) соответствует тексту первой и второй глав в варианте автографа 1, хотя имеются и несомненные расхождения, свидетельствующие, опять-таки, об очень высокой возможности другого источника перевода. Во первых это перестановка местами двух первых абзацев второй главы и исключение в ней же эпизода пляски Мити и его конфликта с деревенским парнем (стр. 87-112), и, во-вторых, исключение или добавление некоторых значимых деталей в повествовании: упразднение указания на Пермскую губернию в переводном эквиваленте стр. 1 первой главы, уточнение, что отец Маши был мельник в стр. 14 первой главы, пробел между стр. 68-69 (очевидно оставленный для перевода стихотворного текста песни Вани), упразднение названий методов первой помощи в стр. 130 первой главы, буква О. вместо названия села Огрызкова в стр. 5 второй главы, иная версия стр. 216-217 второй главы, а также замена «князей» на «профессоров» в стр. 194 второй главы.

Публикуя повесть, Г.П.Струве писал: «Веселые братья» производят довольно странное впечателение. Мы имеем в виду не шероховатости стиля — по всей вероятности, при отделке повести набело Гумилев подверг бы ее стилистической правке... Странное впечатление производит самый замысел повести (до конца, правда, неясный) и ее персонажи — и то, и другое ничуть не похоже на то, что мы находим в другой прозе Гумилева. Местами кажется, будто Гумилев кого-то и что-то хочет пародировать (приходит на ум, например, «Серебряный голубь» Андрея Белого), но рядом с этой пародийностью чувствуется и наличие серьезного замысла. В персонажах повести — в «сермяжном алхимике» Мише, в братьях Сладкопевцевых с их рассказами о Франции и их «учеными» фантазиями — есть что-то от Лескова и Ремизова. А в инженере Шемяке — что-то от Ремизова и от Достоевского (такой персонаж можно смело вообразить себе позже на страницах Пильняка, даже в фамилии звучит что-то пильняковское). Сказалось, может быть, немного и влияние Алексея Н.Толстого. Во всяком случае во всей повести чувствуется какая-то новая и на первый взгляд неожиданная для Гумилева нота. <...> Надо думать, что тема темной мужицкой Руси и провинциальной России, где

На базаре всякий люд,
Мужики, цыгане, прохожие,
Покупают и продают,
Проповедуют Слово Божие, —

как-то владела в то время Гумилевым. В «Веселых братьях» она вошла в сочетание со свойственной Гумилеву романтикой и фантастикой и с некоторой нарочитой мистификацией. <...> Отзывов о «Веселых братьях» (после публикации Неизд 1952 — *Ред.*) было мало. Б.А.Филиппов в «Новом журнале» (кн. 31, 1952) нашел, что «Веселые братья» чем-то напоминают «Приключения Никодима» А.Скалдина и

прибавлял: «Повесть эта, вышедшая, кажется в 1913 году, была одно время настольной книгой у многих писателей Петербурга. Сама идея тайного общества «Веселых братьев» напоминает полубредовые, полуиздевательские построения Скалдина, его фабрику живых людей и т.д.». Мельком отозвался о «Веселых братьях» в одной из своих статей о Гумилеве (см. в посмертном томе «Литературные очерки», Париж, 1961, с. 36) Н.А.Оцуп, назвавший повесть «находкой для всех, кто любит Гумилева», и связавший ее, как и мы, со стихами Гумилева о России» (СС IV. С. 592-594). Комментарии Р.Л.Щербакова открываются несколько рискованными предположениями: «Судя по тому, что он (Гумилев — *Ред.*) не взял с собой ни черновиков, ни набело переписанного начала, автору стало ясно: жизнь в Советской России так радикально изменилась, что заканчивать начатую работу не имеет смысла. <...> Столь сложную конструкцию можно было начинать сооружать, только имея тщательно разработанный план. Но на него среди гумилевских бумаг нет никаких намеков, и возникает кощунственная мысль, что стилистическая «разноголосица» повести погубила ее, словно Вавилонскую башню. Но и незавершенная она производит сильное, хотя и несколько странное впечатление» (Соч II. С. 475). «Вся она пронизана стихией народной речи, образами русской крестьянской культуры, — писала И.Ерыкалова, полагавшая, что замысел повести Гумилева восходит к «вневременному сюжету вечного столкновения добра и зла». — Но жизнь словно искажена воздействием какой-то гипнотической злой силы. История гибели Маши и ее измены Ване, пир инженера путей сообщения в огромном сарае с тысячами свечей, шерсть на лице химика-самоучки вновь обращают нас к теме существования дьявола в современном мире. Эта тема пронизывает литературу начала века, находя завершенное воплощение в романе М.А.Булгакова «Мастер и Маргарита» (Ерыкалова И. Проза поэта // АО. С. 288-289). «Своеобразным путешествием в тайны народной души» назвала «Веселых братьев» М.Ю.Васильева, обращавшая особое внимание на образ Мезенцова как на «новый тип героя-интеллигента» в гумилевском творчестве: «Дело тут не только в смене социального статуса и занятий этого персонажа. В повести выявлено также движение его мысли от внешнего к внутреннему, от явного к потаенной сущности явлений. Обычное, казалось бы, для лингвиста побуждение собрать образцы устного народного творчества оборачивается нелегким познанием духовных устремлений русских крестьян. Но процесс этот на редкость усложнен тем, что обитатели глухих деревень захвачены сокровенными вопросами о Боге, о сущности религии. <...> Герой-интеллигент оказывается перед необходимостью открыть не только смысл и причины ошибочных представлений в этой области, но и установить... собственное отношение к «христовой вере»» (Васильева. С. 15). Касаясь мотива «вожатого», «посвященного», ведущего «неофита»-интеллигента к откровению некоей «истины», М.Ю.Васильева проводит параллели между повестью Гумилева и прозой М.А.Кузмина («Крылья», «Нежный Иосиф», «Мечтатели»): «Различия наблюдаются на уровне идейно-эстетической позиции двух писателей. Проза старшего «странная, непривычная, загадочная» (Б.М.Эйхенбаум), соединившая в себе «французское изящество» и «византийскую замысловатость». Во многих его

произведениях отмечено влечение к чудесному, к сверхъестественным силам, мистическим мотивам. В произведениях Гумилева самые необычные ситуации... прояснены в общей концепции произведения, а «потусторонние» образы введены чаще в образе... снов и видений. Кузмин... дает предсказания о близком перевороте в человеческой душе, Гумилев... проникает в характер и истоки духовных запросов личности» (Васильева. С. 17). Исследование В.В.Десятова содержит сопоставление повести Гумилева с другим кругом текстов — книгами Ф.Ницше («Так говорил Заратустра», «Генеалогия морали») и о. Павла Флоренского («Столп и утверждение Истины»): «Интерес Гумилева к «Столпу...» (где автор неоднократно сочувственно ссылается на Ницше) весьма показателен: он демонстрирует стремление примирить православную ортодоксию и православный модернизм (о.Павел, казалось, воплощал в себе и то, и другое), традиционное христианство и современную философию. Крайняя противоречивость взглядов Ницше позволяет Гумилеву актуализировать его образы и идеи не только для изображения «веселых братьев».., но и для их скептической оценки. Ницше как бы опровергается Гумилевым с позиции самого Ницше. Ницше — проповедник смеющегося человекобога и враг аскетического идеала опровергается с позиции Ницше — страстного защитника этого идеала от покушений «подделывателей (первый вариант названия гумилевской повести!) и комедиантов» («Генеалогия морали»), Ницше-аскета «Распятого»» (Десятов В.В. Фридрих Ницше в художественном и экзистенциальном мире Николая Гумилева. Автореферат кандидатской диссертации. Томск, 1995. С. 12).

Для прояснения замысла повести прежде всего необходимо уяснить, кого имел в виду Гумилев под *«веселыми братьями»*. Разумеется, в силу незавершенности дошедшего до нас текста, сделать это достаточно трудно, однако в комментариях к первой отечественной публикации повести В.Полушин писал: «Это сложное произведение. Неизвестно, чем бы его закончил поэт, останься он в живых, но ясно одно: нельзя полностью согласиться с комментарием, приведенным в вашингтонском четырехтомнике. Повесть эта могла быть направлена не столько против хлыстов (имеется в виду соотнесение «Веселых братьев» с «Серебряным голубем» Андрея Белого, сделанное Струве (см. выше) — *Ред.*)... сколько против масонства. Об этом убедительно свидетельствуют и сюжетные линии повести. Не случайно «Веселые братья» воспринимаются как межгосударственная тайная организация со своим уставом. Братья Сладкопевцевы отправляются во Францию. Известно, что именно там были особенно сильны масонские ложи. <...> Гумилев в повести продолжает развивать тему крестьянской России, которую он поднял в стихотворении «Мужик». Есть в Мите что-то распутинское — черты распущенности и авантюризма, а в Ване и Мише-алхимике, жертвах ловких пройдох — черты одураченной российской глубинки» (ЗС. С. 664). «Веселые братья» упоминаются также (правда — вскользь, что, как мы увидим сейчас не случайно) в лучшей работе о хлыстовстве в культурно-политическом контексте «серебряного века» — книге А.Эткинда «Хлыст. Секты, литература и революция» (М., 1998. С.131-132). На «Серебряного голубя» как

на «основной образец» «Веселых братьев» указывает и Н.А.Богомолов (см.: Изб (XX век). С. 533-534). Подобные упоминания (примеры можно продолжить) создают вокруг повести Гумилева определенную «идейную ауру», могущую дезориентировать читателя, незнакомого с тонкостями отечественной сектологии начала XX века. Между тем и хлыстовство, и масонство, весьма значимые сами по себе в российском культурно-историческом контексте 10-х годов XX века, с той «таинственной Русью», которая изображена в повести Гумилева, имеют очень мало общего.

Хлыстами (а также богомолами, лядами, кантовщиками, шалопутами, вертухами, баклушниками и т.д.) называли русскую мистическую секту, основанную в 1643 (или в 1631) г. костромичем Данилой Филипповым, ставшим хлыстовским «Саваофом». Впрочем, само «хлыстовство» как феномен духовного творчества народа, историки относят едва ли не к эпохе св. Владимира Равноапольстольного, когда вместе с «греческой верой» на территорию Киевской Руси через апокрифическую письменность стали проникать и идеи средневековой еретической секты богумилов. Эти идеи, соединяясь с отечественными пантеистскими языческими верованиями, и создали основу хлыстовского учения, в центре которого стоит представление о возможности многократного воплощения Бога в человеке, многократном явлении живых человеческих воплощений божества — «христов» — на всей протяжении истории человечества, сообразно с «божественной надобностью» и нравственным достоинством избранников. Соответственно и Иисуса из Назарета хлысты воспринимали как «одного из христов», а Его евангелие полагали актуальиым лишь для современного Ему человечества (поскольку потом были и другие «христы», которые говорили со своими современниками о другом на другом языке). Священное Писание здесь трактовали сугубо в аллегорическом смысле и видели его ценность лишь в «назидательном» плане, а к Церкви относились безразлично, как к «ветхозаветному пережитку» (и даже рекомеидовали принадлежать к ней «внешне», дабы избежать гонения со стороны российских властей). Главным в духовной жизни хлыстов были личные мистические практики непосредственного соприкосновения с «трансцеденцией», чувственные контакты с потусторонними энергиями, которые они считали «вхождением Святого Духа» — радения. Целью же «земного» бытия хлысты полагали «очищение» души, которая, пройдя цепочку «воплощений» в разные тела (людей и животных), попадает в конце-концов в тело «человека божьего» (как называли себя сами члены секты) и после его физической смерти возносится на небо в виде ангела. Характернейшей чертой хлыстовства является его демонстративное пренебрежение к «мертвой букве» (книжности) и радикальное смещение акцентов в духовной жизни на непосредственную мистическую практику, из которой они и получали «слово божие» в виде «пророчеств», выкрикиваемых в ходе радений пришедшими в состояние экстатического исступления участниками. Этот принципиальный антиинтеллектуализм хлыстовства подчеркивает в упомянутой выше монографии А.Эткинд, многократно акцентируя внимание читателей на том, что, начиная свою проповедь, Данила Филиппов демонстративно «бросил книги в реку», знаменуя тем самым переход от «слова» к «делу».

Роман А.Белого «Серебряный голубь» (1910) действительно постоянно идентифицировался в восприятии читателей и критиков именно с изображением русского хлыстовства (хотя сам Белый подчеркивал вымышленный характер изображенной им «секты голубей»). «Сюжетно «Серебряный голубь» примыкает к многочисленным произведениям второй половины 1900-х гг., трактующим вопросы взаимоотношений народа и интеллигенции. Герой романа московский студент Петр Дарьяльский... ищет спасения в народной среде; он расстается с образованным кругом и поступает в работники к столяру Кудеярову, руководителю тайной секты «голубей». Таинственные чары Кудеярова и страстное влечение к «духине» «голубей», рябой бабе Матрене, чудовищной и привлекательной одновременно, порабощают Дарьяльского, мечтающего о новой, «почвенной» религии Св. Духа. Однако опьянение «голубиными» мистическими экстазами неизбежно ведет к зловещему концу: «голуби», убедившись, что Матрена не сможет родить от Дарьяльского «духовное чадо» (с этой целью он был завлечен в их сообщество), и боясь разоблачения секты, убивают его. Такова сюжетная схема романа, написанного, при всем его «символизме», с необычайной для Белого «реалистичностью»: рельефно запечатлен крестьянский, городской и поместный бытовой уклад, подробно воссозданы психологические мотивы поведения героев» (Лавров А.В. Андрей Белый в 10-е годы. М., 1995. С. 285-286).

Все, сказанное выше, позволяет представить касательство гумилевской повести к «Серебряному голубю»: если о каком-то влиянии и уместно говорить, то лишь в самом общем тематическом плане, связанном с проблемой «народа и интеллигенции» в литературном процессе «серебряного века». Трезвый петербуржец-этнограф Мезенцов весьма далек от экзальтированного московского мистика Дарьяльского, и «в народ» он идет, движимый как познавательно-научными интересами, так и жаждой приключений, но никак не в чаянии «мистического преображения». Равно и гумилевские «бродяги-интеллигенты» из народа, движимые желанием «спасти человечество», обличив ничтожество современной им позитивистской идеологии, никак не напоминают изуверов-«голубей» Белого с их чувственно-плотскими, «бессознательными» мистическеми переживаниями.

Еще меньше в «Веселых братьях» можно обнаружить «масонских» нюансов, ибо образ «мужицкой» масонской ложи никак не укладывается ни в какие — даже самые широкие — представления о реальном историческом бытии «вольных каменщиков». Масонство изначально создавалось по образу тайного рыцарского ордена, его история генетически связана с историей тамплиеров, разгромленных Филиппом Красивым, но продолжавших тайно существовать в эпоху гонений. Отсюда и функционирование масонских лож в истории как Европы, так и России, исключительно в среде национальных элит — родовых, интеллектуальных, политических, военных, духовных. Высокие общественные «связи» «братьев», позволяющие ордену непосредственно влиять на представителей властных структур, были основным оружием масонства. В отношении к «народной массе» масоны придерживались взглядов, хорошо сформулированных египетскими жрецами (с которыми и в

идеологии, и в практике у них было много общего): «Все для народа, ничего через народ». Масоны могли «втемную» использовать каких-то смышленых «простолюдинов», могли осуществлять манипуляцию «толпой», используя в своих целях ее слепую силу, но делать эти цели достоянием «масс» или широко востребовать собственно «интеллектуальный» потенциал «низов» они, насколько это известно, никогда не пытались. С гумилевскими «веселыми братьями» масоны сходятся лишь в «конспирологии» (это, впрочем, в той или иной степени — черта всех нонконформистских организаций) и в общем глобализме целей («спасение человечества»), но этим их сходство и исчерпывается: конкретика бытия «веселых братьев» лежит полностью вне пределов бытия масонства (см.: Масонство в его прошлом и настоящем. М., 1991. Т. 1-2; о восприятии масонства Гумилевым именно как рыцарского ордена см.: Новиков В.И. Масонство и русская культура. М., 1993. С. 56-58; Зобнин Ю.В. Странник духа (о судьбе и творчестве Николая Гумилева) // Русский путь. С. 35-37).

Определяя специфику гумилевской тематики необходимо исходить из того, что уже с первых строк повести автор вводит мотив «русского Заволжья» («В Восточной России вообще, а в Пермской губернии в особенности бывают такие ночи...») — мотив, обладающий для читателей начала XX века устойчивым значением «раскольнического топоса». Именно заволжские русские губернии «до Урала» — место действия романов Мельникова-Печерского — были традиционными топонимическими символами русского раскола (не имеющими, конечно, в таковом качестве никакого отношения ни к хлыстам, селившимся повсюду и не обладавших потому особой «географической символикой», ни, тем более, к горожанам-масонам, которых было бы несколько странно видеть в приуральских просторах). Очевидно, что и прототип организации «веселых братьев» нужно искать в этой «заволжской» среде — в многочисленных течениях («толках»), возникших после «официального» оформления раскола русской Церкви на соборе 1666 г.

Как известно, раскольническое движение почти сразу образовало два больших направления, по которым позиционировались группы, по разному трактовавшие соотношение экклесиологических и эсхатологических приоритетов в общераскольнической протестной идеологии. Первое течение, получившее название *«поповщины»*, объединяло «умеренных» приверженцев раскола, являвшихся «староверами» в буквальном смысле этого слова. Они полагали, что никонианская церковная реформа является порочной, и их основные интересы сосредоточивались потому в сфере экклесиологии (учение о Церкви) и церковного строительства, где они отстаивали старые обряды: двуперстные сложения для крестного знамения, сугубую аллилуйю, посолонное хождение, седьмипросфорие, чтение «обрадованная» вместо «благодатная», употребление лестовок и подручников и т.д., а также резко критиковали иерархов «никонианства» за «непотребные» для духовных лиц «нравы». Собственно Церковь ими не отвергалась, напротив, сами себя они считали первыми ее хранителями и защитниками, а все их инвективы направлялись против современного (пост-никонианского) ее состояния. Вопрос же о том, является ли трагедия

раскола знамением Конца Света и началом воцарения Антихриста (эсхатологическая проблематика) не поднимался ими, по крайней мере, как остро-злободневный, требующий немедленной реакции, залогом которой является спасение души. Поэтому «поповщина» в исторической перспективе либо организовывала «свои» храмы и приходы, куда поставлялись, вне преемственности рукоположения, «свои священники» («белокриницкая иерархия»), либо частично воссоединялась с «никонианской» Церковью, принимая священнослужителей от православных архиереев (единоверчество).

В отличие от них сторонники «беспоповщины» исходили из того, что Антихрист уже пришел и Православие утрачено, а следовательно на земле «истинной Церкви» больше нет, нет таинств и нет священства. В расколе они видели процесс «отнятия благодати» у русской Церкви, после чего ни о какой экклесиологической проблематике дискутировать не было смысла. Любая обрядность — как «старая», так и «новая» — в «последние времена» «антихристова царства» является лишь мертвой, лишенной содержания формой, равно как и любые священники — хорошие или плохие — собственно «священниками» не являются, ибо таинство рукоположения «иссякло», стало просто «жестом». В «последние времена» для «истинных христиан» для общения с Богом достаточно молитвы и духовных упражнений, посредничество Церкви в этом общении не нужно (и невозможно, т.к. «Церкви нет»). Поэтому «беспоповщиና» формировалась из всевозможных «братских общин», имеющих не священную, а духовно-организационную иерархию, объективно сближающую эти «раскольнические толки» с сектами. Здесь также были свои «радикалы и умеренные» (соответственно — «филипповцы» и «феодосьевцы»): первые ставили условием спасения полный разрыв с «миром антихриста» вплоть до самоубийства (инок Филипп швырнул во время богослужения на пол кадило с криком «наша вера христианская!», а затем — сжег себя вместе с 70 приверженцами, чтобы не попасть в руки «слуг антихристовых»), вторые — допускали какие-то «контакты» с «никонианами» (их лидер Феодосий признавал браки, заключенные православными священниками, законными). И «филипповцы» и «феодосьевцы» породили уже внутри себя множество «толков» («пастухово согласие», «аароновщина», «нетовщина», «рябиновщина», «дырники», «средники» и т.д.), однако и здесь нашлись «радикалы от радикалов», дистанцировавшиеся от обоих «беспоповских» версий как от «конформистских» (хотя дальше идти в «нонконформизме» было, на превый взгляд, некуда). Это были «странники» или «бегуны».

Основателем странничества был Ефимий из Перьяславля (ум. в 1792 г.). Ратуя за «чистоту беспоповства», он послал «московским старцам» 39 вопросов, ответов на которые не получил. Это подвигло его выступить с обличением вин и пороков старообрядцев и проповедью полного отрицания каких-либо связей с обществом, в котором восторжествовал Антихрист. «Апокалипсический зверь, — писал Ефимий, — есть царская власть, икона его — власть гражданская, тело его — власть духовная». Путь спасения потому «не пространный, еже о доме, о жене, о чадах, о торгах, о стяжании попечение имети», а «тесный и прискорбный, еже не

имети ни града, ни села, ни дома», нужно «достоить таитися и бегать», т.е. «уйти» из порочного общества вовсе, уклоняться от всех видов гражданских повинностей, платежа податей, военной службы, принятия паспорта и присяги и т.д. (см.: Энциклопедический словарь. СПб., 1901. Т.62. С. 723). Вступивший на этот путь Ефимием перекрещивался. Вслед за Ефимием неофиты уходили в пошехонские и галичские леса, в пустынные, труднодоступные местности, в том числе и горные, и там основывали убежища, дабы жить абсолютно независимой от «апокалипсического зверя» жизнью. С первых лет существования странничества членам этого «братства» был присущ повышенный интеллектуализм, сам Ефимий был большой любитель книг, много читал и сочинял, прекрасно владел слогом. Странничество не культивировало изуверство, присущее другим беспоповским «толкам», но призывало к исповедничеству и мученической кончине в случае, если уклониться от столкновения со «слугами антихриста» будет невозможно. С другой стороны «странники» широко практиковали самые тесные контакты с бродяжим и уголовным миром, из которого вербовали своих эмиссаров, так что в истории бегунства встречались и пьянство, воровство, убийство. Несмотря на проповедь аскетизма, за «странническими наставниками» прочно укрепилась слава соблазнителей женщин, что, впрочем, не мешало успеху их проповеди, увлекавшей самых ярких и способных из раскольнических общин других, более пассивных «толков». Вскоро целые районы восточной России были покрыты системой «пристаней» в которых обитали «жиловые» члены братства, т.е. оседлые содержатели тайных страннոприимных домов. «Столицей» «странничества» стало село Сопелки Ярославской губернии, очень много страннических поселений было в вологодских и пошехонских лесах. Уже после смерти Ефимия, в XIX веке «странничество» обрело «устав», согласно которому во главе толка стоял «управляющий», районами заведовали «старшие», а отдельными местностями — «настоятели».

Как видно из сказанного, именно этот раскольнический «толк» ближе всего подходит к изображенному в повести Гумилева «веселому братству». «Странники» с их вечным бродяжничеством и таинственными, неведомыми «внешнему миру» селеньями-убежищами в труднодоступных местностях «необозримой Руси» были тем более привлекательны для Гумилева, что их история могла быть легко переосмыслена в категориях значимых для гумилевского творчества романов Р.Хаггарда, сочетавших «приключенческий» сюжет «путешествия» и мистику. Собственно замысел «Веселых братьев», насколько можно судить по дошедшим до нас пяти главам, вполне напоминает хаггардовский «сюжетный архетип», реализованный в «Аллане Квотермене» и в «Копях царя Соломона», — путешествие разнородной группы персонажей, ведомых «вожатым», в некую таинственную, удаленную и труднодоступную область, населенную людьми, располагающими нетрадиционными, «тайными» знаниями (см. о роли романов Р.Хаггарда в гумилевской прозе комментарии к № 3, 6, 9 наст. тома). Кроме того, в отношении заглавия возможно и влияние заглавия рассказа Р.Л.Стивенсона «Веселые молодцы» (см. комментарии к № 7 наст. тома).

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Стр. 1 — Пермская губерния расположена как в Азиатской, так и в Европейской России по обеим сторонам Уральского хребта. На севере она граничила с Вологодской губернией, в лесах которой укрывалось особенно много «странников», на Востоке — с Тобольской, на юге — с Оренбургской, на западе — с Вятской. Стр. 18 — духовная поэзия (преимущественно песенная) была очень распространена в раскольнической среде; некоторые духовные стихи, существовавшие до раскола, они преобразовывали в важнейшие идеологические символы их духовно-нравственной позиции (о царевиче Иосафе, об Аллилуевой жене, о страшном суде и пришествии Антихриста). «...Они сами сочиняли и сочиняют массу стихов, отчасти пользуясь не только образами, но и формой старых стихов, св. Писания и церковных гимнов, отчасти пуская в ход звучную рифму и новый, искусственный размер. Общий тон их произведений — чисто лирический. «Фантазия сектантов, — говорит Буслаев, — уже не способна к спокойному эпическому творчеству. Оторопелая от мнимых страданий антихристова века, наскоро схватывает она несколько смутных, мрачных образов и тревожных ощущений и передает их то в жалобных воплях изнемогающего мученика, то в грозных криках отчаяния, то, наконец, в торжествующей песне какого-то символического обряда». Служа выражением внутреннего мира людей глубоковосторженных, но уже удаленных от первобытной наивности и непосредственности, раскольническая поэзия чувствует естетственное влечение к символике. Богатство последней доходит до поразительной степени...» (Энциклопедический словарь. СПб., 1898. Т. 21. С. 272). Стр. 18-19 — Алексей Гаврилович Веницианов (1780-1847) — живописец, ученик Боровиковского, с 1830 г. — придворный художник. Имеются в виду образы юных крестьян, созданных им на таких полотнах как «Спящий пастушок» и «Жнецы». Стр. 30 — урядник — чин в системе сельской полиции в Российской Империи, занимающий промежуточное положение между становым приставом и соцким. Внимание урядников сосредотачивалось на охране благочиния и безопасности поселян. Стр. 47-62 — как уже говорилось, проповедь эмиссаров «странников» была обращена, прежде всего, к раскольникам, принадлежащим к более «конформистским» толкам. Ваня, насколько можно судить, принадлежал к «поповщине», возможно даже к единоверцам: об этом можно судить по его совету причастить мучимого «червем геенским» больного (см. стр. 198-205 главы третьей). «Страннические» проповедники находили отклик в этой среде у самых активных, совестливых и талантливых крестьян, которые и становились неофитами «братства» и обеспечивали его высокую жизнеспособность. «Последователи раскола, — писал В.В.Андреев, — самая трезвая, работящая, промышленная и грамотная часть нашего крестьянства. Не скажем, чтобы они были лучше представителей нашей простонародной среды. Ум еще не дает право на нравственное превосходство: много значит и сердце. Но представители раскола, бесспорно, представители ума и гражданственности в нашей простонародной среде» (см:Андреев В.В. Раскол и его значение в народной

русской истории. СПб., 1897). Это необходимо помнить, говоря об отношении Гумилева к своим героям. «Гумилев, — писал Н.А.Оцуп, — выражал чувства русского европейца, осознавшего прелести родной страны, но ненавидевшего ее невежество» (Оцуп Н.А. Николай Гумилев. Жизнь и творчество. СПб., 1995. С. 139). Разумеется для автора «Веселых братьев» в «мужицкой» среде вообще и в раскольнической среде в частности содержалось много «дикости» (см. сопоставление образов «Руси» и «России» в творчестве позднего Гумилева: Зобнин. С. 334-336). Однако ни автор, ни его герой «интеллигент» Мезенцов отнюдь не отчуждены от этой среды и менее всего склонны к осуждению или отрицанию. Анализируя гумилевское стихотворение «Мужик» (органично связанное с «Веселыми братьями» и по времени написания и по тематике), Марина Цветаева писала: «Что в этом четверостишии? Любовь? Нет. Ненависть? Нет. Суд? Нет. Оправдание? Нет. Судьба. Шаг судьбы» (Русский путь. С. 486). Что касается собственно проповеди Мити (в пересказе Вани), то безусловно исторически достоверным элементом ее является тезис о тотальном отпадении общества от Бога: «По деревням Бога забыли, а по городам есть такие, что совсем в Него не верят и других сбивают». Еще Ефимий, начиная свою проповедь «странничества» исходил из безусловного утверждения о «воцарении Антихриста», причем понимал это «воцарение» буквально, персонифицируя самого «антихриста» с Петром Великим и его преемниками из романовской династии, насаждавшими на Руси в XVIII веке западническую культуру («антихристово царство»). Естетственно, что просветительская (а затем — разночинская) интеллигенция была в глазах «странников» неотъемлемым компонентом этого «царства» — «птенцы гнезда Петрова» с этой точки зрения — «слуги антихриста». «Странники», действительно, выделялись среди других раскольнических «толков» активной позицией по отношению к «безбожному миру», но о конкретном плане «посрамления Сатаны», путем «подделывания» научных данных, который фигурирует в повести Гумилева, никаких исторических сведений нет; вероятно это вымысел автора. Стр. 123-134 — ср. мотив утопленницы в «русском» ст-нии «Старые усадьбы» (№ 114 (II)). Стр. 160 — на словах «после трех верст» текст автографа 1 обрывается. Стр. 160-222 реконструированы «обратным переводом» с английского эквивалента автографа 3. В основу этого переводного фрагмента положен перевод, сделанный Г.П.Струве (СС IV. С. 103-105) с некоторой стилистической правкой очевидных английских калек, нелепо звучащих в общестилистическом контексте «Веселых братьев». Реконструированный фрагмент выделен *курсивом*. Стр. 215-216 — российская Императорская Академия Наук после слияния с ней в 1841 году Императорской Российской Академии имела три отделения: физико-математических наук, русского языка и словесности, исторических наук и филологии. Фразу Гумилева, таким образом, нужно понимать в ироническом смысле (ср. рассуждения Лепорелло о «Сети III» и «Псамметихе IV» в пьесе «Дон Жуан в Египте» (см.: № 1 (V) и комментарии к ст. 138 и 152-153)).

ГЛАВА ВТОРАЯ

Стр. 11 — «Величит душа моя Господа...» — начало Песни Пресвятой Богородицы, входящей в состав православной вечерней службы. Стр. 15-24 — ср. со ст-нием «Змей» (№ 37 (III) и комментарий к нему). Е.Ю.Раскина связывала «змееборческие» мотивы в творчестве Гумилева с «борьбой за Царевну-Русь» (см.: Раскина Е.Ю. Пространство России в поэтической географии Н.С.Гумилева // Русская литература. 2001. № 2. С. 38). Стр. 27 — Аристотель (384-322 до Р.Х.), — а точнее арабское толкование его трудов в изложении Авиценны, — с XIII века становится непререкаемым авторитетом для средневековой научной мысли по всем вопросам, не касающимся непосредственно христианской догматики. В таковом качестве он был воспринят и в Киево-Могилянской Духовной Академии, и в Славяно-Греко-Латинской Академии в Москве — высших учебных заведениях Московской Руси в эпоху раскола. Таким образом для консервативного менталитета раскольников Аристотель и в начале XX века фигурировал в качестве имени нарицательного для «светского» ученого. Стр. 54 — события вокруг г.Плевна (Плевен), где с июля по ноябрь 1877 г. происходили упорные бои русско-румынских войск с 34-х тысячной турецкой армией, имели стратегическое значение для исхода русско-турецкой войны 1877-1878 гг..; падение Плевны 28 ноября (10 декабря) 1877 г. фактически означало победу России над Турцией. Лубочные картинки на эту тему были очень популярны в среде крестьянства. Стр. 63 — в расхожем понимании философским камнем (lapis philosophorum) называется гипотетическая субстанция, обладающая силой преобразования простых металлов в чистое золото, нахождение которой является главной целью деятельности алхимиков. Стр. 151 — церковноприходская школа в системе образования Российской Империи второй половины XIX — начала XX вв. являлась основным типом учебного заведения для крестьянского сословия. Давала начальное образование; согласно «Положению от управлении школами церковноприходскими и грамоты» (1896) предметами обучения здесь были: Закон Божий, чтение церковной и гражданской печати и чтение рукописей, чистописание и первые 4 действия арифметики. В промышленных селениях в них мог быть открыт второй класс с курсом низшего класса в уездных училищах. Стр. 178-189 — «задача», заданная Мише, есть опровержение «закона сохранения материи», сформулированного М.В.Ломоносовым в письме к Л. Эйлеру (1748): «...Все перемены, в натуре случающиеся, такого суть состояния, что сколько чего у одного тела отнимется, столько присовокупляется к другому, ежели где убудет несколько материи, то умножится в другом месте». Впрочем, идея «сохранения материи» шла от античного естествознания (Анаксагор, Эмпедокл, Демокрит). Завершенное опытное доказательство она получила в экспериментах А-Л.Лавуазье (1743-1794; с 1785 — директор Парижской академии наук) — основоположника термохимии и великого реформатора методики химических исследований (он первый оценил важность количественных параметров в исследовании химических превращений и сделал весы необходимой принадлежнос-

тью химических лабораторий). Для материалистической философии этот закон, наряду с законом сохранения энергии, был принципиально важен, поскольку признание «исчезновения» вещества влекло бы за собой и признание, что вещество «творится» вновь — с неизбежным выводом о наличии внеположной материальному миру творческой силы (т.е. выводом о бытии Божьем). Следует указать и на то, что этот закон в XX веке вступил в противоречие с открытиями атомной физики, прежде всего, с открытием аннигиляции (буквально — превращение в ничто, уничтожение) — явления превращения положительных и отрицательных электронов в фотоны и обратно. Открытие аннигиляции вызвало «протест» со стороны идеологов материализма и «научного атеизма», в частности — В.И.Ленина, который дал казуистическую трактовку «исчезновения материи» в трактате «Материализм и эмпириокритицизм» (1909). В СССР поэтому, с легкой руки Ленина, аннигиляцию определяли как «явление превращения элементарных частиц, имеющих собственную массу, в другие формы материи, собственная масса которых равна нулю» (Большая Советская Энциклопедия. М., 1950. Т. 2. С. 462) — очевидный абсурд, ибо масса и является выражением «материальности» объекта; «масса равная нулю» означает, что объекта в материальном мире нет. Стр. 191-193 — польский астроном Николай Коперник (1473 — 1543) считается одним из создателей «гелиоцентрической модели мира», т.е. динамической концепции солнечной системы с Солнцем в качестве покоющегося центра обращения «планет»Солнечной системы». Эта концепция вступала в противоречие с концепцией Птоломея, в которой за покоящийся центр системы полагалась Земля («геоцентрическая модель мира»). То, что «геоцентрическая модель мира» (которую со второй половины XVI века именовали «коперникианской») «низводит» Землю на положение одной из планет, показалось «оскорбительным» представителям духовенства, понимавшим антропоцентризм христианской космогонии как «количественное» (а не «качественное», как то на самом деле) превосходство Земли над другими небесными телами. В результате «гелиоцентрическая модель мира» была объявлена еретической, а сторонники материализма сделали ее символом «свободомыслия», знаменующим «отставку теологии» (см.: Энгельс Ф. Диалектика природы. М., 1952. С. 7). После обоснования в 1905 г. теории относительности А.Эйнштейном все споры о том, «что вокруг чего вращается», утратили смысл: любое движение относительно, и траектории его моделируются с учетом произвольно выбранной «точки покоя», каковыми с равным успехом могут служить как Земля, так и Солнце. К этим спорам имел отношение великий итальянский естествоиспытатель, педагог и писатель Галилео Галилей (1564-1642). Галилей положил начало той части механики, которая называется динамикой, — и в этом смысле его можно назвать прямым преемником Архимеда — основоположника статики. Его эксперименты привели к прямому столкновению со схоластами-«аристотелевцами», считавшими решающим аргументом научного исследования ссылку на «авторитет» и игнорировавшими данные опытной проверки. Увлеченный этой полемикой Галилей написал трактат «Диалог о двух главнейших системах мира» (1632), выполненный в форме диалога трех лиц: Сагредо, Сальвиати (имя покойного друга

автора, приверженца гелиоцентрической модели Коперника) и Симплицимо («простак, придурок»: проповедник взглядов аристотелевцев), изложив в нем астрономические наблюдения, которыми он занимался с 1592 г. Выход трактата Галилея приветствовал папа Урбан VIII, благоволивший к ученому, однако, спустя какое-то время, папу убедили, что Галилей нарушил запрет на отстаивание или провозглашение коперникианского мировоззрения, наложенный предыдущим папой в 1616 г., а под именем «Симплицимо» в галилеевском трактате выведен сам понтифик. Урбан VIII обиделся, обвинил Галилея в коперникианской ереси, и после пресловутого судебного процесса тот вынужден был публично отрекаться от трактата. Молва приписывает Галилею знаменитое изречение: «Eppur si muove! (А все-таки она движется!)»; его открытия орбит четырех лун Юпитера и детальные наблюдения солнечных пятен предоставляли веские эмпирические доводы в пользу «гелиоцентрической» модели солнечной системы (см., к примеру: Drake S. Galileo. Oxford, 1980). Стр. 201 — т.е. гумилевский «алхимик» Миша из села Огрызково, не осиливший церковноприходскую школу, по воле автора, осведомленного в парадоксальных успехах современной науки, одновременно оказывается в положении и открывателя процессов аннигиляции и создателя теории относительности. Стр. 216-217 — «Стрелкой» в Петербурге называют как мыс Васильевского острова, неподалеку от которого находится комплекс зданий Академии Наук, так и мыс Крестовского острова на слиянии Малой и Средней Невки. Улица Большая Спасская (ныне — Пионерская) находится на Петроградской стороне и выходит на Крестовский остров. Стр. 260 — вместо названия книги в рукописи пробел. Очевидно, Гумилев хотел подыскать в петербургских фондах некое «экзотическое» и «архаическое» издание. «Старина» книги в глазах раскольников являлась отнюдь не недостатком, но сугубым достоинством: ведь каждый год «антихристова царства» все глубже погружал человечество в пучину обмана и отдалял от истины.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Стр. 18 — По — город на Юго-Западе Франции, административный центр департамента Нижние Пиринеи, население которого в то время составляло менее 30 000 человек. Стр. 59-63 — «брачный вопрос» был одним из самых болезненных для «беспоповщины», ибо признание Церкви «утратившей благодать» автоматически означало невозможность таинства бракосочетания, без которого супружеское сожительство превращалось в блуд (нарушение седьмой Заповеди и, следовательно, смертный грех). Это вызвало целый ряд «толков» (титловщина, аристовщина, аароновщина), предлагавших разные способы решения «проблемы брака». Для братьев Сладкопевцевых эти «общие» трудности беспоповцев осложнены и личной спецификой, которая и обуславливает иронический «совет» Мезенцова: в Тибете того времени имел право жениться только старший брат в семье, а младшие, находящиеся у него в подчинении не имели права завести жену, но могли быть «добавочными»

мужьями у невестки (при том, что все дети, рожденные ей считаются официальными детьми старшего). По смерти старшего брата его жена и дети переходили «по наследству» к среднему и т.д. Различные формы полиандрии (многомужества) были распространены также на рубеже XIX-XX вв. в племенах Индии и Цейлона. Стр. 86-87 — чукотский (луораветландский) язык относится к палеоазиатстким языкам, т.е. языкам окраинных народов Азии. Письменность на чукотском языке была создана лишь в 30-е годы XX века. Следует отметить, что у истоков научного освоения палеоазиатских языков стоял Лев Яковлевич Штернберг (1861-1927) — главный хранитель Музея этнографии, курировавший гумилевскую экспедицию в Абиссинию в 1913 г. В 1890-е гг. за участие в революционных кружках Штернберг отбывал на Сахалине ссылку, причем использовал эти годы для своеобразных «этнографических экспедиций», изучая быт, языки и фольклор первобытных племен (гиляк, айнов, ороков, орочей, ольчей, гольдов). Это стало его призванием; по возвращении он поменял профессию (он был юристом по образованию), целиком посвятив себя этнографии народов Севера и Дальнего Востока. В частности он составил этнографические словари гольдского, орочского и негидальского языков, а также на основе анализа чукотского языка создал теорию американского происхождения чукчей. Стр.101 — Евменид не знает современных французских произносительных норм и произносит французское «Certainement nous parlons très bien» — «Конечно, мы говорим очень хорошо» — «как написано». Естетственно, что с точки зрения братьев Сладкопевцевых французы «не знают своего языка» и «лопочут такое, что не разберешь», ибо написание французских слов (как и английских) весьма разнится от их произнесения. Стр. 107 — во время Первой мировой войны Россия вместе с Англией и Францией входила в антигерманскую коалицию. Стр. 115 — Пиренеи — пограничные горы между Испанией и Францией, тянущиеся от залива Розас Средиземного моря до Бискайского залива. Стр. 126-127 — королева Франции Анна Русская (ок. 1024 — не ранее 1075), дочь киевского князя Ярослава Мудрого, вторая жена короля Генриха I, мать короля Филиппа I. После смерти мужа (1060) удалилась в Секлис, откуда была похищена Раулем де Пероном, графом Валуа, за которого вторично вышла замуж (1062). Впоследствии, во время борьбы за престол рода Каролингов с родом Валуа (вторая половина XIV в.), история ее второго замужества стала предметом бурного обсуждения как прецедент «престолонаследия» в роде Валуа и была одним из поводов к введению т.н. «салического закона», воспрещавшего престолонаследование по «женской» линии. Очевидно «документы» братьев Сладкопевцевых относятся к истории «второго», «незаконного» замужества королевы Анны Русской. Стр. 137-139 — «Возможно, имеется в виду некий Врэн-Люка, продавший известному геометру, академику Мишелю Шалю поддельные письма Паскаля к Бойлю, Ньютону, Гассенди, Гоббсу, королеве Христине и другим лицам, а также письмо Галилея к Паскалю (см.: Thierry A. Les grandes mystifications littéraires. Paris, 1911. (I). P. 268). Первую «находку» Шаль огласил с кафедры Академии Наук 15 июля 1867 г., а потом долго упорствовал в своей правоте, поддержанный и некоторыми другими академиками» (Соч II. С. 476). См. об этой любо-

пытной истории также: Берков П.Н. О людях и книгах. М., 1965. Стр. 140-141 — Томас Чаттертон (1752-1770) с детских лет увлекался средневековой культурой. Он был сыном бедных родителей, с 14 лет служил писцом у бристольского адвоката. От имени вымышленного настоятеля собора, любителя древних рукописей и поэта Томаса Роули, жившего в Бристоле в XV веке, он послал в один из лондонских журналов эклогу «Элинор и Джуга», написанную на средневековом английском языке, которая была напечатана. Позже, находясь в крайней нужде и надеясь получить денежную помощь, Чаттертон послал известному любителю классической литературы и меценату сэру Горацию Уолполу трактат «Подъем живописи в Англии» — также за «авторством» Роули. Подделка была разоблачена и 17-летний юноша отравился. Уолпол впоследствии горько раскаивался в жестокости, проявленной им в отношении юноши-поэта, ибо опубликованные посмертно «поэмы Томаса Роули» — «Турнир», «Парламент духов», «Битва при Гастингсе» обнаруживали в авторе-мистификаторе огромное дарование. Известный английский литературовед Самюэль Джонсон писал: «Удивляться надо тому, как мог этот ребенок написать такие вещи». Ранюю смерть юноши оплакали в своих творениях Джон Китс («Эндимион»), Шелли («Адонис»), Кольридж («Монодия»), Данте Габриель Росетти, Альфред де Виньи (драма «Чаттертон» (1837), основанная, правда, на чистом вымысле), разделившие сожаление Водсворда:

...Чудесный мальчик.
Бессонная душа, угасшая в гордыне.

(см.: Соч II. С. 477). О мистификациях Чаттертона также одобрительно упоминается на первой странице повести О. Уайлда «Портрет мистера У.Х.» («The Portrait of Mr W.H.»), посвященной поддельному портрету неизвестного «адресата» сонетов Шекспира и соответственной (фиктивной) ревизии канона и, возможно, отдаленно послужившей еще одним тематическим прототипом повести Гумилева. Стр. 141-143 — история «Краледворских рукописей» была несколько иной. Ее опубликовал в 1817 г. Вацлав Ганка (1791-1861) — яркий деятель чешского национального возрождения XIX века, историк, филолог и поэт. Крестьянин по происхождению, он окончил Пражский университет, изучал право в Вене. С 1821 г. возглавлял Литературный отдел Чешского музея в Праге, активно публиковал чешский фольклор, издал на чешском «Слово о полку Игореве» (1821). Вместе со своим другом Йозефом Линдой создал «Краледворскую» и (годом позже) «Зеленогрскую» рукописи на средневековом чешском языке. По словам Ганки, краледворская рукопись была найдена им в подвале (склепе) церкви города Двор Кралов, причем рукописный «оригинал» написанный на пергаменте также был для вящей убедительности им предъявлен. Сама «Краледворская рукопись» состоит из шести фрагментов героического эпоса, двух фрагментов лиро-эпического толка и шести лирических произведений, созданных, судя по языку, в XIII в. Она оформлена таким образом, что представляет собой как бы третью часть некоего большого собрания чешской поэзии XIII века, восполняя, таким образом, скудость чешской средневековой литературы. Героический эпос, содержащийся в Краледворской рукописи, охватывает огромный период от язычес-

кой эпохи до позднего средневековья и включает истории, восхваляющие подвиги чешских героев в битвах с татарами, поляками и саксонцами. Тут видно влияние не только «Песен Оссиана» или «Слова о полку Игореве», но и чешских хроник или чешского перевода путевых заметок Марко Поло. Лирика «Краледворской рукописи» восходит к мотивам русских и сербских народных песен.

Сначала чешские патриоты приветствовали открытие Краледворской рукописи, ибо видели в ней долгожданное доказательство древности и зрелости чешской культуры, подобное тем, которые нашли французы, немцы и русские, не говоря уж об ирландцах, шотландцах и сербах. В восторге была и европейская интеллигенция, особенно немецкая и славянская, требовавшая немедленных переводов. Гете даже написал стихи на мотив одного из лирических стихотворений Краледворской рукописи. Однако уже в 20-е годы XIX века Йозеф Добровский, преподаватель Ганки и Линды и один из духовных лидеров раннего «чешского возрождения», подверг сомнению подлинность «находки» своих учеников, начиная таким образом самый жестокий спор в истории чешской культуры. Полемика противников и сторонников подлинности манускрипта продолжалась и после смерти Ганки, вплоть до 80-х годов XIX века, когда в подлинность рукописи верили уже только самые фанатичные ее поклонники (как правило — «крайние» патриоты). Особым предметом дискуссии являлась неразборчивая строка в конце, в которой скептики склонны были видеть слова «Hanka fecit» («Сделано Ганкой» — лат.). В контексте повести Гумилева (см. далее рассуждения Евменида Сладкопевцева о мистификации со «Словом о полку Игореве») интересно отметить, что в «Краледворской рукописи» присутствуют несомненные переклички со «Словом...». Конец спорам об ее подлинности был положен лишь в 60-е годы XX века, когда химический анализ подтвердил мистификацию Ганки. Стр. 143-154 — «Джордж Псалманазар (1679-1763) не выдуман Гумилевым. Француз по рождению (настоящее имя его неизвестно, он взял себе имя Шалманазера из Библии, потом стал Псалманазаром в Англии), он в молодости имел много приключений. Завербованный насильно в одну из маленьких европейских армий, он умудрился выдать себя за уроженца о. Формозы, язычника, а потом по наущению одного ловкого шотландского священника, который «крестил» его, отправился в Англию в качестве новообращенного в христианство формозца. В 1704 г. он выпустил в Лондоне имевшую большой успех книгу о Формозе: «An Historical and Geographical Description of Formosa»,в которой рассказал о своем «обращении» и дал подробное описание острова, его природы и обычаев, и нравов его жителей, хотя сам никогда из Европы не выезжал. Особенно много внимания он уделил религиозным обрядам формозцев, которых изобразил людоедами. В книге были даны образцы придуманного Псалманазаром формозского языка в виде его собственных «переводов» Символа Веры, десяти заповедей Моисея и молитвы «Отче наш». Успеху книги в некоторых кругах способствовали и резкие выпады против иезуитов и их миссионерской деятельности. Этим литературным подлогом Псалманазар исчерпал ресурсы своей изобретательности и воображения. В Оксфордском уни-

верситете, куда его послали учиться, он показал себя уже лгуном и обманщиком мелкого пошиба. Лет черз двадцать пять после выхода книги о Формозе он написал свою «исповедь». Сознавшись в подлоге и рассказав «правду» о своей жизни (всю ли правду и только ли правду, мы не знаем), он завещал напечатать эту исповедь после своей смерти, но она стала известна многим еще при жизни автора. Издана она была вскоре после его смерти в 1764 г., под названием «Memoirs of — Commonly Known by the Name George Psalmanazar, a Reputed Native of Formosa».

Дожив до преклонного возраста, Псалманазар вполне добропорядочно занимался переводческой и литературно-компилятивной работой для разных лондонских издателей. Работа эта не требовала ни таланта, ни воображения, а знания у него были. Под конец жизни он завоевал себе дружбу и уважение знаменитого английского писателя и лексикографа д-ра Самюэля Джонсона. Более подробные сведенья о Псалманазаре читатель может найти в книге P.W. Sergeant. Liars and Fakers. London, 1926» (СС IV. С. 595). Стр. 160-173 — рукопись «Слова о полку Игореве» была обнаружена собирателем русских древностей графом А.И.Мусиным-Пушкиным в 1792 году. «Генеалогическая» ошибка Евменида заключается в том, что от одного и того же предка — Радши (или Рачи), внук которого был бояриным у Александра Невского, произошло несколько ветвей Пушкиных: в X колене, от Михаила Тимофеевича Пушкина по прозвищу Муса — Мусины-Пушкины, и в XI колене от Ивана Алексеевича Пушкина по прозвищу Бобрище — Бобрищевы-Пушкины (последние менее заметны в русской истории). Алексей Иванович Мусин-Пушкин (1741-1817) был членом российской академии, обер-прокурором Синода, президентом Академии Художеств и сенатором. В бытность обер-прокурором исследовал книжные церковные хранилища, открыв целый ряд памятников древнерусской литературы. «Слово» было обнаружено им в сборнике XVI века, который он приобрел у бывшего архимандрита ликвидированного Спасо-Ярославского монастыря Иоиля. Со списка была сделана копия для императрицы Екатерины Великой, сам же оригинал сгорел в доме Мусина-Пушкина на Разгуляе во время великого пожара Москвы 1812 года. Однако «Слово...» (как и многие другие шедевры из погибшей коллекции) было опубликовано (1800). Сразу после публикации, еще до гибели «Слова...», в печати стали появлятся скептические мнения относительно его подлинности. О.И.Сенковский и М.Т.Каченовский полагали, что автором был некий образованный русский XVIII века или ученый схоласт киевской школы XVII в. После открытия «Задонщины» (середина XIX века), повторяющей мотивы «Слова...», голоса скептиков умолкли, однако в конце XIX века француз Л.Леже высказал мнение, что «Слово...» является стилизацией «Задонщины», первый список которой был уничтожен мистификаторами. Стр.204-232 — эти рассуждения Евменида напоминают доказательство невозможности познания существующего, содержащееся в труде Горгия «О природе или о несуществующем» (см. об этом комментарий к стр. 135-143 № 10 наст. тома), ср.: «Если бы что-нибудь существовало, то его нельзя было бы познавать, ибо мы можем познавать только в наших собственных представлениях; но наши собственные представления не суть

внешние вещи. Если бы представление ручалось за бытие, тогда все представляемое было бы реально, например летающий человек, колесница, катящаяся по морю и т.п. А также то, что не существует не могло бы быть представляемо: между тем мы представляем себе Химеру, Сциллу и т.п.» (Энциклопедический словарь. СПб., 1893. Т. 17. С. 218). Р.Л.Щербаков обращал внимание на перекличку образов «львов крылатых, сфинксов, колес из глаз светящихся» с образностью Апокалипсиса (см. Соч II. С. 477). Стр. 226-228 — ср. с интервью Гумилева Бечхоферу: «Остается еще мистическая поэзия. Сегодня она возрождается только в России, благодаря ее связи с великими религиозными воззрениями нашего народа. В России до сих пор сильна вера в Третий Завет. Ветхий Завет — это завещание Бога-Отца, Новый Завет — Бога-Сына, а третий Завет должен исходить от Бога Святого Духа, Утешителя. Его-то и ждут в России, и мистическая поэзия связана с этим ожиданием» (Исследования и материалы. С. 307). Комментируя эти слова Гумилева, Э. Русинко отмечает, что «идея Третьего Завета близка представлениям Мережковского об эволюции человека к духовному совершенству, к союзу божественного духа и земной плоти в Завете Святого Духа (см.: Bernice Glatzer Rosental. Dmitri Sergeevich Merezhkovsky and the Silver Age. The Hague, 1975. Pp. 93-97)» и что «элементы «богоискательства»» Мережковского можно обнаружить в «Веселых братьях» (см.: Исследования и материалы. С. 309). О «Третьем Завете» в учении Мережковского и генезисе этой идеи см. также: Зобнин Ю.В. Жизнь и деяния Дмитрия Мережковского. СПб., 2004. С. 150-154. Стр. 266-269— имеется в виду апология Лактанция (ок. 250 — ок. 330) «Institutionies divinae» («Божественные установления»), в которой он, утверждая, что в язычестве не может быть ни «подлинной мудрости», ни «подлинной религии», ибо там они, в отличие от христианства, «разъединены», развивал хилиастические идеи, считая, что мир, сотворенный Богом в шесть дней, «рассчитан» таким образом на 6000 лет. По их истечении наступит Страшный Суд и кончина старого мира, после чего на 1000 лет (греч. чйлйбумьт — тысячелетие) наступит «царство святых», «земной рай» со Христом во главе, соответствующий «седьмому дню творения». Имея при жизни славу «христианского Цицерона», Лактанций был посмертно осужден Церковью за хилиазм, признанный неправильным истолкованием «Откровения Иоанна Богослова» (20. 1-10).

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Стр.74-75 — сравнение хлыстовских радений с «шемякинским адом», обличаемым Ваней, лишний раз подчеркивает отчуждение героев Гумилева от хлыстовства (см. выше). Стр. 128 — в Новом Завете слово «веельзевул» означает «князь бесовский» (Лк 11. 15). Стр. 148 — просвирня — женщина, выпекающая просфоры. Стр. 170-186 — источник этой сцены — извлечение из книги С.Нилуса «Великое в малом и Антихрист, как близкая политическая возможность. Записки православного». (Изд. 2-е. Царское Село, 1905), помещенной в трактате о. Павла

Флоренского «Столп и Утверждение Истины» (о знакомстве с этим трактатом Гумилева см.: Неизд 1980. С. 133): «В бумагах известного «служки Божьей Матери и Серафимова» Николая Александровича Мотовилова найдено Сергеем Нилусом удивительное по яркости и по конкретности описание начинающейся одержимости бесом. Муки геенны, поскольку они постижимы нашим теперешним сознанием, — вот они в их жизненной правде. «На одной из почтовых станций по дороге из Курска, — пресказывает слова Мотовилова С.Нилус, — Мотовилову пришлось заночевать. Оставшись совершенно один в комнате проезжающих, он достал из чемодана свои рукописи (материалы для Жития св. Митрофана Воронежского) и стал их разбирать при тусклом свете одинокой свечи, еле освещавшей просторную комнату. Одною из первых попалась записка об исцелении бесноватой девицы из дворян, Еропкиной, у раки святителя Митрофана Воронежского.

«Я задумался, — пишет Мотовилов, — как это может случится, что православная христианка, приобщающаяся Пречистых и Животворящих Тайн Господних, и вдруг одержима бесом и притом такое продолжительное время, как тридцать с лишним лет. И подумал я: Вздор! Этого быть не может! Посмотрел бы я, как бы посмел в меня вселиться бес, раз я часто прибегаю к Таинству Святого Причащения», и в то же самое мгновение страшное, холодное, зловонное облако окружило его и стало входить в его судорожно стиснутые уста.

Как ни бился несчастный Мотовилов, как ни старался защитить себя от льда и смрада вползающего в него облака, оно вошло в него все, несмотря на все его нечеловеческие усилия. Руки были точно парализованы и не могли сотворить крестного знамения, застывшая от ужаса мысль не могла вспомнить спасительного имени Иисусова. Отвратительно-ужасное совершилось, и для Николая Александровича наступил период тягчайших мучений. В этих страданиях он вернулся в Воронеж к [Архиепископу] Антонию. Рукопись его дает такое описание мук:

«Господь сподобил меня на себе самом испытать истинно, а не во сне и не в привидении три геенские муки: первая — огня несветимого и неугасимого тем более, как лишь одною благодатию Духа Святого. Продолжались эти муки в течение трех суток, так что я чувствовал, как сожигался, но не сгорал. Со всего меня по 16 или 17 раз в сутки снимали эту геенскую сажу, что было видимо для всех. Престали эти муки лишь после исповеди и причащения Святых Тайн Господних, молитвами архиепископа Антония и заказанными им по всем 47 церквам Воронежским и по всем монастырям заздравными за болящего болярина раба Божия Николая ектиниями.

Вторая мука в течение двух суток — тартара лютого геенского, так что и огонь не только не жег, но и согревать меня не мог. По желанию его высокопреосвященства, я с полчаса держал руку над свечею, и она вся закоптела донельзя, но не согрелась даже. Опыт сей удостоверительный я записал на целом листе и к тому месту описания рукой моею и на ней свечною сажей мою руку приложил. Но обе эти муки Причащением давали мне возможность пить и есть, и спать немного мог при них, и видимы они были всем.

Но третья мука геенская, хотя и на полсуток еще уменьшилась, ибо продолжалась только 1,5 суток и едва ли более, но зато велик был ужас и страдание от неописуемого и непостижимого. Как я жив остался от нее! Исчезла она тоже от исповеди и причащения Святых Тайн Господних. В этот раз сам архиепископ Антоний из своих рук причащал меня оными. Эта мука была червя неусыпного геенского, и червь этот никому более, кроме меня самого и высокопреосвященнейшего Антония, не был виден, но я при этом не мог ни спать, ни есть, ни пить ничего, потому что не только я весь сам был преисполнен этим наизлейшим червем, который ползал во мне всем и неизъяснимо грыз всю мою внутренность и, выползаючи через рот, уши и нос, снова во внутренности мои возвращался. Бог дал мне силу на него, и я мог брать его в руки и растягивать. Я по необходимости заявляю это все, ибо не даром подалось мне это свыше от Господа видение, да и не возможет кто подумать, что я дерзаю всуе Имя Господне призывать. Нет! В день Страшного Суда Господня Сам Он, Бог, Помощник и Покровитель мой, засвидетельствует, что я не лгал на Него, Господа, и на Его Божественного Промысла деяние, во мне Им совершенное».

Вскоре после этого страшного и недоступного для обыкновенного человека испытания, Мотовилов имел видение Своего Покровителя, Преподобного Серафима, который утешал страдальца обещанием, что ему дано будет исцеление при открытии мощей святителя Тихона Задонского и что до того времени вселившийся в него бес уже не будет его так жестоко мучить.

Только через тридцать слишком лет совершилось это событие, и Мотовилов его дождался, дождался и исцеления по великой своей вере» (Свящ. Павел Флоренский. Собрание сочинений. Paris, 1989. T.IV. С. 206-208).

ГЛАВА ПЯТАЯ

Стр. 7-8 — «Сэр Галаад — один из рыцарей Круглого Стола, сын Ланцелота и принцессы Элейн. Ему единственному за совершенную духовную чистоту позволено было увидеть Священный Грааль (см. роман английского писателя Томаса Мэлори «Смерть Артура»).

Определение «Неистовый Роланд» восходит к поэме Л.Ариосто под таким же заглавием, в котором сказание средневекового французского эпоса переработано в духе эпохи Возрождения. Роланд — христианский рыцарь из войска Карла Великого, погибший в Пиренеях при нападении басков (778 г.)» (Соч II. С. 476). Стр. 38 — араукария — хвойное дерево, распространено в южном полушарии, однако растет преимущественно в Австралии. Стр. 54-70 — ср. со ст-нием «Мужик» (см. № 56 (III) и комментарии к нему). Стр. 69-70 — «В шумеро-аккадской мифологии считалось, что каждый человек имеет личного духа-хранителя, шеду. По мнению искусствоведов, крылатые быки с человеческой головой, поставленные у входов во дворцы ассирийских царей, играли роль шеду» (Соч II. С. 476). Стр. 91 — на этом обрывается рукопись повести «Веселые братья».

19. При жизни не публиковался. **Печ. по автографу.**

Неизд 1986 (стихотворный фрагмент под загл. «Песня Девкалиона»).

Автограф (с пометой «осень 1918»): РГАЛИ. Ф.147 (Н.С.Гумилева). Оп.I. № 19. Л.1-2. На об. л.2 — план книг «географий в стихах» (см. вступительную статью к комментариям тома IV (С. 219).

Дат.: осень (предположительно — сентябрь-октябрь) 1918 г. — по помете на автографе и датировке работы над «географиями в стихах».

Девкалионом в греческой мифологии (см.: Мифологический словарь. С. 179) звали прародителя «послепотопного» поколения людей, правителя фессалийского города Фтия, сына Прометея, мужа Пирры, дочери Эпиметея и Пандоры. Девкалион и его жена были единственными праведниками, чтившими Зевса, среди людей «медного века», позабывших олимпийских богов. «Гесиод записал предание о людях Бронзового Века, созданных Юпитером из дерева ясеня и которые обладали сердцем тверже алмаза. Облаченные в бронзу с головы до ног, они проводили свою жизнь в сражениях. Они были чудовищных размеров, одаренные ужасающей силой, непобедимыми доспехами и руками, спускавшимися от плечей, — говорит поэт» (Тайная доктрина II (4). С. 975). Решив покарать род человеческий, Зевс дал возможность спастись только Девкалиону и Пирре: по совету Прометея Девкалион построил большой ящик (ковчег), в котором он и его жена укрылись во время посланного Зевсом на землю потопа. После девятидневного плаванья ковчег Девкалиона пристал к Парнасу, где принес жертвы Зевсу — «дарователю убежищ». У подножья Парнаса оракул Фемиды предрек, что Девкалион и Пирра восстановят новое человечество «от костей праматери», которые они должны бросать через голову. Закутав головы и распустив пояса, Девкалион и Пирра стали бросать через головы камни, рассудив, что именно камни и являются «костями» всеобщей матери людей Земли; из камней Девкалиона возникли мужчины «каменного века», а от камней Пирры — женщины. У самих Девкалиона и Пирры родились Амфиктион, Протогенея и Эллин, которые и стали родоначальниками греческих племен, сам же Девкалион жил до конца своих дней в Локриде, в Афинах, где основал святилище Зевса. Миф о Девкалионе изложен в «Метаморфозах» Овидия (Met. I. 260-411).

Маленький объем текста не позволяет точно определить его назначение. Возможно, что его появление связано с просветительскими проектами издательства «Всемирная литература», как раз тогда разворачивавшего свою работу (Ш.Греем, опубликовавшая стихотворный фрагмент, высказала предположение, что это — «изложение греческого мифа о Девкалионе для детей» (см.: Неизд 1986. С. 214)). С другой стороны подпись Гумилева, поставленная под текстом, как будто свидетельствует о его законченности, позволяя видеть в нем некий род «стихотворения в прозе». История потопа в мифологиях средиземноморья привлекала интерес поэта, работавшего в этот период над переводом вавилонского эпоса «Гильгамеш», в котором важную роль играет история Ут-напиштима, также спасшегося от потопа в

ковчеге (см.: Соч III. С. 407). Библейский рассказ о потопе см.: Быт. Гл. 6-8. С другой стороны, тема допотопного человечества, «потомков Каина», с которыми ассоциируются «люди бронзового века» в греческой мифологии, была одной из приоритетных как в поэзии, так и в прозе Гумилева: см. ст-ния «Потомки Каина» и «Сон Адама» (№№ 160 и 161 (I)), повесть «Гибели обреченные» и рассказы «Дочери Каина» и «Скрипка Страдивариуса» (№№ 1, 6, 10 наст. тома) и комментарии к ним. Как и вся «потопная» мифология, миф о Девкалионе был задействован и в оккультной литературе среди прочих «источников», повествующих о возникновении арийской расы (см.: Тайная доктрина II (4). С. 971).

К ИЛЛЮСТРАЦИЯМ

Список условных сокращений, принятых в комментариях и разделе «Другие редакции и варианты»

АО — Гумилев Н.С. Африканская охота: Новеллы. Рассказы. Очерки. / Сост. И.Ерыкалова. — СПб.: «Азбука», 2000. *Баскер I* — Баскер М. «Далекое озеро Чад» Николая Гумилева (К эволюции акмеистической поэтики) // Гумилевские чтения. Материалы международной конференции филологов-славистов. СПб.: СПбГУП, 1996. – С. 125-137.

Баскер II — Баскер М. К разбору рассказов Н.С.Гумилева «Принцесса Зара» и «Дочери Каина» // Гумилевские чтения. Материалы международной конференции филологов-славистов. СПб.: СПбГУП, 1996. - С. 137-157).

Богомолов — Богомолов Н.А. Гумилев и оккультизм // Богомолов Н.А. Рус ская литература начала XX века и оккультизм. М.: Новое литературное бобозрение, 1999. С. 113-144.

БП — Гумилев Н.С. Стихотворения и поэмы / Вст. статья А.И.Павловского, биограф. очерк. В.В.Карпова, сост., подг. текста, прим. М.Д.Эльзона – Л.: Сов. Писатель, 1988. (Б-ка поэта. Большая сер.).

Бронгулеев — Бронгулеев В.В. Посредине странствия земного. Документальная повесть о жизни и творчестве Николая Гумилева. Годы 1886-1913. М.: Мысль, 1995.

Васильева — Васильева М.Ю. Проза Н.С.Гумилева: философско-эстетическая концепция мира, разнообразие жанрово-стилевых структур. Автореферат кандидатской диссертации. М., 2001.

Грачева I — Грачева Д.С. Философия любви в рассказе Н.Гумилева «Радости земной любви» // Сборник студенческих работ филологического факульте та Воронежского государственного университета. Вып. 4. - Воронеж: ВГУ, 2003. С. 140-147.

Грачева II — Грачёва Д. Земная любовь, страсть и вожделение в концепции человека (сборник рассказов Н. Гумилёва «Тень от пальмы») // Русская литература и философия: постижение человека: Материалы Второй Всерос сийской научной конференции (Липецк, 6 - 8 октября 2003 г.) Часть 1. - Липецк: ЛГПУ, 2004.С. 220-227.

Грачева III — Грачева Д. «Вечера на хуторе близ Диканьки» Н.Гоголя как прецедентный текст рассказа Н.Гумилёва «Чёрный Дик» // Русская филология. 16. Сборник работ молодых филологов. Тарту: Tartu Ulikooli Kirjastus, 2005 (в печати).

Гумилевские чтения 1984 — Гумилевские чтения. Wien, 1984 (Wiener Slawistischer Almanach. Sonderband № 15).

Гумилевские чтения 1996 — Гумилевские чтения. Материалы международной конференции филологов-славистов. СПб.: СПбГУП, 1996.
авидсон — Давидсон А. Б. Муза странствий Николая Гумилева. М.: Наука, 1992.
Ж 1910 — Гумилев Н.С. Жемчуга: Стихи. – М.: Скорпион, 1910.
Жизнь Николая Гумилева – Жизнь Николая Гумилева: Воспоминания современ ников. / Сост., коммент. Ю.В.Зобнина, В.П.Петрановского, А.К.Станюковича – Л.: Международный фонд истории науки, 1991.
Жизнь поэта — Лукницкая В.К. Николай Гумилев: Жизнь поэта по материалам домашнего архива семьи Лукницких. – Л.: Лениздат, 1990.
Зинин — Зинин С.А. Волшебная скрипка мастера. Образ художника в поэзии и прозе Николая Гумилева // Литература в школе. 2002. № 3.
ЗК 1991 — Записки кавалериста. – Омск: Кн. изд-во, 1991.
Зов Африки — Зов Африки: Записки путешественников. /Сост. и предисл. Н.Непомнящего. Ил. В.Неволина. – М.. 1992. (Б-ка журн. «Вокруг света»: В 6 т., т.3).
Зобнин — Зобнин Ю.В. Николай Гумилев – поэт Православия. СПб.: Изд. СПбГУП, 2000.
ЗС — Гумилев Н.С. Золотое сердце России: Сочинения. / Сост., вст. Статья, коммент. В. Полушина. Семейная хроника Гумилевых О.Высоцкого. Ху дожник Ю.Пивченко. – Кишинев: Лит. артистикэ, 1990.
Изб 2000 — Гумилев Н.С. Избранное / Сост., предисл., примеч. Н.А.Богомолова — 2-е изд., доп. – М.: Панорама, 2000 (Сер. «Русская литература. XX век»).
Изб (XX век) – Гумилев Н.С. Избранное / Предисл., сост., примеч. Н.Богомолова. Художник А. Свердлов. М.: Панорама, 1995. (Сер. «Русская литература. XX век»).
Изб (Вече) — Гумилев Н.С. Избранное: Стихотворения. Проза. Статьи. Письма к А.Ахматовой / Предисл., сост, примеч. В.П.Смирнова. – М.: Вече, 2001.
Изб (Слов) — Гумилев Н.С. Избранное / Сост., вст. статья, коммент., лит. биограф. хроника И.А.Панкеева — М.: Прсвещение. 1990. (Б-ка словесника).
Изб (Слов) 2 — Гумилев Н.С. Избранное / Сост., вст. статья, коммент., лит. биограф. хроника И.А.Панкеева — М.: Прсвещение. 1992. 2-е изд. (Б-ка словесника).
Иннокентий Анненский в неизданных воспоминаниях — Лавров А.В., Тименчик Р.Д. Иннокентий Анненский в неизданных воспоминаниях // Памятники культуры. Новые открытия. Ежегодник 1981. Л., 1983. С. 51-146.
Исследования и материалы — Николай Гумилев: Исследования и материалы. Библиография. / Сост. М.Д.Эльзон, Н.А.Грознова. - СПб.: Наука, 1994.
Колосова — Колосова С.Н. Николай Гумилев: прозаик и поэт. Автореферат кандидатской диссертации. М., 1998.
Круг чтения — Гумилев Н.С. «Когда я был влюблен...». Стихотворения. Поэмы. Пьесы в стихах. Переводы. Избр. проза. / Сост. Л.А.Озеров. — М.: Школа-Пресс, 1994. (Круг чтения: шк. программа).

ЛН — Переписка В. Брюсова с Н.С.Гумилевым (1906-1920) / Вст. статья и комментарии Р.Д.Тименчика и Р.Л.Щербакова. Публ. Р.Щербакова // Валерий Брюсов и его корреспонденты. Книга вторая. М. Наука, 1994. - С. 400-514 (Лит. наследство. Т.98).

Мистика серебряного века — Мистика серебряного века: Сб./ Сост., вступ. Ст., коммент. И.А.Панкеева. — М., 2002

Мифологический словарь — Мифологический словарь. 2-е изд. / Гл. ред. Е.М. Мелетинский — М.: Большая Российская Энциклопедия, 1992.

Н. Гумилев и Русский Парнас - Н. Гумилев и Русский Парнас: Материалы научной конференции 17-19 сентября 1991 г. - СПб.: Музей Анны Ахматовой в Фонтанном Доме, 1992.

Неизд 1952 — Гумилев Н.С. «Отравленная туника» и другие неизданные произведения / Ред., вст. ст., биогр.. очерк, прим. Г.П.Струве — Нью-Йорк: Изд. им. Чехова, 1952.

Неизд 1980 — Гумилев Н.С. Неизданные стихи и письма. Paris: YMCA-PRESS, 1980.

Неизд 1986 — Гумилев Н.С. Неизданное и несобранное / Сост., ред., коммент. М.Баскер и Ш.Греем; Художник А. Ракузин. — Paris: YMCA-PRESS, 1986.

Николай Гумилев в воспоминаниях современников - Николай Гумилев в воспоминаниях современников. / Ред., сост., предисл., коммент. В. Крейда. — Репринтное изд. - М.: Вся Москва, 1990.

Новая жизнь — Данте Алигьери. Новая Жизнь. / Пер. и коммент. И.Н.Голенищева-Кутузова. — СПб., 1996.

ОС 1991(Ижевск) — Гумилев Н.С. Огненный столп: Стихи и проза / Предисл. и сост. Е.А.Подшиваловой — Ижевск: Удмуртия, 1991.

Папюс — Папюс. Практическая магия. СПб.: Изд-во «Курьер-2» , 1992.

ПК — Гумилев Н.С. Путь конквистадоров. СПб.: Тип. Р.С.Вольпина, 1905.

Полушин — Гумилев Н.С. В огненном столпе. / Сост. В.Л.Полушина. — М.: Сов. Россия, 1991 (Рус. дневники)

Проза 1990 — Гумилев Н.С. Проза / Сост. А.В.Диенко. — М.: Современник, 1990.

Проза поэта — Николай Гумилев [Сб. / Предисл. И.Панкеева]. — М.: Вагриус, 2001. (Проза поэта).

Ранний Гумилев — Баскер М. Ранний Гумилев: путь к акмеизму. СПб.: Изд. РХГИ, 2000.

Раскина — Раскина Е.Ю. Мотив «благоговейного творчества» в программе акмеизма // Русская литература. 1999. № 3. — С. 168-175.

РГАЛИ — Российский государственный архив лит-ры и искусства (Москва).

РГБ — Российская государственная библиотека (Москва). Отдел рукописей.

Русский путь — Н.С.Гумилев: pro et contra / Сост., вст. статья, прим. Ю.В. Зобнина — СПб.: Изд РХГИ. 1995 («Русский путь»).

Русский путь 2 — Н.С.Гумилев: Pro et contra / Сост., вст. статья, прим. Ю.В.Зобнина. 2 -е изд.- СПб.: Изд РХГИ. 2000 («Русский путь»).

Соч I — Гумилев Н.С. Сочинения: В 3 т. Т.1. Стихотворения. Поэмы / Вст. статья, сост., прим. Н.А.Богомолова – М.: Худож. лит-ра, 1991.

Соч II — Гумилев Н.С. Сочинения: В 3 т. Т.2. Драмы. Рассказы / Сост., подгот. Текста, прим. Р.Щербакова; Подг. текста «Записок кавалериста», прим. Е.Степанова. – М.: Худож. лит-ра, 1991.

Соч III — Гумилев Н.С. Сочинения: В 3 т. Т.3. Письма о русской поэзии / Подгот. текста, прим. Р.Д.Тименчика. – М.: Худож. лит-ра, 1991.

СПП — Гумилев Н.С. [Стихотворения, поэмы, проза] / Вступит. статьи А.И.Павловского, В.В.Карпова. – Владивосток: Изд-во Дальневосточного университета, 1991.

СПП 2000 — Гумилев Н.С. Стихотворения. Поэмы. Проза. / Сост. С.Р.Федякин. — М.: Астрель, Олимп, Изд-во АСТ, 2000.

СПП 2001 — Гумилев Н.С. Глоток зеленого шартреза: Стихи, проза, поэмы. / Сост. О.Алякринский. – М.: ЭКСМО-Пресс, 2001.

СС II — Гумилев Н.С. Собр. соч.: В 4 т. Т. 2. Стихи 1916-1921 гг. и стихи разных лет / Подг. текста, коммент. и вст. статья Г.П.Струве. – Вашингтон, 1968.

СС IV — Гумилев Н.С. Собр. соч.: В 4 т. Т. 4. Рассказы, очерки, литературно-критические и другие статьи, «Записки кавалериста» / Подг. текста, коммент. Г.П.Струве., вст. статья В.В.Вейдле – Вашингтон, 1968.

СС IV (Р-т) — Гумилев Н.С. Собр. соч.: В 4 т. Т. 4. Репринтное воспроизведение изд. 1962-1968 гг. – М.: Терра, 1991.

СС 2000 — Гумилев Н.С. Собрание сочинений: В 3 т. Т. 3. / Сост. И.А.Панкеев. — М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2000.

с. — страница

ст. — стих

ст-ние — стихотворение

СтПРП — Гумилев Н.С. Стихи. Письма о русской поэзии / Вст. Статья Вяч. Вс.Иванова. Сост., научная подготовка текста, послесл. Н.А.Богомолова. – М.: Худ. Лит-ра. 1990.

стр. — строка

Тайная доктрина I (1) — Блаватская Е.П. Тайная Доктрина. Том I. Книга 1. М.: Сирин, 1993.

Тайная доктрина I (2) — Блаватская Е.П. Тайная Доктрина. Том I. Книга 2. М.: Сирин, 1993.

Тайная доктрина II (3) — Блаватская Е.П. Тайная Доктрина. Том II. Книга 3. М.: Сирин, 1993.

Тайная доктрина II (4) - Блаватская Е.П. Тайная Доктрина. Том II. Книга 4. М.: Сирин, 1993.

ТП — Гумилев Н.С. Тень от пальмы. Пг.: Мысль, 1922.

ТП 1990 — Гумилев Н.С. Тень от пальмы: Рассказы. [Факсимильное изд. [1922 г.] / Подг. текста В.Л.Полушина. – Тирасполь: Изд-во Тираспольского о-ва друзей книги МССР, 1990. (Б-ка «Глазами столетий»).

ТП 2000 — Гумилев Н.С. Тень от пальмы. М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2000. (Вавилонская б-ка).

ШЧ — Гумилев Н.С. Шестое чувство / Предисл. А.С.Бутузовой-Зюдиной. – М.: Московский рабочий, 1990.

Acumiana — Лукницкий П.Н. Acumiana. Встречи с Анной Ахматовой. Т. 1. 1924-1925 гг. Paris: YMCA-PRESS, 1991.

Berkeley — Nikolaj Gumilev. 1886-1986. Papers from the Gumilev Centenary Symposium. Berkeley, 1987.

Cavalcanti — Cavalcanti Guido. Rime. Torino, 1986.

Hellman — Hellman B. A Houri in Paradise. Nikolaj Gumilev and the War // Studia Slavica Finalandiensia. № 1. 1984. Pp. 22-37.

Paganini — Leslie Sheppard & Dr. Herbert R. Axelrod. Paganini. New York, 1979.

Shaw — Shaw J.E. Guido Cavalcanti's Theory of Love: The Canzone d'Amore and Other Related Problems. Toronto,1949.

Stevenson — The Works of Robert Louis Stevenson. Ed. Gosse, Edmund. 20 Vols. London, 1906-1907.

SW — Nikolai Gumilev. Selected Works. / Selected and Translated by Burton Raffel and Alla Burago. – Albany: State University of New York Press, 1972.

Алфавитный указатель произведений

ДОПОЛНЕНИЯ К ПРЕДЫДУЩИМ ТОМАМ

Том III

113-а

Ни наслаждаясь, ни скучая
Когда бы ни было потом,
Я не забуду «Чи-Чун-Чау»
Очаровательный содом.
Китайцев злых и оробелых
Арабов, и огромных ваз,
И девочек в одеждах белых,
Которые пленили Вас.
Ах, полон негою упрямой
Я видел там всегда одну, —
Все остальное было рамой
В том ветре, что несет весну!
И на изгибе сцены белой
Я чуял, что была она
Такой шальной и опьянелой,
Земная, щедрая весна.
И в этом блеске, в этой пляске
Я понял цвет и мир иной,
И был захвачен этой властной
И победительной весной.

Автограф — Gleb Struve Papers, 1910—1985 (Hoover Institution Archivers Box 88 folders 12 and 13.

Дат.: конец января — начало апреля 1918 г. — по содеражнию стихотворения и времени пребывания Гумилева в Англии (Соч. III. С. 404—405)

Ст-ние было написано на одном из листов автографа 1 повести «Веселые братья». Об этом тексте в СС IV сказано буквально следующее: «Среди черновиков «Веселых братьев», в конце одной недописанной страницы, Гумилевым записано стихотворение, другой текст которого неизвестен: Гумилев, очевидно, забраковал его. К сожалению, разобрать можно только отдельные строки из двадцати (стихотворение явно разбито на пять четверостиший (строфическое деление в тексте отсутствует — **Ред.**)) Вот начало:

Ни наслаждаясь, ни скучая,
Когда б то ни было потом
Я не забуду Чи-Чун-Чау
[**нрзб.**]

Китайцев злых и оробелых
Арабов и [**нрзб.**]
И девочку в одежде белой,
Которая пленила всех.
Ах [полон?] [**нрзб.**] упрямой,
Я видел там всегда одну.
Все остальное было рамой
[**Нрзб.** — слова?] что несет весну.

Следующие три строки прочитать невозможно. Затем идет:

Земная щедрая весна.

И в этом блеске, в этом [**нрзб.**]
Я [**нрзб.**] увидел мир [иной?]
И был захвачен [**нрзб.**]
И [победительной?] [весной?]

Чи-ЧунЧау — название популярной в те годы в Лондоне оперетты» (СС IV. С.581).

Том IV

102

В ущелье мрачном и утробном
Аму-Дарьяльских котловин
Всегда с другим, себе подобным,
Холодный греется рубин.

Быстротекущая, как воздух,
Как жизнь бессмертная, Любовь
В камеях, людях, птицах, звездах
Торопит огненную кровь.

И никогда я не покину
Мечту, что мы с тобой вдвоем,
Прижавшись, как рубин к рубину,
Тоскуем, плачем и поем.

Автограф — РГАЛИ. Ф.147. Оп.1. Ед. хр. 43. Л.1

Дат.: после 23 августа 1919? — по дате начала заполнения альбома И.В. Одоевцевой (см.: Одоевцева И.В. На берегах Невы. М. 1988. С.265).

Фрагмент данного ст-ния (первая строфа, неточно) был восстановлен по памяти И.В. Одоевцевой и помещен в Г.П. Струве в СС II в раздел «Стихи фрагмент

вошел в раздел «Коллективные и приписываемые Гумилеву стихотворения» четвертого тома наст. изд.:

Во тьме пещерной и утробной
Аму-Дарьяльских котловин
Всегда с другим себе подобный,
Холодный греется рубин.

Текст автографа (б.д. и подписи) атрибутирован как «Стихотворение Одоевцевой Ирины», почерк неопределенный. Такая атрибуция вывела данную единицу хранения за пределы собственно «гумилевской» части фонда, между тем, как в этом теперь легко убедиться, авторство текста сомнения не вызвает и лишний раз доказывает поразительную память Одоевцевой-мемуаристки и достоверность сообщенных ей сведений о Гумилеве. Ст. 2 — очевидное «каламбурное» словоупотребление, смешивающее среднеазиатскую реку Аму-Дарья и кавказское Дарьяльское ущелье, воспетое Лермонтовым. Ст. 5–8 — ср. со ст. 13–16 ст-ния № 34 (IV). Ст. 7 — возможна перекличка с «Тайным сродством» Т. Готье, входящим в переведенные Гумилевым «Эмали и камеи», ср.:

Вы, странных полная предвестий,
Какой фронтон, какой поток,
Сад иль собор нас знали вместе,
Голубку, мрамор, перл, цветок?

СОДЕРЖАНИЕ

Научно-художественное издание
Николай Степанович Гумилев
Руководитель издательского проекта
академик Российской Академии словесности Г.В. Пряхин
Зам. руководителя Д.Г. Горбунцов
Ответственный редактор
кандидат филологических наук И.И. Жуков
Художественный редактор проекта М.В. Георгиев
Компьютерный набор, верстка: Т.В. Серегина
Техническое обеспечение: С.Д. Афанасьев
Издание подготовлено при участии ООО «Евразия+»
Лицензия ЛР № 010193 от 19.02.1997

Налоговая льгота — общероссийский классификатор продукции
ОК-005-93
том 6: 953000 — книги, брошюры
Сдано в набор 01.02.05
Подписано в печать 1.03.05
Формат 60X90 1/16 34 п. л.
Тираж 2000 экз., 1-й завод Заказ № 1046

Газетно-журнальное объединение «Воскресенье»
Москва, ул. Октябрьская, д. 98, стр. 1
Тел. (095) 780-05-56
Отпечатано с оригинал-макета в типографии Акционерного
полиграфического предприятия
«Джангар», Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Ленина, 245